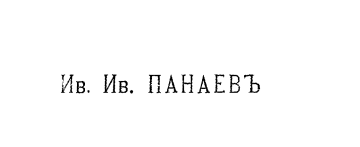
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ив. Ив. ПАНАЕВА.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИЗДАНІЕ В. М. САВЛИНА.



Ив. Ив. ПАНАЕВЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ив. Ив. ПАНАЕВА.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИЗДАНІЕ В. М. САБЛИНА.

Ив. Ив. Панаевъ.

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ И ОЧЕРКИ.

1845—1858.

МОСКВА.—1912.

ТИПОГРАФІЯ В. М. САБЛИНА.
Петровка, д. Обидиной Телефонъ 131-34
Москва. — 1912.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ВЕЛИКОСВѢТСКІЙ ХЛЫЩЪ.

ГЛАВА I.

ДАГЕРОТИПЪ СЪ АРТИСТИЧЕСКАГО СЕМЕЙСТВА И О ТОМЪ, КАКЪ ПРІЯТНО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВЪ ТАКИХЪ СЕМЕЙСТВАХЪ.

Я знаю лѣтъ двадцать Грибановыхъ. Отличнѣйшее семейство, и притомъ съ артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляютъ жизнь этого семейства. Оно совсѣмъ погружено въ изящное. Всякій артистъ, какой бы маленькій талантикъ ни имѣлъ, въ какой бы крошечной сферѣ ни дѣйствовалъ, хотя бы только искусно игралъ на балалайкѣ, навѣрно будетъ принятъ въ этомъ почтенномъ семействѣ съ распростертыми объятіями. Литераторъ бѣжитъ туда читать свое новое произведеніе, еще не оконченное; художникъ показать свои эскизы, только что набросанные небрежно карандашомъ, и въ которыхъ ровно ничего разобрать нельзя—и тотъ и другой увѣрены, что найдутъ глубочайшее сочувствіе. Хозяинъ дома, съ большимъ искусствомъ вырѣзывающій изъ бумаги силуэты; его свояченица, замѣнившая въ домѣ умершую хозяйку, превосходно лѣпящая цвѣты изъ воска; сынъ, пишущій стихи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой,—всѣ ахаютъ и восхищаются, слушая новое произведеніе литератора и разсматривая новые эскизы художника, и потомъ повторяютъ своимъ знакомымъ, въ теченіе по крайней мѣрѣ мѣсяца,

каждому по очереди: «Ахъ, какую повѣсть читалъ намъ N. N.!» «Ахъ, какіе эскизы показывалъ намъ Д. Д.!..» «Ахъ, сколько у нихъ таланта!..» и проч. Доброта этихъ людей простирается до того, что они приходятъ въ восторгъ отъ всякаго, даже плохого произведенія, если только оно въ первый разъ прочитано или показано въ ихъ домѣ. Правда, о произведеніяхъ замѣчательныхъ и талантливыхъ, которыя не были имъ читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это вслѣдствіе искренняго убѣжденія, что ни одно замѣчательное произведеніе не можетъ не быть предварительно имъ извѣстно, что всѣ художники, поэты, музыканты, скульпторы, литераторы, пѣвцы и пѣвицы, знакомые имъ—люди, непремѣнно обладающіе высокими талантами, и что тѣ, которые не имѣютъ этой чести, едва ли могутъ имѣть и дарованіе. Нѣжная привязанность другъ къ другу, соединяющая членовъ этого семейства, поистинѣ замѣчательна. Отецъ обожаетъ своихъ дѣтей, дѣти обожаютъ отца, тетка обожаетъ племянника, племянникъ тетку. . Въ этомъ домѣ всѣ обожаютъ другъ друга. Если отецъ вырѣжетъ какой-нибудь новенькій силуэтикъ, сынъ немедля приходитъ отъ него въ восхищеніе и бѣжитъ къ теткѣ.

— Посмотрите,—говоритъ онъ,—какую удивительную вещицу вырѣзалъ папенька, съ какимъ вкусомъ, съ какимъ изяществомъ, это просто художественно!

— Ахъ, какая прелесть!—восклицаетъ восхищенная тетка.

Если сынъ напишетъ стихотвореніе и прочтетъ его отцу и теткѣ, отецъ, пожимая плечами отъ удивленія, со слезой на рѣсницѣ восклицаетъ:

— У, какъ это хорошо! Какой стихъ! Какая мысль! Я никогда ничего не слыхалъ лучше этого!

И при этомъ голосъ отца задребезжитъ, умиленный, какъ порванная струна.

— Это маленькій chef d'oeuvre!—вскрикнетъ тетка, всплеснувъ руками.

Затѣмъ оба они, отецъ и тетка, закричатъ:

— Пелагея Петровна! Пелагея Петровна! Пелагея Петровна!

Приживалка, въ родѣ ключницы, прибѣжитъ на этотъ крикъ запыхавшись, но съ пріятной и подобострастной улыбкой, которая замерла на лицѣ и которая не оставляетъ ея даже въ самыя горькія минуты ея жизни.

— Что прикажете-съ?

— Послушайте-ка, матушка, — скажетъ отецъ, прищелнувъ языкомъ, — какіе новые стихи написалъ Иванъ. . лучше ничего не было написано на русскомъ!

— Ахъ, какіе стихи! — повторитъ тетка. — Пожалуйста, другъ мой, не полѣнись, прочти еще разъ.

И она нѣжно взглянетъ на племянника. Племянникъ мгновенно повинуется и начнетъ читать; отецъ между тѣмъ качаетъ въ тактъ головой во время чтенія и, смотря на Пелагею Петровну, говоритъ:

— Слушайте, слушайте! (хотя та и безъ того благоговѣйно слушаетъ, даже разиня ротъ отъ излишняго вниманія). — Каковъ стихъ-то! Замѣчаете, а?

И ударитъ по плечу Пелагею Петровну, а самъ такъ и зальется слезами, хоть бы стихи были комическаго содержанія.

Вечеромъ, когда явятся гости, сначала приживалка, разливая чай, шепнетъ непремѣнно каждому на ушко: «Иванъ Алексѣичъ написалъ новое безподобное стихотвореніе!» Потомъ отецъ, не болѣе какъ черезъ четверть часа послѣ приживалки, барабаня по столу, не утерпитъ и вдругъ брякнетъ среди разговора вовсе не кстати:

— Что, Иванъ ничего вамъ не показывалъ?

— Нѣтъ-съ, — отвѣтитъ гость.

— Заставьте его прочесть: онъ написалъ новое стихотвореніе... Это вещь капитальная, необыкновенно хорошо! Изъ него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое добродушное лицо старика выразитъ столько счастья при мысли, что онъ произвелъ на свѣтъ такое геніальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, невольно расчувствуется.

Тетка въ свою очередь, съ свойственною ей любезностью и пріятностью занимая гостей, не упуститъ ввернуть словцо:

— Я знаю, m r такой-то, что вы любите поэзію, или интересуетесь литературой (что-нибудь въ родѣ этого).—Ахъ, если бы вы знали, какое Иванъ Алексѣичъ написалъ стихотвореніе! Мнѣ, какъ родной, совѣстно хвалить, но вы сами услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начинаетъ искать глазами племянника. Но племянникъ вдругъ, какъ изъ-подъ полу выскочитъ передъ теткой, сладко улыбнется гостямъ, посмотритъ на нихъ заискивающими глазами и скажетъ:

— Нѣтъ, тетушка, это право не стоитъ того, довольно слабая вещица, когда-нибудь послѣ, не теперь.

Но тогда гости начинаютъ приставать къ нему:

— Пожалуйста прочтите, сдѣлайте одолженіе, мы такъ много слышали.

— Ну, прочти же, братецъ, прочти,—вскрикнетъ вдругъ откуда-то появившійся отецъ.

Около поэта составится кружокъ, и онъ начнетъ декламировать, изрѣдка прерываемый восклицаніями: «Превосходно, прекрасно!» Послѣ декламаціи тетка отведетъ одного или двухъ гостей въ сторону и произнесетъ шопотомъ: «Не правда ли, какой талантъ?» На что гостямъ ничего болѣе не остается, какъ отвѣчать: «О, удивительный!»

Иногда сынъ потащитъ гостей въ кабинетъ отца и скажетъ имъ:

— Позвольте-ка, господа, я вамъ покажу чудную вещицу. Папенька вырѣзалъ недавно цѣлый пейзажъ.

И, входя въ кабинетъ, онъ начнетъ рыться въ портфелѣ отца, приговаривая:

— Куда это старикъ зарылъ его? Не любитъ, чтобы смотрѣли... Чудакъ!.. да мы отыщемъ... погодите... Вотъ, вотъ, вотъ!.. Взгляните, какъ хорошо задумано, разсмотрите эту фигуру, сколько въ ней выраженія, а это дерево? Вѣдь это дубъ, настоящій дубъ!.. Вглядитесь хорошенько... Какое искусство!

И гости разсматриваютъ и удивляются. Въ такія минуты всегда нечаянно входитъ отецъ:

—Иванъ, Иванъ,—говоритъ отецъ, грозя ему пальцемъ:—

что это, полно, братецъ: ну, стоитъ ли это смотрѣть... Это такъ я шалю на старости, отъ нечего дѣлать.

— Помилуйте!—восклицаютъ гости:—какая это шалость. Это чистѣйшее искусство!

— Оно-таки точно недурно,—замѣтитъ старикъ, постепенно увлекаясь, и продолжаетъ уже голосомъ, дрожащимъ отъ умиленія:—вотъ обратите вниманіе особенно на эту коровку что наклонилась къ водопою... Поль-потеровская коровка-то! Сколько жизни въ этомъ движеніи, замѣтьте, замѣтьте... Ахъ, кабы не лѣта, глаза ужъ служить отказываются, не то бы я еще сдѣлалъ!

И у старика закапаютъ слезы...

Въ квартирѣ Грибановыхъ, за исключеніемъ будуара и гостиной, устройствомъ которыхъ занимается Лидія Ивановна (такъ зовутъ тетку), совершенно артистическій безпорядокъ: на столахъ валяются старыя рукописи, исписанны стихами, клочки бумаги съ различными вырѣзками, краски книги, рисунки, и все это покрыто постоянно слоемъ пыли; но зато будуаръ и гостиная, это, такъ сказать, небольшіе храмы изящнаго: занавѣсочки, этажерочки, куколки, дѣланный и настоящій плющъ, гравированныя картинки, коврики, вышитыя подушки съ кисточками, цвѣтные фонарики, пресъ-папье, бронзовыя ручки, ножи для разрѣзыванія книгъ, печатки—все это размѣщено съ замѣчательнымъ искусствомъ на весьма маломъ пространствѣ. Въ одномъ только углу будуара груда воску и краски; этотъ уголъ Лидія Ивановна называетъ своимъ *ателье*. Лидіи Ивановнѣ лѣтъ подъ пятьдесятъ, но при вечернемъ освѣщеніи она кажется несравненно моложе своихъ лѣтъ, чему немало способствуютъ различныя украшенія ея туалета: пукольки, бантики, кружевца, цвѣточки, употребляемые ею въ большомъ количествѣ. Она говоритъ обыкновенно голосомъ тихимъ, болѣе походящимъ на шопотъ, и недосказанное или недослышанное договариваетъ глазами, на которые, кажется, значительно разсчитываетъ, потому что эти глаза, по замѣчанію старожиловъ, производили большое впечатлѣніе... Въ выраженіи лица и во всѣхъ ея движеніяхъ необыкновенная мягкость, которую только злые языки называютъ лицемѣрною сладостью.

Алексѣй Аѳанасьичъ (такъ зовутъ г. Грибанова) отличается простотою обращенія, искренностью въ рѣчахъ и въ манерахъ, совершенною безцеремонностью, способностью отъ всего умиляться и постоянно слезящимися глазами. Онъ весь нараспашку для всѣхъ вхожихъ въ его домъ. Ему и въ голову не приходитъ, чтобы человѣкъ дурной, насмѣшливый или подозрительный могъ перешагнуть черезъ порогъ его квартиры. Со всѣми одинаково простодушенъ и привѣтливъ,—онъ при всѣхъ, даже при постороннихъ дамахъ, является всегда по-домашнему: въ затасканномъ сюртукѣ и въ старыхъ плисовыхъ туфляхъ, съ листомъ бумаги и съ ножницами. Ему лѣтъ подъ шестьдесятъ: но онъ кажется старѣе своихъ лѣтъ, потому что не имѣетъ ни малѣйшаго поползновенія бодриться и молодиться. Въ чертахъ его лица много пріятности, которая невольно располагаетъ къ нему съ перваго взгляда. Онъ не вмѣшивается ни во что въ домѣ, и если у него о чемъ-нибудь спрашиваютъ, то обыкновенно отвѣчаетъ: «Я не знаю, спросите у Лидіи Ивановны». Онъ не распоряжается ничѣмъ, не располагаетъ ни одной копейкою; все, что пріобрѣтаетъ, онъ несетъ къ Лидіи Ивановнѣ. Состояніе ихъ маленькое; но, чтобы «прилично поддерживать себя», какъ выражается Лидія Ивановна, Алексѣй Аѳанасьичъ очень усердно трудится и служитъ, не имѣя ни малѣйшаго расположенія къ службѣ и труду. Будь онъ одинъ, онъ и не подумалъ бы о службѣ; зимой лежалъ бы себѣ цѣлый день на боку да вырѣзывалъ бы свои силуэтики, а лѣтомъ бродилъ бы по лѣсу за грибами. Свои служебныя занятія онъ считаетъ пустяками, а дѣломъ—вырѣзываніе фигурокъ изъ бумаги, и хотя служебныя занятія очень тяготятъ его, но онъ никогда на это не жалуется и никому не говоритъ, какъ это ему не по сердцу, для того чтобы не огорчить Лидію Ивановну. Развѣ иногда только, когда ужъ придется не въ мочь, когда его завалятъ дѣлами, онъ вздохнетъ и промолвится пріятелю:

— Ахъ, если бы побольше средствъ, бросилъ бы все это и посвятилъ бы себя исключительно одному искусству. Вѣдь у меня всѣ наклонности артистическія, вѣдь я рожденъ артистомъ!

Для Алексѣя Аѳанасьича всѣ знакомые равны: у Лидіи Ивановны есть фавориты между знакомыми и между домашнею прислугой: она не можетъ существовать безъ фаворитовъ.

Сыну Алексѣя Аѳанасьича, Ивану Алексѣичу, двадцать четыре года, но ему кажется лѣтъ подъ тридцать. Онъ не заботится о своей внѣшности, потому что весь погруженъ въ свой внутренній міръ, весь проникнутъ своимъ призваніемъ. И Лидія Ивановна, вовсе не пренебрегающая внѣшностью, не только прощаетъ ему его небрежность, но находитъ, что въ немъ это иначе и быть не можетъ, потому что всѣ люди высшихъ талантовъ, какъ извѣстно, мало занимались своимъ туалетомъ... Она въ этомъ случаѣ совершенно справедливо разсуждаетъ про племянника: «онъ чудакъ, потому что всѣ поэты немножко чудаки!» и при этомъ съ чувствомъ родственной гордости прибавляетъ: «повѣрите ли, онъ и галстука даже повязать не умѣетъ, я всегда сама ему повязываю галстукъ».

На этомъ молодомъ стихотворцѣ, не умѣющемъ повязывать галстукъ, основано все счастіе, всѣ надежды, вся гордость артистическаго семейства. Это блестящій талантъ, разливающій свой блескъ на все его окружающее; центръ, около котораго группируются остальные семейные талантики. Онъ даетъ тонъ и направленіе всему семейству... Отецъ и тетка, замѣнившая мать, только отражаютъ и распространяютъ его мысли. Тѣ изъ знакомыхъ, которые не безусловно раздѣляютъ этотъ образъ мыслей и имѣютъ неосторожность обнаружить нѣкоторое противорѣчіе, утрачиваютъ обыкновенно доброе расположеніе почтеннаго семейства и причисляются къ людямъ остановившимся, неспособнымъ итти впередъ—просто къ отсталымъ. Чтобы пользоваться его постоянною благосклонностью и радушіемъ, чтобы прослыть въ семействѣ за человѣка замѣчательнаго и умнаго, необходимо въ каждый данный моментъ стоять въ уровень съ Иваномъ Алексѣичемъ: останавливаться вмѣстѣ съ нимъ, итти впередъ или отодвигаться назадъ. Но и отодвигаясь назадъ, увѣрять и себя и другихъ, что двигаешься впередъ и что тѣ,

которые въ самомъ дѣлѣ идутъ впередъ, останавливаются или отодвигаются назадъ.

Приговоръ сына есть приговоръ окончательный для отца и для тетки. Онъ рѣшилъ, что у сестры Наденьки недостаетъ чувства (можетъ быть потому, что она не такъ восторгается его стихами, какъ остальные члены семейства), и они безусловно приняли этотъ строгій приговоръ, и никакіе факты не разувѣрятъ ихъ въ противномъ. Отецъ, узнавъ объ этомъ въ первый разъ, глубоко огорчился...

«Ахъ, жаль,—думалъ онъ,—Наденька моя дѣвочка славная и добрая, если бы у нея только чувства-то побольше, вотъ ея недостатокъ!»—«Но отчего же недостаетъ у нея чувства?—робко въ то же время шепталъ ему внутренній голосъ: — когда ты, напримѣръ, боленъ, она и днемъ и ночью ни на шагъ не отходитъ отъ твоей постели, она такъ заботливо ухаживаетъ за тобою...» Старикъ задумывается. У него слезы навертываются на глазахъ при воспоминаніи о томъ, что шепталъ ему внутренній голосъ. «Нѣтъ, что бы ни говорили, а у нея много чувства!»—продолжаетъ смѣлѣе внутренній голосъ. Старику очень хочется повѣрить внутреннему голосу; но въ эту минуту, какъ нарочно, подвертывается сынъ и начинаетъ съ большимъ краснорѣчіемъ и убѣдительностью доказывать, *что такое чувство* и почему именно у сестры не достаетъ его. Старикъ мгновенно колеблется, слушая эти краснорѣчивыя рѣчи; онъ заглушаетъ внутренній голосъ и снова повторяетъ про себя: «Жаль мнѣ, очень жаль бѣдную Наденьку!»

Наденькѣ девятнадцать лѣтъ. Въ лицѣ ея много пріятности и много выраженія въ небольшихъ сѣрыхъ глазахъ. У нея есть голосокъ, и она недурно поетъ различные романсы, какъ-то: *Я видѣлъ дѣву на скалѣ*, *Цвѣтокъ*, *Сто красавицъ черноокихъ*, *Любила я* и проч. Она хорошо сложена и отличается отъ всѣхъ своихъ подругъ простотою обращенія и совершеннымъ отсутствіемъ тѣхъ *прекрасныхъ манеръ*, которыя въ сущности не что иное, какъ жеманство и ломанье...

Все это я говорю въ настоящемъ, хотя этому прошло мно-

го лѣтъ, но я какъ будто теперь вижу передъ собою девятнадцатилѣтнюю Наденьку въ бѣломъ кисейномъ платьѣ съ клѣтчатымъ шотландскимъ поясомъ, безпечную и веселую, срисовывающую букетъ цвѣтовъ съ натуры, а противъ нея облокотившагося на столъ молодого человѣка очень пріятной наружности, внимательно слѣдящаго за движеніемъ ея кисти. Она по временамъ взглядываетъ на него улыбаясь, и въ эти минуты лицо молодого человѣка сіяетъ счастіемъ. Мнѣ всегда казалось, глядя на нихъ, что они созданы другъ для друга.

Я ѣзжалъ въ домъ Грибановыхъ раза два въ мѣсяцъ, по четвергамъ. Это были ихъ дни. По четвергамъ сходились къ нимъ самые близкіе ихъ знакомые, по большей части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое радушіе и гостепріимство царствовало въ этомъ домѣ, сколько искренности расточалось со стороны хозяина, сколько любезности со стороны хозяйки, сколько предупредительности, глубокомыслія и сладкихъ улыбокъ со стороны сына. На этихъ четвергахъ всякій этикетъ былъ изгнанъ; каждый чувствовалъ себя какъ бы дома: гости являлись запросто въ сюртукахъ, приводили съ собой своихъ знакомыхъ, не предупреждая даже объ этомъ хозяевъ, и вновь представленные не болѣе какъ черезъ полчаса ощущали, будто они вѣкъ знакомы въ домѣ... Всѣ засядутъ бывало за круглый столъ, на которомъ дымится исполинскій самоваръ, закурятъ трубки и папиросы, и пойдутъ толки объ искусствахъ и литературѣ. Кто-нибудь изъ присутствующихъ коснется поэзіи, и при этомъ знатокъ русской словесности и отчасти литераторъ, по фамиліи Пруденскій, имѣвшій въ семействѣ репутацію отличнаго декламатора, вскочитъ со стула и съ угрожающимъ жестомъ и густымъ басомъ продекламируетъ новое стихотвореніе Ивана Алексѣича, къ несказанному удовольствію его папеньки и тетеньки, и, окончивъ декламацію, съ тупою улыбкою обведетъ глазами собраніе, сядетъ, и вслѣдъ за тѣмъ посыплется градъ восклицаній: «Превосходно! чудо! какіе стихи и какъ вы декламируете!»

— Удивительно! — замѣтитъ Лидія Ивановна, подкатывая

глазки подъ лобъ, — а вотъ нашъ Иванъ Алексѣичъ совсѣмъ не умѣетъ читать своихъ стиховъ.

— Нечего сказать-таки, не мастеръ, — возразитъ Иванъ Алексѣичъ, пріятно усмѣхаясь.

— Зато ужъ писать мастеръ! — прибавитъ непремѣнно Пруденскій.

— Пишетъ-то недурно, нечего сказать, недурно, — промолвитъ съ самодовольствіемъ отецъ, взглянувъ на сына съ чувствомъ, и потреплетъ его по плечу.

А между тѣмъ приживалка Пелагея Петровна то и дѣло что наливаетъ стаканъ за стаканомъ, такъ что потъ градомъ льется изъ-подъ чепца ея; паръ отъ самовара и дымъ отъ трубокъ и сигаръ гуще и гуще разстилаются по комнатѣ, и въ этомъ чаду трудно уже наконецъ разбирать лица. Между чаемъ и ужиномъ Наденька сядетъ за фортепіано, пропоетъ: «Сто красавицъ черноокихъ», а молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, станетъ сзади ея стула и дрожащей рукой начнетъ перевертывать ноты. Когда она кончитъ, Лидія Ивановна скажетъ ей бывало: «ну, довольно», кивнетъ головой и обратится къ одной изъ постоянныхъ посѣтительницъ этихъ вечеровъ, барынѣ лѣтъ подъ тридцать, одѣтой съ необыкновенной изысканностью и безпрестанно поводящей плечами и передергивающейся.

— Аменанда Александровна, душечка, спойте намъ что-нибудь... У васъ такой прелестный голосъ. Je vous prie...

— Pour rien au monde, ma chère, я не въ голосѣ, — обыкновенно возразитъ на это Аменанда Александровна, — я не могу.

— Полноте, полноте, матушка, вы всегда въ голосѣ, — замѣтитъ Алексѣй Аѳанасьичъ, — садитесь-ка, садитесь-ка, что тутъ много толковать...

— Я вамъ говорю, что я не могу. Comme c'est drôle!..

Тогда сынъ подойдетъ къ Аменандѣ Александровнѣ и начнетъ упрашивать ее. Наконецъ барыня рѣшится, встанетъ, сброситъ съ себя мантилью, обнажитъ свои плечи, обдернется и подойдетъ къ фортепіано. Здѣсь, впрочемъ, начнется опять: «Ей Богу я не могу, у меня болитъ горло;

я не знаю, сколько времени я не пѣла», и тому подобное. Но дѣло всегда кончится тѣмъ, что барыня затянетъ:

Цвѣтокъ засохшій, безуханный...

Или:

Коварный другъ, но сердцу милый и проч.

И съ послѣдней нотіои обратится къ гостямъ: «Вотъ видите ли, я совсѣмъ не могу пѣть!», и коснется рукою до горла, какъ будто желая показать, что ей тамъ мѣшаетъ что-то. «Браво, браво!» воскликнетъ Алексѣй Аѳанасьичъ и захлопаетъ въ ладоши, посматривая на гостей и поощряя ихъ къ тому же. Тогда раздастся громъ рукоплесканій, послѣ которыхъ Лидія Ивановна подойдетъ къ Амепандѣ Александровнѣ, промолвитъ: «Восхитительно, ma chère!» и поцѣлуетъ ее.

Время между тѣмъ движется понемногу. Вотъ ужъ и половина двѣнадцатаго.

— А что,—замѣтитъ Алексѣй Аѳанасьичъ, потирая свой желудокъ и поглядывая на Лидію Ивановну,—не пора ли и закусить, что-то ѣсть смертельно захотѣлось.

— Ну что жъ? прикажите, — замѣтитъ Лидія Ивановна.

И тогда послышится гармоническій для гостей стукъ тарелокъ и ножей. На кругломъ столѣ, на которомъ за три часа передъ тѣмъ дымился чудовищный самоваръ, появится добрый кусокъ солонины, сыръ, масло, груда вареннаго картофеля, а на другомъ столикѣ водка и тарелка съ солеными грибами.

— Ну-ка, господа, водочки... безъ этого нельзя, да закусите грибкомъ-то, чудные грибки! Я самъ собиралъ ихъ! — воскликнетъ добродушный Алексѣй Аѳанасьичъ, наливая себѣ рюмку водки. — Садитесь, господа, садитесь... чѣмъ Богъ послалъ, не взыщите...

И всѣ размѣстятся, тѣснясь другъ къ другу, за столомъ: дамы и болѣе почетные изъ мужчинъ ближе къ тому краю, гдѣ Лидія Ивановна, а остальные около Алексѣя Аѳанасьича.

— Ахъ, какая солонина-то! — непремѣнно замѣтитъ Але-

ксѣй Аѳанасьичъ, приступая къ ея разрѣзыванію, — посмотрите, посмотрите, сокъ такъ и льетъ, а жиръ-то какой, настоящій янтарь!

— Изъ міра фантазій перейдемте-ка, господа, къ дѣйствительности, къ существенному,—замѣтитъ Иванъ Алексѣичъ, глядя съ пріятностью на гостей, указывая съ жадностью на солонину и кладя себѣ на тарелку два огромныхъ куска.

И въ отвѣтъ на это домашнее остроуміе всегда бывало раздастся добродушный смѣхъ.

Всякій четвергъ повторялось то же самое съ небольшими измѣненіями. Иногда только вдругъ, ненарокомъ появится какая-нибудь неслыханная пѣвица и прокричитъ какую-нибудь итальянскую арію, или невиданный дотолѣ сочинитель съ какою-нибудь ассирійскою драмою.

Но раза три или четыре въ годъ у Грибановыхъ бывали большія собранія въ день чьихъ-нибудь именинъ или рожденья. Тогда зажигались лишнія лампы, гости мужского пола надѣвали фракъ, наѣзжало большое количество дѣвицъ и дамъ, одѣтыхъ по-бальному; также показывались два штатскихъ генерала со звѣздами и одинъ военный. Въ эти торжественные вечера, на которыхъ даже самъ хозяинъ являлся не въ туфляхъ, а въ сапогахъ, артистическія занятія отлагались въ сторону: молодежь танцовала подъ фортепьяно, а люди пожилые и чиновные и толстыя барыни въ беретахъ садились за карточные столы. Но и тутъ не обходилось безъ поэзіи. Въ какой-нибудь дальней комнатѣ, въ концѣ коридора, куда танцоры изрѣдка забѣгали затянуться, Иванъ Алексѣичъ собиралъ вокругъ себя небольшой кружокъ молодыхъ людей, не танцующихъ, самыхъ горячихъ любителей искусства, и декламировалъ имъ свои стихи. Молодые люди благоговѣйно слушали его, и если въ комнату входилъ лакей Макаръ съ подносомъ или забѣгала за чѣмъ-нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые люди махали на нихъ обыкновенно руками, шикали и потомъ на ключъ запирали двери, чтобы уже никто не могъ помѣшать ихъ эстетическимъ наслажденіямъ

На этихъ вечерахъ разносили обыкновенно мороженое, конфеты, яблоки и варенья, и увеселенія оканчивались праздничнымъ ужиномъ. Ужинъ приготовлялся человѣкъ на тридцать, но гостей обыкновенно являлось человѣкъ пятьдесятъ. Добрые и гостепріимные хозяева приходили въ нѣкоторое безпокойство и все надѣялись, не уйдетъ ли авось кто-либо изъ бездѣйствовавшихъ кавалеровъ до ужина, но эти кавалеры упорно держались въ своихъ позиціяхъ, и на лицѣ ихъ можно было прочитать, что они именно только и ожидаютъ ужина, что они явились единственно для ужина, что они въ тоскѣ по ужинѣ и внутренно проклинаютъ эту нескончаемую мазурку, мучимые страшнымъ аппетитомъ.

Дѣло оканчивалось, однако, всегда благополучно, и всѣ возвращались домой, накушавшись досыта. Этому не мало способствовала закуска передъ ужиномъ. Въ небольшой комнаткѣ, примыкавшей къ столовой, ставились, минутъ за десять до ужина, на двухъ ломберныхъ столахъ, сдвинутыхъ вмѣстѣ, водка и закуска, состоявшая изъ грудъ нарѣзанной икры, ветчины и сыра. Когда мазурка оканчивалась, всѣ кавалеры, подъ предводительствомъ отца и сына, съ нѣкоторою дикостью бросались обыкновенно въ эту комнату и разомъ осаждали столъ съ закуской. Натискъ бывалъ такъ силенъ, что многимъ въ эту минуту отдавливали ноги или зашибали руки, и три перемѣны этихъ грудъ икры, ветчины сыра каждый разъ, при новомъ натискѣ, исчезали въ одно мгновеніе ока. Успокоенные такимъ образомъ, кавалеры приступали къ ужину уже съ гораздо меньшею алчностью.

Я чуть было не забылъ еще замѣчательный фактъ. Грибановыхъ нерѣдко посѣщалъ между прочими одинъ знаменитый литературный авторитетъ, которому все семейство изъявляло подобострастное уваженіе. Авторитетъ поощрялъ стихотворныя занятія Ивана Алексѣича, признавая въ немъ несомнѣнный талантъ. И въ благодарность за это авторитета сейчасъ же нарекли въ семействѣ высочайшимъ геніемъ, и горе было тому, кто осмѣливался обнаружить сомнѣніе въ томъ, что онъ ниже Шекспира или Гомера. На такого смѣльчака смотрѣли какъ на слабоумнаго или сумасшед-

шаго. Если авторитетъ обѣдалъ въ семействѣ, передъ его приборомъ ставили граненый хрусталь розоваго цвѣта и большія мягкія кресла; ему подавали особыя кушанья. Когда онъ дѣлалъ видъ, что желаетъ заговорить, все смолкало, а когда послѣ обѣда онъ закрывалъ глаза, развалившись въ покойныхъ креслахъ, то мухѣ не позволялось пролетѣть мимо него: всѣ на цыпочкахъ выходили вонъ, и сынъ, махая рукой отцу, имѣвшему иногда привычку напѣвать себѣ подъ носъ: «Томтороромтомъ-томъ» или что-нибудь въ родѣ этого, шепталъ съ сердцемъ:

— Тсс! Папенька, Бога ради не шумите. Вѣдь Григорій Петровичъ начинаетъ засыпать.

— Ай-яй-яй!—прошепчетъ, бывало, старикъ,—виноватъ, виноватъ!

И, затаивъ дыханіе, едва касаясь носкомъ своихъ туфель пола, удалится по стѣнкѣ въ свой кабинетъ.

У Лидіи Ивановны всякій разъ, когда она взглядывала на авторитетъ, захватывало дыханіе, и что бы ни сказалъ онъ, хотя бы просто: «какая сегодня скверная погода!» или что-нибудь подобное, члены семейства значительно переглядывались между собою, какъ бы желая сказать этимъ взглядомъ: «У! какъ глубоко!»

Такъ, впрочемъ, всегда въ жизни: стоитъ только разъ пріобрѣсти себѣ репутацію геніальнаго, необыкновенно умнаго, ученаго или остроумнаго господина, и потомъ смѣло, хоть цѣлый вѣкъ говорить дичь, — всѣ будутъ слушать эту дичь, разиня ротъ, подозрѣвая, что подъ нею кроется что-нибудь необыкновенно глубокое. Въ одномъ домѣ, очень средней руки, какой-то глупоумный шутъ прослылъ почему-то за остроумнѣйшаго господина, и я самъ былъ однажды свидѣтелемъ, какъ онъ, вбѣгая въ гостиную, закричалъ хозяйкѣ дома: «холодновато, холодновато, чайку бы, сударыня, чайку бы выпить», и все общество, къ моему величайшему изумленію, такъ и покатилось отъ смѣха; а хозяинъ дома, ухвативъ себя за бока, закричалъ ему: «полно, братецъ, полно! Бога ради не смѣши!», и продолжалъ заливаться самымъ искреннимъ, самымъ непринужденнымъ смѣхомъ.

Надъ подобострастнымъ уваженіемъ семейства Грибановыхъ передъ авторитетомъ многіе подтрунивали, но мнѣ всегда казалось, что авторитетъ, допускавшій съ собою такое обращеніе, былъ гораздо смѣшнѣе самого семейства.

Грибановыхъ нельзя было не любить. Ихъ добродушіе и гостепріимство дѣйствовали на всѣхъ обаятельно. Бывало часто становится смѣшно, глядя на нихъ, но въ ту же минуту внутренно говоришь себѣ: «Однако, все-таки какіе добрые и славные люди!»

Это былъ общій голосъ.

— Елейное семейство! — прибавлялъ обыкновенно Пруденскій, одинъ изъ самыхъ ревностныхъ посѣтителей Грибановыхъ, отличавшійся особенною ловкостью и смѣлостью при осадахъ на закуски въ именинные дни.

ГЛАВА II.

О ТОМЪ, КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ВЕЛИКОСВѢТСКІЕ ХЛЫЩИ ПУСКАЮТЪ ПЫЛЬ ВЪ ГЛАЗА ПЕРЕДЪ ЛЮДЬМИ ПРОСТЫМИ И КАКЪ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ РОБѢЮТЪ И ДѢЛАЮТСЯ НЕЛОВКИМИ ПЕРЕДЪ ВЕЛИКОСВѢТСКИМИ ХЛЫЩАМИ.

Вечеромъ въ одинъ изъ четверговъ я проѣзжалъ мимо квартиры Грибановыхъ и замѣтилъ въ ихъ окнахъ необыкновенное освѣщеніе. «Что бы это могло значить? — подумалъ я, — сегодня, кажется, нѣтъ ни именинъ, ни рожденія». Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велѣлъ кучеру остановиться у подъѣзда. Вхожу на лѣстницу — лѣстница освѣщена двумя стеариновыми свѣчами въ фонаряхъ; это озадачило меня еще болѣе, потому что даже въ торжественные дни рожденія и именинъ въ этихъ фонаряхъ обыкновенно горѣли сальныя свѣчи. Звоню съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. Двери отворяются тотчасъ, что также случалось весьма рѣдко. Въ передней поражаетъ меня лампа вмѣсто свѣчки, и сильное благовоніе отъ герковскихъ бумажекъ. «Эге! да тутъ въ

самомъ дѣлѣ совершается что-нибудь необыкновенное», подумалъ я. Удивленіе и любопытство мое возрастали съ каждымъ шагомъ впередъ. Въ залѣ, вмѣсто одной, зажжено было четыре лампы; въ гостиной сіялъ карсель, зажигавшійся разъ въ годъ и служившій болѣе для украшенія, нежели для освѣщенія комнаты; въ будуарѣ теплились всѣ фонарики, разливая красноватый и непріятный полусвѣтъ, и во всѣхъ комнатахъ было такъ накурено духами, что дѣлалась даже небольшая тошнота и головокруженіе. Лидія Ивановна была вся усыпана цвѣточками, бантиками и пукольками; цвѣтъ лица ея былъ необыкновенно ярокъ; дочка была одѣта также по праздничному; сынъ все улыбался и ходилъ, потирая себѣ руки; но что всего удивительнѣе — на хозяинѣ дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были приглажены, новый атласный галстукъ подпиралъ его подбородокъ. Онъ видимо чувствовалъ какое-то безпокойство и неловкость, два раза хотѣлъ закурить сигару и, поднося къ свѣчкѣ, бросалъ ее и морщился.

— Да что съ вами, Алексѣй Аѳанасьичъ? — спросилъ я его, осматриваясь кругомъ и не замѣчая въ числѣ гостей никакой особенности, ни даже авторитета, — вы какъ будто ждете, что ли, кого-нибудь? У васъ что-то сегодня необыкновенное...

— Ужъ не говорите! — возразилъ онъ, махнувъ рукой и улыбнувшись, — я не знаю собственно, для чего все это (онъ указалъ головой на лампы), и меня заставили прифрантиться. какъ видите. Къ намъ хотѣлъ сегодня пріѣхать баронъ Щелкаловъ... вы. я думаю, слыхали про него? Ну, прекрасно... да что жъ онъ за такая важная птица, чтобы для него и сапоги натягивать, и галстукъ новый надѣвать, да и сигары наконецъ не кури! Что мнѣ за дѣло тамъ, что онъ принадлежитъ къ высшему кругу, вѣдь не я къ нему лѣзу, а онъ ко мнѣ. слѣдовательно онъ долженъ соображаться съ моими привычками... Ну, да женщины, знаете, онѣ на это смотрятъ иначе... А мы съ вами все-таки сигарочку выкуримъ... я васъ угощу отличной сигарочкой, по случаю досталъ, пойдемте-ка ко мнѣ.

Мы хотѣли уже итти, какъ вдругъ раздался голосъ Лидіи Ивановны:

— Куда это, Алексѣй Аѳанасьичъ, полноте, останьтесь. послѣ накуритесь сколько угодно. Баронъ скоро пріѣдетъ. вѣдь вы хозяинъ дома... кто же его встрѣтитъ?

Въ мягкомъ голосѣ, съ которымъ произнесены были эти слова, звучала, однако, какая-то пискливая и раздражительная нота. Алексѣй Аѳанасьичъ едва замѣтно поморщился, но вслѣдъ затѣмъ тотчасъ же пріятно улыбнулся, взглянувъ на Лидію Ивановну, и произнесъ:

— Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, никуда не уйду отсюда.

И потомъ, обратясь ко мнѣ, замѣтилъ шопотомъ:

— Дѣлать нечего... будемъ сидѣть у моря и ждать погоды.

Начался общій разговоръ, но онъ какъ-то не клеился. Лидія Ивановна и Иванъ Алексѣичъ слушали разсѣянно, безпрестанно посматривая на часы. Лидія Ивановна нѣсколько даже вздрагивала при звонкѣ, и когда въ комнату входилъ обыкновенный четверговый гость, она съ равнодушіемъ кивала ему головой, протягивала руку и говорила:

— А-а-а! Это вы? Здравствуйте.

Стѣсненіе и неловкость сообщились отъ хозяевъ къ гостямъ, которымъ къ тому же хотѣлось ужасно курнуть, и въ душахъ многихъ изъ нихъ, постоянно воспѣвавшихъ Лидіи Ивановнѣ гимны и мадригалы, зашевелились въ эту минуту на ея счетъ ядовитыя эпиграммы, а самолюбіе еще подстрекало къ этимъ эпиграммамъ, нашоптывая: «Да чѣмъ же вы хуже г. Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы должны себя подвергать стѣсненіямъ и лишеніямъ? Вамъ-то что за дѣло до него?.. Пусть Лидія Ивановна, если угодно, ходитъ передъ нимъ хоть на четверенькахъ, да не стѣсняетъ для него васъ...» и тому подобное.

Пруденскій, наклоняясь къ своему сосѣду и поправляя глубокомысленно золотые очки, шепнулъ ему съ выраженіемъ глубочайшей ироніи:

— Что же этотъ достолюбезный гость заставляетъ

такъ долго ждать себя! И зачѣмъ насъ не предупредили. Мы ужъ облеклись бы въ мундиры и съ треуголками пошли бы къ нему во срѣтеніе.

Внутренній ропотъ и неудовольствіе противъ хозяевъ накипали въ груди гостей съ каждой минутой, а къ барону Щелкалову они начинали чувствовать просто непріязненное расположеніе и ожидали его, какъ врага.

Уже было половина десятаго, но никакихъ признаковъ приготовленій къ чаю. Пелагея Петровна, въ чепцѣ съ голубыми бантами, по временамъ появлялась на минуту въ залу взглянуть на часы, и потомъ снова исчезала.

Одинъ изъ гостей поймалъ приживалку:

— Послушайте, Пелагея Петровна, — сказалъ онъ, — ужасно пить хочется. Что у васъ будетъ нынче чай, или нѣтъ?

— Ужъ не говорите! — отвѣчала Пелагея Петровна, — помилуйте, два часа все приготовлено. Самоваръ ужъ давно кипитъ, да вотъ вишь ждутъ этого князя, что ли, какого. Слыхано ли въ самомъ дѣлѣ, до десятаго часа этакъ маяться безъ чаю!

— Да гдѣ же приготовлено, — возразилъ гость, — еще и круглый столъ не поставленъ.

— Нынче у насъ все вѣдь по модѣ, такъ, какъ въ знатныхъ домахъ, — замѣтила не безъ ироніи Пелагея Петровна, — чай будутъ разносить на подносѣ, а я разливаю въ задней комнатѣ.

Пелагея Петровна полагала, что въ знатныхъ домахъ наливаютъ всегда чай въ заднихъ комнатахъ.

Прошло еще четверть часа мучительныхъ для хозяевъ ожиданій. Вдругъ въ исходѣ десятаго часа, въ ту минуту, какъ Лидія Ивановна смотрѣла на часы, стоявшие на каминѣ, раздался изъ передней рѣзкій звонокъ. Она быстро взглянула въ зеркало, поправила свои букольки, прищурила нѣсколько глаза и, обратившись къ Алексѣю Аѳанасьичу, сдѣлала ему головой значительный знакъ, указывая на переднюю.

Старикъ пошелъ навстрѣчу новоприбывшему.

Пруденскій, глубокомысленно поправляя золотые очки, и

другіе гости, въ томъ числѣ и я, съ любопытствомъ обратились къ двери, которая вела изъ залы въ переднюю.

Въ этихъ дверяхъ сначала показался господинъ лѣтъ за сорокъ, одѣтый щегольски, съ большими, туго накрахмаленными воротничками и съ развязными манерами, — литературный дилетантъ, по фамиліи Веретенниковъ, изрѣдка появлявшійся по четвергамъ и болѣе или менѣе уже знакомый всѣмъ намъ.

Онъ принадлежалъ къ тому петербургскому кружку, который немного повыше средняго и очень пониже высшаго. Двоюродная сестра этого господина была замужемъ за какимъ-то княземъ, двоюроднымъ братомъ одного значительнаго лица. Это было извѣстно всѣмъ, кому хоть сколько-нибудь былъ извѣстенъ Веретенниковъ, безпрестанно употреблявшій въ разговорѣ такія фразы: *ma cousine princesse N**, мой зять князь N*, графъ C* — двоюродный братъ моего зятя князя N*, и такъ далѣе.

Желая чѣмъ-нибудь обратить на себя особенное вниманіе своего кружка, Веретенниковъ пустился въ литературу, написалъ небольшой разсказъ изъ свѣтской жизни и прочелъ его въ одномъ салонѣ средней руки. Разсказъ былъ найденъ дамами прелестнымъ, и онѣ въ особенности были поражены тѣмъ, что на русскомъ языкѣ можно дѣлать недурные каламбуры: у Веретенникова было нѣсколько довольно удачныхъ. Разсказъ этотъ появился впослѣдствіи въ какомъ-то журналѣ, послѣ чего Веретенниковъ уже вообразилъ, что русская литература безъ него обойтись никакъ не можетъ, и что деньги такъ и посыплются къ нему. Ободренный этой фантазіей, онъ началъ замышлять романъ, приступилъ къ дѣлу и черезъ нѣсколько времени явился съ началомъ романа къ журналисту, съ тѣмъ, чтобы запродать свое произведеніе за какую-то баснословную сумму, замѣтивъ впрочемъ, что эта сумма назначается имъ въ помощь одному бѣдному семейству, а что самъ онъ вовсе не нуждается въ деньгахъ, что ему нѣтъ необходимости жить собственными трудами, и проч. Начало оказалось, впрочемъ, такъ плохо, что его и даромъ напечатать не было никакой возможности.

Съ этихъ поръ дилетантъ нѣсколько охладѣлъ къ литературѣ, не писалъ ничего болѣе, а на вопросы своихъ пріятелей: «Что жъ, братецъ, твой романъ-то? скоро ли онъ будетъ печататься?» — отвѣчалъ обыкновенно: «Я, право, не знаю, мнѣ не хочется связываться съ этими журналистами... я напечатаю его отдѣльно... у нихъ тамъ свои какія-то партіи... я хочу какъ можно подальше держать себя отъ э т о г о м і р а. Вѣдь не литераторомъ же сдѣлаться мнѣ въ самомъ дѣлѣ!..»

Знакомство его съ Грибановыми совпадаетъ съ эпохою печатанія его знаменитаго разсказа. Много лѣтъ прошло послѣ того; всѣ, разумѣется, давно забыли о его существованіи, а Веретенниковъ до сей минуты еще повторяетъ при всякомъ случаѣ: в ъ м о е й п о в ѣ с т и, м о я п о в ѣ с т ь, и пр.

Литераторы не любятъ Веретенникова, потому что передъ ними онъ корчитъ свѣтскаго человѣка и все толкуетъ о своихъ пріятеляхъ князьяхъ, графахъ и баронахъ; а свѣтская молодежь смѣется надъ нимъ, потому что въ кругу ея онъ корчитъ литератора.

— Имѣю честь представить.,. Баронъ Щелкаловъ! — сказалъ Веретенниковъ хозяину дома, указавъ на господина, слѣдовавшаго за нимъ, поправивъ свои воротнички и выставивъ одну ножку въ лакированномъ сапогѣ впередъ.

Щелкалову казалось лѣтъ подъ тридцать. Онъ былъ высокаго роста и недуренъ собой: черные и волнистые густые волосы, черные, довольно выразительные глаза, небольшой, немного приподнятый кверху носъ и въ глазу стеклышко, съ которымъ онъ какъ будто бы родился. Одѣтъ онъ былъ съ тою щегольскою небрежностью, къ которой тщетно стремятся нѣкоторые франты всю жизнь и такъ умираютъ, не достигая ея; сложенъ былъ очень недурно, но держался странно, какъ будто бы всѣ члены его ослабли, завяли или развинтились: голова, казалось, едва держалась на плечахъ, руки болтались, опущенныя, спина была нѣсколько сгорблена. Съ перваго раза можно, пожалуй, было принять его за больного, но стоило только попристальнѣе взглянуть на него, чтобы совершенно разубѣдиться въ этомъ. Смуглое лицо

его выражало, напротивъ, цвѣтущее здоровье и несомнѣнную силу. Человѣкъ простой призадумался бы при этомъ странномъ явленіи, а для человѣка свѣтскаго оно не казалось нисколько страннымъ и объяснялось очень легко и просто довольно страннымъ словомъ — *шикъ* (du chic). Въ самомъ дѣлѣ, это слабость, завялость или развинченность, какъ хотите была — *шикъ*.

Веретенниковъ сіялъ отъ удовольствія, представляя барона Щелкалова. Въ глубинѣ своей онъ благоговѣлъ передъ Щелкаловымъ и смотрѣлъ на него, какъ низшій на высшаго, потому что Щелкаловъ посѣщалъ такіе дома, которые были недосягаемы для Веретенникова, и говорилъ свободно, зѣвая, заложивъ пальцы за жилетъ, съ такими дамами, при одной мысли о которыхъ у Веретенникова захватывало дыханіе; но свое благоговѣніе, свою внутреннюю подчиненность передъ Щелкаловымъ онъ скрывалъ усиленно: смертельно боялся, чтобы какой-нибудь наблюдательный глазъ не подмѣтилъ ее, и поэтому обращался съ нимъ неестественно фамильярно.

Хозяинъ дома крѣпко пожалъ руку Веретенникова и протянулъ ее къ барону, не безъ чувства. Баронъ слегка и разсѣянно пожалъ ее и началъ смотрѣть на стѣны въ свое стеклышко.

— Милости просимъ, пожалуйте въ гостиную, — говорилъ старикъ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ, — сдѣлайте одолженіе

— Что это? — спросилъ Щелкаловъ, не слушая приглашеній старика и остановя свое стеклышко на картинѣ, изображавшей какую-то дѣтскую головку. — Копія съ Грёза что ли?

— Съ Грёза, — воскликнулъ обрадованный старикъ.—Вѣдь прекрасная вещь, не правда ли?

Онъ растрогался и началъ смотрѣть на картину слезящими глазами.

— Недурная копія, — продолжалъ Щелкаловъ съ видомъ знатока, закладывая руку за жилетъ и слегка искрививъ въ сторону нижнюю губу, какъ бы желая зѣвнуть. — Вы охотникъ что ли до картинъ?.. Заходите когда-нибудь к

мнѣ. У меня есть настоящій Грёзъ... Ты знаешь, Веретенниковъ, князь Чамбаровъ мнѣ давалъ за женскую головку три тысячи рублей, но я ее не отдамъ и за десять.

Лидія Ивановна, выглядывавшая изъ дверей гостиной, слѣдила съ любопытствомъ за движеніями гостя и прислушивалась къ его рѣчамъ, стараясь, впрочемъ, скрыть это отъ другихъ гостей и казаться совершенно равнодушною.

— У моего пріятеля есть настоящій портретъ Грёза, писанный имъ самимъ... Удивительный портретъ... Ты знаешь, Веретенниковъ—у Левушки?

Проговоривъ это, какъ будто бы кто-нибудь заставлялъ говорить его насильно, Щелкаловъ, лѣниво волоча ноги, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и очутился въ самыхъ дверяхъ гостиной.

Веретенниковъ юркнулъ впередъ и представилъ его Лидіи Ивановнѣ.

Щелкаловъ, не выпуская изъ глазъ стеклышка, слегка наклонилъ голову въ отвѣтъ на ея французское привѣтствіе.

— Вотъ, баронъ, моя дочь, — сказалъ Алексѣй Аѳанасьичъ, — а вотъ и сынъ, вы съ нимъ, кажется, ужъ знакомы; милости прошу садиться; — и старикъ подставилъ ему кресла. — Теперь пора бы и чайку, — продолжалъ онъ, взглянувъ на Лидію Ивановну.

Лидія Ивановна бросила косвенный взглядъ на Алексѣя Аѳанасьича и чуть-чуть пожала плечами, какъ бы желая сказать этимъ: «да когда же вы будете умѣть себя вести при чужихъ, какъ слѣдуетъ?»

Между тѣмъ Щелкаловъ протянулъ руку сыну и заговорилъ, не обращаясь, впрочемъ, ни къ кому и все посматривая на потолокъ въ свое стеклышко, хотя потолокъ не представлялъ ничего особеннаго.

— Какъ же, мы старые знакомые... Ну, что, батюшка, не написали ли вы чего-нибудь новенькаго?.. У васъ славный стихъ!

Стеклышко барона съ потолка перешло на хозяевъ и потомъ на гостей... Онъ началъ всѣхъ насъ разсматривать съ такою беззастѣнчивостью, съ какою обыкновенно разсматрива-

ютъ неодушевленные предметы. Въ это время Веретенниковъ заливался, какъ соловей: разсказывалъ анекдоты, цитировалъ извѣстныя рукописныя эпиграммы и вообще блисталъ любезностью. Зашла между прочимъ рѣчь о странностяхъ покойнаго Крылова. Лидія Ивановна ловко этимъ воспользовалась, обратилась къ барону съ пріятнѣйшею улыбкою и сказала по-французски:

— Я слышала, баронъ, что вы также занимаетесь поэзіей?

— Да, такъ иногда, отъ нечего дѣлать, — отвѣчалъ баронъ по-русски. — У меня есть маленькая способность писать стихи... вашъ сынъ находитъ тоже.

Щелкаловъ писалъ стихи въ альбомы разнымъ дамамъ и былъ, говорятъ, совершенно убѣжденъ, что ему стоило только небольшого усилія, маленькаго труда для того, чтобы стать на ряду съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Этимъ отчасти объяснялось его внезапное появленіе въ литературномъ и артистическомъ семействѣ Грибановыхъ.

— Я надѣюсь, баронъ, что вы будете такъ добры, прочтете намъ что-нибудь, — продолжала Лидія Ивановна, заигравъ глазками, какъ во время оно, и устремляя ихъ на Щелкалова.

— Пожалуй, — произнесъ небрежно Щелкаловъ; не смотря на нее и закинувъ голову назадъ, продолжалъ, какъ будто про себя. — У меня много стиховъ... что бы вамъ прочесть?.. постойте... постойте...

— Прочти, братецъ, — возразилъ Веретенниковъ, — послѣдние твои стихи въ альбомѣ графини Воротынцевой... C'est charmant! charmant!

— Да, какъ бишь они начинаются?.. У меня такая плохая память...

Я вамъ скажу, я вамъ скажу..

— О, нѣтъ, не такъ, — перебилъ Веретенниковъ, — ты врешь.

„Сказать, графиня, что вы милы,

— Ахъ, да, да, да!

Сказать, графиня, что вы милы,
Что вами *нашъ* гордится кругъ;
Что вы какъ солнце; что свѣтилы
Всѣ остальныя меркнутъ вдругъ,
Поглощены огнемъ и свѣтомъ
Чудесной вашей красоты,
Что ароматомъ вы и цвѣтомъ
Затмили лучшіе цвѣты, —
Цвѣтокъ роскошный и прелестный!
Но это всѣмъ давно извѣстно.
Нѣтъ! лучше это позабыть
И съ безмятежностію чинной
Любовью кроткой и невинной,
Любовью братской васъ любить!

Продекламировавъ эти стихи съ сильными удареніями и съ нѣкоторою торжественностью, Щелкаловъ обвелъ взоромъ все собраніе съ такимъ самодовольствіемъ, какъ будто бы хотѣлъ сказать: «Вѣдь вотъ вы здѣсь вѣрно все литераторы, ну, а попробуйте написать такъ!»

— Ахъ, какъ это граціозно! — воскликнула Лидія Ивановна, обращаясь ко всѣмъ намъ.

Иванъ Алексѣичъ смотрѣлъ въ глаза Щелкалову во время декламаціи съ большою пріятностью, покачивая въ тактъ головою, что не помѣшало ему однакоже замѣтить сосѣду шопотомъ:

— Пошлые стишонки... И вѣдь вотъ чѣмъ забавны эти господа: напишутъ какой-нибудь мадригальчикъ, думаютъ, что сдѣлали дѣло, и счастливы.

Всѣ мы, за исключеніемъ Веретенникова и дамъ, присутствовавшихъ тутъ, раздѣляли, кажется, о стихахъ Щелкалова мнѣніе, сообщенное на ушко Иваномъ Алексѣичемъ. Всѣ мы съ нѣкоторымъ внутреннимъ негодованіемъ и отчасти даже со злобою, смотря на него, думали: «Вотъ пустѣйшій-то господинъ!» но если Щелкаловъ обращался во время разговора къ кому-нибудь изъ насъ, онъ встрѣчалъ и привѣтливый отвѣтъ, и привлекательную улыбку... Признаться, мы нѣсколько завидовали его смѣлости. Мы, которые были чуть не съ дѣтства знакомы въ домѣ, чувствовали

себя не совсѣмъ свободными съ Надеждой Алексѣевной и даже иногда не находили предмета для разговора съ нею: а онъ, въ первый разъ въ жизни видѣвшій ее, уже сидѣлъ возлѣ нея, наклонясь къ самому ея плечу, принявъ живописно небрежную позу, и такъ свободно разговаривалъ, какъ будто вѣкъ былъ знакомъ съ нею, такъ смѣло и дерзко глядѣлъ на нее, что бѣдная дѣвушка должна была даже вспыхивать и потуплять глаза.

— У васъ, говорятъ, очень пріятный голосъ. Правда это?— спросилъ онъ ее.

— Нѣтъ,—отвѣчала Наденька:—я пою дурно.

— О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь: я вамъ скажу правду.

— Ни за что.

— Вы капризничаете. А вотъ я пожалуюсь на васъ папенькѣ или тетенькѣ... Это ваша тетенька?.. Что! вы, я думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вамъ аккомпанировать?

И Щелкаловъ подошелъ къ роялю, взялъ нѣсколько аккордовъ, самъ что-то такое промурлыкалъ и между тѣмъ смотрѣлъ на Наденьку, какъ бы вызывая ее.

Лидія Ивановна начала упрашивать барона, чтобы онъ спѣлъ, говоря, что она очень много наслышана объ его удивительномъ голосѣ; Алексѣй Аѳанасьичъ присоединилъ къ этому свою просьбу.

— Пожалуй, но съ условіемъ, — возразилъ Щелкаловъ, обратясь къ старику, — чтобы потомъ намъ спѣла что-нибудь ваша дочь... Иначе я не пою.

— Слышишь, Наденька? — сказалъ старикъ, обращаясь къ ней съ улыбкою...

— Я надѣюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу барона? — прибавила Лидія Ивановна.

Наденька была въ замѣшательствѣ и молчала.

— Она будетъ пѣть, я вамъ даю за нее слово, — произнесла Лидія Ивановна.

— Ну, въ такомъ случаѣ, хорошо... Видите ли, я не такъ капризенъ, какъ вы, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Наденькѣ, и пробѣжавъ руками по клавишамъ, запѣлъ:

Я видѣлъ дѣву на скалѣ..

У Щелкалова былъ не столько пріятный, сколько сильный голосъ, и пропѣлъ онъ не безъ эффекта.

Какъ водится, раздался громъ рукоплесканій, когда онъ кончилъ, и даже Пруденскій, все время искоса смотрѣвшій на него въ свои очки, воскликнулъ: «Превосходно!» и замѣтилъ мнѣ шопотомъ: «Хотя пустой человѣкъ, но несомнѣнно обладающій свѣтскими талантами. .» и при этомъ глубокомысленно поправилъ свои золотые очки.

Наденька пропѣла какой-то романсикъ дрожащимъ голосомъ, Щелкаловъ перевертывалъ ноты и говорилъ ей вполголоса одобрительнымъ тономъ: «Bravo! Bravo! Charmant.. только посмѣлѣе!» А молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, стоялъ, какъ убитый прислонившись къ печкѣ, и отъ времени до времени бросалъ сердитые взгляды на Щелкалова. Другой романсъ Наденька спѣла уже гораздо лучше. Щелкаловъ торжественно объявилъ, что у нея голосъ превосходный, чистѣйшій *soprano*, и что ему не достаетъ только методы и обработки... Въ заключеніе онъ спѣлъ съ ней дуэтъ, не помню, изъ какой-то итальянской оперы и сказалъ, пристально взглянувъ на нее въ свое стеклышко, взявъ ея руку и крѣпко пожавъ ее:

— Право, недурно!.. Учитесь,—продолжалъ Щелкаловъ,— у васъ отличныя музыкальныя способности. Хотите взять меня въ учителя?—прибавилъ онъ, улыбаясь и ни мало не обращая вниманія на ея замѣшательство.

Лидія Ивановна была въ восторгѣ отъ барона; онъ былъ героемъ этого вечера; Веретенниковъ—его наперстникомъ, а всѣ мы остальные—статистами.

Этотъ вечеръ живо врѣзался мнѣ въ память со всѣми мелкими подробностями. У меня какъ теперь передъ глазами Макаръ, единственный лакей Грибановыхъ,—рослый, неуклюжій, нечистый, всегда ходившій въ длинномъ сюртукѣ и съ голыми руками,—вдругъ появившійся во фракѣ, въ нитяныхъ перчаткахъ, съ серебрянымъ подносомъ и съ особенною торжественностью на лицѣ, прямо направлявшій

шаги свои мимо дамъ къ Щелкалову, и невиданный до тѣхъ поръ въ домѣ казачокъ также въ нитяныхъ огромнѣйшихъ перчаткахъ, слѣдовавшій за Макаромъ съ другимъ подносомъ, усыпаннымъ различными хитрыми сухариками, крендельками и печеньями. Я никогда не забуду удивленія Макара, когда Щелкаловъ отказался отъ чая, и его вопросительныхъ взглядовъ, переходившихъ отъ барона къ Лидіи Ивановнѣ и обратно; трехъ безмолвныхъ барышень, сидѣвшихъ рядомъ и какъ двѣ капли воды похожихъ одна на другую, переглядывавшихся между собою при каждомъ словѣ и движеніи Щелкалова, и четвертую, постарше первыхъ трехъ, пребойкую особу съ двойнымъ золотымъ лорнетомъ на цѣпочкѣ, съ взбитыми спереди и закинутыми назадъ волосами, которая послѣ *Дѣвы на скалѣ*, пропѣтой Щелкаловымъ, шепнула первымъ тремъ такъ, что я могъ ясно слышать: «Ахъ, mesdames, просто чудо, душка!..»

Щелкаловъ, разлегшись въ креслахъ, началъ что-то разсказывать, и всѣ слушали его, затаивъ дыханіе; потомъ онъ всталъ, разсѣянно подошелъ опять къ роялю, заигралъ польку и вдругъ остановился, не кончивъ ея; сталъ посреди залы, осмотрѣлъ барышень въ свое стеклышко съ ногъ до головы и, обращаясь къ Лидіи Ивановнѣ, сказалъ:

— А что изъ нихъ кто-нибудь полькируетъ?

Всѣ мы были поражены этимъ страннымъ вопросомъ, особенно тономъ, съ которымъ онъ былъ предложенъ, а Пруденскій, поправивъ свои очки, замѣтилъ:

— Это уже, кажется, переходитъ за ту черту, которая раздѣляетъ свѣтскость отъ наглости...— И при этомъ прибавилъ съ ироническою улыбкою.— Отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ.

Даже восхищенныя Щелкаловымъ барышни, повидимому, нѣсколько оскорбились этимъ вопросомъ, и бойкая барышня, съ двойнымъ лорнетомъ, ловко играя имъ, замѣтила по-французски, нѣсколько прищуривъ глаза и не обращаясь къ барону:

— Да что жъ за новость танцовать польку? (Хотя полька, надобно замѣтить, была точно въ то время еще новостью.)

— А вы танцуете? — спросилъ Щелкаловъ, обратясь къ ней.

Барышня засмѣялась громко и не безъ аффектации обвела взоромъ все собраніе, какъ бы желая обратить вниманіе на свою смѣлость, и сказала очень рѣзкимъ тономъ:

— Ну, да. Что же изъ этого?

— Ничего особеннаго, — возразилъ Щелкаловъ, — кромѣ того, что въ такомъ случаѣ я желалъ бы сдѣлать съ вами одинъ туръ.

И онъ безъ дальнѣйшихъ объясненій обвилъ одною рукою станъ барышни и, повернувъ голову назадъ, спросилъ:

— Кто жъ будетъ играть?

— Nadine, сыграй ты! — воскликнула Лидія Ивановна.

Наденька сѣла за рояль. Всѣ отодвинули свои стулья къ стѣнѣ. Раздались звуки польки, и Щелкаловъ, не выбрасывая изъ глаза стеклышка, началъ извиваться по комнатѣ со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, потомъ онъ нѣсколько разъ перевернулъ ее и почти бросилъ на стулъ.

— Съ вами полькировать очень ловко, — сказалъ онъ, — послѣ графини Высоцкой вы полькируете лучше всѣхъ, съ кѣмъ я танцовалъ.

Бойкая барышня замерла отъ восторга при этомъ замѣчаніи. Она подошла къ своимъ безмолвнымъ и робкимъ подругамъ и что-то шепнула имъ, закативъ зрачки подъ лобъ отъ умиленія, и потомъ нахмурила брови и съ презрительной гримасой кивнула головой въ нашу сторону.

Я угадалъ этотъ шопотъ.

Барышня шептала:

— Отъ него (т.-е. отъ барона) можно съ ума сойти, это ужъ не то, что ваши неуклюжіе-то ученые (т.-е. мы).

Часу въ первомъ въ исходѣ, въ то время, когда уже въ залѣ накрывали на столъ и Пелагея Петровна бѣгала впопыхахъ за кулисами, бранясь съ Макаромъ и подирая за уши казачка, Щелкаловъ взялся было за шляпу. У Лидіи Ивановны выступилъ холодный потъ ужаса.

— Баронъ, что это вы? куда вы? — воскликнула она. —

Сейчасъ подадутъ ужинъ... Не угодно ли вамъ будетъ чего-нибудь закусить, такъ, запросто, по-домашнему?

— Я никогда не ужинаю, — отвѣчалъ баронъ, — и къ тому же, что-то нехорошо себя чувствую... да и пора уже.

Баронъ взглянулъ на часы и зѣвнулъ.

— Я прошу васъ, останьтесь, баронъ,—продолжала Лидія Ивановна,— можетъ быть, вамъ придетъ аппетитъ и вы чего-нибудь скушаете. Mr. Веретенниковъ, я васъ ни за что не пущу.

И Лидія Ивановна съ любезностью отняла у него шляпу.

— Попросите барона, чтобы онъ остался, — прибавила она самымъ сладкимъ и вкрадчивымъ голосомъ.

— Послушай, — сказалъ Веретенниковъ барону, отведя его нѣсколько въ сторону, — въ самомъ дѣлѣ останься, неловко... Они вѣдь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужинъ, разорились!.. Ты, если не хочешь ѣсть, то хоть посмотри на него. Все же имъ будетъ легче. Зачѣмъ этихъ бѣдныхъ людей приводить въ отчаяніе?.. Останься...

— Ты думаешь? — возразилъ Щелкаловъ, зѣвая, — пожалуй.

И онъ бросилъ свою шляпу, къ несказанному удовольствію Лидіи Ивановны.

— А знаете, — произнесъ Пруденскій, обращаясь къ сидѣвшимъ возлѣ него, въ томъ числѣ и ко мнѣ, и понюхивая табакъ съ разстановкой и глубокомысленно, потому что Пруденскій дѣлалъ все, даже и нюхалъ табакъ, глубокомысленно, — знаете, что нѣтъ худа безъ добра. Пословицы всегда вѣрны, это практическіе выводы народной жизни. Если бы здѣсь не было сегодня этого ловкаго свѣтскаго фата, мы не имѣли бы такого ужина, который насъ ожидаетъ. Я предвижу, что это будетъ нѣчто въ родѣ фестеня.

Ужинъ былъ дѣйствительно необыкновенный: четыре блюда подъ различными, весьма хитрыми украшеніями, изъ которыхъ нѣкоторыя представляли видъ бастіоновъ, а другія походили на готическія башни; нога ветчины была завернута въ султанъ, искусно вырѣзанный изъ цвѣтной бумаги, а желе было иллюминовано стеариновымъ огаркомъ, вставленнымъ внутрь его дрожащихъ стѣнокъ. Поваръ обнару-

жилъ, если не поварской, то, по крайней мѣрѣ, архитектурный талантъ. Первое почетное мѣсто по правую руку отъ Лидіи Ивановны приготовлено было для барона. Лидія Ивановна указала ему рукой на это мѣсто, приглашая его сѣсть; но онъ искусно отдѣлался отъ этого, посадивъ вмѣсто себя Веретенникова, а самъ сѣлъ между Наденькой и смѣлой барышней съ двойнымъ лорнетомъ. Онъ не ѣлъ почти ничего и даже не снималъ салфетки съ своего прибора, къ великому огорченію Лидіи Ивановны, которая безпрестанно обращалась къ нему.

— Отвѣдайте этого, баронъ... Вотъ это блюдо самое легкое... выкушайте вотъ этого вина... и прочее.

Но баронъ не слушалъ этихъ любезныхъ приглашеній; онъ что-то такое нашептывалъ въ это время своимъ сосѣдкамъ, изъ которыхъ одна все краснѣла, а другая все фыркала отъ смѣха. Несмотря на это, Лидія Ивановна безпрестанно мигала Алексѣю Аѳанасьичу, чтобы тотъ наливалъ вино барону. Всѣ рюмки и стаканы, стоявшіе передъ Щелкаловымъ, уже были полны, и Алексѣй Аѳанасьичъ принужденъ былъ наливать ему въ стаканы барышенъ.

— Что это за батарея?—вдругъ воскликнулъ Щелкаловъ, улыбаясь и взглянувъ въ свое стеклышко на стоявшіе передъ нимъ стаканы и рюмки, наполненные разноцвѣтнымъ виномъ.—Это все мнѣ?.. Вы полагаете, что я все это выпью?

— Отвѣдайте вотъ хоть красненькаго, отличный лафитецъ,—отвѣчалъ добродушно Алексѣй Аѳанасьичъ,—тончайшее винцо!

И какъ бы соблазняя барона, старикъ отпилъ изъ своего стакна, чмокая губами.

Щелкаловъ поднесъ свой стаканъ ко рту и только помочилъ губы... Зато Пруденскій, не угощаемый никѣмъ особенно, ѣлъ и пилъ съ величайшимъ аппетитомъ, придерживаясь изъ винъ въ особенности мадеры.

— Это вино здоровое, укрѣпляющее, полезное для желудка.—замѣчалъ онъ,—способствующее пищеваренію.—Хотя укрѣплять Пруденскаго и способствовать пищеваренію

его желудка было совершенно излишне, потому что этотъ желудокъ могъ переварить камни.

Къ концу ужина Лидія Ивановна значительно взглянула на Макара; Макаръ утвердительно кивнулъ ей головой въ отвѣтъ и явился черезъ минуту съ бутылкой, обернутой въ салфетку. Ему было настрого приказано отъ Лидіи Ивановны откупорить бутылку безъ шума, но Макаръ не выдержалъ искушенія: пробка выстрѣлила и взлетѣла къ потолку съ такимъ эффектомъ, что всѣ гости, не исключая даже Пруденскаго, вздрогнули, а Лидія Ивановна помертвѣла, бросивъ глубоко значительный взглядъ на Алексѣя Аѳанасьича и пожавъ плечами.

Щелкаловъ чокнулся своимъ бокаломъ съ бокаломъ Наденьки, а молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, сидѣвшій напротивъ и слѣдившій за малѣйшимъ ея движеніемъ, безпрестанно измѣнялся въ лицѣ отъ внутренней тревоги. Онъ видѣлъ, что Наденька перестала дичиться Щелкалова, что она свободно и непринужденно разговариваетъ съ нимъ, что его общество даже пріятно ей. Онъ видѣлъ, что Щелкаловъ особенно ухаживаетъ за Наденькой; но онъ не видѣлъ того, что, въ добавленіе всего этого, видѣлъ я, хладнокровный наблюдатель: досады, выражавшейся на лицѣ смѣлой барышни съ двойнымъ лорнетомъ, оттого, что Щелкаловъ болѣе оказывалъ вниманія Наденькѣ, нежели ей, и тѣхъ ироническихъ взглядовъ, которые барышня иногда бросала на Наденьку.

Послѣ ужина Щелкаловъ, съ шляпой въ рукѣ, вдругъ сказалъ, обращаясь къ Наденькѣ:

— Ахъ, да! я вамъ говорилъ давеча о романсѣ, который я положилъ на музыку. Хотите имѣть понятіе о моемъ музыкальномъ дарованіи?

И не дожидая отвѣта, снялъ перчатку, бросилъ шляпу, сѣлъ къ роялю, остановился на минуту, задумался и запѣлъ:

Любилъ твой голосъ кроткій, нѣжный,
Задумчивый, туманный взглядъ,
Твой локонъ, вившійся небрежно,
И твой обдуманный нарядъ...
Тебя любилъ, тебя люблю!

Любилъ я слушать твои рѣчи,
Твоя движенья подмѣчать,
Смотрѣть на станъ твой и на плечи
И взглядъ твой пламенный встрѣчать..
Тебя любилъ, тебя любилъ!

Любилъ, когда въ разгарѣ бала,
По скользкимъ лаковымъ поламъ,
Ты, упоенная, летала,
Взглядъ посылая гордый намъ...
Тебя любилъ, тебя любилъ!

Любилъ, когда въ уединеньи,
Въ таинственный полночи часъ,
Ты говорила мнѣ въ смятеньи.—
«Скажи, кто счастливѣе насъ?»
Тебя любилъ, тебя любилъ!

Всегда, вездѣ — и въ залѣ шумной,
Въ каретѣ, въ ложѣ, на конѣ
И на яву и въ сладкомъ снѣ,
Любовiю страстной и безумной
Тебя любилъ, тебя любилъ!

При послѣднемъ повторенiи: *тебя любилъ!* голосъ Щелкалова обратился въ неистовый крикъ и вопль, который однако произвелъ невообразимое впечатлѣнiе на слушателей.

— Bravo! Bravo! — раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Ravissant! — шепнула бойкая барышня съ лорнетомъ.

— Bravissimo! — прибавилъ многозначительно Пруденскiй. — И въ словахъ много страсти. Позвольте, это ваши собственныя слова? — сказалъ онъ, обратясь къ Щелкалову.

Щелкаловъ не замѣтилъ этого вопроса.

— Этотъ романсъ, — произнесъ онъ какъ будто про себя, — напоминаетъ мнѣ очень многое!

И онъ провелъ рукою по лицу, всталъ со стула, схватилъ шляпу, съ нетерпѣливымъ волненiемъ началъ натягивать перчатку, разорвалъ ее и бросилъ, взглянулъ на часы, проговорилъ себѣ подъ носъ: «Пора!», раскланялся Лидiи Ивановнѣ, пожалъ руку Наденькѣ и, кивнувъ остальнымъ головою, обратился къ Веретенникову:

— Ѣдемъ... Ты вѣдь меня везешь въ своемъ экипажѣ?

— Я надѣюсь, баронъ, что это не въ послѣдній разъ, сдѣлайте одолженіе, мы всегда рады, — раздавалось вслѣдъ за нимъ.

Алексѣй Аѳанасьичъ, проводивъ почетныхъ гостей, возвратился изъ передней, неся въ рукѣ галстукъ и дыша какъ будто свободнѣе. Намъ всѣмъ также стало полегче.

Наступила минута молчанія.

— Вотъ нападаютъ на свѣтскихъ людей, — произнесла, наконецъ, Лидія Ивановна въ раздумьи, — а нельзя не сознаться, что въ нихъ много ума и талантовъ!

— Да, это правда, — возразилъ Алексѣй Аѳанасьичъ, — только все-таки эти господа хороши изрѣдка.

— Это почему? — спросила Лидія Ивановна недовольнымъ голосомъ.

— Потому, матушка, что хорошенькаго понемножку, — отвѣчалъ онъ улыбнувшись.

ГЛАВА III.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ БАРОНА ЩЕЛКАЛОВА, ИЗЪ КОТОРАГО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ МОЖЕТЪ ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОДРАЗУМѢВАЕТСЯ ПОДЪ СЛОВОМЪ „ХЛЫЩЪ".

У меня есть знакомый—человѣкъ очень богатый, свѣтскій и умный. Въ свѣтѣ его не любятъ, и говорятъ, что у него злой языкъ, но свѣтъ за нимъ ухаживаетъ именно потому, что онъ богатъ и золъ. Свѣтъ его боится. Имѣетъ ли онъ злой языкъ дѣйствительно — я не знаю; онъ просто видитъ вещи въ настоящемъ ихъ свѣтѣ, владѣетъ юморомъ и высказываетъ свое мнѣніе обо всемъ и обо всѣхъ прямо, не входя ни въ какія соображенія и расчеты.

Черезъ нѣсколько времени послѣ знаменитаго вечера у Грибановыхъ я встрѣтился у него съ барономъ Щелкаловымъ. Это было утромъ.

Щелкаловъ лежалъ, развалясь въ креслахъ, съ сигарой

въ зубахъ и съ стеклышкомъ въ глазу. Хозяинъ дома назвалъ насъ другъ другу по имени.

Баронъ слегка приподнялся, сдѣлалъ движеніе головою и потомъ снова упалъ въ кресло и началъ меня разсматривать въ свое стеклышко съ ногъ до головы.

— Я, кажется, имѣлъ удовольствіе видѣть васъ недавно, — сказалъ я.

Онъ сначала вопросительно и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на меня, потомъ сказалъ сквозь зубы:

— Очень можетъ быть... гдѣ же это?

— У Грибановыхъ, — продолжалъ я.

Онъ сдѣлалъ видъ, какъ будто припоминаетъ, что это такое Грибановы.

— Ахъ, да, — проговорилъ онъ черезъ минуту, — я былъ тамъ.

Въ этотъ разъ Щелкаловъ показался мнѣ проще. Онъ ломался несравненно менѣе; все, что говорилъ, говорилъ неглупо, но хотя разговоръ былъ общій, онъ рѣдко обращался ко мнѣ, и то всякій разъ какъ будто нехотя.

Въ третій разъ я почти нечаянно натолкнулся на него въ театрѣ, въ тѣснотѣ, во время антракта, и поклонился. Онъ едва кивнулъ мнѣ въ отвѣтъ головой, потомъ взглянулъ на меня такъ, какъ будто хотѣлъ спросить:

«Что ты за человѣкъ и какимъ образомъ я могу быть знакомъ съ тобой? и зачѣмъ ты безпокоишь меня?»

Послѣ этого я часто встрѣчался съ нимъ въ театрѣ, на улицѣ. у нашего общаго знакомаго, но я уже не кланялся ему и не говорилъ съ нимъ. Онъ также не обращалъ на меня ни малѣйшаго вниманія.

Такъ прошло мѣсяца два. Въ одинъ вечеръ, въ фойе Большого театра кто-то положилъ мнѣ руку на плечо. Я обернулся и увидѣлъ передъ собою Щелкалова.

— Ну что, какъ вы поживаете? Васъ что-то не видно... А вы любите музыку?

И прежде нежели я успѣлъ удивиться, онъ продѣлъ свою руку въ мою, потащилъ меня за собою по заламъ и началъ разсказывать мнѣ о частной жизни примадонны, которая про-

изводила тогда фуроръ въ Петербургѣ, объ ея умѣ, образованіи, о его дружбѣ съ нею, о томъ, какъ она цѣнитъ его музыкальныя познанія и какъ слушается его замѣчаній. Надобно замѣтить, что это было при самомъ началѣ антракта, когда въ залахъ почти еще не было никого. Вдругъ въ самомъ жару его разсказа появился въ концѣ залы какой-то молодой человѣкъ въ мундирѣ съ аксельбантами. Щелкаловъ, увидѣвъ его, остановился на полсловѣ, бросилъ мою руку, какъ будто испуганный чѣмъ-то, и пошелъ къ нему навстрѣчу, дѣлая привѣтливые знаки рукою.

Онъ прошелся съ нимъ раза два по залѣ, и когда молодой человѣкъ съ аксельбантами оставилъ его, Щелкаловъ, остановившись среди залы, обозрѣлъ ее кругомъ въ свое стеклышко, опять подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

– Ужасно душно... пить хочется... У вась есть мелочь, дайте мнѣ... я забылъ.

Я молча подалъ барону четвертакъ, и онъ направилъ шаги къ буфету.

Такое поведеніе барона Щелкалова казалось мнѣ въ то время, по неопытности, необъяснимымъ. Я мало тогда видалъ такого рода господъ, и его личность казалась мнѣ даже оригинальною. Впослѣдствіи я коротко уже познакомился съ этою личностью въ разныхъ экземплярахъ.

Вотъ кое-какія свѣдѣнія, собранныя мною отъ разныхъ лицъ о Щелкаловѣ, перемѣшанныя съ тѣмъ, что я самъ видѣлъ собственными глазами и слышалъ собственными ушами.

Какимъ образомъ, когда и почему къ фамиліи Щелкаловыхъ присоединенъ баронскій титулъ—этого я не знаю; дѣло въ томъ, что его дѣдушка нажилъ вдругъ огромное состояніе. Говорятъ, большія богатства никогда не наживаютъ правдой; но это говорятъ тѣ, у которыхъ ничего нѣтъ. Отецъ Щелкалова прожилъ почти все, что нажилъ дѣдъ. Отецъ задавалъ неслыханные обѣды и ужины, съ персиками, сливами, земляниками и клубниками середи зимы, въ лѣсу изъ померанцевыхъ деревьевъ; миѳологическія празднества, о которыхъ до сихъ поръ разсказываютъ старики мо-

лодому поколѣнію какъ о седьмомъ чудѣ. Щелкаловъ былъ счастливъ мыслью, что ни одна изъ извѣстностей и знаменитостей того времени не миновала его порога, что даже самъ князь N., не удостоившій посѣщать никого въ теченіе, по крайней мѣрѣ, тридцати лѣтъ, изволилъ посѣтить одинъ изъ его праздниковъ, ко всеобщему изумленію и, уѣзжая, приложилъ руку къ губамъ, сказавъ ему:

— Прекрасно, очень хорошо: ты человѣкъ со вкусомъ.

При чемъ у Щелкалова брызнули слезы изъ глазъ... Въ городѣ въ теченіе по крайней мѣрѣ мѣсяца только и разговоровъ было, что о праздникѣ барона Щелкалова, на которомъ присутствовалъ самъ князь N., да о словахъ, сказанныхъ барону княземъ N. Баронъ послѣ этого началъ пользоваться еще бóльшимъ уваженіемъ: на него стали слаще глядѣть, ему стали крѣпче жать руку и говорили, значительно покачивая головою:

— Съ нимъ, батюшка, шутить нечего. Къ нему ѣздитъ самъ князь N.!

Баронъ до конца жизни съ умиленіемъ разсказывалъ объ этомъ необыкновенномъ событіи. Еле движущійся отъ паралича, въ долгахъ, полузабытый всѣми, старикъ повторялъ со вздохомъ:

— Ну, по крайней мѣрѣ пожилъ! самъ князь N. удостоилъ однажды мой праздникъ!

Единственный сынъ барона Щелкалова воспитанъ былъ въ баловствѣ и роскоши. Изъ кружевъ и изъ блондъ онъ ужъ въ колыбели смотрѣлъ гордо. Съ четырехъ лѣтъ начали ему втолковывать нянюшки, мамушки, приживалки и дядьки, что отецъ его лицо необыкновенно важное, что къ нему ѣздитъ самъ князь N., что у нихъ несмѣтное богатство, что онъ единственный наслѣдникъ, и прочее, и прочее... Его предполагали воспитывать не иначе, какъ за границей; по крайней мѣрѣ баронесса-мать непремѣнно требовала этого. За границу уѣхали, но по прошествіи трехъ лѣтъ должны были воротиться въ отечество, потому что дѣла барона пришли въ разстройство. Въ это время малюткѣ

было лѣтъ десять. Щелкаловы продолжали жить, хотя не съ прежнею роскошью, но еще довольно открыто. Между тѣмъ имѣніе за имѣніемъ продавалось.

Десятилѣтній наслѣдникъ этихъ незамѣтно таявшихъ богатствъ былъ очень хорошенькій мальчикъ. Ему всякій день завивали волосы пуклями, которыя спускались до плечъ; водили его въ шелку, въ батистѣ, въ бархатѣ, въ перьяхъ и въ соболяхъ по Невскому проспекту. Онъ обнаруживалъ притомъ значительные таланты: болталъ на нѣсколькихъ языкахъ, прекрасно танцовалъ и на дѣтскихъ балахъ производилъ фуроръ: влюблялся, волочился и во всемъ очень искусно передразнивалъ большихъ. Отъ него всѣ были въ восторгѣ.

Лѣтъ шестнадцати онъ поступилъ въ высшее учебное заведеніе; это было послѣ смерти его матери, которая, говорятъ, не могла перенести разстройства состоянія. Товарищи не полюбили барона, потому что онъ не умѣлъ обращаться ровно: то поддѣлывался къ нимъ неизвѣстно для чего, то вдругъ начиналъ важничать и принималъ гордыя позы. Средства у него въ то время были небольшія, но онъ всегда терся около тѣхъ, которые побогаче и позначительнѣе, и началъ прибѣгать къ займамъ у мелкихъ ростовщиковъ за огромные проценты. Окончивъ воспитаніе, онъ появился въ свѣтѣ и былъ замѣченъ. Нашли, что онъ воспитанъ недурно. Въ самомъ дѣлѣ, онъ говорилъ по-французски какъ французъ, игралъ на фортепіано и пѣлъ, сочинялъ русскіе и французскіе стишки, отличался во всѣхъ с п о р т а х ъ: ѣздилъ верхомъ, стрѣлялъ, плавалъ; былъ вообще очень смѣлъ и развязенъ, умѣлъ одѣваться съ ш и к о м ъ и безъ гроша въ карманѣ казаться богачомъ. Всѣ эти достоинства и молодежь, которой онъ былъ окруженъ, доставили ему кредитъ, который онъ первое время послѣ смерти отца нѣсколько поддерживалъ продажею пятисотъ заложенныхъ душъ изъ восьмисотъ, доставшихся ему.

Эта продажа дала ему еще возможность блеснуть въ Петербургѣ на короткое время — орловскими рысаками, англійскою кобылой, гамбсовскими мебелями, своимъ стариннымъ

серебромъ, лакеемъ въ ливреѣ съ гербами и въ плюшевыхъ красныхъ панталонахъ съ штиблетами.

Онъ носился по Невскому на рысакахъ, которые бросали молніи изъ-подъ копытъ, подпрыгивалъ на англійской кобылѣ какъ истый спортсмэнъ; игралъ на вечерахъ и въ клубѣ въ карты по большой, съ людьми значительными или съ извѣстными игроками, и велъ жизнь такого рода до тѣхъ поръ, покуда средства его почти совсѣмъ истощились. Тогда онъ началъ закладывать вещи.

Заложивъ свое старинное серебро и кубки, баронъ въ первый разъ встревожился, но его прежде всего обезпокоило го, что въ столовой опустѣли этажерки; онъ долго думалъ, чѣмъ бы установить ихъ, и отправился наконецъ къ Нигри, купилъ дюжину японскихъ тарелокъ, севрское блюдо и нѣсколько китайскихъ куколъ на деньги, отложенныя для уплаты какого-то долга. На минуту позабавивъ себя этими игрушками и полюбовавшись эффектомъ, который они производили на этажеркахъ, Щелкаловъ повѣсилъ голову и призадумался о своемъ положеніи. Онъ думалъ довольно долго, потомъ вскочилъ со стула, махнулъ рукой и сказалъ самому себѣ:

— Э! да впрочемъ, что жъ такое? все какъ-нибудь обойдется. Люди съ такими связями и съ такимъ именемъ, какъ у меня, не погибаютъ!

Несмотря, однако, на эту счастливую мысль, онъ рѣшился вести жизнь поразсчетливѣе и поумѣреннѣе, поддерживая, разумѣется, насколько можно свое достоинство, то-есть тѣ аксесуары, безъ которыхъ нельзя же существовать порядочному человѣку. Онъ далъ себѣ слово не играть въ карты и опредѣлилъ въ головѣ очень благоразумно не только вообще свой бюджетъ, но даже и свои дневныя издержки. Баронъ не держалъ у себя стола и почти постоянно обѣдалъ у Леграна, который тогда только что появился. Осуществленіе своихъ экономическихъ плановъ онъ рѣшился тотчасъ же начать съ Леграна, и отправился обѣдать съ намѣреніемъ спросить обыкновенный обѣдъ съ полубутылкой столоваго вина.

Войдя въ первую комнату, баронъ пріостановился на минуту; не снимая шляпы, кивнулъ небрежно хозяину ресторана и съ своимъ стеклышкомъ въ глазу медленно и раскачиваясь направилъ шаги свои въ слѣдующую комнату, гдѣ обыкновенно обѣдалъ. Въ этой комнатѣ, какъ нарочно, сидѣли два господина, да еще знакомые ему. При видѣ ихъ, экономическіе планы барона разлетѣлись мгновенно, какъ дымъ. Щелкаловъ почувствовалъ неудержимое желаніе, во что бы то ни стало, блеснуть передъ этими господами и озадачить ихъ. Онъ прикинулся, будто бы не узнаетъ ихъ, и, остановясь посреди комнаты и не снимая шляпы, сталъ разсматривать ихъ въ свое стеклышко; потомъ промычалъ длинное: — *Аа!* сбросилъ съ себя пальто и, все-таки еще не снимая шляпы, подсѣлъ къ ихъ столу.

— Я могу обѣдать за этимъ столомъ? — произнесъ онъ небрежно и потягиваясь.

— Сдѣлайте одолженіе, — отвѣчали знакомые.

Человѣкъ поднесъ ему карту, но онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ ее и закричалъ:

— Позвать Леграна. Что ты мнѣ суешь карту?.. Развѣ ты не знаешь, что я никогда не обѣдаю по этой глупой картѣ?

Легранъ явился передъ барономъ, съ несовсѣмъ, впрочемъ, довольной физіономіей.

— Ну, что у васъ есть сегодня? — спросилъ его Щелкаловъ по-французски.

Легранъ явился передъ барономъ, съ не совсѣмъ, впро-
Онъ слушалъ его разсѣянно, дѣлая по временамъ гримасы, а между тѣмъ глубокомысленно обдумывалъ обѣдъ. Это продолжалось по крайней мѣрѣ минутъ десять. Наконецъ, изобрѣтя обѣдъ идеальной тонкости, онъ велѣлъ подать лафитъ рублей въ восемь, поставить на ледъ бутылку шампанскаго и закричалъ на людей:

— Что съ вами? вы сегодня, какъ сумасшедшіе... Развѣ вы не знаете, что я не пью изъ этого стекла? Принести тонкое стекло.

И завернувъ рукава своего сюртука, изъ-за котораго

выглядывало тончайшее бѣлье, съ драгоцѣнными запонками, принялся кушать.

Встрѣча съ знакомыми обошлась ему рублей въ двадцать... Когда послѣ ликера ему подали счетъ, онъ вынулъ изъ кармана своихъ панталонъ пукъ смятыхъ ассигнацій, бросилъ на столъ сторублевую бумажку и, наливая бокалы знакомымъ, сказалъ:

— Я здѣсь всегда плачу чистыми деньгами... Эти счеты преопасная вещь... Мнѣ разъ подали счетъ и приписали рублей пятьсотъ лишнихъ.

Когда барону принесли сдачи, онъ далъ человѣку цѣлковый на водку.

Потомъ, увидѣвъ другихъ знакомыхъ, болѣе пріятныхъ, т.-е. болѣе значительныхъ, тѣхъ, которыхъ баронъ обыкновенно звалъ уменьшительными именами, онъ отправился въ ихъ компанію, спросилъ еще бутылки двѣ шампанскаго, приказалъ эти уже записать на счетъ, потомъ заѣхалъ на минутку, по дорогѣ въ театръ, къ одному изъ нихъ, сѣлъ играть въ карты и остался до глубокой ночи: проигрывалъ, бѣсился, проклиналъ свою слабость, и продолжалъ играть, въ надеждѣ отыграться, забывъ всѣ свои благоразумные планы, оперу и все на свѣтѣ.

У Щелкалова были еще тогда абонированныя кресла во второмъ ряду. Я особенно любилъ его въ театрѣ. Онъ никогда не входилъ въ театральную залу прежде половины перваго акта. Со своимъ вѣчнымъ стеклышкомъ, всегда во фракѣ, а иногда въ бѣломъ галстукѣ, въ такіе вечера, когда были большіе балы, онъ волочитъ бывало ноги, нѣсколько раскачиваясь, и посматриваетъ безпечно кругомъ на ложи и на кресла въ свое стеклышко. Дорогою поклонится какой-нибудь великолѣпной дамѣ, дружески кивнетъ головой въ пухъ разряженной m-lle Камилль, улыбнется съ едва замѣтною гримасой также въ пухъ разряженной Дарьѣ Александровнѣ, скажетъ пріятелю, сидящему въ креслахъ, довольно громко, такъ, чтобы всѣ слышали: «А ты сегодня на балѣ? Ѣдемъ отсюда вмѣстѣ...» И довольный произведеннымъ имъ эффектомъ, разляжется въ кресла. Во время

спектакля онъ еще непремѣнно начнетъ разговоръ знаками съ m-lle Камилль или съ Дарьей Александровной, такъ, чтобы это всѣ замѣтили и всѣ видѣли его отношенія къ этимъ дамамъ. Щелкаловъ въ каждую данную минуту рисовался и усиливался обращать на себя вниманіе. У него было разсчитано каждое движеніе, каждое слово, каждый взглядъ; онъ какъ будто безпрестанно боялся, чтобы его хоть на мгновеніе не смѣшали со всѣми, и, казалось, говорилъ толпѣ: «Между мною и вами нѣтъ ничего общаго. Не подходите ко мнѣ близко, но, если хотите, любуйтесь мною издали!» Онъ въ то же время добивался изъ всѣхъ силъ, чтобы казаться совершенно равнодушнымъ ко всему и нѣсколько утомленнымъ жизнію, боялся обнаружить какое-нибудь внутреннее движеніе или чему-нибудь удивиться... Но, увы! никакъ не могъ постоянно выдерживать такой роли и, сознавая это, мучительно завидовалъ одному тупому господину, который, вслѣдствіе неусыпнаго стремленія къ хорошему тону, достигъ, наконецъ, до того, что превратился въ совершенную куклу, въ автомата, едва удостоившаго своимъ взглядомъ людей и природу, едва говорившаго, едва слушавшаго, недоступнаго ни къ какимъ человѣческимъ движеніямъ и ощущеніямъ и не позволившаго бы себѣ, изъ уваженія къ хорошему тону, моргнуть лишній разъ даже и въ такомъ случаѣ, если бъ міръ вдругъ сталъ разрушаться...

Щелкаловъ понималъ всю нелѣпость этого господина, весь его комизмъ, всю смѣшную сторону такъ называемаго хорошаго тона. Онъ очень остроумно смѣялся надъ свѣтомъ, надъ его обыкновеніями и приличіями, даже изрѣдка надъ самимъ собою, и, между тѣмъ, боялся на шагъ отступить отъ этихъ условій, и безпрекословно подчинялся имъ: запутывался, разорялся, лгалъ, обманывалъ, и все изъ одной мысли не быть смѣшнымъ въ глазахъ этого свѣта, надъ которымъ самъ смѣялся. Благоразумныя намѣренія его вести жизнь поскромнѣе и поумѣреннѣе, заняться какимъ-нибудь дѣломъ, служить — откладывались со дня на день. Ни одинъ изъ его опытовъ не удавался. Одинъ разъ онъ болѣе мѣсяца занимался службой очень усердно. Это замѣтили и ему пору-

чили какое-то дѣло, но, какъ нарочно, въ это самое время m-lle Камилль потребовала, сама не зная зачѣмъ, чтобъ онъ каждое утро непремѣнно являлся къ ней... Щелкаловъ бросилъ дѣло и ѣздилъ къ ней каждое утро, самъ не зная зачѣмъ, хотя всѣмъ и каждому говорилъ, что эта Камилла до того надоѣла ему, что онъ не знаетъ, куда отъ нея дѣваться. По мѣрѣ того, какъ обстоятельства его дѣлались хуже и стѣснительнѣе, его манеры и тонъ становились важнѣе и нестерпимѣе. Они доходили даже до нѣкотораго цинизма и наглости, подъ которыми баронъ хотѣлъ скрыть свои плохія обстоятельства. Онъ продалъ своихъ лошадей и экипажи, говоря одному, что хочетъ ѣхать въ чужіе края, другому — что ѣдетъ въ свои деревни, третьему — что ему досталось имѣніе отъ какого-то небывалаго родственника, и онъ отправляется за полученіемъ этого имѣнія. Онъ путался на каждомъ шагу и занималъ уже безъ всякой застѣнчивости и совѣсти у кого ни попало, по большей части у молодыхъ и богатыхъ людей, только что вышедшихъ изъ-за школьной скамейки. Онъ промѣнялъ общество своихъ сверстниковъ, которые начинали смотрѣть на него не совсѣмъ привѣтливо, на ватагу шумной молодежи, которая приняла его съ распростертыми объятіями и передъ которой онъ хвасталъ и ломался немилосердно, не прибѣгая даже къ хитростямъ, для закрытія этого хвастовства. Онъ пріобрѣлъ между ними значительный авторитетъ, потому что представилъ ихъ ко всѣмъ возможнымъ Камилламъ и Дарьямъ Александровнамъ, гдѣ былъ какъ дома. Подъ тридцать лѣтъ сдѣлался для этихъ господъ театраломъ и не пропускалъ ни одного балета, неразлучно обѣдалъ и ужиналъ съ ними въ ресторанахъ и для укрѣпленія своего авторитета даже пилъ вмѣстѣ съ ними, хотя не чувствовалъ никогда къ вину ни малѣйшаго расположенія.

Иногда во время обѣда или ужина онъ вдругъ обращался къ пріятелямъ:

— Господа, нѣтъ ли у кого изъ васъ денегъ? Дайте мнѣ.

Пріятели никакъ не могли подозрѣвать, чтобы баронъ нуждался и чтобы онъ былъ способенъ прибѣгать къ та-

кимъ опошлившимся и устарѣлымъ продѣлкамъ, и наивно спрашивали:

— Сколько?

— Разумѣется, чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Давайте сколько у васъ есть, — отвѣчалъ Щелкаловъ. — Мнѣ не хочется заѣзжать домой, а я вамъ послѣ скажу, на что мнѣ нужны деньги.

Всѣ бумажники вынимались и всякій наперерывъ спѣшилъ удовлетворить его желаніе. Щелкаловъ безъ церемоніи забиралъ деньги, съ величайшимъ презрѣніемъ и небрежностью засовывая ихъ въ карманъ, какъ будто какую-нибудь дрянь, вовсе безполезную ему.

— Я сейчасъ съѣзжу только на минутку, — говорилъ онъ, — а вы подождите меня здѣсь.

— Нѣтъ, не ѣзди... Останься... послѣ... — раздавалось со всѣхъ сторонъ.

И баронъ оставался, не возвращая, однако, взятыхъ имъ денегъ.

Потомъ, мѣсяца два или три послѣ этого, онъ повторялъ имъ отъ времени до времени:

— Господа, я вамъ что-то долженъ, кажется?.. сколько? Пожалуйста напомните мнѣ когда-нибудь у меня...

Сколько разъ бывало, это ужъ я видѣлъ и слышалъ самъ: онъ въ маскарадахъ, не находя своей обычной компаніи, безъ гроша и безъ кредита, только съ однимъ аппетитомъ, шляется бывало наверху тамъ, гдѣ ужинаютъ, со своимъ стеклышкомъ и высматриваетъ въ него знакомыхъ, тѣхъ, которые позастѣнчивѣе. Высмотритъ такихъ и подойдетъ къ ихъ столу.

— Что, господа, — произнесетъ онъ съ необыкновенною важностью и еще искривитъ нѣсколько ротъ для улыбки: — кто изъ васъ хочетъ меня угостить ужиномъ? а?..

— Очень рады, баронъ, садитесь, — отвѣтятъ ему нѣсколько застѣнчивыхъ голосовъ.

— Вѣдь я вамъ обойдусь дорого, господа, я предупреждаю... — прибавитъ онъ съ обязательною и пріятною улыбкой, разсаживаясь важно, выбирая блюдо по картѣ и мор-

щась, какъ будто дѣлая одолженіе позволеніемъ себя угощать. А начавъ ѣсть, непремѣнно еще замѣтитъ: — какая гадость! здѣсь нельзя ужинать... и чортъ знаетъ, что за вино!..

Въ общихъ обѣдахъ или пикникахъ Щелкаловъ участвовалъ постоянно, требовалъ еще обыкновеннаго увеличенія цѣны, а когда дѣло приближалось къ расчету, уѣзжалъ, говоря, что чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровымъ, или обращаясь небрежно къ кому-нибудь изъ присутствующихъ, говорилъ:

— Ѳедя, или Саша, или Коля (кто случится), заплати за меня. Я отдамъ послѣ.

Новички, робкіе и неопытные, были всегда у барона въ запасѣ.

Однажды онъ поймалъ одного изъ такихъ въ коридорѣ при разъѣздѣ изъ театра. Новичокъ, переставъ быть новичкомъ, самъ разсказывалъ мнѣ объ этомъ.

— Саша, — сказалъ онъ ему, — ты куда ѣдешь?

— Да я, право, не знаю, — отвѣчалъ новичокъ.

У барона постоянно былъ прекрасный аппетитъ. Онъ не ѣлъ изъ важности только у такихъ людей, какъ Грибановы.

— Поѣдемъ ужинать къ Леграну. Хочешь?

— Да мнѣ что-то ѣсть не хочется, — сказалъ Саша.

— Вздоръ, братецъ, еще захочется, — возразилъ Щелкаловъ увѣренно, — я тебѣ дамъ самый тонкій ужинъ (и онъ приложилъ палецъ къ губамъ), чудо какой! ты увидишь. Ѣдемъ.

Молодые люди сговорчивы. Саша подумалъ съ минуту и отвѣтилъ:

— Ну, пожалуй.

— У тебя есть экипажъ?

— Есть.

— Ну, такъ ѣдемъ вмѣстѣ.

Щелкаловъ сѣлъ съ Сашей въ его коляску и приказалъ кучеру ѣхать къ Леграну.

Баронъ заказалъ, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпный ужинъ: съ устрицами, съ трюфелями, съ замороженнымъ шампан-

скимъ, поилъ Сашу, разсказывалъ ему анекдоты, не умолкалъ ни на минуту и все становился любезнѣе и остроумнѣе. Былъ уже часъ третій на исходѣ. Сашѣ захотѣлось спать.

— Подай счетъ, что слѣдуетъ съ меня? — сказалъ онъ лакею, полагая, что баронъ, пригласившій его, не допуститъ его платить, но Щелкаловъ молчалъ.

Счетъ былъ принесенъ. Сашѣ слѣдовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянулъ на счетъ, отдалъ его лакею и сказалъ, чтобъ этотъ ужинъ записали, потому что у него нѣтъ съ собой денегъ.

А баронъ все разсказывалъ какое-то презабавное происшествіе и вдругъ остановился въ ту минуту, когда Саша возвращалъ счетъ лакею, сказавъ очень спокойно:

— Вели и мой ужинъ записать на свой счетъ. Мы съ тобою послѣ сочтемся.

И тотчасъ же продолжалъ прерванный разсказъ, какъ ни въ чемъ не бывало...

Тотъ, кто не зналъ Щелкалова коротко, а видалъ его только въ обществахъ издали и слышалъ его разсужденія, ни за что не повѣрилъ бы всѣмъ этимъ фактамъ, — столько ненависти, столько желчи, столько презрѣнія обнаруживалъ онъ, когда рѣчь шла о какомъ-нибудь низкомъ поступкѣ.

Какъ понималъ онъ назначеніе человѣка и дворянина, какъ клеймилъ недостойныхъ потомковъ знаменитыхъ родовъ, какъ превосходно разсуждалъ о томъ, въ какой чистотѣ и неприкосновенности должно хранить имя, переданное отъ предковъ, и прочее, и прочее.

Въ это время я уже довольно хорошо зналъ его, но, несмотря на это, онъ приводилъ меня иногда въ недоумѣніе.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о моихъ знакомствахъ съ различными господами, которыхъ онъ звалъ, какъ я уже замѣтилъ, уменьшительными именами, Щелкаловъ совершенно перемѣнился со мною, сдѣлался очень любезенъ и простъ. Разъ какъ-то я его встрѣтилъ на Невскомъ.

— Куда вы? пойдемте вмѣстѣ, — сказалъ онъ, продѣвая свою руку въ мою.

Расхаживая довольно долго рука-объ-руку, мы разговаривали о разныхъ предметахъ. Я не разъ сомнѣвался въ его умѣ, но въ этотъ разъ долженъ былъ сознаться, что мои сомнѣнія были несправедливы, что онъ точно уменъ; что у него только слова и дѣло были въ постоянномъ разладѣ — и даже не имѣли ничего общаго между собою. Баронъ остроумно и очень ядовито преслѣдовалъ иногда въ другихъ то, чего самъ въ себѣ не видѣлъ или не умѣлъ видѣть и въ чемъ самого его можно было поймать на каждомъ шагу.

Навстрѣчу намъ попался какой-то господинъ, полный, высокій, съ правильными чертами лица, съ орлинымъ носомъ, съ важною поступью, съ самодовольною улыбкой, повидимому, одинъ изъ самыхъ гордыхъ и недоступныхъ на видъ. Онъ сдѣлалъ Щелкалову на воздухѣ какіе-то знаки рукою и чуть-чуть шевельнулъ головою, слегка улыбнувшись.

Щелкаловъ спросилъ у меня, знаю ли я этого господина? Я сказалъ, что нѣтъ.

— Какъ, неужели? — возразилъ онъ, лицо его подернулось ироніей. — Это, батюшка, лицо замѣчательное... у насъ въ свѣтѣ, въ нашемъ муравейникѣ... Это такой-то (онъ назвалъ мнѣ его имя со всѣми принадлежащими къ нему украшеніями), видите ли первое — bel homme, второе — богатъ, третье — глупъ и скученъ, — совершенно въ равной степени. Отъ важности и довольства самимъ собою онъ какъ будто не идетъ по землѣ, а плыветъ по воздуху. Онъ очень хитеръ на различныя изобрѣтенія; онъ долго занимался теоріей поклоновъ и дошелъ въ этомъ до высочайшей тонкости, надо сознаться. Онъ кланяется съ удивительнымъ разнообразіемъ, смотря по степени важности и значенія человѣка въ свѣтѣ. Въ Китаѣ онъ былъ бы великимъ человѣкомъ. Ему бы надо родиться въ Пекинѣ, а не въ Петербургѣ. Самымъ значительнымъ кланяется онъ, наклоня голову въ поясъ и потомъ медленно приподнимая ее и смотря имъ прямо въ глаза съ выраженіемъ въ зрачкѣ умиленія, смѣшаннаго съ безграничною преданностью; передъ менѣе значительными онъ наклоняетъ голову до ложечки,

а на лицѣ у него въ это время изображается улыбка выражающая глубочайшее почтеніе: равнымъ себѣ онъ только трясетъ головою, пріятно улыбается и въ то же время прикладываетъ руку къ губамъ; для низшихъ и малозначительныхъ у него тысячи оттѣнковъ въ поклонѣ: инымъ онъ кланяется, прикасаясь рукою къ полямъ шляпы и сохраняя строгую важность въ физіономіи; другимъ — только до половины приподнимая руку; а при встрѣчѣ съ самыми послѣдними, съ самыми маленькими, по его мнѣнію, онъ только дѣлаетъ видъ, что желаетъ пошевельнуть руку для поднесенія ее къ шляпѣ. У него, впрочемъ, еще больше этихъ подраздѣленій: я вамъ говорю только о самыхъ характеристическихъ! Мнѣ онъ поклонился какъ человѣку, котораго онъ знаетъ съ дѣтства, съ которымъ встрѣчается въ свѣтѣ — это выражается у него болтаньемъ руки на воздухѣ и легкою улыбкой. Хитрый вѣдь господинъ!.. Не правда ли?

Произнеся это, баронъ вдругъ поднялъ голову и началъ смотрѣть на вывѣски.

— Зайдемте вотъ въ этотъ магазинъ на одну минуту, — сказалъ онъ мнѣ, оставивъ мою руку и поднимаясь на ступеньки.

Я пошелъ за нимъ.

Простота Щелкалова и его умъ внезапно оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсѣмъ другой человѣкъ, или, вѣрнѣе, передо мною опять былъ настоящій баронъ, не имѣвшій ничего общаго съ тѣмъ человѣкомъ, который разговаривалъ со мною за минуту передъ тѣмъ.

Онъ началъ съ того, что толкнулъ дверь магазина ногою, такъ что она съ силой хлопнула о прилавокъ и чуть не разбила стекла ящиковъ, за которымъ хранились вещи.

— Пару перчатокъ... мой номеръ! — закричалъ онъ по-французски и, засунувъ руку за жилетъ, началъ зѣвать принужденно и вслухъ, небрежно разсматривая разныя вещи въ свое стеклышко.

— Какого цвѣта перчатки, господинъ баронъ? — спросилъ магазинщикъ.

— Gris-perle... А вѣдь это недурно! — пробормоталъ онъ, обращаясь ко мнѣ и ткнувъ своей палкой какую-то черепаховую шкатулку съ бронзой. — Сколько стоитъ?

— Сто рублей серебромъ, господинъ баронъ, — отвѣчалъ магазинщикъ.

— Это дорого... Ну, что жъ перчатки?

— Вотъ, господинъ баронъ!

И магазинщикъ подалъ ему перчатки, завернутыя въ бумажку.

Баронъ взялъ ихъ, положилъ къ себѣ въ карманъ, проговорилъ: «на счетъ», опять зѣвнулъ вслухъ и, едва передвигая ноги, какъ-то еще особенно шаркая ногами, направился къ выходу, потомъ остановился, полуобернулся и сказалъ магазинщику, провожавшему его:

— На-дняхъ... я зайду... меня просили... Я у васъ куплю рублей на пятьсотъ.

И съ этими словами вышелъ, захлопнувъ дверь и чуть не прихлопнувъ еще меня.

Когда баронъ пересталъ абонироваться на оперу, онъ сдѣлался въ театрѣ еще замѣтнѣе. Онъ не пропускалъ ни одного представленія, хотя ужъ потомъ никогда не покупалъ креселъ. Онъ зналъ почти всѣ абонированныя кресла первыхъ рядовъ, потому что они всѣ принадлежали его знакомымъ; зналъ, кто изъ нихъ пріѣзжалъ въ какое время и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появленіи его владѣтеля пересаживался на другое, и такимъ образомъ, переходя съ мѣста на мѣсто, наконецъ успокоивался на какомъ-нибудь пустомъ, никѣмъ не занятомъ креслѣ, потому что въ оперѣ въ первыхъ рядахъ бываетъ такихъ много. Если же театръ бывалъ полонъ, то онъ войдетъ обыкновенно въ партеръ, обведетъ стеклышкомъ ложи; знакомыхъ окажется, разумѣется, довольно и онъ въ продолженіе спектакля кочуетъ изъ ложи въ ложу.

Я сблизился съ Щелкаловымъ въ то время, когда у него уже не было ни креселъ въ театрѣ, ни лошадей на конюшнѣ, ни экипажей въ сараѣ, хотя одинъ изъ лакеевъ его все еще красовался въ красныхъ плюшевыхъ штанахъ и

въ гербовой ливреѣ, которая, впрочемъ, была уже значительно поношена. Квартира его въ то время заключалась только въ трехъ небольшихъ пріемныхъ комнатахъ, въ которыхъ, впрочемъ, отъ мебели не было проходу. Тутъ была и мебель работы лучшихъ мастеровъ, за которую еще не были заплачены деньги, хотя матерія. ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой баронъ былъ большой охотникъ, купленная имъ на чистыя деньги въ разныхъ лавочкахъ на толкучемъ, и старинныя бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и оконъ.

Однажды я зашелъ къ нему. Ливрейный лакей. по обыкновенію, побѣжалъ докладывать. Баронъ вышелъ ко мнѣ навстрѣчу въ китайскомъ шелковомъ халатѣ съ цвѣтами и птицами и въ туфляхъ съ загнутыми носками. Онъ, шлепая туфлями, лѣниво передвигалъ ноги.

— Очень радъ,—сказалъ онъ, взявъ меня за руку и пожавъ ее. — Извините, что я принимаю васъ въ такомъ костюмѣ (и баронъ распахнулъ свой халатъ и засмѣялся). Пойдемте ко мнѣ въ мой кабинетъ: тамъ мы можемъ усѣсться покойнѣе.

(Это было мѣсяцевъ черезъ пять послѣ вечера у Грибановыхъ.)

Онъ усадилъ меня въ покойное кресло, сѣлъ противъ меня и распахнулъ грудь, вѣроятно для того, чтобы обратить мое вниманіе на свое превосходное бѣлье; онъ ничего не дѣлалъ безъ намѣренія.

— Вы курите? — спросилъ онъ меня.

Я кивнулъ утвердительно головою.

— Сигары или турецкій табакъ?

— Сигары, — отвѣчалъ я.

— И прекрасно дѣлаете, — возразилъ Щелкаловъ, — съ хорошей сигарой ничто въ свѣтѣ не сравнится. я вамъ дамъ отличнѣйшую. Онѣ, правда, дороги, мнѣ обошлись рублей по двадцати за сотню; но вѣдь все хорошее, къ сожалѣнію, дорого!

Баронъ позвонилъ и, когда человѣкъ явился, онъ при-

казалъ ему придвинуть старинную шкатулку съ перламутровыми инкрустаціями, въ которой лежало нѣсколько сигаръ.

— Вещь недурная, замѣтьте,—сказалъ онъ мнѣ, указывая на шкатулку. — Этотъ ящикъ подаренъ моему отцу княземъ N. и достался ему отъ его бабушки графини Анны Петровны. Историческая вещь.

Баронъ открылъ ящикъ, вынулъ сигару, придвинулъ ко мнѣ свѣчу и началъ разсказывать мнѣ о пирахъ и празднествахъ своего отца, о князѣ N., который ѣздилъ къ нему одному, былъ съ нимъ очень друженъ, и прочее, и прочее. Разсказъ его показался мнѣ очень интереснымъ, но впослѣдствіи онъ повторялся при мнѣ неоднократно и, какъ я замѣтилъ, съ различными прибавленіями и украшеніями, что заставило меня нѣсколько усомниться въ его исторической достовѣрности.

— У меня есть много любопытныхъ данныхъ, — прибавилъ Щелкаловъ въ заключеніе, подойдя къ шкафу, открывъ дверцы и указавъ на какія-то бумаги, перевязанныя веревкой, — записки моего дѣда, отца, переписка его съ княземъ... Я когда-нибудь на досугѣ примусь за этотъ хламъ, изъ всего этого можно составить интересную статью... Ну, а что, сигары хороши?

— Отличныя, — отвѣчалъ я.

Онѣ въ самомъ дѣлѣ были таковы. Онъ самъ закурилъ пахитоску, выпустилъ тонкую струю дыма и вдругъ предложилъ мнѣ вопросъ совершенно неожиданный:

— А что вы часто бываете у нашихъ *общихъ* знакомыхъ... у Грибановыхъ?

До этой минуты онъ не только ни слова не говорилъ о нихъ, даже, казалось, избѣгалъ и напоминанія.

— Бываю довольно часто, — отвѣчалъ я. — они люди очень добрые.

— Да, кажется, — возразилъ Щелкаловъ, — хотя надо признаться что немного смѣшные, вѣдь правда? И барыня мнѣ эта не совсѣмъ нравится... тоска, что ли? Она ужъ очень чувствительна и все говоритъ на французскомъ діа-

лектѣ. Впрочемъ, у всѣхъ такого рода барынь слабость къ французскому діалекту.

Щелкаловъ помолчалъ съ минуту.

— А дочка... она вѣдь миленькая, кажется?

— Очень, — отвѣчалъ я.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. И у нея такъ себѣ есть голосокъ для домашняго обихода... Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены въ нее?..

— Нисколько, продолжайте смѣло.

— Да-съ... ну, а скажите пожалуйста, можно за нею этакъ... приволокнуться?

— То-есть какъ, *этакъ?* Это семейство очень честное и почтенное.

— О, да я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь! — воскликнулъ Щелкаловъ, — я разумѣю волочиться самымъ невиннымъ образомъ... А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будутъ косо смотрѣть на это, а? Вѣдь я мало знаю эти буржуазные нравы.

— Очень можетъ быть, — сказалъ я, хотя подумалъ, что тетенька была бы отъ этого въ совершенномъ восторгѣ.

— Развѣ приволокнуться мнѣ, на старости лѣтъ! — проговорилъ онъ черезъ минуту, зѣвнувъ и потянувшись, — потому что *это* уже все надоѣло мнѣ.

Съ этимъ словомъ Щелкаловъ придвинулъ къ себѣ китайское блюдо, стоявшее на столѣ у него подъ рукою, и тотчасъ же оттолкнулъ его. На этомъ блюдѣ была груда разноцвѣтныхъ записочекъ и писемъ: кружевныхъ, съ бордюрчиками, съ вензелями, съ именами, съ гербами, и прочее. До этой минуты я не обратилъ на него вниманія.

— А что это такое? — спросилъ я нарочно.

— Это? — возразилъ онъ съ принужденною улыбкой, — различныя мои воспоминанія, глупости, billets-doux это матеріалы для моей біографіи, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ея. Здѣсь есть, впрочемъ, много любопытнаго. Я иногда роюсь въ этихъ воспоминаніяхъ не безъ удовольствія... Лучше имѣть хоть какія-нибудь воспоминанія, чѣмъ ничего; правда?

— Я думаю.

Баронъ опять придвинулъ блюдо къ себѣ и началъ перебирать записки, не упуская случая подсовывать мнѣ подъ носъ, какъ будто нечаянно, тѣ, на которыхъ красовались гербы и короны. Двѣ или три записки на французскомъ языкѣ безъ запятыхъ и точекъ онъ тутъ же бросилъ въ каминъ, показавъ мнѣ предварительно первыя строки.

Въ этихъ запискахъ Щелкалова называли: *mon petit Sacha*, и вслѣдъ за тѣмъ рѣчь начиналась о деньгахъ.

— Это отъ Камишки, — прибавилъ онъ съ улыбкою.

Я слышалъ, что Щелкаловъ съ этой m-lle Камиллой имѣлъ какую-то непріятную исторію, что онъ будто взялъ у нея брилліанты для того, чтобы отвезти ихъ въ починку, заложилъ ихъ и проигралъ эти деньги, что-то въ родѣ этого; что она вездѣ объ этомъ кричала, но потомъ примирилась съ нимъ, потому что онъ не только выкупилъ эти брилліанты и возвратилъ ихъ ей, но еще въ добавокъ поднесъ ей какой-то браслетъ довольно значительной цѣны.

— А вотъ письмо, — сказалъ Щелкаловъ, выбравъ одно изъ груды и подавая его мнѣ, — прочтите, это стоитъ того.

Письмо это было написано самымъ изящнымъ французскимъ языкомъ и почеркомъ и было проникнуто самою безумною страстью.

— Ну что? каково?—возразилъ онъ, когда я возвратилъ ему письмо, — и если бы вы знали, что это была за женщина! Я не стоилъ ея, не зналъ ей цѣны. Мнѣ всякій разъ становится досадно и больно за себя...

И онъ ударилъ кулакомъ по столу.

— Въ этой женщинѣ было все — и красота, и умъ, и поэзія; отъ выраженія глазъ ея можно было съ ума сойти; за нею волочились всѣ, все было безумно влюблено въ нее... Я, знаете, рѣдко могу чѣмъ-нибудь увлечься; но, говоря объ ней, вспоминая объ ней, вы видите, я не могу быть равнодушнымъ.

Щелкаловъ, точно, представлялъ видъ человѣка взволнованнаго.

— Вы ее не знали, — продолжалъ онъ, — вамъ могу я показать это, не компрометируя ея памяти.

Онъ отворилъ столъ, вынулъ изъ стола коробку, а изъ коробки медальонъ и подалъ его мнѣ.

Въ этомъ медальонѣ былъ вдѣланъ портретъ женщины, красоты почти идеальной; по крайней мѣрѣ мнѣ не случалось встрѣчать такихъ женщинъ.

— Не правда ли, хороша? — спросилъ Щелкаловъ.

— Даже невѣроятно, — отвѣчалъ я.

— Именно невѣроятно... c'est le mot! Да, она была во всѣхъ отношеніяхъ *невѣроятна*.

Онъ взялъ отъ меня медальонъ, посмотрѣлъ на него, спряталъ въ столъ и задумался.

— А не правда ли? — сказалъ онъ черезъ минуту, — мы живемъ глупою, изломанною, исковерканною жизнью?

— Да, это правда, — отвѣчалъ я.

— Эге! — вскрикнулъ вдругъ Щелкаловъ, взглянувъ на часы. — Да ужъ половина второго... Я въ это время всегда завтракаю. Не хотите ли вмѣстѣ со мною?

Я отвѣчалъ, что никогда не завтракаю, но баронъ позвонилъ, не обративъ вниманія на мой отвѣтъ.

— Дайте намъ чего-нибудь позавтракать, — сказалъ онъ вошедшему лакею.

Черезъ минуту на серебряномъ подносѣ принесенъ былъ только что початой страсбургскій пирогъ, различныя холодныя закуски на китайскихъ тарелкахъ и двѣ бутылки: одна съ лафитомъ, другая съ мадерой, также початыя.

Нашъ общій знакомый, господинъ съ злымъ языкомъ, увѣрялъ меня, что эти закуски, этотъ пирогъ и вина — все это театральное; что это не болѣе, какъ пуфъ, выставка серебрянаго подноса и китайскихъ тарелокъ, для поддержанія кредита.

Я самъ, впрочемъ, не могъ убѣдиться въ этомъ, потому что ни къ чему не прикасался, а баронъ тоже едва ковырнулъ только страсбургскій пирогъ и выпилъ менѣе полрюмки мадеры.

Когда я уходилъ, онъ сказалъ мнѣ:

— А знаете ли, соберемся когда-нибудь къ Грибановымъ... а?

— Пожалуй, — отвѣчалъ я, — но они скоро переѣзжаютъ на дачу.

— Право? а куда?

— Къ выборгской заставѣ.

— А-а! это кстати, а я буду жить на Черной рѣчкѣ. Это недалеко. Я люблю ходить, и хожу очень много... Я буду заходить къ нимъ. Я надѣюсь, что мы будемъ тамъ видѣться.

И онъ пожалъ мою руку.

Но еще до переѣзда его на дачу мнѣ было суждено сойтись съ нимъ у нашего пріятеля, господина съ злымъ языкомъ.

Господинъ съ злымъ языкомъ разсказывалъ мнѣ объ одномъ очень извѣстномъ намъ обоимъ промотавшемся лицѣ, которое имѣло привычку занимать деньги, бросаясь на колѣни и повторяя: «Семейство, дѣти, казенныя деньги затратилъ... Завтра ревизія... я погибъ!» Эта штука дѣйствовала на нѣкоторыхъ, и это лицо выползывало себѣ довольно значительныя суммы, на которыя потомъ задавало тону и блестѣло между своими пріятелями, соря деньгами.

Во время этого разсказа явился Щелкаловъ.

По шуму, съ которымъ онъ вошелъ, по его болѣе чѣмъ когда-либо неприступнымъ замашкамъ, по его веселости — онъ напѣвалъ какую-то бравурную арію — надобно было предполагать, что онъ перехватилъ значительныя деньги у какого-нибудь новичка.

Онъ разлегся въ кресло, посвистывая; началъ выбивать пыль изъ панталонъ своей палочкой и прислушиваться къ нашему разговору.

— А-а! да я знаю, о комъ идетъ рѣчь, — перебилъ онъ. — Вотъ шутъ-то!..

— Такихъ шутовъ много, — замѣтилъ нашъ пріятель.

— Да и то правда! — возразилъ безпечно Щелкаловъ. — Ахъ, господа, — продолжалъ онъ, — вы любители артистическихъ вещей и знатоки. Я вамъ покажу вещицу со вкусомъ.

Говоря это, онъ вытаскивалъ что-то изъ кармана своего пальто. Вытащивъ сафьянную коробочку, онъ открылъ ее, вынулъ изъ нея какую-то небольшую игрушку и показалъ

намъ. Это была печать съ его гербомъ, ручка которой изображала фигуру, превосходно вычеканенную изъ серебра.

— Не правда ли, артистически сдѣлано? — прибавилъ онъ. — Какая тонкая работа! а? Бенвенуто-Челлини!

— Хорошо, хорошо! — сказалъ хозяинъ дома, расмотрѣвъ печатку и отдавая ее Щелкалову. — Ба! да это еще что у тебя за новое украшеніе?

Онъ взялъ его руку и началъ разсматривать перстни, украшавшіе одинъ изъ его пальцевъ.

— Тутъ только одинъ новый, — сказалъ Щелкаловъ и указалъ на отличнѣйшую жемчужину, обдѣланную въ золотѣ.

— Недурная вещь! а признайся, мой милый, вѣдь ты соришь деньгами въ родѣ того господина, о которомъ мы сейчасъ говорили?

— Какой вздоръ! — воскликнулъ Щелкаловъ, сдѣлавъ гримасу и пожавъ плечами. — Что жъ тутъ общаго? Хорошо сравненіе!.. Очень любезенъ, — продолжалъ онъ, обратясь ко мнѣ и смѣясь, — ставитъ меня на одну доску съ этакимъ бариномъ!

— А что жъ? онъ бросалъ деньги на однѣ глупости, ты бросаешь на другія. Оба вы занимаете. Или, можетъ быть, ты получилъ наслѣдство? Въ самомъ дѣлѣ, откуда у тебя всѣ эти драгоцѣнности?

Щелкаловъ сдѣлалъ гримасу.

— Какое наслѣдство? что ты бредишь? что съ тобой сегодня?.. Во-первыхъ, эти вещи мнѣ подарены, а во-вторыхъ, если бы я и купилъ ихъ, то это такая дрянь, такая бездѣлица, для пріобрѣтенія которой не нужно, кажется, получать наслѣдства.

— Ахъ, да я и забылъ, — замѣтилъ съ улыбкою пріятель, — что ты необыкновенно счастливъ на женщинъ. Можетъ быть это сувениры?

Разговоръ принималъ для Щелкалова направленіе нѣсколько щекотливое, и онъ вдругъ прервалъ его:

— Ну, полно вздоръ говорить... Скажите-ка, господа, лучше, гдѣ вы завтра обѣдаете? вы не дали никому слова?

— Зачѣмъ тебѣ это? — спросилъ хозяинъ дома.

— Затѣмъ, — отвѣчалъ онъ, — что я зову васъ обоихъ передъ переѣздомъ на дачу отобѣдать со мной завтра въ какомъ-нибудь кабакѣ... Я васъ угощаю, разумѣется... Будетъ еще человѣка два нашихъ общихъ знакомыхъ.

— Нѣтъ, — сказалъ хозяинъ дома рѣшительно, — я не буду, это пустяки.

— Почему? Что такое?..

— Разумѣется, пустяки, потому что ты деньги эти можешь употребить съ бо́льшею пользою, напримѣръ, уплатить ими какой-нибудь изъ долговъ.

Баронъ весь вспыхнулъ.

— Я не прошу тебя входить въ мои дѣла и распоряжаться ими, я сумѣю это сдѣлать и безъ тебя. Если же тебѣ нужны деньги, которыя я у тебя взялъ, ты могъ бы сказать это прямо, не прибѣгая къ наставленіямъ и къ морали, которую я не терплю... Вотъ твои деньги.

Онъ вытащилъ пачку ассигнацій изъ кармана панталонъ, смялъ ихъ въ рукѣ и гордо бросилъ на столъ.

— Мнѣ деньги эти теперь вовсе ненужны, а тебѣ онѣ, вѣроятно, пригодятся; возьми ихъ назадъ и успокойся. Человѣку хорошаго тона ни въ какомъ случаѣ неприлично такъ выходить изъ себя.

— Но... — началъ было баронъ мрачно.

И вдругъ остановился, захохоталъ громко и принужденно, схватилъ своего пріятеля за плечи и сквозь этотъ натянутый смѣхъ произнесъ, глядя на него пристально:

— Чудакъ! ты думалъ, что я въ самомъ дѣлѣ сержусь? ты принялъ это серьезно?

— Нѣтъ! Я знаю, что ты бросилъ эти деньги для того только, чтобы показать намъ, что у тебя есть деньги. Я тебя вижу насквозь, любезный!

— Что же удивительнаго?.. и не одного меня, надѣюсь? — возразилъ Щелкаловъ, улыбаясь принужденно. — Ты, братъ, видишь всѣхъ насквозь...

Онъ обратился ко мнѣ и продолжалъ какимъ-то торжественнымъ тономъ, указывая на нашего пріятеля:

— Да, батюшка, передъ нимъ всѣ мы мальчишки! Онъ

имѣетъ полное право читать намъ мораль, потому что онъ смотритъ на жизнь просто и здраво: онъ не зараженъ этими предразсудками, которые уродуютъ всѣхъ насъ; онъ не спутанъ ими, какъ мы... Вы знаете, что онъ всѣмъ высказываетъ въ глаза прежестокія истины; онъ безпощаденъ... Это бичъ нашихъ слабостей, нашъ Ювеналъ.

— Эхъ, господа! — перебилъ его хозяинъ дома. — Ювеналъ слишкомъ великъ для васъ, а вы слишкомъ мелки для него. Какіе вамъ Ювеналы! вы не стоите не только сатиры, даже мелкихъ эпиграммъ; васъ и порядочной эпиграммой нельзя прихлопнуть, такъ вы плоски! Вотъ хоть напримѣръ ты — у тебя сердце доброе, ты малый не глупый...—Баронъ иронически улыбнулся и поклонился.—Я вѣдь говорю тебѣ не шутя... ну, на что ты похожъ, въ самомъ дѣлѣ, что ты изъ себя сдѣлалъ? Въ тебѣ вѣдь нѣтъ ни одного движенія, ни одного взгляда, ни одного слова искренняго и истиннаго; ты весь исковерканъ и изломанъ и наружно, и внутренно. Никакому порядочному человѣку въ голову не придетъ, чтобы подъ этою пошлою маской, которую ты носишь съ такимъ самодовольствіемъ, могли скрываться умъ, чувство или хоть что-нибудь человѣческое... А въ тебѣ еще есть слабые остатки и того, и другого, но до нихъ добраться трудно.

Щелкаловъ, слушая это, ходилъ по комнатѣ, безпрестанно мѣняясь въ лицѣ. Слова эти на него подѣйствовали. Онъ былъ взволнованъ, и волненіе это было непритворно, потому что онъ вдругъ сдѣлался простъ и натураленъ.

— Я тебѣ скажу, — началъ онъ, все продолжая ходить, голосомъ, въ которомъ не слышалось уже ни одной фальшивой ноты, и какъ бы забывъ о моемъ присутствіи. — Я тебѣ скажу болѣе: чортъ знаетъ, я иногда самъ въ себѣ не могу ни до чего добраться... такая внутренняя путаница во мнѣ. Что жъ съ этимъ дѣлать?.. Во мнѣ было, ей-Богу, много порядочнаго, но воспитаніе и жизнь все, все изуродовали.

— Да не ломайся хоть передъ нами, — возразилъ господинъ съ злымъ языкомъ. — Мы, — продолжалъ онъ, — знаемъ всѣ эти штуки наизусть.

И онъ мастерски очеркнулъ передъ Щелкаловымъ жизнь его и ему подобныхъ. Мнѣ даже стало жаль барона. Онъ высказывалъ ему такія горькія и ядовитыя истины, что мнѣ становилось неловко при этой дружеской бесѣдѣ. Я развернулъ какую-то книгу и уткнулъ въ нее носъ, однако не могъ удержаться, чтобы изъ-подъ книги не взглядывать на Щелкалова. Мнѣ показалось, что у него навертывались на глазахъ слезы.

— Ну, что жъ? все это правда, горькая правда! — произнесъ онъ, когда тотъ кончилъ. — Слабость моего характера возмутительна... Я, братецъ, проклинаю себя за его ничтожность... Ну, вѣришь ли, — прибавилъ онъ послѣ минуты молчанія уже въ самомъ дѣлѣ со слезами на глазахъ (я это видѣлъ ясно), — вѣришь ли, что я иногда бываю противенъ самому себѣ?

— Очень вѣрю, — отвѣчалъ безпощадный пріятель.

Щелкаловъ опять началъ ходить по комнатѣ въ большой тревогѣ, не видя никого и ничего передъ собою, и вдругъ почти наткнулся на меня, такъ что я долженъ былъ отодвинуться. Лицо его какъ-то странно передернулось, когда его глаза встрѣтились съ моими, и онъ въ то же мгновеніе принялъ великолѣпную позу и произнесъ, лѣниво растягивая слова, какъ будто у него вдругъ языкъ распухъ или что-нибудь мѣшало ему говорить:

— Что, батюшка, каково̀? а-а? Не правда ли, мнѣ задали порядочную баню? О, да вѣдь онъ ужасенъ! (Щелкаловъ указалъ головой на нашего пріятеля.) А вѣдь это время отъ времени, знаете, полезно... а? Правда?.. Я къ нему иногда хожу какъ къ доктору; иногда самъ прошу, чтобы онъ хорошенько меня отдѣлалъ. Я чувствую, что это мнѣ нужно. И не меня одного, онъ всѣхъ насъ такъ обработываетъ!

Щелкаловъ дѣлалъ надъ собой явное усиліе, чтобы смѣяться, и былъ дѣйствительно жалокъ въ эту минуту.

— Однако, мнѣ пора, — проговорилъ онъ, взглянувъ на часы. — Я послѣ этой бани долженъ еще немного отдохнуть, а потомъ мнѣ надо сдѣлать кое-какіе визиты... А что жъ завтрашній обѣдъ? мнѣ не позволяется васъ угощать?

а?.. Ну такъ въ такомъ случаѣ ты, что ли, меня угощаешь?..

Онъ взялся за шляпу.

— Деньги-то возьми, — сказалъ ему хозяинъ дома, улыбаясь и указывая на пачку смятыхъ ассигнацій, брошенныхъ на столѣ.

— Ахъ, да!

Щелкаловъ взялъ преспокойно эту пачку, засунулъ ее въ карманъ, надѣлъ шляпу, пожалъ намъ руки и вышелъ, мурлыча ту же арію, съ которой вошелъ.

— Каковъ!.. — сказалъ господинъ съ злымъ языкомъ, обращаясь ко мнѣ и смѣясь, — а вѣдь могъ бы быть порядочнымъ человѣкомъ, если бъ его взять въ хорошія руки, лѣтъ десять тому назадъ; теперь, конечно, поздно, онъ ужъ никуда не годится... и навѣрно кончитъ плохо...

— Вы его, однакожъ, жестоко отдѣлали! — замѣтилъ я.

— Да что! ему это нипочемъ, съ него все какъ съ гуся вода; онъ сначала какъ будто тронулся немножко, а потомъ опять сталъ кобениться... Я его знаю съ дѣтства; человѣкъ онъ въ самомъ дѣлѣ не глупый, но отъ пошлости и пустоты жизни у него уже начинаютъ тупѣть и слабѣть умственныя способности и, что всего хуже, стираться чувство чести. Онъ теперь не можетъ сосредоточить свои мысли ни на чемъ, ни надъ чѣмъ не въ состояніи задуматься серьезно — хоть на четверть часа... Рысакъ, кольцо, старая саксонская или китайская кукла, Дарья Александровна — мгновенно изгоняютъ изъ его головы всякую мысль. Сердце у него также доброе, но что въ этомъ сердцѣ?.. Съ нимъ часто бываетъ такъ, что у него одинъ цѣлковый въ карманѣ, встрѣтится нищій — и онъ отдастъ ему этотъ послѣдній цѣлковый... мнѣ это случалось видѣть не разъ, и отдастъ именно по влеченію сердца... развѣ съ небольшою примѣсью другого ощущенія, никогда не оставляющаго его — желанія показать, что ему деньги нипочемъ. А иногда у него набитъ карманъ деньгами, вотъ какъ сегодня — занятыми, но это, правда, рѣдко, и онъ не дастъ гривенника человѣку, умирающему съ голоду; у него все случайно, все зависитъ отъ минуты. Передо мной

онъ не скрываетъ своихъ плохихъ дѣлъ и на-дняхъ меня ужасно разсмѣшилъ: говоритъ, что непремѣнно займется дѣломъ... какимъ бы вы думали? вы не угадаете ни за что... будетъ писать статьи для журналовъ; у него, видите ли, много историческихъ матеріаловъ, напечатаетъ свои стихи, и за это получитъ довольно значительныя деньги! И онъ въ самомъ дѣлѣ отъ души вѣритъ, что это возможно. Такія признанія онъ дѣлаетъ, впрочемъ, только мнѣ одному. Онъ пришелъ бы въ отчаяніе, если бы кто-нибудь другой узналъ, что ему приходится трудомъ добывать деньги. Ему за трудъ получить деньги — стыдно, а обмануть кого-нибудь, занять и не отдать — ничего. Хороша среда, которая вырабатываетъ такого рода господъ!..

ГЛАВА IV,

ВЪ КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ ПРЕЛЕСТЬ ДАЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ, ДАЧНАЯ ПРИРОДА И ДАЧНЫЯ ПРЕПРОВОЖДЕНІЯ ВРЕМЕНИ И УВЕСЕЛЕНІЯ.

Семейство Грибановыхъ переѣхало на дачу въ концѣ мая... Кстати о петербургскихъ дачахъ. Вотъ какъ характеризуетъ эти дачи одинъ мой пріятель въ одномъ изъ своихъ неизданныхъ сочиненій... Этотъ отрывокъ я беру *съ его дозволенія*. У насъ, впрочемъ, бывали примѣры, что пріятельскія сочиненія брали безъ дозволенія и, измѣнивъ нѣсколько словъ, подписывали подъ ними свое имя. Я нахожу, что это неделикатно.

«...Большая проѣзжая дорога, надъ которой поднимается бѣловатое облако пыли, разносимое вѣтромъ то направо, то налѣво, а во время дождей непроходимая грязь. По сторонамъ этой дороги деревянные домики съ зубцами и башенками: подражаніе готическимъ средневѣковымъ зáмкамъ, болѣе, впрочемъ, похожіе на высокіе пироги изъ миндальнаго тѣста. Домики эти имѣютъ также сходство съ балаганами, которые въ Петербургѣ строятся на Адмиралтейской пло-

щади, а въ Москвѣ подъ Новинскимъ, тѣмъ болѣе, что они сколочены также изъ досокъ и барочнаго лѣса. Передъ ними палисаднички, обнесенные рѣшетками и заборами. Въ каждомъ палисадничкѣ тощая березка или липка съ засохшей вершинкой, кусты какой-нибудь зелени, прижженные солнцемъ и напудренные пылью, и цвѣтничокъ также съ напудренными цвѣтами, не издающими ни малѣйшаго аромата. Сзади небольшой прудъ, подернутый плѣсенью, и всегда плоское поле съ мохомъ и кочками, или просто болото. Палисадникъ возлѣ палисадника, балаганъ возлѣ балагана, почти стѣна объ стѣну, или, правильнѣе, доска объ доску, такъ что, если, напримѣръ, въ одномъ балаганѣ дама чихнетъ отъ пыли или отъ сырости, изъ другого балагана кавалеръ на это чиханье можетъ пожелать ей громко здоровья... Часовъ въ восемь вечера все это плоское пространство покрывается болотными испареніями, бѣловатымъ туманомъ, изъ котораго только торчатъ зубцы и башенки. Когда луна поднимется изъ этихъ испареній и освѣтитъ это пространство, оно издали покажется моремъ, а башенки мачтами барокъ, и если дама въ пріятномъ сообществѣ неосторожно засидится на своемъ балконѣ при этомъ лунномъ освѣщеніи, то ея пышно накрахмаленный кисейный капотъ превратится непремѣнно въ мокрую тряпку...

«Но не всѣ петербургскія дачи построены на болотистыхъ пространствахъ, и тотъ, кто полагаетъ, что кругомъ Петербурга нѣтъ ничего, кромѣ воды и болота, находится въ совершенномъ заблужденіи. Близъ Петербурга есть и возвышенности, и на этихъ возвышенностяхъ торчатъ также миндальныя башенки. Въ какую бы, впрочемъ, сторону не выѣхать за черту Петербурга — башенки будутъ преслѣдовать повсюду. Петербургскій житель не можетъ никакъ лѣтомъ обойтись безъ башенокъ, въ которыхъ вѣтеръ продуваетъ его насквозь, а дождь сквозь щели крышъ льетъ ему на голову. Любители сухого воздуха отыскали себѣ близъ самаго города сухой оазисъ, гдѣ нѣтъ ни капли воды: гдѣ только песокъ и сосны — сосны и песокъ; гдѣ нога тонетъ по колѣно въ пескѣ или скользитъ на сосновыхъ иглахъ,

или спотыкается на сосновыхъ шишкахъ; гдѣ нѣтъ ни одного сочнаго, свѣжаго и свѣтлаго листка, и гдѣ природа вся колется, какъ ежъ. Здѣсь тѣ же башенки и зубчики, и тѣ же палисадники, выходящіе на пыльныя улицы, но отъ этой пыли ужъ не чихаешь... это не шоссейная пыль, превращенная въ мелкій порошокъ и ядовитая, какъ табакъ,— это массивная и густая пыль, тяжело висящая въ воздухѣ, отъ которой можно задохнуться... Въ палисадникахъ кромѣ сосны попадается иногда только что пересаженная откудаго рябина, липа или березка, тонкія и робкія, на которыя мрачно ощетинившаяся сосна, кажется, смотритъ враждебно, какъ на незаконно попавшихъ въ ея исключительное владѣніе, въ это царство песку, гдѣ она разрастается и плодится самовластно.

«На этихъ-то пескахъ или на этихъ болотахъ проводятъ петербургскіе жители три мѣсяца, въ своихъ миндальныхъ башенкахъ, выглядывая на природу, по большей части изъ теплыхъ салоповъ и ваточныхъ пальто. Но когда петербургская природа улыбнется, когда солнце освѣтитъ эти башенки, все дачное народонаселеніе высыпаетъ на поля и на улицы наслаждаться природой.

«Барыни и барышни, затянутыя и закованныя въ корсеты, въ накрахмаленныхъ юбкахъ, въ кисеяхъ и въ батистахъ, въ прозрачныхъ шляпкахъ, подъ зонтиками и вуалями, чинно гуляютъ по пыльному шоссе, по песку, или по мху и кочкамъ, въ сопровожденіи штатскихъ или военныхъ кавалеровъ, и наслаждаются природой, называя холмикъ—горою, прудъ, вырытый для поливки цвѣтовъ—озеромъ, группу деревъ—лѣсомъ, четыре дерева—рощею, и такъ далѣе. Иногда вдругъ барышнѣ вздумается побѣгать на вольномъ воздухѣ, что весьма натурально... Она взглянетъ на маменьку и побѣжитъ, а кавалеръ, военный или штатскій, сейчасъ за нею—догонять ее. Онъ, разумѣется, тотчасъ же поймаетъ ее за талію, потому что она бѣжать не можетъ; барышня вскрикнетъ или взвизгнетъ: «ахъ!» и, запыхавшись и раскраснѣвшись, возвратится къ своей компаніи, которая встрѣтитъ ее веселымъ смѣхомъ. Пройдя та-

кимъ образомъ извѣстное пространство, компанія повертываетъ домой. Барышни и барыни, возвратясь съ прогулки, стряхаютъ и смываютъ съ себя пыль, вытираются и притираются и возвращаются на балконъ или на терассу очаровывать своихъ кавалеровъ, которые любезничаютъ и курятъ, курятъ и любезничаютъ... Зимой не дозволяется курить при дамахъ: это для мужчинъ также одно изъ дачныхъ наслажденій — барыни, барышни и папироски...

«За готическимъ домикомъ изъ барочнаго лѣса бываетъ иногда садикъ шаговъ во сто длины и шаговъ пятьдесятъ ширины. Семейство пьетъ чай или обѣдаетъ въ этомъ садикѣ на свѣжемъ воздухѣ, хотя свѣжій воздухъ пахнетъ конюшней, гнилью и еще чѣмъ-то болѣе непріятнымъ, потому что съ одной стороны къ садику прилегаетъ зданіе конюшенъ, а съ другой какія-то развалившіяся домашнія строенія. Верстахъ въ полуторахъ бываетъ обыкновенно какой-нибудь большой садъ съ паркомъ, съ прудами, гдѣ водятся караси; съ бесѣдками, стѣны которыхъ исписаны различными остроумными русскими и нѣмецкими надписями карандашомъ, мѣломъ и углемъ и изрѣзаны ножомъ; съ памятниками, съ мостиками, съ парнасами и съ другими барскими затѣями. Это — любимое мѣсто для прогулокъ окрестныхъ дачныхъ обитателей, и у каждой дачной барышни и барыни есть непремѣнно любимое мѣсто въ этомъ саду: скамейка, съ которой видъ на поле, или уединенная бесѣдка въ тѣни акацій и липъ, драгоцѣнныя ей по какимъ-нибудь воспоминаніямъ... Здѣсь на скамейкѣ, на деревѣ или на колоннѣ, украдкой ото всѣхъ, барышня вырѣзала начальную букву имени *его*, иногда годъ, число и мѣсяцъ, незабвенный для нея мѣсяцъ и еще болѣе незабвенное число. Здѣсь есть горка, съ которой обыкновенно любуются закатомъ солнца; аллея, въ которой гуляютъ при лунѣ, — и на горкахъ, въ аллеяхъ, въ бесѣдкахъ, вездѣ звуки нѣмецкаго языка, неизбѣжнаго на всѣхъ лѣтнихъ публичныхъ гуляньяхъ.

«На петербургскихъ дачахъ, — гдѣ бы ни были эти дачи, въ болотѣ или на пескѣ, на высохшей рѣчкѣ, черезъ которую куры переходятъ вбродъ, или у моря за сорокъ верстъ

отъ города, гдѣ дачная жизнь принимаетъ уже широкіе размѣры, гдѣ вѣетъ запахомъ полей, гдѣ въ лѣсахъ, рощахъ и паркахъ встрѣчаются столѣтнія деревья, — на одно русское семейство непремѣнно десять нѣмецкихъ. Самый бѣдный нѣмецъ не можетъ обойтись безъ дачи; лѣтомъ его такъ и тянетъ *in's Grüne*. Гдѣ есть только подозрѣніе природы, слабый намекъ на зелень, какія-нибудь три избушки и одна береза, одну изъ этихъ избушекъ нѣмецъ непремѣнно превратитъ въ дачу: оклеитъ ее дешевенькими обоями, привѣситъ къ окнамъ кисейныя занавѣсочки, поставитъ на подоконники ерань и лимонъ, который посадила въ замуравленный горшокъ сама его Шарлотта; передъ окномъ избы выкопаетъ клумбочку, насадитъ бархатцовъ и ноготочковъ... и устроитъ свое маленькое хозяйство такъ аккуратно и такъ уютно, какъ будто лѣто должно продолжаться вѣчность. Тогда какъ иной русскій и съ деньгами найметъ себѣ огромную и дорогую дачу, да и живетъ цѣлое лѣто настежь, нараспашку, какъ ни попало, безъ занавѣсокъ, безъ сторъ, въ крайнемъ случаѣ защищаясь отъ солнца салфеткой, которую прикрѣпитъ къ окну чѣмъ ни попало, хоть вилкой, если вилка попадется подъ руку. «Что, — думаетъ онъ, — стоитъ ли устраиваться: вѣдь лѣто-то коротко. Не увидишь, какъ и пройдетъ. Авось проживемъ какъ-нибудь и такъ».

«Именины или рожденія на дачахъ празднуются обыкновенно съ большимъ шумомъ и блескомъ, особенно нѣмцами: въ эти торжественные, семейные дни балконы убираются гирляндами цвѣтовъ, а вечеромъ вся дача освѣщается разноцвѣтными фонариками; знакомые привозятъ иногда съ собой сюрпризы въ видѣ карманныхъ фейерверковъ. Эти же знакомые лазятъ по лѣстницамъ и развѣшиваютъ цвѣтные фонари, подъ главнымъ надзоромъ какого-нибудь друга дома Адама Карлыча, и когда все готово, выводятъ хозяина и именинницу-хозяйку полюбоваться этими сюрпризами, которые повторяются лѣтъ двадцать сряду. Тогда начинаются крики «браво!»; кричатъ гости, дѣти, младенцы, все кричитъ и радуется, и вдругъ изъ этой толпы раздается одинъ какой-нибудь голосъ: «качать Адама Карлыча!» Другіе голоса

подхватятъ: «качать, качать его!» Смущенный Адамъ Карлычъ обращается въ бѣгство, его преслѣдуютъ, его ловятъ, его догоняютъ, его, наконецъ, качаютъ при усилившемся крикѣ и смѣхѣ, а за палисадникомъ на улицѣ тоже хохотня и пискъ.

«Такъ веселятся на петербургскихъ дачахъ средней руки, но около Петербурга есть другого рода дачи — съ цѣльными стеклами до пола, съ террасами, съ галлереями, съ балконами, уставленными деревьями и цвѣтами, съ удивительными фонарями; съ садами, въ которыхъ дорожки усыпаны краснымъ пескомъ, а травка подкошена и подчищена, гдѣ вмѣсто заборовъ подстриженный кустарникъ, красивѣе ширмъ, гдѣ мраморныя вазы, ванны и бассейны, гдѣ не только нельзя лечь на траву, но не рѣшишься даже плюнуть на дорожку, гдѣ просто ходить опасно по дорожкамъ, ибо на этомъ кранномъ пескѣ, красиво и искусно подметанномъ, нѣтъ ни одного слѣда человѣческаго. Хозяинъ и хозяйка этой великолѣпной обстановки, этой изящной декораціи, называющейся дачею, много, что раза два въ лѣто пройдутся по этому саду. Они ходятъ мало, они природой любуются свысока, изъ своихъ экипажей, съ сѣделъ своихъ верховыхъ англійскихъ лошадей или съ своихъ великолѣпныхъ балконовъ и террасъ...»

Мой пріятель, какъ замѣтилъ уже, вѣроятно, читатель, смотритъ на петербургскія дачи съ юмористической точки зрѣнія. Я этой точки не люблю, я смотрю на дачи очень серьезно и нахожу, что онѣ составляютъ существенную потребность въ жизни петербургскаго жителя; но дѣло не въ томъ. Дача, которую нанимали Грибановы, одна изъ ближайшихъ дачъ, за выборгской заставой, по дорогѣ, ведущей къ Парголову, была построена безъ особенныхъ затѣй. На ней не торчали миндальныя башенки и не было видно ни одного зубчика: это былъ просто домикъ съ мезониномъ, съ обыкновенной крышей и съ крылечкомъ, выходившимъ въ палисадникъ. Такая простота нѣсколько смущала Лидію Ивановну, которая, смотря на этотъ домъ, обыкновенно говорила: «Что это за постройка! это совсѣмъ не похоже на

дачу, точно какъ будто домъ въ уѣздномъ городѣ... никакой архитектуры!» Зато ей чрезвычайно нравилась дача, которая была почти напротивъ нихъ, принадлежавшая какому-то золотопромышленнику, въ которой готизмъ доведенъ былъ до невѣроятнаго. Къ дому приклеены были семь небольшихъ башенокъ и восьмая, большая, съ часами, у которыхъ бой былъ съ музыкой... Кромѣ того вся она была изукрашена зубчиками и фестончиками, а кругомъ ея были вырыты рвы и черезъ нихъ устроены подъемные мостики. Садъ, окружавшій ее на маломъ пространствѣ, представлялъ множество разнообразнѣйшихъ и затѣйливѣйшихъ выдумокъ: фонтанчики, гроты, пруды съ островками, паромы и прочее. Лидія Ивановна говорила, что этотъ садъ и дача — маленькій эрмитажъ, но ни Алексѣй Аѳанасьичъ, ни Иванъ Алексѣичъ не раздѣляли въ этомъ случаѣ ея мнѣнія. Алексѣй Аѳанасьичъ называлъ эту дачу вербной игрушкой, а Иванъ Алексѣичъ приходилъ отъ нея даже въ негодованіе:

— Такъ искажать, — говорилъ онъ съ важностію, — и обезображивать природу и превращать архитектуру въ кондитерское издѣліе — непозволительно.

По поводу этой дачи возникли даже въ этомъ образцовомъ семействѣ споры, доходившіе иногда до размолвокъ.

— Кажется, болѣе меня ужъ никто не любитъ природы,— замѣчала Лидія Ивановна, — но я восхищаюсь равно и природой, и искусствомъ, и дикимъ мѣстоположеніемъ, и обдѣланною и украшенною мѣстностью. Все хорошо въ своемъ родѣ.

— Помилуйте, какое тутъ искусство! — возражалъ Иванъ Алексѣичъ, — это не искусство, а оскорбленіе искусства, пародія на искусство. Рыцарскія зàмки изъ барочныхъ досокъ, раскрашенные и вымазанные сусальнымъ золотомъ!..

— Ну, стало быть, я ничего не понимаю, — перебивала Лидія Ивановна, — стало быть, я не умѣю цѣнить искусства?

Алексѣй Аѳанасьичъ приходилъ при этомъ въ безпокойство и вступался въ разговоръ.

— Нѣтъ, не то, матушка, — говорилъ онъ самымъ мягкимъ и примирительнымъ голосомъ, — вы очень хорошо по-

нимаете искусство, Иванъ это знаетъ; но у васъ есть страстишка къ игрушкамъ, это вамъ и нравится какъ игрушка.

— Какія игрушки! что за *страстишка!* какія у васъ выраженія! — вскрикивала Лидія Ивановна, — развѣ я ребенокъ, чтобы мнѣ нравились игрушки? и прочее.

Но когда раздражительность Лидіи Ивановны стихала, когда она успокаивалась и принималась лѣпить свои цвѣточки, а Иванъ Алексѣичъ принимался декламировать свое новое стихотвореніе и когда потомъ они принимались восхищаться произведеніями другъ друга, тогда Алексѣй Аѳанасьичъ чувствовалъ то внутреннее умиленіе, отъ котораго на глазахъ у него обыкновенно проступали слезы.

Все семейство, постоянно восхищавшееся природой, предавалось съ увлеченіемъ различнымъ дачнымъ наслажденіямъ. Алексѣй Аѳанасьичъ всѣ свободныя свои минуты проводилъ въ окружныхъ лѣсахъ, отыскивая грибы, и для грибовъ забывалъ даже свои силуэтики. Сынъ, какъ поэтъ, бродилъ со стихомъ и риѳмой на устахъ по окрестнымъ полямъ и рощамъ. Лидія Ивановна занималась уже болѣе настоящими, нежели восковыми цвѣтами. Она устраивала клумбы въ своемъ палисадникѣ, садила цвѣты, ухаживала за ними, поливала ихъ — и *изучала*, по ея собственному выраженію. Наденька обыкновенно помогала ей въ этомъ занятіи; а Пелагея Петровна все собирала васильки во ржи: наберетъ цѣлую охапку васильковъ и начнетъ, бывало, плесть изъ нихъ вѣнки, сплететъ вѣнокъ и украситъ имъ соломенную шляпку Лидіи Ивановны, которая непремѣнно замѣтитъ ей съ пріятной улыбкой:

— Merci, милая! но только, право, мнѣ это не по лѣтамъ.

Когда Алексѣй Аѳанасьичъ возвращался изъ лѣса и когда походъ его былъ удаченъ, онъ сзывалъ всѣхъ домашнихъ, улыбался и потиралъ руки, а вслѣдъ за нимъ приносили обыкновенно корзину съ грибами.

— Посмотрите, — говорилъ онъ, тая отъ умиленія, — какіе березовики-то... молоденькіе, бѣленькіе... а подосиновичекъ-то! каковъ?.. а бѣлый-то грибочекъ, посмотрите, Пелагея Петровна, какой махонькій!.. Вотъ это вы велите изжарить,

да со сметаной... Чудное будетъ блюдо... А эти вотъ отобрать да посолить.

И когда на столѣ являлась сковорода съ его грибами, плававшими въ сметанѣ, Алексѣй Аѳанасьичъ, смакуя ихъ, обращался поочередно ко всѣмъ:

— Каковы грибки-то! — восклицалъ онъ въ умиленіи.

И при этомъ глаза его немного увлажнивались.

На дачѣ Алексѣй Аѳанасьичъ становился обыкновенно еще болѣе мягкосердеченъ и чувствителенъ. Это должно было приписать дѣйствію природы.

Когда я, бывало, пріѣду къ нимъ на дачу, онъ встрѣтитъ меня первый, обниметъ, расцѣлуетъ.

— Ну, очень радъ, очень радъ, — непремѣнно скажетъ онъ, — и прекрасно сдѣлалъ, что пріѣхалъ. Что въ городѣ-то задыхаться отъ пыли и жара! Видишь, какое здѣсь раздолье, какой воздухъ!.. а погода-то какая стоитъ — чудо!.. посмотрите на небо, ни одного облачка... Да ты бы къ намъ на нѣсколько дней, погостилъ бы у насъ, мы вмѣстѣ пошли бы за грибками... и прочее.

Потомъ онъ также непремѣнно прибавитъ:

— Какой цвѣтничокъ развела Лидія Ивановна, посмотри, вѣдь это просто прелесть. Не правда ли?..

Покажетъ на высокую и кудрявую ольху, которая росла у нихъ за домомъ, хотя я ужъ двадцать разъ видѣлъ ее, и воскликнетъ:

— Какая здѣсь растительность-то необыкновенная! гдѣ ты подъ Петербургомъ найдешь такое дерево? Да вѣдь здѣсь и воздухъ какой!.. Нигдѣ въ окрестностяхъ нѣтъ такого воздуха!.. Повѣрь мнѣ... это я и на себѣ чувствую, да вотъ Лидія Ивановна и дѣти находятъ то же.

Если польетъ дождь, Алексѣй Аѳанасьичъ и отъ дождя приходитъ въ восхищеніе.

— Какъ хорошо, — говоритъ, — теперь цвѣточкамъ-то и зелени! Они обмоются, освѣжатся.

Старикъ всегда и всѣмъ былъ доволенъ, его только немного смущали и тяготили церемонныя знакомства, и когда Щелкаловъ въ первый разъ появился у нихъ на дачѣ, ни-

кѣмъ нежданный, врасплохъ, Алексѣй Аѳанасьичъ, лежавшій въ эту минуту на травѣ подъ деревомъ безъ галстука и въ туфляхъ, наморщился, почесалъ загылокъ и произнесъ вполголоса:

— Ахъ! зачѣмъ это его принесла нелегкая!

Потомъ онъ улыбнулся и обратился ко мнѣ, приподнимаясь неохотно:

— Что, дѣлать нечего, видно придется натягивать сапоги и галстукъ.

Дамы, сидѣвшія на крылечкѣ, первыя увидали Щелкалова, вскрикнули и бросились въ домъ, для того чтобы принарядиться. Я остался одинъ въ палисадникѣ и пошелъ навстрѣчу нечаянному гостю.

Онъ стоялъ у калитки, посматривая кругомъ въ свое стеклышко.

— А, здравствуйте! — закричалъ онъ, отталкивая ногой калитку. — Да у кого вы здѣсь? Тутъ, что ли, живутъ Грибановы? Я ихъ ищу.

— Тутъ, — отвѣчалъ я.

— Вотъ это очень кстати, что я васъ нахожу здѣсь... Однакожъ, это довольно далеко. Я, любезнѣйшій, пѣшкомъ съ своей дачи!.. а? порядочное путешествіе!..

Говоря это, баронъ вошелъ въ палисадникъ, осмотрѣлъ все кругомъ въ свое стеклышко, бросился на скамейку, стоявшую у калитки, и, чертя на пескѣ тросточкой, сказалъ:

— Ну-съ, а гдѣ же хозяева?

— Они дома. Мы подождемъ ихъ тутъ; они сейчасъ придутъ.

Я боялся Щелкалова пустить въ домъ, гдѣ должна была, по моимъ догадкамъ, происходить суматоха.

— А что, вы знаете толкъ въ англійскихъ лошадяхъ? — вдругъ спросилъ меня Щелкаловъ, приподнявъ немного голову и потомъ снова опустивъ ее и продолжая чертить на пескѣ.

— Ни малѣйшаго, — отвѣчалъ я.

— Неужто?

Баронъ опять приподнялъ голову и взглянулъ на меня, улыбнувшись, съ выраженіемъ сожалѣнія. Я зналъ, что, по

мнѣнію его, первымъ признакомъ *порядочнаго* человѣка, *настоящаго* джентльмена, была страсть къ лошадямъ и охотѣ, къ этимъ двумъ важнѣйшимъ отраслямъ *спорта*,—единственная, впрочемъ, страсть, допускавшаяся джентльмену. Говоря о лошадяхъ и объ охотѣ, джентльменъ могъ даже выходить изъ себя. Онъ непремѣнно обязанъ былъ хоть прикидываться лошадинымъ знатокомъ и знать наизусть всѣхъ лошадей извѣстной породы, внесенныхъ въ знаменитую *Stud-Book*. Я не разъ слышалъ барона, краснорѣчиво развивавшаго цѣлыя теоріи о лошадяхъ, выученныя имъ наизусть изъ *Bel's Life*, англійскаго спортсменскаго журнала. И хотя вопросъ Щелкалова, несмотря на его неожиданность, не удивилъ меня, потому что онъ часто предлагалъ вопросы еще неожиданнѣе и еще страннѣе, я однако спросилъ его:

— Съ какой точки зрѣнія васъ можетъ интересовать, знаю ли я толкъ въ лошадяхъ или нѣтъ?

— Такъ,—отвѣчалъ онъ,—если бы вы знали въ нихъ толкъ, я показалъ бы вамъ удивительную англійскую лошадь, которую я теперь торгую,—породистую лошадь, кровную... чудо лошадь! Немного дорогонько просятъ, впрочемъ, я думаю, придется разориться.

Разговоръ о лошади, нимало не интересовавшій меня, къ моему счастію, прекратился появленіемъ Лидіи Ивановны и Наденьки, а вслѣдъ за ними и Алексѣя Аѳанасьича въ сапогахъ и въ галстукѣ. Увидѣвъ ихъ, Щелкаловъ лѣниво приподнялся со скамейки, небрежно поклонился дамамъ, сказалъ Алексѣю Аѳанасьичу: «здравствуйте» и протянулъ ему два пальца.

— А знаете, какъ я къ вамъ сюда явился? угадайте!..

Всѣ молчали, не зная, что на это отвѣчать.

— Пѣшкомъ-съ,—продолжалъ баронъ смѣясь,—съ своей дачи. Это, по крайней мѣрѣ, верстъ пять... какъ вамъ это нравится, а?

И Щелкаловъ посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ бы ожидая знаковъ удивленія.

— Неужели?—воскликнула Лидія Ивановна первая,—возможно ли это?

Она была точно поражена этимъ. По ея мнѣнію, ноги такой особы могли только прикасаться къ паркету или къ обдѣланнымъ дорожкамъ, усыпаннымъ толченымъ кирпичомъ.

— Вы устали, баронъ?—продолжала Лидія Ивановна съ безпокойствомъ,—пожалуйста, садитесь. Да, скажите, что это за фантазія пришла вамъ—пѣшкомъ?

Щелкаловъ засмѣялся.

— Я могу отвѣчать вамъ на это: *у всякаго барона своя фантазія*. Мнѣ такъ вздумалось: я хотѣлъ сдѣлать опытъ; но, я думаю, въ другой разъ я не повторю этого... Ну, что, какъ *наша* музыка?—прибавилъ онъ, обращаясь къ Наденькѣ.

Наденька вспыхнула и улыбнулась. Въ этой улыбкѣ было видно, что ей очень пріятно вниманіе Щелкалова.

— Лѣтомъ я совершенно свободенъ, я буду заѣзжать къ вамъ часто, и мы будемъ съ вами заниматься музыкой. Хотите?

Наденька покраснѣла еще больше и отвѣчала на это только пріятнымъ наклоненіемъ головы.

— Музыка и природа, хоть съ иглами, а все-таки природа!—замѣтилъ Щелкаловъ, указывая на сосну, торчавшую передъ крыльцомъ.—Лѣтомъ нѣтъ другихъ развлеченій... А гдѣ вашъ сынъ?

Баронъ при послѣднихъ словахъ обернулся въ ту сторону, гдѣ стоялъ Алексѣй Аѳанасьичъ.

— Да Богъ его знаетъ,—отвѣчалъ старикъ,—онъ иногда пропадаетъ по цѣлымъ днямъ. Вѣдь онъ артистъ, поэтъ, бродитъ себѣ по полямъ, по лѣсамъ; говоритъ, будто бы лѣтомъ онъ всегда живетъ растительною жизнію: да это неправда, тутъ-то у него и зарождаются различные поэтическіе планы... Я подозрѣваю, что онъ теперь пишетъ какую-то большую вещь; отъ насъ это онъ еще держитъ въ секретѣ. Вывѣдайте-ка его, баронъ, когда вы увидитесь съ нимъ. Онъ вамъ вѣрно проговорится.

Старикъ оживился, говоря это. Голосъ его уже дребезжалъ, и слеза блестѣла на рѣсницѣ.

Баронъ остался довольно долго, любезничалъ съ Наденькой, аккомпанировалъ ей и пѣлъ вмѣстѣ съ нею. Пелагея Петровна разливала, разумѣется, чай въ задней комнатѣ, а Макаръ, въ нитяныхъ перчаткахъ, разносилъ его на серебряномъ подносѣ. Часовъ въ двѣнадцать, среди общаго разговора, Щелкаловъ обратился ко мнѣ:

— А что, у васъ здѣсь есть какая-нибудь колымага? вы меня довезете?

— Пожалуй, — отвѣчалъ я.

Дорогой Щелкаловъ больше дремалъ. Когда ужъ мы подъѣхали къ его дачѣ, онъ зѣвнулъ, потянулся и сказалъ:

— А, право, эта дѣвочка премиленькая! а?.. Какъ она сложена славно. Если бы дать ей манеры, воспитать въ хорошемъ домѣ, она произвела бы эффектъ въ свѣтѣ! Не правда ли?

Я не счелъ нужнымъ что-нибудь отвѣчать на это, да къ тому же въ эту минуту мы подъѣхали къ дачѣ, и Щелкаловъ закричалъ моему кучеру:

— Стой!

Выскочилъ изъ коляски, сдѣлавъ мнѣ привѣтливый знакъ рукою, и сказалъ, кивнувъ головой:

— Благодарствуйте...

Послѣ этого я не былъ мѣсяца полтора у Грибановыхъ. Съ Щелкаловымъ въ это время я также нигдѣ не видѣлся. Разъ на какомъ-то загородномъ гуляньѣ я встрѣтился съ молодымъ человѣкомъ, влюбленнымъ въ Наденьку.

— Ну, что, какъ поживаютъ Грибановы?—спросилъ я его.

— Я не знаю, — отвѣчалъ онъ сухо.

— Какъ! вы не знаете? Полноте! а Надежда-то Алексѣевна? — возразилъ я.

— Что жъ мнѣ такое Надежда Алексѣевна?

— Какъ что? вѣдь вы влюблены въ нее? И она въ васъ. Полноте, не скрывайтесь. Я вѣдь все знаю.

— Плохо же вы знаете! — отвѣчалъ молодой человѣкъ съ раздраженіемъ, — влюблена она не въ меня, да мнѣ и не нужно ея любви... Она съ ума сходитъ отъ этого франта,

отъ этого барона, который приволакивается за нею не на шутку.

— Будто? да развѣ онъ часто бываетъ у нихъ?

— Чуть не всякій день. Вы можете постоянно найти его тамъ. Ужъ онъ сдѣлался у нихъ совсѣмъ домашнимъ человѣкомъ: Пелагея Петровна и чай разливаетъ при немъ, даже иногда дѣло обходится и безъ серебрянаго подноса, и Макаръ ужъ начинаетъ появляться безъ перчатокъ, какъ бывало при насъ, запросто. Лидія Ивановна, натурально, въ восторгѣ, что такой аристократъ сдѣлался у нихъ въ домѣ своимъ, и у нея только и на языкѣ, что баронъ: «баронъ сдѣлалъ то-то, баронъ сказалъ то-то, баронъ купилъ то-то», а этотъ баронъ лжетъ передъ ними и ломается. Даже и этотъ добрый Алексѣй Аѳанасьичъ доволенъ, кажется, обществомъ барона; ему позволяется теперь снимать галстукъ въ его присутствіи, и старикъ разсказываетъ о немъ уже со слезами на глазахъ отъ умиленія.

— Не можетъ быть! — воскликнулъ я.

— Я васъ могу увѣрить,—продолжалъ молодой человѣкъ, одушевляясь. — И этотъ баронъ еще привозитъ съ собою своего друга, этого противнаго господина Веретенникова, который ему необходимъ, потому что онъ занимаетъ Лидію Ивановну и Алексѣя Аѳанасьича въ то время, какъ тотъ занимаетъ Надежду Алексѣевну...

— Полноте, вамъ это все такъ кажется! — возразилъ я.

— Нѣтъ, не кажется, а все это такъ есть... спросите хоть у Пруденскаго. Но всѣхъ противнѣе это ужъ, конечно, Иванъ Алексѣичъ. Онъ очень хорошо видитъ, что тотъ волочится за его сестрою, очень хорошо знаетъ, что это волокитство ни къ чему не поведетъ, что баронъ вѣдь не женится на ней; а способствуетъ еще ихъ сближенію, льститъ ему, а намъ всѣмъ ругаетъ его, говоритъ, что онъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ людей презираетъ... И знаете ли, изъ-за чего это онъ льститъ барону и потакаетъ своей сестрѣ? Какъ бы вы думали? Изъ-за того, что тотъ выслушиваетъ его стихи, восхищается ими, кричитъ о нихъ, обѣщаетъ ему устроить чтеніе въ какомъ-то аристократическомъ домѣ, познакомить его

съ какимъ-то княземъ. Иванъ Алексѣичъ такъ и растаялъ отъ всего этого, а намъ не хочетъ, разумѣется, показать этого и говоритъ, что онъ все это дѣлаетъ не для себя, а единственно для того только, чтобы заинтересовать аристократическій кругъ русской литературой. Комедія да и только!

— Вотъ какъ! а я этого ничего не зналъ. Я ужъ у Грибановыхъ не былъ больше мѣсяца.

— Я тоже не былъ у нихъ дней десять, — перебилъ молодой человѣкъ, — да тамъ просто противно бывать теперь, и они оба — и баронъ, и Веретенниковъ, — смотрятъ на насъ свысока, едва говорятъ, едва удостоиваютъ взгляда. Пруденскій все навязывается къ нимъ съ своими разговорами, а они чуть не отворачиваются отъ него. Охота же ему! Я не понимаю этихъ людей, а еще все толкуютъ о чувствѣ собственнаго достоинства и о томъ, что никому не позволятъ себѣ наступить на ногу, ни передъ кѣмъ не уронятъ себя!..

Я на другой же день отправился къ Грибановымъ. Мнѣ, признаюсь, любопытно было повѣрить все это собственными глазами.

Я пріѣхалъ къ нимъ на дачу часовъ въ восемь. Это было уже въ августѣ мѣсяцѣ; солнце садилось. Вечеръ былъ ясный, съ небольшимъ холодкомъ. Я нашелъ все общество въ гостиной. Лидія Ивановна сидѣла на диванѣ передъ круглымъ столомъ, на которомъ стояла уже зажженная лампа, потому что въ комнатѣ было темно отъ деревьевъ. Лидія Ивановна находилась, повидимому, въ очень пріятномъ расположеніи и одѣта была очень пестро и нарядно. На Алексѣѣ Аѳанасьичѣ были галстукъ и сапоги. Лицо его было все подернуто умиленіемъ, а глаза слезой; значитъ, онъ былъ совершенно доволенъ собой и окружающими. Иванъ Алексѣичъ просто сіялъ и какъ-то все сладко улыбался. Постороннихъ было четверо: Веретенниковъ, Пруденскій, влюбленный въ Наденьку молодой человѣкъ и бойкая барышня. Послѣ обыкновенныхъ любезностей: «Что вы подѣлываете?» «Какъ давно васъ не видно». «Вы насъ забыли...» и тому подобнаго, я сѣлъ и, осмотрясь кругомъ, спросилъ:

— А что Надежда Алексѣевна? Здорова ли она?

— Слава Богу, покорно васъ благодарю, — отвѣчала Лидія Ивановна, — она поѣхала кататься съ барономъ, въ его англійскомъ экипажѣ; они, я думаю, скоро вернутся. Какой прелестный экипажъ у барона! — вы не видали этого экипажа? Совершенно какъ игрушка... И какая лошадь! Удивляться, впрочемъ, нечего, у барона столько вкуса!

Во время этихъ восклицаній влюбленный молодой человѣкъ, разговаривая съ бойкой барышней, все посматривалъ на Лидію Ивановну, иронически улыбаясь.

— Да! другого такого экипажа нѣтъ въ Петербургѣ,— замѣтилъ Веретенниковъ и потомъ обратился ко мнѣ, поправляя свои воротнички: — А я вчера былъ у графа Петра Николаевича... Какъ онъ, батюшка, перемѣнился исхудалъ — ужасъ!.. однако, теперь ему, слава Богу, гораздо лучше.

Кто такой былъ этотъ графъ Петръ Николаевичъ и почему Веретенниковъ полагалъ, что его здоровье можетъ интересовать меня, я рѣшительно не зналъ, но спросилъ:

— Чѣмъ же онъ былъ боленъ?

— Какъ! развѣ вы не слыхали? Страшное воспаленіе въ горлѣ. Онъ не могъ ничего глотать, его жизнь была въ опасности. Съ мѣсяцъ тому назадъ мы были вмѣстѣ на дачѣ у графини Вѣры Васильевны. Вечеръ былъ неслыханно хорошъ. Графиня вздумала кататься на лодкѣ, а ужъ графъ чувствовалъ себя не очень хорошо. Я ему и говорю: «Петруша, ты, братецъ, не ѣзди, ты можешь простудиться, все-таки сыро... особенно на водѣ...»

Веретенниковъ, кажется, хотѣлъ пуститься въ длинную исторію. Я предупредилъ его:

— Да о комъ это вы говорите? Кто же это такой графъ Петръ Николаичъ?..

— Графъ Красногорскій! — возразилъ Веретенниковъ, — двоюродный братъ моего зятя, князя Петра... да развѣ вы его не знаете?.. Pardon! а мнѣ казалось, что я васъ встрѣчалъ у него...

И онъ отъ меня обратился къ Лидіи Ивановнѣ и продолжалъ ей досказывать, вѣроятно, прерванный моимъ при-

ходомъ разсказъ, который такъ и кишилъ аристократическими именами.

Я подошелъ къ Алексѣю Аѳанасьичу.

— Сколько времени носу не показываешь! какъ же не стыдно! — сказалъ онъ мнѣ съ упрекомъ. — Алексѣй Аѳанасьичъ мнѣ и другимъ своимъ короткимъ знакомымъ говорилъ иногда *ты*, когда ужъ былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа.

— А мы, братецъ, — продолжалъ онъ, — превесело проводимъ время; у насъ всякій день кто-нибудь изъ добрыхъ пріятелей.

Алексѣй Аѳанасьичъ всталъ, взялъ меня за руку и вывелъ на крыльцо.

— Ты знаешь, — началъ онъ, — баронъ-то вѣдь почти своимъ человѣкомъ сдѣлался у насъ, какъ ты, ей Богу... И вѣдь онъ прекрасный и предобрый человѣкъ, простой такой! Это онъ съ виду только кажется такимъ гордымъ; ну, да въ ихъ кругу у нихъ у всѣхъ такія манеры, а я тебѣ говорю, что онъ прерадушный, пребезподобный человѣкъ! Какъ онъ смѣшитъ насъ! Мастеръ разсказывать... въ немъ бездна юмора, это совершенно справедливо замѣчаетъ Иванъ.

Не трудно было догадаться, что мнѣніе о Щелкаловѣ было внушено отцу сыномъ.

— Ахъ, я, братецъ, главнаго-то тебѣ не сообщилъ! (Старикъ вдругъ весь встрепенулся.) Ты не знаешь новость объ Иванѣ-то?

— Нѣтъ, что такое?

— Вѣдь онъ читалъ свое сочиненіе на вечерѣ у княгини Воротынской! Вѣдь нарочно для него былъ устроенъ литературный вечеръ! Вся знать была, рѣшительно вся! Эффектъ былъ такой произведенъ, что и разсказать нельзя. Всѣ были въ восторгѣ, жали ему руки, не вѣрили, чтобы на русскомъ языкѣ можно было такъ хорошо писать стихи... Княгиня-то умнѣйшая дама и съ величайшимъ вкусомъ. Иванъ говоритъ, что это просто замѣчательнѣйшая женщина, что ея салонъ напоминаетъ историческіе салоны, о которыхъ дошли

до насъ извѣстія... вотъ, какъ, напримѣръ, Рамбулье, что ли? Иванъ такъ обласканъ княгинею, она такъ полюбила его!..

У старика закапали слезы.

— Ты вѣдь знаешь Ивана, онъ съ характеромъ, онъ достоинства своего не уронитъ ни передъ кѣмъ — нѣтъ! Заискивать ни въ комъ не станетъ; онъ гордъ; онъ нисколько не увлекается этимъ и теперь говоритъ, что ни за что не поѣхалъ бы въ большой свѣтъ, даже къ такой женщинѣ, какъ княгиня, если бы не предвидѣлъ отъ этого пользы для русской литературы... Это онъ приносилъ жертву литературѣ. И точно, надобно теперь сближать, братецъ, общество съ литературой, объ этомъ должно заботиться прежде всего... это главное.

Алексѣй Аѳанасьичъ разгорячился, говоря это, и размахивалъ руками. Мнѣ было нѣсколько и смѣшно, и тяжело слушать эти нашептанныя ему фразы, значеніе которыхъ онъ едва ли могъ ясно растолковать себѣ.

— Баронъ говоритъ, — продолжалъ старикъ все со слезами на глазахъ, — что Иванъ всѣмъ очень понравился; нашли, что онъ, кромѣ таланта, чрезвычайно благовоспитанный молодой человѣкъ, умѣетъ держать себя въ обществѣ... Ну, слава Богу! это меня радуетъ, наши старанія о немъ были, по крайней мѣрѣ, не даромъ. Да это все, впрочемъ, вздоръ, главное-то талантъ, это ужъ отъ Бога! А какой талантъ-то! Что онъ написалъ третьяго дня! Онъ прочтетъ тебѣ... Лучше этого ничего еще онъ не писывалъ, по моему мнѣнію; такъ вотъ морозъ пробѣгаетъ по кожѣ, какъ слушаешь... Ходитъ да бродитъ по полямъ да по лѣсамъ, да вотъ и выходитъ этакое стихотвореніе... Княгиня-то живетъ на дачѣ, онъ былъ у нея тамъ. Какіе, говоритъ, у нея бананы, цвѣты, бронзы! роскошь неслыханная! Знаешь ли, сколько у нея дохода-то? Около милліона! Намъ съ тобой хоть бы десятую долю этого, и тѣмъ были бы довольны! Ей Богу такъ.

И старикъ сквозь слезы залился добродушнѣйшимъ смѣхомъ, ударивъ меня по плечу.

Когда я возвратился въ гостиную, Лидія Ивановна встрѣтила меня вопросомъ:

— А вы слышали, какой успѣхъ имѣлъ нашъ Иванъ Алексѣичъ въ большомъ свѣтѣ?

Иванъ Алексѣичъ какъ бы съ упрекомъ посмотрѣлъ на тетушку и, наклонясь ко мнѣ и взглянувъ на Пруденскаго, сказалъ вполголоса съ своею вкрадчивою и сладкою улыбкою:

— Всѣ *похвалы и восторги этихъ господъ я*, право, сейчасъ промѣняю на одно умное и дѣльное замѣчаніе добраго пріятеля, потому что эти великолѣпные господа не понимаютъ и не могутъ понимать и цѣнить искусства такъ, какъ мы, простые люди, понимаемъ его и цѣнимъ.

— «Dixi!» — произнесъ Пруденскій, поправивъ свои золотые очки.

Скоро послѣ этого Щелкаловъ и Наденька возвратились съ прогулки. Въ Наденькѣ я нашелъ большую перемѣну; мнѣ показалось, что она похорошѣла и что въ ея лицѣ было гораздо болѣе живости и одушевленія. Щелкаловъ не измѣнился ни на волосъ. Онъ вошелъ въ комнату, напѣвая, бросился на стулъ, положилъ нога на ногу, такъ что носокъ его сапога коснулся края круглаго стола, за которымъ сидѣла Лидія Ивановна, осмотрѣлся въ свое стеклышко, увидѣлъ меня, промычалъ свое длинное а-а-а! и протянулъ мнѣ руку черезъ голову, а я думалъ: откуда это у тебя, любезный другъ, снова англійскіе-то экипажи и лошади? — Но впослѣдствіи оказалось, что все это не принадлежало Щелкалову, а было взято имъ у пріятеля, и что Щелкаловъ бросалъ пыль въ глаза, какъ и всегда, на чужой счетъ.

— Ваша Надежда Алексѣевна, — началъ Щелкаловъ, — большая трусиха; она боится, если лошадь побѣжитъ рысью; а моя *Бьютти* смирна какъ ягненокъ и выѣзжена такъ, что ею можетъ управлять не только такой взрослый и пожилой человѣкъ, какъ я (баронъ улыбнулся), но восьмилѣтній ребенокъ; къ тому же Надежда Алексѣевна увѣряетъ, что *у нея голова кружится*, потому что она не привыкла сидѣть на высотѣ.

Щелкаловъ обернулся къ Наденькѣ и посмотрѣлъ на нее насмѣшливо.

— Конечно! — возразила, улыбаясь, Наденька, — вы не

повѣрите, ma tante, какъ это страшно сидѣть такъ высоко!

Я замѣтилъ, во-первыхъ, что Наденька кокетничала съ Щелкаловымъ и, во-вторыхъ, что дѣйствительно присутствіе его нимало уже не стѣсняло остальныхъ членовъ семейства. Щелкаловъ за чаемъ даже свысока подтрунивалъ надъ Пелагеей Петровной, какъ надъ извѣстнымъ уже ему лицомъ; а Пелагея Петровна безъ малѣйшей застѣнчивости, какъ знакомаго, угощала его кренделями и сухарями, да и Макаръ поглядывалъ уже на него очень фамильярно, почти какъ на всѣхъ насъ.

За чаемъ Щелкаловъ вдругъ шуточнымъ тономъ произнесъ, обращаясь къ намъ:

— Знаете, мнѣ вдругъ пришла въ голову блестящая мысль! Ее надо будетъ осуществить непремѣнно, а осуществленіе ея будетъ зависѣть отъ всѣхъ васъ, милостивые государи и милостивыя государыни!

Всѣ посмотрѣли на него, а Лидія Ивановна прибавила:

— Говорите, говорите, баронъ; вы мастеръ на выдумки. Мы заранѣе согласны подчиниться вашей фантазіи.

Когда Щелкаловъ заговорилъ, мнѣ показалось, что Наденька вспыхнула.

— Да-съ... ну, такъ вотъ въ чемъ дѣло. Надобно, какъ можно, разнообразить *лѣтнія* удовольствія. Противъ этого, я надѣюсь, вы спорить не будете?..

— Нисколько, — произнесъ съ сладкой улыбкой Иванъ Алексѣичъ.

— *Тѣмъ болѣе*, — замѣтилъ Щелкаловъ, — *что уже теперь осень.*

Пруденскій и Иванъ Алексѣичъ захохотали этой остротѣ.

— Я предлагаю устроить пикникъ, — продолжалъ Щелкаловъ, — мѣсто этого пикника назначается превосходное — *Дубовая Роща*, удовлетворяющая всѣмъ потребностямъ: тамъ парки, сады, цѣлые лѣса, озера, отличная поляна и, наконецъ, весь домъ, если хотите, къ вашимъ услугамъ, потому что его хозяинъ — мой другъ.

— И мой! — перебилъ Веретенниковъ.

— А управляющій знаетъ меня чуть не съ дѣтства,— продолжалъ Щелкаловъ.— Мы тамъ охотимся всякую осень; къ тому же это недалеко отсюда... не болѣе пятнадцати верстъ, кажется. Ну-съ, какъ вы объ этомъ думаете?

Мысль эта въ самомъ дѣлѣ, кажется, улыбнулась всѣмъ, потому что всѣ въ одинъ голосъ воскликнули — «прекрасно»! исключая молодого человѣка, влюбленнаго въ Наденьку, который при этомъ предложеніи поблѣднѣлъ, такъ что бойкая барышня начала махать ему въ лицо вѣеромъ, сложеннымъ изъ бумаги, и, засмѣявшись, сказала довольно громко:

— Что съ вами? вамъ дурно?

Щелкаловъ, не обращая вниманія на эти эпизоды, продолжалъ:

— Итакъ, вамъ эта мысль нравится, судя по вашему одобрительному восклицанію? Теперь остается дѣло за назначеніемъ дня и за устройствомъ всего. Устройство я беру на себя и обѣщаю вамъ, господа, что будетъ все устроено недурно.

— Можно ли въ этомъ сомнѣваться! — воскликнула Лидія Ивановна.

— Ай-да баронъ! Ей Богу, молодецъ! — воскликнулъ добродушно Алексѣй Аѳанасьичъ и потеръ себѣ руки отъ удовольствія, прибавивъ, — а тамъ въ лѣску я еще поохочусь за грибками!

— Назначайте же день, — сказалъ Щелкаловъ.

— Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше, — возразилъ Пруденскій, — вы теперь, баронъ, какъ Гомеровъ Девкалидъ, и про васъ можно сказать:

Такъ говорилъ онъ; и всѣ, устремившіеся съ духомъ единымъ,
Стали кругомъ Девкалида, щиты къ рамснамъ преклонивши...

Цитата пропала даромъ, потому что Щелкаловъ даже зрачкомъ глазъ не повелъ въ ту сторону, гдѣ былъ Пруденскій.

— Я всегда къ вашимъ услугамъ: во вторникъ, въ среду, четвергъ, когда хотите.

— Въ четвергъ?—сказала Лидія Ивановна, обращаясь ко всѣмъ намъ. —Угодно вамъ?

Мы всѣ, кромѣ влюбленнаго молодого человѣка, изъявили согласіе наклоненіемъ головъ.

— Прекрасно! Теперь обратимся къ существенному — къ деньгамъ. Это не касается до дамъ, господа, это ужъ наше дѣло. Охотниковъ изъ вашихъ знакомыхъ вѣрно наберется довольно. Я полагаю, двадцать рублей съ человѣка будетъ достаточно. Какъ ты думаешь, Веретенниковъ?

— Я думаю, довольно.

— За двадцать рублей я васъ такъ накормлю и напою, что, надѣюсь, вы скажете мнѣ спасибо. Я пошлю къ управляющему наканунѣ моего повара, вина, фрукты и прочее. Ну, подавай-ка деньги, Веретенниковъ, — я начинаю съ тебя.

Веретенниковъ вынулъ двадцать рублей и подалъ ихъ Щелкалову. Щелкаловъ разложилъ ихъ на столѣ, пригладилъ рукою и посмотрѣлъ на насъ.

— Вы согласны. Вы изъ *нашихъ?* — спросилъ онъ, обратясь ко мнѣ.

— Да, — отвѣчалъ я, подавая ему деньги.

Пруденскій, услыхавъ о цѣнѣ, наморщился въ первую минуту, однако отошелъ въ сторону, вынулъ деньги, отсчиталъ двадцать рублей, помуслилъ палецъ и потеръ одну депозитку, которая ему показалась потолще другихъ, полагая. не склеились ли какъ-нибудь двѣ, и потомъ, снова пересчитавъ, подалъ деньги Щелкалову.

— Камни для фундамента уже есть, — замѣтилъ Щелкаловъ, продолжая складывать депозитки одна на другую и потомъ разглаживая ихъ рукою.

— А ты-то, братецъ? что же? — сказалъ Алексѣй Аѳанасьичъ влюбленному молодому человѣку, — если у тебя нѣтъ съ собой денегъ, хочешь, я за тебя отдамъ?

— Нѣтъ, я не поѣду, я не расположенъ, — отвѣчалъ молодой человѣкъ сухо, замѣтивъ радость на лицѣ Наденьки, что все такъ скоро устроилось.

— Вздоръ, теперь поздно, вѣдь ты не протестовалъ противъ этого, когда говорили.

— Өедоръ Васильичъ, отчего же? — сладко произнесъ Иванъ Алексѣичъ, гладя по плечу молодого человѣка, — зачѣмъ же отставать отъ друзей?

Бойкая барышня взглянула на молодого человѣка такъ нѣжно, какъ бы умоляла его согласиться. Онъ нѣсколько минутъ колебался и, наконецъ, рѣшился.

— На сколько же можно разсчитывать? — спросилъ Щелкаловъ — это мнѣ нужно знать заранѣе. Насъ здѣсь семь человѣкъ.

— Еще за пять я вамъ смѣло отвѣчаю, — сказала Лидія Ивановна. — Мы знаете кого можемъ пригласить между прочимъ? (Лидія Ивановна обратилась къ Алексѣю Аөанасьичу). Астрабатова!.. Не правда ли?

— Почему же нѣтъ? Онъ еще возьметъ съ собою гитару, и безподобно!

— Семь и пять — двѣнадцать, — продолжалъ Щелкаловъ. — ну что жъ, и довольно; а коли найдете еще кого-нибудь, тѣмъ лучше. Итакъ, дѣло въ шляпѣ.—Щелкаловъ сунулъ деньги въ карманъ и прибавилъ, оборотившись къ намъ, — разумѣется, господа, каждый въ своемъ экипажѣ... собираются здѣсь... въ четвергъ, ровно въ одиннадцать часовъ... такъ ли? не рано ли?

Щелкаловъ посмотрѣлъ на Лидію Ивановну.

— О, нѣтъ, баронъ! даже еще пораньше не мѣшало бы, — отвѣчала она.

— Только во всякомъ случаѣ не позже одиннадцати, — прибавилъ онъ

Мы всѣ согласились на это .

— Посмотрите, какая прелесть — луна-то, луна-то! — вскрикнулъ сзади меня Алексѣй Аөанасьичъ, указывая на луну, которая глядѣла въ окно сквозь вѣтви сосны, — пойдемте, господа, на крылечко.

И онъ всѣхъ насъ вытащилъ на крыльцо, за исключеніемъ Щелкалова и Веретенникова, которые остались съ дамами.

— А знаете ли что, Иванъ Алексѣичъ? — сказалъ Пруденскій въ то время, какъ Алексѣй Аөанасьичъ восхищал-

ся луной, — мысль пикника безъ сомнѣнія прекрасна, это не подлежитъ спору; но цѣна дороговата, какъ хотите! Эти господа привыкли швырять деньгами, такъ имъ двадцать рублей нипочемъ, а нашему брату, воля ваша, это чувствительно.

— Правда, правда! — подтвердилъ Иванъ Алексѣичъ, почесывая въ затылкѣ и поморщиваясь, но потомъ, сладко улыбнувшись, прибавилъ:—ну ужъ куда, впрочемъ, ни шло! вы не будете послѣ жалѣть объ этихъ деньгахъ. Вы посмотрите, какъ это все будетъ устроено; повѣрьте, баронъ на это мастеръ.

— Предполагать должно, но вѣдь и то сказать, двадцать рублей съ брата!

— Вы увидите, что этотъ пикникъ не удастся, — сказалъ мнѣ молодой человѣкъ, влюбленный въ Наденьку, — всѣ будутъ женированы, согласія не будетъ ни малѣйшаго; эти господа, по обыкновенію, станутъ ломаться; повѣрьте, пикники хороши только между своими, между очень близкими.

Молодой человѣкъ былъ не въ духѣ. Мы вмѣстѣ съ нимъ раньше всѣхъ отправились домой тихонько отъ хозяевъ дома

— Ну, что, — сказалъ онъ въ волненіи, когда мы сѣли въ дрожки, — вы теперь собственными глазами убѣдились въ справедливости моихъ словъ?

— Да, почти, — отвѣчалъ я.

— И какъ вамъ это нравится! — отпускаютъ дѣвочку одну съ этимъ господиномъ! Ну, скажите, прилично ли это?

— Не совсѣмъ, — отвѣчалъ я.

— А когда гуляютъ, такъ онъ всегда уйдетъ съ ней впередъ или отстанетъ отъ всѣхъ, и никто какъ будто не замѣчаетъ этого. Ольга Ивановна — вотъ эта барышня, что у нихъ гоститъ — говорила мнѣ, что Надежда Алексѣевна только и бредитъ этимъ барономъ...

Молодой человѣкъ, незамѣтно увлекаясь, признался мнѣ дорогою, что Надежда Алексѣевна ему точно очень нравилась что и она, повидимому, была расположена къ нему и что онъ даже имѣлъ намѣреніе просить ея руки.

— Теперь я вижу. — прибавилъ онъ въ заключеніе своихъ признаній, — что я сдѣлалъ бы ужаснѣйшую глупость. Она пустая, вѣтреная дѣвушка, которую увлекаетъ только одинъ внѣшній блескъ; она помѣшана на свѣтскости. Этотъ баронъ подвернулся на мое спасеніе, чтобы открыть мнѣ глаза.

Молодой человѣкъ въ эту минуту былъ еще все влюбленъ въ Надевьку, потому что онъ говорилъ о ней съ раздраженіемъ и горячностью. Я было вступился за нее, но онъ не хотѣлъ ничего слышать.

— Да что, скажите, — перебилъ онъ меня, — что, *онъ* богатъ, что ли? Вѣдь между этими господами трудно отличить богатаго отъ тароватаго.

— Это правда,—отвѣчалъ я, — но у Щелкалова едва ли есть что-нибудь.

— То-то и мнѣ кажется. Вы знаете, что съ мѣсяцъ назадъ тому онъ занялъ у Алексѣя Аѳанасьича двѣ тысячи?

— Кто же это вамъ сказалъ?

— Мнѣ сказала Пелагея Петровна, это навѣрно. Алексѣй Аѳанасьичъ воображаетъ, что у него груды золота. И точно, если судить по его манерамъ да по разсказамъ, такъ сдуру примешь его пожалуй за милліонера. Но я боюсь, что бѣдный Алексѣй Аѳанасьичъ не только капитала, да и процентовъ-то не увидитъ!..

— Не мудрено, — возразилъ я.

На другой день я обѣдалъ въ ресторанѣ. Въ одной со мною комнатѣ сидѣли два господина — военный и штатскій. Они разговаривали такъ откровенно и громко, какъ будто были одни въ комнатѣ. Рѣчь сначала шла о какомъ-то Колѣ и о Дарьѣ Александровнѣ. Военный находилъ, что Дарья Александровна одна изъ самыхъ хорошенькихъ женщинъ въ Петербургѣ. Штатскій перебилъ его.

— Нѣтъ, любезный другъ, — сказалъ онъ, — я недавно видѣлъ дѣвочку, такъ вотъ дѣвочка! Удивительная, прелесть что такое! передъ ней твоя Дарья Александровна просто дрянь... Ты знаешь Щелкалова?

— Еще бы! — отвѣчалъ военный, — ну такъ что жъ?

— Я его раза два встрѣтилъ по парголовской дорогѣ съ этою госпожею. Прежде я рѣшительно никогда и нигдѣ не видалъ ее. Третьяго дня онъ попадается мнѣ на Невскомъ, я и вцѣпился въ него: «Кто это, братецъ, такая хорошенькая, съ которой я тебя встрѣтилъ?» — «Гдѣ? когда?» Онъ, знаешь, прикинулся, какъ будто не догадался. «На парголовской дорогѣ», я говорю. Тутъ онъ промычалъ «а-а!», остановился на минуту и говоритъ: «Это одна моя знакомая». Я къ нему присталъ, ну и онъ, разумѣется, мнѣ во всемъ признался; но кто она такая и гдѣ онъ скрываетъ ее — это неизвѣстно: ужъ какъ я къ нему ни приставалъ, онъ ни за что не говоритъ, а чудо что за дѣвочка!

— Каковъ Щелкаловъ-то! — воскликнулъ военный.

— Да не глупъ! — прибавилъ штатскій.

Дальнѣйшаго разговора я не слышалъ и не желалъ слышать. Въ эту минуту я окончилъ свой обѣдъ и вышелъ изъ комнаты.

ГЛАВА V,

изъ которой проницательный читатель усмотритъ многое. Во первыхъ, что хлыщи бываютъ различныхъ родовъ, во-вторыхъ, что великосвѣтскіе хлыщи въ свою очередь робѣютъ и иногда дѣлаются неловкими, и въ третьихъ, что они разоблачаются и обнаруживаютъ себя вдругъ, совершенно неожиданно даже для самихъ себя, при чемъ также вполнѣ объясняется читателю значеніе не всѣми употребляемаго, но пріятнаго для слуха слова хлыщъ.

Въ четвергъ ровно въ одиннадцать часовъ я уже былъ у Грибановыхъ и нашелъ тамъ довольно многочисленную компанію. Весь дворъ былъ заставленъ экипажами. Почти всѣ были въ сборѣ, за исключеніемъ Щелкалова и Веретенникова. День былъ прекрасный, даже довольно жаркій для осени. На небѣ ни одного облака... Я засталъ муж-

чинъ и дамъ въ разныхъ комнатахъ: мужчинъ въ залѣ, а дамъ въ гостиной въ ожиданіи минуты отъѣзда.

Въ залѣ ораторствовалъ господинъ небольшаго роста, коренастый и уже не первой молодости, завитой, весь въ перстняхъ и въ цѣпяхъ. Это былъ Астрабатовъ. Я вошелъ тихо и остановился, никѣмъ незамѣченный, потому что все вниманіе въ эту минуту было обращено на Астрабатова.

— Главное — въ душѣ, — говорилъ онъ, — остальное все вздоръ и вниманія не стоитъ. Когда вотъ этакъ, какъ мы, соберемся по душѣ, когда все люди подходящіе, такъ натурально и весело, и ѣсть будешь лучше, и пить больше... Вѣдь вотъ хоть бы этотъ старикъ-то...

Астрабатовъ съ хитрою улыбкою направилъ свой указательный палецъ, плоскій, широкій и четвероугольной формы, украшенный перстнемъ съ бриллiантовымъ солитеромъ, на Алексѣя Аѳанасьича.

— Это рѣдчайшей души старикъ, первый сортъ, это человѣкъ со вздохомъ. У него все начистоту, все на ладони, безъ задоринки; а вѣдь иной этакъ и вылощенъ съ виду-то, комъ-иль-фо, а попробуй погладить, такъ и занозишься!..

Астрабатовъ повелъ головою кругомъ и вдругъ остановился на мнѣ.

— Вотъ этотъ, — онъ пальцемъ указалъ на меня, — этотъ тоже подходящій къ намъ.

Я зналъ Астрабатова давно, хотя совсѣмъ не коротко, и встрѣчался съ нимъ рѣдко. Онъ говорилъ мнѣ какъ и всѣмъ *ты*, потому что принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые, черезъ полчаса послѣ знакомства съ человѣкомъ, говорятъ уже ему непремѣнно *ты*...

— Здравствуйте, душенька, — продолжалъ онъ, приближаясь ко мнѣ съ намѣреніемъ заключить меня въ объятья, — то-есть, разутѣшилъ, что пріѣхалъ, ей Богу! Ну, чмокнемся, братецъ... Сто лѣтъ не видалъ тебя.

И онъ обнялъ меня.

— Чортъ его знаетъ, — продолжалъ онъ, обращаясь ко всѣмъ и ударяя меня по плечу, — самъ не знаю, за что

люблю его... Вотъ здѣсь-то у него, правда, горячо, такъ и пышетъ!

И онъ приложилъ свою широкую ладонь къ моему лѣвому боку.

Освободясь отъ Астрабатова, я поздоровался съ хозяевами дома и съ остальными гостями.

— Ну, теперь только дѣло за барономъ, — замѣтилъ Алексѣй Аѳанасьичъ, — мы всѣ, кажется, въ сборѣ, вѣдь ужъ четверть двѣнадцатаго... никакъ не можетъ не опоздать! А пора бы ужъ и въ путь.

Щелкаловъ съ Веретенниковымъ пріѣхали около двѣнадцати.

— Баронъ, — сказалъ Алексѣй Аѳанасьичъ, встрѣчая его. — Не стыдно ли, а еще самъ все толковалъ, чтобы собраться ровно къ одиннадцати.

— Что такое? развѣ я опоздалъ? развѣ теперь больше одиннадцати? — возразилъ онъ разсѣянно, важно кивнувъ намъ всѣмъ головою и проходя въ гостиную, гдѣ были дамы

Астрабатовъ подошелъ ко мнѣ и, указавъ головою на Щелкалова, сказалъ вслѣдъ ему:

— Не узнаетъ! Вишь какъ голову-то загнулъ. Да насъ братъ, этимъ не удивишь! Мы видали и почище тебя! На плечахъ-то шелкъ, а въ карманѣ щолкъ!.. Ахъ, душа моя! — продолжалъ онъ, кладя мнѣ руку на плечо, — чортъ ли въ человѣкѣ, когда у него теплоты нѣтъ. Терпѣть не могу этакихъ...

Веретенниковъ, пожавъ мнѣ руку и какъ бы не замѣтивъ Астрабатова, стоявшаго возлѣ меня, хотѣлъ отправиться вслѣдъ за Щелкаловымъ въ гостиную. Но Астрабатовъ схватилъ его за фалду сюртука.

— Куда! — сказалъ онъ ему, — нѣтъ, братъ, постой! Что у тебя темная вода въ глазахъ, что ли, что ты не видишь старыхъ знакомыхъ?

Веретенниковъ съ едва замѣтной, но иронической улыбкой измѣрилъ Астрабатова.

— А-а! здравствуй, — произнесъ онъ довольно сухо, — ты какъ попалъ сюда?

— Я, братъ, вездѣ, гдѣ хорошіе люди съ теплотой!.. Охъ, ужъ вы мнѣ бонтоны! Туда же шпильки подпускаютъ, да нѣтъ, вѣдь меня не оцарапаешь, не таковской! Я этихъ загвоздокъ терпѣть не могу, душа моя; по-моему, коли дѣйствуй, такъ дѣйствуй начистоту.

— Оригиналъ! — воскликнулъ Веретенниковъ, обратясь ко мнѣ, поправивъ свои воротнички и принужденно засмѣявшись, — не правда ли?.. — И съ этимъ словомъ ускользнулъ въ гостиную.

Астрабатовъ проводилъ его глазами, покачалъ головой и произнесъ:

— Положимъ, что оригиналъ, да не накрахмаленная обезьяна, какъ ты!

Онъ скорчилъ гримасу и вздохнулъ, потомъ взялъ меня за руку и сказалъ:

— Пойдемъ, душа моя, туда за ними, посмотримъ на этихъ бонтоновъ-то, какъ они тамъ ломаются передъ барынями и отпускаютъ имъ закорючки на розовомъ маслѣ. Мы, братецъ, люди не свѣтскіе; надо поучиться у нихъ толочь доделаванъ въ ступѣ. Мы напрямикъ; коли заговорило здѣсь (Астрабатовъ указалъ на сердце), такъ не думая долго, бухъ на колѣни... и безъ всякой этакой реторики: «У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человѣкъ со вздохомъ», и мы по опыту знаемъ, душа моя, что это дѣйствуетъ на барынь вѣрнѣе. Какъ думаешь?

Онъ прищелкнулъ языкомъ, зажмурилъ правый глазъ, схватилъ меня за руку и потащилъ въ гостиную.

Тамъ Щелкаловъ, лежа въ волтеровскомъ креслѣ, съ розаномъ въ бутоньеркѣ и съ пахитоской въ зубахъ, разсказывалъ что-то дамамъ, которыя окружили его кресло.

Мы застали его на слѣдующихъ словахъ:

— Это была минута ужасная,—говорилъ онъ,—лошадь закусила удила и мчала графиню прямо къ рѣкѣ; берегъ этой рѣки крутой и почти отвѣсный: она была уже не болѣе, какъ шагахъ въ пятидесяти отъ берега, но въ это мгновеніе я пускаю свою лошадь за нею во весь карьеръ, не сознавая ничего, нисколько не думая объ опасности... Передняя нога

ея лошади ужъ висѣла надъ бездной въ ту минуту, какъ я поравнялся съ нею. Я схватилъ графиню одной рукою за талію, перебросилъ ее къ себѣ на сѣдло и въ то же мгновеніе другой рукой съ такой силой осадилъ свою лошадь, что она совсѣмъ грянулась на заднія ноги. Я соскочилъ съ нея и положилъ графиню на землю. Она была, разумѣется, безъ памяти... Ну, въ это время къ намъ подоспѣли остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнулась въ рѣку и тутъ же пала, разбившись грудью о камни...

Щелкаловъ, произнеся послѣднее слово, вставилъ въ глазъ свое стеклышко и обозрѣлъ своихъ слушательницъ. Лидія Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня съ двойнымъ золотымъ лорнетомъ, Наденька и другія барыни и барышни—всѣ въ одинъ голосъ невольно ахнули съ послѣднимъ словомъ Щелкалова: такъ поразилъ ихъ его геройскій подвигъ; а Астрабатовъ, наклонясь къ моему уху, шепнулъ:

— Да это онъ, братецъ ты мой, кажется, лупитъ чистоганомъ изъ *не любо,—не слушай*..

— Ахъ ты Малекъ-Адель эдакій!—воскликнулъ онъ громко, глядя на Щелкалова, и потомъ продолжалъ, обратясь къ дамамъ:—то-есть ухъ! какой тонкости, я вамъ доложу, человѣкъ по амурному отдѣленію,—бѣда! Слава Богу, десять лѣтъ его знаю, не десять дней... Послушай, баронъ (онъ снова поглядѣлъ на Щелкалова), а помнишь ли третьягодняшнюю лебедянскую сказку? Забылъ что ли?

Въ голосѣ Астрабатова послышалось внутреннее раздраженіе.

— Тогда безъ Астрабатова не обходился никто... обѣдъ ли, ужинъ ли, или что-нибудь этакое—подавай сюда Астрабатова! Астрабатова обнимали, качали; Астрабатовъ, мон-шеръ, душу свою отдавалъ вамъ безъ залога и безъ процентовъ... Астрабатовъ, сдѣлай то; Астрабатовъ, дай это (онъ указалъ на карманъ); Астрабатовъ, съѣзди туда; Астрабатовъ, спой. Астрабатовъ все дѣлалъ для васъ—и ѣздилъ, и хлопоталъ, и пѣлъ... Какъ заговоритъ, бывало, тутъ, въ лѣвомъ боку, сен-

часъ гитару въ руки, щипнулъ два-три аккорда со слезой, да какъ потомъ зальешься этакъ задушевно, изнутри; такъ, я думаю, ты самъ помнишь,—люди, у которыхъ были нервы изъ вязиги—и тѣ, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нѣтъ, да душа есть, а въ душѣ—главное... Астрабатовъ—это всѣмъ извѣстно—въ пять дней пять тысячъ рублей серебромъ просадилъ. Да! вотъ каковъ Астрабатовъ-то!

Онъ вынулъ изъ кармана огромный сафьянный бумажникъ и хлопнулъ по немъ рукою.

— Пять тысячъ, мон-шеръ, вотъ изъ этого бумажника вынулъ, какъ одну копейку, въ пять дней!—потомъ, вздохнувъ, прибавилъ:—Въ немъ-таки перебывало порядочно деньжонокъ! И нынче, благодаря Бога, водятся... А въ Петербургѣ Астрабатова на улицѣ или въ гостяхъ встрѣчаютъ: не узнаютъ. Здѣсь Астрабатовъ не нуженъ, потому что здѣсь фаетоны да бонтоны, здѣсь вытанцовываютъ па-де-де на столичныхъ деликатностяхъ въ вершокъ ширины; а задушевности, мон-шеръ, вотъ отсюда-то идущей, изъ глубины, теплоты-то этой,—этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувствѣ не спрашивай... А въ сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дѣло.

Астрабатовъ пріостановился на минуту, посмотрѣлъ, нѣсколько прищурясь, на дамъ, удивленныхъ его импровизаціею, вынулъ изъ кармана пестрый раздушенный фуляръ, высморкался и сказалъ, улыбаясь.

— Pardon, mesdames! я человѣкъ со вздохомъ, люблю попросту, безъ всякихъ этакихъ закорючекъ, сердечно высказать все, когда закипитъ внутри; а тамъ, знаешь, каждый получай по адресу...

Щелкаловъ въ первую минуту, когда Астрабатовъ заговорилъ, обернулся на этотъ голосъ, взглянулъ на него и потомъ въ продолженіе всей его рѣчи измѣрялъ его съ ногъ до головы въ свое стеклышко съ презрительной улыбкой. Когда же Астрабатовъ кончилъ, баронъ захохоталъ, всталъ съ кресла, протянулъ ему руку, какъ бы удостоивая его особенной чести, и сказалъ, не глядя впрочемъ на него:

— Здравствуй... Ну, что, все такой же, какъ всегда?.. осо-

бенный. свой языкъ, какъ ни у кого? оригинально... очень!— И потомъ, обратясь къ Лидіи Ивановнѣ, прибавилъ:—большой чудакъ! Не правда ли? А я и не зналъ, что вы съ нимъ знакомы...

Астрабатовъ значительно посмотрѣлъ на него.

— Полно, душенька, эръ-фиксы-то выпускать,—произнесъ онъ:—съ старыми-то пріятелями этакъ не встрѣчаются. Вотъ лучше-ка по душѣ, запросто безъ закорючекъ, обнимемся и поцѣлуемся.

Онъ безцеремонно обнялъ Щелкалова и протянулъ къ нему свои губы. Щелкаловъ поморщился, не совсѣмъ охотно позволилъ поцѣловать себя и потомъ, отойдя отъ него, сказалъ мнѣ:

— Вотъ, батюшка, типъ-то! Не правда ли? Каковъ молодчикъ?.. Но какъ же можно пускать этакаго господина въ домъ?

Вскорѣ послѣ этого экипажи были поданы, и всѣ начали собираться въ путь. Передъ самымъ отъѣздомъ Астрабатовъ схватилъ за руку Ивана Алексѣича, который бѣжалъ къ коляскѣ съ какимъ-то узломъ.

— Постой, душа моя,—сказалъ онъ ему,—ты вѣдь меня знаешь, и мы, кажется, понимаемъ другъ друга. Ты поэтъ; а я, братецъ, хоть и не пишу стиховъ, но здѣсь у меня въ груди кипитъ поэзія; и слеза, и вздохъ, и пѣсня—все тутъ! Такъ ли? скажи...

— Еще бы!—возразилъ Иванъ Алексѣичъ, крѣпко пожавъ руку Астрабатова съ свойственнымъ ему сладкимъ выраженіемъ;—я знаю, что ты поэтъ въ душѣ; но пора, братецъ, ѣхать: мы и безъ того ужъ опоздали. . Надо вотъ еще уложить этотъ узелъ...

— Нѣтъ, погоди, братъ, погоди!—перебилъ его Астрабатовъ, — тебѣ извѣстно, что я дѣйствую начистоту, напрямки, *этикеты* только уважаю на бутылкахъ, а церемоній терпѣть не могу; такъ вели-ка ты, душенька, на дорогу-то подать мнѣ бальзамчику да кусочекъ чернаго хлѣбца съ солью. Какъ набальзамируешь этакъ слегка желудокъ передъ обѣдомъ, такъ и аппетитъ лучше, и на душѣ покой-

нѣе, да и отъ сырости предохранишь себя. Нельзя безъ этого. Вѣдь въ воздухѣ нынче эпидеміи такъ и хлещутъ!

Астрабатовъ выпилъ двѣ большія рюмки водки, крякнулъ, закусилъ чернымъ хлѣбомъ и произнесъ:

— Ну, вотъ, теперь хоть на край свѣта!

Въ это время происходила страшная суматоха. Дамы въ шляпахъ и бурнусахъ толпились на крыльцѣ и на дорожкѣ палисадника, которая вела къ калиткѣ; мужчины—одни кричали своихъ кучеровъ, другіе отыскивали свои пальто и шляпы: Макаръ, въ ливреѣ травяного цвѣта съ галунами, о чемъ-то очень хлопоталъ и суетился съ необкновенно серьезнымъ выраженіемъ въ лицѣ; горничныя совались безъ толку изъ угла въ уголъ...

Коляска Щелкалова, запряженная четвернею въ рядъ, которою управлялъ кучеръ страшной толщины съ огромною крашеною бородою, подъѣхала первая къ калиткѣ. Щелкаловъ предложилъ садиться Лидіи Ивановнѣ и Наденькѣ и сѣлъ напротивъ нихъ самъ съ Веретенниковымъ. Его ливрейный лакей, въ красныхъ плюшевыхъ штанахъ, ловко захлопнулъ дверцы коляски, оттолкнулъ Макара, который подсунулся было ему подъ руку, вскочилъ на козлы, гордо сѣлъ, подбоченясь лѣвой рукой, и закричалъ: «Пошелъ!» Когда коляска двинулась, бойкая барышня съ лорнетомъ шепнула что-то влюбленному въ Наденьку молодому человѣку, который измѣнился въ лицѣ и хоть улыбнулся, но очень печально. Затѣмъ всѣ начали разсаживаться въ свои экипажи.

Мнѣ пришлось ѣхать съ бойкой барышней и съ влюбленнымъ молодымъ человѣкомъ. Дорогою я замѣтилъ, что между ними происходило что-то особенное. Она какъ-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала немилосердно, играя своимъ двойнымъ лорнетомъ.

Когда мы проѣхали уже верстъ пять, сзади насъ послышался звонъ бубенчиковъ и страшный крикъ «Правѣе! правѣе! Эй вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно... Правѣе!» И вслѣдъ затѣмъ пронесся мимо насъ, чуть не задѣвъ колесомъ наше колесо, небольшой охотничій тарап-

тасъ, запряженный тройкой съ бубенчиками и съ разными балаболками на сбруѣ. Этой тройкой правилъ стоя молодой ямщикъ въ плисовой поддевкѣ, въ плоской шляпѣ почти безъ полей, набекрень, украшенной вѣнкомъ разноцвѣтныхъ георгинъ. Въ этомъ тарантасѣ сидѣли Аменаида Александровна съ Астрабатовымъ.

Астрабатовъ, поравнявшись съ нами, вскочилъ на ноги, снялъ свою бархатную фуражку и, помахивая ею въ воздухѣ, закричалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Что, душа моя, какова троечка-то? У меня, братецъ, русская душа. Вотъ она наша поэзія-то!..

Мы пріѣхали въ «Дубовую Рощу» въ началѣ третьяго часа. Первое лицо, попавшееся намъ, былъ Астрабатовъ, который у подъѣзда флигеля, гдѣ были приготовлены для насъ комнаты, расхаживалъ съ кнутомъ въ рукѣ, всѣхъ встрѣчая и хвастая своей троечкой и своей русской душой.

Щелкаловъ по знакомству съ хозяиномъ и управляющимъ «Дубовою Рощею» устроилъ все съ величайшимъ эффектомъ и комфортомъ. Намъ отданъ былъ въ распоряженіе цѣлый флигель съ пятью комнатами. Въ первой большой комнатѣ, украшенной дубовыми гирляндами, былъ накрытъ длинный столъ, уставленный хрусталемъ, фруктами и цвѣтами; направо двѣ небольшія комнаты, также всѣ въ цвѣтахъ, назначались для дамскихъ уборныхъ: комната налѣво для мужчинъ; а въ стеклянной галлереѣ за этой комнатой помѣщался буфетъ.

Лидія Ивановна, Наденька, а за ними всѣ остальныя дамы поочередно приходили въ восторгъ отъ вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкаловъ принималъ эти изъявленія довольно равнодушно, гордо прохаживался съ своимъ стеклышкомъ, кричалъ на людей и дружески трепалъ по плечу толстаго управляющаго съ нечатками на животѣ, который явился къ нему узнать, доволенъ ли онъ его распоряженіями. Я замѣтилъ въ то же время, что этотъ управляющій посматривалъ на всѣхъ насъ остальныхъ, на дамъ и на мужчинъ, съ какой-то подозрительной гримасой недоумѣнія, которую можно было растолковать такъ;

«Да откуда же это такихъ господъ и госпожъ навезъ съ собою баронъ? Я такихъ съ роду не видывалъ».

Иванъ Алексѣичъ подходилъ ко всѣмъ съ своей сладкой улыбкой и съ однимъ и тѣмъ же вопросомъ: «Каковъ баронъ-то? Я вѣдь говорилъ, что онъ все сумѣетъ устроить, какъ никто. Оно хотя дороговато, да вѣдь зато, посмотрите, какъ все хорошо».

И затѣмъ одному онъ указывалъ, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со сливами, третьяго приводилъ въ буфетъ, гдѣ былъ выставленъ строй бутылокъ, и такъ далѣе.

У Пруденскаго разгорались на все глаза, и, казалось, онъ совершенно начиналъ забывать потраченные имъ двадцать рублей: поправляя очки, онъ разглядывалъ съ глубокомысленнымъ вниманіемъ и ананасъ и персикъ; читалъ на бутылкахъ ярлыки; бралъ бутылку въ руку, разсматривая ее со всѣхъ сторонъ, и улыбался про себя.

Поваренки, бѣгавшіе по двору, также немало занимали его.

— Вишь,—замѣтилъ онъ съ удовольствіемъ:—плуты, бѣгаютъ, и сколько ихъ! Видно работы-то много! Полагать должно по всему, что намъ предстоитъ недурной обѣдецъ, а возліятельная часть въ наилучшемъ устройствѣ. Лафитъ и сотернъ подъ золотыми и серебряными печатями! И потомъ продолжалъ, пародируя Гомера: — Мы будемъ за пиршествомъ:

Мирно бесѣду вести; посреди насъ цвѣтущая Геба —

(онъ указалъ на проходившую въ эту минуту Наденьку)

Нектаръ кругомъ разольетъ... и кубки пріемля златые,
Чествовать будемъ другъ друга, на лугъ сей зеленый взирая..

(При этомъ онъ указалъ пальцемъ въ окно и осклабился самою самодовольною улыбкою.)

Астрабатовъ ударилъ его своей широкой ладонью по спинѣ и сказалъ:

— Полно ораторствовать-то! вѣдь ты здѣсь не въ школѣ, а вотъ выпьемъ-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватилъ дважды передъ отъѣздомъ и одинъ разъ послѣ прiѣзда, да чувствую потребность еще: что-то щемитъ подъ ложечкой. Хватимъ-ка, дружище, по рюмочкѣ.

Пруденскiй очень поморщился при словѣ школа, но потомъ однако улыбнулся и отвѣчалъ съ юмористическимъ выраженiемъ по-малороссiйски:

— Добре...

Когда дамы поправили свои туалеты послѣ дороги, всѣ отправились гулять въ паркъ. Баронъ подъ руку съ Наденькой; молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, съ бойкой барышней; Астрабатовъ съ Аменаидой Александровной; остальные вразсыпную, въ томъ числѣ и я. Когда въ глубинѣ парка мы очутились съ обѣихъ сторонъ среди густого березняка и когда Алексѣй Аѳанасьичъ увидалъ грибъ, у него такъ и загорѣлись глаза. Онъ бросился къ нему, дрожащей рукой оторвалъ его отъ корня, съ восторгомъ вскрикнулъ: «О, да здѣсь, я вижу, должно быть пропасть грибовъ! Господа, кто хочетъ со мной на охоту?» И, перепрыгивая съ кочку на кочку, какъ молодой человѣкъ, онъ въ минуту скрылся отъ насъ въ чащѣ лѣса. За нимъ послѣдовали Пруденскiй, Иванъ Алексѣичъ и еще два мнѣ неизвѣстные господина, а мы отправились далѣе по дорогѣ парка.

Дорога все шла подъ гору, и когда мы спустились съ горы, направо передъ нами открылось озеро, замыкавшееся съ одной стороны крутымъ и лѣсистымъ берегомъ, а съ другой—болотистымъ пространствомъ, поросшимъ частымъ, высоко вытянувшимся, но тощимъ березнякомъ и осиною. Почти посрединѣ озера возвышался небольшой островъ, густо заросшiй мелкимъ лѣсомъ и кустарникомъ, въ зелени котораго виднѣлась бесѣдка, сложенная изъ березы. У самаго спуска къ озеру, куда мы подошли, къ перiламъ небольшой пристани привязана была лодочка, и здѣсь по распоряженiю предупредительнаго управляющаго ожидалъ насъ мужикъ съ багромъ и веслами, въ случаѣ если бы кому-нибудь изъ насъ захотѣлось покататься на озерѣ.

Мы остановились здѣсь, потому что дамы заахали отъ восхищенія, когда передъ ними сюрпризомъ открылось озеро.

— Ахъ! и лодочка!—воскликнула Наденька.

— А вы не боитесь кататься на лодкѣ?—спросилъ ее Щелкаловъ.

— Отчего же? если такъ тихо, какъ теперь...

— Ну такъ поѣдемте.

— А кто же будетъ грести?

— Грести буду я.

— Да развѣ вы умѣете?

— А вотъ вы увидите. Хотите, что ли?

Наденька въ нерѣшительности посмотрѣла на Лидію Ивановну.

— Поѣзжай, мой другъ, отчего же?—возразила Лидія Ивановна,—вѣрно кто-нибудь еще изъ дамъ пожелаетъ покататься.

И она обратилась къ дамамъ съ пріятной улыбкой.

— Ахъ, нѣтъ, какъ можно! страшно на такой маленькой лодочкѣ!—воскликнуло въ одинъ голосъ нѣсколько дамъ.

Щелкаловъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на Лидію Ивановну, ни на этихъ дамъ, велѣлъ отцѣпить лодку вскочилъ въ нее, взялъ отъ мужика багоръ и весла и протянулъ руку Наденькѣ.

— Ну, прыгайте,—сказалъ онъ,—докажите, что вы не трусиха и имѣете довѣренность къ гребцу.

Наденька колебалась съ минуту, и, наконецъ, прыгнула въ лодку

— Больше никого взять нельзя,—сказалъ Щелкаловъ рѣшительно:—опасно, потому что лодка очень мала. Мы проѣдемся немного, я выпущу Надежду Алексѣевну, и потомъ, если кто-нибудь захочетъ. .

Щелкаловъ пробормоталъ послѣднія слова, упираясь багромъ о пристань и отталкивая лодку отъ берега, и, не докончивъ фразу, бросилъ багоръ въ лодку, снялъ съ себя шляпу, сѣлъ, тряхнулъ головой, взмахнулъ веслами, которыя блеснули на солнцѣ,—и легкая лодочка, разсѣкая синеватую и гладкую поверхность воды, понеслась быстро по

направленію къ острову. Все это совершилось въ одно мгновеніе, такъ что никто изъ насъ не успѣлъ опомниться.

Для молодого человѣка, влюбленнаго въ Наденьку, это была, кажется, рѣшительная минута, потому что онъ съ этихъ поръ почти пересталъ говорить съ нею и началъ, вѣроятно въ отмщеніе ей, уже совершенно явно ухаживать за бойкою барышней съ лорнетомъ.

Мы всѣ остались на берегу, за исключеніемъ Аменаиды Александровны и Астрабатова, которые или отстали отъ насъ, или ушли впередъ.

Бѣлыя облака густыми грядами, тѣснясь другъ къ другу, тянулись по небу; солнце вскорѣ скрылось за ними; синева постепенно пропадала съ поверхности озера, и оно принимало свинцовый оттѣнокъ. Сѣроватое небо, сѣроватая вода и мелкій болотистый обрѣдѣвшій лѣсъ, со всѣхъ сторонъ окружавшій насъ,—все это было нѣсколько печально. Говоръ вдругъ смолкъ, порывистый вѣтеръ по временамъ сильно качалъ вершинами деревъ, съ которыхъ слетали пожелтѣвшіе листья, и пробѣгалъ рябью по поверхности озера.

Мы молча слѣдили за движеніемъ лодочки, и мнѣ, я самъ не знаю отчего, вдругъ стало жаль Наденьку.

Лодка причалила къ острову. Мы видѣли, какъ Щелкаловъ выпрыгнулъ изъ нея и протягивалъ руку Наденькѣ, какъ Наденька соскочила на землю, какъ потомъ Щелкаловъ привязывалъ лодку къ дереву и какъ они отправились въ глубину острова и скрылись за деревьями.

Это даже подѣйствовало не совсѣмъ пріятно и на Лидію Ивановну, потому что она сказала очень серьезно и съ замѣтнымъ раздраженіемъ въ голосѣ:

— Какія глупости! къ чему это они вышли на берегъ?

И начала кричать: «Наденька! Наденька!»

Но крикъ этотъ пропадалъ напрасно.

Прошло четверть часа ожиданія, но ни Щелкалова, ни Наденьки не показывалось. Потерявъ терпѣніе, всѣ разбрелись по парку; остались только на берегу Лидія Ивановна, Веретенниковъ и я. Это происшествіе разстроило прогулку: дамы нѣсколько надулись на Лидію Ивановну, Ли-

дія Ивановна чувствовала также какую-то неловкость, и когда прошло еще четверть часа, она не могла уже долѣе скрывать своего волненія.

— Однако, это ни на что не похоже,—сказала она, обращаясь къ намъ. — Peut-on faire des choses comme-ça? Я непремѣнно Наденькѣ вымою голову. Ну можно ли, что изъ-за нея все гулянье разстроилось?

Мы начали успокаивать Лидію Ивановну, какъ умѣли. Наконецъ, лодочка, къ нашему удовольствію, снова пришла въ движеніе, но подвигалась къ намъ очень лѣниво; гребецъ едва шевелилъ веслами. Мы ужъ начали махать платками и кричать:

— Скорѣй! Скорѣй!

Лидія Ивановна встрѣтила Наденьку очень мрачно. Она обратилась къ Щелкалову хотя и съ пріятною улыбкою, но не безъ ироніи:

— Вы видите, баронъ, изъ пятнадцати насъ осталось только трое — это самые терпѣливые; мы-таки дождались васъ...

— Что такое? — возразилъ Щелкаловъ, — развѣ мы ѣздили такъ долго? Я показывалъ Надеждѣ Алексѣевнѣ бесѣдку на островѣ. Тамъ такая дичь, что мы насилу добрались до этой бесѣдки... Да развѣ ужъ такъ поздно? Мы опоздали, что ли, куда-нибудь?

— Нѣтъ, но это разстроило немного нашу прогулку.

— Отчего? — сказалъ Щелкаловъ, — что за вздоръ! пусть они тамъ гуляютъ, гдѣ хотятъ; что намъ за дѣло до нихъ, мы будемъ гулять сами по себѣ. Не правда ли?

Онъ засмѣялся, поглядѣлъ на всѣхъ насъ, предложилъ свою руку Лидіи Ивановнѣ и отправился съ нею впередъ, значительно смягчивъ этимъ поступкомъ ея неудовольствіе.

Мы пошли за ними. Я взглянулъ на Наденьку. Она была въ большомъ замѣшательствѣ и едва отвѣчала на мои вопросы.

Обѣдать было назначено въ четыре часа; оставалось до обѣда еще три четверти часа, и мы возвратились, по предложенію Щелкалова, назадъ осмотрѣть комнаты большого дома, гдѣ, по словамъ его, было нѣсколько недурныхъ картинъ.

Взглянувъ на эти картины, очень, впрочемъ, сомнительнаго достоинства, и пройдя по комнатамъ, которыя были меблированы въ новѣйшемъ вкусѣ и не представляли ничего особенно любопытнаго, мы возвратились въ нашъ флигель.

Щелкаловъ отправился въ столовую осматривать, все ли въ порядкѣ. Я пошелъ вслѣдъ за нимъ.

Онъ съ видомъ знатока бросилъ взглядъ на столъ въ свое стеклышко, потомъ обозрѣлъ кругомъ всю комнату, прикнулъ раза два на лакеевъ, велѣлъ позвать къ себѣ француза-повара и началъ о чемъ-то его разспрашивать, качаясь на стулѣ и не смотря на него, но внутренно наслаждаясь тѣми знаками благоговѣнія, которые оказывали ему поваръ и вся прислуга.

Въ столовой давно уже прохаживались Пруденскій съ Иваномъ Алексѣичемъ въ нетерпѣливомъ ожиданіи обѣда.

Пруденскій подошелъ ко мнѣ и, показывая часы сказалъ:

— На моихъ безъ пяти минутъ четыре. Пора бы уже приступить и къ трапезѣ, да, кажется, еще не всѣ въ сборѣ. Посмотрите, Алексѣй Аѳанасьичъ непремѣнно проморитъ насъ, я увѣренъ. Онъ, чего добраго, до ночи проходитъ за своими грибами и забудетъ обо всѣхъ насъ. Мы съ Иваномъ Алексѣичемъ аукали его, аукали, такъ и не дозвались. Пожалуй, еще заблудится въ лѣсу. Чего добраго? Ужъ его ждать невозможно, какъ хотите: семеро одного не ждутъ. Сама народная мудрость, выражающаяся въ этой пословицѣ, послужитъ для насъ достаточнымъ оправданіемъ въ такомъ случаѣ.

— Разумѣется, папеньку ждать нечего, — возразилъ Иванъ Алексѣичъ, прохаживаясь около стола, уставленнаго разнообразнѣйшими закусками и бросая на нихъ жадные взгляды, — старикъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ можетъ проходить до вечера; отъ него это легко станется, онъ для грибовъ точно забываетъ часто обѣдъ и все на свѣтѣ. Посмотрите, Пруденскій, какая жирная и бѣлая селедка-то, а съ балыка такъ и каплетъ! Удивительный балыкъ! Этакихъ я не видывалъ здѣсь.

— Кажется, все будетъ хорошо, — сказалъ Щелкаловъ, подходя къ Ивану Алексѣичу.

— У, баронъ! что и говорить, — перебилъ Иванъ Алексѣичъ, придерживая барона за талію обѣими руками и бросая на него совсѣмъ сахарный взглядъ, — мастеръ, мастеръ все устроить.

— Такимъ тонкимъ знатокамъ въ гастрономіи, — замѣтилъ Пруденскій, — позавидовалъ бы и древній Римъ. Вы воскрешаете для насъ, баронъ, лукулловскія времена... А ужъ, признаться, пора бы, совершивъ омовеніе и возложивъ на главы вѣнки, возлечь за пиршественный столъ.

Щелкаловъ вкось взглянулъ на Пруденскаго, удержавшись отъ улыбки, потому что онъ не хотѣлъ удостоивать его даже и улыбки.

— Да, вѣдь ужъ почти четыре часа, — вкрадчиво произнесъ Иванъ Алексѣичъ.

— Обѣдъ черезъ четверть часа будетъ готовъ, мнѣ сейчасъ сказалъ Дюбо.

— А этотъ Дюбо долженъ быть художникъ въ своемъ дѣлѣ! — опять ввернулъ свое словцо Пруденскій.

— Да вѣдь, кажется, еще не всѣ собрались? — спросилъ Щелкаловъ, по обыкновенію не замѣчая Пруденскаго и обращаясь къ намъ съ Иваномъ Алексѣичемъ.

— Я не знаю, — отвѣчалъ Иванъ Алексѣичъ, — но во всякомъ случаѣ отца ждать нечего: онъ будетъ даже очень доволенъ, что его не ждали, я ужъ знаю его натуру...

Щелкаловъ не дослушалъ Ивана Алексѣича и, напѣвая себѣ что-то подъ носъ, направилъ шаги въ комнату передъ буфетомъ, сдѣлавъ знакъ лакею, чтобы слѣдовалъ за нимъ.

— Надо пойти узнать, всѣ ли возвратились, — сказалъ Иванъ Алексѣичъ, — и объявить, что обѣдъ сейчасъ будетъ готовъ. Ужасно ѣсть хочется, у меня сегодня кромѣ чашки кофею ничего во рту не было.

Иванъ Алексѣичъ обратился ко мнѣ со своею улыбкою.

— Я, знаете, нарочно ничего не завтракалъ, имѣя въ виду такой обѣдъ.

— И благоразумно поступили! — воскликнулъ Пруден-

скій, — а я такъ нарочно по этому случаю два дня діэту держалъ. Мнѣ-то еще больше вашего ѣсть хочется.

И точно Пруденскій долженъ былъ чувствовать сильный голодъ, потому что, ходя по комнатѣ и разговаривая со мною, онъ не могъ отвести своихъ очковъ отъ стола съ закусками.

Мало-по-малу начинали собираться въ столовую, по приглашенію Ивана Алексѣича. Въ комнату же, назначенную для мужчинъ, по распоряженію Щелкалова, до обѣда не велѣно было никого впускать. Для этого былъ поставленъ даже лакей у двери.

— Да пусти же, братецъ, хоть на минутку, я забылъ тамъ сигарочницу, — говорилъ влюбленный молодой человѣкъ лакею, стоявшему у дверей.

— Никакъ нельзя-съ, — отвѣчалъ лакей.

— Это отчего?

— Баронъ не приказали никого впускать.

Молодой человѣкъ вспыхнулъ.

— Убирайся ты къ чорту съ твоимъ барономъ! — закричалъ онъ, оттолкнувъ лакея, и хотѣлъ взяться за ручку замка.

Но лакей сталъ поперекъ двери и произнесъ рѣшительнымъ голосомъ:

— Воля ваша, сударь, никакъ нельзя.

Молодой человѣкъ началъ было горячиться, но мы всѣ бросились его успокаивать.

— Да что жъ такое тамъ дѣлается? — спросило нѣсколько голосовъ у лакея.

— Не могу знать-съ.

— Вѣдь ты врешь, дуракъ, ты знаешь, говори же! — закричалъ кто-то.

Лакей глупо улыбнулся и отвѣчалъ:

— Не могу знать-съ.

Шумъ увеличивался.

Въ эту минуту вошелъ Щелкаловъ. Всѣ обратились къ нему.

— Господа, — сказалъ онъ, — ваши вещи, которыя въ той комнатѣ, вамъ сейчасъ принесутъ, но туда не войдетъ ни

одинъ изъ васъ до обѣда. Вы меня выбрали распорядителемъ, слѣдовательно должны мнѣ повиноваться и вѣрить, что я все устроиваю къ вашему же удовольствію.

И, произнеся это съ необычайною важностью, онъ отправился далѣе.

— Вѣрно какой-нибудь сюрпризъ готовится, — сказалъ Иванъ Алексѣичъ, провожая пріятною улыбкою барона и въ то же время близясь къ столу съ закусками.

Онъ взялъ кусочекъ селедки, положилъ его въ ротъ и, какъ-будто желая скрыть отъ другихъ такой преждевременный поступокъ, началъ смотрѣть въ окно, напѣвая что-то; потомъ, проглотивъ кусочекъ, какъ ни въ чемъ не бывало, обратился къ намъ, осмотрѣлъ всѣхъ и сказалъ:

— Что жъ? Мы теперь, кажется, всѣ налицо, кромѣ папеньки?

— Астрабатова нѣтъ, — замѣтилъ съ безпокойствомъ Пруденскій.

Иванъ Алексѣичъ поморщился, но Астрабатовъ въ эту же минуту вошелъ въ столовую.

— Вотъ легокъ-то на поминѣ! — закричали ему Пруденскій и Иванъ Алексѣичъ.

— А что?

— Да ужъ и обѣдать пора, — отвѣчалъ Иванъ Алексѣичъ, — пятый часъ въ началѣ.

— Обѣдать? — возразилъ Астрабатовъ, потирая подбородокъ, — почему жъ? это дѣло подходящее... Ну, душа моя, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, вполголоса, — какую мы съ этой барыней учинили прогулку, то-есть я тебѣ скажу! Она, знаешь, пѣвица, я вѣдь тоже пѣвецъ, такъ мы тамъ подъ березками такой дуэтецъ пропѣли, что любо-дорого, безъ фальшу, братецъ, чудо какъ согласно! Она было, знаешь: «да я не могу, да я не въ голосѣ», а я ей напрямикъ: «полноте, сударыня, я терпѣть не могу этихъ закорючекъ. Попробуемъ: споемся — такъ хорошо, нѣтъ — ну на нѣтъ и суда нѣтъ...» Ужъ зато какъ же и спѣлись, душенька!

Астрабатовъ приложилъ пальцы къ губамъ, чмокнулъ, прищурилъ лѣвый глазъ и прибавилъ:

— Теперь, братецъ ты мой, надо пропустить внутрь укрѣпительной.

За обѣдъ сѣли въ половинѣ пятаго, не дождавшись Алексѣя Аѳанасьича. Въ ту минуту, когда дамы вошли въ столовую, дверь, охранявшаяся лакеемъ, отворилась, и хоръ полковыхъ музыкантовъ грянулъ увертюру изъ Сомнамбулы. Дамы пришли въ неописанный восторгъ отъ этого сюрприза, да и кавалеры остались очень довольны. Тайна охраняемой двери была для насъ разгадана.

Иванъ Алексѣичъ съ салфеткой въ рукѣ и съ замасленными губами, потому что у него весь ротъ былъ набитъ сардинками, бросился въ порывѣ неудержимаго чувства къ Щелкалову, съ намѣреніемъ, кажется, обнять его, но тотъ ловко отклонилъ угрожавшій ему поцѣлуй, и порывъ окончился только крѣпкимъ пожатіемъ рукъ и сладкимъ взглядомъ со стороны Ивана Алексѣича. Обѣдъ и вина были превосходные. Все это вмѣстѣ съ музыкой привело присутствующихъ въ самое веселое расположеніе духа, а нѣкоторыхъ болѣе нежели въ веселое. Еще обѣдъ не дошелъ до половины, какъ Пруденскій началъ уже обниматься съ своими сосѣдями, а Астрабатовъ отпускать невѣроятныя любезности сидѣвшимъ противъ него дамамъ, къ счастію, заглушавшіяся громомъ музыки.

Щелкаловъ очень неблагосклонно посматривалъ по временамъ въ свое стеклышко на тотъ конецъ стола, гдѣ сидѣли Пруденскій и Астрабатовъ. Онъ обратился къ Веретенникову и ко мнѣ и, скорчивъ гримасу, произнесъ:

— Нельзя сказать, чтобы мы находились въ очень избранномъ обществѣ. Какъ вы думаете, господа?

— Да, чортъ знаетъ, что такое! — возразилъ Веретенниковъ, охорашиваясь и поправляя свои воротнички.

Между тѣмъ Иванъ Алексѣичъ, удовлетворивъ свой аппетитъ нѣсколькими блюдами, которыя онъ накладывалъ въ значительномъ количествѣ на тарелку, и заливъ ихъ виномъ, изъявилъ безпокойство объ отсутствіи папеньки. Лидія Ивановна начала также приходить отъ этого въ нѣкоторое смущеніе, а Наденька съ самаго начала обѣда все съ безпокой-

ствомъ посматривала на двери. Наконецъ въ половинѣ обѣда, къ общему удовольствію, старикъ появился съ двумя огромнѣйшими котомками, наполненными грибами, весь въ паутинѣ.

— Уфъ! — произнесъ онъ, складывая котомки на стулъ, — какъ ни торопился, а все-таки опоздалъ, зато вотъ вамъ еще лишнее блюдо.

И онъ указалъ на свои грибы.

— Мы никакъ бы не сѣли безъ васъ, — замѣтилъ Щелкаловъ. — если бы не вашъ сынъ и не Лидія Ивановна.

— И прекрасно сдѣлали, что не ждали меня, я этого терпѣть не могу; а вотъ я теперь вымоюсь да выпью потомъ водочки, да и догоню васъ. Вѣдь вы еще не съѣли всего? Вѣдь для меня что-нибудь осталось?.. Да мнѣ, пожалуй, вашихъ-то утонченныхъ блюдъ и не нужно. У меня есть свое блюдо.

Старикъ улыбнулся и потомъ обратился къ Щелкалову:

— А вотъ ты окажи-ка мнѣ услугу, баронъ; такъ какъ ужъ ты распорядитель, вели-ка повару-то хорошенько изжарить намъ на сковородкѣ эти грибки со сметаной. Грибки всѣ какъ на подборъ молоденькіе, свѣженькіе. Это блюдо будетъ лучше всѣхъ вашихъ заморскихъ блюдъ-то, и вы мнѣ за него скажете спасибо, я знаю.

— Превосходная мысль! — воскликнулъ Щелкаловъ. — Дюбо жаритъ грибы удивительно... Послать сюда повара!

Дюбо, низенькій и полный, въ пышной бѣлой фуражкѣ и въ курткѣ снѣжной бѣлизны, съ огромнѣйшимъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ, во вкусѣ Астрабатова, вошелъ въ столовую и расшаркался передъ барономъ.

— Что прикажете, господинъ баронъ? — сказалъ онъ по-французски.

— Приготовьте намъ сейчасъ эти грибы, — сказалъ Щелкаловъ, указавъ на котомки съ грибами, — какъ слѣдуетъ по-русски со сметаной, на сковородѣ, помните, такъ, какъ вы подали ихъ намъ въ прошломъ году на обѣдѣ, который давалъ графъ Красносельскій.

— Очень хорошо, господинъ баронъ будетъ доволенъ.

— Мусье Дюбо, сметанка-то чтобы была этакъ поджарена, понимаете?—сказалъ Алексѣй Аѳанасьичъ на русскомъ языкѣ, поглаживая Дюбо по плечу,—а грибки-то были бы въ соку, чтобы не слишкомъ были засушены.

Дюбо посмотрѣлъ съ любопытствомъ на Алексѣя Аѳанасьича и пробормоталъ:

— Корошо, корошо.

— Вы не безпокойтесь, онъ знаетъ свое дѣло,—замѣтилъ Щеткаловъ, которому вмѣшательство Алексѣя Аѳанасьича было не совсѣмъ прiятно.

Дюбо отправился къ тому мѣсту, гдѣ лежали грибы, но на полдорогѣ былъ остановленъ Пруденскимъ, который, обтеревъ губы салфеткою, всталъ и счелъ необходимымъ, пожавъ руку повара крѣпко и съ чувствомъ, сказать ему по-французски латинскимъ произношенiемъ:

— Vous êtes un véritable artiste, мусье Дюбо!

— Fichtre! je crois b'en, m'sieur,—отвѣчалъ Дюбо съ достоинствомъ.

— C'est mon ami!—воскликнулъ Астрабатовъ, указывая на Дюбо, и, погрозивъ ему пальцемъ, прибавилъ,—ахъ ты, плутъ, французъ!

— Ah! bon jour, m'sieur Astrabat!—закричалъ Дюбо, протянувъ безъ церемонiи руку Астрабатову.

Алексѣй Аѳанасьичъ между тѣмъ обчистился, вымылся и приступилъ къ обѣду. Грибы были приготовлены, къ совершенному его удовольствiю, отлично, и всѣ, кушая ихъ обращались съ похвалами къ нему, а онъ кивалъ головой и улыбался самой счастливой улыбкой, приговаривая:

— Нѣтъ, ей Богу, этотъ Дюбо молодецъ! Я никакъ не ожидалъ, чтобы французъ умѣлъ такъ хорошо приготовлять грибы!

Когда розлили шампанское, Иванъ Алексѣичъ всталъ, посмотрѣлъ на всѣхъ насъ и началъ импровизировать слѣдующiе стихи:

Здѣсь дружба насъ соединила,
И пиръ нашъ весело кипитъ:
Въ немъ есть и блескъ, и шумъ, и сила..,

Онъ на минуту остановился, и, обратясь къ Щелкалову, съ пріятнѣйшимъ выраженіемъ на лицѣ продолжалъ:

Хвала тебѣ, нашъ сибаритъ!
Твои — и мысль, и исполненье...
И пиръ ты создалъ какъ поэтъ!..
Тебѣ отъ насъ благодаренье!
Тебѣ нашъ дружескій привѣтъ!
Друзья! съ поклономъ поднимите
Бокалы, полные вина,
И въ честь барона осушите
Вы молодецки ихъ — до дна!

Послѣднему стиху Иванъ Алексѣичъ придалъ особенную торжественность, выпилъ свой бокалъ до дна и съ такою силою поставилъ его на столъ, что тотъ разлетѣлся вдребезги.

У Алексѣя Аѳанасьича при стихахъ сына, разумѣется, тотчасъ же закапали слезы изъ глазъ.

— Браво! — раздалось со всѣхъ сторонъ. — Здоровье барона!

— Браво! — закричалъ громче всѣхъ Пруденскій, немилосердно стуча ножомъ о столъ. — Музыканты, тушъ!

Тушъ заиграли.

Щелкаловъ поклонился всѣмъ, всталъ съ своего мѣста, подошелъ къ Ивану Алексѣичу, пожалъ ему руку и, обратясь къ намъ, произнесъ важно:

— Господа! позвольте мнѣ въ свою очередь предложить вамъ тостъ... я заранѣе увѣренъ въ этомъ, онъ будетъ принятъ вами единодушно: за здоровье того, господа, который оживляетъ и украшаетъ въ настоящую минуту своими произведеніями русскую поэзію... за здоровье того, чье имя должно быть дорого всѣмъ, кому близко къ сердцу родное слово... Я не назову вамъ этого имени, господа, потому что каждый изъ васъ внутренно назвалъ его въ сію минуту...

— За здоровье Ивана Алексѣича! — подхватилъ Пруденскій.

И всѣ бокалы съ криками: «Тушъ! здоровье Ивана Алексѣича!» устремились къ бокалу растроганнаго поэта.

Въ эту минуту Алексѣй Аѳанасьичъ всхлипывалъ и вмѣсто платка утиралъ слезы салфеткой.

Затѣмъ начались тосты въ честь дамъ, въ честь Алексѣя Аѳанасьича, какіе-то отдѣльные тосты и даже потомъ тостъ въ честь повара.

Когда вышли изъ-за стола, многіе, и въ томъ числѣ Иванъ Алексѣичъ первый, пристали къ Астрабатову съ просьбою, чтобы онъ спѣлъ что-нибудь.

Астрабатовъ обвелъ всѣхъ глазами и, положивъ руку на плечо Ивана Алексѣича, сказалъ:

— Изволь, душа моя, для тебя спою, ты понимаешь поэзію, у тебя тамъ кипитъ внутри-то, какъ и у меня же, я знаю: у насъ тамъ, братецъ ты мой, внутренняя гармоника... ну, вели подать мою гитару.

Гитара была принесена.

Астрабатовъ взялъ ее, щипнулъ пальцами струны и обвелъ глазами мужчинъ и дамъ.

Въ ту минуту, когда мы столпились около Астрабатова, управляющій, приходившій за чѣмъ-то, остановился и началъ взглядывать на него съ любопытствомъ изъ-за плеча Пруденскаго. Астрабатовъ тотчасъ замѣтилъ это и, подойдя ко мнѣ, шепнулъ, поведя на управляющаго глазомъ:

— Это, мон-шеръ, что такое за энциклопедія?

Когда я ему объяснилъ, кто это, онъ взглянулъ на управляющаго еще разъ, положилъ гитару на столъ, почесалъ въ затылкѣ, отодвинулъ въ сторону Пруденскаго, вытащилъ изумленнаго и сконфуженнаго управляющаго впередъ и закричалъ:

— Вина!

Потомъ осмотрѣлъ его съ головы до ногъ, какъ бы любуясь имъ, погладилъ его съ нѣжностью по лысинѣ и сказалъ, все продолжая разсматривать его:

— Просто, душка! (и приложилъ пальцы къ губамъ). Мы съ нимъ чокнемся и выпьемъ въ знакъ дружбы.

Управлящій началъ кланяться, благодарить и увѣрять, что не пьетъ.

— Эти, братъ, закорючки ты оставь, я терпѣть не могу,— возразилъ Астрабатовъ.— Вотъ тебѣ бокалъ!

Онъ подалъ ему бокалъ.

— Ну, пей, пей!.. Вотъ такъ, смотри!

И онъ залпомъ выпилъ свой бокалъ.

Управляющій на минуту призадумался и потомъ послѣдовалъ его примѣру.

Астрабатовъ поцѣловалъ его.

— Ну, теперь мы друзья, я къ тебѣ еще пріѣду, душенька, въ вашу «Дубовую-то Рощу» поохотиться. Теперь, кажется, постороннихъ никого нѣтъ. Такъ слушайте, если хотите, я спою вамъ.

Онъ взялъ гитару, задумался на мгновеніе, откинулъ назадъ свои кудрявые волосы, въ которыхъ проглядывала уже сѣдина, посмотрѣлъ на потолокъ, какъ бы ища вдохновенія, ударилъ по струнамъ и запѣлъ, обратившись къ дамамъ и закативъ глаза:

На зарѣ ты ее не буди,
На зарѣ она сладко такъ спитъ,
Утро дышитъ у ней на груди...

Теноръ Астрабатова не отличался ни свѣжестью, ни чистотою, но онъ былъ не безъ пріятности; въ немъ было что-то раздражающее, производившее сильное впечатлѣніе на тѣхъ, которые не были слишкомъ взыскательны въ музыкѣ и предпочитали Моцарту и Бетховену всякую русскую заунывную или цыганскую плясовую пѣсню.

И потому, когда Астрабатовъ кончилъ, раздались самыя искреннія «браво» и рукоплесканія; въ особенности Пруденскій и управляющій были сильно растроганы. Даже и Щелкаловъ съ Веретенниковымъ воскликнули:

— Браво! Прекрасно!

Астрабатовъ взглянулъ на нихъ, покачалъ головою и сказалъ:

— Да, что вы тамъ ни толкуйте, а у Астрабатова есть внутри и слеза и вздохъ; онъ вашей ученой музыки не понимаетъ; онъ не учился тамъ этимъ разнымъ пунктамъ да контрапунктамъ вашимъ, онъ самоучка и дѣйствуетъ не на голову, а на сердце. Не такъ ли, mesdames?

Астрабатовъ немного прищурилъ одинъ глазъ, ударилъ по струнамъ и запѣлъ:

Горныя вершины
Спятъ во тьмѣ ночной,
Тихія долины
Полны свѣжей мглой..

— Ну, теперь, братцы, хоровую, да дружно! — вскрикнулъ онъ, становясь въ позицію знаменитаго Илюшки, — mesdames, je vous prie.

Онъ взмахнулъ гитарой и запѣлъ:

Мы живемъ среди полей
И лѣсовъ дремучихъ,—
Но счастливѣй, веселѣй
Всѣхъ вельможъ могучихъ.
Наши дѣды и отцы
Намъ примѣромъ служатъ,
И цыганы, молодцы,
Ни о чемъ не тужатъ

При этомъ остановился, повелъ плечами, выставилъ правую ногу, обвелъ глазами поющихъ мужчинъ и дамъ, тряхнулъ головою, поднялъ гитару, махнулъ ею, и хоръ грянулъ:

„Гей, цыганы! гей, цыганки!
Живо, веселѣе!..

Хоръ этотъ составляли Щелкаловъ, Веретенниковъ, Надежда Алексѣевна и Аменанда Александровна; остальные, кажется, только шевелили губами, да, правда, Пруденскій еще подтягивалъ густымъ басомъ.

— Лихо! Ай да барыни! — сказалъ онъ, кладя гитару, — да за это вамъ надо непремѣнно рученьки расцѣловать. Дайте-ка приложиться.

Онъ поцѣловалъ руку Надежды Алексѣевны и Аменанды Александровны и обратился къ намъ:

— А я вамъ скажу, что пѣвцу-то слѣдуетъ теперь горло промочить. Пойдемъ-ка, друзья, къ этому *мон-шеру* въ гости.

Онъ указалъ пальцемъ на проходившаго буфетчика, взялъ за руки меня и Щелкалова и потащилъ насъ, говоря Щелкалову:

— Ну-ка, распорядитель, распорядись, чтобъ бутылку раскупорили.

Пруденскій послѣдовалъ за нами и, хватая сзади Астрабатова за плечо, кричалъ:

— Мы, carissime, выпьемъ за твое здоровье.

Когда бутылка была подана, Астрабатовъ налилъ четыре стакана. Пруденскій, поправивъ очки, взялъ свой и воскликнулъ:

— Отъ души пью за твое здоровье! У тебя дивный голосъ, проникающій до глубины.

И опорожнилъ свой бокалъ разомъ.

Мы также чокнулись своими стаканами со стаканомъ Астрабатова и отпили немного.

Астрабатовъ, выпивъ свой стаканъ, снова налилъ себѣ и Пруденскому и, остановившись съ бутылкой надъ нашими стаканами, сказалъ:

— Что же? Ну, допивайте же.

Но ни Щелкаловъ, ни я не могли болѣе пить и объявили объ этомъ наотрѣзъ Астрабатову.

Онъ вздохнулъ и посмотрѣлъ на насъ съ выраженіемъ глубочайшаго сожалѣнія.

— Ахъ, вы! (и махнулъ рукой). Ну, положимъ, вотъ этотъ (онъ указалъ на Щелкалова) все выѣзжаетъ на тонкостяхъ, на *эксюзе* да на *перметте*, а ты-то, душенька!— онъ обратился ко мнѣ съ упрекомъ, — и ты туда же!.. Что жъ, по-вашему выпить этакъ дружески, задушевно съ теплымъ человѣкомъ — это не комъ-иль-фо? Ну, да чортъ съ вами, какъ хотите! Мы выпьемъ вотъ съ этимъ... (Астрабатовъ указалъ на Пруденскаго). Онъ хоть эдакой *hic, haec, hok*, а малый-то въ сущности съ теплотой. Ну, душа моя. продолжалъ онъ, обращаясь къ нему, — оставимъ ихъ, не

нравится имъ вино, пусть пьютъ воду; de gustibus non est disputandum... такъ, что ли, по-вашему-то?

Щелкаловъ благосклонно улыбался. съ высоты посматривая на Астрабатова.

— Ваше сіятельство, — сказалъ лакей (всѣ лакеи вездѣ величали почему-то Щелкалова сіятельнымъ, и онъ не противорѣчилъ этому), мусье Дюбо васъ проситъ.

— Что ему нужно? позвать его сюда!

Дюбо явился, съ извиненіями подошелъ къ барону и что-то шепнулъ ему.

Баронъ сдѣлалъ гримасу.

— Хорошо, — сказалъ онъ, — сейчасъ!

И въ ту же минуту обратился къ Астрабатову:

— Астрабатовъ, нѣтъ ли у тебя пятидесяти рублей? Я тебѣ ужо отдамъ. Ему вотъ нужны зачѣмъ-то эти деньги.

Онъ указалъ на повара.

Астрабатовъ украдкой взглянулъ на меня и кивнулъ головой на Щелкалова, прищуря глазъ, потомъ вынулъ свой огромный бумажникъ, положилъ его на столъ, раскрылъ, досталъ изъ него пачку ассигнацій, посмотрѣлъ на всѣхъ насъ и сказалъ. обращаясь къ Щелкалову, не безъ ироніи:

— Пятьдесятъ? Да ужъ возьми. душа моя, лучше для круглаго счета. сто.

И онъ отложилъ двѣ пятидесятирублевыя бумажки.

Первое движеніе Щелкалова было взять эти деньги; онъ уже протянулъ къ нимъ руки, но вдругъ глаза его встрѣтились съ моими; что-то мелькнуло въ головѣ его, можетъ быть воспоминаніе разговора, при которомъ я присутствовалъ, —онъ нахмурилъ брови и сказалъ важно:

— Къ чему мнѣ твои сто рублей? Убирайся съ ними. Мнѣ нужно только пятьдесятъ. чтобы отдать ему.

Онъ взялъ со стола пятидесятирублевую бумажку и передалъ ее Дюбо.

— Я тебѣ отдамъ эти деньги черезъ полчаса. У меня нѣтъ мелкихъ, надо размѣнять.

— Да что у тебя серіи, что ли, или банковый билетъ? возразилъ Астрабатовъ. — Давай. мон-шеръ, я размѣняю.

Но Щелкаловъ не слыхалъ этого предложенія. Онъ въ эту минуту заговорилъ съ кѣмъ-то и вышелъ изъ комнаты.

Астрабатовъ проводилъ его глазами, потеръ себѣ подбородокъ и сказалъ, обращаясь къ намъ:

— А напрасно не взялъ ста, ей-Богу, такъ бы ужъ я и считалъ за нимъ ровно полторы тысячи. Онъ третьяго года проигралъ мнѣ въ Лебедяни тысячу четыреста, обѣщалъ отдать на другой день, да вотъ такъ и отдаетъ до сихъ поръ. Да мнѣ деньги—вздоръ! Я за деньгами не гонюсь, и эти пропадутъ, я знаю: пусть не отдаетъ, да будь вѣжливъ, носъ-то не задирай... Вѣдь этими эрфиксами нынче никого не удивишь! Мы ничѣмъ не хуже тебя, братъ, еще, пожалуй, посчитаемся родословными-то. Мое происхожденіе-то идетъ отъ персидскихъ шаховъ, такъ мы еще чуть ли не почище тебя, душенька!

Астрабатовъ остановился и посмотрѣлъ кругомъ.

— А французъ-то ужъ улизнулъ съ деньгами... Подавайте его сюда. Дюбо! Дюбо!

— Monsieur?—раздался голосъ изъ коридора.

— Сюда, мусье, сюда поскорѣй! Дайте-ка намъ еще бутылочку. Ну, мусье Дюбо,—продолжалъ Астрабатовъ по-русски, кладя свою ладонь на плечо француза:—мы съ тобой, душенька, выпьемъ. Слышишь? Ты ужъ не отнѣкивайся. Вѣдь ты меня знаешь. Возьми стаканчикъ-то.

Дюбо, улыбаясь, взялъ стаканъ и поглядѣлъ на насъ.

— Monsieur Astrabat шутъ-никъ... il est très gai.

— Ты вѣдь, душенька, артистъ,—продолжалъ Астрабатовъ, прищелкнувъ языкомъ,—вѣдь ты не то, что какіе-нибудь только фрикасе да финьзербы, нѣтъ! ты и пломъ-пудингъ англійскій и какіе-нибудь россійскіе грибки со сметанкой на сковородкѣ представишь въ такомъ видѣ, что пальчики оближешь. Ну, chèr ami, поцѣлуемся и выпьемъ еще стаканчикъ. Вотъ такъ! Я вотъ какъ женюсь, такъ возьму тебя къ себѣ въ повара. Слышишь? Ужъ мы съ тобой будемъ такіе банкеты задавать, то-есть *екси*, вотъ какіе...

Астрабатовъ приложилъ пальцы къ губамъ и чмокнулъ.

— Весь городъ ахнетъ! Я тебѣ дамъ двѣсти цѣлкачей въ мѣсяцъ жалованья. Будешь доволенъ?

— Très-bien, très-bien,—бормоталъ французъ, кивая головой.

— Ну, а теперь съ Богомъ, проваливай.

Когда Дюбо ушелъ, Астрабатовъ зѣвнулъ, почесалъ въ головѣ и потомъ вскрикнулъ:

— Хлопецъ, гитару!.. Что-то тамъ зашевелилось внутри,— прибавилъ онъ, обращаясь къ намъ.—Погодите-ка, я вамъ спою этакую задушевную.

Онъ взялъ гитару и запѣлъ:

Полюби меня, дѣва милая,
Радость дней моихъ, ненаглядная!
Если бъ знала ты весь огонь любви,
Всю тоску души моей пламенной!
Грустно въ мірѣ жить одинокому,
Безъ любви твоей, дѣва милая!
Полюби меня, черноокая!
Ты звѣзда души беззакатная!
И любовь твоя обовьетъ меня
Своимъ пламенемъ упоительнымъ,
Я умру тогда смертью чудною,
И завидною даже рыцарямъ!

Въ ту минуту, какъ Астрабатовъ смолкъ, Иванъ Алексѣичъ вбѣжалъ въ буфетную.

— Господа,—сказалъ онъ,—васъ дамы приглашаютъ итти гулять, а въ залѣ, покуда мы гуляемъ, устроятъ, что нужно для танцевъ.

Мы всѣ отправились за Иваномъ Алексѣичемъ, въ томъ числѣ и Астрабатовъ, уже нѣсколько покачиваясь.

Рѣшили пойти въ ту часть сада, гдѣ мы еще не были— въ бесѣдку на горѣ, съ которой открывался видъ на окрестныя поля, болота и деревни, и откуда была видна даже черта моря у самаго горизонта. Здѣсь, при закатѣ солнца, представлялась картина великолѣпная, и многіе нарочно дѣлали parties de plaisir въ «Дубовую Рощу», чтобъ только посмотрѣть на закатъ солнца изъ этой бесѣдки.

Щелкаловъ взялъ опять подъ руку Наденьку. Онъ былъ послѣ обѣда въ самомъ пріятномъ расположеніи духа, сдѣлался очень простъ и любезенъ со всѣми, въ разговорѣ относился даже къ Пруденскому и два раза предложилъ ему какой-то вопросъ. Мы всѣ шли вмѣстѣ толпой по широкой дорогѣ парка. Астрабатовъ рядомъ съ Наденькой. Онъ безпрестанно перебивалъ Щелкалова своимъ балагурствомъ, и баронъ нисколько не сердился за это и даже смѣялся отъ чистаго сердца, какъ и всѣ мы.

— Ахъ вы, моя барышня!—говорилъ Астрабатовъ, прищуриваясь на Наденьку:—то-есть просто первый сортъ, пышный розанчикъ въ густыхъ сливкахъ, этакой bouquet de l'Impératrice тончайшаго аромата, чтобы нюхать только съ осторожностью на колѣняхъ въ табельные дни... И вы вѣдь не знаете,—продолжалъ онъ, обращаясь къ намъ,—сколько тамъ въ этой внутренности заложено слезъ, вздоховъ, восторговъ, этакихъ улыбочекъ, отъ которыхъ у человѣка дѣлается боль въ сердцѣ и головокруженіе... какая у нея тамъ этакая калифорнія съ музыкой въ сердцѣ...

Слушая разсказы Щелкалова, перемѣшанныя съ балагурствомъ Астрабатова, мы незамѣтно дошли до подошвы горы, на которой была выстроена бесѣдка.

Вечеръ сдѣлался удивительный, даже ни одинъ осиновый листокъ не шелохнулся. Солнце, выглянувъ изъ облаковъ, за которыми скрывалось, тихо спускалось къ безоблачному горизонту, обѣщая картину заката въ полномъ блескѣ. Было такъ сухо и тепло, какъ въ началѣ лѣта, и только опредѣленность въ очертаніяхъ облаковъ, сухость въ тонахъ и рѣзкость въ колоритѣ заката, да кусты и деревья, мѣстами подернувшіеся золотомъ, пурпуромъ и темно-вишневымъ цвѣтомъ, говорили о наступившей осени.

— Господа,—сказалъ вдругъ Веретенниковъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ, поправляя свои воротнички,—тамъ въ бесѣдкѣ, на горѣ, какое-то общество.—Я вижу мужчинъ и дамъ.

— Что жъ, очень можетъ быть,—возразилъ Щелкаловъ,—кто-нибудь съ сосѣднихъ дачъ, какіе-нибудь нѣмцы при-

были въ чухонскихъ таратайкахъ наслаждаться закатомъ солнца. Въ хорошій вечеръ тутъ всегда можно найти какихъ-нибудь любителей природы.

— Да, это правда,—пробормоталъ Веретенниковъ, успокоиваясь.

И мы начали подниматься въ гору со смѣхомъ, съ пѣснями и со стихами, которые декламировали Иванъ Алексѣичъ и Пруденскій.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ площадки горы намъ послышался довольно ясно французскій говоръ, и можно было даже различить голоса, въ особенности одинъ мужской, довольно громкій и рѣзкій голосъ.

Щелкаловъ вдругъ измѣнился въ лицѣ и остановился.

— Что съ вами?—спросила его Наденька.

— Что жъ вы остановились?—кричали имъ, опережая ихъ.

— Я немного усталъ,—отвѣчалъ Щелкаловъ, нахмурясь и неохотно подвигаясь впередъ.

Я догадывался отчасти, въ чемъ дѣло, и убѣдился вполнѣ, что баронъ, несмотря на свою смѣлость и заносчивость, не имѣлъ ни малѣйшей способности владѣть собой и при всемъ своемъ желаніи никакъ не могъ скрывать своихъ ощущеній.

Мои догадки оправдались, когда, взойдя на гору, я увидѣлъ человѣкъ восемь мужчинъ и дамъ,—мужчинъ, между которыми красовался господинъ, изобрѣтшій теорію поклоновъ; дамъ, при видѣ которыхъ у Веретенникова захватывало дыханіе. Щелкаловъ долженъ былъ встрѣтиться съ ними лицомъ къ лицу. Они подъѣхали къ горѣ съ противоположной стороны парка, и экипажи ихъ, стоявшіе за горою, не могли быть видимы нами.

Щелкаловъ взошелъ на гору, все еще держа Наденьку за руку, и очутился, какъ нарочно, прямо противъ одной блистательной дамы, которая изъ бесѣдки вышла на дорожку.

Я не спускалъ съ него глазъ, стоя въ сторонѣ.

Въ первое мгновеніе онъ помертвѣлъ; глаза его тупо остановились, стеклышко выпало изъ глаза, рука, держав-

зная Наденьку, опустилась. Онъ походилъ на человѣка, внезапно захваченнаго въ преступленіи, которое лишаетъ чести и добраго имени; это было, впрочемъ, только мгновеніе, послѣ котораго онъ оправился, вставилъ въ глазъ стеклышко, приподнялъ шляпу и улыбнулся, но такой натянутой улыбкой, которая болѣе походила на гримасу.

— Madame la comtesse...— произнесъ онъ, сдѣлавъ шагъ къ великолѣпной дамѣ.

— Est-ce vous, monsieur le Baron?— сказала графиня съ полуулыбкой, измѣривъ Наденьку съ ногъ до головы бѣглымъ взглядомъ и обведя всѣхъ насъ остальныхъ головою.

Болѣе я ничего не слыхалъ, потому что баронъ пошелъ рядомъ съ графиней. удаляясь отъ насъ и разговаривая съ ней очень тихо. Они скоро присоединились къ своему обществу, и я видѣлъ, какъ онъ, совершенно смущенный, началъ пожимать руки великолѣпныхъ мужчинъ и дамъ, которыя, какъ можно было догадаться, разспрашивали его объ насъ, потому что въ то же время бросали косвенные взгляды въ нашу сторону.

Наденька нѣсколько минутъ какъ вкопаная стояла на мѣстѣ, оставленная своимъ кавалеромъ.

Веретенниковъ же только что взошелъ на площадку, какъ тотчасъ попятился назадъ, побѣжалъ съ горы и скрылся.

Астрабатовъ показалъ мнѣ на него.

— И эта раскрахмаленная кукла туда же!— сказалъ онъ, качая головой,— прячется въ кусты, тоны задаетъ, боится, видишь ли, чтобы его не замѣтили съ нами; мы, душа моя, недостаточно комъ-иль-фо для него. А вѣдь я полагаю, что этакого мухортика и не замѣтили бы эти Талейраны-то!— Онъ мигнулъ на великолѣпнаго господина, изобрѣтшаго теорію поклоновъ.— Ну, а что касается до вонъ этихъ маркизъ, которыя кидаютъ на насъ этакіе *косвенные* съ подходцемъ, такъ онѣ и во снѣ-то не видали, что такое мусье Веретенниковъ, даромъ что его четвероюродный братъ женатъ на какой-то мамзели, троюродная сестра которой жила въ компаньонкахъ у барыни. которая приходится въ седьмомъ ко-

лѣнѣ родственницей какой-то графинѣ... Чего жъ тутъ въ кусты-то прятаться?

Эта встрѣча вдругъ совершенно разстроила все общество: всѣ пришли въ какое-то замѣшательство, всѣмъ сдѣлалось неловко, всѣ притихли, всѣ оробѣли, сами, впрочемъ, не зная, отчего; наши дамы исподтишка съ подобострастіемъ начали пожирать глазами тѣхъ дамъ: ихъ шляпки, бурнусы, мантильи, движенія, взгляды и прочее. Закатъ солнца былъ совершенно забытъ.

А между тѣмъ солнце уже только вполовину было видно изъ-за горизонта. Охвативъ часть лѣса своимъ красноватымъ огнемъ, оно быстро скрылось, но еще на облакахъ долго потомъ отражался закатъ его рѣзкими красноватыми полосами; и было что-то успокоительное въ тишинѣ синѣющей ночи, нарушавшейся звонкимъ трещаніемъ стрекозы, и въ необозримой дали, исчезавшей въ бѣловатыхъ парахъ.

Наденька все стояла одна, поодаль отъ всѣхъ, блѣдная и потерянная, и смотрѣла въ эту даль...

Щелкалова мы не видали болѣе; онъ не только не подходилъ ни къ кому изъ насъ, но какъ будто боялся даже взглянуть въ нашу сторону и отправился съ великолѣпнымъ обществомъ.

Мы возвратились въ нашъ флигель уже безъ стиховъ и пѣсенъ... Дорогою всѣхъ говорливѣе былъ Астрабатовъ, всѣхъ молчаливѣе Наденька и Лидія Ивановна.

У порога флигеля насъ встрѣтилъ Веретенниковъ.

— Что, душа моя, — сказалъ ему Астрабатовъ, — ты такъ вдругъ какъ будто въ воду канулъ, а объ тебѣ тамъ всѣ эти княгини и графини очень безпокоились. Онѣ узнали, что ты съ нами, и все говорили: да гдѣ же это мусье Веретенниковъ? Подавайте намъ мусье Веретенникова!

Астрабатовъ погрозилъ ему пальцемъ.

— Ты, канашка, знаешь видно, гдѣ раки-то зимуютъ. Тебѣ подавай все этакихъ въ амбре да въ валансьенскихъ кружевахъ!

Веретенниковъ поправилъ свои воротнички, приподнялъ голову, взглянулъ на Астрабатова и пробормоталъ сквозь зубы:

— Это остроуміе, что ли?

И потомъ обратился ко мнѣ:

— А вы слышали, что Щелкаловъ уѣхалъ? Говорятъ, графиня Софья Александровна увезла его съ собою.

— Это, я думаю, не совсѣмъ деликатно со стороны его,— замѣтилъ я.

Въ самомъ дѣлѣ, минутъ черезъ пять управляющій явился къ Лидіи Ивановнѣ и объявилъ ей, что «баронъ приказали-де очень извиниться передъ всѣми, что они должны были уѣхать съ ихъ сіятельствомъ графиней Софьей Александровной и что они-дескать просятъ г. Веретенникова вмѣсто нихъ распорядиться танцами и всѣмъ».

— Mr. Веретенниковъ, вы слышали?—сказала Лидія Ивановна съ иронической улыбкой,—извольте же исполнить порученіе барона. Примите на себя всѣ распоряженія. Вѣрно ужъ встрѣтилось какое-нибудь очень непредвидѣнное обстоятельство, что баронъ такъ неожиданно оставилъ насъ.

Лидія Ивановна въ высшей степени была оскорблена поступкомъ Щелкалова и едва могла скрывать это; Иванъ Алексѣичъ пришелъ отъ того также въ немалое замѣшательство, тѣмъ болѣе, что всѣ приставали къ нему съ барономъ.

— Я, господа,—говорилъ онъ,—не отвѣчаю ни за кого, кромѣ самого себя. Что мнѣ такое баронъ? Я всегда зналъ, что онъ пустой человѣкъ и, какъ всѣ свѣтскіе люди, разсѣянный: онъ не можетъ отвѣчать за себя; но все-таки онъ имѣетъ свои достоинства. Притомъ, что ни говорите, онъ очень уменъ, господа!

И Иванъ Алексѣичъ значительно покачалъ головою.

Начались танцы, но они шли какъ-то вяло. Веретенниковъ не умѣлъ или не хотѣлъ дирижировать ими. Онъ важно расхаживалъ по залѣ, поправляя свои воротнички и по временамъ взглядывая на себя въ зеркало. На бѣдную Наденьку жалко было смотрѣть—она усиливалась казаться веселою и безпрестанно измѣняла себѣ. Ея волненіе и разстройство бросались всѣмъ въ глаза. Только двѣ пары веселились отъ души и танцовали съ жаромъ—влюбленный мо-

лодой человѣкъ съ бойкой барышней, для которой онъ, казалось, уже совершенно забылъ Надевьку, и Аменаида Александровна съ Астрабатовымъ, который, танцуя, выдѣлывалъ различныя штуки: поводилъ плечами и глазами, дѣлалъ удивительныя атраша, прижималъ руку своей дамы къ своему сердцу и даже становился передъ нею на колѣни.

Несмотря на это, все какъ-то не клеилось, и мы разъѣхались въ исходѣ одиннадцатаго часа ..

Съ этого дня Богъ знаетъ какіе слухи и сплетни начали распространять про бѣдную Наденьку.

Прошло двѣ недѣли послѣ этого пикника. Грибановы уже перебрались въ городъ. Я зашелъ къ нимъ и нашелъ все семейство въ разстройствѣ: Наденька была нездорова; Лидія Ивановна не имѣла той пріятности и предупредительности въ лицѣ, какъ обыкновенно; Иванъ Алексѣичъ былъ раздраженъ и старикъ даже немного грустенъ ..

Послѣ обыкновенныхъ разспросовъ о здоровьѣ и о прочемъ, Лидія Ивановна съ довольно ядовитою усмѣшкою объявила мнѣ новость о томъ, что Θедоръ Васильичъ (молодой человѣкъ, влюбленный въ Наденьку) уже объявленъ формально женихомъ Ольги Ивановны (бойкой барышни) и что у него есть богатый дядя, который даетъ ему, говорятъ, сто тысячъ.

— Подцѣпила женишка хоть куда! — прибавила въ заключеніе Лидія Ивановна, — и не мудрено. Ужъ такая бойкая особа, что бѣда!

— А вы знаете, какую штуку сыгралъ съ нами этотъ баронъ-то? — сказалъ Иванъ Алексѣичъ, ходя по комнатѣ и вдругъ остановившись передо мною.

— То, что онъ тогда убѣжалъ-то отъ насъ?

— Что! это бы еще ничего! Нѣтъ, послушайте. Вчерашнш день является къ папенькѣ этотъ поваръ французъ Дюбо. Папенька, натурально, удивился, зачѣмъ.... Что же оказывается, какъ вы думаете? — Надобно вамъ сказать, что этотъ

Дюбо теперь безъ мѣста: онъ въ продолженіе нынѣшняго лѣта бралъ на себя устройство пикниковъ, различныхъ загородныхъ parties de plaisir и прочее. Онъ давно извѣстенъ почти всей этой богатой молодежи и по ней знаетъ барона и, разумѣется, считаетъ его также богачомъ. Баронъ адресовался къ нему насчетъ нашего пикника, и Дюбо обязался устроить все самымъ лучшимъ образомъ, какъ и было, за пятьсотъ рублей Баронъ далъ ему сто рублей задатку, да въ день самаго пикника пятьдесятъ, — тѣмъ все и кончилось. За остальными триста-пятидесятью рублями онъ ходилъ къ нему ежедневно, и баронъ все говорилъ: «завтра», наконецъ объявилъ ему, что еще не собралъ деньги, что у него теперь нѣтъ своихъ, что будто бы... слышите? папенька взялся собирать и что онъ ждетъ этихъ денегъ съ часу-на-часъ, да на другой день и улизнулъ въ Москву. Дюбо, разумѣется, пришелъ къ папенькѣ, объяснилъ все: говоритъ, что онъ въ ужасномъ положеніи, что съ него требуютъ и погребщики, и фруктовщики, что на него хотятъ подать жалобу, и прочее. Хорошо, что у папеньки случилось триста пятьдесятъ рублей, онъ отдалъ послѣдніе. Какъ вамъ это нравится?.. Папенька сдѣлалъ еще неосторожность, — прибавилъ Иванъ Алексѣичъ, немного пріостановившись, — онъ далъ ему двѣ тысячи взаймы. Вотъ худо, если эти деньги пропадутъ, а послѣ всего, очень можетъ статься...

— Ну, полно, Иванъ! — возразилъ старикъ, нѣсколько нахмурясь, и махнулъ рукой. — Богъ съ нимъ! Нѣтъ, онъ отдастъ всѣ эти деньги .. я увѣренъ... немножко замотался, знаешь, да не сумѣлъ вывернуться во-время. Это, конечно, не хорошо; но онъ поправитъ все. я увѣренъ. Вы, пожалуйста. только никому не разсказывайте этого, — сказалъ мнѣ Алексѣй Аѳанасьичъ самымъ убѣдительнымъ голосомъ.

Но я, однакоже, не выдержалъ и все разсказалъ господину съ злымъ языкомъ. Тотъ выслушалъ меня. улыбнулся и сказалъ:

— Я вѣдь говорилъ вамъ, что онъ кончитъ дурно. Теперь еще какая-то Армансъ въ два дня вскружила ему голову, и онъ чортъ знаетъ зачѣмъ поѣхалъ съ нею въ Мо-

скву. Неисправимъ, батюшка, ничѣмъ неисправимъ... Впрочемъ, вы успокоите этого господина Грибанова; его деньги не пропадутъ, я вамъ за нихъ отвѣчаю.

И, въ самомъ дѣлѣ, тотчасъ по возвращеніи Щелкалова изъ Москвы и черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ я видѣлся съ нашимъ пріятелемъ, Алексѣй Аѳанасьичъ получилъ триста пятьдесятъ рублей, но при самомъ, впрочемъ, грубомъ письмѣ, да еще съ наставленіями.

«Я не привыкъ, — писалъ ему Щелкаловъ, — чтобы кто-нибудь сомнѣвался въ моей чести — и никому не позволю этого. Вамъ не слѣдовало платить деньги Дюбо ни въ какомъ случаѣ и вмѣшиваться въ мои съ нимъ счеты: отвѣчалъ за все я; а отдавъ ему эти деньги, вы показали свое сомнѣніе въ отношеніи ко мнѣ.

«Примите, милостивый государь, увѣреніе въ томъ, что я никогда не былъ и не буду несостоятельнымъ должникомъ, въ чемъ вы убѣдитесь, получивъ аккуратно въ день срока деньги, которыми вы меня ссудили, съ причитающимися на нихъ процентами.

«Имѣю честь быть ..» и прочее.

Алексѣй Аѳанасьичъ нисколько, впрочемъ, не оскорбился этимъ: онъ отдалъ намъ письмо, улыбаясь.

— Спрашивается, какъ же назвать такого молодца? — спросилъ глубокомысленно Пруденскій, пробѣжавъ письмо черезъ свои очки и возвращая его Алексѣю Аѳанасьичу.

Въ числѣ присутствующихъ тутъ въ эту минуту находился господинъ, чрезвычайно веселый, юмористъ и славный разсказчикъ.

— Я знаю, какъ, — возразилъ онъ. — Это *хлыщъ!* Такихъ господъ надобно непремѣнно звать *хлыщами.*

— Что такое? — воскликнулъ Алексѣй Аѳанасьичъ, расхохотавшись, — какъ? какъ? повтори-ка еще.

— *Хлыщъ!*

— Да что̀ же такое это значитъ? Какое это слово? откуда оно? Я въ первый разъ его слышу.

— Ну, объ этимологіи его вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я не знаю. Это сорвалось у меня съ языка; но мнѣ кажется, что оно совершенно характеризуетъ такого рода господъ, какъ, напримѣръ, вашъ баронъ.

Намъ всѣмъ очень понравилось это слово; мы приняли его безъ возраженій и пустили въ ходъ. Теперь оно, по нашей милости, начинаетъ распространяться.

— Ну, а Астрабатовъ — это что̀ такое? — спросилъ Иванъ Алексѣичъ.

— Это также хлыщъ, — отвѣчалъ веселый господинъ, — только баронъ великосвѣтскій хлыщъ, а этотъ — трактирный. Вѣдь хлыщи бываютъ различныхъ родовъ

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ХЛЫЩЪ.

ГЛАВА I.

ДѢТСТВО.

Мнѣ было тринадцать лѣтъ, когда меня рѣшили отдать въ благородный пансіонъ. День отъѣзда моего изъ дома останется незабвеннымъ въ моей жизни. Карета уже была заложена и стояла у крыльца. Маменька, въ шляпкѣ съ цвѣтами, весело разговаривала съ приживалкой въ залѣ, гдѣ собралась вся наша дворня: лакеи, горничныя, казачки, судомойки, поломойки и проч., провожать меня. Я стоялъ, совсѣмъ уже готовый къ отъѣзду, возлѣ моей старой няни, которая заливалась слезами и отъ времени до времени цѣловала меня, произнося задыхающимся голосомъ: «Голубчикъ ты мой!» Сердце мое болѣзненно билось, слезы безпрестанно выступали на глаза. Мысль, что я разстаюсь съ роднымъ кровомъ, со всѣмъ близкимъ мнѣ, съ моимъ добрымъ дѣдушкой, съ няней; что я не буду ночевать въ своей комнатѣ, на своей постели, подъ своимъ одѣяломъ, не увижу кота Ваньку, мурлыкающаго противъ на лежанкѣ — все это вмѣстѣ казалось мнѣ ужаснымъ, и я едва удерживался, чтобы не зарыдать вслухъ. Дверь изъ кабинета въ залу отворилась, и на порогѣ появился дѣдушка. На немъ былъ фракъ съ стоячимъ воротникомъ, бѣлый галстукъ, рубашка съ манже-

тами, панталоны, застегнутые у колѣнъ пряжками, и сверхъ бѣлыхъ чулокъ высокіе сапоги; волосы его были тщательно причесаны по старинной модѣ и напудрены. Свѣтлое лицо его, полное кротости, любви и доброты, было серьезнѣе обыкновеннаго. Дѣдушка, какъ будто не замѣчая никого, прямо подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, крѣпко поцѣловалъ, перекрестилъ и произнесъ: «Господь съ тобою! учись прилежно, этимъ ты утѣшишь свою мать и меня... Въ субботу я самъ за тобой пріѣду...» И онъ еще разъ поцѣловалъ и перекрестилъ меня. Всѣ на минуту присѣли и потомъ поднялись. Няня начала укутывать меня, не выдержала и зарыдала. Всѣ люди смотрѣли на меня жалостливо. «Полно, няня, полно,— говорилъ дѣдушка, —какъ тебѣ не стыдно! Вѣдь я черезъ шесть дней привезу его тебѣ... О чемъ плакать?» Но голосъ дѣдушки нѣсколько дрожалъ, на глазахъ его также показались слезы, хотя онъ старался удерживать ихъ и улыбался своей привлекательной, симпатичной улыбкой... Я цѣловалъ руку дѣдушки и какъ ни крѣпился, а мои слезы крупными каплями падали на его морщинистую руку.

— Ну, поѣдемъ, мой другъ!—сказала маменька, вытирая глаза платкомъ. —Простись со всѣми людьми.

Я кланялся имъ, всхлипывая; они кланялись мнѣ; нѣкоторыя изъ женщинъ плакали; появился и котъ Ванька, который также смотрѣлъ на меня какъ-то жалостливо. «Простись съ Ванькой-то, батюшка!» сказала мнѣ няня, утирая слезы.... Я наклонился къ Ванькѣ, погладилъ и его и поцѣловалъ. Дѣдушка надѣлъ шубу и шапку и вышелъ провожать меня на крыльцо; за нимъ двинулась вся дворня. Няня не выпускала моей руки до той минуты, когда я занесъ ногу на ступеньку кареты.

— Няня, няня!—кричалъ дѣдушка, —поди въ комнату. Ты простудишься: ты въ одномъ платьѣ.

Но няня не слышала ничего. Съ выбившимися изъ-подъ платка сѣдыми волосами, съ глазами, распухшими отъ слезъ, она не спускала глазъ съ окна кареты, въ которое глядѣлъ я, дѣлала мнѣ различные привѣтливые знаки, крестила меня и кричала мнѣ:

-- Шейку-то закрой, батюшка, шейку-то! у тебя шейка открыта.

Дѣдушка также все смотрѣлъ на меня, улыбался и кивалъ мнѣ головой.

Карета двинулась... Я въ послѣдній разъ высунулся изъ окна. Людей уже никого не было. На крыльцѣ оставались только дѣдушка и няня,—дѣдушка, осѣнявшій меня крестнымъ знаменіемъ, няня, кричавшая мнѣ въ совершенномъ отчаяніи:

— Прощай, голубчикъ ты мой! прощай, родной ты мой!

У меня замерло сердце. и я упалъ головою къ колѣнямъ, зарыдавъ и залившись слезами.

На полдорогѣ, когда я пришелъ въ себя и вытеръ глаза. маменька поцѣловала меня и сказала:

— Ну, перестань! полно... хорошо ли, пріѣдешь въ пансіонъ съ распухшими глазами? Вѣдь надъ тобой всѣ будутъ смѣяться. И о чемъ такъ плакать, я не понимаю! Вѣдь не вѣчно же тебѣ сидѣть съ дѣдушкой и нянькой... Тебѣ ужъ, кажется, пора отвыкать отъ няньки. И тебя отдаютъ не въ какую-нибудь народную школу: ты вступаешь въ пансіонъ, гдѣ все дѣти богатыхъ и знатныхъ отцовъ. все генеральскія, графскія и княжескія дѣти; тебѣ должно быть пріятно имѣть такихъ товарищей. Эта мысль должна утѣшать тебя. Старайся понравиться товарищамъ, заслужить ихъ любовь. Это можетъ быть тебѣ полезно со временемъ.

Маменька вздохнула и прибавила, какъ будто про себя:

— Въ жизни главное—хорошія знакомства и связи.

Когда мы вышли изъ кареты и всходили на лѣстницу къ директору, съ семействомъ котораго маменька уже предварительно познакомилась, съ лѣстницы навстрѣчу къ намъ сбѣгалъ мальчикъ лѣтъ пятнадцати, мой будущій товарищъ, съ бѣлымъ, румянымъ и круглымъ лицомъ, съ карими масляными глазками, съ волосами, густо напомаженными и тщательно приглаженными, въ форменномъ собственномъ сюртукѣ очень тонкаго сукна, съ перетянутой таліей.

Маменька остановила его вопросомъ:

— Позвольте васъ спросить, миленькій, господинъ директоръ дома?

Мальчикъ очень ловко раскланялся и отвѣчалъ:

— Дома-съ; я сейчасъ только отъ него.

— А я вамъ привезла новаго товарища, — продолжала маменька съ любезною улыбкою, — это сынъ мой. Полюбите его.

Мальчикъ взглянулъ на меня, наклонилъ голову, улыбнулся, вынулъ изъ кармана тонкій платокъ, который пахнулъ духами, поднесъ его къ носу, пробормоталъ: «очень радъ-съ», еще разъ раскланялся маменькѣ и побѣжалъ.

— Какой прелестный мальчикъ! — замѣтила маменька, — и какія у него манеры! Вотъ тебѣ образецъ. Сейчасъ видно, что это благовоспитанное дитя, изъ хорошаго дома.

Мальчикъ, дѣйствительно, въ первое время моего пребыванія въ пансіонѣ былъ для меня образцомъ, къ удовольствію моей доброй маменьки.

Фамилія его была Летищевъ — фамилія не совсѣмъ аристократическая, но онъ имѣлъ довольно важное, хотя отдаленное родство съ материнной стороны. Маменька его причиталась троюродной сестрой одному графу, занимавшему значительную должность при дворѣ, котораго она называла всегда *кузеномъ*. Отецъ Летищева умеръ въ чинѣ гвардіи полковника. за нѣсколько лѣтъ до вступленія сына въ пансіонъ, оставивъ въ наслѣдство женѣ и сыну огромные долги. Г-жа Летищева. по смерти мужа, несмотря на затруднительныя обстоятельства, не стѣсняла образа своей жизни. Когда, говорятъ, одинъ изъ родственниковъ ея мужа, вошедшій въ ея дѣла по ея просьбѣ, рѣшился деликатно замѣтить ей, «что если все опять пойдетъ такъ, то можетъ кончиться худо», она захохотала, измѣрила его съ ногъ до головы и сказала:

— Напримѣръ? что вы разумѣете — худо?

— Да векселя будутъ представлены ко взысканію, имѣніе продано съ аукціоннаго торга, вы останетесь ни съ чѣмъ, и, можетъ быть...

— Что же можетъ быть?

— Вы меня извините, но можетъ кончиться тѣмъ, что васъ посадятъ въ тюрьму.

— Меня? въ тюрьму? — воскликнула она. — Это мнѣ нравится! Во-первыхъ, кто же сажаетъ порядочныхъ женщинъ въ тюрьмы? Сажаютъ бродягъ... вонъ что ходятъ по улицѣ. А къ тому же я — вы, вѣрно, не взяли этого въ соображеніе — по рожденію графиня Каленская... Александръ Федорычъ мой... cousin...

— Все это я знаю, — возразилъ родственникъ, — все это очень хорошо, но только законъ не беретъ ничего этого въ соображеніе.

— Какой законъ! Что такое? Богъ знаетъ, что вы говорите! Позвольте мнѣ вамъ сказать, что всѣ порядочные люди въ долгу, какъ въ шелку, однакожъ, всѣ, слава Богу, живутъ, даютъ балы, выѣзжаютъ, и никого не сажаютъ въ тюрьмы...

Послѣ такихъ убѣдительныхъ возраженій разсуждать было нечего: родственнику оставалось только раскланяться родственницѣ и оставить ее въ покоѣ. Онъ такъ и сдѣлалъ. Все это я узналъ впослѣдствіи. Въ пансіонѣ же мы считали Летищева страшнымъ богачомъ, потому что онъ уѣзжалъ изъ пансіона и пріѣзжалъ въ пансіонъ въ каретѣ четверней на выносъ, привозилъ изъ дому множество конфетъ и разныхъ сластей, разсказывалъ о томъ, какой у маменьки бываетъ пріѣздъ, сколько у дяденьки-графа орденовъ, звѣздъ и комнатъ, какъ дяденька его любитъ, и проч., при чемъ прибавлялъ, что у дяденьки нѣтъ наслѣдниковъ и что маменька говоритъ, что онъ будетъ дяденькинымъ наслѣдникомъ. Нѣкоторые товарищи не совсѣмъ довѣряли Колѣ Летищеву, особенно касательно его дяденьки, зная привычку Коли все нѣсколько преувеличивать и пускать пыль въ глаза; но когда однажды самъ дяденька, во всемъ блескѣ и во всѣхъ украшеніяхъ, явился въ пансіонъ, произведя величайшее смущеніе и суматоху, и, потрепавъ племянника по щекѣ, отдалъ ему, въ присутствіи директора и столпившихся кругомъ учениковъ, билетъ въ ложу и произнесъ:

— Вотъ тебѣ, Ѳедя, ложа въ театръ. Пригласи своихъ товарищей. Г. директоръ отпускаетъ васъ на сегодняшній спектакль, по моей просьбѣ.

Послѣ этого никто уже въ пансіонѣ, начиная съ директора до послѣдняго сторожа, не сомнѣвался, что Летищевъ его наслѣдникъ, и не только начальство, даже многіе изъ товарищей начали поглядывать на Летищева какъ-то иначе, гораздо привѣтливѣе, а сторожа обнаруживать передъ нимъ большую угодливость и вѣжливость.

Коля, послѣ дяденькинаго визита, возмечталъ о себѣ ужасно; его смущало только одно, что графъ назвалъ его при всѣхъ Ѳедей, вмѣсто Коли, и далъ поводъ нѣкоторымъ товарищамъ подтрунивать надъ тѣмъ, что дядя не знаетъ его имени, что онъ вѣрно видитъ его въ первый разъ въ жизни, и тому подобное.

Впрочемъ, къ Колѣ и приставали умѣренно. Всѣ— не то, чтобы любили его, а такъ чувствовали къ нему особое пріятное расположеніе, безсознательно образовавшееся вслѣдствіе четверни на выносъ, пріѣзжавшей за нимъ въ пансіонъ, его тонкаго собственнаго сюртука, склянки духовъ и банки съ помадой, которыя лежали въ шкапчикѣ у его постели, вмѣстѣ съ щеткой изъ слоновой кости, и знатнаго родственника съ украшеніями

Коля не отличался ни особенными умственными способностями, ни большимъ прилежаніемъ; но онъ имѣлъ даръ показываться всегда на первомъ планѣ. Онъ вдругъ бралъ смѣлостью то, что другіе пріобрѣтали постепенно усиленными трудами. Онъ озадачивалъ и приводилъ въ совершенное смущеніе учителей. Когда доходила очередь до него, онъ вскакивалъ со своей скамейки, съ самоувѣренностью отрѣзывалъ урокъ безъ остановки, не запнувшись ни на одномъ словѣ, и, не давая учителю времени опомниться, садился на скамейку торжествующимъ. Учитель, послѣ минуты сомнѣнія, покачивалъ обыкновенно головою и ставилъ ему хорошіе баллы. Послѣ классовъ Коля умѣлъ очень ловко вступать въ разговоръ съ учителемъ и вставлять въ этотъ разговоръ имя дяденьки графа. Вслѣдствіе всего этого, Коля, плохо учившись, умѣлъ прослыть прилежнымъ ученикомъ, и его ставили въ примѣръ товарищамъ, которые были во всѣхъ отношеніяхъ несравненно лучше его. Директоръ звалъ

его не иначе, какъ Николаемъ Андреичемъ, а директорша, величайшая охотница до танцевъ, была отъ него въ восхищеніи, потому что на ея танцовальныхъ вечерахъ, которые бывали довольно часто, Коля отличался, какъ большой, угождалъ ей и ея дочерямъ, любезничалъ съ дамами и танцовалъ, какъ никто...

— Что это за чудный мальчикъ! — хоромъ твердили обыкновенно гости директорши, жены учителей, гувернеровъ и инспекторовъ. — Нельзя налюбоваться имъ.

— О, да! и притомъ говоритъ по-французски, какъ французъ! Онъ пойдетъ далеко, — замѣчала директорша: — и немудрено: онъ родной племянникъ и наслѣдникъ графа Каленскаго... Притомъ онъ одинъ сынъ у матери, которая обожаетъ его. Ахъ, какая она милая дама и притомъ съ какимъ богатствомъ, съ какимъ вкусомъ одѣвается!.. Что мудренаго: она ѣздитъ ко двору, она была фрейлиной... У насъ много княжескихъ и графскихъ дѣтей, но Колю Летищева ведутъ такъ, что онъ ни въ чемъ не уступитъ ни графскимъ, ни княжескимъ дѣтямъ. Его еще лучше держатъ.

— Онъ, — замѣчала при этомъ инспекторша, — я слышала отъ ихней компаньонки, Луизы Ивановны, дома носитъ не иначе, какъ батистовое бѣлье. .

Колю не жаловали только тѣ, очень, впрочемъ, немногіе изъ товарищей, которые на аристократовъ поглядывали вообще мрачно. Эти немногіе причисляли къ аристократамъ вообще всѣхъ тѣхъ, которые говорили по-французски, занимались своимъ туалетомъ и имѣли, какъ говорится, хорошія манеры. Одинъ изъ этихъ преслѣдователей аристократіи, молодой человѣкъ, коренастый и косой, которому на видъ можно было дать лѣтъ двадцать, ужасно перепугалъ однажды Колину маменьку. Онъ былъ въ пріемной комнатѣ въ ту минуту, когда она пріѣхала и прямо вошла въ эту комнату, вся въ соболяхъ и въ бархатахъ.

— Вызовите мнѣ, пожалуйста, моего сына, — произнесла она по-французски, обращаясь къ нему.

Ученикъ, ненавистникъ аристократовъ, взглянулъ исподлобья своими косыми глазами на барыню въ соболяхъ и

бархатахъ, сжалъ свои кулаки, что онъ дѣлалъ только въ минуты совершеннаго замѣшательства, и произнесъ густымъ басомъ:

— Кё?

Барыня чуть не упала въ обморокъ при этомъ *кё* и при этихъ кулакахъ; но, къ счастью, въ эту минуту вбѣжалъ директоръ, узнавши о ея пріѣздѣ. Директоръ, грознымъ голосомъ и страшно нахмурясь, закричалъ на косого ученика:

— Что вы здѣсь дѣлаете? Подите вонъ!..

И бросился, съ низкими поклонами и пріятнѣйшими улыбками, къ барынѣ, мгновенно измѣнивъ свой грубый голосъ въ самый мягкій и вкрадчивый.

— Quelle horeur! — произнесла Колина маменька, приходя въ себя, — какъ онъ меня перепугалъ! Неужели это вашъ воспитанникъ — товарищъ моего сына?..

— Да-съ, что дѣлать! Къ сожалѣнію, — отвѣчалъ директоръ съ глубокимъ вздохомъ, — это какой-то Митрофанъ, прямо привезенный къ намъ изъ деревни.

— Ты, пожалуйста, мой милый, — повторяла она потомъ своему сыну, — держи себя подальше отъ этого страшнаго вашего ученика, который говоритъ: *кё*... Это какое-то чудовище... И какой онъ ученикъ? ему пора жениться.

Колѣ, впрочемъ, не для чего было дѣлать эти наставленія, потому что Коля и безъ того держался въ кругу самомъ избранномъ, т.-е. между товарищами съ именами и съ деньгами. Что же касается до косого ученика, произносившаго *кё*, то онъ вовсе не былъ такъ страшенъ, какъ полагала Колина маменька: кроткій, трудолюбивый, прямой и честный по натурѣ, онъ не могъ выносить только одного: — когда видѣлъ, какъ нѣкоторые изъ его товарищей ухаживали за аристократами, льнули къ нимъ, сіяли счастьемъ, прохаживаясь съ ними подъ руку по коридорамъ, въ виду всѣхъ. При такомъ зрѣлищѣ косой ученикъ всегда плевалъ и произносилъ:

— Ахъ, подлипалы поганые, сволочь!

Большая часть товарищей смотрѣли на него, какъ на юродиваго. Ученики низшихъ классовъ бѣгали за нимъ и дразнили его: показывали ему языки, корчили гримасы, дер-

гали его за фалды, и тогда, выведенный изъ терпѣнія, онъ схватывалъ перваго попавшагося ему подъ руки и начиналъ его такъ ломать, что у бѣднаго только кости хрустѣли. Оттого онъ получилъ прозваніе *костолома;* но у этого костолома было самое мягкое и нѣжное сердце: разъ, когда, играя въ лапту, онъ нечаянно хватилъ палкой по носу одного ученика и чуть не проломилъ ему кости на носу, онъ притворился больнымъ, чтобы вмѣстѣ съ нимъ итти въ больницу; въ теченіе мѣсяца не отходилъ отъ его постели, ухаживалъ за нимъ, какъ сидѣлка, измѣнился, похудѣлъ и чуть самъ не слегъ въ постель, успокоясь только тогда, когда подбитый имъ товарищъ началъ выздоравливать.

Однажды, во время гулянья — это было въ половинѣ августа — послѣ каникулъ, воспитанники играли, бѣгали и ходили по широкому двору, усыпанному пескомъ и обнесенному липовой аллеей. На этомъ дворѣ, между двухъ выдавшихся флигелей, расположенъ былъ небольшой садикъ съ клумбами цвѣтовъ — фантазія инспектора, имѣвшаго большія наклонности къ садоводству. Косой ненавистникъ аристократовъ, Скуляковъ, котораго, кромѣ костолома, товарищи звали также Кулаковымъ, занимался копаніемъ грядки: земляная работа была его страсть. Нѣкоторые изъ его враговъ аристократовъ и между ними Коля прогуливались подъ руку по дорожкамъ садика. Коля нечаянно, а можетъ быть и съ намѣреніемъ, проходя мимо Скулякова, толкнулъ его и, не обращая на него вниманія, прошелъ дальше. Скуляковъ воткнулъ лопатку въ землю, скосилъ глаза болѣе обыкновеннаго и закричалъ Колѣ:

— Эй вы, послушайте! что вы толкаетесь-то?

Коля продолжалъ итти, не удостоивъ даже обернуться на эти слова.

Скуляковъ поблѣднѣлъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ ему навстрѣчу и остановился прямо передъ нимъ. Коля взглянулъ на него, измѣнился въ лицѣ, но старался принять на себя видъ беззаботный и равнодушный.

— Я вамъ говорю, какъ вы смѣете толкаться! — повторилъ Скуляковъ.

— Извините! — пробормоталъ Коля небрежно, взглянувъ съ улыбкою на товарища, съ которымъ прогуливался, — я нечаянно, я васъ вовсе не замѣтилъ, — и сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобы продолжать свой путь.

Скуляковъ загородилъ ему дорогу.

— Вы думаете, — продолжалъ онъ, — что у васъ тонкій сюртукъ, что вы душитесь и помадитесь, да височки прилизываете, да хвастаетесь своимъ дядей, да по-французски болтаете, такъ вы можете толкаться, не извиняясь... а это на что? — Скуляковъ засучилъ рукавъ своего сюртука, сжалъ посинѣвшій отъ синяго казеннаго сукна свой огромный кулакъ и подставилъ его передъ глазами Коли. — Видите?

На эту сцену сбѣжалось нѣсколько любопытныхъ, какъ обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ.

Коля сказалъ:

— Что жъ, вы воображаете, что испугаете меня, что ли, вашимъ кулакомъ?

— Да ужъ я тамъ не знаю, а я вотъ только что вамъ скажу... вотъ всѣ будутъ свидѣтелями. — И Скуляковъ обвелъ своими косыми глазами собравшихся. — Если только вы когда-нибудь посмѣете сдѣлать мнѣ какую-нибудь грубость, то я вамъ кости переломаю... слышите? Недаромъ же вы зовете меня костоломомъ... Помните же!

Произнеся это, Скуляковъ обернулся назадъ, очень спокойно возвратился къ своей грядкѣ, взялъ лопатку и продолжалъ свою работу.

Коля былъ нѣсколько минутъ послѣ этого въ страшномъ волненіи. Онъ вышелъ изъ садика, сопровождаемый двусмысленными улыбками свидѣтелей этой сцены; видѣлъ эти улыбки, и самолюбіе его было страшно уязвлено, тѣмъ болѣе, что Скуляковъ, несмотря на свои лѣта, былъ ниже его классомъ. Коля выходилъ изъ себя, ужасно горячился и черезъ минуту послѣ этого, въ своемъ классѣ, ударивъ рукою по столу, закричалъ:

— Съ этимъ мужикомъ я не могъ ничего сдѣлать... Вѣдь нельзя же мнѣ связываться съ нимъ, когда онъ лѣзетъ съ

кулаками... Если бы у меня была шпага или пистолетъ — это другое дѣло. Но это ему не пройдетъ даромъ: я вамъ даю честное слово, господа, что послѣ выпуска я буду съ нимъ стрѣляться.

И Коля, говоря это, расхаживалъ по классу пѣтушкомъ, вздиралъ голову кверху, гордо улыбался и корчилъ совершеннаго героя. Воображеніе успокоило нѣсколько его самолюбіе. Однако послѣ этого онъ вообще старался избѣгать встрѣчъ съ Скуляковымъ, а при неизбѣжныхъ встрѣчахъ очень осторожно обходилъ его и при этомъ даже нѣсколько смягчалъ выраженіе своего лица. Послѣ этой сцены Коля, впрочемъ, нѣсколько понизился во мнѣніи товарищей, а на Скулякова даже и нѣкоторые изъ аристократовъ начали посматривать иначе и вели себя въ отношеніи къ нему гораздо осторожнѣе.

Ко мнѣ Коля чувствовалъ расположеніе, хотя посматривалъ на меня свысока, какъ воспитанники старшихъ классовъ обыкновенно смотрятъ на младшихъ. Онъ протежировалъ меня, вѣроятно, потому, что видѣлъ мои усилія подражать его манерамъ, походкѣ и прическѣ. Коля былъ только двумя годами старше меня; но эти два года неизмѣримо раздѣляли насъ. Ему было уже шестнадцать лѣтъ, и онъ подбривалъ пушокъ, едва показывавшійся на его усахъ, когда разъ въ субботу, передъ роспускомъ, онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

— Если васъ отпустятъ завтра изъ дому, пріѣзжайте ко мнѣ обѣдать. У меня обѣдаютъ наши — князь Броницынъ и еще кое-кто... Отпроситесь изъ дому. Я васъ познакомлю съ маменькой.

Я отвѣчалъ:

— Непремѣнно буду.

Непремѣнно я не могъ сказать, потому что еще не совсѣмъ былъ увѣренъ, отпустятъ ли меня; но это слово невольно сорвалось у меня съ языка, потому что я хотѣлъ показать, что уже не ребенокъ и пользуюсь нѣкоторою независимостью.

Отправляясь домой, я все мечталъ о слѣдующемъ днѣ;

но при мысли быть представленнымъ Коленькиной маменькѣ, которая на видъ была такая гордая, робость овладѣла мной, и желаніе быть у Коли начало бороться во мнѣ съ этою робостью.

Я объявилъ дѣдушкѣ и маменькѣ о полученномъ мною приглашеніи, упомянувъ, между прочимъ, имя князя Броницына.

Дѣдушка, выслушавъ меня, посмотрѣлъ на меня очень пристально, и, когда я кончилъ просьбою отпустить меня, онъ произнесъ своимъ мягкимъ голосомъ, потрепавъ меня по плечу:

— Если тебѣ очень хочется, дружочекъ, пожалуй: но ты лучше сдѣлалъ бы, если бы остался съ твоимъ старикомъ дѣдушкой.

— Нѣтъ... почему же ему не ѣхать? отпустите его, папенька! — возразила маменька, — надо же привыкать ему быть въ хорошемъ обществѣ, пріобрѣтать манеры, развязность...

Дѣдушка едва замѣтно нахмурился.

— Какія манеры, матушка? — перебилъ онъ, — ему надобно прежде всего думать объ ученьѣ, а не о манерахъ. Какія это манеры у васъ, я не понимаю!

Маменька замолчала, но, какъ мнѣ показалось, нѣсколько иронически взглянула на дѣдушку и улыбнулась

Однако маменька поставила на своемъ, потому что дѣдушка на другой день утромъ, когда я съ нимъ поздоровался, поцѣловалъ меня и объявилъ, что я могу ѣхать обѣдать къ товарищу.

Маменька, вообще мало занимавшаяся мной, передъ отъѣздомъ сама одѣвала меня съ величайшею заботливостью, входила въ мельчайшія подробности моего туалета: завивала, помадила и расчесывала мнѣ волосы и даже дала мнѣ свой батистовый платокъ и надушила его своими духами, чего прежде никогда не случалось.

— Смотри же, — сказала маменька, когда я былъ уже совсѣмъ готовъ, — веди себя хорошенько и будь какъ можно ласковѣй и предупредительнѣе со всѣми.

Я поцѣловалъ ея ручку. Она пріятно улыбнулась и съ нѣкоторою гордостью осмотрѣла меня съ ногъ до головы.

Коленькина маменька жила, сколько я припоминаю, что называется, на барскую ногу: ковры, бронзы, рядъ комнатъ люди въ ливреяхъ и проч.

Коля встрѣтилъ меня радушно и повелъ къ ней. Она, въ изысканномъ и нарядномъ туалетѣ, сидѣла въ угольной, небольшой комнатѣ, уставленной цвѣтами и рѣшетками, обвитыми плющомъ. Окруженная плющомъ, на возвышеніи, въ большихъ готическихъ креслахъ съ рѣзной спинкой, она имѣла недоступность и торжественность, отъ которыхъ у меня сжалось сердце. Одна ея рука, вся въ кольцахъ, шевелила листами какой-то книжки въ раззолоченномъ переплетѣ, которая лежала передъ нею на маленькомъ столикѣ.

Коля подвелъ меня къ возвышенію и представилъ ей.

Она приподняла голову, взглянула на меня, обнаруживъ на лицѣ движеніе въ родѣ улыбки, и произнесла по-французски:

— Мой сынъ мнѣ говорилъ объ васъ ..

Потомъ обратилась къ Колѣ:

— Поди сюда, Коля!

Коля подошелъ къ ней.

Она посмотрѣла на сына въ лорнетъ

— У тебя волосы дурно лежатъ, мой другъ!

И съ этими словами она пригладила ему височки и въ то же время шепнула что-то.

Коля сошелъ съ возвышенія и сѣлъ возлѣ меня.

Наступила минута молчанія, послѣ которой она повела на меня глазами и спросила:

— Ваши родители живутъ здѣсь, въ Петербургѣ?

— Здѣсь-съ.

— А!..

Послѣ этого «а!» опять послѣдовало молчаніе, скоро, впрочемъ, прерванное приходомъ какого-то адъютанта, который только и дѣлалъ потомъ, что побрякивалъ шпорами, крутилъ усы и смотрѣлъ, щуря глаза, въ висѣвшее противъ него зеркало. Повидимому, это былъ родственникъ или очень

близкій человѣкъ въ домѣ. Коленькина маменька звала его Пьеромъ.

— Какая это у васъ книга? — спросилъ ее адъютантъ, входя на возвышеніе и садясь противъ нея.

— Это? (разговоръ былъ на французскомъ языкѣ). Что за вопросъ? Развѣ вы не знаете, что это книжка, съ которой я никогда не разстаюсь; это мой милый Ламартинъ. Это поэтъ, какихъ немного! У него все — гармонія стиха, нравственныя мысли, и, къ тому же, читая его, чувствуешь, que c'est un gentilhomme!

— Это правда, — замѣтилъ адъютантъ, крутя усы.

— Ну, а что вашъ французскій учитель говоритъ вамъ о Ламартинѣ?

Она взглянула на сына.

— Да-съ, онъ упоминаетъ и о немъ, — отвѣчалъ Коля, — но у насъ больше говорится въ исторіи литературы о Корнелѣ и о Расинѣ.

— О Корнелѣ? да, это прекрасно! По моему мнѣнію, молодые люди должны быть воспитаны на Корнелѣ и на Ламартинѣ: Корнель внушаетъ высокія понятія о чести, а Ламартинъ — религію... Не спа, Пьеръ?

Пьеръ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

Я очень внимательно и съ большимъ любопытствомъ смотрѣлъ на Коленькину маменьку, и она такъ сильно врѣзалась въ моей памяти, какъ будто теперь передо мною, хотя я видѣлъ ее потомъ не болѣе трехъ или четырехъ разъ.

Ей было лѣтъ сорокъ; она была высока и стройна. Черты лица ея были некрупны и тонки: небольшой орлиный носъ, сѣренькіе глазки, брови нѣсколько дугой. Она—я соображаю это теперь по воспоминаніямъ — должна была смолоду производить большія побѣды, и ей, видно, не легко было разставаться съ молодостью, потому что слѣды разрушающаго времени она тщательно и очень искусно замазывала, закрашивала и затирала, подцвѣчая себя всевозможными косметическими средствами. Объ этомъ сообщилъ намъ Коля, который иногда, въ сердцахъ на маменьку за отказы въ деньгахъ,

очень мѣтко подтрунивалъ надъ нею. Коля вообще не отличался скромностью. Чуть не всему пансіону было извѣстно, что его маменька сидитъ всякій день по три часа за туалетомъ и, кромѣ своихъ нарядовъ, ничѣмъ не занимается. Перечисляя насмѣшливо ея наряды, Коля, въ то же время, имѣтъ и другую цѣль: прихвастнуть богатствомъ маменьки и ея роскошью.

Смотря на эту барыню, разговаривавшую съ адъютантомъ (я это живо помню), меня поразила, между прочимъ, ея странная ненатуральная манера говорить и какое-то неловкое и принужденное выраженіе ея лица во время разговора. Причину этого мнѣ объяснилъ князь Броницынъ, который, несмотря на ея особенное вниманіе къ нему, отлично ее передразнивалъ: у г-жи Летищевой верхній рядъ зубовъ совсѣмъ сгнилъ и искрошился, и, чтобы не обнаружить этого, она, во время разговора, постоянно держала верхнюю губу неподвижной, шевеля только нижнею.

Въ то время, какъ рѣчь отъ Корнеля и Ламартина круто повернула къ городскимъ новостямъ и сплетнямъ, въ сосѣдней комнатѣ послышались чьи-то шаги. Коля заглянулъ въ дверь.

— Вотъ и Броницынъ! — сказалъ онъ, взглянувъ на меня, и потомъ, обратясь къ матери, вскочилъ со стула.

— Maman, князь пріѣхалъ.

— Аа! — произнесла она, слегка пошевеливъ головой. — Его товарищъ, князь Броницынъ, — замѣтила она, обратясь къ адъютанту, который загнулъ голову назадъ, чтобы посмотрѣть на вошедшаго.

Броницынъ былъ недуренъ собой, очень развязенъ, такъ же, какъ и Коля, корчилъ уже молодого человѣка совершенныхъ лѣтъ. Сравнительно съ ними я чувствовалъ себя ребенкомъ, стыдился этого и завидовалъ имъ.

Г-жа Летищева пожала Броницыну руку, съ большою пріятностью улыбнулась ему, спросила его о здоровьи князя, его отца, княгини-матери, все время обнаруживала къ нему исключительное вниманіе и за обѣдомъ посадила возлѣ себя.

Разговоръ казался очень одушевленнымъ. Болѣе всѣхъ говорила сама хозяйка. Я слушалъ внимательно; но изъ всего, что говорили, осталось у меня въ памяти только пять словъ: князь, балъ, графъ, графиня, княгиня.

Я во все время чувствовалъ страшное стѣсненіе и неловкость; два раза зацѣпился за коверъ и чуть не упалъ; отвѣчалъ на вопросы невпопадъ, боясь сдѣлать ошибку по-французски, и внутренно завидовалъ развязности и смѣлости князя Броницына, который такъ и заливался на французскомъ языкѣ.

Вскорѣ послѣ обѣда хозяйка дома исчезла и явилась только къ семи часамъ, въ другомъ туалетѣ, еще болѣе блистательномъ, съ прибавленіемъ новыхъ пуколекъ, брошекъ, кружевцовъ и браслетъ и распространяя на нѣсколько шаговъ кругомъ себя благоуханіе лѣсной фіалки.

— Я ѣду въ театръ, — сказала она, натягивая перчатку.— Je vous laisse, mes enfants, amusez-vous bien...

— Какой у васъ прекрасный туалетъ! — перебилъ Броницынъ, глядя на нее, — и какъ онъ идетъ къ вамъ!

Она улыбнулась пріятно, нѣсколько прищуривъ глаза. Броницынъ поцѣловалъ ея руку и, какъ мнѣ показалось, что-то шепнулъ ей. Она прикоснулась осторожно двумя пальчиками къ его уху, произнесла вопросительнымъ тономъ: «Paul?», еще разъ и еще пріятнѣе улыбнулась ему и потомъ погрозила пальцемъ.

Адъютантъ между тѣмъ смотрѣлся въ зеркало и поправлялъ свои волосы. Школьникъ совершенно затмилъ въ этотъ день адъютанта своею любезностью и ловкостью, такъ что онъ только время отъ времени поглядывалъ на него иронически, покручивая усы. Въ нашемъ мнѣніи Броницынъ возвысился послѣ этого еще болѣе.

— Господа! ну, теперь ко мнѣ! — закричалъ Коля, подпрыгнувъ, когда маменька уѣхала.

Кромѣ Броницына и меня, у Коли обѣдали еще два или три нашихъ товарища изъ старшихъ классовъ.

Мы всѣ побѣжали въ Колину комнату, и Броницынъ впереди всѣхъ, напѣвая:

Amis, il est une coquette
Dont je redout ici les yeux,
Que sa vanité qui me guette,
Me trouve toujours plus joyeux.

Коля закричалъ:

— Вина!

Человѣкъ принесъ намъ бутылку мускатъ-люнеля и бисквиты, и школьная попойка началась. У меня отъ двухъ рюмокъ закружилась голова; но товарищи мои, которые пили очень усердно и потребовали другую бутылку, стали смѣяться надо мной, когда я отказался отъ третьей рюмки, и принудили меня пить, щеголяя другъ передъ другомъ, кто кого перепьетъ.

— Господа! — сказалъ Броницынъ, поднимая свою рюмку, — за здоровье военныхъ...

— Браво! ура! — закричали всѣ, и я вслѣдъ за другими.

— А знаете ли, что я скоро разстанусь съ вами, любезные друзья? — продолжалъ Броницынъ, — я перехожу въ школу, въ кавалергарды. Стоитъ ли у насъ кончить курсъ, и для чего? Я ни за что не хочу быть рябчикомъ...

— Я тоже, я тоже! — крикнулъ Коля, — ни за что! Я не разстанусь съ тобой, Paul: мы вмѣстѣ выйдемъ. Къ тому же и maman непремѣнно хочетъ, чтобы я вступилъ въ кавалергарды. Я прослужу нѣсколько времени въ полку, а потомъ мой дядя, графъ Каленскій, возьметъ меня въ адъютанты. Онъ ужъ обѣщалъ Maman... Господа! я вамъ предлагаю тостъ за кавалергардовъ!

— Très bien, bravo! — воскликнулъ Броницынъ.

И всѣ мы снова и сильнѣе прежняго стали кричать: «Браво! ура!..» и топать ногами.

Товарищи мои долго продолжали шумѣть, пѣть, кричать, болтать о лошадяхъ, о военныхъ формахъ и еще о чемъ-то. Все это мнѣ представлялось неясно. Я сидѣлъ молча. У меня въ глазахъ было мутно и голова кружилась. Я чувствовалъ, что не могу стоять твердо на ногахъ, что не могу сдѣлать двухъ шаговъ не пошатнувшись... Обводя кругомъ комнату, я остановился на часахъ, висѣвшихъ на стѣнѣ:

намъ оставался только одинъ часъ до пансіона. Двѣ мысли: что, если бы меня увидалъ въ такомъ видѣ дѣдушка? и какъ я явлюсь къ директору? привели меня въ ужасъ. Сердце мое сильно забилось при этомъ; я вскочилъ со стула, попробовалъ пройтись, чтобы удостовѣриться, могу ли я ходить, сдѣлалъ два шага, но меня откинуло въ сторону къ дивану, голова закружилась еще сильнѣе, и я незамѣтно упалъ на диванъ, вдругъ потерявъ всякое сознаніе.

Я очнулся отъ непріятнаго ощущенія холода и дрожи, почувствовавъ, что по лицу моему течетъ что-то... я открылъ глаза. Товарищи, чтобы привести меня въ чувство, смѣясь, обливали мнѣ голову холодной водой...

Какъ мы отправились потомъ въ пансіонъ, какъ представились директору—этого я не помню; но какъ никто изъ насъ не былъ наказанъ, изъ этого я заключаю, что мы явились довольно въ приличномъ видѣ. Я одинъ только на другой день заплатилъ дань этой первой попойки, занемогъ и отправился въ больницу.

Летищевъ и князь Броницынъ, дѣйствительно, черезъ полгода вышли изъ пансіона. Послѣ этого я видѣлъ Летищева всего раза четыре. Онъ приходилъ къ намъ въ пансіонъ, разъ вмѣстѣ съ княземъ, а потомъ одинъ, въ мундирѣ, въ каскѣ, звеня шпорами и гремя палашомъ, — явно только для того, чтобы щегольнуть собой передъ старыми товарищами. Мы всѣ съ любопытствомъ и участіемъ окружали его... Коля немного важничалъ и ломался передъ нами, разсказывая намъ, что его дядя даритъ ему лошадь въ шесть тысячъ (тогда еще считали на ассигнаціи), что мать даетъ ему двадцать тысячъ на первое обзаведеніе, что лошадь его будетъ одна изъ первыхъ въ полку, и что даже у князя Броницына не будетъ такой лошади.

Мы слушали его разиня ротъ и любовались имъ, потому что румяный, плечистый и толстый Коля былъ, дѣйствительно, какъ будто созданъ для того, чтобы быть кирасиромъ.

Прошелъ еще годъ. Летищевъ не показывался. Онъ, вѣроятно, забылъ о насъ. Мы забыли о немъ. Наступилъ день нашего выпуска, торжественный день въ жизни каждаго изъ

насъ. Мы проснулись рано, потому что волненіе не давало намъ спать. Солнце ярко сіяло; изъ отворенныхъ оконъ нашего класса, куда мы собрались въ послѣдній разъ, неслось благоуханіе отъ инспекторскихъ левкоевъ и резеды, вмѣстѣ съ свѣжимъ утреннимъ воздухомъ; голуби — охота одного изъ нашихъ гувернеровъ, расхаживавшіе по двору, ворковали звучнѣе обыкновеннаго; четыре липки, торчавшія передъ окнами въ садикѣ, на которыя мы никогда не обращали вниманія, ярко и весело зеленѣли, облитыя солнцемъ; всѣ начальники смотрѣли на насъ съ особенно привѣтливымъ выраженіемъ въ лицѣ; товарищи, оставшіеся въ пансіонѣ, окружали насъ съ завистливымъ любопытствомъ и повторяли намъ: «Счастливые!» Сторожъ, котораго мы, обыкновенно, посылали украдкой за завтракомъ въ мелочную лавку, при встрѣчѣ поклонился намъ съ такимъ уваженіемъ, какъ онъ кланялся только инспектору или директору, и потомъ все поглядывалъ на насъ съ заискивающею улыбкою, какъ бы ожидая чего-то. За утреннимъ чаемъ мы не прикасались ни къ чему, отдали свой чай и булки товарищамъ и разговаривали шумно, свободно и весело, не боясь замѣчаній и выговоровъ. Мысль, что черезъ нѣсколько часовъ мы будемъ внѣ этихъ стѣнъ, на просторѣ, на волѣ, безъ всякаго надзора, что мы пойдемъ куда угодно, будемъ дѣлать все, что намъ вздумается, что передъ нами театры, гулянья, всевозможныя увеселенія, погружала насъ въ упоительное одурѣніе... Все передъ нами казалось широко, свѣтло и безконечно. Сердца наши бились сильно, глаза сверкали счастьемъ, грудь, переполненная ощущеніями, волновалась... Двери параднаго подъѣзда отворены были настежь, у подъѣзда стояли наши экипажи, на лѣстницѣ толпились ожидавшіе насъ люди.

— Господа! — закричалъ одинъ изъ насъ, — мы теперь свободные люди! Ура!.. Дѣлай, что хочешь!

Онъ схватилъ первую попавшуюся ему подъ руку учебную книжку, разорвалъ ее пополамъ и бросилъ, потомъ схватилъ со стола чугунную чернильницу и съ какимъ-то ожесточеніемъ швырнулъ ее въ клумбу съ инспекторскими цвѣтами.

— Ура! — раздалось вслѣдъ за нимъ, и чернильницы одна за другой полетѣли за окна, на цвѣты.

— Теперь долой эти платья! — кричалъ другой, — прочь эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..

И онъ разрывалъ пополамъ свой сюртукъ при всеобщихъ рукоплесканіяхъ и крикахъ.

Послѣ первой минуты этихъ буйствъ и разрушенія, этого опьянѣнія радости, осмотрясь кругомъ, мы увидѣли Скулякова. Онъ сидѣлъ у стола, облокотившись на руку. Лицо его, и безъ того всегда блѣдное, имѣло въ эту минуту какой-то зеленоватый, болѣзненный оттѣнокъ, а его косые глаза неопредѣленно и грустно смотрѣли куда-то. Онъ, казалось, не видѣлъ и не слышалъ ничего, что дѣлалось кругомъ него.

— Что жъ ты сидишь? — сказалъ ему кто-то изъ насъ, — вставай, братецъ: пора одѣваться.

— Зачѣмъ? — проговорилъ онъ мрачно и вполголоса.

— Какъ зачѣмъ? — закричало нѣсколько голосовъ, — отправляться по домамъ.

— У меня нѣтъ дома, — отвѣчалъ онъ, махнувъ рукой, — съ Богомъ, отправляйтесь себѣ; мнѣ нѣкуда.

Шумная ватага разбѣжалась. Я остался съ нимъ одинъ; мнѣ стало жаль его. Я зналъ, что Скуляковъ бѣденъ, что у него не было никого, кромѣ старухи-матери, которая жила далеко отъ Петербурга въ своей деревенькѣ; что въ Петербургѣ у него былъ только одинъ знакомый, къ которому онъ ходилъ по праздникамъ, и то изрѣдка.

— Отчего же ты не пойдешь къ своему знакомому? — спросилъ я. — Развѣ ты не можешь прожить у него до тѣхъ поръ, покуда пришлютъ за тобой изъ деревни?

— Онъ уѣхалъ изъ Петербурга, — отвѣчалъ Скуляковъ, видимо недовольный моими вопросами.

— Послушай, Скуляковъ, — сказалъ я, — я прошу тебя, сдѣлай одолженіе, поѣдемъ ко мнѣ. Всѣ наши будутъ тебѣ рады... Все-таки до отъѣзда въ деревню тебѣ лучше и веселѣе будетъ прожить у насъ, чѣмъ оставаться здѣсь одному въ пансіонѣ.

И я съ горячностью протянулъ ему руку.

Скуляковъ пожалъ ее и взглянулъ на меня.

— Нѣтъ, спасибо, — отвѣчалъ онъ, — я не хочу быть никому въ тягость... я не могу, братъ...

Я не совсѣмъ тогда хорошо понималъ значеніе словъ: «быть въ тягость», и деликатность натуры этого человѣка, котораго звали «костоломомъ», казалась мнѣ только упрямствомъ. Я сталъ еще сильнѣе уговаривать его.

— Нѣтъ, ужъ ты лучше и не говори, — перебилъ онъ меня, — я не поѣду; я ужъ сказалъ, я останусь... Спасибо тебѣ. Прощай! Будь счастливъ...

Въ его голосѣ, обыкновенно грубомъ, было въ эту минуту столько мягкости и задушевности, что я не могъ удержаться отъ слезъ. Мнѣ вдругъ въ первый разъ стало совѣстно, что я во все время вмѣстѣ съ другими товарищами, и, можетъ быть, болѣе другихъ, приставалъ къ нему и смѣялся надъ нимъ.

— Прости меня за прошлое, — сказалъ я, — я виноватъ передъ тобою.

Скуляковъ вдругъ соскочилъ со скамейки, остановился на минуту въ недоумѣніи, какъ бы желая сказать мнѣ что-то, — и вдругъ бросился ко мнѣ на шею, обнялъ меня еще разъ и еще крѣпче пожалъ мнѣ руку и прошепталъ:

— Ну, прощай, прощай, братецъ!

Выходя изъ класса, я обернулся назадъ. Скуляковъ закрылъ лицо руками и прислонился къ краю стола. Мнѣ показалось, что онъ плакалъ...

Но черезъ десять минутъ, на дорогѣ изъ пансіона домой, я забылъ о Скуляковѣ и о всемъ на свѣтѣ. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладѣло мною; мнѣ казалось, что горе, несчастіе и прочее—все это людскія выдумки, и что жизнь — вѣчный праздникъ.

Я не предчувствовалъ, что готовилось для меня впереди, и едва удерживалъ мое нетерпѣніе, завидѣвъ нашу дачу, нашъ старый домъ, окруженный столѣтними деревьями... Я былъ увѣренъ, что скорѣе лошади добѣгу до крыльца, и мнѣ хотѣлось выскочить изъ коляски, чтобы броситься на шею къ дѣдушкѣ... Когда коляска остановилась, я едва могъ

дышать отъ волненія. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничныя, въ ожиданіи меня, — всѣ, кромѣ моей няни, которой уже не было на свѣтѣ, и дѣдушки.

— Гдѣ же дѣдушка? — было первое мое слово.

— Дѣдушка нездоровъ. Тише: онъ почиваетъ, — отвѣчали мнѣ.

Эти слова болѣзненно отозвались у меня въ сердцѣ, и я вошелъ въ домъ на цыпочкахъ, понуря голову. Черезъ часъ меня позвали къ дѣдушкѣ. Онъ улыбнулся мнѣ, пожалъ мнѣ руку своей ослабѣвшей рукой и произнесъ съ усиліемъ:

— Ну, поздравляю тебя, поздравляю...

Онъ велѣлъ мнѣ сѣсть къ себѣ на постель и сталъ смотрѣть на меня, держа меня за руку, съ такою любовью и съ такою грустью, что я зарыдалъ...

— Полно, голубчикъ! Богъ дастъ, я еще поправлюсь. Не плачь, дружочекъ! — шепталъ мнѣ дѣдушка, самъ глотая слезы.

Но сердце мое говорило мнѣ, что все кончено. Я вышелъ отъ дѣдушки и упалъ на диванъ, захлебываясь слезами.

Къ вечеру дѣдушкѣ сдѣлалось хуже, вѣроятно, отъ волненія; а черезъ два дня послѣ этого онъ лежалъ на столѣ. Онъ какъ будто заснулъ на минуту: такъ лицо его было спокойно и свѣтло; ни одна черта его не была искажена страданіемъ, и на губахъ его замерла улыбка, — та симпатическая улыбка, съ которою онъ всегда встрѣчалъ меня... Неужели это смерть?..

Я стоялъ, пораженный этимъ явленіемъ, не спуская глазъ съ усопшаго. Мнѣ казалось невозможнымъ, что я уже никогда не увижу его кроткаго взгляда, никогда не услышу его голоса, звучавшаго любовью... Смерть! когда все кругомъ меня кипѣло жизнью, свѣтомъ, радостью...

Окна комнаты, въ которой дѣдушка былъ положенъ, выходили въ садъ... Солнце бросало на все ослѣпительный блескъ, совсѣмъ поглощая свѣтъ погребальныхъ свѣчъ. Вѣтка шиповника въ полномъ цвѣту врывалась въ одно изъ оконъ, и однообразный, тихій голосъ чтеца заглушался звонкимъ пѣніемъ, свистомъ и чиликаніемъ птицъ.

ГЛАВА II.

МОЛОДОСТЬ.

Прошелъ годъ. Я уже привыкъ къ моей свободѣ. Она мнѣ даже надоѣла немножко, потому что я не находилъ, какое употребленіе сдѣлать изъ нея. Летищева, который уже былъ офицеромъ, я видалъ довольно часто на Невскомъ: то въ коляскѣ, то въ дрожкахъ на рысакахъ, то верхомъ, то на тротуарѣ, подъ руку съ другими офицерами. Онъ холодно кивалъ мнѣ головою при встрѣчахъ; я ему отвѣчалъ тѣмъ же. Мы нигдѣ не сходились. Я услышалъ стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся послѣ нея движимое и недвижимое имѣніе отдано было за долгъ, и что графъ Каленскій, хотя былъ довольно внимателенъ къ нему, но денегъ не давалъ. Несмотря на это, Летищевъ, служившій въ самомъ дорогомъ полку, жилъ не хуже своихъ товарищей, которые получали большія деньги и имѣли въ виду огромныя состоянія. Говорили, будто онъ поддерживаетъ такое блестящее существованіе одними займами, распуская слухи, что онъ единственный наслѣдникъ графа, и занимаетъ 50 на 100, а иногда и капиталъ на капиталъ. До какой степени слухи эти были основательны, я не зналъ. Несомнѣнно было только то, что Летищевъ проживаетъ много, что онъ цвѣтетъ, толстѣетъ, сіяетъ самодовольствіемъ и отличается полною безпечностью.

Въ одно изъ представленій балета *Кіа-Кингъ*, во время антракта, когда всѣ поднялись, чья-то рука изъ перваго ряда креселъ упала на мое плечо—я сидѣлъ во второмъ—и знакомый звонкій, нѣсколько пронзительный голосъ произнесъ скороговоркою:

— Здравствуй, mon cher! какъ я радъ тебя видѣть! сколько времени мы не видались!.. Гдѣ ты пропадаешь?

Это былъ Летищевъ. Я молча поклонился ему: онъ схватилъ меня за руку и крѣпко пожалъ ее.

— Да что ты, не узнаешь меня, что ли?

— Нѣтъ, узнаю, — отвѣчалъ я.

— А развѣ такъ встрѣчаются старые товарищи? Я тебя всегда очень любилъ и очень, очень радъ тебя видѣть.

Такую внезапную горячность ко мнѣ Летищева я не могъ разгадать вдругъ.

— Пойдемъ въ буфетъ, — продолжалъ онъ, — мнѣ хочется и покурить, и поговорить съ тобою... А ты ничего не мѣняешься: точно какъ былъ въ пансіонѣ.

Мы пришли въ буфетъ.

— Ну, несравненная madame Пяцци! — сказалъ онъ, обращаясь къ черноглазой и черноволосой дамѣ, стоявшей за буфетомъ, — велите-ка намъ подать бутылку клико, да похолоднѣе, и мою трубку съ янтаремъ (тогда еще папиросы не были въ употребленіи) въ маленькую комнату... знаете? — Это мой другъ, — прибавилъ онъ, указывая на хозяйку буфета, — у меня, братецъ, вездѣ друзья... Это необходимо, безъ этого нельзя... Скорѣе вина...

— Да къ чему? — началъ было я.

— Нѣтъ, нѣтъ! ты мнѣ ужъ этого и не говори, — перебилъ Летищевъ громко, обращаясь то ко мнѣ, то къ мадамъ Пяцци, — мы должны выпить. Встрѣча съ тобою мнѣ такъ пріятна. А знаешь ли, сколько мы выпили вчера съ Ѳедей Рагузинскимъ и Бронцынымъ (ты вѣдь его помнишь)? Ну, какъ ты думаешь?

— Я не знаю.

— Девять бутылокъ!.. по три на брата. Не глупо?

Мme Пяцци съ пріятностью улыбалась, слушая Летищева и покачивая головою.

Когда въ отдѣльную комнату мальчикъ принесъ трубки и шампанское, Летищевъ крикнулъ ему:

— Ну, косой, откупори, да безъ шуму, и убирайся вонъ! — и потомъ обратился ко мнѣ, потрепавъ меня по плечу, и сказалъ:

— Сколько съ того времени, mon cher, воды утекло, какъ мы разстались!.. Ты знаешь, что мать моя умерла... Я теперь одинъ, вольный казакъ, проживаю тридцать тысячъ; у меня лучшая лошадь въ полку, десятитысячный жеребецъ..

Но это все вздоръ! Ты знаешь, что я сдѣлался театраломъ съ ногъ до головы, вся моя жизнь здѣсь, на Большомъ театрѣ; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько разъ я видѣлъ «Бронзоваго Коня»? — 54 раза! а послѣзавтра 55-е представленіе... Общество театраловъ недавно поднесло мнѣ похвальный листъ, за подписью всѣхъ своихъ членовъ, и во главѣ всѣхъ подписей имя нашего doyen d'age между театралами — князя Арбатова... Какой чудный человѣкъ! Что за душа! Ты не знаешь его? тебѣ, mon cher, непремѣнно надо сдѣлаться театраломъ... и всѣ наши... вѣдь это удивительные ребята!.. Если бы ты посмотрѣлъ наши сходки: чудо!.. Мы преслѣдуемъ, братецъ, и презираемъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ франтиковъ, паркетныхъ шаркуновъ... Изъ насъ никто ни ногой въ свѣтъ, хотя мы всѣ имѣемъ на это полное право... Свѣтъ, эти всѣ дамы косятся на насъ, да чортъ съ ними!.. Что, напримѣръ, выше наслажденія провожать театральныя линіи, видѣть въ окно прелестное личико съ платкомъ на головѣ, которое высунулось для того, чтобы взглянуть на тебя... понимаешь? Ты перекидываешься съ нею нѣсколькими словами, рискуя попасть подъ огромное колесище и быть расплющеннымъ... Впрочемъ, у меня кучеръ такъ наловчился подъѣзжать близко къ линіи, что полозъ моихъ саней совсѣмъ сходится вплоть съ обручемъ колеса... и ничего, видишь, я до сихъ поръ живъ и здоровъ... Одинъ разъ я чуть не попалъ, однако, подъ колесо: но зато чѣмъ же я и былъ вознагражденъ за это!.. Изъ окна раздался голосокъ: «Васъ задавятъ... ахъ, страсти!» И она упала, братецъ, въ обморокъ: ее безъ чувствъ привезли домой. Она любитъ меня до безумія; а я... я ужъ и говорить нечего... я съ ума схожу... такой дѣвочки нѣтъ на свѣтѣ другой... Что за глаза, что за бюстъ, какая ножка!.. Царица между всѣми... И посмотри, какая у насъ идетъ перестрѣлка во время представленія, замѣть... Всѣ говорятъ, что она первая, и точно... Какой талантъ!.. Не правда ли?..

— Да я не знаю, о комъ ты говоришь, — возразилъ я.

— Какъ? Неужели? — Летищевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и недовѣрчивостью. — Будто ты ничего не слы-

халъ? Ты не знаешь, за кѣмъ я ухаживаю? Да объ этомъ кричитъ весь городъ... И чортъ знаетъ, какъ все это узнаютъ, я не понимаю! Дамы въ обществѣ объ этомъ толкуютъ— вѣдь вотъ до чего дошло, — ей Богу!.. Мнѣ это ужасно неприятно: дядя на меня злится... ну, да пусть его злится... Если ты хоть разъ былъ въ балетѣ, хоть одинъ разъ въ жизни, ты долженъ знать Торкачеву...

— Понятія не имѣю, — отвѣчалъ я.

Хотя Торкачева была одна изъ самыхъ хорошенькихъ молодыхъ танцовщицъ того времени, но мой глазъ не былъ такъ опытенъ, чтобы отличать Торкачеву отъ Пряхиной, Бѣлоусову отъ Каростинской, и т. д.

— Что? — съ ужасомъ воскликнулъ Летищевъ. — Ты не знаешь Торкачевой? Ахъ ты, варваръ!.. Послушай, ты лучше не признавайся въ этомъ: это нехорошо, просто стыдно. Не знать Торкачевой!.. mais, mon cher, c'est impardonable, c'est un crime... Четвертая корифейка съ края съ правой стороны... средняго роста, съ такими огненными бирюзовыми глазками...

— А! такъ это она?..

— Она! она!—вскрикнулъ Летищевъ,—да вотъ смотри!..— Онъ разстегнулъ мундиръ, потомъ рубашку, вытащилъ золотой медальонъ, висѣвшій на тоненькой цѣпочкѣ на его груди, открылъ его и показалъ мнѣ ея портретъ. — Не правда ли, прелесть? Не правда ли, отъ этакой дѣвочки простительно съ ума сойти?.. Вѣдь это, братецъ, счастье быть ею любимымъ?

И онъ съ жаромъ поцѣловалъ портретъ, спряталъ его, застегнулся, взялъ стаканъ и прибавилъ:

— Ну, теперь выпьемъ же за ея здоровье, за здоровье моей чудной Кати! только, смотри, до капли...

Мы выпили.

— Я ее такъ устрою, — продолжалъ Летищевъ, — чтобы всѣ ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не пожалѣю для нея, ухну все, что имѣю... чортъ возьми! А тамъ... вѣдь дядя же мой не будетъ жить вѣчно... тогда мнѣ ужъ горевать будетъ не о чемъ: двѣсти тысячъ дохода, un revenu nette... вѣдь изрядно?..

Летищевъ долженъ былъ знать, что у графа Каленскаго есть ближайшіе родственники; что имѣніе графа по прямой линіи перейдетъ къ нимъ; что ему достанется что-нибудь, и то невѣрно; но онъ до того нахвасталъ всѣмъ, что онъ его единственный наслѣдникъ, что, наконецъ, почти самъ сталъ вѣрить этому.

Когда Летищевъ высказалъ мнѣ все, что ему хотѣлось высказать, онъ вдругъ нѣсколько охладѣлъ ко мнѣ.

— Однако, пора; заболтался. Бѣда, если я пропущу ея выходъ: мнѣ за это достанется... Пойдемъ... M-me Піацци! запишите за мной бутылку... Замѣть же... ты сидишь, кажется, сзади меня... какая пойдетъ перестрѣлка!.. Смотри, ты поусерднѣй и погромче хлопай *нашимъ-то*, по старому товариществу.

Лишь только Торкачева съ компаніей появилась на сцену, Летищевъ обратился ко мнѣ и показалъ мнѣ ее.

— Ну, что, какова? не правда ли, чудо? — Браво! браво! — закричалъ онъ, отвернувшись отъ меня и захлопавъ.

Затѣмъ весь первый рядъ правой стороны началъ кричать вполголоса: «браво! браво!» усиливая это браво постепенно и доведя его, наконецъ, до неистовыхъ криковъ, съ громовымъ аккомпаниментомъ рукоплесканій; послѣ криковъ и хлопаній всѣ эти господа впились въ свои бинокли, и я замѣтилъ, что между Торкачевой и Летищевымъ точно существовали какіе-то телеграфическіе знаки и что послѣ каждаго пируэта она обращалась съ особенно значительной улыбкой къ тому креслу, на которомъ сидѣлъ онъ.

Когда Торкачева съ компаніей скрылись за кулисами, Летищевъ опять обратился ко мнѣ.

— Перестрѣлку-то замѣтилъ? Вотъ, теперь появится Иванова, такъ ужъ ей надо хорошенько шикнуть: это нашъ смертельный врагъ...

— Отчего? — спросилъ я, — она славная танцовщица.

— Какое! дрянь!.. да все равно, хотя бы она была первый геній: ужъ ей, по-нашему, слѣдуетъ шикать...

И точно, при появленіи Ивановой, въ первыхъ рядахъ раздалось шиканье. Это шиканье произвело въ публикѣ не-

удовольствіе, обнаружившееся громомъ рукоплесканій. Какъ люди въ своемъ дѣлѣ опытные, театралы смирились передъ бурей; когда же буря начала стихать, они воспользовались первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова ихъ шиканья были заглушены еще сильнѣйшимъ громомъ и сопровождались вызовомъ ненавистной имъ танцовщицы.

Несмотря на это, они выходили изъ театра очень довольные, съ полною увѣренностію, что уничтожили ее; а князь Арбатовъ, пропуская ихъ мимо себя, повторялъ каждому: «Славно, ребята!» и каждый отвѣчалъ на лестное одобреніе: «Рады стараться, ваше сіятельство!»

У театраловъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, были очень усердные помощники, исправлявшіе должность театраловъ изъ различныхъ побужденій и разсаженные въ разныхъ концахъ и углахъ залы. Они состояли, первое, изъ господъ, надсаживавшихъ горло и отбивавшихъ руки изъ того только, чтобы имѣть честь попасть въ кружокъ театраловъ, потереться около аристократовъ; второе — изъ нахлѣбниковъ этой молодежи, ихъ прихлебателей, и третье — просто изъ наемныхъ хлопальщиковъ и шикальщиковъ, которые, когда театралъ, ихъ патронъ, проходилъ мимо ихъ, обыкновенно выставляли впередъ свои подобострастныя фигуры и шептали съ почтительною улыбкою: «Ну, ужъ мы сегодня похлопали, ваше сіятельство! во второмъ-то актѣ, какой залпъ задали!»

Всѣ театралы и исправляющіе должности театраловъ того времени, которое я описываю, были подъ командой князя Арбатова.

Князь Арбатовъ пользовался значительною извѣстностью въ Петербургѣ, и тѣ немногіе, которые не были съ нимъ знакомы, навѣрно, знали о немъ хоть по наслышкѣ. Я принадлежалъ къ послѣднимъ. Еще когда я былъ школьникомъ, мнѣ указали на него однажды въ балетѣ. Князю казалось на видъ лѣтъ сорокъ слишкомъ. Онъ былъ мужчина довольно видный, полный, высокаго роста, съ круглымъ лицомъ, нижняя часть котораго выдавалась впередъ, съ большими карими глазами, съ маленькимъ лбомъ, съ рѣдкими подкрашенными волосами и съ короткими щети-

нистыми усами, также подкрашенными. Туалетъ его не отличался изысканностью: сюртукъ былъ почти всегда застегнутъ на всѣ пуговицы, галстукъ высокій, на пряжкѣ сзади, съ торчащими изъ-подъ него маленькими воротничками отъ рубашки. По всему было замѣтно, что съ статскимъ платьемъ ему свыкнуться было нелегко, что оно было для него ново и что онъ презиралъ его. Плечи князя, гордо вздернутыя кверху, привыкшія къ большимъ и густымъ эполетамъ, безпрестанно приподнимались и вздрагивали. Князь былъ въ театрѣ, какъ у себя дома: всѣ театральныя власти были его друзьями и пріятелями; всѣ сильфиды, амуры и граціи считали его за родного, бутафоры и ламповщики глядѣли на него съ чувствомъ; капельдинеры встрѣчали его при входѣ съ особенною торжественностью и почтительно отворяли передъ нимъ двери храма искусства, въ который онъ вступалъ повелителемъ, раздавателемъ сценической славы, непогрѣшительнымъ судьею—протекторомъ или карателемъ, передъ глазами котораго прошли десять поколѣній самой богатой и блестящей молодежи, по одному его мановенію рукоплескавшей и шикавшей, — десять поколѣній, имъ взлелѣянныхъ и воспитанныхъ.

Его давно уже нѣтъ на свѣтѣ, этого почтеннаго мужа; но до тѣхъ поръ, покуда будутъ существовать театралы, имя его, вѣроятно, будетъ благоговѣйно произноситься ими, начертанное неизгладимыми буквами въ ихъ лѣтописяхъ, и предпослѣднее поколѣніе, имѣвшее счастье еще застать его, можетъ произнести о немъ, какъ Пушкинъ о Державинѣ:

> Старикъ *Арбатовъ* насъ замѣтилъ
> И, въ гробъ сходя, благословилъ!

Старикъ! Но Арбатовъ никогда не былъ старикомъ: въ шестьдесятъ слишкомъ лѣтъ онъ сошелъ въ могилу такимъ, какимъ былъ въ девятнадцать. Онъ былъ вѣренъ себѣ до послѣдней минуты и вѣчно юнъ, несмотря на свои морщины, рѣдкіе подкрашенные волосы и вставные зубы. Время дѣйствовало нѣсколько тлетворно на его внѣшность, не измѣ-

няя ни въ чемъ его внутреннихъ убѣжденій, взглядовъ и понятій и нимало не охлаждая его пламенной любви къ театру вообще и балетному искусству въ особенности. За два дня передъ смертію, въ представленіи «Катарины — дочери разбойника», нѣжное и любящее сердце его такъ же горячо и сильно билось, при видѣ порхающихъ красавицъ-внучекъ, какъ оно билось при появленіи порхавшихъ нѣкогда красавицъ — ихъ бабушекъ въ «Коро и Алонзо», «Дѣвѣ Солнца», или въ «Пажахъ герцога Вандомскаго». Бабушкамъ и внучкамъ онъ рукоплескалъ съ равнымъ энтузіазмомъ и такъ же вѣрно зналъ именины и рожденія бабушекъ, какъ именины и рожденія внучекъ, съ одинаково теплымъ чувствомъ поздравляя тѣхъ и другихъ.

Летищевъ, который послѣ представленія «Кіа-Кинга» сталъ заѣзжать ко мнѣ изрѣдка, разсказывалъ мнѣ объ Арбатовѣ съ увлеченіемъ и посвятилъ меня во всѣ подробности театральства.

— Такой любви къ искусству, — говорилъ онъ, — такого благороднаго жара ты не встрѣтишь ни въ комъ. Повѣришь ли, что въ каждомъ изъ насъ князь принимаетъ такое горячее участіе, какъ въ самыхъ близкихъ родныхъ. Да что ему родные! Весь міръ его заключается въ насъ и въ *дѣвицахъ*. Онъ ихъ и насъ любитъ, какъ отецъ. Когда князь Броницынъ завелъ стрѣльбу съ Пряхиной, онъ сейчасъ же сообщилъ объ этомъ Арбатову... Мы ничего отъ него не скрываемъ: всѣ малѣйшія движенія наши извѣстны ему. «Я не знаю, чего бы я не далъ, — сказалъ ему Броницынъ, — если бы я гдѣ-нибудь могъ съ нею видѣться!» Тогда Броницынъ только что вышелъ изъ школы... Это было въ первые мѣсяцы нашего театральства... Мы тогда еще не знали, какъ приступиться, ходили какъ впотьмахъ. Арбатовъ только что принялъ насъ подъ свое покровительство, и мы еще не были совершенно посвящены во всѣ тайны театральства; еще старые театралы смотрѣли на насъ, какъ на мальчишекъ... Мы трепетали передъ Арбатовымъ, какъ передъ авторитетомъ. Что же ты думаешь? — этого я никогда не забуду, это было при мнѣ: Арбатовъ крѣпко пожалъ ему

руку и пристально взглянулъ на него испытующимъ взглядомъ. «Вы ее очень любите?»—спросилъ онъ его. «До безумія»,—отвѣчалъ Броницынъ. Арбатовъ задумался на минуту. «Знаете ли,—возразилъ онъ — и надобно было видѣть въ эту минуту серьезное, даже нѣсколько строгое выраженіе лица его — знаете ли, что это дѣвочка необыкновенная... кроткая, скромная, милая... Выборъ вашъ дѣлаетъ вамъ честь; но послушайте, князь, вы должны оцѣнить ее вполнѣ и сдѣлать счастливой...»—«Я вамъ отвѣчаю за это»,—перебилъ съ горячностью Броницынъ. «И я вамъ отъ души вѣрю, князь! Уже одно ваше имя служитъ мнѣ ручательствомъ за то, что вы дорожите вашимъ словомъ. Къ сожалѣнію,—и Арбатовъ вздохнулъ,—я обманулся во многихъ въ теченіе моего театральнаго поприща; многіе, говоритъ, изъ театраловъ бросили тѣнь на это имя, которымъ мы должны всѣ дорожить, которое должны носить съ гордостью». Мы были всѣ почти до слезъ тронуты этими словами и поклялись въ чистотѣ сохранять почетное имя театрала. Арбатовъ расцѣловалъ насъ и сказалъ: «На-дняхъ мы окончательно посвятимъ васъ, и тогда (онъ обратился къ Броницыну) я займусь вашимъ дѣломъ... soyez tranquille... мы все устроимъ: я переговорю сначала съ нею, а потомъ съ ея матерью серьезно».

Если кому-нибудь изъ насъ дѣвица *не отвѣчала*, Арбатовъ былъ просто въ отчаяніи; онъ начиналъ ее усовѣщевать, уговаривать, выставлять передъ нею достоинства ея обожателя. «Поймите вы свою пользу,—говорилъ онъ ей,—я для васъ же хлопочу, васъ же хочу устроить. Повѣрьте мнѣ, вы созданы другъ для друга»,—и достигалъ своей цѣли. Дѣвицы всегда хороши съ тѣми, съ кѣмъ онъ хорошъ. Надобно видѣть, братецъ, когда онъ между ними: всѣ при его появленіи одушевляются, и большія и маленькія, и корифейки, и танцовщицы, и тѣ даже, которыя *пляшутъ у воды*, — всѣ, подпрыгивая и хлопая ручонками, глядя на него, кричитъ: «дядя, дядя!» Онъ всѣхъ порядочныхъ людей вербуетъ въ театры. Чуть у кого-нибудь замѣтитъ маленькое влеченіе къ балету—и подсядетъ сейчасъ къ нему.

Вотъ онъ еще недавно завербовалъ намъ графа Красносельскаго, который мѣсяцъ назадъ бредилъ свѣтомъ, былъ самымъ упорнымъ паркетнымъ шаркуномъ. Арбатовъ подсѣлъ къ нему разъ въ балетѣ и говоритъ: «Смотрите-ка, какъ Бѣлокопытова-то стрѣляетъ въ васъ. Она только вами и бредить. Она недавно сказала мнѣ: «Я бы, кажется, съ ума сошла, если бы графъ *отвѣчалъ* мнѣ». Бѣдная дѣвочка! мнѣ жаль ее. А какое у нея сердце, если бы вы знали! и вѣдь красавица! Сколько за ней ухаживали, а она никому еще не *отвѣчала* до сихъ поръ. Вы первые тронули ее. Vous faitez une bonne action, если обратите вниманіе на эту дѣвочку, и скажете мнѣ за нее потомъ спасибо» Эти слова подѣйствовали на самолюбіе графа Красносельскаго: мало-по-малу онъ началъ увлекаться, завелъ съ нею телеграфическіе знаки; ну, а потомъ и пошло, и пошло, и въ одинъ мѣсяцъ онъ сдѣлался самымъ отчаяннымъ театраломъ, совсѣмъ перестать ѣздить въ свѣтъ, выдержалъ страшныя исторіи за это дома, перессорился со всѣми родными, и теперь для него ничего въ мірѣ не существуетъ, кромѣ балета, а въ балетѣ—Дашеньки Бѣлокопытовой!... Вотъ каковъ Арбатовъ! Я тебѣ говорю, это необыкновенный, чудный человѣкъ, первый сортъ. И какъ ненавидятъ его всѣ маменьки и дяденьки! Да ему что? онъ гордится этою ненавистью.

Летищевъ открывалъ для меня новый міръ, я слушалъ его съ любопытствомъ.

— Да что,—продолжалъ Летищевъ, все съ большимъ одушевленіемъ:—Красносельскій молодъ; насъ, у которыхъ кровь кипитъ, завлечь, mon cher, немудрено; а онъ завербовалъ недавно въ театралы семидесятилѣтняго старца, у котораго дѣти уже бреютъ бороды лѣтъ десять или двѣнадцать!.. Вотъ какія чудеса творитъ Арбатовъ!. У Прохоровой былъ вечеръ. Весь балетъ тамъ былъ и всѣ наши. Арбатовъ все обдумалъ заранѣе. Ему давно хотѣлось устроить Капылову. Она ужъ не первой молодости и собой-то не очень; но тѣло у нея чудесное и сложена отлично. Она такъ пропадала въ одиночествѣ и бѣдности, а дѣвица славная и добрая; всѣ наши ее ужасно любятъ: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и

Каростицкая,—всѣ, всѣ... Арбатовъ давно ей говорилъ: «Дайте мнѣ срокъ, несравненная моя Наталья Ивановна,—и, знаешь, рукой ее этакъ по таліи—ужъ я пристрою васъ, матушка, будьте покойны», да и намекнулъ ей на старичка, а старичокъ богатъ и скупъ, какъ чортъ... «Это, говоритъ, ничего, мы сумѣемъ порастрясти его карманы». Онъ и привезъ его на вечеръ къ Прохоровой. Капылова разодѣлась въ пухъ и прахъ и давай стрѣлять въ старичка; а Арбатовъ толкаетъ его и говоритъ: «Смотрите, смотрите, Петръ Иванычъ, глазъ съ васъ не спускаетъ: побѣда, да еще какая! Поздравляю васъ, искренно поздравляю! Первая по сложенію въ балетѣ». Старичокъ поднесъ, дрожа, лорнетъ къ глазамъ и началъ смотрѣть на нее. Глядь, черезъ часъ ужъ онъ танцуетъ съ нею мазурку, со всѣми старинными затѣями: съ припрыжкой, съ усами; вертитъ ее, становится передъ ней на колѣни... просто умора. Мы надрывались со смѣху. Съ тѣхъ поръ, братецъ, не пропускаетъ ни одного балета, сошелся со всѣми нами на *ты*, туда же телеграфическіе знаки дѣлаетъ, несмотря на то, что руки дрожатъ и всѣ въ морщинахъ, точно сплоены; въ венгеркѣ ѣздитъ верхомъ мимо ея оконъ, пудами посылаетъ ей конфеты и, въ довершеніе всего, сочиняетъ къ ней стихи. Я помню первые три стишка:

На Араратъ Наташу я поставлю
И весь міръ думать заставлю:
Вотъ та, которую люблю!

Дальше не помню, а недурно! Онъ мерзнетъ съ нами у театральнаго подъѣзда, пьетъ съ нами. Надобно было видѣть, когда его посвящали въ театралы, когда его въ первый разъ привезли на нашу главную квартиру. Арбатовъ ввелъ его съ особенною торжественностью, въ сопровожденіи всѣхъ насъ, въ ту комнату, гдѣ хранятся всѣ наши атрибуты. У насъ, братецъ, все это устроено чудо какъ! Въ эту комнату никто ни входитъ, кромѣ посвященныхъ или посвящаемыхъ. Тамъ, на возвышеніи, лежитъ шлемъ изъ «Возстанія въ Селалѣ» и башмакъ Тальйони, который былъ на ея ногѣ въ первое

представленіе, когда она танцовала на петербургской сценѣ. На столѣ передъ возвышеніемъ рядъ башмаковъ всѣхъ извѣстныхъ нашихъ танцовщицъ, книга съ нашими постановленіями, въ великолѣпномъ переплетѣ, и другая книга, въ которой внесены именины и рожденія всѣхъ танцовщицъ, имена всѣхъ бывшихъ и настоящихъ театраловъ и всѣ важныя событія, случавшіяся въ различные періоды театральства; по сторонамъ двѣ доски на треножникѣ: одна—красная, на которой записаны имена всѣхъ нашихъ, тѣхъ, которыя отвѣчаютъ намъ; другая—черная, и на ней имена нашихъ враговъ, тѣхъ, которымъ мы шикаемъ. Старика подвели къ возвышенію, надѣли ему на голову шлемъ, заставили поцѣловать башмакъ Тальйони. Онъ поклялся быть неизмѣнно вѣрнымъ всѣмъ правиламъ театральства, никогда не нарушать ихъ, во всемъ помогать товарищамъ, и проч., и когда онъ говорилъ это, голосъ его дрожалъ и на глазахъ его показались слезы. Броницынъ, глядя на него, язвительно улыбался, подтрунивалъ надъ нимъ и называлъ его шутомъ. У Броницына, между нами, нѣтъ сердца. Я съ нимъ чуть не поругался за это. На меня эта сцена подѣйствовала совсѣмъ иначе: меня это тронуло. Повѣришь ли, я полюбилъ послѣ этого старика. Теперь его и узнать нельзя: онъ такъ измѣнился — о скупости и помину нѣтъ, онъ ведетъ себя молодцомъ, такъ держитъ тебя, что чудо, и насчетъ подарковъ никому, братецъ, изъ насъ не уступаетъ. Сначала, покуда онъ ограничивался стишками и конфетами, всѣ театральные подшучивали надъ Капыловой. «Славнаго, Наталья Ивановна,—говорили они ей,—подтибрили вы себѣ обожателя!» И ей было какъ-то неловко и совѣстно; ну, а теперь, я тебѣ скажу, какъ увидали на ней тысячный салопъ да браслеты съ изумрудами и яхонтами, да ея карету, которая подкатила къ подъѣзду послѣ репетиціи, такъ всѣ прикусили язычки. И она стала смотрѣть не такъ, да и на нее стали смотрѣть иначе.. Старикъ души въ ней не чаетъ. «Я,—говоритъ,—теперь только начинаю жить; я,—говоритъ,—теперь только понялъ, что такое любовь». Разумѣется, онъ отчасти смѣшонъ, коли ты хочешь; но какъ бы то ни

было, а это доказываетъ, что въ немъ есть жизнь, что въ немъ не совсѣмъ очерствѣло сердце, что онъ способенъ еще понимать изящное, и все это, однако, замѣть, пробудило въ немъ театральство! Арбатовъ отъ него въ восторгѣ: онъ не нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынѣшней зимой устроитъ у нея танцовальные вечера, куда будутъ съѣзжаться всѣ балетныя и, разумѣется, *наши*, послѣ выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартирѣ непремѣнно ужъ разъ въ недѣлю послѣ балета, и старичокъ всегда съ нами: мы къ нему привыкли, безъ него какъ-будто чего-то недостаетъ. На этихъ сходкахъ у насъ—это ужъ такъ положено—всѣ должны только говорить о театрѣ и о томъ, что касается до театра; если же кто заговоритъ о чемъ-нибудь постороннемъ, съ того берется штрафъ.—И, вообрази, нашъ старикъ еще ни разу не заплатилъ штрафа! Онъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ строгихъ блюстителей нашихъ порядковъ. По-моему, такъ его просто нельзя не уважать!

Затѣмъ Летищевъ перешелъ къ своей Катѣ, передавалъ мнѣ слова, которыя она бросала ему на лету, восторгался отъ ея ума, красоты, повторялъ, какъ онъ ее любитъ, и фантазировалъ о будущемъ

Онъ привозилъ ко мнѣ различныя покупки, развертывалъ передо мною куски бархатовъ и шелковыхъ матерій, вынималъ изъ кармановъ сафьянныя коробки съ часами, брошками и браслетами, приставая ко мнѣ съ вопросами: «Не правда ли, это хорошо?.. Не правда ли, это съ большимъ вкусомъ?.. Какъ ты думаешь, что это стоитъ?..» и прибавлялъ къ этому, что его подарки лучше подарковъ Броницына, и что ужъ у него такой характеръ, что онъ никому и не въ чемъ не позволитъ себя перещеголять.

Онъ объявилъ мнѣ, между прочимъ, что Катя переѣзжаетъ къ своей старшей сестрѣ; что онъ для того, чтобы жить съ Катей въ одной улицѣ, перемѣняетъ свою квартиру; что отыскать квартиру въ ея улицѣ стоило ему величайшихъ усилій; что онъ уговорилъ хозяина дома выжить какого-то жильца, заплатилъ за три скверныя комнаты, которыя занималъ этотъ жилецъ, тысячу пять сотъ рублей впередъ;

что онъ отдѣлываетъ ихъ совершенно заново; что все это обойдется ему въ двадцать тысячъ; что онъ хочетъ, чтобы ни у кого изъ театральныхъ не было такихъ платьевъ, шляпокъ, браслетовъ и прочаго, какъ у его Кати. При этомъ онъ прыгалъ, хохоталъ, пѣлъ, обнималъ меня, цѣловалъ и жалъ мнѣ руки. Послѣ этихъ неистовствъ, онъ стихалъ на минуту, прохаживался по комнатѣ и спрашивалъ меня:

— Ты мнѣ другъ? скажи—другъ? Ты, братецъ, понимаешь меня, не правда ли?

Я, по обыкновенію, молча кивалъ головою

— Отъ тебя я ужъ не могу скрывать ничего; только, Бога ради, это между нами: ты единственный человѣкъ, которому я это показываю.

И онъ, притворяя дверь, вынималъ изъ кармана письма къ нему Кати и читалъ ихъ. (Впослѣдствіи я узналъ, что вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти письма.)

— Я даже еще Арбатову не показывалъ этого письма,— замѣчалъ онъ каждый разъ:—даже Арбатову! понимаешь?..

Въ этихъ письмахъ Торкачева очень наивно и довольно безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по крайней мѣрѣ, мнѣ казалось тогда, были проникнуты теплотою, обнаруживавшею сквозь безграмотныя и смѣшныя фразы неподдѣльное чувство.

Окончивъ чтеніе, онъ подносилъ обыкновенно эти письма къ моимъ глазамъ, потомъ складывалъ ихъ, цѣловалъ и пряталъ въ карманъ.

— Это драгоцѣнности,—говорилъ онъ,—съ которыми я никогда не разстанусь. Ихъ положатъ въ гробъ со мною. Видишь ли, какъ она меня любитъ! Не правда ли, каждое слово дышитъ любовью?

— Да,—возражалъ я,—такая любовь пріятна, но разорительна.

Летищевъ хмурился.

— Какъ тебѣ не стыдно! — кричалъ онъ, — денежные расчеты,—какая гадость! Фи!.. Я не стоилъ бы ея, если бы разсчитывалъ, какъ лавочникъ, поэкономнѣй да подешевле. Я

не могъ бы перенести, если бы она была устроена бѣднѣе Пряхиной: мнѣ стыдно было бы тогда взглянуть въ глаза Броницыну.. Что дѣлать! Noblesse oblige, mon cher.. Конечно, я не въ состоянии бросать столько денегъ, сколько Броницынъ, тягаться за нимъ; но не могу же я и уступить ему. Мои дѣла немного запутаются,—я не скрываю этого. Мнѣ будетъ немножко тяжело... Ну, а дядя-то? Мнѣ зврятъ наконецъ. Я имѣю кредитъ. Да здравствуетъ кредитъ! Съ кредитомъ можно жить отлично.

Послѣ такихъ разсужденій Летищевъ насвистывалъ обыкновенно аріи изъ «Бронзоваго Коня», напѣвалъ вальсы и подъ свои звуки одинъ кружился по комнатѣ.

Онъ былъ въ восторгѣ отъ своей новой квартиры: окна его кабинета выходили прямо противъ оконъ комнаты Кати Показывая мнѣ на эти окна, онъ говорилъ:

— Ты понимаешь, я могу теперь видѣть отсюда все, что она будетъ дѣлать; она можетъ видѣть все, что дѣлается у меня. Я вооружился телескопами, зрительными трубами..

Дней черезъ десять послѣ этого онъ заѣхалъ ко мнѣ и говоритъ мнѣ:

— Ну, братецъ, я плаваю въ морѣ блаженства! Я былъ у нихъ. Сестра приняла меня отлично, а Катя—съ какимъ восторгомъ она меня встрѣтила, если бы ты видѣлъ! Какая перестрѣлка у насъ пошла черезъ улицу, часовъ по пяти сряду каждый день. Я подарилъ сестрѣ турецкую шаль Ахъ. Катя, Катя!.. Ты непремѣнно долженъ видѣть ее; я тебѣ покажу ее.. ѣдемъ ко мнѣ...

Онъ привезъ меня къ себѣ.

— Она не должна подозрѣвать,—сказалъ онъ,—что у меня кто-нибудь есть: иначе все пропало, и мы ее не увидимъ Становись у окна за этотъ занавѣсъ и смотри въ щелку, вотъ въ это пространство. Ты увидишь все, а тебя оттуда никто не увидитъ.

Я повиновался безмолвно, потому что мнѣ любопытно было посмотрѣть на эти продѣлки.

Летищевъ отворилъ окно, у занавѣса котораго я притаился, наставилъ свою зрительную трубу и припалъ къ

ней глазомъ. День былъ весенній, ясный и теплый. Окно Катиной комнаты было уставлено цвѣтами. Минуту спустя, черезъ зелень этихъ цвѣтовъ протянулась ручка: ея окно также отворилось, и въ этомъ окнѣ, между фіолями и розами, показалась прелестная женская головка съ темнокаштановыми густыми волосами, съ тонкими и необыкновенно привлекательными чертами лица, съ нѣсколько приподнятымъ кверху носикомъ и съ продолговатыми, синими глазками. Я въ первый разъ видѣлъ ее такъ близко Она показалась мнѣ въ эти минуты несравненно лучше, чѣмъ на сценѣ, несмотря на то, что лицо ея имѣло блѣдножелтоватый колоритъ, что, впрочемъ, нисколько не портило ее; румянецъ менѣе бы шелъ къ этому лицу. Когда Летищевъ пересталъ смотрѣть въ свою трубу, она впилась своими синими, нѣсколько туманными глазками въ лоснившееся, полное и румяное лицо моего пріятеля, кивнула ему дружески головкой и вся просіяла улыбкой любви, довѣрія и счастія. Затѣмъ между ними начались какіе-то непонятные для меня переговоры руками. Когда все это кончилось и я отошелъ отъ занавѣси, Летищевъ обратился ко мнѣ:

— Что, братъ, какова?—спросилъ онъ.

— Прелесть! я поздравляю тебя,—отвѣчалъ я,—ты счастливецъ!

Въ эту минуту я нешутя завидовалъ Летищеву, и мнѣ было какъ-то досадно смотрѣть на него: мнѣ показалось, что онъ не въ состояніи любить ее, что онъ вовсе не любитъ ее, и что имъ движутъ одна суетность, одно тщеславіе. Я не утерпѣлъ и замѣтилъ ему это. Замѣчанія мои, довольно рѣзкія, не произвели на него впечатлѣнія; онъ улыбался очень пріятно. Самолюбіе его было удовлетворено тѣмъ, что я съ такимъ жаромъ относился о Катѣ. Отъ него, вѣроятно, не скрылось, что я немного завидовалъ ему.

— А не правда ли, счастливецъ?—говорилъ онъ, потирая руки и смѣясь,—и какую чепуху ты несешь, что я не могу любить! Съ чего ты это взялъ? Ну, клянусь тебѣ, что я люблю ее больше всего на свѣтѣ и готовъ всѣмъ пожертвовать для нея!..

Первый мѣсяцъ прошелъ и для нея, и для Летищева въ чаду, въ упоительномъ одуреніи. Онъ показывалъ ей себя ежедневно со всѣхъ сторонъ и во всевозможныхъ видахъ: верхомъ, въ ботфортахъ и въ каскѣ, въ коляскѣ, на рысакахъ, съ развѣвавшимся султаномъ, въ дрожкахъ въ одиночку и парой съ пристяжкой; въ окнѣ въ фантастическомъ домашнемъ костюмѣ. Она только и дѣлала дома, что подбѣгала къ окну любоваться имъ, а отъ окна переходила къ его подаркамъ—любоваться ими. Она была засыпана букетами и конфетами, завалена бархатами, шелками, различными тканями и драгоцѣнными украшеніями. Ей было такъ весело! Она была вполнѣ увѣрена, глядя на все это и слушая самыя страстныя фразы, что она любима такъ, какъ ни одна женщина не была никогда любима; что этой любви, этимъ букетамъ, этимъ тканямъ, этимъ драгоцѣнностямъ, всѣмъ этимъ сюрпризамъ не будетъ конца... А ко всему этому сестрица, также театральная дѣвица, извѣданная опытомъ жизни, безпрестанно нашептывала ей:

— Какъ онъ хорошъ! чудо! какой душка! какъ онъ богатъ и какой у него дядя—милліонеръ!.. Какіе у него рысаки!.. ахъ, какіе рысаки! Какъ онъ тебя обожаетъ!.. Счастливица, Катя! ты въ сорочкѣ родилась!.. Онъ на тебѣ непремѣнно женится!.. Онамедни цѣлуетъ мою руку и говоритъ: «вѣдь вы сестрица моя? я васъ не иначе буду звать, какъ сестрицей, какъ хотите, говоритъ, сестрица...» Ты будешь, Катя, дворянкой, заживешь въ чертогахъ, станешь выѣзжать въ самые знатные дома, давать у себя балы! Ай да сестричка моя!..

И она ухаживала за Катей, льстила ей, цѣловала руки, называла красавицей и при этомъ выпрашивала у нея различныя вещи.

— Вотъ это матерія-то, сестрица, попроще,—говорила она,—ты бы ее, голубчикъ, мнѣ подарила. У тебя и безъ того платьевъ будетъ столько, что некуда дѣвать... Всѣ комоды ломятся отъ подарковъ...

Катя, впрочемъ, готова была, говорятъ, все отдать сестрѣ и раздарить подругамъ, и только мысль, что это *его* подарки, удерживала ее отъ этого.

Между тѣмъ проходили мѣсяцы за мѣсяцами. Летищевъ становился какъ-то задумчивѣе. О немъ начинали носиться недобрые слухи; ко мнѣ онъ почти перестал ѣздить. Я гдѣ-то встрѣтился съ Броницынымъ. Броницынъ, скрывавшій страшную гордость подъ утонченною вѣжливостью съ своими старыми товарищами, съ которыми онъ встрѣчался рѣдко, обратился ко мнѣ первый.

— Что Летищевъ?—спросилъ я у него.

При этомъ имени на лицѣ Броницына показалась холодная и язвительная гримаса, замѣнявшая у него улыбку.

— Летищевъ?—повторилъ онъ.—Онъ ищетъ ста тысячъ, которыя ему очень нужны. Онъ у васъ еще не просилъ?.. Ему повѣрить можно: вѣдь онъ наслѣдникъ такого богатаго дяди! Если онъ не найдетъ ста тысячъ, то ему придется жениться. Я совѣтую ему жениться. Онъ будетъ отличный мужъ, право: у него нѣжное сердце!

— Какъ, жениться? на комъ?—спросилъ я.

— На предметѣ своей любви. Что жъ? это будетъ бракъ по страсти. Я люблю такіе браки, тѣмъ болѣе, что въ наше время они рѣдки. Оно, конечно, непріятно породниться съ какимъ-нибудь поваромъ или съ какой-нибудь дворничихой, да зато, батюшка,—любовь.

Броницынъ снова улыбнулся и разсказалъ мнѣ съ особеннымъ удовольствіемъ и очень подробно всѣ отношенія Летищева къ Торкачевой. По его словамъ, у нея оказалась какая-то тетка, которая объявила Летищеву наотрѣзъ, что если онъ желаетъ свободно видѣться съ ея племянницей, то обязанъ, или обезпечить ея участь, или жениться на ней, что въ противномъ случаѣ тетка будетъ на него жаловаться; что между теткой и племянницей происходятъ всякій день сцены; что старшая сестра Торкачевой перешла на сторону тетки и прочее.

Разсказъ Броницына скоро подтвердился словами самого Летищева. Однажды вечеромъ онъ пріѣхалъ ко мнѣ (я передъ этимъ не видалъ его мѣсяца два) въ страшномъ волненіи.

— Я къ тебѣ, братецъ, за совѣтомъ,—сказалъ онъ,—въ

тебѣ я найду участіе, въ этомъ я увѣренъ; послѣ князя Арбатова я тебя считаю лучшимъ другомъ... Отъ другихъ нечего ждать: всѣ такіе эгоисты, что ужасъ; а Броницынъ—entre nous soit dit—совсѣмъ бездушное существо: онъ хочетъ, кажется, отдѣлаться отъ Пряхиной,—ужъ я вижу, что къ тому идетъ. Онъ говоритъ, что у нея большія, красныя руки, а для него, видишь, руки главное въ женщинѣ... Онъ ужъ тайкомъ заводитъ перестрѣлку съ Прохоровой, у которой ручки выточены точно изъ слоновой кости... Это просто гадко, нечестно!.. Арбатовъ по этому случаю въ довольно холодныхъ отношеніяхъ съ нимъ.. И если бы ты зналъ, какимъ скаредомъ оказывается Броницынъ! разсчитываетъ каждую копейку при своемъ богатствѣ... Да будь у меня такое состояніе, какъ у него, я еще, братецъ, не такъ бы показалъ себя. Обо мнѣ осталась бы страничка въ театральныхъ лѣтописяхъ! Ахъ, кабы мнѣ его деньги!

Летищевъ передалъ мнѣ о теткѣ Торкачевой почти то же, что Броницынъ, и остановился на минуту въ отчаяніи, схватилъ себя за голову, бросился на диванъ, ломая себѣ руки, и потомъ продолжалъ:

— Этотъ аспидъ, эта подлая кухарка переѣхала къ нимъ. Она сторожитъ ее, не позволяетъ ей видѣться со мною, всячески терзаетъ, притѣсняетъ ее, пилитъ, мучитъ, не позволяетъ ей даже подходить къ окну... Ну, откуда же мнѣ вдругъ взять сто тысячъ, согласись? Я предлагалъ вексель. Арбатовъ ходилъ къ старушонкѣ, уговаривалъ, усовѣщевалъ ее—ничего не беретъ; слышать, проклятая, не хочетъ, подавай ей или деньги, или ломбардные билеты.... то-есть у меня просто голова, братецъ, трещитъ, я не знаю, что дѣлать! Я съ удовольствіемъ бы далъ заемное письмо въ 200,000, если бы кто-нибудь далъ мнѣ теперь сто... Мнѣ остается одинъ выходъ, если я не достану—жениться, потому что не могу же я оставаться въ такомъ глупомъ положеніи, по мѣсяцамъ не видать Катю и знать, что ее мучатъ—это ужасно! Я вчера съ Арбатовымъ имѣлъ серьезное объясненіе. Онъ говоритъ, что дѣлать нечего—надо выйти въ отставку и жениться... Что ты мнѣ скажешь на это?..

Летищевъ не безъ труда произнесъ послѣднія слова и съ безпокойствомъ взглянулъ на меня.

— Ты самъ,—отвѣчалъ я,—можешь это рѣшить лучше, нежели кто-нибудь. Если ты ее точно любишь, если не увлекаешься подражаніемъ или чѣмъ-нибудь другимъ, то женись; а иначе лучше поступи откровенно, разомъ прерви все и уѣзжай на время изъ Петербурга.

— Какое предложеніе!—возразилъ Летищевъ, нѣсколько оскорбленный этимъ словомъ.—Я просто безъ нея пропалъ. Но дѣло не въ томъ: въ себѣ я не сомнѣваюсь... а тутъ другое... Будь она одна на свѣтѣ, безъ роду, безъ племени, безъ всякихъ этакихъ тетокъ, сестеръ, тогда бы я не задумался ни на минуту: а то... породниться чортъ знаетъ съ кѣмъ! Конечно, если бы я женился, я не пустилъ бы этихъ сестеръ и тетокъ на порогъ моего дома... Но все какъ-то неловко... Согласись, вѣдь я ношу старинное дворянское имя, мой дядя—ты знаешь, какую роль играетъ, къ тому же онъ лишитъ меня наслѣдства—вотъ вѣдь что! Я знаю, напримѣръ, что Арбатовъ или ты, если я женюсь, будете уважать мою жену такъ же, какъ если бы она была урожденная какая-нибудь княжна: вы люди порядочные, безъ предразсудковъ; я отъ этого ничего не потеряю въ вашихъ глазахъ.... Ну, а что скажутъ какіе-нибудь Красносельскіе, Бронницыны и имъ подобные? какими глазами они будутъ смотрѣть на меня?.. Послушай, если бы ты былъ на моемъ мѣстѣ, скажи только откровенно, если бы ты любилъ, ты женился бы?

— Я думаю...

— Ты думаешь?.. Гм!..

Онъ началъ прохаживаться по комнатѣ.

— Я думаю тоже... да оно какъ-то... человѣкъ преглупо устроенъ... Ахъ, я забылъ показать ея письмо... Я получилъ его вчера. Вотъ оно... читай...

Я прочелъ:

«Господи, если бы ты зналъ, что со мной дѣлается, я просто сойду съ ума, значитъ ты меня не любишь, если ты такъ долго можешь со мной не видаться, а это зависитъ

отъ тебя, рѣши мою участь, тетенька говоритъ, что если ты дашь слово что женишься на мнѣ то можешь пріѣхать къ намъ хоть сегодня, она всю измучила меня говоритъ что ты меня обманывалъ и никогда не любилъ что она мнѣ желаетъ добра—если ты черезъ три дня не пріѣдешь къ намъ значитъ ты меня не любишь и я несчастная. тогда все кончено и я возвращу тебѣ всѣ твои подарки и ужъ никогда не увидимся съ тобою—что будетъ сомной я не знаю, Богъ тебѣ судья, а я безъ тебя жить немогу. нѣтъ нельзя намъ такъ разстаться я дольше терпѣть немогу. все сердце изныло. Одинъ бы какой-нибудь конецъ—мнѣ не нужно твоихъ подарковъ и денегъ я люблю тебя не изъ за этого Богъ свидѣтель, что я брошу все не посмотрю нинакого. и прибѣгу къ тебѣ если ты меня не обманывалъ и точно любишь—дѣлай со мной что хочешь у меня есть свой характеръ, и я никого не послушаю только люби меня, мнѣ ничего ненужно—не томи меня больше».

«Твоя до гроба

Катя Торкачева».

— Ну что?—спросилъ Легищевъ, когда я отдалъ ему письмо.

— Она тебя любитъ, это видно.

— А я не люблю ее, что ли? Вотъ я докажу же тебѣ. Ты увидишь... слушай... ѣдемъ сейчасъ ужинать къ Фельету; заѣдемъ за Арбатовымъ, возьмемъ его съ собою. И тамъ порѣшитъ все. Такъ и быть: пропадай все—и дяди и тетки, кузины, и весь свѣтъ, со всѣми его глупостями и предразсудками! Катя будетъ моею, на зло всѣмъ имъ.

И Летищевъ снова просіялъ при этой мысли, началъ танцовать, напѣвать и прыгать.

— Ну, ѣдемъ! Одѣвайся.

Когда мы сходили съ лѣстницы, онъ взглянулъ на меня, улыбаясь.

— Такъ ты во мнѣ сомнѣваешься?—и запѣлъ изъ Роберта: «Обидное сомнѣнье!»

Мы ужинали втроемъ. Послѣ трехъ бутылокъ Летищевъ, съ разгорѣвшимися щеками и сверкающими глазами, всталъ со своего стула и, обратясь къ Арбатову, произнесъ торжественно, съ замѣтнымъ, впрочемъ, волненіемъ въ голосѣ:

— Князь! сегодня рѣшительный день въ моей жизни! Я долго думалъ... выносить моего положенія въ отношеніи Кати я не могу больше. Я женюсь на ней, потому что безъ нея существовать не могу. Я подаю въ отставку, устрою мои дѣла и черезъ три мѣсяца обвѣнчаюсь. Завтра же ѣду къ ней и объявляю объ этомъ ея сестрѣ и теткѣ. Вы знаете, что безъ вашего совѣта я ничего не дѣлаю. Я васъ считаю своимъ отцомъ и другомъ. Благословите меня, князь!..

Арбатовъ былъ тронутъ до глубины этими словами. Онъ прослезился и бросился обнимать Летищева. Послѣ этихъ объятій Летищевъ закричалъ:

— Вина! вина!

Мы просидѣли у Фельета до разсвѣта.

На другой день онъ отправился къ Торкачевой. Выслушавъ предложеніе Летищева, тетка, сестра и Катя залились слезами отъ восторга, а тетка, въ приливѣ чувствъ, говорятъ, даже поцѣловала его руку. Вечеромъ объ этомъ событіи знали всѣ театральные, до послѣдняго ламповщика. Катя была внѣ себя, убѣдясь, до какой степени Летищевъ ее любитъ. И съ этого дня они были почти неразлучны.

Слухи о томъ, что Летищевъ женится на танцовщицѣ, быстро распространились по всему городу и дошли до графа Каленскаго. За неимѣніемъ болѣе существенныхъ интересовъ, городъ нашелъ себѣ довольно серьезную пищу даже въ этой новости. Графъ Каленскій былъ взбѣшенъ до послѣдней степени. Мысль, что его родственникъ (хотя и дальній) наноситъ такой позоръ своему имени, что онъ сдѣлался городскою сказкою, нанесла страшный ударъ его самолюбію. Онъ написалъ къ Торкачевой письмо, исполненное угрозами и самыми оскорбительными для нея выраженіями и эпитетами, объявлялъ, что, покуда живъ, не допуститъ такого позора и не остановится ни передъ какими мѣрами, чтобы образумить безумнаго молодого человѣка; прибавлялъ ко

всему этому, что Летищевъ ничего не имѣетъ, что онъ нищій, что до него дошли вѣсти, будто онъ распускаетъ ложные слухи, что онъ его наслѣдникъ, для поддержанія своего кредита, тогда какъ всѣмъ извѣстно, что его прямые наслѣдники такіе-то, и что даже если бы онъ и имѣлъ намѣреніе оставить ему что-нибудь послѣ своей смерти, то гнусное поведеніе и поступки Летищева уничтожили бы это намѣреніе и проч., и проч

Письмо это было доставлено домашнимъ секретаремъ графа въ собственныя руки Торкачевой.

Катя прочитала его, вскрикнула и покатилась на полъ. Летищевъ явился къ ней черезъ полчаса послѣ этого, блѣдный, разстроенный. Онъ зналъ обо всемъ, потому что самъ получилъ письмо отъ дяденьки, въ которомъ между прочимъ было упомянуто, что вмѣстѣ съ нимъ послано имъ письмо и къ его *сообщницѣ*.

Когда онъ вошелъ къ ней въ комнату, Катя сидѣла блѣдная, какъ полотно, со взглядомъ, безсмысленно устремленнымъ на одну точку, и съ письмомъ, судорожно сжатымъ въ рукѣ. Услышавъ его шаги, она вздрогнула, взглянула на него и молча протянула руку съ письмомъ.

Летищевъ взялъ у нея письмо, разорвалъ его съ негодованіемъ на мелкіе кусочки, бросился передъ нею на колѣни, началъ цѣловать ея руки, успокаивать ее, клясться ей въ любви, плакать, увѣрять, что дядя ничего не можетъ сдѣлать, что ему наслѣдства дяди не нужно, что ему надо только устроить немного свои дѣла, что, послѣ уплаты кое-какихъ долговъ, у него останется еще довольно и что они могутъ жить вмѣстѣ спокойно и безпечно.

Катя выслушала его и сказала:

— Я вѣрю тебѣ, Коля! Я только боюсь твоего дяди; а мнѣ все равно, хотя бы у тебя ничего не было. Теперь все кончено: я твоя... Ты не бросишь же меня, голубчикъ Коля! только кончай поскорѣй. Мнѣ что-то страшно.

Летищевъ снова принялся ласкаться къ ней и успокоивать ее, сестру и тетку, клясться Катѣ въ любви, бить себя въ грудь, кричать: «Тебя никто не отниметъ у меня, никто!»

И Катя повеселѣла. Она улыбалась ему, обнимала его и цѣловала.

— Мы поѣдемъ въ деревню къ тебѣ. Тамъ ужъ нечего будетъ бояться твоего дяди: онъ будетъ далеко... У тебя есть, Коля, оранжереи съ цвѣтами?..

— Превосходныя!—перебилъ Летищевъ:—такихъ камелій нѣтъ и въ Петербургѣ.

— Ну и прекрасно! Я лѣтомъ приглашу къ себѣ Пряхину и Каростицкую... вѣдь можно? Ты позволишь?..

— Еще бы!..

Летищевъ продолжалъ ѣздить къ Катѣ всякій день. Собственные рысаки его и экипажи, впрочемъ, исчезли; вмѣсто нихъ появились ямскія лошади и коляска довольно плохая. Онъ съ каждымъ днемъ становился все мрачнѣе и мрачнѣе. Она спрашивала его:

— Коля, да что съ тобой? скажи.

— Какой вздоръ! ничего. Это тебѣ такъ кажется,—отвѣчалъ онъ.

А дѣло-то было, въ самомъ дѣлѣ. плохо. Всѣ заемныя письма, данныя Летищевымъ, были поданы ко взысканію ростовщиками въ тотъ самый день, какъ онъ получилъ отставку. Когда Катя въ первый разъ увидѣла его въ статскомъ платьѣ, это ее нѣсколько опечалило. «Фи! какъ это нехорошо—безъ эполетъ и султана!» сказала она. Но она примиралась съ этою перемѣною при мысли, что дѣла ихъ идутъ къ развязкѣ.

Прошло послѣ этого два дня, и Летищевъ не показывался Это ее встревожило, и на третій день она послала къ нему письмо. Горничная, относившая письмо, возвратилась съ письмомъ назадъ и. какъ полоумная, вбѣжала къ Катѣ.

— Ахъ! барышня, барышня!—закричала она:—вѣдь они уѣхали совсѣмъ отсюда!

— Какъ! кто уѣхалъ? куда? Что ты врешь!..

Въ домѣ поднялась суматоха. Тетка и сестра подняли крики, сами побѣжали къ нему на квартиру. Квартира была заперта. Онѣ бросились съ ругательствомъ къ Катѣ. Катя твердила одно: «Не можетъ быть, онъ не уѣхалъ, вздоръ!»

Она не хотѣла этому вѣрить. Прошла недѣля. Оказалось, что дѣйствительно Летищевъ бѣжалъ изъ Петербурга отъ долговъ. Что было съ Катей, когда она удостовѣрилась въ этомъ, я не знаю; только, говорятъ, послѣ страшной сцены съ теткой и сестрой, она отослала всѣ подарки Летищева къ его дядѣ, несмотря на всѣ ихъ сопротивленія. Графъ возвратилъ ей эти вещи, при очень вѣжливомъ письмѣ, въ которомъ умолялъ ее, чтобы она не печалилась о его негодяѣ-родственникѣ, что онъ принимаетъ въ ней искреннее участіе, что отъ нея зависитъ жить въ богатствѣ и счастіи и что онъ за высочайшее для себя наслажденіе почтетъ удовлетворять всѣ ея малѣйшія желанія и прихоти, и проч.

Катя прочла это письмо и вмѣстѣ съ возвращенными вещами бросила ихъ въ физіономію его домашняго секретаря, который уже смотрѣлъ на нее съ подобострастіемъ.

Съ этихъ поръ Катѣ, говорятъ, не было житья ни отъ тетки, ни отъ сестры. Подруги ея, жившія въ богатствѣ и спокойствіи на содержаніи, прекратили съ ней всякія сношенія, какъ съ безнравственной дѣвушкой. Катя слегла въ постель, потомъ немного поправилась; потомъ ей сдѣлалось хуже, и черезъ три мѣсяца она умерла въ чахоткѣ.

Если бы, при своей пустотѣ и легкомысліи, она не имѣла любящаго сердца, она вѣрно осталась бы жива, была бы спокойна, счастлива, весела: она, подобно своимъ подругамъ, съ самодовольствомъ и гордостью до сихъ поръ порхала бы по сценѣ, встрѣчаемая восторженными рукоплесканіями своихъ обожателей, принимая эти рукоплесканія за должную дань своему таланту; она, подобно имъ, живописно развалясь въ коляскѣ, летала бы по петербургскимъ улицамъ; она, подобно имъ, могла бы пріобрѣсти дома, капиталы или выйти замужъ за какого-нибудь статскаго полковника и на склонѣ дней своихъ, если бы Богъ благословилъ ее дѣтьми, увидѣть еще ихъ, пожалуй, въ блестящихъ мундирахъ.

Но Катѣ не суждено было этого: вся бѣда ея заключалась въ любящемъ сердцѣ!..

Мнѣ сказывали—за вѣрность этого я не ручаюсь—что Ле-

тищевъ отказался отъ бóльшей части своихъ векселей, отзываясь тѣмъ, что они подписаны были имъ до его совершеннолѣтія: что онъ написалъ письмо къ дядѣ и, раскаиваясь въ своемъ прошедшемъ, умолялъ спасти его, избавить отъ тюрьмы, отъ позора и уплатить за него по тѣмъ векселямъ, которые онъ далъ, будучи уже совершеннолѣтнимъ; что великодушный дядя, тронутый его раскаяніемъ и покорностью, пригрозивъ сначала ростовщикамъ, уплатилъ по этимъ векселямъ по 20 коп. за рубль и что Летищеву осталась одна маленькая деревенька, въ которой онъ скрылся отъ всѣхъ треволненій.

Арбатовъ долго безъ ужаса не могъ говорить о немъ. «Такого пятна,—говорилъ онъ и весь трясся отъ волненія,—какое нанесъ Летищевъ театраламъ, еще въ лѣтописяхъ нашихъ не было примѣра. Это ужасно!»

По его настоянію, имя Летищева было исключено изъ лѣтописи театраловъ, и до сихъ поръ ни одинъ театралъ не произноситъ этого имени безъ благороднаго негодованія.

ГЛАВА III.

ЗРѢЛЫЙ ВОЗРАСТЪ

Послѣ бѣгства изъ Петербурга Летищева и смерти Кати Торкачевой прошло нѣсколько лѣтъ. Графъ Каленскій умеръ, оставивъ свое имѣніе прямымъ своимъ наслѣдникамъ, съ обязательствомъ выплатить, между прочимъ, французской артисткѣ Кларѣ Бовалонъ единовременно двадцать пять тысячъ серебромъ и Летищеву, также единовременно, десять тысячъ; «ибо (такъ сказано было въ духовномъ завѣщаніи касательно Летищева) еще при жизни моей уплачены были мною значительныя суммы по его заемнымъ письмамъ, снисходя его молодости и легкомысленнымъ поступкамъ, что составитъ, съ нынѣ завѣщаемыми мною десятью тысячами рублей, такой капиталъ, который могъ бы обезпечить жизнь человѣка скромнаго и нравственнаго, дорожащаго именемъ сво-

ихъ предковъ и честью; слѣдовательно, въ отношеніи сего свойственника моего я все сдѣлалъ, что повелѣвала совѣсть...»

Князь Арбатовъ, доставшій эту выписку изъ духовнаго завѣщанія, показывалъ ее всѣмъ своимъ знакомымъ и прибавлялъ:

— Почтенный старикъ и въ могилу-то сошелъ преждевременно, по милости этого пустого мальчишки. Когда старику сказали, что имя Летищева выставлено на черной доскѣ въ нашей главной квартирѣ и вымарано изъ книги театраловъ, онъ поблѣднѣлъ и едва, говорятъ, устоялъ на ногахъ!..

Новыя поколѣнія театраловъ смѣнялись одно за другимъ. О Летищевѣ никто бы и не подозрѣвалъ изъ этихъ господъ, если бъ не князь Арбатовъ, который, въ поученіе новичкамъ, считалъ священнымъ долгомъ передавать каждому его исторію съ Катей Торкачевой, и при этомъ, описывая красоту Кати, всякій разъ растрогивался до слезъ. Однако, въ послѣднія минуты, какъ истинный христіанинъ, прощая враговъ своихъ, онъ простилъ, говорятъ, между прочимъ, и Летищева...

Я рѣшительно забылъ о существованіи Летищева: въ театры я ѣздилъ рѣдко, съ княземъ Арбатовымъ почти не встрѣчался, и ничто окружавшее меня не могло напомнить мнѣ ни о театральствѣ вообще, ни о моемъ старомъ товарищѣ въ особенности,—какъ вдругъ однажды я получаю письмо, распечатываю, почеркъ какъ будто знакомъ, смотрю на подпись: Летищевъ. Письмо было довольно длинно, и я приступилъ къ чтенію его не безъ любопытства.

Вотъ оно, слово въ слово:

«Старый товарищъ и любезный другъ! Я увѣренъ, что ты не совсѣмъ забылъ обо мнѣ въ шумныхъ удовольствіяхъ столицы. Я, по крайней мѣрѣ, очень помню о тебѣ, потому что всегда любилъ тебя искренно. Сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы растались! Стыдно тебѣ, что ты не написалъ мнѣ ни одной строки о себѣ. Вы, люди столичные, ужасные эгоисты, а мы, провинціалы, не таковы. Я тебѣ разскажу о моей прошедшей жизни и сообщу тебѣ мою настоя-

щую радость, которую, вѣрно, ты раздѣлишь, по старой памяти ко мнѣ. Живу я, братецъ, благодаря Бога, недурно, въ довольствѣ, даже въ роскоши (по-нашему, по-провинціальному); но мы во многомъ, можетъ быть, не уступимъ и вамъ, столичнымъ. Имѣніе мое порядочное: я устроилъ его такъ, что въ хорошій годъ получаю до восьми тысячъ серебромъ; къ тому же оно расположено на одномъ изъ самыхъ живописныхъ мѣстъ въ цѣлой губерніи. Я знаю, что ты, какъ поэтъ, пришелъ бы въ восторгъ отъ Никольскаго—моей резиденціи. Окрестности — это просто маленькая Швейцарія. Домъ мой устроенъ со вкусомъ, — ты, вѣрно, отдалъ бы мнѣ справедливость, если бы увидѣлъ его; у меня махровыя розы величиною съ піоны. О такихъ у васъ, въ Петербургѣ, не имѣютъ понятія. Я сдѣлался страшнымъ любителемъ флоры. Словомъ, я здѣсь устроился такъ, какъ нельзя лучше: я перенесъ въ деревню весь столичный комфортъ, безъ котораго, признаться, я не могъ бы нигдѣ жить. На-дняхъ были у меня губернаторъ и предводитель дверянства, съ которыми я очень хорошъ, и вообще меня здѣсь всѣ любятъ. Губернаторъ сказалъ мнѣ: «Признаюсь, ваше Никольское — маленькій рай. Не выѣхалъ бы изъ него». Поваръ у меня отличный, такъ что губернаторъ просилъ меня прислать къ нему своего мальчика въ ученье. Вина я выписываю отъ Депре. Послѣ обѣда мы втроемъ разсѣлись на балконѣ. День былъ чудесный, жаркій. Я велѣлъ подать бутылку редерера, и мы, попивая, наслаждались очаровательнѣйшимъ видомъ. Нѣтъ, братъ, что ни говори, а и деревенская жизнь имѣетъ свои прiятности. Надобно тебѣ сказать, что я выбранъ уѣзднымъ предводителемъ единогласно: ни одного чернаго шара. Это показываетъ тебѣ, какъ расположено ко мнѣ все дворянство. Соперникомъ моимъ былъ нѣкто Расторгуевъ, человѣкъ очень богатый и съ вѣсомъ, нажившійся взятками; однако, его лихо прокатили на черныхъ. У меня, любезный другъ, такое собраніе Vieux Sax'овъ, какому бы позавидовали многіе изъ нашихъ аристократовъ: штукъ до полутораста тончайшихъ. Комнату, въ которой они разставлены на консоляхъ, я назвалъ Саксонской. Жаль только, что здѣсь некому цѣнить

моей коллекціи: всѣ эти помѣщики люди добрые, но страшные невѣжды и не умѣютъ отличить саксовъ отъ мальцовскихъ фарфоровыхъ издѣлій... чортъ знаетъ, что за народъ! Отгадай, кто мой ближайшій сосѣдъ... тебѣ, вѣрно, никакъ не придетъ въ голову... Скуляковъ! помнишь, котораго мы называли въ пансіонѣ *костоломомъ*. У него, въ пяти верстахъ отъ меня, душъ тридцать или сорокъ, онъ одинъ-одинехонекъ, мать его умерла, — все такой же чудакъ. Живетъ въ простой крестьянской избѣ, два сруба сдвинулъ вмѣстѣ — и очень доволенъ, ни къ кому не показывается, но ко мнѣ заглядываетъ частенько: меня любитъ. Я его просилъ переселиться ко мнѣ, соблазнялъ своимъ поваромъ; но онъ отказался. — Вообрази, какъ-то на-дняхъ онъ обѣдалъ у меня: подали трюфели à la serviette (я провизію выписываю изъ Москвы)... онъ попробовалъ и ѣсть не сталъ. «Точно, — говоритъ, — пробки», а трюфели были отличные, французскіе, присланные мнѣ Морелемъ. «Ты, — говоритъ, — извини меня, но я наши русскіе грибы предпочитаю». Я не знаю человѣка, у котораго менѣе былъ бы развитъ вкусъ: квасъ предпочитаетъ лафиту, а трюфелямъ груздямъ! Впрочемъ, малый онъ вышелъ славный и страшный патріотъ. Онъ много читаетъ, даже выписываетъ ваши петербургскіе журналы, несмотря на то, что по его средствамъ это уже роскошь. Онъ философъ, потому что вообще довольствуется малымъ. Что касается до меня, я философіи никогда не понималъ, и меня удивляютъ люди, подобные Скулякову. Можетъ быть, они и счастливы по-своему: но мы, привыкшіе съ дѣтства жить какъ порядочные люди, не въ состояніи, братецъ, понять этого грубаго счастья; намъ — что съ нами будешь дѣлать! — нужны и саксы, и трюфели, и бутылка добраго стараго лафита. Избалованы мы, дружокъ, страшно избалованы!..

«Но я заболтался, а не сказалъ еще тебѣ самаго главнаго — моего счастія, моей радости. При всѣхъ удобствахъ моей деревенской жизни я все-таки страшно скучалъ: въ деревнѣ долго жить одному нѣтъ никакой возможности. Несмотря на то, что валяешься на мягкихъ мебеляхъ, смотришь на хорошія картины (у меня, братецъ, есть, между прочимъ, два

настоящихъ *Перуджино* и одинъ великолѣпный *Грёзъ*), несмотря на то, что ѣшь и пьешь хорошо, а все недостаетъ чего-то... Я началъ это чувствовать особенно сильно въ послѣднее время и понялъ, что въ домѣ безъ хозяйки плохо. Въ верстахъ сорока отъ меня есть село — пятьсотъ душъ и пропасть земли, въ одной межѣ: десятинъ по двѣнадцати на душу; а это въ нашихъ мѣстахъ рѣдкость. Село это именуется Шмелево, Рагузино тожъ. Барскій домъ, каменный, старинный. Крестьяне зажиточные. Проѣзжая чрезъ это имѣніе, я всегда любовался имъ. Я зналъ, что оно принадлежитъ старушкѣ, вдовѣ генералъ-майора Рагузина, которая года два назадъ тому, возвратясь изъ-за границы съ своей единственной дочерью, поселилась тутъ. Я много слышалъ о нихъ отъ нашего губернскаго предводителя и отъ губернатора. Оба они отзывались о матери и въ особенности о дочери съ величайшею похвалою. Предводитель не разъ говоритъ мнѣ, что дочь просто красавица и получила самое утонченное европейское образованіе, и при этомъ всегда потреплетъ меня, бывало, по брюху (а надобно тебѣ сказать, что я пораcтолстѣлъ-таки порядочно на вольномъ воздухѣ) и прибавитъ: «Вотъ бы вамъ, батюшка, невѣста!» Я смѣялся Невѣста да невѣста — такъ она и прослыла моею невѣстою почти въ цѣлой губерніи, хотя мы другъ друга въ глаза не видали. И всякій разъ, когда при мнѣ заговаривали о ней, я чувствовалъ, самъ не знаю отчего, какое-то невольное волненіе, а знакомство все откладывалъ да откладывалъ. Меня останавливала, правду тебѣ сказать, боязнь, чтобы не подумали, что я хочу жениться по расчету. Бракъ по расчету всегда казался мнѣ отвратительнымъ, на такой бракъ я никогда не былъ способенъ... Мѣсяца два тому назадъ, наканунѣ Петра и Павла (приходскій праздникъ въ Шмелевѣ), возвратясь вечеромъ послѣ прогулки домой, я думаю: «а что, не поѣхать ли мнѣ завтра въ шмелевскую церковь къ обѣднѣ?..» Какъ мнѣ пришла эта мысль въ голову, я и до сихъ поръ не могу понять. Всю ночь я грезилъ шмелевской барышней, всталъ рано, да и велѣлъ закладывать лошадей. Подъѣзжая къ Шмелеву, у меня такъ и забилось сердце. Вхожу въ цер-

ковь — всѣ разступились передо мною; я прохожу впередъ и становлюсь у праваго клироса. Помолясь усердно, съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ, такъ, какъ давно не молился, я осмотрѣлся кругомъ. Вижу у лѣваго клироса, на коврѣ, стоятъ мать и дочь. Какъ я взглянулъ на дочь, такъ и обомлѣлъ: всѣ описанія ея оказались жалки и блѣдны, сравнительно съ тѣмъ, что она на самомъ дѣлѣ. Вообрази себѣ въ полномъ смыслѣ красавицу: больше, чѣмъ средняго роста, талія — чудо, волосы какъ смоль и коса ниже колѣнъ, каріе дивные глаза, аристократическій профиль, нѣкоторая блѣдность въ лицѣ. Одѣвается — прелесть! Словомъ, совершенство!.. Чтобы дать тебѣ о ней еще болѣе ясное понятіе, я скажу тебѣ, что она напоминаетъ портреты Маріи - Антуанетты, — только en beau. И какъ она горячо и усердно молилась, если бы ты видѣлъ! Это обстоятельство меня окончательно расположило въ ея пользу. Смотря на нее, молящуюся, я увидѣлъ, что эта дѣвушка получила нравственное, солидное, религіозное воспитаніе, что это именно одна изъ тѣхъ дѣвушекъ, которая можетъ составить счастіе человѣка. Теперь, когда я уже близко знаю ее, я вполнѣ убѣдился въ этомъ. Она добра и кротка, какъ ангелъ. Скуляковъ ее знаетъ, — и даже этотъ мизантропъ отъ нея въ восторгѣ. По рожденію она аристократка. Мать Рагузиной — ближайшая родственница князьямъ Волынцевымъ. Послѣ обѣдни я подошелъ къ старухѣ и самъ представилъ ей себя, а старуха представила меня дочери и пригласила провести этотъ день съ ними. Я, разумѣется, не отказался. Старуха — тоже прелесть, настоящаго стараго аристократическаго закала, съ сѣдыми пуклями подъ чепцомъ. Когда онѣ были въ Парижѣ, къ нимъ ѣздили всѣ сенъ-жерменскія знаменитости, вся старая французская аристократія... Вѣришь ли, съ перваго взгляда на мою Alexandrine я почувствовалъ такую страстную, такую горячую любовь, о какой я до тѣхъ поръ не имѣлъ никакого понятія. Какая-то непреодолимая симпатія вдругъ привлекла меня къ ней. Нельзя не вѣрить сочувствію душъ. Тутъ только я понялъ, что къ Катѣ Торкачевой я никогда не чувствовалъ настоящей любви, что это было мальчишеское увлече-

ніе, что я волочился за нею такъ только, чтобы не отставать отъ другихъ, и вспомнилъ твои слова, за которыя я, бывало, на тебя сердился. Да, ты былъ правъ, тысячу разъ правъ! Мнѣ теперь стыдно и совѣстно вспоминать о моихъ глупостяхъ и продѣлкахъ. А вѣдь Катя меня любила, дѣйствительно любила!.. Бѣдная дѣвушка!.. Въ день ея смерти я аккуратно каждый годъ служу по ней панихиду.

«Съ незабвеннаго для меня дня Петра и Павла я началъ чаще и чаще ѣздить къ Рагузинымъ, и всякій пріѣздъ къ нимъ открывалъ въ Alexandrine какія-нибудь новыя достоинства. Представь себѣ! У нея чистѣйшій парижскій выговоръ и такая ножка, какой никогда и во снѣ не видала ни одна изъ нашихъ танцовщицъ. Всѣ башмаки, которые хранятся въ главной квартирѣ театраловъ, не исключая и башмака Тальйони, ей не годятся даже для туфлей. О, если бы Арбатовъ увидалъ эту ножку, что̀ онъ сказалъ бы!.. Кстати, видаешь ли ты Арбатова, и неужели онъ все еще вооруженъ противъ меня и смотритъ на глупость молодости, какъ на преступленіе?.. Что̀ Бронщынъ? все лѣзетъ въ гору?.. Что̀, онъ все еще живетъ съ Прохоровой или ужъ забылъ о своемъ театральствѣ?.. Напиши обо всемъ... А для меня, братецъ, все это прошедшее кажется теперь чѣмъ-то баснословнымъ, хотя, признаться, если бы я пріѣхалъ въ Петербургъ и отправился въ Большой театръ, то мои старыя театральныя кости, мнѣ кажется, еще расходились бы...

«Но все это глупость, mon cher. Истинное счастіе — счастіе семейное, а Катя никогда не могла бы составить моего счастія, потому что насъ раздѣляла бездна, и мы не могли понимать другъ друга. Рожденіе и воспитаніе много, милый другъ, значатъ... Только одинаково рожденные и воспитанные могутъ чувствовать настоящую симпатію другъ къ другу... И если бы ты зналъ, какъ твоего толстаго пріятеля любитъ его невѣста!..

«Поздравь же меня; я счастливъ, я женюсь, я начинаю, братецъ, гордиться собой и находить, что во мнѣ есть, дѣйствительно, что-нибудь: иначе я не возбуждалъ бы къ себѣ чувства любви. Въ то же время я чувствую, что я не стою

моей Alexandrine: она и умнѣе, и образованнѣе меня во сто разъ... Всю эту вашу литературу и политику знаетъ наизусть. Не смѣйся, ей Богу, правда... Она меня просто удивляетъ. Въ приданое за ней мать отдаетъ Шмелево, пятьсотъ душъ, и, кромѣ того, земли въ Крыму, овцеводство и значительный капиталъ; но я объ этомъ мало забочусь, потому что имѣю свой кусокъ хлѣба и ни на минуту не задумался бы жениться на ней, если бы она ровно ничего не имѣла. Порадуйся же, эгоистъ, счастію твоего стараго товарища. Въ моей женитьбѣ есть какое-то предопредѣленіе свыше; знакомство съ нею въ церкви — это тоже добрый знакъ. Я надняхъ ѣздилъ въ Ипатьевскую пустынь по обѣщанію. Я наложилъ на себя этотъ обѣтъ заранѣе, если все счастливо кончится. Бесѣдовалъ съ игуменомъ. Онъ и меня, и ее давно знаетъ, поздравлялъ меня и сказалъ, что Богъ благословитъ нашъ бракъ, потому что «ваша невѣста (это его собственныя слова) богобоязливая и прибѣжная къ церкви...» И это, дѣйствительно, справедливо. Ахъ, какъ она молится, если бы ты видѣлъ!.. Теперь у меня хлопотъ полны руки: разныя закупки и выписки изъ Москвы и изъ Петербурга. Карету я выписываю отъ Фребелиуса . карета темно-синяя, а обивка внутри цвѣта Marie-Louise: это будетъ недурно... Помѣщики здѣшніе, провѣдавъ о моихъ затѣяхъ, удивляются и ахаютъ: имъ все въ диковину, и каждая вещь кажется имъ разореніемъ. Совершенные дикари! — Что̀ дѣлать? Моя слабость, чтобы все было у меня порядочно, по-барски. Прощай! Обнимаю тебя. Можетъ быть, увидимся въ Петербургѣ, и скоро, а до тѣхъ поръ не забывай меня и напиши мнѣ, гадкій эгоистъ, въ отвѣтъ на мое длинное посланіе, хоть нѣсколько строчекъ... Когда мы свидимся въ Петербургѣ, ты увидишь, что я еще, впрочемъ, не совсѣмъ опровинціалился и, какъ говорится, не лѣвой ногой носъ сморкаю. Еще разъ обнимаю тебя отъ души и повторяю: пиши! пиши!

«P. S. Я о тебѣ много говорилъ моей нареченной. Она тебѣ кланяется и горитъ нетерпѣніемъ тебя увидѣть, потому что, по моимъ словамъ, полюбила тебя заочно».

Послѣ этого письма я въ теченіе многихъ лѣтъ ни отъ

кого не слыхалъ о Летищевѣ и не получалъ уже болѣе отъ него никакихъ писемъ.

Года три тому назадъ, въ одно солнечное и морозное утро, я зашелъ въ какой-то кафе-ресторанъ на Невскомъ проспектѣ и въ ожиданіи чашки кофе перелистывалъ газету, лежавшую передо мною. Вдругъ дверь ресторана съ шумомъ отворилась, ударившись объ уголъ стола, такъ что всѣ присутствовавшіе, въ томъ числѣ и я, невольно обратились на этотъ шумъ. Въ двери съ трудомъ влѣзала медвѣжья шуба и, распахнувшись, обнаружила пыхтящее тѣло неимовѣрной толщины, за которымъ слѣдовалъ жиденькій и бѣлобрысенькій молодой человѣчекъ съ застывшей на лицѣ улыбкой. Тѣло въ медвѣжьей шубѣ остановилось посреди комнаты, осмотрѣлось кругомъ и, полуоборотомъ взглянувъ на молодого человѣка, слѣдовавшаго за нимъ, произнесло:

— Фу, какая жара! фу!.. А что̀, братецъ, закусить хочешь? спрашивай себѣ, что̀ хочешь, дружочекъ. Мнѣ смертельно ѣсть хочется...

Молодой человѣчекъ наклонилъ на эти слова свою головку и придалъ своей неподвижной улыбкѣ пріятность посредствомъ расширенія рта.

— Эй, ты, мусье! — вырвался пронзительный, тоненькій голосокъ изъ тучнаго тѣла, которое обернулось къ лакею, — подай карту, покажи, что̀ у васъ тамъ есть; накорми насъ, милый другъ, посытнѣе да повкуснѣе: мы вотъ съ нимъ проголодались... Фу! фу!

Этотъ голосокъ, выходившій изъ тучнаго тѣла, показался мнѣ будто нѣсколько знакомымъ.

— Ба, ба, ба!.. — При этихъ звукахъ изъ медвѣжьей шубы высунулись руки и простерлись ко мнѣ. — Вотъ встрѣча вотъ встрѣча!.. Фу!.. Да что̀ ты такъ выпучилъ-то на меня глаза? Не узнаешь, въ самомъ дѣлѣ, что ли?.. Летищевъ, братецъ... онъ самъ, своей персоной.

И онъ навалился на меня, обнимая и цѣлуя меня.

Послѣ этихъ объятій я долго не могъ оправиться.

«Неужели это, дѣйствительно, Летищевъ, — думалъ я, — тотъ самый, который нѣкогда, въ блестящемъ гвардейскомъ

мундирѣ, съ перетянутой таліей, живой и вертлявый, волочился за Катей Торкачевой?..»

— Я, кажется, привелъ тебя въ изумленіе моей корпоренціей? — продолжалъ Летищевъ. — Что жъ? фигура, братецъ, почтенная, не правда ли? настоящая предводительская! Ну, какъ ты, голубчикъ, поживаешь? Ты не мѣняешься ничего... Сразу узналъ тебя. Я на тебя, братецъ, сердитъ, очень сердитъ... Фу... экая жара? Ну, какъ это можно, въ продолженіе пятнадцати лѣтъ ни строчки! На что̀ это похоже!.. А я все-таки хотѣлъ къ тебѣ сегодня же заѣхать. Я вѣдь только третьяго дня ввалился въ вашу Сѣверную Пальмиру, еще никого не видалъ, ни у кого не былъ. Вчера цѣлый день отдыхалъ послѣ дороги. Charmé, charmé de te voir mon cher, очень, очень радъ!

И онъ жалъ мнѣ руку.

— Однако, братъ, дружескія изліянія сами по себѣ, а желудокъ самъ по себѣ. Желудка дружбой не накормишь... Я страшно отощалъ, должно быть, оттого, что прошелся... Я вѣдь, братецъ, ходить не привыкъ, въ деревнѣ мы ходимъ мало... У меня тамъ этакой кабріолетикъ на лежачихъ рессорахъ... я нарочно, по своему вкусу, заказалъ въ Москвѣ... вотъ спроси у него...

Онъ ткнулъ пальцемъ на молодого человѣка.

— Прекрасный экипажецъ! — проговорилъ молодой человѣкъ.

— А я тебѣ не рекомендовалъ еще этого юношу-то? Имѣю честь представить: это, братъ, мой секретарь... Я безъ него пропалъ бы здѣсь. Всѣ эти покупки, закупки, счеты и разсчеты — это ужъ его дѣло... Мусье! любезнѣйшій! ну, что̀ жъ карту-то!..

— Карты нѣтъ-съ; а что̀ прикажете, — отвѣчалъ лакей. — вотъ закуски здѣсь на столѣ-съ.

— Ну, какія у васъ тамъ закуски! мерзость какая-нибудь! а вели-ка мнѣ изготовить лучше двѣ хорошія сочныя котлеты... да вотъ и юношѣ-то подай чего-нибудь... Чего ты хочешь?..

Секретарь переминался и ухмылялся.

— Да полно церемониться-то! этакой ты гусь, право! ѣшь, что̀ душѣ угодно, спрашивай себѣ, чего хочешь, и плати, сколько вздумаешь. Деньги вѣдь въ твоемъ распоряженіи... Я, братецъ, и денегъ съ собой не ношу: все у него, онъ у меня и министръ финансовъ... Эй, вы, котлетъ-то подайте мнѣ скорѣй! а покуда, чтобъ заморить червяка, дайте хоть двѣ-три тартинки съ чѣмъ-нибудь... Ну, ужъ вашъ Петербургъ! бѣда! — продолжалъ онъ, разжевывая тартинку, — съ ума сойдешь отъ этихъ однихъ визитовъ... бабушки, да тетушки, да министры, да гофмейстеры, да церемоніймейстеры... Рожу-то мою всѣ знаютъ: не скроешь ее отъ нихъ... Сегодня утромъ въ десять часовъ ужъ напялилъ на себя мундиръ и успѣлъ побывать у двухъ почетныхъ старцевъ и принятъ былъ, братецъ, ими просто — вотъ какъ!

Онъ приложилъ свои пальцы къ губамъ и чмокнулъ.

— Любятъ меня почему-то, помнятъ .. дай Богъ имъ здоровья. Одинъ изъ нихъ сказалъ мнѣ, между прочимъ: Я, — говоритъ, — еще помню тебя юнкеромъ; тебя, — говоритъ, — фельдмаршалъ называлъ всегда молодцомъ и очень любилъ тебя». Старецъ, а вѣдь память-то какая!.. Ну, однако, разскажи, какъ ты поживаешь, какъ идутъ твои дѣлишки?..

— Ничего, такъ себѣ... Ты пріѣхалъ надолго?

— Да самъ не знаю, голубчикъ! надо представляться разнымъ высокимъ особамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, судя по намеку почетнаго старца, изъявляютъ сильное желаніе меня видѣть. На что̀ я имъ? вотъ спроси! Объѣзжу весь вашъ петербургскій monde и, закончивъ эту процедуру, займусь своимъ дѣльцемъ: вѣдь у меня процессъ еще, братецъ, въ триста тысячъ рублей серебромъ — bagatelle! Ты знаешь, что значитъ процессъ?.. А! да вотъ и котлеты!

При видѣ котлетъ глаза Летищева заискрились, и онъ началъ безпокойно облизывать губы, тыкая нетерпѣливо за галстукъ салфетку.

— Нельзя, братецъ, безъ этого, а то закапаешь себѣ рубашку: возвышеніе-то это проклятое мѣшаетъ.

Онъ указалъ на свой животъ и залился добродушнымъ

смѣхомъ, обнаруживъ при этомъ десны и маленькіе, гнилые и почернѣвшіе зубы, едва въ нихъ державшіеся.

— Экое дерево! — сказалъ онъ, ткнувъ вилкой котлетку, — не умѣютъ и котлетку-то порядочно приготовить, — а еще Петербургъ!.. Не стыдно тебѣ это?

Онъ посмотрѣлъ на лакея.

— Да знаешь ли, что у меня, въ деревнѣ, послѣдній поваренокъ приготовитъ лучше этого?.. Эхъ, вы!.. Я, братецъ, вчера вечеромъ (онъ обратился отъ лакея ко мнѣ) задалъ такую гонку вашему Дюссо. Я вѣдь его не знаю: при мнѣ еще былъ Фёльетъ и Легранъ... Слышу отъ всѣхъ пріѣзжихъ: Дюссо да Дюссо! Ну, думаю себѣ, попробую я этого хваленаго Дюссо. Пріѣзжаю. Заказалъ ужинъ. Говорю: «Дайте мнѣ всего, что есть у васъ лучшаго». Кажется, ясно?.. Подаютъ мнѣ первымъ блюдомъ филе изъ ершей... Ну, что жъ это, братецъ, за блюдо? просто какой-то воздухъ съ травой и прованскимъ масломъ, и масло-то еще не свѣжее. Я на сцену моего стараго друга Симона. «Позови-ка мнѣ, говорю я, твоего Дюссо-то: я съ нимъ потолкую кое-о-чемъ». Приходитъ этакая приземистая фигурка, вертится передо мною и говоритъ:

— Monsieur qu'y a t'il à votre service?..

Я посмотрѣлъ на него и говорю:

— Вы меня не знаете, а?

— Non, monsieur, pardon.

— То-то, pardon! А вотъ вы спросите-ка обо мнѣ лучше вашего Симона, такъ онъ вамъ поразскажетъ кое-что, кто я и прочее... Я вотъ тоже не имѣю удовольствія знать васъ, потому что проживаю въ своихъ деревняхъ и въ Петербургъ ѣзжу рѣдко; а предмѣстниковъ вашихъ Фёльета и Леграна зналъ коротко, и они меня коротко знали и любили. Я здѣсь оставилъ тысячъ до пятнадцати, — слѣдовательно, хоть на столько пріобрѣлъ вкуса, чтобы отличить дурное масло отъ хорошаго... Вы понимаете меня?.. Я купилъ, говорю, себѣ право этими пятнадцатью тысячами быть нѣсколько взыскательнѣе другихъ... Ни Фельетъ, ни Легранъ мнѣ такого масла не смѣли подавать; а вы думаете, что вотъ пріѣхалъ

человѣкъ, вамъ неизвѣстный, въ первый разъ, провинціалъ какой-нибудь, такъ дескать и подсуну ему что ни попало. Ошибаетесь, я говорю, г. Дюссо, ошибаетесь, не на такого напали: я-таки въ гастрономіи кое-что смыслю. Вотъ спросите обо мнѣ у князя Броницына, у графа Красносельскаго, у графа Бержицкаго: это мои короткіе пріятели. Вы, чай, ихъ знаете?.. «Какъ же,—говоритъ,—*же лонёръ...*» а самъ переконфузился, кланяется, извиняется, затормошилъ всѣхъ лакеевъ, самъ побѣжалъ на кухню и, дѣйствительно, ужъ накормилъ меня превосходно. Выходя, я потрепалъ его по плечу и говорю: «Ну, Дюссо, теперь я не сомнѣваюсь, что ты артистъ въ своемъ дѣлѣ!..» И онъ былъ этимъ, братецъ, ужасно доволенъ!.. Мой юноша-то все удивляется, глядя на меня. «Вы,—говоритъ,—Николай Андреичъ, въ Петербургѣ распоряжаетесь, точно какъ у себя въ Никольскомъ...»

— Это правда-съ, — замѣтилъ молодой человѣкъ, торопливо проглатывая кусокъ и спѣша улыбнуться.

— Чудакъ ты! чему тутъ удивляться? — замѣтилъ Летищевъ, посмотрѣвъ на него благосклонно. — Вѣдь я, слава Богу, Петербургъ-то знаю, пожилъ-таки въ немъ, познакомился съ нимъ, вотъ спроси-ка у него (онъ указалъ на меня). Я тысячъ до ста серебромъ бросилъ въ его ненасытную пасть: такъ ужъ послѣ этого церемониться съ нимъ не могу, прошу извинить... Однако, не пора ли намъ, господинъ секретарь? который часъ?

Онъ вынулъ толстые золотые часы на толстой цѣпочкѣ и произнесъ:

— Эге-ге! ужъ около трехъ... Вотъ, братецъ, часы-то, рекомендую: этихъ часовъ само солнце спрашивается. Посмотри, внутренность-то какая.

Летищевъ попробовалъ открыть внутреннюю дощечку.

— Нѣтъ, не открываются, чортъ ихъ возьми! — пробормоталъ онъ, — боюсь, еще ноготь сломишь. — И онъ положилъ ихъ въ карманъ, прибавивъ: — За эти часы мнѣ пятьсотъ рублей серебромъ давалъ въ Москвѣ Митька Перелѣзинъ. Ты знаешь его?.. Ну, секретарь, отправимся путешествовать по магазинамъ... Столько комиссій надавали! А пуще всего

меня безпокоитъ это модное тряпье: блонды да гипюры, да шляпки, да эти разныя фалбалы. Еще, пожалуй, не угодишь. Впрочемъ, нѣтъ, моя жена не такова... Мы съ ней живемъ душа въ душу... вотъ спроси у него... Это ангелъ доброты, et c'est une femme distinguee, mais tout à fait distinguée, mon cher. Я увѣренъ, что ты былъ бы отъ нея въ восторгѣ и полюбилъ бы ее... Поручила мнѣ, братецъ, цѣлую библіотеку закупить... Куда это мы все уложимъ только въ Москвѣ, я не знаю: вѣдь въ дормезъ намъ не помѣстить всего?.. какъ ты думаешь, юноша?

— Да-съ, трудноваго будетъ-съ, — отвѣчалъ секретарь.

— То-то, братецъ! Надо будетъ объ этомъ серьезно подумать.

— Не безпокойтесь, — возразилъ секретарь, — ужъ какъ-нибудь устроимъ.

— То-то, смотри же...

Летищевъ отвелъ меня нѣсколько въ сторону и произнесъ вполголоса, кивая головой на секретаря:

— Un bon enfant, excellent... Я взялъ его, братецъ, къ себѣ мальчишкой, нищимъ. Онъ и выросъ у меня въ домѣ и привязанъ ко мнѣ и къ женѣ, какъ собачонка. И вѣдь какой аккуратный, дѣловой малый! онъ у меня заправляетъ всей моей канцеляріей... Ну, до свиданья, мой милый! Я къ тебѣ первому непремѣнно пріѣду, когда окончу всѣ мои важные визиты; надѣюсь, что и ты заѣдешь ко мнѣ. Я остановился у Кулона, занимаю два нумера: 22-й и 23-й; вѣдь одного мнѣ мало по моему сложенію. Въ Москвѣ такъ я всегда останавливаюсь въ «Дрезденѣ» и всегда занимаю 1-й нумеръ. Тамъ ужъ такъ и берегутъ его для меня: огромная комната, настоящая танцовальная зала; да я, признаться, терпѣть не могу маленькихъ комнатъ: въ нихъ какъ-то тяжело дышать... Но я заболтался съ тобой... Прощай, прощай, до свиданья... Расплатился, юноша?

— Да-съ...

— Ну, такъ маршъ... Au revoir, mon cher, au revoir.

И Летищевъ вышелъ изъ кафе-ресторана съ тѣмъ же эффектомъ и шумомъ, съ какимъ вошелъ, весь сіяя само-

довольствіемъ и произведя сильное впечатлѣніе на всѣхъ присутствовавшихъ.

Послѣ того, во время пребыванія его въ Петербургѣ, я встрѣчался съ нимъ довольно часто, у нашихъ общихъ знакомыхъ. Онъ разсказывалъ намъ о различныхъ политическихъ и административныхъ проектахъ, которые будто бы переданы ему были самими министрами, по секрету; о томъ, какъ онъ разнымъ значительнымъ особамъ рѣжетъ, не церемонясь, правду въ глаза и какъ эти особы взяли съ него честное слово, чтобы онъ прямо писалъ къ нимъ обо всемъ и не стѣсняясь ничѣмъ; какъ петербургскіе князья и графы, его старые пріятели и товарищи, обрадовались его пріѣзду; какъ одинъ изъ нихъ, еще бывшій при немъ въ полку юнкеромъ, объявилъ ему, что назначенъ полковымъ командиромъ того же самаго полка, и какъ онъ отвѣчалъ ему на это: «Полно, Миша, полно! Врешь, братецъ, ни за что не повѣрю. Что ты мнѣ этакую фанаберію несешь? За кого ты, голубчикъ, меня принимаешь?» И какъ потомъ, удостовѣрясь въ этомъ, онъ обнялъ его, поцѣловалъ и сказалъ: «Ну, Мишукъ, отъ души поздравляю тебя; но признаюсь откровенно, что послѣ этого нѣтъ въ мірѣ чудесъ, которымъ бы я не повѣрилъ!»

Мнѣ особенно памятна длинная рѣчь, произнесенная однажды Летищевымъ, когда при немъ зашли толки о трудности управленія имѣніями и о характерѣ русскаго крестьянина. Онъ вдругъ прервалъ разговоръ двухъ господъ, очень серьезно разсуждавшихъ объ этихъ предметахъ.

— Это все не то, господа! — сказалъ онъ, — вы, говоря откровенно, увлекаетесь различными фантазіями и фантасмагоріями. Я желалъ бы, чтобы кто-нибудь изъ васъ заглянулъ въ мои имѣнія. Я смѣло могу сказать, что каждый изъ моихъ крестьянъ благословляетъ свою судьбу. Правда, у нихъ все есть, что̀ имъ нужно: по три, по четыре лошади на тягло, по двѣ коровы, — ну, и прочаго скота въ той же пропорціи; избы у нихъ выстроены изъ хорошаго лѣса, прочно, бо̀льшею частью... въ имѣніи жены моей (у меня, правда, этого нѣтъ), на каменныхъ фундаментахъ; оброкъ съ нихъ

берется умѣренный... Чего же имъ?.. Да если бы я, напримѣръ, не родился тѣмъ, что я есть, я желалъ бы быть моимъ старостой Васильемъ Антипычемъ, ей Богу: у него, говорятъ, тысячъ пятнадцать рублей серебромъ капитала. Для мужика это, надѣюсь, деньги! Онъ ходитъ въ синемъ сукнѣ, отпустилъ себѣ такой же животъ, какъ у меня, такой видный изъ себя, сѣдая огромная борода... Эта вся мелюзга, однодворцы, мелкопомѣстные, кланяются ему чуть не въ поясъ... Дѣти его всѣ переженились и всѣ молодецъ къ молодцу, народили дѣтей въ свою очередь. Внучата пищатъ и копошатся около дѣдушки, а онъ только ухмыляется да поглаживаетъ себѣ бороду... Патріархъ, настоящій патріархъ!.. Я часто захожу къ нему въ гости. Изба у него чистая, прекрасная. Онъ всегда угощаетъ меня солеными груздями или сотовымъ медомъ... чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ... У него все это подается отлично, и всегда еще красную ярославскую салфетку разстелетъ на столъ... Я однажды этакъ сижу у него и говорю ему:

— Славно ты поживаешь, Василій Антипычъ: всего у тебя вдоволь, всѣмъ Богъ тебя благословилъ: а денегъ-то у тебя, я чай, и куры не клюютъ.

— И, батюшка, Николай Андреичъ! — говоритъ (плутъ страшный, — прикинулся этакимъ смиреннымъ и кланяется мнѣ въ поясъ): — Что изволите, — говоритъ, — шутить: ужъ какія у насъ деньги, откуда взять мужику денегъ!

— Ну, полно, полно! говорю: знаемъ мы тебя. Что скрываться-то. Я вѣдь у тебя денегъ твоихъ не отниму...

— Да что, говоритъ, батюшка, я вамъ правду скажу, какъ передъ Богомъ: вы отцы наши, отъ васъ скрываться не приходится. По милости вашей, скопилъ маленько.

— Ну, — я говорю, — отчего же ты, братецъ, у меня не откупишься со всей семьей, али боишься, что я съ тебя сдеру много?

Старикъ мой такъ и расходился.

— Да помилуйте, говоритъ, батюшка! зачѣмъ мнѣ откупаться отъ васъ? да сохрани меня Господи и помилуй отъ этого! Я, говоритъ, честью служилъ вашему дѣдушкѣ, ва-

шему родителю, вамъ теперича служу: да мы у васъ, какъ у Христа за пазухой... Что это вы говорить изволите! На что мнѣ, говоритъ, воля-то, на что? Мы, говоритъ, искони-де къ вашему роду приписаны, такъ, говоритъ, съ вами и останемся на вѣки вѣчные... Я и дѣтямъ-то своимъ заказалъ, да и внучатамъ-то закажу служить вашимъ дѣтямъ и внучатамъ.

— Да дѣтей-то у меня, старина, нѣтъ, — вотъ мое горе...

— Помолитесь-ка, говоритъ, поусерднѣй, батюшка, такъ Господь пошлетъ... И мы, грѣшные, ваши рабы, объ этомъ помолимся.—А у самого слезы на глазахъ, и меня тронулъ до слезъ.

Летищевъ произнесъ послѣднія слова дрожащимъ голосомъ и прибавилъ черезъ минуту:

— Вотъ онъ, господа, неиспорченный-то русскій человѣкъ, какъ есть и какимъ долженъ быть!

Нѣкоторые смотрѣли на Летищева съ негодованіемъ, другіе какъ на шута; находились и такіе, которые принимали его серьезно. Онъ не замѣчалъ этихъ различныхъ впечатлѣній, производимыхъ имъ, и обращался ко всѣмъ одинаково радушно и сіяя самодовольствіемъ.

Однажды, когда мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ, онъ сталъ передавать мнѣ о своей женѣ, о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и любви другъ къ другу, по поводу полученнаго отъ нея письма. Онъ былъ дѣйствительно взволнованъ и растроганъ, и слезы такъ и капали у него изъ глазъ.

— Нѣтъ, душенька, — говорилъ онъ, — здѣсь у васъ хорошо, всѣ ваши тузы здѣшніе меня ласкаютъ; но дома все-таки лучше. Такъ и тянетъ въ деревню. Признаться тебѣ откровенно, я, братъ, соскучился безъ жены; иной разъ такъ взгрустнется безъ нея, что просто мочи нѣтъ.

И онъ почти давился слезами. Онъ даже растрогалъ меня.

Я думалъ: «А можетъ быть въ этой тушѣ и въ самомъ дѣлѣ еще таится что-нибудь человѣческое; можетъ быть, подъ этимъ мясомъ бьется еще не совсѣмъ испорченное сердце; можетъ быть, онъ нешутя хорошій семьянинъ и добрый помѣщикъ?..»

Въ его мелкомъ тщеславіи для меня было болѣе забавнаго, чѣмъ оскорбляющаго.

Всякій разъ, напримѣръ, когда мы выходили откуда-нибудь вмѣстѣ и когда онъ влѣзалъ въ ямскую карету (въ саняхъ, и особенно на простомъ извозчикѣ онъ ни за что не рѣшился бы проѣхать), онъ непремѣнно кричалъ извозчику: «Пошелъ къ князю такому», или «къ графу такому-то. Знаешь?» И извозчикъ его всякій разъ отвѣчалъ утвердительно: «Знаю-съ!» Впослѣдствіи оказалось, что каждый изъ знакомыхъ Летищева носилъ непремѣнно названіе какого-нибудь князя или графа. Черезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда Летищева этотъ извозчикъ перешелъ къ одному барину, выѣзжавшему въ большой свѣтъ. Баринъ приказалъ ему однажды везти себя къ княгинѣ Б. Извозчикъ отвѣчалъ: «Знаю-съ» и махнулъ кнутомъ.

Онъ везъ его, везъ и наконецъ остановился. Баринъ вышелъ изъ кареты и, къ изумленію своему, увидалъ себя въ какой-то незнакомой улицѣ.

— Что̀ это значитъ? куда ты привезъ меня, болванъ?

Баринъ очень разсердился.

— Какъ куда! къ княгинѣ Б*... Слава Богу, я вѣдь знаю. Я ѣздилъ съ Николай Андреичемъ...

— Что̀ ты врешь? Какой Николай Андреичъ? — вскрикнулъ баринъ.

— Какой? Летищевъ, Николай Андреичъ. Да ужъ не извольте, батюшка, безпокоиться: княгиня тутъ живетъ. Мы съ Николай Андреичемъ у ихъ сіятельства-то почитай всякій день бывали: какъ не знать!

Извозчика трудно было убѣдить, что княгиня живетъ не тутъ: онъ твердилъ все одно: «Николай Андреичъ... они ужъ всѣхъ князей знаютъ, у нихъ ужъ все знакомство такое». Баринъ отъ гнѣва перешелъ къ смѣху, и черезъ нѣсколько дней это сдѣлалось извѣстно всему Петербургу и самой княгинѣ Б*, которая и не подозрѣвала о существованіи Летищева.

Слабость моя къ Летищеву доходила до того, что мнѣ даже было больно смотрѣть на него, когда онъ, на улицѣ,

въ ресторанахъ и въ театрахъ, бросался къ своимъ старымъ товарищамъ, князьямъ и разнымъ свѣтскимъ людямъ, съ растопыренными руками, съ криками, съ восторгомъ, съ простодушными улыбками, и былъ встрѣчаемъ холодными словами и полупоклонами. На него, однако, ничто не дѣйствовало: онъ продолжалъ лѣзть къ нимъ и кричать: mon ami prince *Броницынъ*, или *Павлуша Броницынъ*.

Я былъ свидѣтелемъ одинъ разъ встрѣчи Летищева, вскорѣ послѣ его пріѣзда въ Петербургъ, съ барономъ Щелкаловымъ въ театрѣ, во время междудѣйствія. Онъ былъ съ Щелкаловымъ нѣкогда въ пріятельскихъ отношеніяхъ и на *ты*. Пробираясь и пыхтя въ толпѣ, Летищевъ наткнулся животомъ своимъ на Щелкалова, шедшаго ему навстрѣчу. Щелкаловъ сдѣлалъ движеніе назадъ, бросилъ на него взглядъ свысока, отвернулся и началъ смотрѣть на ложи.

— Душенька! здравствуй, братецъ! какъ я радъ!

И Летищевъ ухватился за обшлагъ его фрака, не замѣчая, что тотъ отворачивается отъ него. Щелкаловъ сдвинулъ брови и вставилъ въ глазъ стеклышко, осмотрѣвъ его съ недоумѣніемъ.

— Вотъ что̀ значитъ запастись этакою горкою!—завизжалъ Летищевъ простодушно и обвелъ рукою кругомъ себя, — и старые друзья не узнаютъ!.. Летищева помнишь?.

Щелкаловъ сдѣлалъ движеніе губами, еще разъ свысока взглянулъ на него и произнесъ сухо и рѣзко:

— А!— пробормотавъ нѣсколько несвязныхъ словъ:—очень радъ .. да. . потолстѣлъ... откуда?.

Летищевъ хотѣлъ обнять его; но Щелкаловъ почти отвелъ отъ себя его руки и, сдѣлавъ шагъ впередъ, натолкнулся на Броницына, коснулся его плеча и, кивнувъ назадъ головой на Летищева, произнесъ громко:

— Каковъ? недуренъ баринъ, — и самодовольно прошелъ дальше. не подозрѣвая того, что Броницынъ, въ свою очередь, обратился къ какому-то своему пріятелю и, съ язвительной гримасой указавъ на Щелкалова, произнесъ:

— Тоже хорошъ!..

Летищевъ пробылъ въ Петербургѣ около мѣсяца, и нака-

нунѣ отъѣзда, ввалясь ко мнѣ въ квартиру, чуть не оборвалъ звонка у двери, нахвасталъ мнѣ съ три короба, простился со мною съ величайшею нѣжностью и взялъ съ меня слово, если я когда-нибудь буду проѣзжать черезъ Н*, непремѣнно заѣхать къ нему въ деревню.

— Ужъ угощу, милый, дорогого гостя, — прибавилъ онъ въ заключеніе, — вотъ какъ угощу! такимъ старымъ бургонскимъ попотчую, какого ты отродясь не пивалъ!..

— Ну, а процессъ-то твой? — спросилъ я.

— Процессъ? какой процессъ?.. Ахъ, да, да! Онъ еще не скоро, но непремѣнно кончится въ мою пользу. Дѣло приняло такой оборотъ. Это, между нами, мнѣ шепнулъ на ухо одинъ почетный старецъ!..

ГЛАВА IV.

ЗАКАТЪ.

Въ началѣ лѣта 185* года я по дѣламъ, совершенно неожиданно, долженъ былъ ѣхать въ Н* губернію. Въ Н* я пробылъ только одинъ день и оттуда отправился въ Р*, уѣздный городъ этой губерніи, гдѣ долженъ былъ прожить, по крайней мѣрѣ, около двухъ недѣль. Жить въ уѣздномъ городѣ, возиться съ дѣлами и съ приказными не забавно. Я вспомнилъ о Летищевѣ и о своемъ обѣщаніи побывать у него. Уѣздный судья на мои разспросы отвѣчалъ, что имѣніе Летищева верстахъ въ двадцати отъ города, что дорога туда прекрасная и что меня могутъ доставить менѣе чѣмъ въ два часа.

— А вы знакомы съ Николаемъ Андреичемъ? — спросилъ меня судья и, какъ мнѣ показалось, съ какою-то странною улыбкою.

— Онъ мой школьный товарищъ, — отвѣчалъ я, — а что?

— Нѣтъ, ничего. Онъ хорошій человѣкъ, весельчакъ и любитъ жить шибко. Кабы ему только денегъ побольше. Онъ былъ у насъ предводителемъ одно время, такъ ужъ такіе пиры задавалъ... и... такъ немножко...

Судья остановился.

— Да вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь: говорите прямо,— возразилъ я.

— Поразстроился немножко, позапутался... А мы любимъ Николая Андреича: у него доброе сердце, хорошій человѣкъ. Дай Богъ, чтобы все только кончилось хорошо.

— А развѣ съ нимъ случилось что-нибудь особенное?

— Особеннаго ничего; только вотъ, по случаю послѣднихъ обстоятельствъ, насчетъ сукна маленькая исторія. Его надули сукномъ: подсунули гнилое. Теперь на немъ денежный начетъ: обвиняютъ его въ сдѣлкѣ съ поставщикомъ и забаллотировали на послѣднихъ выборахъ... Жалко... Конечно, и то сказать, что жъ дѣлать дворянству? вѣдь это падаетъ на дворянство...

На другой день послѣ этого, часу въ одиннадцатомъ, я отправился проселкомъ въ деревню Летищева. День былъ солнечный, солнце пекло сильно. Извилистая дорога шла между пашнями, прерывавшимися кустарниками. Въ это лѣто въ Н* губерніи были ужаснѣйшія засухи. Мелкая и черная пыль поднималась отъ движенія лошадей и колесъ тарантаса густымъ столбомъ, останавливалась въ неподвижномъ воздухѣ, пронизываемая палящими солнечными лучами, ложилась густыми слоями на поднятый верхъ тарантаса, на подушки, на шинель мою, на фуражку, на лицо, щекотала носъ и забивалась въ ротъ. Я задыхался отъ жара, безпрестанно отмахивался отъ пыли, отъ неотвязчивыхъ и вялыхъ мухъ и, при всемъ желаніи, никакъ не могъ наслаждаться окружавшей меня природой, — однообразными, но милыми сердцу видами. Дорога мнѣ показалась ужасно длинною.

— Скоро ли Никольское-то? — спросилъ я у ямщика.

— Теперь недалеко: съ версту али съ двѣ — только,— отвѣчалъ онъ, лѣниво помахивая кнутомъ надъ измученными лошаденками и приговаривая: — но-но-но!

Я высунулся изъ тарантаса и посмотрѣлъ на обѣ стороны: однообразная, мертвящая гладь кругомъ. «Гдѣ же эта маленькая Швейцарія-то?» подумалъ я, вспомнивъ невольно письмо ко мнѣ Летищева.

Проѣхавъ немного, ямщикъ мой сказалъ:

— А вотъ и Никольское! — и указалъ мнѣ кнутовищемъ на небольшую деревеньку, вправо отъ дороги, расположенную на совершенно ровномъ мѣстѣ, на самомъ припекѣ, и не защищенную ни однимъ деревцомъ отъ солнца. При взглядѣ на эту кучку почернѣвшаго и полусгнившаго лѣса, съ закопченной соломой наверху, мной овладѣло тоскливое чувство.

Барскій домъ, длинный и неуклюжій, въ одинъ этажъ, съ мезониномъ въ серединѣ и съ полукруглымъ окномъ, выкрашенный темно-желтой краской, съ зелеными ставнями и красной крышей, стоялъ нѣсколько въ сторонѣ отъ деревни, окруженный службами и покривившимся некрашеннымъ рѣшетчатымъ заборомъ, передъ небольшимъ прудомъ, поросшимъ осокой и съ одного края подернутымъ плѣсенью. Передъ домомъ и за домомъ нѣсколько тоненькихъ молодыхъ, полузасохшихъ деревьевъ, а нѣсколько въ сторонѣ отъ дома значительное пространство срубленнаго лѣса.

Вотъ каково было Никольское въ дѣйствительности.

Подъѣзжая къ дому, я увидѣлъ у подъѣзда двухъ безобразныхъ алебастровыхъ львовъ, болѣе похожихъ на собакъ, въ родѣ тѣхъ, которые украшаютъ ворота московскихъ домовъ. На срединѣ двора, передъ подъѣздомъ, торчала клумба съ длинными синими цвѣтами, перемѣшанными съ другими, имѣвшими видъ желтыхъ пуговокъ.

«Гдѣ же эти розы, величиною съ пионы?» подумалъ я.

Наконецъ лошади остановились у подъѣзда. Я вылѣзъ изъ тарантаса и осмотрѣлся кругомъ: у одного изъ флигелей стоялъ какой-то мальчишка въ грязной рубашенкѣ, съ вымазаннымъ лицомъ, и смотрѣлъ на меня, зѣвая; кромѣ этого мальчишки и пѣтуха, разрывавшаго землю въ клумбѣ и отъ времени до времени гордо приподнимавшаго свою головку съ хохломъ и подергивавшаго ее въ сторону, на дворѣ не было души человѣческой. Когда я поднялъ ногу на ступеньку подъѣзда, изъ ближайшаго къ подъѣзду окна высунулась какая-то растрепанная и старая женская фигура и тотчасъ же спряталась. Я отворилъ дверь. Въ передней на прилавкѣ лежалъ лакей, спавшій богатырскимъ сномъ и хра-

пѣвшій съ какимъ-то особеннымъ трескомъ. Я растолкалъ его. Онъ вскочилъ, протеръ глаза и началъ тупо смотрѣть на меня сквозь невольно и снова опускавшіяся вѣки, принимая меня, вѣроятно, за продолженіе своего сна. Я насилу могъ растолковать ему, что я пріѣзжій гость, пріятель его барина.

— Гдѣ же твой баринъ? веди меня къ нему.

— Баринъ?.. Николай Андреичъ?—спрашивалъ онъ съ разстановками,—вамъ Николая Андреича надо?.. Николай Андреичъ почиваютъ.

— Все равно. Веди меня къ нему.

Лакей почесался, зѣвнулъ, еще разъ взглянулъ на меня и сказалъ:

— Пожалуй. Ступайте за мной.

И привелъ меня въ комнату, стѣны которой были увѣшаны старинными граведоновскими, раскрашенными женскими головками, нѣкогда украшавшими всѣ столичные кабинеты и потомъ перешедшими въ провинцію. Въ простѣнкѣ стоялъ столъ, а на столѣ чернильница, разныя письменныя принадлежности, дагерротипный женскій портретъ и книжка какого-то романа Пиго-Лебреня въ старинномъ переплетѣ,— все покрыто густою пылью. Шторы въ комнатѣ были опущены, а на большомъ кожаномъ диванѣ лежалъ навзничь самъ баринъ, покрытый халатомъ, который сбился къ его ногамъ, съ разстегнутымъ воротомъ рубашки, изъ-за которой виднѣлась широкая грудь, заросшая густыми волосами. Грудь и животъ, возвышавшійся горою, мѣрно колыхались отъ его тяжелаго дыханія, оживленнаго небольшимъ носовымъ свистомъ. Ротъ его былъ полураскрытъ; потъ выступалъ на лбу крупными каплями. У головы его, на полу, лежалъ чубукъ, и нѣсколько въ сторонѣ трубка съ разсыпавшимся около нея пепломъ. Эта груда волновавшагося тѣла представляла непріятное зрѣлище. У меня даже дрожь пробѣжала при мысли, во что превратился этотъ нѣкогда хорошенькій мальчикъ, бывшій въ пансіонѣ моимъ образцомъ и плѣнившій своими изящными манерами мою маменьку.

Я разбудилъ его. Онъ сначала тяжело приподнялъ отекшія вѣки, спокойно и безсмысленно взглянулъ на меня сон-

ными глазами, потомъ вдругъ вскрикнулъ, какъ будто испуганный видѣніемъ, и началъ приподниматься съ дивана, опираясь на ладони рукъ и дико смотря на меня. Наконецъ онъ совсѣмъ пришелъ въ себя и бросился обнимать меня.

Я нашелъ въ немъ большую перемѣну: онъ весь какъ-то обвисъ и опустился, волосы его на вискахъ совсѣмъ посѣдѣли, на лицѣ показались морщины. Но румянецъ все еще игралъ на щекахъ, или, можетъ, это было только со сна.

— Я сдержалъ свое слово, — сказалъ я. — Ты, вѣрно, не ждалъ меня?

— Никакъ! никакъ! — повторялъ онъ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ, — признаюсь тебѣ, это такой сюрпризъ для меня... Какъ будетъ рада жена!.. Просто подарилъ, утѣшилъ, душенька!.. Только вотъ что обидно: ты застаешь-то насъ врасплохъ. Вѣдь съ нами случилось, братецъ, величайшее несчастие... ты ничего не слыхалъ? Мы прежде жили въ другомъ моемъ имѣнии, неподалеку отсюда... тамъ у меня и домъ, и садъ, — все это было прелесть... и, вообрази, все до-тла сгорѣло, все начисто, хоть бы что-нибудь на-смѣхъ осталось. Мы сами съ женой едва спаслись въ томъ, въ чемъ были. Такое несчастие! Ты можешь себѣ представить, это меня ужасно разстроило. И загорѣлось отъ поганой папироски: кто-то бросилъ на коверъ папироску; а у меня на парадной лѣстницѣ разостланы были ковры во всю ширину. Коверъ-то тлѣлъ, тлѣлъ, да вдругъ какъ вспыхнетъ, и весь домъ загорѣлся, какъ свѣча. Всѣ мои саксы погибли, вся женина библиотека, старинныя дорогія вещи, бѣлье, платья, посуда, — ну, словомъ, все, все дочиста... Богъ, братецъ, мы и поселились поневолѣ въ этой деревушкѣ и въ этомъ скверномъ домишкѣ на голомъ мѣстѣ... и сами голые. Пуще всего мнѣ жаль моихъ саксовъ и моего Перуджино: остальное все наживное, а ужъ этого, братъ, ты знаешь, скоро не наживешь!.. Ужъ ты, душенька, извини насъ, если мы не угостимъ тебя такъ, какъ бы желали. Что дѣлать! Теперь чѣмъ Богъ послалъ. Да, пожалуйста, ты не говори ничего женѣ о пожарѣ. Она, братецъ, слышать до сихъ поръ не можетъ объ этомъ несчастии: это ее такъ раз-

строило, что она все еще не въ своей тарелкѣ, все не очень здорова, похудѣла и измѣнилась ужасно: она у меня вообще нервическая, а съ нервическими женщинами, mon cher, бѣда: съ ними надо имѣть большую осторожность... Такъ не говори же ей объ этомъ ни слова, пожалуйста, не проговорись.

Я успокоилъ его увѣреніями, и онъ принялся кричать:

— Трошка! Трошка! воды! умываться, одѣваться!..

И потомъ опять обратился ко мнѣ:

— Ты, братецъ, совсѣмъ въ арапа превратился отъ нашего чернозема... Скорѣй воды! Трошка!.. Я, братецъ, горю нетерпѣніемъ представить тебя женѣ моей... Поди скажи барынѣ, что я, дескать, сейчасъ приведу къ ней нежданнаго дорогого гостя... Какъ я радъ тебѣ! Ты не повѣришь, какъ радъ! А знаешь ли, что мнѣ взбрело въ голову? Не послать ли за Скуляковымъ. Онъ сейчасъ прикатитъ, онъ тебѣ обрадуется, — я знаю; вмѣстѣ проведемъ время, вспомнимъ старину...

— Я тебя только хотѣлъ просить объ этомъ,—перебилъ я.

— Ну. и прекрасно!.. Трошка! Трошка!

Трошка долго не являлся на крикъ барина.

Баринъ началъ свистать, хлопать въ ладоши, стучать ногой въ полъ, кричать: «Эге! эй, вы!» и проч. и взбудоражилъ своими криками весь домъ. Тогда не только Трошка, сбѣжалась вся дворня, тоже какъ будто со сна. Распоряженія о посылкѣ экипажа за Скуляковымъ были сдѣланы. Мы умылись, одѣлись и отправились въ гостиную. Сборная мебель въ этой комнатѣ была разставлена въ умышленномъ безпорядкѣ, такъ что почти проходу не было; на столѣ лежали какія-то книжки съ картинками и стоялъ рыцарь въ коротенькой кацавейкѣ съ капюшономъ, съ позолоченными ляжками и икрами и со вздернутыми кверху носками туфлей, державшій на палкѣ солнечную лампу; передъ среднимъ диваномъ разостланъ былъ коврикъ, а по угламъ торчали какія-то засохшія растенія. Во всемъ претензія и хвастовство, при отсутствіи средствъ, все напоказъ для другихъ, а не для себя, нигдѣ уюта и удобства. Въ этомъ домѣ охватывала

новаго человѣка тоска и чувствовалось отсутствіе жизни. Въ гостиной никого не было. Летищевъ подошелъ къ закрытой двери, которая, вѣроятно, вела на половину хозяйки, началъ стучать въ дверь и кричать:

— Душенька, душенька! я привелъ къ тебѣ гостя...

Слабый голосъ отвѣчалъ на этотъ крикъ:

— Сейчасъ...

Въ ожиданіи хозяйки я подошелъ къ двери, выходившей въ садикъ. Въ этомъ садикѣ, вмѣсто деревьевъ, торчали тоненькія палки съ засохшими и скорчившимися на нихъ листиками между кое-гдѣ прорывавшеюся зеленью. Противъ этой двери шла дорожка, усыпанная пескомъ, упиравшаяся въ некрашеный заборъ; а посрединѣ ея стояла какая-то печальная фигура женщины съ поднятою рукою, на пьедесталѣ, который былъ закрытъ цвѣтами, повѣсившими головки.

Черезъ нѣсколько минутъ хозяйка дома вошла въ комнату. Ей казалось на видъ лѣтъ около тридцати. Черты лица ея были неправильны, но имѣли выраженіе симпатическое. Густые и темные волосы, зачесанные гладко, но волнистые отъ природы, украшали ея болѣзненное лицо, въ которомъ не было кровинки. Въ ея свѣтло-карихъ небольшихъ глазахъ выражались не то тоска, не то утомленіе, — трудно было рѣшить съ перваго взгляда. Эти глаза изрѣдка вспыхивали, какъ я замѣтилъ потомъ, но не оживлялись, тусклымъ пламенемъ, какъ будто отъ внутренней боли, и опять потухали черезъ мгновеніе... Она казалась высока отъ страшной худобы, и во всей ея фигурѣ обнаруживалось по временамъ нервическое подергиванье, которое особенно было замѣтно въ движеніи ея блѣдныхъ и тонкихъ пальцевъ.

Летищевъ, представляя меня, назвалъ своимъ первымъ другомъ. Затѣмъ начались обыкновенные въ такихъ случаяхъ разспросы: «Давно ли я пріѣхалъ? надолго ли? живалъ ли я прежде въ деревнѣ?» и прочее. Голосъ ея былъ необыкновенно слабъ, она, говоря, какъ будто дѣлала нѣкоторое усиліе, иногда останавливалась посрединѣ фразы и глухо кашляла, приставляя платокъ къ губамъ. Все это съ

перваго раза поразило меня, возбудивъ участіе къ этой женщинѣ, и отбило всякое снисхожденіе къ моему товарищу.

Летищевъ отпускалъ безпрестанно неумѣстныя шуточки, хохоталъ отъ нихъ самъ во все горло и хвасталъ передъ женою своими великосвѣтскими знакомыми, безпрестанно предлагая мнѣ вопросы о разныхъ князьяхъ и графахъ — нашихъ товарищахъ и знакомыхъ, которыхъ онъ называлъ Васьками, Ѳедьками, Сашками и такъ далѣе. Здѣсь, рядомъ съ своею женою, въ своей домашней жизни, онъ уже показался мнѣ просто гадокъ, такъ что мнѣ стоило величайшихъ усилій скрывать это. Когда разговоръ прерывался, Летищевъ спѣшилъ поддерживать его такого рода выходками:

— Ну, милый другъ, скажи откровенно, вотъ при ней (онъ смотрѣлъ на меня и тыкалъ пальцемъ на жену), находишь ли ты во мнѣ способность вѣрно списывать портреты? Помнишь, братецъ, мое письмо къ тебѣ о ней?.. Ну, вотъ, теперь оригиналъ передъ тобою: находишь сходство?

И потомъ обращался къ ней по-французски:

— Я, когда былъ еще женихомъ, такъ описывалъ ему тебя. Не думай, чтобы я льстилъ тебѣ, ma chère, нѣтъ!.. съ тѣхъ поръ прошло, конечно, много времени; однако, ты мало измѣнилась, ей Богу, мало... немножко похудѣла и поблѣднѣла въ послѣднее время. Блѣдность, впрочемъ, тебѣ къ лицу.

И когда эту женщину начинало подергивать при такихъ выходкахъ, онъ бросался къ ней съ участіемъ и говорилъ, смотря ей прямо въ глаза:

— Что это, душенька, ты, кажется, нехорошо себя чувствуешь? Ты приняла бы этихъ капель, что прописалъ тебѣ Карлъ Ивановичъ...

Около обѣда пріѣхалъ Скуляковъ. Онъ такъ измѣнился, что если бы я встрѣтился съ нимъ гдѣ-нибудь случайно, я не узналъ бы его съ перваго взгляда. Волосы его посѣдѣли, лицо вытянулось. Глаза были какъ будто менѣе косы; но эти глаза, несмотря на свою косину, имѣли привлекательность, потому что въ нихъ замѣтенъ былъ умъ.

Кротость и спокойствіе, смѣшанныя съ грустью, выражались на этомъ лицѣ, которое никакъ нельзя было назвать дурнымъ. Въ его манерахъ, неловкихъ и грубоватыхъ, не было ничего ложнаго и искусственнаго. При немъ становилось легче и веселѣе, хотя онъ ничего не говорилъ веселаго: онъ вносилъ съ собою одушевленіе, хотя самъ былъ одушевленъ рѣдко и говорилъ мало. Только по своимъ манерамъ да по сжатію кулаковъ онъ напоминалъ мнѣ прежняго Скулячкова. Онъ встрѣтилъ меня радушно, но безъ всякихъ восторговъ.

Мнѣ показалось, что хозяйка дома обрадовалась, когда онъ вошелъ; у нея даже на мгновеніе вспыхнулъ румянецъ, и она протянула ему руку съ такою пріятною улыбкою, которая еще болѣе расположила меня къ ней. Такъ улыбаться могла только хорошая женщина.

Летищевъ обращался съ Скуляковымъ съ нѣсколько покровительственнымъ тономъ, на что, повидимому, Скуляковъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Когда мы съ нимъ разговорились въ первыя минуты, вспоминая наше прошедшее, Летищевъ безпрестанно перебивалъ насъ разными глупыми шуточками и восклицалъ, ударяя его по плечу и глядя на меня:

— Ну что, вѣдь такой же все чудакъ, какъ былъ въ пансіонѣ, не правда ли?.. А помнишь какъ я на дуэль-то хотѣлъ его вызвать? Онъ меня не любилъ въ пансіонѣ, знаю. Ну что, дружокъ, хорошенькаго? — говорилъ онъ, хватая Скулякова за талію и какъ бы подсмѣиваясь надъ нимъ.— Какія новости ты привезъ намъ изъ своей Бологовки... Долговки... чортъ знаетъ! я всегда путаюсь въ имени твоей резиденціи...

— Новаго? — возразилъ Скуляковъ, — видишь вонъ дождикъ пошелъ.

— Аа! слава Богу, слава Богу... Вотъ ты этой нашей радости не понимаешь, братецъ (онъ обратился ко мнѣ), а мы съ нимъ хозяева, владѣтели помѣстьевъ: такъ намъ это любо!.. Правда, Василій Васильичъ?

Крикливый и пронзительный голосъ Летищева разда-

вался безпрестанно. Послѣ пріѣзда Скулякова онъ каждыя пять минутъ повторялъ:

— Да скоро ли обѣдать? давайте обѣдать.

И насилу дождался этой блаженной минуты. Обѣдъ былъ порядочный, съ обыкновеннымъ столовымъ виномъ, которое онъ выдавалъ за лафитъ, и вызывалъ меня на похвалы каждому блюду, указывая притомъ на жену и повторяя:

— Это все она, она у меня хозяйка; несмотря на то, что занимается литературой вашей и разными серьезными предметами, а и хозяйственной частью не пренебрегаетъ...

— Полно, пожалуйста, какая я хозяйка!—перебивала она умоляющимъ голосомъ.

— Ну, сдѣлай милость! Къ чему излишняя скромность? — кричалъ Летищевъ. — Мы съ ней во многомъ сходимся, — продолжалъ онъ, жуя, облизывая губы, прерывая слова глотаньемъ и глядя на меня, — только вотъ у насъ съ ней вѣчные споры насчетъ этой... терпѣть ее не могу, проклятую... Жоржъ-Зандъ... въ этомъ мы никакъ сойтись не можемъ... Я, просто, отвращеніе, братецъ, чувствую къ этимъ блумеристкамъ, femmes emancipées. Женщина должна быть женщиной, по-моему.

Летищева не отвѣчала на это ни слова; но лицо ея приняло такое выраженіе, что мнѣ хотѣлось броситься на ея супруга, приколотить его и зажать ему ротъ. Онъ самъ замѣтилъ непріятное впечатлѣніе, произведенное на жену его послѣдними словами, и произнесъ:

— Ну, полно, душечка, полно... я шучу.

Вечеромъ, сидя на крылечкѣ дома, выходившемъ въ такъ называемый садикъ, Летищевъ началъ разсказывать намъ, какъ онъ распространитъ этотъ садъ, выроетъ въ немъ пруды, построитъ мостики, подсадитъ деревьевъ.

— Все это приметъ надлежащій видъ и будетъ очень мило...

— Право, душенька, — прибавилъ онъ, смотря на жену, — когда все это устроится и разрастется, ты мнѣ скажешь спасибо, я увѣренъ въ этомъ.

— Я ужъ не увижу этого, — прошептала она.

— Опять!.. — Летищевъ вздрогнулъ при этомъ шопотѣ, и лицо его приняло боязливо-плачевное выраженіе. — Ты это ты, ma chère! — произнесъ онъ слезливо, поцѣловалъ ея руку и сладко посмотрѣлъ ей въ глаза.

Драма, развивавшаяся въ этомъ домѣ, была замѣтна даже для глазъ ненаблюдательныхъ. Всякій посторонній человѣкъ долженъ былъ чувствовать стѣсненіе при видѣ этой жены и этого мужа.

Мнѣ, по крайней мѣрѣ, становилось нестерпимо тяжело и я чрезвычайно обрадовался, когда, на другой день вечеромъ, Скуляковъ предложилъ мнѣ отправиться къ нему въ деревню. Летищевъ сталъ было противиться этому, хотѣлъ даже прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ, отдавъ приказаніе своему Трошкѣ, чтобы не смѣли закладывать моего тарантаса. Я отговаривался дѣлами, желаніемъ побывать у Скулякова и наконецъ-таки настоялъ на своемъ. Мы простились съ хозяевами часовъ около восьми вечера. Тарантасъ мой отправился впередъ, а мы съ Скуляковымъ пошли пѣшкомъ. Летищевъ проводилъ насъ съ полверсты, пыхтя и задыхаясь, обнялъ меня на прощаньѣ, расцѣловалъ и даже разрюмился... Когда онъ исчезъ изъ виду, мнѣ стало легче, и это ощущеніе все постепенно усиливалось по мѣрѣ того, какъ мы удалялись отъ Никольскаго.

Вечеръ былъ чудесный. Все воскресло и оживилось послѣ дождя, который шелъ ночью и въ полдень. Воздухъ былъ пропитанъ пріятною влажностью. По очистившемуся небу проходили легкія, волокнистыя облака, принимавшія различные тона и краски. Вся тяжесть спала съ души моей, когда охватили меня просторъ полей и безмолвіе вечера. Я жадно впивалъ въ себя благоуханныя испаренія земли и травъ и съ наслажденіемъ, котораго давно не испытывалъ, смотрѣлъ на розовыя, какъ будто таявшія въ лазури облака, на мошекъ, которыя тучами вились передъ нами. Мнѣ было пріятно, что мы только двое въ этомъ просторѣ, что ни души не было окрестъ и никакого признака человѣческаго жилья... Съ каждымъ шагомъ нашимъ впередъ мѣстность становилась холмистѣе и разнообразнѣе. Мы спу-

стились подъ гору, перешли черезъ мостикъ, перекинутый черезъ небольшую рѣчку, поворотили направо по ея берегу и потомъ взяли влѣво къ дубовой рощѣ, которая вся облита была огнемъ заката и сквозила золотомъ.

Мы во все время ни слова не сказали другъ другу: намъ не приходило въ голову занимать другъ друга, и когда, выходя изъ рощи, Скуляковъ первый произнесъ: «Ну, вотъ и моя деревушка!», я даже вздрогнулъ отъ его голоса послѣ этой тишины. Роща отдѣлялась отъ деревни глубокимъ оврагомъ, заросшимъ кустами и деревьями. Деревья эти переходили на другой берегъ къ задамъ избъ. Домикъ изъ двухъ срубовъ, въ которомъ жилъ Скуляковъ, совсѣмъ новенькій, стоялъ почти у самаго берега оврага и отличался только отъ другихъ избъ своей величиною да тесовой крышей, выкрашенной красной краской. Домикъ этотъ поставленъ былъ наравнѣ съ другими избами и отдѣлялся отъ нихъ, какъ каждая изба отъ другой, только невысокимъ плетнемъ.

Здѣсь не было и признака того, что называется барской усадьбой. Послѣ смерти матери Скуляковъ сломалъ старый полусгнившій барскій домъ, а землю изъ-подъ усадьбы отдалъ своимъ крестьянамъ. Новый домикъ его, прикрытый съ задней стороны лѣскомъ, выходилъ, какъ вся деревня, переднимъ фасомъ на дорогу, за которой до самаго горизонта тянулись холмистыя пажити, прерываемыя шероховатыми пространствами срубленнаго лѣса, съ остатками выворочепныхъ пней, грудами хвороста и уродливо торчавшихъ корней... Влѣво чуть-чуть виднѣлась колокольня какого-то села.

Мы поднялись по лѣсенкѣ подъ навѣсомъ и вошли въ домъ.

Онъ состоялъ изъ четырехъ комнатъ съ оштукатуренными и выбѣленными стѣнами. Старинная кожаная мебель съ гвоздиками, оставшаяся ему послѣ матери, была перемѣшана въ этихъ комнатахъ съ прочною, но грубою мебелью работы домашняго столяра. Сидѣть и лежать на этихъ диванахъ и стульяхъ было съ непривычки жестковато. Когда мы усѣлись, чтобы отдохнуть, Скуляковъ сказалъ мнѣ:

— Извини, у меня нѣтъ мягкой мебели. Я самъ вырубленъ грубо изъ простого дерева, такъ завелъ и мебель по себѣ.

Стѣны комнатъ его были голыя: въ нихъ не было никакихъ украшеній, ничего безполезнаго. Шкапъ съ книгами и токарный станокъ стояли въ первой комнатѣ, служившей ему кабинетомъ. Надъ постелью въ слѣдующей комнатѣ висѣли два ружья: въ комнатѣ, гдѣ онъ обѣдалъ, разставлены были на простыхъ деревянныхъ полкахъ самоваръ и разныя хозяйственныя принадлежности. Вездѣ было свѣтло и чисто. Вся дворня Скулякова заключалась въ одномъ человѣкѣ, который былъ вмѣстѣ его камердинеромъ и поваромъ. Скуляковъ велѣлъ поставить самоваръ.

— А здѣсь душно, — сказалъ онъ, — пойдемъ-ка лучше посидимъ на вольномъ воздухѣ. Я не привыкъ къ комнатному, мнѣ въ четырехъ стѣнахъ неловко; а намъ чай принесутъ туда.

Я съ охотой принялъ это приглашеніе. и мы усѣлись на скамейкѣ передъ домомъ.

Наступали сумерки; заря догорала; облака блѣднѣли и тускли; на темнѣвшемъ небѣ мѣстами показывались звѣздочки; паръ начиналъ подниматься надъ полями, и тѣни ложились на росистую землю все шире и шире.

Намъ принесли чай, и я закурилъ сигару.

— Какъ у тебя хорошо здѣсь! — сказалъ я. — Я завидую твоей простой, неизуродованной жизни... Вотъ какою я всегда воображалъ деревню ..

Онъ улыбнулся.

— Да вольно же вамъ уродовать свою жизнь! — замѣтилъ онъ и произнесъ послѣ минуты молчанія. — Нѣтъ, это вѣдь тебѣ такъ кажется .. Два - три дня ты проживешь здѣсь съ удовольствіемъ, — я повѣрю, — а потомъ начнешь скучать. Вы люди избалованные; вамъ простота нравится, какъ диковинка; вы ужъ сложились, господа, не такъ; вы и въ деревню вносите съ собой ваши затѣи и прихоти и портите ее... Нѣтъ, что ни толкуй, ты долго не выдержалъ бы здѣсь. Это такъ только ты увлекаешься деревней въ первую минуту...

— Не всякой же деревней, — отвѣчаль я, — вотъ въ деревнѣ Летищева, напримѣръ, я ни за что бы не согласился жить... А онъ погорѣлъ, бѣдный?

— Какъ погорѣлъ?

Я началъ было передавать разсказъ Летищева о пожарѣ, но Скуляковъ не дослушалъ меня и перебилъ:

— Это ложь, глупая и безстыдная ложь. Этотъ человѣкъ весь изолгался. Никакой такой деревни и ничего подобнаго у него никогда не существовало... Онъ совсѣмъ разоренъ, а все еще носъ поднимаетъ; хочетъ корчить богатаго; да теперь у насъ не найдешь въ цѣлой губерніи такого дурака, котораго онъ могъ бы надуть, — а ихъ довольно у насъ. Онъ потерялъ всякій стыдъ, всякую совѣсть, крестьянъ разорилъ въ прахъ, все обобралъ у нихъ, хлѣбъ запродаетъ на корню разнымъ лицамъ въ одно время и беретъ съ нихъ задатки. Для этихъ продѣлокъ онъ нарочно ѣздитъ въ Москву, потому что здѣсь съ нимъ никто дѣла не хочетъ имѣть. Въ прошломъ году продалъ онъ на срубъ отличную дубовую рощу, которая росла у него за домомъ; теперь только одни пни торчатъ. Долженъ всѣмъ кругомъ и на заемныя письма, и на честное слово; вездѣ запакостилъ себѣ дорогу; всѣ бегутъ отъ него, — онъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, ходитъ гоголемъ, оретъ, хохочетъ, лѣзетъ ко всѣмъ; въ карты садится съ незнакомыми, выигрываетъ — беретъ, проигрываетъ — не платитъ .. Э, да всѣхъ продѣлокъ его и не пересчитаешь!.. Пусть бы губилъ себя... чортъ съ нимъ!.. а онъ загубилъ...

Скуляковъ не договорилъ и замолчалъ.

— Жена его... — началъ я послѣ минуты молчанія, — это, по всему видно, отличная женщина... Но на нее смотрѣть тяжело... Она, кажется, еле дышитъ... Неужели же она вышла за него по любви?

— Ее полумертвую притащили подъ вѣнецъ — вотъ по какой любви! — прервалъ меня Скуляковъ, вспыхнувъ, — маменька промоталась изъ барскаго тщеславія и хотѣла поправить дочернимъ бракомъ свои дѣлишки, а Латищевъ — деньгами жены хотѣлъ поправить свои. Оказалось, что ни

у той, ни у другого ничего не было: теща надула зятя, зять надулъ тещу... И какія были между ними сцены послѣ этого брака!.. Нѣтъ! лучше ужъ объ этомъ и не вспоминать. Маменька умерла: ея барская спесь не перенесла того, когда она узнала, что ея афера не удалась. Кабы одно несчастіе дочери, это бы еще ничего: пусть бы дочь чахла, — только бы съ деньгами, которыя бы она у нея обирала: тогда бы маменька до сихъ поръ благоденствовала... И родятся же у такихъ матерей такія дочери! Я зналъ жену Летищева еще дѣвочкой: это было чудесное, необыкновенное дитя. Съ раннихъ лѣтъ она обнаруживала прямоту, твердость и благородство, и, несмотря на то, что мать употребляла всѣ усилія, чтобы изуродовать и исказить ее, она не успѣла въ этомъ. Воспитаніе ей давали самое пустое, самое внѣшнее, для блеска; денегъ на нее не щадили, за границу возили, и все изъ того, чтобы сдѣлать изъ нея бездушную свѣтскую куклу — ничего не взяло: она сама себя перевоспитала. Натура-то, значитъ, настоящая!.. И чего только она не перенесла, бѣдняжка! одинъ Богъ знаетъ... Первую минуту, когда ей объявили, что она должна быть непремѣнно его женою, она не могла перенести этой мысли и чуть было не посягнула на жизнь: она хотѣла утопиться; за ней слѣдили, ее спасли... Лучше бы, кажется, было не спасать!.. Потомъ маменька, убѣдясь, что угрозой съ ней ничего не сдѣлаешь, притворилась умирающею, убитою, несчастною, призвала на помощь все свое лицемѣріе и всю свою хитрость. Дѣлать было нечего. Вышла она замужъ... думала покориться обстоятельствамъ, но когда разглядѣла поближе своего мужа... ахъ, страшно вспомнить!.. я былъ невольный свидѣтель всего этого... вся природа ея возмутилась противъ этого человѣка, она почувствовала къ нему непреодолимое отвращеніе: его голосъ, звукъ его шаговъ въ сосѣдней комнатѣ приводили ее въ содроганіе... Она все это подавляла въ себѣ, скрывала; да иногда силъ не хватало: упадетъ, бывало, безъ чувствъ и валяется въ судорогахъ на полу; а онъ ничего не понимаетъ, бѣгаетъ около нея въ отчаяніи, плачетъ, молится, крестится, ладонку ей

свою на грудь вѣшаетъ, суетъ ей спиртъ подъ носъ, обливаетъ голову холодной водой... Она очнется, взглянетъ, да какъ увидитъ его передъ собою — еще хуже... Когда все это пройдетъ, она убѣжитъ въ свою комнату и спрячетъ голову подъ подушку; а онъ за ней — это разъ было при мнѣ, начинаетъ хныкать, кричать: «Взгляни на меня... Что съ тобой, Сашенька? Я тебя, говоритъ, люблю больше жизни, а ты меня не любишь... Я, говоритъ, несчастный!», бьетъ себя въ грудь, валяется у нея въ ногахъ, цѣлуетъ ея ноги... Онъ вѣдь не злой, сердце у него доброе... и нельзя сказать, чтобы совсѣмъ былъ глупъ, а легкомысліе и мелочность довели его до совершенной глупости и превратили въ зловреднѣйшаго человѣка. Такого рода добрыя сердца во сто разъ хуже злыхъ!.. Теперь ужъ онъ не пристаетъ къ ней такъ, какъ первое время: онъ, мнѣ кажется, догадывается, что она его переносить не можетъ, да боится въ этомъ сознаться самому себѣ и обольщаетъ себя увѣреніями, что ему это такъ кажется. Онъ боится дѣйствительности, какъ огня, онъ не живетъ дѣйствительною жизнью, а пребываетъ все въ какихъ-то глупыхъ фантазіяхъ, которыя довели его до совершеннаго нравственнаго разслабленія... У нея прекратились обмороки и припадки, потому что у нея жизнь прекращается. Теперь у нея только вздрагиванья да замиранья въ сердцѣ.

Скуляковъ махнулъ рукой и отвернулся.

— Дай Богъ только, — продолжалъ онъ, — чтобы ей дали умереть спокойно; а то я начинаю бояться, что и этого не будетъ. Не сегодня, завтра, земскій судъ нахлынетъ къ нему, опишутъ все. Дворянство противъ него озлоблено, и подѣломъ: онъ послѣднее время такую скверную штуку сдѣлалъ... Впрочемъ, хорошо и дворянство, выбирающее такого рода людей!

Мы проговорили съ нимъ чуть не до разсвѣта.

Я пробылъ у Скулякова три дня, которые останутся навсегда самыми чистыми воспоминаніями въ моей жизни. Ни откуда не выѣзжалъ я съ такимъ сожалѣніемъ и ни съ кѣмъ не разставался съ такою грустью.

Съ мѣсяцъ тому назадъ я получилъ отъ него слѣдующее письмо:

«Обстоятельства заставляютъ меня прибѣгнуть къ тебѣ съ покорнѣйшею просьбою. Мнѣ невозможно оставаться въ деревнѣ, и я рѣшился переѣхать въ Петербургъ, а для того, чтобы имѣть средства къ существованію, долженъ посвятить себя службѣ. У тебя много знакомыхъ: неприищешь ли ты черезъ нихъ какого-нибудь мѣстечка для меня? Тебѣ извѣстно, что я довольствуюсь малымъ и честно исполняю обязанности, которыя беру на себя. Для меня *долгъ* прежде всего. Выручи меня, Бога ради, отсюда. Я здѣсь оставаться не могу. Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Ты этимъ меня крайне обяжешь... Жена Летищева умерла».

На-дняхъ я узналъ, что незадолго до ея смерти земскія власти должны были приступить къ описыванію движимаго имущества Летищева. Скуляковъ предупредилъ это. Онъ отдалъ весь свой маленькій капиталъ Летищеву, — не для того, чтобы спасти его отъ неизбѣжнаго позора но для того, чтобы дать ей умереть спокойно.

ХЛЫЩЪ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.

(DE LA HAUTE ÉCOLE).

Вмѣсто вступленія

Я хочу изобразить... чуть было не сказать *воспѣть*, потому что предметъ достоинъ поэмы, — самаго утонченнѣйшаго и безукоризнѣйшаго изъ всѣхъ хлыщей — хлыща *высшей школы* (de la haute école), передъ которымъ мой великосвѣтскій хлыщъ долженъ показаться жалкимъ, неуклюжимъ и грубымъ, потому что между нимъ и хлыщомъ высшей школы почти такая же разница, какая между простымъ, хотя и породистымъ пуделемъ, бѣгающимъ по улицѣ, и тѣмъ изящнымъ пуделемъ высшей школы, развившимся подъ ученымъ руководствомъ г. Эдвардса, который показывается въ циркѣ г-жи Лорры Бассенъ и Комп. Если бы всѣ въ мірѣ лошади, собаки, люди, насѣкомыя проходили чрезъ высшую школу — Боже мой! въ какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда міръ, но, къ несчастію міра, не всѣ одинаково способны подвергаться этой школѣ. И странно! всѣхъ неспособнѣе и непокорнѣе въ этомъ случаѣ — человѣкъ — существо разумное. Его иногда труднѣе вышколить, чѣмъ какую-нибудь блоху — это едва за-

мѣтное, неуловимое и неразумное насѣкомое; но зато, когда человѣкъ оказывается способнымъ пройти черезъ высшую школу — онъ становится прекрасенъ, великъ — и всѣ шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы блѣднѣютъ и уничтожаются передъ нимъ!..

Если бы какой-нибудь предпріимчивый и почтенный господинъ, въ родѣ г. Барнума, вздумалъ, вмѣсто ученыхъ собакъ, блохъ, лошадей, дѣвицъ-альбиносокъ, сиренъ и Томъ-Пусовъ, развозить на удивленіе Стараго и Новаго Свѣта любопытнѣйшіе и отборнѣйшіе сорта хлыщей, этотъ новый и оригинальный родъ промышленности доставилъ бы ему, я убѣжденъ въ этомъ, колоссальное богатство. Нѣтъ сомнѣнія, что особенную выгоду могли бы, въ этомъ случаѣ, представлять хлыщи высшей школы. На ихъ изящнѣйшія манеры, на ихъ утонченную выправку, на ихъ безподобную недоступность и исполненную чудной граціи величавость стекались бы смотрѣть милліоны народа, потому что народъ вообще падокъ на всѣ великолѣпныя зрѣлища, любитъ глазѣть на все высшее, на все выходящее изъ-подъ обыкновеннаго уровня.

Я желалъ бы вывести передъ любознательною публикой моего хлыща высшей школы во всемъ его блескѣ и красотѣ, такъ. какъ выставляютъ дѣвицъ-альбиносокъ, великановъ и другія чудныя явленія природы, поставить его на вертящіяся подмостки, устланныя бархатомъ или моветомъ и уставленныя бананами и другими тропическими растеніями, и, тихо повертывая подмостки, доставить почтеннымъ посѣтителямъ случай въ подробности разсмотрѣть его со всѣхъ сторонъ. Но, увы! это невозможно. Такія совершенныя созданія, къ какимъ принадлежитъ мой настоящій хлыщъ, не отдаютъ себя на прокатъ, какъ это случается съ хлыщами другого рода, — и для того, чтобы дать понятіе о немъ, я поневолѣ долженъ прибѣгнуть просто къ его описанію, чувствуя заранѣе, что предлагаемый поверхностный снимокъ не передастъ и десятой доли тѣхъ красотъ и совершенствъ, которыми обладаетъ несравненный оригиналъ.

ГЛАВА I.

Если вы, мой читатель, принадлежите къ жителямъ Петербурга, вамъ, вѣроятно, случалось встрѣчать въ театрѣ, въ клубѣ (разумѣется англійскомъ), на улицахъ или въ салонахъ (если вы ѣздите въ большой свѣтъ) высокаго, полнаго, среднихъ лѣтъ господина, держащаго себя очень прямо, одѣтаго съ изящною и строгою простотою, безъ всякихъ изысканныхъ и бросающихся въ глаза украшеній и нововведеній: безъ стеклышекъ, англійскихъ проборовъ и тому подобнаго, съ движеніями медленно-важными, съ взглядами вѣчно холодными и даже нѣсколько суровыми, съ лицомъ неподвижнымъ, но проникнутымъ высокимъ сознаніемъ своего превосходства, на которомъ появляется только легкая тѣнь пріятной улыбки, когда господинъ этотъ заговариваетъ съ значительнымъ лицомъ или когда значительное лицо съ нимъ заговариваетъ .. Вы, вѣрно, замѣтили, что не только его безстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки — все одинаково проникнуто сознаніемъ своихъ совершенствъ; что онъ поворачиваетъ шею только въ самыхъ важныхъ обстоятельствахъ, только тогда, когда очень значительное лицо обращается къ нему или онъ обращается къ очень значительному лицу; что онъ протягиваетъ руку только избраннѣйшимъ изъ избранныхъ; что онъ ходитъ такъ, какъ будто дѣлаетъ честь тротуару или паркету, къ которому прикасается... Если вы видѣли такого господина, то вы уже имѣете нѣкоторое понятіе о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминаетъ нѣсколько Командора въ «Донъ-Жуанѣ»...

Но подумайте, мой провинціальный читатель, чтобы я преувеличивалъ передъ вами совершенства моего героя - благоговѣйнаго уваженія къ нему. (Я употребляю возвышенное слово *герой*, вышедшее нынѣ изъ употребленія, потому что говорю о возвышенномъ предметѣ.) Какое преувеличеніе, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосвѣтскій Петербургъ... Всѣ, имѣющіе счастье пользоваться знакомствомъ

его, подтвердятъ вамъ, что онъ ведетъ себя съ такою безукоризненностью, съ какою можетъ только вести себя господинъ, прошедшій черезъ всѣ искусы высшей школы. Никто и никогда не видѣлъ его ни на улицѣ, ни въ театрѣ, ни въ клубѣ съ человѣкомъ, не принадлежащимъ къ высшему свѣту, съ inconnu; никто и никогда не видалъ его смѣющимся, онъ позволяетъ себѣ только слегка улыбаться въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ замѣчено выше; никто и никогда не видѣлъ его удивляющимся, — онъ ничему не удивляется, какъ всѣ люди безукоризненнаго тона; никто и никогда не замѣтилъ, чтобы въ разговорѣ онъ возвышалъ или понижалъ голосъ, — онъ говоритъ плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее изъ устъ его, должно, кажется, осчастливить того, къ кому относится; никто и никогда не видалъ его аплодирующимъ въ театрѣ, потому что аплодируютъ люди увлекающіеся, т.-е. люди плохо вышколенные или, просто, люди дурного тона. Даже и въ такія исключительныя минуты, когда, бывало, Рубини въ «Лучіи», въ сценѣ проклятія, потрясалъ весь театръ своими раздирающими душу звуками и невольно извлекалъ слезы даже изъ глазъ людей хорошаго тона и ихъ заставлялъ забываться, аплодировать и кричать вмѣстѣ съ толпою, — даже и тогда онъ оставался въ своемъ обыкновенномъ, безподобномъ и величавомъ равнодушіи.

Надобно видѣть, съ какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подаетъ ему шинель или пальто, когда онъ выѣзжаетъ изъ дома; съ какимъ благоговѣніемъ провожаетъ его гордый и толстый швейцаръ и усаживаетъ въ сани; съ какимъ глубокимъ уваженіемъ капельдинеръ, кланяясь, отворяетъ ему дверь его абонированной ложи; какъ увивается около него дворецкій Англійскаго клуба въ тотъ день, когда онъ кушаетъ въ клубѣ. Но всѣ эти знаки почтенія, благоговѣнія, подобострастія пропадаютъ даромъ. Онъ, кажется, не подозрѣваетъ о существованіи на свѣтѣ лакеевъ, швейцаровъ, капельдинеровъ, дворецкихъ и прочаго и полагаетъ, что все является и отворяется передъ нимъ, все снимается съ него и надѣвается на него по мановенію волшебнаго жезла. Одинъ только разъ онъ чуть-чуть

повелъ глазомъ на своего лакея, у котораго бѣлый галстукъ былъ нѣсколько измятъ и имѣлъ не совсѣмъ свѣжій видъ, и, обратясь къ своему мажордому, произнесъ строго-спокойнымъ голосомъ:

— Чтобъ *этого* сегодня же не было здѣсь...

Въ клубъ герой мой пріѣзжаетъ обыкновенно позже всѣхъ и садится за особенный столъ... За обѣдомъ онъ кажется еще прекраснѣе. Онъ кушаетъ съ большимъ аппетитомъ, но не обнаруживаетъ его ни взглядами, ни движеніями, какъ люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, онъ не пьетъ, а только вдыхаетъ въ себя его ароматъ, хотя его бутылка опорожняется къ концу обѣда такъ же, какъ и у другихъ, которые просто пьютъ. Послѣ обѣда онъ садится за карты и играетъ по большой и съ людьми значительными. Онъ къ картамъ не имѣетъ особенной страсти (да и вообще онъ не имѣетъ никакихъ страстей, потому что страстями одержимы только люди *вульгарные*), а играетъ по расчету, для поддержанія своихъ связей и значенія, сохраняя постоянно величавое равнодушіе и спокойствіе при выигрышѣ и при проигрышѣ... Но виноватъ, — я, кажется, увлекаясь моимъ героемъ, забѣгаю немного впередъ и заранѣе прошу у читателя извиненія только за небольшое отступленіе по поводу картъ. Я не могу на минуту не остановиться на этомъ предметѣ. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умѣете играть въ карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорѣй, не теряя времени. Посредствомъ картъ въ Петербургѣ (я не знаю, какъ въ другихъ европейскихъ столицахъ) завязываются наитѣснѣйшія связи, пріобрѣтаются значительныя знакомства, упрочивается тѣснѣйшая дружба и, что важнѣе всего, получаются выгоднѣйшія мѣста. Пріобрѣтя опытъ жизни, я очень сожалѣю теперь, что не посвятилъ себя въ началѣ моего поприща изученію ералаша, преферанса съ табелькой, пикета и *палокъ*. Кто знаетъ, по примѣру многихъ другихъ, я черезъ карты легко могъ бы сдѣлать прекрасную карьеру и, вмѣсто того, чтобы подвизаться на неблагодарномъ и скользкомъ литературномъ поприщѣ, я уже пользовался бы теперь значеніемъ, имѣлъ бы приличный моимъ лѣтамъ чинъ, былъ

бы окруженъ подчиненными, смотрящими мнѣ въ глаза, распоряжался бы участью нѣсколькихъ сотъ подвѣдомственныхъ мнѣ людей (что очень прiятно) и преслѣдовалъ бы всѣхъ сатирическихъ писателей, которые раскрываютъ, какъ говоритъ Гоголь, «наши общественныя раны»...

Однако, все это нейдетъ къ дѣлу, и мнѣ давно пора сказать, какое общественное положенiе занимаетъ мой утонченный герой въ свѣтѣ, и познакомить любознательныхъ читателей съ его бiографiей.

ГЛАВА II.

Онъ сынъ очень почетнаго отца, который умомъ трудолюбiемъ и, какъ прибавляютъ люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемѣрiемъ самъ проложилъ себѣ блистательную карьеру. Почтенный родитель прозывался Бѣлогривовымъ, отъ села Бѣлыя Гривы, въ которомъ родился, и оттого еще, можетъ быть, что волосы его въ дѣтствѣ были бѣлы, какъ ленъ. Это прозвище такъ и осталось за нимъ, и никто, конечно, не подозрѣвалъ, что со временемъ оно обратится въ громкую и блестящую фамилiю. Въ лѣтахъ отрочества онъ бѣгалъ еще по деревнѣ въ затрапезномъ халатѣ, а въ сорокъ пять лѣтъ пользовался уже значенiемъ въ Петербургѣ и вступилъ въ бракъ съ дѣвицею довольно извѣстной дворянской фамилiи, за которою взялъ 500 душъ. На шестидесятилѣтнемъ возрастѣ онъ достигъ всего, къ чему съ такою жадностью стремятся люди: чиновъ, окладовъ, почета, уваженiя, связей. Въ новый годъ и свѣтлый праздникъ столы его были завалены визитными карточками съ самыми блестящими именами, а въ передней лежали груды листовъ, исписанныхъ посѣтителями. Въ домашней жизни Богъ также благословилъ его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и прiятныхъ формъ, кромѣ того, обладала замѣчательными нравственными достоинствами: характеромъ твердымъ и рѣшительнымъ, вслѣдствiе котораго держала бразды домашняго правленiя очень туго, и глубочайшимъ знанiемъ свѣтскаго

такта и всѣхъ мелочныхъ свѣтскихъ обычаевъ и привычекъ. Ея любовь къ супругу и заботливость о немъ не имѣли границъ: она сама распоряжалась всѣми его деньгами; сама разбирала отчеты по имѣнію; сама назначала ему камердинеровъ и смѣняла ихъ по своему произволу; сама ежедневно клала въ его бумажникъ извѣстную сумму денегъ; приказывала, какихъ лошадей закладывать въ его карету; безусловно распоряжалась постоянно находившимся при немъ курьеромъ, — и одинъ взглядъ генеральши имѣлъ силы несравненно болѣе, чѣмъ слово генерала, повторенное десять разъ... «Другъ мой, — говорила она съ чувствомъ супругу, — ты слишкомъ занятъ важными государственными дѣлами, и я не допущу тебя входить ни въ какія домашнія дрязги. Это ужъ мое дѣло». Дѣти (имъ Богъ даровалъ двухъ прелестныхъ малютокъ — мальчика и дѣвочку) развивались также подъ ея исключительнымъ и неусыпнымъ наблюденіемъ.

Нѣжная и любящая мать въ мысляхъ своихъ приготовляла для нихъ блистательную будущность и все воспитаніе ихъ направила на то, чтобы сдѣлать ихъ безукоризненными въ свѣтскомъ отношеніи. Имъ предстояла важная обязанность, высокій долгъ поддерживать честь и славу рода Бѣлогривовыхъ.

Въ характерѣ этихъ дѣтей, съ самаго ранняго дѣтства, обнаружилась рѣзкая разница. Викторъ, любимецъ матери и герой этого разсказа, былъ истиннымъ утѣшеніемъ родителей. Его называли необыкновеннымъ ребенкомъ, и онъ былъ дѣйствительно необыкновенный ребенокъ, потому что, къ удивленію взрослыхъ, не кричалъ, не шалилъ и не рѣзвился, какъ обыкновенныя дѣти. Прекрасный, румяный и полный малютка во всемъ обнаруживалъ что-то въ родѣ разсудительности, сдержанности и какъ будто чувства собственнаго достоинства. Онъ входилъ въ комнату, раскланивался, танцовалъ, игралъ въ куклы, говорилъ съ другими дѣтьми и даже каталъ обручъ по дорожкѣ сада съ серьезностью и важностью, приводившею въ восторгъ не только его родителей, но даже и постороннихъ. Викторомъ всѣ восхищались и всѣ отзывались о немъ съ похвалою, исключая, впрочемъ, домаш-

ней прислуги, съ которою онъ обращался, несмотря на свой нѣжный возрастъ, такъ повелительно и съ такимъ пренебреженіемъ, что маменька даже принуждена была останавливать его замѣчаніями, что съ людьми надо быть повѣжливѣе. Но, останавливая его, она въ то же время думала съ тайнымъ удовольствіемъ и гордостью, что такъ рано обнаруживающееся въ немъ отвращеніе ко всему *низшему* — признакъ благородной крови Балахиныхъ, которая течетъ въ его жилахъ (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничныя, не принимая этого въ соображеніе, смотрѣли на барченка съ совершенно другой точки зрѣнія и такъ отзывались о немъ: «Вишь, щенокъ, еще чуть отъ земли видно, еще молоко на губахъ не обсохло, а туда же, какъ большой хорохорится и горло деретъ».

Сестра Виктора, Сонечка, была дѣвочка худенькая, блѣдная, слабая здоровьемъ и ничѣмъ особеннымъ не отличавшаяся отъ другихъ дѣтей. Она, въ противоположность своему брату, пользовалась большимъ благоволеніемъ всей дворни за свою доброту и мягкость, которыя выражались въ ея блѣдныхъ карихъ глазахъ и во всѣхъ чертахъ ея привлекательной бѣлокурой головки Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умѣла вести себя съ достоинствомъ, не имѣла того такта, которымъ такъ изумительно владѣлъ Викторъ чуть не съ колыбели; она была одинаково привѣтлива и радушна съ маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и съ Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, съ тайнымъ сокрушеніемъ смотрѣвшая на нее, ни неподвижная миссъ Генріетта, ея гувернантка, воспитывавшая нѣкогда, по ея словамъ, миссъ Арабеллу, дочь какого-то лорда, и исполненная самыхъ аристократическихъ претензій, не могли внушить Сонечкѣ того чувства гордаго сознанія, которое безспорно должно было одушевлять дѣвушку, — дочь отца, такъ высоко стоявшаго на ступеняхъ общественныхъ почестей, дѣвушку, предназначенную для высшаго свѣта... Кровь Балахиныхъ еще молчала въ ней.

Однажды, на дачѣ, гуляя съ миссъ Генріеттой, Сонечка (ей было уже въ это время лѣтъ 13) повстрѣчала нищую, хо-

рошенькую дѣвочку лѣтъ восьми, въ лохмотьяхъ, которыя едва прикрывали ее. Дѣвочка эта очень понравилась Сонечкѣ, которая остановила ее, съ участіемъ разспрашивала — откуда она, и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла къ нимъ на дачу. Бѣдная дѣвочка эта цѣлый день не выходила у нея изъ головы, даже снилась ей ночью. На слѣдующее утро она не отходила отъ окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула отъ радости, побѣжала ей навстрѣчу и тихонько провела ее въ свою комнату. Она надарила ей разныхъ вещей и такъ растрогала дѣвочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась къ ней и схватила ея руку, чтобы поцѣловать; но Сонечка отдернула руку и поцѣловала дѣвочку... Въ минуту этого поцѣлуя на порогѣ двери появилась строгая и неподвижная миссъ Генріетта. Такое зрѣлище привело бывшую воспитательницу дочери лорда въ страшное негодованіе... Она приказала сейчасъ нищей выйти вонъ и, обратясь къ своей воспитанницѣ, прочла ей длинное, строгое и краснорѣчивое наставленіе, мысль котораго заключалась въ томъ, что хотя благотворительность дѣло похвальное и хотя помогать бѣднымъ должно, но водить къ себѣ въ комнату нищихъ, обниматься и цѣловаться съ ними дѣвушкѣ столь высокаго происхожденія неприлично и непростительно. Миссъ Генріетта ссылалась на свою бывшую воспитанницу, миссъ Арабеллу, умѣвшую всегда соединять похвальныя движенія сердца съ чувствомъ своего аристократическаго достоинства, и наконецъ привела Сонечкѣ въ примѣръ ея собственнаго брата, который, несмотря на то, что моложе ея, могъ уже служить для нея во всѣхъ отношеніяхъ образцомъ. Сонечкѣ постоянно всѣ безпрестанно ставили въ примѣръ брата; она не могла не видѣть, что вся нѣжность родителей была обращена къ нему, и, несмотря на это, ни малѣйшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала къ нему самую нѣжную привязанность съ дѣтства.

До пятнадцати лѣтъ она обнаруживала характеръ очень воспріимчивый, сообщительный, живой и пылкій. Она передавала брату всѣ впечатлѣнія, ощущенія и мысли, начинавшія зарождаться въ ней. Она искала въ немъ отзыва

и сочувствія, но всякій разъ послѣ своихъ задушевныхъ признаній чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. Братъ выслушивалъ ее спокойно и равнодушно, безъ всякаго участія, и Сонечка объясняла это тѣмъ, что онъ не можетъ еще понимать ее, потому что слишкомъ молодъ.

Пылкость ея начинала однако охлаждаться съ лѣтами, можетъ быть, вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія, которое усиливалось въ ней вмѣстѣ съ ея раннимъ и быстрымъ нравственнымъ развитіемъ, на которое никто не обращалъ вниманія. Въ восемнадцать лѣтъ у нея обнаружились такія грудныя страданія, которыя она, при всей своей терпѣливости, не могла скрывать. Созванъ былъ консиліумъ. Доктора рѣшили, что она имѣетъ расположеніе къ чахоткѣ и что поэтому за ней необходимо имѣть строгій медицинскій надзоръ. Домашній докторъ Бѣлогривовыхъ, очень важный господинъ, пользовавшійся въ городѣ огромною репутаціей и довѣренностью, представилъ къ нимъ въ домъ одного молодого доктора, который долженъ былъ, подъ его главнымъ руководствомъ, имѣть постоянное наблюденіе за ходомъ ея болѣзни. Молодой докторъ началъ ѣздить въ домъ Бѣлогривовыхъ всякій день. Онъ ухаживалъ за больною съ необыкновенною заботливостью и вниманіемъ, и черезъ нѣсколько времени она замѣтно стала поправляться. Докторъ продолжалъ однако навѣщать ее такъ же часто. Онъ былъ человѣкъ образованный, большой поклонникъ Шекспира и Вальтеръ-Скотта и, кромѣ того, страстный охотникъ до музыки. Онъ скоро сдѣлался у Бѣлогривовыхъ почти домашнимъ человѣкомъ. Генералъ и генеральша оказывали ему большое вниманіе, видя его заботливость о больной; миссъ Генріетта полюбила его за то, что онъ говорилъ съ нею по-англійски и декламировалъ наизусть монологи изъ «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (въ это время никто уже не называлъ ее Сонечкой) обнаруживала къ нему также большую симпатію: она была тронута его участіемъ и вниманіемъ къ ней; притомъ его образованіе, умъ и расположеніе къ музыкѣ, —все это производило на нее сильное впечатлѣніе. У нея были очень замѣчательныя музыкальныя способности, и она играла на фор-

тепіано съ большимъ вкусомъ, тонкостью и чувствомъ. Докторъ также игралъ на фортепіано недурно, и они иногда вмѣстѣ разучивали любимыя пьесы. Она до того привыкла къ доктору, что въ тотъ день, когда онъ не пріѣзжалъ, чувствовала, что ей какъ будто недостаетъ чего-то.

На ея привязанность къ нему, усиливавшуюся постепенно, не обращалъ никто вниманія. Генералъ видался съ дѣтьми два раза въ день: на минуту утромъ, когда они приходили съ нимъ здороваться, и за обѣдомъ. Генеральша привыкла смотрѣть на доктора, какъ на домашняго человѣка, какъ на своего дворецкаго или на свою ключницу, и подозрѣніе о привязанности къ нему ея дочери не могло даже притти ей въ голову. Къ тому же она приняла доктора подъ особое свое покровительство, потому что онъ лѣчилъ даромъ всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли въ свѣтъ, но, послѣ двухъ или трехъ баловъ болѣзненные припадки ея снова возобновились, — и эти выѣзды должны были прекратиться къ ея величайшему удовольствію, потому что послѣ каждаго бала маменька, недовольная ею, дѣлала ей очень жесткіе выговоры и читала предлинныя морали. Генеральша огорчена была тѣмъ, что появленіе въ свѣтъ ея дочери не произвело того впечатлѣнія, какого она желала и могла надѣяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ея воспитаніе не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря на все вниманіе и заботливость о ней, не оправдываетъ ожиданіе родителей, и такъ далѣе.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила ихъ съ покорностью и твердостью. Иногда только, когда гнѣвъ ея маменьки, по какому-нибудь незначительному поводу, выходилъ изъ предѣловъ и разражался оскорбительными и вовсе несвѣтскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибѣгала къ брату и высказывала ему свое огорченіе. Викторъ Александрычъ былъ въ это время уже студентомъ. Онъ обыкновенно молча выслушивалъ ее и съ свойственною ему разсудитель-

ностью не по лѣтамъ говорилъ, что если маменька и не совсѣмъ справедлива въ отношеніи къ ней, оскорбляя ее нѣкоторыми словами и замѣчаніями, которыя бы, конечно, не слѣдовало произносить, то въ сущности она все-таки права, потому что желаетъ ей добра, и безпрестанно твердилъ ей, какъ и маменька, о томъ, что ей необходимо выѣзжать чаще въ свѣтъ.

Послѣ одного изъ такихъ объясненій съ братомъ ей пришла въ первый разъ въ голову мысль, что онъ человѣкъ холодный, безъ сердца. Какъ ни отгоняла она отъ себя этой мысли, но она неотвязчиво преслѣдовала и мучила ее нѣсколько дней. Софья Александровна старалась, впрочемъ, всячески оправдывать брата и увѣряла себя, что эта мысль совершенно нелѣпая; что Викторъ напротивъ имѣетъ прекрасное сердце, порывы котораго онъ только боится обнаруживать, и что эту наружную холодность и недоступность онъ заимствовалъ отъ своего воспитателя, имѣвшаго на него большое вліяніе, бездушнаго формалиста г. де-Шардона, который былъ помѣшанъ на старой французской аристократіи, разыгрывалъ какого-то маркиза и не признавалъ никакихъ авторитетовъ, кромѣ Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала въ соображеніе, что неподвижная и суровая миссъ Генріетта не успѣла же задушить въ ней, несмотря на всѣ свои усилія, человѣческія увлеченія и порывы сердца. Сваливая всю вину на г. де-Шардона, Софья Александровна обыкновенно нѣсколько успокоивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной съ братомъ. Характеръ ея замѣтно измѣнялся, она становилась серьезнѣе, сосредоточеннѣе, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холодъ блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человѣкъ, которому иногда она высказывалась, былъ докторъ.

Софьѣ Александровнѣ былъ уже 21 годъ. Здоровье ея было слабо, и поэтому выѣзжала она въ свѣтъ рѣдко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить въ безпокойство и помышлять, какимъ бы образомъ прилично устроить ея участь.

Викторъ Александрычъ, окончивъ между тѣмъ курсъ въ университетѣ, опредѣлился въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ и въ первый разъ явился въ свѣтѣ на балѣ княгини Красносельской. На этомъ первомъ дебютѣ онъ имѣлъ счастіе быть замѣченнымъ одной очень почетной старушкой, которая нашла, что онъ прекрасно держитъ себя: съ тактомъ, съ почтительностью къ старшимъ и между тѣмъ съ достоинствомъ, и что многіе молодые люди, гораздо поважнѣе его происхожденіемъ, могли бы взять съ него примѣръ...

Однажды, когда Викторъ Александрычъ сидѣлъ въ своей комнатѣ, только что окончивъ обдѣлку своихъ ногтей и машинально перелистывая Готскій альманахъ, свою любимую настольную книгу, мечталъ о своихъ будущихъ успѣхахъ въ свѣтѣ, въ комнату его вошла сестра. Ея блѣдное и болѣзненное лицо было блѣднѣе обыкновеннаго, въ ея глазахъ, почти всегда задумчивыхъ и грустныхъ, выражалась сила и энергія, тогда какъ въ движеніяхъ и въ походкѣ была нерѣшительность и почти робость. По всему было замѣтно, что въ душѣ Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посѣщеніе было не даромъ.

Викторъ Александрычъ слегка приподнялъ голову, взглянувъ на сестру. Онъ не замѣтилъ въ ней однако ничего особеннаго, слегка кивнулъ своей прекрасной головой и протянулъ къ ней свою бѣлую и полную руку съ искусно обдѣланными ногтями въ формѣ миндалинъ.

Софья Александровна сѣла возлѣ него.

— Что скажешь?—произнесъ онъ, переворачивая страницы альманаха, который онъ не выпускалъ изъ рукъ...

— Я пришла съ тобою поговорить объ одномъ дѣлѣ, — отвѣчала она, — объ дѣлѣ, которое касается до меня... Скажи мнѣ искренно, любишь ли ты меня?

Викторъ Александрычъ взглянулъ на сестру, и нижняя губа его подернулась немного насмѣшливо.

— Что это за вопросъ? Что съ тобою?

— Я хочу убѣдиться въ томъ, что ты меня любишь, мнѣ это нужно потому, что я должна сообщить тебѣ... — Она

остановилась. (Разговоръ ихъ, надобно замѣтить, происходилъ на французскомъ языкѣ.)

Викторъ Александрычъ еще взглянулъ на сестру и въ этотъ разъ ужъ вопросительно.

— Я ничего не понимаю, — проговорилъ онъ своимъ обыкновеннымъ равнодушнымъ тономъ, не обращая вниманія на ея волненіе, — развѣ случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазахъ показались слезы, она съ минуту ничего не отвѣчала, но потомъ вдругъ бросилась къ брату, обняла его съ увлеченіемъ и почти задыхающимся голосомъ сказала:

— Скажи мнѣ, братъ... принимаешь ли ты во мнѣ участіе?..

— Что съ тобой однако? — спросилъ онъ съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ, оправляясь послѣ этихъ неожиданныхъ объятій.

Софья Александровна сказала ему, что она любитъ доктора...

При этомъ признаніи лицо Виктора Александрыча вспыхнуло, онъ вскочилъ со стула, выпрямился всѣмъ своимъ станомъ и даже нѣсколько выгнулся и обозрѣлъ съ ногъ до головы Софью Александровну...

— Что? Кого? — спросилъ онъ, не вѣря ушамъ своимъ.

Она повторила свои слова твердымъ голосомъ.

Викторъ Александрычъ улыбнулся, заложилъ руку за жилетъ и произнесъ:

— Что за шутки! Это совсѣмъ не забавно.

Софья Александровна вспыхнула въ свою очередь, оскорбленная этимъ замѣчаніемъ, высказала ему съ горячностью все, что было у ней на душѣ, и въ заключеніе объявила, что она рѣшилась выйти замужъ за доктора.

Викторъ Александрычъ прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, чтобы притти въ себя, и наконецъ остановился противъ сестры.

— Что съ тобою, Sophie? Ты съ ума сходишь, — произнесъ онъ въ волненіи, которое ужь не могъ скрыть при всей своей выдержанности, — откуда могли притти къ тебѣ

такія мысли, такія дикія понятія? Ты забываешь, *кто ты*, какое имя ты носишь. Что можетъ быть общаго между тобою и какимъ-нибудь аптекаремъ или лѣкаремъ? Пожалуйста приди въ себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести позоръ нашей фамиліи, сдѣлать насъ городскою сказкою, ты хочешь убить батюшку и матушку. Это какое-то безуміе, которое нельзя оправдать ничѣмъ. Благовоспитанной дѣвушкѣ даже во снѣ не могутъ притти въ голову такія мысли, такія понятія...

Викторъ Александрычъ остановился запыхавшись. Онъ никогда не говорилъ вдругъ такъ много и съ такимъ жаромъ.

— Я люблю его, я на все рѣшилась, — произнесла она.

Лицо и глаза ея горѣли. На этомъ лицѣ и въ этихъ глазахъ выражалось что-то гордое и рѣшительное. Это была уже не дѣвочка, грустная, болѣзненная и застѣнчивая, но женщина съ сознаніемъ и силою воли.

— Рѣшилась!..—повторилъ Викторъ Александрычъ, не обращая на нее вниманія, блѣднѣя и закусивъ нижнюю губу, — это мнѣ нравится! Что такое твое рѣшеніе? — у тебя отецъ и мать, у тебя братъ, ты забываешь объ нихъ, кажется.

— Нѣтъ, я не забываю. Если въ тебѣ есть хоть капля участія и состраданія ко мнѣ, — я прошу тебя, братъ, — будь посредникомъ между мною, батюшкой и матушкой, ты имѣешь вліяніе на нихъ. Тебѣ легче...

— Посредникомъ! — перебилъ Викторъ Александрычъ, — подумай же наконецъ, что ты хочешь дѣлать... въ чемъ? Но это неприличие, это безнравственность, это сумасшествіе... И ты думаешь, что я буду посредникомъ твоимъ у отца и у матери, что у меня повернется языкъ сказать имъ, что ты любишь... Сдѣлай одолженіе, выкинь все это изъ головы. Серьезно говорить объ этомъ нельзя, и мнѣ досадно на себя, что я принялъ это серьезно. Дай мнѣ слово, что ты весь этотъ вздоръ выкинешь изъ головы и что объ этомъ никогда не будетъ болѣе слова.

Софья Александровна съ большимъ усиліемъ надъ со-

бою приняла наружность холодную и спокойную и отвѣчала:

— Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя объ одномъ, чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Викторъ Александрычъ не на шутку призадумался. Мысль, что его сестра можетъ быть женою какого-то лѣкаря, привела его въ негодованіе и ужасъ. Онъ живо вообразилъ всѣ неизбѣжныя послѣдствія этого: язвительныя улыбки его великосвѣтскихъ пріятелей; тѣнь, которую броситъ этотъ безумный бракъ на ихъ фамилію; оскорбительные для нихъ толки и замѣчанія по этому поводу высшаго свѣта; шумъ, который надѣлаетъ въ городѣ этотъ неслыханный скандалъ, и проч. При мысли, что все это можетъ сильно повредить его свѣтской и служебной карьерѣ, дрожь пробѣжала по его тѣлу, и румянецъ исчезъ съ его полныхъ и пушистыхъ щекъ. «Этого нельзя оставить такъ,— подумалъ, — честь нашего дома въ опасности, надо принять заранѣе мѣры и тотчасъ же предупредить объ этомъ батюшку и матушку».

Викторъ Александрычъ отправился къ родителямъ и имѣлъ долгое объясненіе съ ними, вслѣдствіе котораго докторъ уже не появлялся въ ихъ домѣ. Съ Софьей Александровной не было никакихъ объясненій, но генералъ и генеральша стали обращаться съ нею очень сухо и холодно. Викторъ Александрычъ избѣгалъ всякихъ столкновеній и объясненій съ сестрою. Такъ прошло около мѣсяца..

Въ одно прекрасное весеннее утро въ домѣ Бѣлогривовыхъ произошло неописанное смятеніе. Весь домъ переполошился, начиная съ самого генерала до послѣдняго конюха. Генеральша лежала въ обморокѣ; генералъ совершенно потерялся; Викторъ Александрычъ вдругъ такъ поблѣднѣлъ и осунулся, какъ будто только что всталъ съ постели послѣ болѣзни; люди совались безъ толку изъ угла въ уголъ, какъ сумасшедшіе; доктора перебѣгали отъ генеральши къ генералу. — Софья Александровна исчезла изъ родительскаго дома!.. Стоны, слезы, крики, рыданія, проклятія потрясали весь домъ. Она бѣжала, покрывъ стыдомъ и позоромъ ма-

ститую, сѣдую голову заслуженнаго старика-отца, всѣми уважаемаго, убивъ мать, которая съ такою нѣжностью заботилась о ея воспитаніи. Ужасно!..

Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики смѣнялись вздохами, стонами, покачиваніемъ головъ, всхлипываніями и жалобами на судьбу.

Вдругъ, въ одинъ день, генералу подали письмо. Онъ взглянулъ на конвертъ и измѣнился въ лицѣ. Письмо было отъ Софьи Александровны. Въ этомъ письмѣ она объявляла о томъ, что она замужемъ, умоляла о прощеніи, просила благословенія и прочее. Но генеральша не допустила генерала распечатать конвертъ, выхватила его изъ рукъ супруга и бросила въ каминъ.

— У насъ нѣтъ болѣе дочери, — произнесла она торжественно, — а у тебя, мой другъ, нѣтъ сестры, — прибавила она съ рыданіемъ, обращаясь къ сыну и обнимая его, — чтобы въ домѣ никто и никогда не смѣлъ произносить ея имя, какъ будто бы она никогда не существовала!

Вскорѣ послѣ этого неслыханнаго событія генералъ, который постоянно страдалъ сильною подагрою и въ послѣднее время еле двигался отъ старости, занемогъ и скончался, оставивъ все, что имѣлъ, женѣ и сыну и ни слова не упомянувъ въ духовномъ завѣщаніи о дочери. Генеральша, рыдая надъ его трупомъ, произнесла: «Это она его убійца! Она!»

— Мое несчастное существованіе, — говорила она съ нѣжностью сыну, — поддерживаешь одинъ ты, ты моя гордость, ты мое утѣшеніе! Безъ тебя мнѣ ничего не оставалось бы, кромѣ могилы..

Но генеральшѣ не суждено было долго наслаждаться и радоваться своею гордостью, своимъ дѣйствительно во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненнымъ сыномъ. Генеральша умерла въ тифѣ черезъ полтора года послѣ смерти своего супруга, а когда кто-то изъ ближнихъ въ минуту кончины осмѣлился ей напомнить о дочери, она прошептала: «У меня нѣтъ дочери». — Это были ея послѣднія слова.

Всѣ рѣшили, что Софья Александровна была убійцею

отца и матери. На это нельзя даже было сдѣлать никакихъ возраженій, потому что въ такомъ случаѣ легко можно было прослыть за человѣка неблагонамѣреннаго и безнравственнаго...

Такимъ образомъ, Викторъ Александрычъ, въ двадцать съ небольшимъ лѣтъ, сдѣлался полнымъ властелиномъ самого себя и единственнымъ наслѣдникомъ состоянія, оставшагося послѣ его родителей, которое состояло въ 900 душахъ и въ капиталѣ, простиравшемся, говорятъ, до 200.000 рублей серебромъ.

ГЛАВА III.

Въ то время, какъ великосвѣтскіе товарищи и сверстники Виктора Александрыча, всѣ болѣе или менѣе еще зависѣвшіе отъ своихъ родителей, предавались, несмотря на это, съ излишествомъ всѣмъ увлеченіямъ и безумствамъ молодости, всѣмъ соблазнамъ, которые представляетъ большой городъ: вступали въ клику театраловъ, волочились за танцовщицами, мерзли у театральныхъ подъѣздовъ, провожали *линии*, тридцать разъ въ утро на рысакахъ и на парахъ съ пристяжными проѣзжали по такъ называемой «Улицѣ Любви», мимо оконъ, изъ которыхъ украдкою выглядывали ихъ возлюбленныя; подымали гвалтъ вечеромъ въ театральной залѣ, когда ихъ богини, порхая, появлялись на сценѣ; бросали деньги на вино и женщинъ; дѣлали долги, занимая сто на сто; цѣлыя ночи просиживали за картами или за лото; пили у Фельёта до разсвѣта и хвастали тѣмъ, кто кого перепьетъ, и потомъ ночью, для забавы, скакали на тройкахъ по улицамъ, останавливая бѣдныхъ запоздалыхъ пѣшеходовъ, придираясь къ нимъ, обсыпая ихъ мукой и сажей, или предавались какимъ-нибудь не менѣе остроумнымъ занятіямъ и, къ величайшему огорченію своихъ блестящихъ родителей и родственниковъ, совершенно пренебрегали свѣтскими отношеніями и условіями, - Викторъ Александрычъ, пользовавшійся полною, безграничною свободою, велъ такой образъ

жизни, которому могъ позавидовать даже человѣкъ перебѣсившійся и остепенившійся, зрѣлыхъ лѣтъ, несмотря на все свое благоразуміе все-таки впадающій иногда въ промахи, заблужденія и увлеченія. Но несравненный герой мой, какъ уже могъ замѣтить читатель, принадлежалъ къ тому разряду людей, которые не имѣютъ заблужденій и увлеченій, то-есть не имѣютъ молодости. Въ самомъ ребячествѣ онъ походилъ уже, какъ мы видѣли, на разсудительнаго и важнаго взрослаго человѣка въ миніатюрѣ. Такія натуры многіе обыкновенно обвиняютъ въ сухости, въ крайнемъ эгоизмѣ и даже въ жестокости, замѣчая, что люди, предающіеся въ молодости самымъ неслыханнымъ и непростительнымъ буйствамъ, впослѣдствіи еще могутъ сдѣлаться настоящими людьми въ полномъ и благородномъ значеніи этого слова, а что отъ людей, не знавшихъ молодости, нельзя ждать ничего добраго. До какой степени справедливо такое мнѣніе и кто правъ — господа ли, такъ разсуждающіе, или тѣ почтенныя особы, которыя, въ противоположность этому мнѣнію, считали Виктора Александрыча образцомъ молодыхъ людей и ставили его въ примѣръ своимъ дѣтямъ, — я предоставляю рѣшать читателямъ...

Викторъ Александрычъ, послѣ смерти родителей, прежде всего заботился о сооруженіи двухъ великолѣпныхъ монументовъ изъ мрамора съ бронзовыми фигурами и гербами на ихъ могилѣ на кладбищѣ Невскаго монастыря. Онъ въ извѣстные сроки послѣ ихъ кончины, какъ слѣдуетъ почтительному сыну, уважающему память своихъ родителей, заказывалъ панихиды и самъ присутствовалъ на нихъ въ глубокомъ траурѣ, который чрезвычайно шелъ къ нему, рѣзко оттѣняя удивительную бѣлизну его лица. И до сихъ поръ, ежегодно, въ дни ихъ кончины, его можно видѣть въ Невскомъ монастырѣ. Богомольныя барыни и барышни, живущія подъ Невскимъ, постоянно присутствующія на всѣхъ церковныхъ обрядахъ, похоронахъ, панихидахъ и проч., глядя съ восхищеніемъ на Виктора Александрыча, гордо стоящаго — ибо и въ храмѣ Божіемъ гордость не оставляетъ его — и съ достоинствомъ молящагося о упокоеніи души своихъ родите-

лей, восклицають съ чувствомъ: «Ахъ, какой интересный, просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, а какой примѣрный сынъ! этакихъ сыновей нарѣдкость въ нынѣшнемъ свѣтѣ!»

Шесть недѣль послѣ кончины матери, которыя были исключительно посвящены печальнымъ созерцаніямъ, исполненію обрядовъ и прочаго, Викторъ Александрычъ съ свойственнымъ ему благоразуміемъ приступилъ къ разсмотрѣнію и устройству своихъ дѣлъ: онъ перемѣнилъ квартиру; распустилъ многочисленную дворню и оставилъ при себѣ только четырехъ человѣкъ: камердинера, лакея, кучера и повара. Квартиру онъ нанялъ небольшую, но въ лучшей части города, и устроилъ ее, не истративъ на нее ни копейки; искусно уставилъ ее старою родительскою мебелью, которая была получше, доставшимися ему разными вещами: саксонскимъ и китайскимъ фарфоромъ, старинными кубками съ двуглавыми орлами, стопами и чашами, увѣсилъ стѣны старинными картинами, разложилъ на столахъ книги, которыхъ онъ, впрочемъ, никогда не читалъ, и иллюстрированныя изданія. Квартира его приняла видъ совершенно аристократическій. Въ кабинетѣ его прежде всего бросался въ глаза, въ круглой великолѣпной рѣзной рамѣ, портретъ его отца въ полномъ мундирѣ и со всѣми знаками отличій, и большая подушка на диванѣ, на которой были вышиты два соединенные герба фамиліи Бѣлогривовыхъ и Балахиныхъ. Въ годъ траура Викторъ Александрычъ почти никуда не показывался. Онъ выѣзжалъ въ свѣтъ только на обыкновенные вечера и всего чаще посѣщалъ почетную и важную старушку, которая удостоила его не только замѣтить, но даже отличить на балѣ у княгини Красносельской. Онъ умѣлъ поддержать ея высокое расположеніе и сдѣлаться для нея почти необходимымъ лицомъ: онъ просиживалъ у нея по цѣлымъ вечерамъ, читалъ ей французскія газеты (почетная старушка любила заниматься политикой) и исполнялъ съ быстротою и аккуратностью различныя ея порученія. Объ исторіи его сестры давно уже перестали говорить, такъ что Викторъ Александрычъ совершенно успокоился касательно этого пред-

мета и почти забылъ о существованіи Софьи Александровны. О ней не было никакого слуху, и онъ не желалъ узнавать, гдѣ она и что съ нею Правда, иногда вдругъ, совершенно независимо отъ его воли и безъ всякаго повода, его внутренній голосъ будилъ въ немъ воспоминаніе о ней и нашептывалъ ему ея имя, но онъ задушалъ въ себѣ этотъ голосъ мыслью, что поступокъ его сестры не заслуживаетъ ни снисхожденія, ни сострадания и что этимъ поступкомъ она навсегда разорвала съ нимъ кровныя отношенія и связи.

Успѣхъ Виктора Александрыча въ свѣтѣ укрѣплялся съ каждымъ годомъ. Этому успѣху онъ былъ обязанъ вообще женщинамъ, и преимущественно протекціи почетной старушки. Онъ предпочиталъ дамское общество и бесѣду съ людьми значительными, солидными и пожилыми буйнымъ сходкамъ молодежи, которая, въ свою очередь, не чувствовала къ нему особеннаго расположенія и называла его *накрахмаленнымъ господиномъ*. Дамы почти всѣ были на его сторонѣ и защищали его отъ насмѣшекъ и нападокъ съ большою тонкостью и ловкостью, хотя нѣкоторыя изъ нихъ втайнѣ признавались, что, несмотря на всѣ его нравственныя достоинства, отъ него вѣетъ холодомъ и скукою, и чувствовали несравненно болѣе влеченія ко многимъ изъ тѣхъ, которые вовсе не пользовались нравственной репутаціей. Викторъ Александрычъ дѣйствительно не могъ возбудить страсти, но онъ внушалъ къ себѣ невольное расположеніе всего прекраснаго пола за свой глубокосвѣтскій тактъ, за свое непогрѣшительное comme il faut и за ту полную увѣренность въ своихъ достоинствахъ, которыя одною чертою отдѣлялись отъ наглости. При этомъ онъ обладалъ всѣми маленькими талантами, которые въ глазахъ женщинъ имѣютъ большое достоинство. Онъ умѣлъ срисовать пейзажъ для альбома, пропѣть романсъ или даже какую-нибудь итальянскую арію, довольно удачно набросать карикатуру; но всѣ эти таланты онъ обнаруживалъ только для немногихъ избранныхъ. Онъ не принадлежалъ къ записнымъ свѣтскимъ танцорамъ, которые танцами пріобрѣтаютъ себѣ славу и извѣстность въ свѣтѣ и дѣлаютъ блестящую карьеру; ему гораздо пріятнѣе было

съ высоты своего величія, заложивъ руку за жилетъ, обозрѣвать великолѣпную и пеструю толпу, кружившуюся и двигавшуюся въ бальной залѣ; онъ не любилъ танцы для танцевъ, но считалъ за непремѣнную обязанность танцовать съ тѣми, на которыхъ обращено было особенное вниманіе свѣта, которыя выходили на первый планъ красотою, знатностью рода и особенно богатствомъ. Онъ танцовалъ прекрасно, но безъ блеска и быстроты, безъ веселости и увлеченія, потому что никогда и ни въ какомъ случаѣ не измѣнялъ своему холодному величію. Танцы нашего времени, для которыхъ нужна быстрота и извѣстная степень увлеченія, не подходили къ его строгому характеру, но онъ былъ бы превосходенъ въ минуэтѣ и вообще въ старинныхъ танцахъ, которые требовали плавности въ движеніяхъ, спокойствія, медленности и достоинства. Ему вообще надо было бы родиться столѣтіемъ ранѣе, потому что какое-нибудь сукно, трико и полотно не шли къ его торжественной фигурѣ, — для нея были необходимы глазетъ, шелкъ, атласъ, батистъ, кружева и бриллiанты. Впрочемъ, я думаю, что люди, подобно моему герою, прошедшие черезъ всѣ тонкости высшей школы, не нуждаются ни въ какомъ внѣшнемъ украшеніи. Если бы Викторъ Александрычъ не имѣлъ той привлекательной и величественной наружности, которая доставила ему прилагательное къ его фамиліи: «*le superbe*», онъ все-таки былъ бы оцѣненъ за его умственныя и нравственныя качества.. Объ его умѣ говорили въ свѣтѣ очень много, вѣроятно потому, что онъ говорилъ очень мало, но зато ужъ если говорилъ, то всегда обдуманно и разсчитанно: каждое слово и фраза заранѣе были взвѣшены въ его головѣ и потомъ уже пускались въ ходъ съ такимъ значеніемъ и съ такою важностью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла бы незамѣтной въ устахъ другого, въ его устахъ казалась необыкновенно дѣльною и серьезною. Онъ пользовался еще между прочимъ, даже между великосвѣтскою молодежью, которая отвергала всѣ его другія достоинства, репутаціею замѣчательнаго дипломата — вѣроятно потому, во-первыхъ, что служилъ въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, а во-вто-

рыхъ потому, что въ наружности и въ манерѣ его дѣйствительно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, безстрастное, серьезное, и оттого какъ будто глубокомысленное, лицо Виктора Александрыча, на его важность и на его плавныя, сдержанныя манеры, можно было подумать, что онъ носитъ въ себѣ глубочайшіе политическіе планы, соображенія и тайны. Бальзакъ очень хорошо сказалъ про такого рода дипломатовъ: «они считаютъ себя великими людьми, потому что дипломатія очень удобное знаніе для тѣхъ, которые не имѣютъ никакихъ знаній и отличаются глубиною своей пустоты; потому что она, требуя людей, умѣющихъ держать тайны, даетъ прекрасный случай невѣждамъ значительно пожимать плечами, принимать таинственный видъ и молчать». — Но если Викторъ Александрычъ и не былъ дипломатомъ въ прямомъ значеніи этого слова и ограничивался собственно только перепиской депешъ (онъ имѣлъ превосходный почеркъ), то въ жизни, въ своихъ личныхъ отношеніяхъ съ людьми, онъ, безъ всякаго сомнѣнія, обнаруживалъ замѣчательныя дипломатическія способности. Начальство обращало на него особенное вниманіе, потому что онъ пользовался высокой протекціей почтенной старушки, и при этомъ имѣлъ нравственныя достоинства, рѣзко отличавшія его отъ другихъ молодыхъ людей. Оттого онъ перегналъ въ чинахъ всѣхъ своихъ сверстниковъ и при первой возможности былъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ.

Какой-нибудь молодой человѣкъ съ обыкновеннымъ самолюбіемъ, съ ограниченными взглядами и съ легкомысліемъ, которое такъ свойственно молодости, будучи на мѣстѣ Виктора Александрыча, совершенно бы удовлетворился и успокоился; но Викторъ Александрычъ былъ не таковъ. Несмотря на то, что средства его доставляли ему возможность вести жизнь не только приличную, но даже роскошную, онъ считалъ себя чуть не бѣднякомъ и постоянно былъ озабоченъ мыслью объ устройствѣ своей будущности въ блестящихъ и широкихъ размѣрахъ. Эта потребность росла въ немъ съ каждымъ годомъ, не давая ему покоя. Ему было уже подъ тридцать лѣтъ. Его взгляды на жизнь сдѣлались еще основательнѣе и положительнѣе,

онъ съ внутреннею болью сознавалъ, что, несмотря на нѣкоторое значеніе, которымъ уже онъ пользовался въ большомъ свѣтѣ, онъ не имѣетъ съ нимъ кровной связи: что онъ все-таки *выскочка*, — parvenu; что его свѣтскіе пріятели какіе-нибудь князь Драницынъ или графъ Ветлицкій, съ которыми онъ былъ на ты, какъ и со всѣми молодыми людьми большого свѣта, не имѣющіе и сотой доли его ума, его способностей и его нравственныхъ качествъ, все-таки считаютъ себя выше его, потому что они ведутъ свой родъ чуть не отъ Рюрика, тогда какъ его отецъ, несмотря на почетныя титлы, съ которыми онъ сошелъ въ могилу, вышелъ неизвѣстно откуда; что его сестра замужемъ за какимъ-то лѣкаремъ и что хотя по матери онъ принадлежитъ къ извѣстному и старинному дворянскому роду, но все-таки что́ такое какіе-нибудь Балахины передъ Драницыными! Викторъ Александрычъ понималъ, что ему необходимо большое богатство, чтобы возвысить родъ Бѣлигривовыхъ, придать ему блескъ и заставить забыть о его темномъ началѣ. Богатство можно было пріобрѣсти не иначе, какъ черезъ выгодную женитьбу. Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая невѣста имѣла и богатство, и имя, или по крайней мѣрѣ какія-нибудь связи съ высшимъ обществомъ. Богатство найти еще не трудно, но имя, соединенное съ богатствомъ, такая рѣдкость въ настоящее время! Немногія богатыя невѣсты знатнаго рода еще въ колыбели назначаются немногимъ богатымъ женихамъ такого же рода. Какой-нибудь милліонеръ откупщикъ, золотопромышленникъ или купецъ, конечно, почелъ бы за величайшую честь отдать дочь свою за Виктора Александрыча, но на дочь какого-нибудь откупщика, несмотря ни на какія ея достоинства, несмотря ни на какое воспитаніе и несмотря ни на какое богатство, высшій свѣтъ смотрѣлъ бы все-таки свысока и оказывалъ бы ей только снисходительное покровительство, если бы и допустилъ въ свой кругъ. Князь Драницынъ, напримѣръ, могъ въ крайнемъ случаѣ, для поправленія своихъ совершенно разстроенныхъ дѣлъ, рѣшиться на такой подвигъ, потому что княгиню Драницыну, кто бы она ни была,

поморщившись, конечно, но все-таки признали бы *своей*, а Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, чтобы самому пустить корни въ аристократическую почву, раскинуться и утвердиться на ней, потому что самъ онъ въ большомъ свѣтѣ походилъ на молодое деревцо, пересаженное на новое мѣсто, которое, правда, уже принялось и распустилось, но еще за прочное существованіе котораго ручаться было нельзя. Обдумавъ и разсчитавъ все это, Викторъ Александрычъ съ терпѣніемъ, осторожностью и ловкостью опытнаго охотника, крадущагося за дичью, началъ слѣдить за богатыми невѣстами и сторожить ихъ. Но, несмотря на всю его осторожность и тонкость въ этомъ щекотливомъ дѣлѣ, неблагосклонная къ нему свѣтская молодежь тотчасъ подмѣтила его маневры и прозвала его *искателемъ богатыхъ невѣстъ*. «У него это на лбу написано», говорили они. Это прозвище изъ высшаго свѣта перешло въ другія общества, и какой-нибудь г. Вихляевъ - этотъ омерзительный типъ крайней пустоты, пошлости и обезьянства, гуляя по Невскому проспекту съ своими пріятелями, при встрѣчѣ съ Викторомъ Александрычемъ, котораго онъ, разумѣется, зналъ только по имени. всегда говорилъ: «А! вотъ искатель богатыхъ невѣстъ».

До Виктора Александрыча не могли не доходить слухи о томъ, какъ зло его пріятели отзывались о немъ за глазами и какіе ядовитые анекдоты распускали о немъ въ городѣ, но онъ нимало не смущался этимъ, продолжалъ самымъ дружескимъ образомъ обращаться съ однимъ изъ жесточайшихъ своихъ тайныхъ враговъ, княземъ Драницынымъ — и шелъ упорно и твердо къ своей цѣли.

Людямъ такого характера, каковъ былъ у Виктора Александрыча, все удается — и удачи эти зависятъ отъ нихъ самихъ, а не отъ слѣпого счастья, которое имъ приписываютъ люди тупоумные и неразсуждающіе.

Однако всѣ старанія Виктора Александрыча къ отысканію богатой невѣсты въ свѣтѣ долго оставались безплодными. Въ виду для него, кромѣ пожилой княжны Зарайской, съ большими связями и съ большимъ, но разстроеннымъ

состояніемъ, никого не было. Викторъ Александрычъ, въ ожиданіи чего-нибудь лучшаго, сталъ ухаживать за княжною. Начинали даже поговаривать, что онъ женится на ней, какъ вдругъ въ то самое время, когда шли эти толки, совсѣмъ нежданно появилась въ свѣтѣ дѣвушка безъ блестящаго имени, но, какъ говорили, съ огромнымъ богатствомъ, довольно близкая родственница одному изъ самыхъ важныхъ и значительныхъ лицъ въ городѣ. Двоюродная сестра этого лица отдана была совершенно прожившимися родителями замужъ за какого-то незначительнаго господина, нажившаго себѣ милліоны посредствомъ не совсѣмъ честныхъ, но чрезвычайно удачныхъ спекуляцій, пріобрѣтшаго имѣнія, большія земли на югѣ Россіи и желѣзные заводы въ Сибири. Отъ этого брака родилась дочь, которая на девятнадцатомъ году лишилась отца (мать ея умерла еще прежде) и сдѣлалась единственной наслѣдницей всѣхъ этихъ богатствъ. Годъ своего послѣдняго траура она провела въ Москвѣ, въ домѣ своей родственницы по матери, и по окончаніи траура вызвана была въ Петербургъ важнымъ и значительнымъ лицомъ, который принялъ ее подъ свое родственное покровительство и въ домѣ котораго она поселилась. Она также считалась въ родствѣ хотя довольно дальнемъ, съ почетной старушкой, которая протежировала Виктора Александрыча.

Появленіе этой дѣвушки въ петербургскомъ большомъ свѣтѣ надѣлало шуму, и слухи объ ея состояніи, можетъ быть нѣсколько преувеличенные, быстро распространились по всему городу. Она сдѣлалась извѣстна подъ именемъ *богатой невѣсты*. Наружность ея не имѣла ничего замѣчательнаго: она была небольшого роста, худощава, имѣла цвѣтъ лица изжелта смуглый, густые черные волосы, черные блестящіе глаза и очень быстрыя, порывистыя и не совсѣмъ тонкія манеры. Въ ней не было признака того, что̀ зовется *породою*, она походила болѣе на отца, чѣмъ на мать. Воспитаніе она получила хорошее, но безъ всякой великосвѣтской выдержки, и людей свѣтскихъ, кровныхъ и породистыхъ смѣшила своею наивностью. Несмотря на все это, свѣтъ принялъ ее довольно благосклонно, какъ богатую наслѣдницу и родственницу значительнаго лица.

Викторъ Александрычъ съ первой минуты ея появленія, хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и манерами того тонкаго идеала женщины, который онъ носилъ въ себѣ, рѣшилъ, что это именно та, которую онъ ищетъ. На первомъ ея свѣтскомъ дебютѣ, на балѣ у графини Рябининой, онъ танцовалъ съ ней мазурку и съ этой минуты все свое вниманіе преимущественно сосредоточилъ на ней, не упуская, впрочемъ, совершенно изъ виду княжну Зарайскую, изъ боязни злого языка раздраженной пожилой дѣвушки, чтобы не вдругъ открыть свои настоящіе виды. Богатая невѣста сначала какъ будто нѣсколько робѣла передъ Викторомъ Александрычемъ, но потомъ начала постепенно привыкать къ нему и даже видимо чувствовать нѣкоторое расположеніе.

— Знаете ли, что я васъ первое время ужасно боялась,— сказала она ему однажды съ свойственною ей живостью, улыбаясь и прямо смотря ему въ глаза.

— Будто? отчего же это?—спросилъ Викторъ Александрычъ.

— Оттого,—отвѣчала она,—что вы держите себя такъ важно и недоступно, какъ будто все, что кругомъ васъ, недостойно вашего вниманія. Скажите, зачѣмъ вы это дѣлаете?

Этомъ наивный вопросъ и тонъ, которымъ онъ былъ произнесенъ, не понравились Виктору Александрычу; однако, онъ скрылъ это и произнесъ съ едва замѣтной улыбкой:

— Вы ужъ никакъ не можете сказать, чтобы я не обращалъ *ни на кого* особеннаго вниманія. Вы должны, по крайней мѣрѣ, исключить изъ всѣхъ *себя*...

— Мнѣ очень лестно, что я попала въ исключеніе,—сказала она:—но я въ самомъ дѣлѣ принадлежу къ исключеніямъ въ вашемъ свѣтѣ. Я еще не могу привыкнуть къ нему, мнѣ все какъ-то еще неловко и странно... Здѣсь какъ-то и дышать трудно,—прибавила она, засмѣявшись,—какъ будто мнѣ недостаетъ воздуху... Я привыкла къ болѣе свободной жизни.

«Ты отвыкнешь отъ нея!» подумалъ Викторъ Александрычъ.

Къ окончанію бальнаго сезона въ городѣ начали носиться слухи о разныхъ бракахъ, и, между прочимъ, о бракѣ

Бѣлогривова съ богатой невѣстой. Послѣдній слухъ былъ несправедливъ, хотя и имѣлъ нѣкоторое основаніе, потому что виды на нее Виктора Александрыча не были уже тайною для тѣхъ, которые ѣздятъ въ свѣтъ.

Этимъ видамъ въ особенности способствовала его покровительница—почетная старушка. Еще вскорѣ послѣ пріѣзда въ Петербургъ богатой невѣсты, она сказала Виктору Александрычу съ разстановками и понюхивая табакъ изъ своей золотой табакерки, съ портретомъ на эмали Императрицы Екатерины:

— Тебѣ, батюшка, пора бы ужъ подумать о томъ, чтобы завестись своимъ домомъ... ты человѣкъ такой порядочный, солидный... къ тебѣ нейдетъ холостая жизнь... Вотъ тебѣ невѣста... пріѣзжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Чего же лучше? Она богата... Ея отецъ... я его не знала, онъ, говорятъ, былъ такъ, изъ какихъ-то изъ простыхъ, аферистъ какой-то былъ... онъ оставилъ ей огромное состояніе; ну, а по матери она имѣетъ хорошее родство... Она и мнѣ вѣдь какъ-то доводится... мы съ матерью-то ея были троюродныя... ну, а дядя ея, князь Андрей Ѳедорычъ — теперь важное лицо... а помню еще, какъ мальчишкой въ курточкѣ бѣгалъ... Ты какъ ее находишь?...

Викторъ Александрычъ отвѣчалъ, что она ему нравится.

— Да, она ничего... вертлявая только такая... ну, да что жъ требовать?.. Дѣвочка порядочнаго общества еще не видала.

Мѣсяца черезъ три послѣ этого, въ одно утро, Викторъ Александрычъ сидѣлъ у почетной старушки и по обыкновенію читалъ ей газеты, только что полученныя съ почты. Когда чтеніе окончилось, она, по обыкновенію, понюхала табаку и начала по поводу этихъ газетъ дѣлать свои критическія замѣчанія.

— Вотъ, — говорила она, — этого Гизо называютъ умникомъ... Что жъ въ немъ умнаго?.. Богъ знаетъ, что теперь дѣлается во Франціи... Шумятъ, кричатъ въ этихъ палатахъ безъ всякаго толку... Всѣхъ бы ихъ выгнать по шеямъ и призвать бы на престолъ законнаго короля Генриха V... Ахъ,

какой безалаберный, пустой народъ эти французы!.. Ну, да Богъ съ ними... Скажи-ка мнѣ лучше, какъ идутъ твои дѣла?

— Какія дѣла? — спросилъ Викторъ Александрычъ, притворяясь, что не понимаетъ вопроса.

— Какъ какія? — возразила старушка, вертя табакерку между двумя морщинистыми пальцами, изъ которыхъ на одномъ горѣлъ старинный брилліантовый перстень, — а Лиза-то Карачевская? Она была у меня... я спрашивала у нея про тебя. — «Что, — я говорю, — нравится ли онъ тебѣ?.. да говори правду...» Сначала замялась, ну, а потомъ призналась, что ты ей очень нравишься. Что же, ты бы ужъ кончалъ это дѣло... Зачѣмъ въ долгій ящикъ откладывать... Хочешь, чтобы я переговорила предварительно съ дядей-то ея?.. Вѣдь его нельзя обойти.

— Я хотѣлъ васъ просить объ этомъ, — сказалъ Викторъ Александрычъ съ почтительнымъ наклоненіемъ головы.

— Хорошо, мой другъ, я постараюсь тебѣ устроить это дѣло.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого разговора значительное лицо заѣхало къ ней съ визитомъ. Старушка (которая была большая говорунья) завела рѣчь о скверномъ петербургскомъ климатѣ; о нынѣшней молодежи, которая, по ея мнѣнію, ни на что не похожа; удивлялась княгинѣ Л*, которая допускаетъ въ свой парижскій салонъ Гизо и еще дружится съ нимъ, несмотря на то, что онъ министръ незаконнаго короля, и, послѣ минуты отдыха, понюхавъ табаку, завертѣла свою табакерку между двумя пальцами.

— Ну, а что, князь, твоя Лиза? — спросила она.

Князь отвѣчалъ, что ничего и что она понемногу начинаетъ привыкать къ свѣту, къ обществу.

— Что, ей, я думаю, лѣтъ ужъ двадцать слишкомъ? Ей бы и замужъ пора. Отъ жениховъ-то, я чай, нѣтъ отбоя.

Князь отвѣчалъ, что онъ ничего не знаетъ и не слыхалъ ни о какихъ женихахъ.

— Нѣтъ, ей пора, пора замужъ, — произнесла старушка настоятельнымъ тономъ, посмотрѣла на князя значительно

и остановилась на минуту. — У меня есть въ виду для нея женихъ...

— Въ самомъ дѣлѣ? — отвѣчалъ князь, улыбнувшись. — Кто же это?

— Отличный молодой человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ — умный, скромный, порядочный... un homme tout à fait comme il faut... только не въ нынѣшнемъ смыслѣ... онъ не похожъ на эту молодежь, которая безпутничаетъ, шляется по трактирамъ и волочится за плясуньями. Онъ сынъ почтеннаго отца и человѣкъ, который можетъ сдѣлать карьеру. Ты вѣдь, князь, знаешь его... я говорю о Бѣлогривовѣ.

— А-а!.. онъ точно очень достойный молодой человѣкъ, — возразилъ князь, — но я полагаю, что Lise можетъ сдѣлать партію болѣе видную.

Табакерка съ портретомъ императрицы Екатерины быстро завертѣлась между двумя пальцами почетной старушки, морщинистая голова ея затряслась, и все туловище ея пришло въ движеніе.

— Я любопытна знать, — произнесла она дребезжащимъ отъ волненія голосомъ, — почему же Бѣлогривовъ ей не партія, чѣмъ онъ ниже ея... что же такое былъ ея отецъ?.. Вспомните, князь... надо же смотрѣть на вещи такъ, какъ онъ есть... Онъ можетъ составить счастье этой дѣвочки.

Почетная старушка пользовалась столь сильнымъ авторитетомъ и значеніемъ, что даже такое значительное лицо, какъ князь, передъ которымъ все разступалось, кланялось и благоговѣло, пришелъ въ нѣкоторое смущеніе отъ ея гнѣва. Онъ началъ какъ будто оправдываться, говорилъ, что ему еще и въ голову не приходило о замужествѣ племянницы и что онъ сдѣлалъ возраженіе это такъ.

Старушка приподнялась съ своихъ кресель, величаво выпрямилась и, обратясь къ значительному лицу, произнесла съ чувствомъ подавляющей гордости:

— Бѣлогривовъ дѣлаетъ предложеніе вашей племянницѣ, князь, *черезъ меня*...

— Я долженъ переговорить съ нею, — перебилъ князь.

— Дѣлайте, какъ знаете, но если вамъ не угодно будетъ

по какимъ-нибудь вашимъ расчетамъ принять его предложеніе, то вы ему откажите, князь, *черезъ меня*, потому что я принимаю участіе въ этомъ дѣлѣ.

Произнеся это, старушка поклонилась князю и, несмотря на свои лѣта и уже нѣсколько согбенный станъ, торжественно, какъ власть имѣющая, вышла изъ комнаты.

На другой день Викторъ Александрычъ былъ объявленъ женихомъ богатой невѣсты.

Почетная старушка держала въ страхѣ всѣхъ, отъ большихъ до маленькихъ, она не терпѣла никакихъ возраженій, ея просьба была почти приказаніемъ, потому что никто и никогда не осмѣливался отказывать ей ни въ чемъ; значительныя лица за глазами подсмѣивались надъ нею, но въ глаза показывали ей знаки глубочайшаго уваженія; про ея странности, капризы и деспотическій характеръ ходили въ городѣ безчисленные разсказы.

Однажды, говорятъ, ея родной племянникъ, извѣстный генералъ, увѣшанный знаками отличій, пріѣхалъ къ ней съ визитомъ. Она сидѣла въ своей маленькой гостиной на своемъ старинномъ волтеровскомъ креслѣ и съ своей неразлучной табакеркой въ рукѣ. Племянникъ раскланялся, поцѣловалъ ея руку, она указала ему на кресло противъ себя, онъ сѣлъ и въ жару какого-то разсказа, забывшись, облокотился о спинку креселъ и положилъ ногу на ногу. Старушка долго смотрѣла на него и на его ноги съ вниманіемъ, которое не обѣщало ничего добраго, и, наконецъ, вдругъ прервала его рѣчь.

— Что это такое? - вскрикнула она. Посмотрите на себя, батюшка, какъ вы сидите передо мною? вы забываетесь! Я васъ прошу выйти вонь.

И три мѣсяца послѣ этого не пускала къ себѣ генерала на глаза.

Пользоваться покровительствомъ такой особы удавалось не всякому и было не такъ легко. Викторъ Александрычъ принадлежалъ къ немногимъ счастливцамъ. Почетная старушка, которая въ послѣднее время почти никуда не выѣзжала и изрѣдка только удостоивала чести своимъ посѣ-

щеніемъ немногихъ избранныхъ, сама вызвалась быть посаженой матерью Виктора Александрыча. О такой высокой чести кричалъ съ удивленіемъ весь городъ, и это обстоятельство значительно подняло Виктора Александрыча во мнѣніи свѣта. Посаженый отецъ, конечно, выбранъ былъ подъ пару посаженой матери. Свадьба, совершившаяся въ церкви одного аристократическаго дома, была вообще необыкновенно блистательна и надѣлала въ свое время большого шума въ городѣ.

— Vous savez la grande nouvelle, mon cher? Искатель богатыхъ невѣстъ и накрахмаленный господинъ достигъ-таки своей цѣли, — сказалъ князь Драницынъ адъютанту, только что вернувшемуся изъ какой-то поѣздки, съ которымъ онъ встрѣтился на Невскомъ, — мы его вчера обвѣнчали на богатой невѣстѣ. Я былъ его шаферомъ, а княгиня Анна Васильевна посаженой матерью... сама княгиня Анна Васильевна!

— Bah! — воскликнулъ адъютантъ, разинувъ ротъ отъ удивленія при этомъ имени и остановившись на этомъ bah.

ГЛАВА IV.

Черезъ полтора мѣсяца послѣ брака Виктора Александрыча, супруга его вручила ему полную и неограниченную довѣренность на управленіе всѣмъ ея имѣніемъ. Черезъ годъ онъ купилъ домъ на собственное имя и началъ устраивать его съ великолѣпіемъ, не уступавшимъ первымъ домамъ столицы. Домъ этотъ, отдѣланный снаружи въ растрелліевскомъ стилѣ, въ родѣ дома князей Бѣлосельскихъ, считается теперь однимъ изъ лучшихъ домовъ въ Петербургѣ.

Первые мѣсяцы послѣ своего замужества Лизавета Васильевна, такъ звали супругу Виктора Александрыча, казалась совершенно счастливою: ее все радовало, все занимало, все удивляло и, вслѣдствіе своего живого характера, она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, съ добродушіемъ и искренностью. Лизаветѣ Васильевнѣ не

приходило въ голову, что благовоспитанныя свѣтскія женщины не высказываютъ своихъ внутреннихъ движеній, и что въ свѣтѣ всякое увлеченіе считается отсутствіемъ такта и неприличіемъ. Лизавета Васильевна иногда вдругъ, въ порывѣ своего чувства, бросалась на шею къ своему супругу, обнимала его и объяснялась ему въ любви.

— Я не хочу, Victor, — говорила она ему, — чтобы ты былъ такой мрачный, серьезный, неподвижный... Мнѣ все кажется, что ты сердишься на что-нибудь или чѣмъ-нибудь недоволенъ. Если ты любишь меня, ты долженъ быть теперь также веселъ и счастливъ, какъ я. Вѣдь ты любишь меня? ну, скажи мнѣ, любишь?.. да?..

Эти вопросы о любви, съ которыми приставали къ нему, производили на него самое неприятное впечатлѣніе... Но въ устахъ жены они казались ему еще неприятнѣе, чѣмъ въ устахъ сестры.

— Что за объясненія! – возражалъ онъ со своимъ обычнымъ холоднымъ достоинствомъ. — Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовныя фразы говорятъ только въ романахъ и на театрѣ... Порядочные люди говорятъ молча...

— Какой ты несносный, Victor! — перебила она полушутя, полусерьезно, — что мнѣ за дѣло до твоихъ порядочныхъ людей... Богъ съ ними! я знаю, что я не порядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.

При словѣ *не порядочная* Виктора Александрыча какъ-то всего невольно передернуло, и брови его вдругъ сдвинулись.

— Это дурно, очень дурно, — возразилъ онъ, сдерживая себя. — Ты не дѣвочка ужъ, не пансіонерка какая-нибудь... Ты имѣешь положеніе въ свѣтѣ...

Лизавета Васильевна отъ нетерпѣнія хлопала ножкой...

— Ахъ, какъ это скучно, мораль! — говорила она, нахмуривъ брови, но улыбаясь въ то же время, — ты меня убиваешь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мнѣ?

— Ты смотришь на все какъ-то странно, — отвѣчалъ Викторъ Александрычъ, — для тебя радость должна непремѣнно выражаться смѣхомъ, любовь нѣжными объясненіями, фра-

зами и ласками, печаль слезами, и я тебѣ кажусь холоднымъ потому только, что умѣю владѣть собой; это необходимо, ты скоро сама поймешь это... Людей, которые не умѣютъ владѣть собой въ свѣтѣ, называютъ неблаговоспитанными.

— Положимъ, — возражала Лизавета Васильевна, — надо умѣть владѣть собой въ свѣтѣ, положимъ, что смѣшно и неприлично обнаруживать свои чувства передъ людьми посторонними, но зачѣмъ мы будемъ скрывать другъ отъ друга свои чувства, впечатлѣнія, мысли — когда мы вдвоемъ, когда мы наединѣ? Я не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замѣчаніями Виктора Александрыча, что вмѣсто того, чтобы разсуждать, гораздо лучше вести себя такъ, какъ ведутъ всѣ.

Одинъ разъ Лизавета Васильевна, которая старалась замѣтно, съ нѣкотораго времени, сдерживать свои внутреннія ощущенія (она ужъ не такъ часто бросалась на шею къ супругу), послѣ обыкновеннаго съ нимъ разговора, на минуту задумалась и потомъ вдругъ обратилась къ нему:

— Я давно хотѣла тебя спросить, — сказала она, дѣлая нѣкоторое усиліе надъ собою, — но я не знаю, меня что-то останавливало... у тебя, говорятъ, есть сестра, а я ничего не знала объ этомъ.

Въ голосѣ, которымъ она произнесла это, было болѣе грусти, чѣмъ упрека.

Надобно было пройти сквозь всѣ искусы высшей школы, чтобы не обнаружить при этомъ неожиданномъ вопросѣ ни движеніемъ, ни взглядомъ, ни восклицаніемъ ни малѣйшаго волненія. Вопросъ этотъ кольнулъ Виктора Александрыча въ самое больное мѣсто, но онъ отвѣчалъ на это равнодушнымъ и спокойнымъ тономъ:

— Кто тебѣ сказалъ?..

— Для чего тебѣ это знать? Впрочемъ, это мнѣ было передано не за тайну и я могу тебѣ сказать, кто. . но скажи мнѣ прежде, правда это или нѣтъ?

Викторъ Александрычъ отвѣчалъ, что у него точно была сестра и что она можетъ быть жива еще, но, вслѣдствіе ея ужаснаго поступка, для него она уже болѣе не существуетъ.

И онъ разсказалъ всю исторію ея; какъ она бѣжала изъ родительскаго дома, убила отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть своихъ ощущеній при этомъ разсказѣ; сдерживаемыя слезы крупными каплями выступали на ея глазахъ и лились по ея смуглымъ щекамъ.

— Отчего же ты мнѣ не сказалъ о ней прежде? — спросила она съ горячностью и волненіемъ, — отъ меня ты, казалось бы, не долженъ былъ скрывать этого...

— Для чего бы я сталъ говорить объ этомъ! — отвѣчалъ онъ. — Между ею и мною всѣ сношенія прерваны; ни я, ни ты, надѣюсь, никогда ее не увидимъ.

Лизавета Васильевна вздрогнула.

— Но если она сдѣлала дурной поступокъ, - сказала она черезъ минуту, — то это было по увлеченію, по страсти. И Богъ прощаетъ, — неужели же ты никогда не простишь этого сестрѣ?

— Я тебя прошу, *никогда* болѣе не говорить мнѣ объ этомъ, — сказалъ Викторъ Александрычъ твердо.

Лизавета Васильевна повиновалась его волѣ, но этотъ разговоръ оставилъ въ ней тяжелое и горькое впечатлѣніе, и мысль объ этой отверженной долго преслѣдовала ее.

Викторъ Александрычъ, въ началѣ останавливавшій легкими замѣчаніями порывы и увлеченія своей супруги, противорѣчившіе совершенно великосвѣтскому понятію о благовоспитанности, видѣлъ, что противъ этого надобно принять мѣры болѣе серьезныя. Онъ сознавалъ опасность этихъ порывовъ, если имъ дать полную волю, необходимость охладить горячность ея сердца, затушить ея *идеальныя, романическія* стремленія и не дозволить имъ развиваться... Викторъ Александрычъ всѣ глубокія человѣческія чувства, всѣ горячія убѣжденія сердца называлъ идеальными и романическими стремленіями... Онъ понималъ необходимость дисциплинировать ее, дать ей практическое направленіе, перевоспитать на свой манеръ, подвергнуть ее всѣмъ пыткамъ высшей школы, чтобы сдѣлать изъ нея настоящую свѣтскую женщину, достойную носить фамилію Бѣлогривовыхъ. Все это было, конечно, не совсѣмъ легко, но онъ успокоивалъ себя мыслью,

что такіе характеры, каковъ былъ у Лизаветы Васильевны, имѣющіе много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающіе, но скоро охлаждающіеся, — должны безъ большихъ препятствій подчиняться постороннему вліянію, особенно если дѣйствовать на нихъ постепенно и не слишкомъ рѣзко.

Викторъ Александрычъ приступилъ къ своей цѣли съ осторожностью и ловкостью и не сомнѣвался въ успѣхѣ. Онъ зналъ, что Лизавета Васильевна имѣла наклонность къ чтенію, и хотя самъ былъ убѣжденъ, что книги, исключая весьма немногихъ, приносятъ болѣе вреда, нежели пользы, но онъ не вооружался противъ ея наклонности: напротивъ, самъ взялся устроить ей библіотеку, исключивъ изъ нея современные романы, которые, по его мнѣнію, были наполнены нелѣпыми фантазіями и утопіями, располагающими къ пустому идеализму и вредной экзальтаціи... Особеннымъ презрѣніемъ его пользовалась Жоржъ-Сандъ, произносить имя которой онъ считалъ даже неприличнымъ; о классическихъ писателяхъ Викторъ Александрычъ отзывался, напротивъ, съ большою благосклонностью и особенно о Корнелѣ, котораго называлъ не иначе, какъ le grand Corneille и замѣчалъ, что онъ внушаетъ высокія, героическія чувства. Изъ боязни, однако, чтобы въ библіотеку его супруги не попало что-нибудь проникнутое безнравственнымъ современнымъ направленіемъ и не вполнѣ полагаясь въ этомъ случаѣ на себя, онъ прибѣгнулъ къ совѣту одного, очень извѣстнаго въ свѣтѣ пожилого господина, глядѣвшаго исподлобья, но съ выраженіемъ сладкимъ и вкрадчивымъ, пользовавшагося репутаціей человѣка необыкновенно умнаго, многосторонне образованнаго и глубоко-нравственнаго и состоявшаго при многихъ великосвѣтскихъ барыняхъ въ качествѣ директора ихъ совѣсти. Говорили, что этотъ господинъ велъ сначала жизнь довольно безпутную, промотался, потерялъ всякое значеніе въ свѣтѣ и превратился въ утонченнаго лицемѣра и ядовитаго ханжу, для того, чтобы возстановить свою репутацію. Но Викторъ Александрычъ не вѣрилъ этимъ толкамъ, очень уважалъ его и питалъ полную довѣренность къ его душевнымъ качествамъ.

Дамскій руководитель принялъ съ большою радостью предложеніе Виктора Александрыча и дѣятельно занялся составленіемъ библіотеки для Лизаветы Васильевны. Это обстоятельство сблизило его съ нею и онъ, послѣ первыхъ неудачъ, незамѣтно началъ вкрадываться въ ея душу и пріобрѣтать ея довѣренность. Викторъ Александрычъ не только не препятствовалъ этому, напротивъ, былъ очень доволенъ. Онъ зналъ, что этотъ господинъ преслѣдовалъ съ неугомимымъ упорствомъ всякаго рода увлеченія и порывы и проповѣдывалъ о необходимости для женщины нравственной дисциплины, состоявшей въ полномъ смиреніи, безусловной подчиненности и покорности передъ мужемъ, каковъ бы онъ ни былъ, и передъ свѣтомъ и его уставами. Викторъ Александрычъ зналъ, что всякій протестъ, малѣйшее проявленіе воли были, по мнѣнію этого почтеннаго лица, преступленіемъ; что онъ придавалъ словамъ своимъ еще большую силу слезами на глазахъ и дрожаніемъ въ голосѣ, что, какъ извѣстно, очень сильно дѣйствуетъ на женскіе нервы и на впечатлительныя и слабыя натуры.

Но въ то время, какъ дамскій руководитель употреблялъ всѣ усилія для того, чтобы дисциплинировать душу Лизаветы Васильевны, — Викторъ Александрычъ съ своей стороны предпринималъ всѣ мѣры, чтобы придать своей супругѣ безукоризненную великосвѣтскую наружность и подчинить ее всѣмъ условіямъ высшей школы. Каждый шагъ ея, каждое слово, каждый взглядъ, каждое движеніе подвергались его утонченнѣйшему контролю. Онъ дошелъ до того, что останавливалъ ее иногда на полсловѣ однимъ, едва замѣтнымъ движеніемъ своей брови.

Бѣдная женщина не безъ внутренней борьбы, не безъ тайныхъ страданій покорялась своимъ нравственнымъ великосвѣтскимъ руководителямъ. Всѣ ея благородные инстинкты возставали противъ этого нестерпимаго деспотизма. Она понимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что въ ней убиваютъ все живое, все искреннее, все человѣческое во имя какихъ-то законовъ и условій неумолимаго и безпощаднаго приличія и, вырываясь отъ своихъ наставниковъ,

втайнѣ, наединѣ, облегчала нѣсколько боль притѣсненной души рыданіями, свободно вырывавшимися изъ груди, и потоками слезъ.

Привязанность ея къ Виктору Александрычу начала колебаться подозрѣніями, что онъ не любитъ ее и не любилъ, что онъ женился не на ней, а на ея богатствѣ, что онъ человѣкъ холодный, эгоистъ, — и, въ порывахъ своего негодованія на него, въ отчаяніи, она кокетничала съ какимъ-то офицеромъ, который особенно ухаживалъ за нею. Иногда, впрочемъ, она старалась оправдывать Виктора Александрыча и утѣшать себя мыслью, что ея подозрѣнія несправедливы, что все это ей такъ только кажется, что онъ любитъ ее и въ самомъ дѣлѣ желаетъ ей добра — и тогда она обвиняла себя въ непростительной и преступной подозрительности, въ безнравственномъ кокетствѣ; находила, что ей дѣйствительно нужно перевоспитать себя для свѣта, что ее нельзя любить такъ, какъ она есть. Дамскій руководитель казался ей то лицемѣромъ и шпіономъ, приставленнымъ къ ней мужемъ; то человѣкомъ, въ самомъ дѣлѣ достойнымъ полнаго уваженія за свои нравственныя правила. Всѣ понятія, мысли, взгляды, убѣжденія, которыя начинали зарождаться въ ней, — все это было поколеблено; она чувствовала хаосъ внутри себя. То, что она считала нравственнымъ, называли безнравственнымъ; то, въ чемъ она видѣла благородныя стремленія, отъ чего радостно билось ея сердце, во что она желала горячо вѣрить, называлось опаснымъ заблужденіемъ, ложнымъ и пустымъ идеализмомъ и такъ далѣе. Всѣ любимые ея писатели, которыми она увлекалась прежде и которыхъ читала съ жадностью, предавались неслыханнымъ обвиненіямъ, считались растлителями нравовъ, посягающими на все высокое и прекрасное. Лизавета Васильевна совершенно потерялась, въ ней все перепуталось и смѣшалось, она не знала, гдѣ добро и гдѣ зло, что нравственно и что безнравственно. Ея веселость и живость пропали, у нея обнаружились нервическіе припадки; ей было тяжело, какъ человѣку, вдругъ ослѣпнувшему и бродящему ощупью.

Викторъ Александрычъ видѣлъ въ ней наружную пере-

мѣну, но не подозрѣвалъ, какія внутреннія муки переносила она, потому что самъ никогда не испытывалъ ихъ; онъ былъ доволенъ тѣмъ, что она держала себя серьезнѣе, приличнѣе и съ бо̀льшимъ достоинствомъ. Но отъ дамскаго руководителя не укрылось то, что̀ совершалось въ душѣ Лизаветы Васильевны. Это была самая удобная для него минута, чтобы дѣйствовать на нее. Она стояла на распутьи, въ недоумѣніи, по какой дорогѣ идти, и ей надо было указать эту дорогу и поддержать ее. Съ необыкновенною вкрадчивостью и во всеоружіи онъ приступилъ къ своему подвигу... Для убѣжденія ея въ ходъ было выпущено все: краснорѣчіе, цитаты изъ книгъ, слезы на глазахъ, дрожаніе въ голосѣ и проч.

Противъ всего этого слабой женщинѣ устоять было невозможно; борьба была слишкомъ неравная, и Лизавета Васильевна, послѣ долгихъ сопротивленій и колебаній, должна была признать себя побѣжденной и покориться.

— Благодарю васъ,—сказала она однажды своему наставнику, послѣ долгой бесѣды съ нимъ, — вы успокоили мою душу и примирили меня съ самой собою.

— Это самая лучшая минута въ моей жизни, — произнесъ онъ, приподнимая зрачки къ потолку, — но вы должны прежде всего благодарить не меня, — я только слѣпое орудіе высшей воли...

Спокойствіе точно возвратилось въ душу Лизаветы Васильевны, но прежнія веселость, простота и искренность уже не возвращались къ ней. Зато, къ совершенному удовольствію Виктора Александрыча, она начинала усвоивать себѣ понемногу всѣ пріемы великосвѣтскихъ дамъ. Въ ней и слѣдовъ не осталось тѣхъ порывовъ и увлеченій, которые такъ оскорбляли тонкое чувство приличія въ ея супругѣ: она уже не ласкалась къ нему и не говорила ему о своей любви. Лизавета Васильевна дошла до того, что не знала, любитъ ли она его или нѣтъ, да и не старалась анализировать свое сердце, — онъ былъ ея мужъ и она склонялась передъ авторитетомъ мужа, сохраняя, впрочемъ, свое внѣшнее достоинство. Первый искренній пылъ любви и молодости исчезъ въ ней, уступивъ мѣсто суровому и непреклонному долгу. Болѣе ничего и не требовалъ отъ

нея Викторъ Александрычъ. Она начинала осуществлять его идеалъ жены. Но этотъ внутренній переломъ, которому подверглась Лизавета Васильевна, не могъ остаться безъ послѣдствій, потому что онъ совершился не безъ борьбы. Она чувствовала первое время послѣ своего обновленія страшную пустоту, томленье и тоску, которыя всячески старалась подавлять въ себѣ. Въ этомъ положеніи она обратилась къ общественной благотворительности и сдѣлалась попечительницей какого-то пріюта. Пріютъ этотъ, процвѣтавшій подъ ея бдительнымъ и неусыпнымъ надзоромъ, скоро достигъ до такого совершенства, что обратилъ на себя вниманіе всѣхъ извѣстныхъ въ городѣ благотворителей и благотворительницъ. Его ставили въ образецъ. Въ свѣтѣ заговорили о Лизаветѣ Васильевнѣ, какъ о женщинѣ, достойной уваженія и истинной христіанкѣ.

— Вотъ что значитъ имѣть хорошаго мужа,—говорили про нее въ одинъ голосъ всѣ люди, извѣстные въ Петербургѣ своею неоспоримою благонамѣренностью и нравственностью,— что она была такое, когда выходила замужъ?—ничтожная дѣвочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, неумѣвшая себя вести прилично,—а теперь во всѣхъ отношеніяхъ примѣрная женщина—и кому всѣмъ этимъ обязана? мужу!

Когда отношенія Виктора Александрыча съ женою опредѣлились и приняли именно тотъ великосвѣтскій приличный характеръ, который они должны были имѣть, Викторъ Александрычъ въ свою очередь, для развлеченія (потому что онъ немного скучалъ дома), началъ посѣщать довольно часто одну даму, которая извѣстна была въ Петербургѣ подъ именемъ Дарьи Васильевны. Вскорѣ послѣ этого Дарья Васильевна переѣхала на новую, прекрасно меблированную квартиру. Несмотря однако на то, что Викторъ Александрычъ не подавалъ ни малѣйшаго повода къ какимъ-нибудь неблаговиднымъ заключеніямъ относительно сношеній своихъ съ этою дамою, многіе увѣряли, что новая квартира Дарьи Васильевны была будто бы меблирована на его счетъ и что за ея лошадей платилъ будто его секретарь, г-нъ Подберезскій, извѣстному Пахомову, который для нѣкоторыхъ

дамъ поставляетъ, вмѣстѣ съ экипажами, разодѣтыхъ дѣтей. Разсказывали между прочимъ, будто Викторъ Александрычъ держитъ очень строго Дарью Васильевну и не позволяетъ ей слишкомъ выставляться. Всѣ эти слухи большею частію распространялъ князь Драницынъ. Я имъ никогда не вѣрилъ, потому что строго-нравственныя правила Виктора Александрыча совершенно противорѣчили этимъ слухамъ... Но если и допустить справедливость ихъ, то и тогда нельзя все-таки не замѣтить, что Викторъ Александрычъ велъ себя какъ истинный джентльменъ, какъ достойный представитель высшей школы: онъ не щеголялъ своею безнравственною связью, не пускалъ пыль въ глаза экипажами и нарядами своей возлюбленной, не показывался вмѣстѣ съ нею на публичныхъ гуляньяхъ, какъ это дѣлаютъ тѣ, которые считаютъ себя безукоризненными джентльменами. Викторъ Александрычъ могъ и въ этомъ служить образцомъ для многихъ великосвѣтскихъ господъ съ громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась впередъ. Онъ уже имѣлъ значительное званіе. Черезъ четыре года послѣ своей женитьбы онъ переѣхалъ въ свой новый домъ и открылъ свои великолѣпные салоны. Онъ давалъ роскошные тонкіе обѣды и блистательные вечера, на которые съѣзжалось самое избранное общество, начиная съ княгини Анны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды на хозяйку дома, которая съ необыкновенною привѣтливостью и любезностью, соединенною съ достоинствомъ, принимала своихъ блестящихъ гостей, подозвала ее къ себѣ.

—Ну, Lise, признаюсь тебѣ,—сказала она,—я не узнаю тебя. Ты переродилась. Поздравляю тебя. Я любуюсь тобой, мой другъ. Вотъ что значитъ имѣть такого мужа, какъ ты. Ты должна умѣть цѣнить его.

Старушка понюхала табаку и продолжала:

— Немногимъ выпадаетъ на долю такое счастье, какъ тебѣ... очень немногимъ...

Старушка при этомъ покачала значительно головой, которая у нея и безъ того качалась отъ старости.

— Чувствуешь ли ты это...а?.. Ну, скажи мнѣ, мой другъ. вѣдь правда .. ты очень счастлива?—прибавила она, улыбаясь.

— Очень,—отвѣчала Лизавета Васильевна съ спокойнымъ достоинствомъ и съ холодною улыбкою,—и въ ту же минуту обратилась къ только что вошедшему въ комнату какому-то старому военному генералу, съ грудью, украшенною орденами и звѣздами.

ГЛАВА V

Въ одно утро Викторъ Александрычъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ въ особенно пріятномъ расположенія духа Онъ выпускалъ изо рта благовонный дымъ гаванской сигары, слѣдилъ за синеватою струйкою дыма и съ пріятностью потягивался въ своихъ креслахъ. Душевное спокойствіе его было такъ полно, что оно придавало въ эту минуту его лицу. обыкновенно строгому и даже нѣсколько суровому. совершенно несвойственное ему выраженіе, мягкое и кроткое. Онъ былъ доволенъ всѣмъ: своимъ положеніемъ въ свѣтѣ, своею служебною карьерою, своимъ здоровьемъ, своимъ аппетитомъ, своими доходами, своимъ новымъ домомъ, своимъ выигрышемъ (онъ наканунѣ выигралъ въ Англійскомъ клубѣ 8,000 рублей), своей женою и. можетъ быть, Дарьею Васильевною, если допустить городскія сплетни...

Но такъ какъ самый счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ. которому, повидимому, не остается уже ничего желать, все еще непремѣнно желаетъ чего-нибудь, то и Викторъ Александрычъ, несмотря на свое совершенное довольство, желалъ получить одно довольно видное мѣсто, которое ему было обѣщано.

Въ ту самую минуту, когда онъ погрузился въ размышленія объ этомъ мѣстѣ, передъ нимъ вдругъ какъ будто выскочилъ изъ-подъ пола ливрейный лакей съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ лежало письмо. Шаговъ лакея нельзя было слышать на мягкомъ и толстомъ коврѣ. Лакей стоялъ нѣсколько минутъ незамѣчаемый Викторомъ Александры-

чемъ и наконецъ рѣшился слегка кашлянуть. Викторъ Александрычъ сдѣлалъ движеніе головою, при чемъ кроткое выраженіе его лица мгновенно исчезло и приняло свое обычное, строгое достоинство.

Онъ молча взялъ письмо съ подноса и сдѣлалъ движеніе головою. Лакей вышелъ. Викторъ Александрычъ взглянулъ на конвертъ. На немъ былъ штемпель городской почты, почеркъ женскій и какъ будто знакомый ему; онъ оборотилъ письмо и посмотрѣлъ на печать: на сургучѣ была одна буква В. «Что это такое? Откуда это?»—подумалъ Викторъ Александрычъ. Онъ надломилъ печать, вынулъ письмо не безъ любопытства (оно было писано по-французски) и началъ читать.

«Я долго не рѣшалась писать къ тебѣ,—въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, каждый день я бралась за перо и бросала его, и только страхъ голодной смерти заставляетъ меня прибѣгать къ тебѣ...»

Викторъ Александрычъ поблѣднѣлъ немного и, остановившись на этихъ первыхъ строкахъ, взглянулъ на подпись. Письмо было отъ его сестры. Брови его невольно надвинулись на глаза. Онъ продолжалъ читать:

«Страхъ смерти! когда я сознаю, что мнѣ ничего не остается, кромѣ смерти, но слабая человѣческая природа подвержена такимъ страннымъ противорѣчіямъ... Я хочу умереть, и знаю, что умру скоро и, между тѣмъ, боюсь голодной смерти... Я чувствую, что я унижаюсь, прося милостыни и подаянія, и въ то же время упрекаю себя за гордость и утѣшаю себя мыслью, что прошу не у посторонняго, а у брата... Ты все-таки братъ мнѣ и, несмотря на бездну, которая насъ раздѣляетъ теперь, несмотря на то, что ты совсѣмъ бросилъ меня, забылъ обо мнѣ, несмотря на то, что между нами нѣтъ ничего общаго, я все-таки люблю тебя, какъ брата. Этой любви, о которой ты вѣрно не заботишься, ничто не могло искоренить во мнѣ... Но я люблю тебя не въ теперешнемъ твоемъ богатствѣ и блескѣ.. Мы теперь и не узнали бы другъ друга при встрѣчѣ... сколько лѣтъ мы не видались!.. Ты мнѣ все представляешься тѣмъ Викторомъ, съ которымъ мы выросли вмѣстѣ, съ которымъ мы играли въ

куклы... Я люблю въ тебѣ прежняго Виктора, моего маленькаго брата.... Но, можетъ быть, въ тебѣ изгладились всѣ воспоминанія прошедшаго, и я тревожу твое счастье, твое спокойствіе напоминаніемъ о себѣ. Прости мнѣ!.. Я чувствую, что мнѣ не слѣдовало бы писать къ тебѣ. Я знаю, что богатые не любятъ докучливости бѣдныхъ... Ты можешь мнѣ сказать, что я терплю должное наказаніе за мой поступокъ и что я не заслуживаю сострадапія. Ты можешь подумать, что я вижу теперь безразсудность этого поступка и раскаиваюсь въ немъ... О, нѣтъ... нѣтъ! Клянусь тебѣ, я не могу раскаиваться, я была счастлива настолько, насколько можетъ быть счастлива женщина, любимая благороднымъ, прекраснымъ человѣкомъ, который дѣлалъ все, что только можетъ дѣлать человѣкъ для доставленія ей довольства и спокойствія. При немъ я ни въ чемъ не нуждалась. Онъ жилъ мной и трудился для меня. Я гордилась его любовью, я была счастлива такъ, какъ можетъ быть счастлива женщина,—я повторяю тебѣ... Два года, какъ его ужъ нѣтъ. Можетъ быть, отнимая его у меня, Богъ наказывалъ меня за то, что я вышла замужъ безъ благословенія отца и матери.. Можетъ быть, я не знаю этого,—я знаю только, что я страдаю, и съ терпѣніемъ, какое только можетъ имѣть слабая женщина, переносила до сей минуты это наказаніе. До сихъ поръ я не прибѣгала ни къ чьей помощи. Я молча несла свою нищету до послѣдней возможности. Мужъ мой не могъ мнѣ оставить ничего, потому что у него ничего не было; то, что онъ пріобрѣталъ, доставало намъ только для безбѣдной жизни. Послѣ его смерти я кое-какъ поддерживала себя своей работой и тѣмъ, что продавала кое-какія вещи, оставшіяся отъ нашего прежняго хозяйства... въ сію минуту мнѣ уже продавать нечего, я такъ слаба и больна, что не могу работать, а умереть голодною смертью все-таки страшно!.. Спаси меня и помоги мнѣ, если не изъ состраданія къ бѣдной сестрѣ, то изъ чувства христіанскаго состраданія. Мнѣ остается недолго жить, — я больна... Если бы не моя болѣзнь, которая лишила меня возможности работать, я не прибѣгала бы къ помощи... Но что же мнѣ дѣлать?—я не

знаю... Я еще что-то хотѣла сказать тебѣ, но я не могу, я ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя такъ слаба! О, если бы ты зналъ, чего мнѣ стоило написать это письмо и чего мнѣ стоило рѣшиться послать его къ тебѣ...»

Въ концѣ письма былъ адресъ.

Прочитавъ письмо, Викторъ Александрычъ опустилъ голову, которую, какъ извѣстно, онъ всегда держалъ прямо, и задумался.

Черезъ минуту онъ всталъ, подошелъ къ своему письменному столу, выписалъ адресъ изъ письма, а письмо бросилъ въ топившійся каминъ и дернулъ за звонокъ.

— Послать ко мнѣ сейчасъ Подберезскаго,—сказалъ онъ вошедшему лакею.

Черезъ четверть часа г. Подберезскій явился.

Это былъ бѣлокурый молодой человѣкъ, съ румянцемъ на щекахъ, съ маленькими глазами, съ сладкой улыбкой и съ подобрострастными ужимками. Онъ вошелъ въ комнату съ такою осторожностью, какъ будто полъ былъ подъ нимъ хрустальный.

— Любезный Викентій Станиславичъ,—сказалъ Викторъ Александрычъ своему секретарю, который въ знакъ глубочайшаго вниманія почтительно вытянулъ шею нѣсколько впередъ и сжалъ губы,—вотъ вамъ адресъ одной дамы, которой нужна скорая помощь. Поѣзжайте къ ней сейчасъ и отвезите ей пятьсотъ рублей; кромѣ того, распорядитесь, чтобы каждый мѣсяцъ ей выдавали по полутораста рублей. Вы не должны говорить ей, отъ кого эти деньги, и не должны упоминать при ней моего имени. Вы, просто, отдайте ей деньги, не вступая ни въ какія объясненія. Вообще, я васъ прошу, чтобы это было между нами. Слышите?

При этихъ словахъ Викентій Станиславичъ опустилъ вѣки, раскрылъ ротъ, какъ будто хотѣлъ что-то произнести, но не произнесъ ничего, а только приложилъ руку къ сердцу.

— Поѣзжайте сейчасъ,—прибавилъ Викторъ Александрычъ.

— Слушаю-съ. Я сейчасъ же это съ точностью исполню,—произнесъ секретарь тихимъ и вкрадчивымъ голосомъ,

поклонился и вышелъ изъ кабинета своего принципала съ такою же почтительною осторожностью, съ какою вошелъ.

Черезъ часъ Викентій Станиславичъ возвратился и доложилъ, что отвезъ деньги.

— Вы не говорили, отъ кого?—спросилъ Викторъ Александрычъ.

— О, нѣтъ, помилуйте! я буквально исполнилъ ваше приказаніе...

— Вы ее видѣли? отдали ей самой эти деньги?

— Я все исполнилъ такъ, какъ вы приказали, въ точности... Она спросила, отъ кого, но я сказалъ ей такъ глухо, что отъ неизвѣстнаго благотворителя...

— Ну, хорошо, хорошо!—нетерпѣливо перебилъ Викторъ Александрычъ, останавливая дальнѣйшія объясненія своего секретаря.

Виктора Александрыча безпокоила нѣсколько мысль, чтобы секретарь не узналъ какимъ-нибудь образомъ о томъ, какія отношенія связываютъ его съ этою дамою, и когда секретарь явился къ нему съ отвѣтомъ, онъ посмотрѣлъ на него пытливымъ взглядомъ, но въ лицѣ Викентія Станиславича было столько простодушія и тупоумной подчиненности, что Викторъ Александрычъ совершенно успокоился; а между тѣмъ Викентій Станиславичъ тотчасъ же все разузналъ въ подробности и думалъ, смѣясь внутренно и глядя на своего принципала: «ну ты, конечно, хитеръ, но я все-таки буду похитрѣе тебя!»

Обезпечивъ существованіе Софьи Александровны, по чувству долга, Викторъ Александрычъ успокоилъ свою совѣсть, и думалъ, что этимъ онъ совершенно отдѣлался отъ своей сестры, какъ вдругъ былъ встревоженъ новымъ письмомъ отъ нея—мѣсяца черезъ четыре послѣ перваго. Въ этотъ разъ онъ не хотѣлъ безпокоить себя непріятнымъ впечатлѣніемъ и, не распечатывая, бросилъ его на столъ.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое настроеніе духа Виктора Александрыча. При мысли, что какимъ-нибудь образомъ дойдутъ до свѣта слухи о томъ, что его сестра содержала себя трудами рукъ своихъ, какъ ка-

кая-нибудь швея, что она жила въ нищетѣ—холодный потъ выступалъ на его лбу.

Безпокойство его продолжалось, впрочемъ, недолго, потому что черезъ недѣлю послѣ непрочитаннаго имъ письма г. Подберезскій, являвшійся къ нему каждое утро за приказаніями, доложилъ ему, что дама, пользовавшаяся его благотворительностью, та самая, которой, по его приказанію, выдавалось по полутораста рублей въ мѣсяцъ, въ эту ночь скончалась, что онъ утромъ былъ у нея для того, чтобы отвезти ей слѣдуемыя деньги, и засталъ ее уже на столѣ.

Г. Подберезскій произнесъ это съ почтительною осторожностью, съ потупленными глазами, съ печальнымъ выраженіемъ, и прибавилъ со вздохомъ, что эта дама была очень нездорова послѣднее время.

Викторъ Александрычъ выслушалъ своего секретаря такъ хладнокровно и спокойно, какъ будто онъ донесъ ему о самомъ обыкновенномъ вседневномъ происшествіи, несмотря на то, что внутренно былъ сильно взволнованъ двумя совершенно противоположными ощущеніями: смерть эта пробудила въ немъ что-то похожее на участіе къ бѣдной женщинѣ, такъ много страдавшей, и въ то же время ему было какъ будто пріятно, что всѣ его безпокойства и опасенія уничтожаются этою смертью.

— Очень жаль,—сказалъ Викторъ Александрычъ своему секретарю голосомъ спокойнымъ;—я васъ прошу распорядиться насчетъ ея похоронъ. Я желаю, чтобы все было устроено прилично и чтобы на могилѣ былъ поставленъ памятникъ. Эти дни вы можете отложить всѣ другія дѣла и заняться этимъ. Я васъ не удерживаю. Вамъ сейчасъ же надобно отправиться туда.

Секретарь еще разъ вздохнулъ, поклонился и вышелъ.

Оставшись одинъ, Викторъ Александрычъ вспомнилъ о письмѣ къ нему сестры и распечаталъ его. Въ немъ заключалась послѣдняя ея просьба пріѣхать къ ней проститься.

Викторъ Александрычъ не сжегъ этого письма, онъ положилъ его въ тотъ ящикъ стола, гдѣ хранились самыя

важныя его бумаги. Нѣсколько минутъ онъ просидѣлъ облокотившись на столъ.

«Да проститъ ее Богъ, какъ я ее прощаю!—подумалъ онъ.—Она искупила своими страданіями свой проступокъ. Ей ничего не оставалось, кромѣ смерти, потому что она избавила ее отъ укоровъ совѣсти и прекратила ея страданія».

И Викторъ Александрычъ при этомъ перекрестился...

Печальное извѣстіе это не помѣшало однако обыкновеннымъ занятіямъ Виктора Александрыча. Въ этотъ день онъ, напротивъ, обнаружилъ бо̀льшую дѣятельность: утромъ былъ въ министерствѣ, передъ обѣдомъ сдѣлалъ нѣсколько визитовъ, обѣдалъ въ Англійскомъ клубѣ, а вечеромъ появился вмѣстѣ съ своей супругой въ своей ложѣ въ оперѣ. Онъ казался въ этотъ день еще торжественнѣе обыкновеннаго, какъ будто чтобы кто-нибудь не открылъ его семейную тайну и не проникъ въ его сокровенныя мысли.

На слѣдующее утро онъ проснулся ранѣе обыкновеннаго, не могъ заниматься ничѣмъ и до девяти часовъ вечера не выѣзжалъ никуда. Несмотря на все его умѣнье скрывать свои внутреннія ощущенія, можно было замѣтить, что его нѣсколько тревожитъ что-то, но этого никто не замѣтилъ, кромѣ г-на Подберезскаго.

Въ девять часовъ онъ сѣлъ въ свои сани и приказалъ кучеру ѣхать на Пески, къ церкви Рождества. Близь Рождественской церкви, на углу одной изъ улицъ этого глухого и бѣднаго квартала, онъ приказалъ кучеру остановиться у будки и спросилъ у часового, гдѣ домъ Савельева.

— Вонъ маленькій такой деревянный домишка, за фонаремъ-то,—отвѣчалъ часовой;—второй будетъ отъ угла,—и указалъ алебардою въ ту сторону, гдѣ находился домъ.

Было темно, рѣдкіе фонари на улицѣ не освѣщали ее, а только едва мерцали, распространяя кругомъ себя печальный, красноватый блескъ; начиналъ падать снѣгъ большими и мокрыми хлопьями.

Кучеръ остановился у домика, на который показалъ часовой. Викторъ Александрычъ вышелъ изъ саней, споткнулся о деревянные мостки, которые покоробило въ этомъ мѣстѣ,

и чуть не упалъ. Онъ открылъ калитку, наклонился и вошелъ въ нее, едва отыскавъ въ темнотѣ крылечко дома, и постучался въ дверь. Дверь отворилась. Передъ нимъ, съ сальной свѣчкой въ мѣдномъ подсвѣчникѣ, явилась старуха съ заплаканными глазами.

— Кого вамъ?—спросила она.

— Я хочу проститься съ покойницей,—сказалъ Викторъ Александрычъ, всунувъ въ руку старухи два золотыхъ.

Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ и пропустила его. Онъ сбросилъ съ себя шинель и спросилъ, куда итти.

— Вотъ сюда, сюда, батюшка,—сказала старуха, указывая ему дорогу.—Сюда пожалуйте.—И качая головой и всхлипывая, заговорила о томъ, какъ бѣдная барыня страдала, какъ она неслышно заснула, какъ праведница, и какъ она ей, голубушкѣ, закрыла глазки...

Она провела его черезъ узенькій коридоръ и отворила дверь комнатки, въ которой лежала Софья Александровна.

Онъ переступилъ порогъ и остановился, опустивъ голову и закрывъ глаза, какъ будто не рѣшаясь вдругъ взглянуть на лицо умершей.

Небольшой катафалкъ, обтянутый чернымъ истертымъ сукномъ, закапаннымъ воскомъ, стоялъ поперекъ бѣдно убранной, но чистой комнатки, въ переднемъ ея углу. Свѣчи въ большихъ церковныхъ подсвѣчникахъ, обтянутыхъ флеромъ, довольно ярко освѣщали комнату. Старичокъ-чтецъ въ очкахъ читалъ псалтирь звучнымъ, внятнымъ голосомъ, нараспѣвъ, и эти звуки, печально и торжественно раздаваясь въ тишинѣ, производили глубокое, потрясающее дѣйствіе.

Когда Викторъ Александрычъ вошелъ въ комнату, старичокъ-чтецъ на минуту остановился, снялъ свои очки, протеръ ихъ, снова надѣлъ, взглянулъ на него —и скорбные звуки раздались снова. Онъ читалъ:

«Что хвалишися во злобѣ сильне, беззаконіе весь день, неправду умысли языкъ твой: яко бритву изощрену сотворилъ еси лесть. Возлюбилъ еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду. Возлюбилъ еси вся глаголы потопныя, языкъ льстивъ. Сего ради Богъ разрушитъ тя до

конца: восторгнетъ тя и переселитъ тя отъ селенія твоего, и корень твой отъ земли живыхъ. Узрятъ праведніи, и убоятся, и о немъ возсмѣются, и рекутъ: се человѣкъ, иже не положи Бога помощника себѣ, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею...» (Псаломъ 51, ст. 1—9).

Викторъ Александрычъ пріѣхалъ поклониться тѣлу сестры, примириться съ ея прахомъ, проститься съ ней и простить ее. Это была, по его мнѣнію, христіанская обязанность, и онъ былъ очень доволенъ, выполняя ее, и придавалъ своему поступку большую цѣну. Всю дорогу онъ былъ спокоенъ — и только ощутилъ небольшое внутреннее волненіе, подъѣзжая къ домику, гдѣ жила она. Но когда онъ переступилъ за порогъ его, когда онъ увидѣлъ бѣдность лицомъ къ лицу, когда онъ подумалъ, что въ этой гнили, сырости и нищетѣ жила его сестра, онъ почувствовалъ такое тяжелое, болѣзненное ощущеніе, которое никогда въ жизни не испытывалъ. Подавляемыя и забитыя великосвѣтскою, высшею школою, утонченною comme il faut'ностью, тщеславіемъ, эгоизмомъ и суетностью, его совѣсть и человѣческое чувство вдругъ съ воплемъ вырвались на свободу и заговорили въ немъ такъ громко, что потрясли на минуту до основанія все существо его. Торжественныя слова святой книги, поразившія слухъ его: *Се человѣкъ иже не положи Бога помощника себѣ, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею,* — показались ему голосомъ свыше, осуждавшимъ его. Онъ почувствовалъ, что голова его кружится, что туманъ застилаетъ его глаза, еще минута и онъ упалъ бы безъ чувствъ, но вдругъ слезы потокомъ хлынули изъ глазъ его; онъ зарыдалъ и закрылъ лицо руками... Груди его стало легче, онъ вздохнулъ свободнѣе, сдѣлалъ робко нѣсколько шаговъ впередъ и, еще все не смѣя взглянуть на ту, которая лежала въ гробу, упалъ на колѣни передъ гробомъ и смиренно приникъ головою къ ступенямъ катафалка... Это былъ уже не человѣкъ, *пришедшій прощать, а просившій о прощеніи.* Онъ взошелъ на ступеньки катафалка и взглянулъ на усопшую. На ея исхудаломъ и осунувшемся лицѣ было выраженіе полнаго спокойствія и какъ

будто улыбка на губахъ. Онъ склонился головой къ ея холодному лицу, поцѣловалъ его, сошелъ со ступенекъ, опять сталъ на колѣни, помолился, всталъ и быстро вышелъ изъ комнаты...

Онъ не помнилъ, какъ вышелъ на улицу и какъ сѣлъ въ сани, и когда кучеръ подвезъ его къ дому, спросилъ:

— Зачѣмъ ты остановился?

— Вы приказали ѣхать домой, —отвѣчалъ кучеръ.

Тутъ только Викторъ Александрычъ совершенно пришелъ въ себя, взялъ верхъ надъ собою и принялъ ту гордую и спокойную осанку, которая такъ шла къ нему.

Онъ прошелъ прямо на свою половину, послалъ своего камердинера просить у Лизаветы Васильевны извиненія, что не зашелъ къ ней, потому что чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровымъ; тотчасъ раздѣлся и легъ въ постель. Онъ долго не могъ заснуть, и сонъ его былъ безпокоенъ; всю ночь его преслѣдовала сестра. То являлась ему она въ томъ видѣ, какъ была дѣвушкой, съ гладко зачесанными густыми, волнистыми напереди волосами, въ бѣломъ платьѣ; она сидѣла возлѣ него на скамейкѣ въ какомъ-то саду и смотрѣла на него своими блѣднокарими глазами; взглядъ этотъ производилъ на него пріятное и неиспытанное имъ впечатлѣніе, какъ будто лучи этого взгляда проникали его насквозь, разливали теплоту по всему его тѣлу, заставляли биться его сердце и призывали его къ новой, лучшей жизни, о которой ему никогда не грезилось. То ему казалось, что она въ гробу, и что въ то время, когда онъ подходилъ къ ней и наклонялся, чтобы поцѣловать ее, она приподнималась, обнимала его и такъ крѣпко сжимала въ своихъ холодныхъ объятіяхъ, что онъ задыхался. То она гонялась за нимъ на балѣ, среди великолѣпно разубранной и блестящей толпы, при ослѣпительномъ освѣщеніи, въ лохмотьяхъ и рубищѣ и кричала всѣмъ: «я сестра его!» и онъ не зналъ, куда скрыться отъ нея, и его преслѣдовали всеобщій ропотъ, негодованіе, язвительныя насмѣшки и презрительные взгляды...

Онъ проснулся въ сильномъ волненіи, свѣтъ уже проникалъ сквозь темныя шторы и двойныя занавѣски его

спальни, всталъ, выпилъ стаканъ воды и началъ ходить по комнатѣ.

Черезъ часъ онъ совершенно успокоился, пришелъ въ свое нормальное состояніе, и никто не замѣтилъ въ лицѣ его ни малѣйшей перемѣны. Онъ упрекалъ себя за непростительную слабость и употребилъ всѣ усилія, чтобы задушить въ себѣ окончательно человѣческое чувство, которое такъ неожиданно и дерзко обезпокоило его наканунѣ...

Онъ не поѣхалъ на похороны сестры За ея гробомъ шли до кладбища нѣсколько старушонокъ и женщинъ изъ того околотка, гдѣ она жила, и сзади въ каретѣ ѣхалъ г. Подберезскій.

Спустя два дня послѣ этихъ похоронъ Викторъ Александрычъ былъ на одномъ раутѣ. Онъ встрѣтилъ тамъ своего главнаго начальника, который поздравилъ его съ полученіемъ того мѣста, о которомъ онъ такъ мечталъ.

Это извѣстіе окончательно изгладило всѣ непріятныя впечатлѣнія Виктора Александрыча.

О новомъ его назначеніи только съ мѣсяцъ назадъ тому было напечатано въ газетахъ — и потому мнѣ ничего не остается сказать болѣе.

ПАРИЖСКІЯ УВЕСЕЛЕНІЯ

Sans danser peut-on vivre un jour?
Du Parisien c'est la devise.

ГЛАВА I.

На другой день по пріѣздѣ моемъ въ Парижъ, въ ожиданіи обѣда у Вери, я гулялъ въ Пале-Роялѣ. Утро было теплое. Солнце свѣтило ярко. Лужайки сада, несмотря на позднюю осень, сохраняли свой изумрудный блескъ. Фонтанъ билъ со всею силою. Около бассейна фонтана толпами бѣгали, играли и рѣзвились дѣти очень граціозныя и ловкія. Ихъ няньки были одѣты чисто и со вкусомъ и обращались съ дѣтьми кротко и внимательно. Глядя на этихъ дѣтей и на этихъ нянекъ, я вспомнилъ, не знаю почему-то, другихъ дѣтей и другихъ нянекъ, не зараженныхъ тлетворнымъ дыханіемъ Запада, которыя, утирая грязными лапами носики своихъ питомцевъ, приговариваютъ обыкновенно съ сердцемъ: «Ахъ, ты сопливый этакой чертенокъ, прости Господи!» или что-нибудь въ родѣ этого. И еще вспомнилъ я... Но здѣсь, я думаю, вовсе некстати передавать то, о чемъ припоминалъ я въ эту минуту... У кафе, извѣстной подъ именемъ *Ротонды*, на плетеныхъ, соломенныхъ стульяхъ сидѣло нѣсколько господъ съ сигарами въ зубахъ и съ огромными листами газетъ въ рукахъ. Въ галлереяхъ была давка. Всѣ эти рестораны, блистающіе бронзою и зер-

калами (а ихъ до тридцати, если не болѣе, въ одномъ Пале-Роялѣ), были полны народомъ. *Гарсоны* (не имѣющіе, впрочемъ, ничего общаго съ нашими Фильками и Васьками), въ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, галстукахъ, манишкахъ и фартукахъ и въ черныхъ курткахъ, перебѣгали отъ одного посѣтителя къ другому съ криками: «V'la, M'sieur, v'la»— и, что необыкновенно странно,—успѣвали удовлетворять требованіямъ каждаго. Блескъ и изящество живописно развѣшанныхъ и разставленныхъ за зеркальными стеклами товаровъ и особенно дамы, сидѣвшія за конторками, останавливали вниманіе проходящихъ на каждомъ шагу. Длинный хвостъ народа шевелился у входа въ пале-рояльскій театръ, на которомъ въ этотъ вечеръ давали новый водевиль съ *Левассоромъ* и *Равелемъ*. Повсюду движеніе, какъ у насъ наканунѣ свѣтлаго праздника; повсюду живыя и говорящія лица и ослѣпляющая роскошь, о которой нельзя дать и приблизительнаго понятія тому, кто не бывалъ въ Парижѣ.

Два раза обошелъ я кругомъ галлереи и остановился у лавки довольно скромной наружности, неподалеку отъ пале-рояльскаго театра. Надъ входомъ въ эту лавку — простая и короткая надпись *Change*, да еще другая на стеклѣ: *Exchange-office*, а за зеркальнымъ стекломъ ея колонны серебра, груды золота въ деревянныхъ чашкахъ и во всю длину широкаго окна въ нѣсколько рядовъ пятисотфранковые банковые билеты. У этого соблазнительнаго окна, въ одно время со мною, остановился человѣкъ среднихъ лѣтъ, худой и блѣдный, но съ рѣзкими и благородными чертами лица, съ такими, которыя, если не навсегда, то надолго запечатлѣваются въ памяти. На немъ была синяя изорванная блуза ремесленника. Долго и пристально, съ грустною ироніею, смотрѣлъ онъ на богатства, выставленныя передъ нимъ будто въ насмѣшку, и потомъ съ судорожнымъ движеніемъ надвинулъ на глаза козырекъ своей истасканной фуражки и пустился бѣжать, точно преслѣдуемый кѣмъ-то, махнувъ рукой съ такимъ отчаяніемъ, которaго передать нѣтъ возможности. Онъ уже исчезъ въ

толпѣ, а я все стоялъ еще на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ вслѣдъ ему...

— Боже мой, Боже мой,—кого я вижу! — вдругъ раздается голосъ сзади меня... — Какъ я радъ!.. Да давно ли вы у насъ здѣсь въ мѣстечкѣ Парижѣ-съ?

Я вздрагиваю при звукахъ родного языка и оборачиваюсь назадъ.

Передо мною человѣкъ небольшого роста съ густой рыжеватой бородой, одѣтый не совсѣмъ ловко, хотя съ большею щеголеватостью.

Я осматриваю его съ ногъ до головы.

Онъ смѣется.

— Вы, вѣроятно, не узнаете меня-съ? Немудрено, немудрено-съ. Парижъ хоть кого измѣнитъ. Поживите-ка у насъ, такъ сами увидите... Ну, очень радъ, очень радъ-съ!

И онъ протягиваетъ ко мнѣ обѣ руки.

Ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ встрѣтить на чужбинѣ и еще такъ неожиданно родного человѣка и услышать родные звуки. Отъ всего сердца желаю вамъ, дорогой читатель, когда-нибудь испытать это наслажденіе... Я крѣпко и съ большимъ чувствомъ жалъ руки, протянутыя мнѣ такъ радушно моимъ добрымъ соотечественникомъ.

— Что́, вы все не узнаете меня-съ? — продолжалъ онъ.

— Признаюсь...

Онъ снова смѣется, дружески треплетъ меня по плечу и, наконецъ, произноситъ свое имя, отчество и фамилію.

— Такъ это вы?.. Я такъ давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть.

— И вотъ гдѣ Богъ привелъ свидѣться-съ... скажите!.. Да мы еще, кажется, съ вами земляки-съ... Шарме, шарме...

И онъ опять схватываетъ меня за руку.

Здѣсь, можетъ быть, не лишнее замѣтить, что этотъ господинъ—отставной кавалеристъ и казанскій помѣщикъ... Въ отечествѣ я видѣлъ его не болѣе десяти разъ и, кажется, раза четыре говорилъ съ нимъ.

— Я никакъ не ожидалъ васъ встрѣтить въ Парижѣ...

Соотечественникъ мой, котораго мы будемъ звать Николаемъ Александрычемъ, немного смущается и обижается отъ моего замѣчанія.

— Почему же-съ? Что жъ тутъ удивительнаго-съ... Я полагаю, что я могу путешествовать такъ же, какъ и другіе-съ.

Впрочемъ это у него такъ, мгновенная вспышка. Онъ черезъ минуту дружески беретъ меня подъ руку и увлекаетъ съ собою.

— Я здѣсь совершенно ожилъ-съ, — говоритъ онъ мнѣ дорогою, — самъ себя не узнаю, просто... И это натурально-съ: повсюду, знаете, такія развлеченія... кафѐ, палаты-съ, театры... ну все это вмѣстѣ, знаете-съ... журналы, и какіе вѣдь журналы-то! какъ пишутъ-то! какимъ слогомъ-то-съ!.. Siècle-съ, напримѣръ... вѣдь прелесть что за журналъ!.. Утромъ этакъ сядешь и за чашкою кофе читаешь... наслажденіе-съ!

Такимъ образомъ разговаривая, Николай Александрычъ довелъ меня до cabinet Montpensier. Это въ Парижѣ самый полный и богатый кабинетъ для чтенія. Въ немъ, между прочими рѣдкостями, и наша *Сѣверная Пчела*, но объ этомъ уже, кажется, неоднократно говорилъ Николай Иванычъ Гречъ въ своихъ занимательныхъ письмахъ изъ-за границы... Противъ этого кабинета — лавочки съ разными мелкими галантерейными товарами, которые продаются дамами очень галантерейнаго обращенія.

Одна изъ этихъ дамъ съ большою пріятностью улыбнулась и кивнула головкой Николаю Александрычу... Николай Александрычъ не могъ скрыть при этомъ своего удовольствія.

— Видите ли-съ, — сказалъ онъ мнѣ, — я ужъ здѣсь пріобрѣлъ нѣкоторую извѣстность-съ... Всѣ эти гризеточки-съ меня знаютъ... Вотъ одна, что сейчасъ кивнула мнѣ головкой, — это мамзель Эмма-съ... Плутовочка! большая плутовочка-съ!.. Подойдемте къ ней, поговоримте-съ... Онѣ вѣдь всѣ, я вамъ скажу, прелюбезныя, образованныя такія; какой угодно разговоръ могутъ поддержать-съ.

Мы подходимъ къ прилавку, за которымъ сидитъ мамзель Эмма.

— Бон-журъ, мамзель Эмма! - Николай Александрычъ расшаркнулся передъ нею.

— Bon jour, M'sieur! — отвѣчала ему мамзель Эмма скороговоркою.

— А! ву зеть комъ тужуръ жоли. - Это Николай Александрычъ произнесь нараспѣвъ.

— Est-ce pas?.. Ecoutez... achetez quelque chose...

— Мерси.

— Allon donc! Soyez aimable.

— Гм! А когда же вы, мамзель Эмма, будете со мной любезны?

— Plus tard.. nous verrons... — Мамзель Эмма улыбнулась

— Охъ ужъ мнѣ эти плю-тарь!.. Знаемь мы ихъ... — проворчалъ сквозь зубы Николай Александрычъ...

— А кто это такой? — воскликнула мамзель Эмма, указывая на меня. — Я въ первый разъ вижу этого господина. Это тоже русскій, вашъ соотечественникъ?

— *Вуй*, — отвѣчалъ ей лаконически Николай Александрычъ...

Мамзель Эмма взглянула на меня.

— Вы, вѣрно, не такъ скупы, какъ м'сьё *Эрнестъ?*

— Кто такой?

— М'сьё Эрнестъ.

Мамзель Эмма показала на Николая Александрыча.

Николай Александрычъ отказался въ Парижѣ отъ имени, даннаго ему въ Россіи при святомъ крещеніи, и нарекъ себя Эрнестомъ.

— Купите у меня что-нибудь, продолжала мамзель Эмма, — вотъ эту гребеночку для усовъ или хоть вотъ эту щетку съ зеркаломъ. Она чудесно сдѣлана и стоитъ бездѣлицу, — только 4 франка... (Щетка стоила, впрочемъ, не болѣе франка)... Вы возьмете ее? Не правда ли?

И мамзель Эмма, не дожидаясь моего отвѣта, завертываетъ щетку въ бумагу, отдаетъ мнѣ и прибавляетъ: «Merci, m'sieur».

Дѣлать нечего, — я плачу ей 4 франка.

Мамзель Эмма обратилась потомъ къ м'сьё Эрнесту, или къ Николаю Александрычу, что одно и то же, съ вопросами:

— А вы будете завтра въ Valentino?.. А что, у васъ въ Россіи танцуютъ польку? La polka doit faire le tour du monde! — прибавила она съ важностью — и вдругъ вскрикнула:

— Dame! le v'la le mauvais sujet... Gustave! Gustave!..

Но тотъ, къ кому относились эти возгласы — молодой человѣкъ очень красивой наружности, въ мундирѣ политехнической школы, прошелъ мимо, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мамзель Эмму.

— Кто это такой?—спросилъ ее Николай Александрычъ.

— C'est mon cousin Arthure, — отвѣчала, нимало не задумавшись, мамзель Эмма... — Итакъ завтра въ Valentino?

— О, непремѣнно.

Николай Александрычъ дружески простился съ мамзель Эммою, пожалъ ей руку, и мы отправились далѣе...

Чрезъ минуту онъ обратился ко мнѣ, посмотрѣлъ на меня очень сладко и произнесъ:

— Ну не правда ли, премиленькая плутовочка-съ?

ГЛАВА II.

Въ Парижѣ множество публичныхъ баловъ, и на каждомъ изъ этихъ баловъ, по увѣренію афишъ, собирается l'élite de la fashion.

Самые замѣчательные изъ нихъ: *лѣтніе* — la Grande-Chaumière, продававшаяся за 500.000 фр., Ranelagh, le Château-Rouge и Мабиль (въ Елисейскихъ Поляхъ); *зимніе*— Valentino (въ улицѣ Сент-Оноре) и Прадо (на лѣвой сторонѣ Сены, въ Латинскомъ кварталѣ). Меньшею извѣстностью пользуются залы — d'Antin, Montesquieu и Vivienne. Впрочемъ, во всѣхъ этихъ мѣстахъ танцуютъ до упаду отъ

8 до 12 часовъ ночи, пять дней въ недѣлю. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, зимою 1844 г. въ Парижѣ и около Парижа находилось 427 публичныхъ заведеній: театровъ, бальныхъ залъ и салоновъ у ресторатороѣъ и виноторговцевъ, гдѣ народъ, съ дозволенія правительства, веселится, подъ присмотромъ или муниципальнаго сторожа, или городского сержанта, или жандарма extra muros.

Въ каждомъ изъ этихъ заведеній есть непремѣнно своя героиня, своя царица, своя polkeuse d'honneur. Имена ихъ сдѣлались громкими въ Европѣ. Въ Chaumière пользуются большою славою *Клара* и *Марія*, раздѣлившія публику на два враждующіе лагеря — на Кларинетовъ (Clarinettes) и Маріянетовъ (Marionettes). Мабиль справедливо передъ всѣми гордится знаменитою *Королевою Помаре* (la Reine Pomaré) и ея пріятельницею — Céleste Mogador. Біографія королевы Помаре издана въ Парижѣ въ началѣ 1844 года. Изъ этой біографіи мы узнаемъ, что королева Помаре родилась въ парижскомъ циркѣ отъ бѣдныхъ, но знатныхъ родителей... Родная племянница m-lle Franconi, съ самаго дѣтства дышала она олимпійскою пылью, и еще до сихъ поръ сохранилось истинно-олимпійское величіе въ ея манерахъ и въ ея обращеніи съ *полькёрами* (polkeurs). «Mille cornets à piston! — говоритъ она имъ, небрежно покуривая сигарку, - vous m'appelez tous Pomaré... Je suis déjà reine du Ranelagh, princesse de Mabille, du Prado et autres chaumières!» Longue vie à Pomaré la belle! — восклицаютъ въ одинъ голосъ восторженные полькёры, — que son règne soit une polka sans fin! - -Однако прошлою зимою звѣзда королевы Помаре начала тускнѣть. Соблазненная предложеніями директора пале-рояльскаго театра, она вступила-было на театральные подмостки. Дебютъ ея былъ неудаченъ. Ее проводили со сцены свистками и шиканьемъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ публичныхъ заведеній, гдѣ неограниченно владычествуетъ королева Помаре, какъ напримѣръ Ranelagh и la Crande-Chaumière, существуютъ болѣе полувѣка.

Балъ *Prado* — на томъ мѣстѣ, гдѣ была нѣкогда цер-

ковь св. Варѳоломея — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ памятниковъ среднихъ вѣковъ въ Парижѣ.

Valentino — танцовальная зала въ улицѣ Saint-Honoré, хотя основана не болѣе 8 лѣтъ, но пользуется большою славою. Сюда-то мамзель Эмма пригласила Николая Александрыча.

Я, какъ путешественникъ любознательный и праздный, непремѣнно хотѣлъ видѣть всѣ публичныя парижскія увеселенія, а Николай Александрычъ непремѣнно хотѣлъ въ этомъ случаѣ быть моимъ чичероне, ибо онъ зналъ Парижъ «какъ свои пять пальцевъ-съ», по его собственному выраженію. — И вотъ, въ половинѣ десятаго, мы отправились съ нимъ въ улицу Сент-Оноре и на пути пріобрѣли довольно большой букетъ лиловыхъ фіалокъ за 2 франка.

— Кому же этотъ букетъ предназначается? — спросилъ я у моего земляка, — конечно, мамзель Эммѣ?

— Ей или какой-нибудь другой-съ... Вѣдь она не одна у меня знакомая-съ..

Мы вошли въ залу.

Зала большая, освѣщенная газомъ; кругомъ ея хоры. Танцующіе — запросто въ сюртукахъ или въ пальто и въ шляпахъ, нѣкоторыя дамы даже съ муфтами. Полька во всемъ разгарѣ. Мы пробрались впередъ, чтобъ посмотрѣть на полькирующихъ вообще и полюбоваться мамзель Эммою въ особенности. Въ послѣднія 12 лѣтъ парижане, говорятъ, сдѣлали величайшій прогрессъ въ танцахъ, благодаря генію Вестрисовъ публичныхъ баловъ. Теперь уже, конечно, нельзя упрекнуть парижанъ въ томъ, что они танцуютъ *ходя*, съ небрежнымъ и утомленнымъ видомъ... и теперь, правда, *ходятъ* въ публичныхъ балахъ, — но только по ногамъ любопытныхъ, что я самъ испыталъ, къ величайшему моему прискорбію, потому что у меня на ногахъ мозоли...

Послѣ польки, въ которой и кавалеры, и дамы предавались вполнѣ своей фантазіи бурной и необузданной, начался кадриль съ легкимъ канканомъ (petit cancan léger).

Не находя мамзель Эммы, Николай Александрычъ въ не-

терпѣніи повертывалъ свой букетъ и обнаруживалъ сильное безпокойство; но въ началѣ второй фигуры онъ вдругъ дернулъ меня за сюртукъ и радостно вскрикнулъ:

— Вотъ она, вотъ она-съ!.. смотрите!

— Кто? Королева Помаре?

— Нѣтъ, — Эмма-съ.

— Гдѣ?

— Да вотъ направо-то-съ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту мамзель Эмма съ большою легкостью и не безъ граціи, въ зебровомъ crispin, въ чорной бархатной шляпкѣ и съ муфтой, нагнувъ головку, летѣла навстрѣчу своему кавалеру, который, также нагнувъ голову, устремлялся на нее со всею яростью разъяреннаго быка. — Это avant-deux du taureau furieux, — замѣтилъ кто-то возлѣ меня.

Эмма и ея кавалеръ тотчасъ были всѣми замѣчены. Рукоплесканія раздались имъ со всѣхъ сторонъ.

Лицо моего Николая Александрыча просвѣтлѣло, какъ будто эти рукоплесканія относились собственно къ нему.

— Какова Эмма-то-съ! — шепнулъ онъ мнѣ въ восторгѣ.

Когда кадриль кончился, онъ подошелъ къ ней и поднесъ ей букетъ, произнеся какой-то комплиментъ, явно вытверженный имъ заранѣе.

Эмма, улыбаясь, взяла букетъ, слегка ударила имъ по лицу Николая Александрыча, объявила, что находитъ его очень любезнымъ и что найдетъ еще любезнѣе, если онъ напоитъ ее чѣмъ-нибудь... хоть шампанскимъ, напримѣръ, потому что ей ужасно пить хочется.

Николай Александрычъ безпрекословно повиновался, предложилъ мамзель Эммѣ свою руку и полетѣлъ съ нею на хоры, напѣвая что-то неопредѣленное себѣ подъ-носъ. Я послѣдовалъ за ними.

На хорахъ они расположились у столика, возлѣ самыхъ перилъ, чтобъ удобнѣе видѣть танцующихъ. Николай Александрычъ закричалъ торжественно:

— Гарсонъ, une bouteille de champagne!!

При этомъ возгласѣ мамзель Эмма не безъ гордости

подняла голову и не безъ величія посмотрѣла кругомъ себя. — На сосѣднихъ столахъ кавалеры угощали ея пріятельницъ пивомъ и шипучемъ лимонадомъ.

Шампанское принесено. Николай Александрычъ ловко раскупорилъ бутылку и осторожно вынулъ пробку, замѣтивъ мнѣ, что онъ терпѣть не можетъ громогласныхъ оттычекъ и что такого рода оттычки въ Парижѣ *не приняты*.

Мамзель Эмма залпомъ осушила налитый ей бокалъ, и, вслѣдъ затѣмъ, выпила еще два... Она болтала безъ умолку, критиковала и пародировала танцовавшихъ внизу дамъ и замѣтила, между прочимъ, что танцуя — elle se livre toujours à toute l'improvisation de son génie и что въ Valentino одна только Pauline можетъ быть ея соперницей.

— Pauline очень мила и умна, — продолжала мамзель Эмма, обращаясь ко мнѣ, — считается въ Парижѣ одною изъ лучшихъ полькисточъ. Хотите, я васъ съ нею познакомлю?

Я поблагодарилъ мамзель Эмму за ея участіе и вниманіе ко мнѣ.

— Вотъ она, — посмотрите, — танцуетъ съ Анатолемъ... съ этимъ высокимъ и курносымъ господиномъ съ усами... О! Анатоль славный танцоръ!

Я привсталъ, чтобъ посмотрѣть на мамзель Полину.

Въ это самое мгновеніе курносый господинъ, дѣлая en avant-deux, обнялъ ее, а она прижала его къ своему сердцу.

— Bravo! — вскрикнула мамзель Эмма, — c'est galant, c'est de bon goût, c'est vraiment français!

Выпивъ еще бокала два, она встрепенулась при звукахъ галопа, говоря, что никакъ не можетъ равнодушно сидѣть на стулѣ, когда другіе галопируютъ, и съ этими словами бросилась внизъ.

— Что за дѣвочка! что за живчикъ-съ!..— сказалъ Николай Александрычъ, провожая ее глазами. — Ахъ, эти француженки!.. Выпьемъ-съ ей Богу еще бутылочку шампанскаго... Эхъ, куда ни шло!

И, не дожидаясь моего отвѣта, онъ велѣлъ подать дру-

гую бутылку. Попивая, онъ описывалъ мнѣ прелести парижской жизни, а я, слушая его, смотрѣлъ на танцующихъ.

Поодаль отъ этой скакавшей и прыгавшей толпы, только два человѣка, съ видомъ апатическимъ, неподвижно стояли, прислонясь къ столбамъ, вполнѣ сохраняя строгую важность своего сана. То были муниципальные стражи, наблюдающіе за 25 су въ ночь надъ общественнымъ порядкомъ и нравственностью.

Только слишкомъ энергическіе и слишкомъ увлекающіеся танцоры тревожатъ иногда этихъ почтенныхъ людей. И въ такихъ случаяхъ, выходя изъ обычной своей недвижности, они чрезвычайно вѣжливо подходятъ къ нарушителямъ приличія *) и напоминаютъ имъ объ одномъ очень замысловатомъ правительственномъ инструментѣ, называемомъ *скрипкою* (le violon) **).

До 2 часовъ, то-есть до окончанія бала, мамзель Эмма танцовала безъ отдыха.

— Что, вы не устали? — спросилъ я ее.

— M'sieur, — отвѣчала мнѣ съ достоинствомъ мамзель Эмма, — je suis encore capable de faire le tour du champ-de-Mars en cinq minutes, et de gagner le prix royal, si ce genre de course était encouragé par le gouvernement.

За симъ Николай Александрычъ попросилъ позволенія у мамзель Эммы проводить ее до дома. Она очень охотно приняла его предложеніе, а такъ какъ идти съ ними мнѣ было по пути, то мы отправились всѣ вмѣстѣ пѣшкомъ, потому что не нашли ни одного фіакра.

Въ первомъ часу, когда спектакли и публичные балы оканчиваются, неугомонный Парижъ успокоивается. Рестораны и кафе запираются. Стукъ и громъ экипажей смолкаютъ, и повсюду, даже на самыхъ главныхъ улицахъ,

---

*) Полиція въ Парижѣ строга и дѣятельна, но вмѣстѣ съ этимъ чрезвычайно вѣжлива съ людьми всѣхъ классовъ, чему я былъ неоднократно свидѣтелемъ.

**) Арестъ.

водворяется такая мертвая тишина, какъ въ Москвѣ въ 10 часовъ вечера.

Мы шли, не встрѣчая ни одного человѣка. Мамзель Эмма подъ ручку съ Николаемъ Александрычемъ; я сзади нихъ, потому что тротуары въ Парижѣ очень узки.

Вдругъ мамзель Эммѣ пришла охота обучать Николая Александрыча полькѣ. Она заставила его обвить свою талію и пустилась съ нимъ полькировать по грязнымъ плитамъ. Николай Александрычъ поскользнулся, едва не упалъ и не уронилъ свою даму. Неловкость моего соотечественника забавляла мамзель Эмму, и она отъ всего сердца и во все горло хохотала надъ нимъ.

На углу улицы Ришельё я простился съ моими спутниками. Мамзель Эмма дружески протянула мнѣ руку и произнесла съ комической важностью:

— Recevez mes adieux, mon chère m'sieur...

Они повернули направо, я налѣво. На поворотѣ она громко запѣла:

Deux fois elle eut équipage,
Dentelles et diamants,
Et deux fois mit tout en gage
. . . .
Larifla' fla! fla' larifla! fla' fla!

И долго голосъ ея, впрочемъ очень пріятный, раздавался въ пустынной улицѣ, замирая въ отдаленіи.

ГЛАВА III.

Николай Александрычъ посѣщалъ меня довольно часто. Не знаю почему, я пріобрѣлъ его расположеніе и вслѣдствіе того откровенность. Однажды, какъ-то къ случаю, онъ разсказалъ мнѣ о своей прошедшей жизни: о суровости нрава своего покойнаго родителя, державшаго его при себѣ въ деревнѣ лѣтъ до семнадцати; о плеткѣ, съ которою ста-

ричокъ его никогда не разставался, и грозя которой, онъ обыкновенно приговаривалъ: «Вотъ, братецъ ты мой, самый лучшій учитель для мальчика. Я это испыталъ на самомъ себѣ. Эта плетка у насъ переходила изъ рода въ родъ— и ей-то именно я и обязанъ тѣмъ, что сдѣлался *человѣкомъ*»; о неукротимомъ жеребцѣ Полканѣ, на котораго родитель впервые посадилъ его — двѣнадцатилѣтняго ребенка, дрожащаго отъ страха и плачущаго; о томъ, какъ Полканъ понесъ его; какъ полумертвый ухватился онъ ручонками за гриву коня, и какъ родитель, глядя на него, кричалъ, надрываясь отъ смѣха: «Ничего, братецъ ты мой, ничего; не бойся! Полканъ мой выбьетъ изъ тебя бабій духъ; онъ сдѣлаетъ изъ тебя *человѣка*».

Николай Александрычъ сообщилъ мнѣ много также любопытнаго о разстригѣ, который обучалъ его грамотѣ и пилъ ерофеичъ съ его почтеннымъ родителемъ, и еще кое о чемъ не менѣе любопытномъ.

— Лѣтъ десять, — говорилъ онъ мнѣ, — прослужилъ я въ конницѣ и чего только не натерпѣлся въ это время-съ, особенно при жизни отца. Какъ я перебивался-съ, право, и до сихъ поръ понять не могу. Я всего получалъ только отъ него 400 рублей въ годъ на содержаніе... Вѣрите ли вы этому-съ?.. Ну, правда, послѣ его смерти я поотдохнулъ и пожилъ-таки изрядно — и, слава Богу, вотъ вышелъ въ отставку съ чиномъ ротмистра.

Николай Александрычъ улыбнулся.

— До майора, признаться, я не хотѣлъ добираться. И служба, знаете, понаскучила-съ, да и чинъ майорскій какъ-то не нравится прекрасному полу-съ... Дѣвицы и дамы-съ всегда воображаютъ почему-то майора съ брюшкомъ, съ шляпой на затылкѣ-съ... А я, нечего грѣха таить-съ, всегда былъ немножко падокъ къ прекрасному полу. Въ отставкѣ случай свелъ меня съ людьми учеными и образованными-съ. Какъ я посмотрѣлъ на нихъ, да послушалъ ихъ-съ, такъ мнѣ ей Богу совѣстно стало за самого себя-съ... У меня тутъ только открылись глаза-съ. Принялся было читать... да нѣтъ; — чувствовалъ, что поздненько хватился... однако все-

таки кое-чему понаучился-съ. Въ деревнѣ я больше охотой занимался, да все было что-то скучно-съ. Одинъ сосѣдъ мой — человѣкъ образованный и богатый, отправился за границу-съ. А у меня всегда была какъ-то страстишка посмотрѣть на Божій свѣтъ, да и себя показать. Я подумалъ-подумалъ, заложилъ имѣніе, да и махнулъ сюда-съ. Теперь я такъ привыкъ къ здѣшней жизни-съ, что, право, часто мнѣ приходитъ въ голову: ужъ не напрасно ли я пріѣхалъ сюда?.. Что же я буду дѣлать-съ, возвратясь къ себѣ въ Кобелевку-съ? Ужъ лучше бы я, право, и понятія не имѣлъ объ этой жизни... Все легче бы было.

Николай Александрычъ задумался и прошелся по комнатѣ.

— А вѣдь и то сказать-съ, и здѣсь-то я что такое, при чемъ я? Конечно, что я ожилъ здѣсь, ну, просто, воскресъ... объ этомъ что и говорить; но, признаться, и здѣсь на меня изрѣдка находитъ этакая, какъ бы вамъ сказать, хандра-съ... Ахъ!

Николай Александрычъ махнулъ рукой, и мнѣ даже показалось, что глаза его сдѣлались влажны.

— Все какъ-то тяжело-съ, пусто-съ, чего-то не достаетъ. Пробовалъ я ходить и въ Сорбону, и въ Collége de France... Оно, конечно, любопытно-съ... Ну да и профессора-то здѣсь, вы сами знаете, безподобнѣйшіе профессора-съ... Ясно, отчетисто все это такъ читаютъ-съ, съ жаромъ съ такимъ-съ... Да учиться-то мнѣ ужъ лѣта прошли-съ...

Николай Александрычъ покачалъ головою.

— Собственно мнѣ и здѣсь-то дѣлать нечего!

Онъ бросился на кресло, облокотился о ручку и нѣсколько минутъ молча пробылъ въ этомъ положеніи.

— На что моя жизнь? Кому она полезна? Ни себѣ, ни другимъ... Эхъ! да что, впрочемъ, думать объ этомъ-съ... Вѣдь ничего новаго не выдумаешь-съ... Поговоримте-ка лучше объ Эммѣ-съ...

Мамзель Эмма очень нравилась Николаю Александрычу, а мамзель Эммѣ очень нравились завтраки Николая Александрыча, и потому она посѣщала его каждое утро. Она

влетала къ нему въ комнату всегда беззаботная и веселая, съ пѣснею на устахъ, бросала муфту и шляпку на диванъ, придвигала кресла къ камину и, приподнявъ платьице, начинала обыкновенно грѣть ножки у камина. Ножки у мамзель Эммы были маленькія и всегда, какъ у всѣхъ парижанокъ, прекрасно обутыя. И несмотря на то, что мамзель Эмма большею частію ходила пѣшкомъ, на ея черныхъ прюнелевыхъ ботинкахъ, съ кончикомъ изъ лакированной кожи, никогда не было ни одной брызги грязи.

Николай Александрычъ, глядя на эти грѣвшіяся у камина ножки, умилительно покачивалъ головою и говорилъ своимъ пріятелямъ:

— Экая ножка-то-съ, посмотрите, ради Бога! Вѣдь вотъ чѣмъ хорошъ этотъ проклятый Парижъ, вѣдь вотъ отчего нигдѣ нельзя жить, кромѣ Парижа-съ... Нѣтъ, лучше бы я не пріѣзжалъ сюда-съ!

Когда портье являлся съ устрицами и съ бутылкою бургонскаго, мамзель Эмма вскакивала съ креселъ, встрѣчала его съ рукоплесканьями, сама накрывала на столъ, тотчасъ принималась кушать и пить — и кушала съ большимъ аппетитомъ, какъ всѣ француженки, выпивала стакана два бургонскаго, не умолкала почти ни на минуту, а въ заключеніе непремѣнно пускалась понькировать съ кѣмъ-нибудь изъ присутствовавшихъ.

Если мамзель Эммѣ нравилась у Николая Александрыча, или у кого-нибудь изъ его гостей, какая-нибудь вещь: напримѣръ — булавка, печатка, ключикъ отъ часовъ, или даже носовой платокъ,—она безъ церемоніи обращалась къ хозяину этой вещи, хотя бы этого господина видѣла въ первый разъ.

— Tiens, comme c'est joli! — восклицала она, разсматривая понравившуюся ей вещь, — подарите мнѣ это.

Отказъ, впрочемъ, нимало не смущалъ ее; но если ей дарили вещь, она прыгала отъ радости, какъ ребенокъ. Впрочемъ на Николая Александрыча она иногда очень сердилась, если онъ не исполнялъ ея желаніе. Въ такомъ случаѣ она схватывала съ горячностью свою муфту, надѣвала шляпку и дѣлала нѣсколько шаговъ къ двери. Николай

Александрычъ бросался ее удерживать, но она, принявъ на себя серьезный и важный видъ, восклицала:

— Ah! bah! laissez-moi donc! vous êtes un monstre!

Затѣмъ слѣдовало тотчасъ же примиреніе, и Николай Александрычъ отправлялся съ мамзель Эммою обѣдать въ какой-нибудь изъ маленькихъ ресторановъ, а послѣ обѣда въ какой-нибудь изъ бульварныхъ театровъ. Бѣдная гризетка, она не имѣла понятія объ отдѣльныхъ великолѣпныхъ кабинетахъ Вери, или Café Anglais — гдѣ свирѣпствуютъ *лоретки*, и не любила ни Théâtre Français, гдѣ, по собственному ея сознанію, она была только одинъ разъ въ жизни, да и то чуть не умерла со скуки, ни Итальянскаго театра, въ которомъ никогда не бывала. *Délassement comique* предпочитала она всѣмъ парижскимъ театрамъ — и для нея *m-lle Eléonore*[1]) была несравненно лучше и забавнѣе г-жъ *Плесси* и *Рашель*.

Комната мамзель Эммы, какъ вообще комнаты гризетокъ, не отличалась особеннымъ убранствомъ: четыре или пять плетеныхъ стульевъ, столъ, кровать съ ситцевою занавѣскою, небольшое зеркало на стѣнѣ и литографированный портретъ *Hyacinthe* — актера театра Variétés, знаменитаго въ Парижѣ не столько по своему таланту, сколько по огромному носу.

Къ этой мебели Николай Александрычъ прибавилъ диванъ и два мягкіе стула. Онъ не жалѣлъ денегъ для мамзель Эммы. И она скоро оставила свою лавочку въ Пале-Роялѣ, бросила свой зебровый crispin, облачилась въ черный, бархатный, и даже кошачью муфту замѣнила горностаевой. И глядя на нее въ этомъ нарядѣ, такъ и хотѣлось запѣть:

Quoi! Lisette, est-ce vous?
Vous en riche toilette!
Vous, avec des bijoux!
Vous, avec une aigrette!
Eh! non, non, non,
Vous n'êtez plus Lisette.
Eh! non, non, non.
Ne portez plus ce nom

[1]) M-lle Eléonore занимаетъ роли гризетокъ въ Délassement comiqne — въ одномъ изъ маленькихъ бульварныхъ театровъ.

Зато, по мѣрѣ умноженія расходовъ мамзель Эммы, Николай Александрычъ уменьшалъ свои собственные и, наконецъ, дошелъ до того, что, уходя изъ дома, обсыпалъ пепломъ полѣно, чтобъ оно не горѣло въ его отсутствіе.

— Эгакъ, пожалуй, совсѣмъ просвищешься-съ, — говорилъ онъ, — надобно же хоть въ чемъ-нибудь соблюдать экономію-съ. Здѣсь вѣдь дрова ужасно какъ дороги.

Разъ какъ-то мамзель Эмма лежала у него на диванѣ и курила папироску, а онъ, смотря на нее, мрачно прохаживался по комнатѣ — и потомъ обернулся ко мнѣ.

— А что, вѣдь она меня не любитъ-съ? Какъ вы думаете?

— Это, право, вамъ лучше знать, чѣмъ мнѣ.

— Ужъ это я знаю-съ; да и къ тому же, мнѣ кажется, француженки не способны къ настоящей любви-съ... Онѣ привыкли къ разсѣянію-съ, къ безпрестаннымъ перемѣнамъ-съ, или, можетъ быть, онѣ насъ, русскихъ, просто любить не могутъ, потому что нравы-то наши-съ очень различны отъ ихъ-съ... Ужъ Богъ знаетъ, а только мнѣ все что-то какъ будто неловко съ нею-съ... Отчего бы это?

— Опять при мнѣ на этомъ варварскомъ языкѣ, — небрежно проговорила мамзель Эмма, пуская дымъ въ глаза Николаю Александрычу. — Сколько разъ я повторяла тебѣ, что это невѣжливо... О чемъ ты сейчасъ говорилъ?

— Гм! Все объ одномъ и томъ же... О томъ, что ты меня не любишь.

Мамзелъ Эмма расхохоталась.

— Фи! какъ это старо. Нѣтъ ли чего-нибудь поновѣе?..

— Что жъ... Вѣдь это правда... вѣдь ты меня не любишь? сказалъ Николай Александрычъ, подходя къ мамзель Эммѣ и глядя на нее умоляющими глазами.

— Je t'adore, mon p'tit chat! — отвѣчала мамзель Эмма, захохотавъ во все горло.

Николай Александрычъ вспыхнулъ.

— Видите ли-съ, — воскликнулъ онъ опять по-русски (въ минуты волненія онъ ужъ рѣшительно не могъ говорить по-французски), — вотъ онѣ, вотъ онѣ каковы, эти францу-

женки-то-съ! Имъ только надо всѣмъ хохотать-съ, имъ все смѣшно-съ; просто у нихъ никакого чувства нѣтъ-съ.

Наивность добраго Николая Александрыча трогала меня. Я сталъ его утѣшать, разумѣется, общими мѣстами. Утѣшенія мои не дѣйствовали. По его разстроенному виду мамзель Эмма, вѣроятно, догадалась, что ея смѣхъ непріятно на него дѣйствовалъ.

Она взглянула на него очень нѣжно и съ большимъ участіемъ. Онъ просіялъ въ ту же минуту.

— Дитя! — сказала ему мамзель Эмма, — ты совершенное дитя, Эрнестъ. — Потомъ она наклонилась къ его уху и что-то шепнула ему.

— Vraiment? vraiment? — пролепеталъ Николай Александрычъ съ полнымъ довѣріемъ.

Въ этотъ же вечеръ онъ подарилъ мамзель Эммѣ золотую браслетку, висѣвшую у окна одного магазина въ Passage vivienne, мимо которой она никогда не могла проходить равнодушно...

Многіе изъ нашихъ соотечественниковъ, бывшихъ тогда въ Парижѣ, подсмѣивались надъ моимъ Николаемъ Александрычемъ и называли его пустымъ человѣкомъ. Правда, Николай Александрычъ не занимался *глубокими вопросами* и не разсуждалъ вкривь и вкось о предметахъ, которые были выше его разумѣнія, но иногда безсознательно понималъ то, чего не понимали многіе изъ подсмѣивавшихся надъ нимъ.

Онъ никогда не проходилъ равнодушно и безотвѣтно мимо увѣчнаго или нищаго, который, съ боязнью озираясь кругомъ, не подсматриваетъ ли за нимъ городской сержантъ, судорожно протягивалъ къ нему изсохшую руку. Николаю Александрычу не приходила, напримѣръ, въ голову мысль, что до французскихъ нищихъ намъ, русскимъ, нѣтъ дѣла...

Николай Александрычъ не карабкался на колокольню собора Парижской Богоматери единственно для того, чтобъ изречь оттуда проклятіе Парижу.

Онъ не издавалъ такъ называемыхъ *Путевыхъ Записокъ*, т.-е. выкрадокъ изъ «Дорожниковъ». съ примѣсью кое-ка-

кихъ собственныхъ пошлыхъ и устарѣлыхъ мыслей и возгласовъ...

Онъ не ѣздилъ показывать свою физіономію разнымъ европейскимъ знаменитостямъ...

И, несмотря на это, мой герой-путешественникъ кажется мнѣ оригинальнѣе и забавнѣе всѣхъ *вышеисчисленныхъ* путешественниковъ!..

Какъ *вы* объ этомъ думаете, мой читатель?..

ГЛАВА IV.

Карнавалъ приближался. Не одна мамзель Эмма ожидала его съ нетерпѣніемъ. Карнавалъ въ продолженіе одиннадцати мѣсяцевъ любимая мечта всѣхъ парижанъ и парижанокъ. Скакать и прыгать шесть или семь часовъ сряду — это любимое отдохновеніе ихъ послѣ трудовъ. Минута, когда по календарю г. Делессера (префекта полиціи) можно безнаказанно облечься въ костюмъ и явиться на балъ къ г. Мюзару — это минута высочайшаго блаженства для парижанина.

Итальянцы говорятъ: кто видѣлъ Неаполь, тотъ можетъ умереть. Парижане говорятъ: «быть Пьерро и потомъ умереть!» (Etre Pierrot et puis mourir!).

Одни только старые портье и ихъ жены ненавидятъ карнавалъ, потому что въ это время имъ безпрестанно приходится *дергать шнурокъ* (tirer le cordon) послѣ полуночи. Съ заспанными глазами, ворча, эти мегеры проклинаютъ и г. Мюзара, и его поклонниковъ — ловкихъ и буйныхъ *дебардеровъ* мужского и женскаго пола (débardeurs et débardeuses), которыхъ мой другъ Николай Александрычъ вообще называлъ *дебардерчиками.*

Еще за недѣлю до перваго маскарада, Николай Александрычъ заказалъ для мамзель Эммы великолѣпный черный домино съ кружевами, бархатную черную маску и удивительный букетъ у цвѣточницы въ Passage de l'Opéra, и заранѣе воображалъ, какъ она будетъ прохаживаться съ нимъ подъ руку въ фойе Большой оперы и какъ его пріятели-соотече-

ственники будутъ приставать къ нему съ разспросами: съ кѣмъ это ты, mon cher? кто это такая? и какъ они, вѣроятно, примутъ ее за какую-нибудь изъ извѣстныхъ лоретокъ. Всѣ эти фантазіи очень щекотали самолюбіе Николая Александрыча.

Наконецъ желанный вечеръ наступилъ. Балъ въ оперѣ открывается ровно въ полночь. Въ одиннадцать часовъ явился къ Николаю Александрычу парикмахеръ. Онъ завилъ его, какъ барашка. Николай Александрычъ облекся въ лучшія свои одежды, раздушился и очень довольный собою началъ прохаживаться по комнатѣ, отъ поры до времени поглядывая на себя въ зеркало.

— А что, знаете, не выпить ли намъ-съ en attendant бутылочку шампанскаго? — сказалъ онъ, вдругъ обратясь ко мнѣ.

— Для чего же?

— Да такъ, знаете, для смѣлости-съ... Языкъ какъ-то послѣ этого сдѣлается развязнѣе, свободнѣе объясняешься по-французски, и вообще какъ-то ловче чувствуешь себя, ей Богу-съ...

Шампанское принесено было старымъ портье.

Николай Александрычъ налилъ бокалъ и поднесъ его портье

— А ма санте́ мосье Франсуа!

Портье поблагодарилъ Николая Александрыча, выпилъ бокалъ за его здоровье, всполоснулъ его водой, вытерь полотенцемъ, поставилъ на столъ и собирался итти.

— Же сюи комъ иль фо? Неспа, мосье Франсуа? — сказалъ Николай Александрычъ, остановясь передъ нимъ и охорашиваясь.

Портье улыбнулся, посмотрѣлъ на Николая Александрыча съ ногъ до головы и произнесъ:

— Dame! Je crois bien.

Въ эту минуту мамзель Эмма вбѣжала въ своемъ новомъ домино, съ букетомъ и съ маской въ рукѣ. Николай Александрычъ бросился къ ней навстрѣчу. Мамзель Эмма отступила шагъ назадъ, точно такъ же, какъ портье, съ ногъ до головы осмотрѣла Николая Александрыча и вскрикнула:

— Tiens! que tu est beau comme ça, mon chéri!

— Насмѣшница! — замѣтилъ Николай Александрычъ съ чувствомъ удовольствія, котораго онъ никакъ не могъ скрыть.

— А каковъ домино-то-съ? — сказалъ онъ, подмигивая мнѣ, — не правда ли, прелесть? Около 100 франковъ стоилъ-съ, да и букетецъ-то недуренъ... Я увѣренъ, что ее никто не узнаетъ изъ нашихъ-съ.

Между тѣмъ мамзель Эмма закурила папироску, налила себѣ бокалъ шампанскаго, чокнулась съ Николаемъ Александрычемъ и развалилась на креслахъ, напѣвая:

Tant qu'on le pourra
L'on trinquera,
Chantera,
Aimera
La fillette.

Я просидѣлъ у Николая Александрыча около часа.

Шампанское точно придало ему нѣкоторую развязность. Онъ былъ очень любезенъ, мамзель Эмма была имъ очень довольна. Все шло хорошо. Около часа они отправились на балъ въ ситадинѣ (citadine)...

На балахъ Большой оперы сосредоточивается въ настоящее время весь парижскій карнавалъ. И несмотря на огромныя издержки: освѣщеніе и плату директору оперы 40,000 франковъ за наемъ залы, — въ прошедшую зиму оперные балы принесли чистаго дохода въ 2 мѣсяца 70,000 франковъ. Сборъ каждаго бала простирался до 15,000 франковъ. Парижъ во всемъ его блескѣ и движеніи является въ маскарадныя ночи. Съ десяти часовъ вечера бульвары принимаютъ уже праздничный видъ. Аристократическій газъ зажигается въ формѣ трехугольниковъ передъ зданіемъ Большой оперы, подъѣздъ Ambigu освѣщается скромными шкаликами. Маски появляются на бульварахъ. Блузники со скамейками, съ ваксой, съ щеткой и съ фонарями располагаются при входе въ Passage de l'Opéra. Всѣ рестораны до разсвѣта блещутъ огнями. Громъ экипажей не умолкаетъ всю ночь. Отъ одиннадцати до двѣнадцати часовъ всѣ бульварные кафе полны

народомъ. Это самый затруднительный часъ, часъ ожиданія; надобно же какъ-нибудь убить его. Почтенные отцы семейства, оставившіе для бала женъ и дѣтей и бумажные колпаки свои, безпрестанно посматривая на стрѣлку часовъ, занимаются чтеніемъ *Messager* или просто дремлятъ, склоняясь своими лысыми головами къ мраморнымъ столамъ; юноши дебардеры, въ порывахъ нетерпѣнія, предаются разнымъ буйствамъ, ломаютъ бильярдные кіи, курятъ, болтаютъ о политикѣ, о любви и о канканѣ съ dames de comptoirs и перебраниваются съ *гарсонами*, которые скромно осмѣливаются замѣчать имъ, что у нихъ-де въ кафе нельзя курить... Въ полночь Passage de l'Opéra превращается въ маскарадную залу. Дебардеры канканируютъ, черныя домино пищатъ... Шумъ, крикъ и пѣсни... Но это только еще преддверіе храма...

На другой день послѣ бала мы сошлись съ Николаемъ Александрычемъ у Вефура. Николай Александрычъ былъ не въ духѣ. Онъ спросилъ пополамъ съ какимъ-то своимъ знакомымъ порцію *Jullienne* и *barbue à la Hollandaise*, говоря, что больше ничего не можетъ ѣсть, оттого что у него желудокъ разстроенъ послѣ вчерашняго ужина.

— А кстати, какъ вы вчера веселились?

— Очень, очень-съ... Да отчего же вы-то не были-съ! Это вѣдь не то, что наши маскарады-съ. Тутъ столько для наблюденія-съ и для прочаго другого-съ.

— Ну ужь въ слѣдующій разъ я непремѣнно поѣду.

— Поѣзжайте-съ, поѣзжайте. А я, признаться сказать, вчера ужасно разсердился на Эмму-съ.

— За что же?

— Да помилуйте! какъ же-съ... увѣряетъ, что она надѣла въ первый и послѣдній разъ домино, что въ домино ей скучно и душно, что она женирована въ немъ-съ; что, видите ли, костюмъ дебардерчика гораздо лучше-съ... а вѣдь сама же просила у меня домино... Зачѣмъ же я бросилъ 100 франковъ? И потомъ все время ходила съ этимъ уродомъ *Гіацинтомъ-съ (Hiacynthe)*... Что жъ это такое-съ? И наши всѣ ее тотчасъ узнали-съ: не умѣла скрыть себя. Да еще за ужинъ я долженъ былъ заплатить 50 франковъ-съ, не-

смотря на то, что мы ужинали у Броджія*), а вѣдь у него гораздо дешевле, чѣмъ въ этихъ во всѣхъ ресторанахъ-съ.

— 50 франковъ?.. Отчего же такъ дорого?

— Да она пригласила съ собою ужинать-съ своихъ пріятельницъ, какую-то Клару и Фифину... Кабы хорошенькія-съ, такъ куда бы ни шло, а то рожи-съ... Еще Фифина туда-сюда-съ... вертлявенькая-съ такая, славно, знаете, всѣ ихнія пѣсни поетъ-съ, только не въ моемъ вкусѣ: этакая спичка-съ, — ну а Клара пуасардка-съ какая-то, старая, толстая...

Николай Александрычъ помолчалъ немного, пощипалъ усъ и вздохнулъ.

—Такъ вотъ какъ, батюшка, вы и въ Парижѣ, да еще во время карнавала вздыхаете?

— Расходы-то эти непредвидимые дѣйствуютъ этакъ, понимаете, какъ-то непріятно-съ... За что же мнѣ угощать этакихъ Фифинъ, Кларъ? Кобелевка моя и безъ этого трещитъ-съ... Этакъ и въ отечество придется вернуться прежде срока.

Николай Александрычъ засмѣялся.

Нѣсколько дней послѣ этого онъ не показывался въ Пале-роялѣ, потому что для экономіи обѣдалъ въ маленькомъ ресторанѣ въ rue Helder.

На слѣдующій маскарадъ я взялъ ложу съ нѣсколькими знакомыми. Николай Александрычъ отправился вмѣстѣ съ нами.

— А что же ваша мамзель Эмма? — спросилъ я его дорогою.

— Осталась дома. Она не совсѣмъ здорова. Я, признаться, и радъ этому-съ... Одному свободнѣе-съ, а мнѣ хочется нынѣшній маскарадъ провести по-холостому-съ.

Экипажъ нашъ остановился у ярко освѣщеннаго подъѣзда оперы. Широкая лѣстница и корридоры устланы краснымъ ковромъ. Давка ужаснѣйшая; духота нестерпимая. Мы едва добрались до фойе. Въ фойе прохаживаются только

*) Итальянскій ресторат[illegible]ръ противъ Большой оперы

такъ называемые порядочные люди, то-есть господа въ черныхъ фракахъ и желтыхъ перчаткахъ подъ руку съ черными домино.

Въ фойе царство интригъ. Въ фойе бѣдные юноши-путешественники съ растрепанными волосами и чувствами и со сложенными руками, почти колѣнопреклоненные передъ своими замаскированными богинями, объясняютъ имъ пламень страстей, ихъ пожирающихъ. И тутъ же почтенные господа, страшно разѣвающіе рты отъ зѣвоты, которую наводитъ на нихъ утонченная любезность ихъ домино.

Въ фойе пискъ и визгъ, раздирающій уши, и вѣчные возгласы: Je te connais, beau masque!

Въ коридорахъ вольнѣе. Тамъ уже появляются разнохарактерные костюмы и дебардеры обоего пола. Тамъ я встрѣтился даже съ какимъ-то крикуномъ огромнаго роста, который махалъ руками, вымазанными сажей, направо и налѣво, очищая себѣ такимъ образомъ дорогу.

Пройдясь по фойе и по коридорамъ и задыхаясь отъ жара, вошелъ я отдохнуть къ себѣ въ ложу. Но картина, открывшаяся передо мною, заставила меня забыть и утомленіе, и жаръ... Только одинъ Мартинъ — творецъ *Потопа* и *Бальтазарова пира* — могъ бы достойно воспроизвести эту картину.

Зала гигантская, вмѣщающая болѣе шести тысячъ человѣкъ, освѣщенная тридцатью огромными люстрами, затопленная свѣтомъ газа... И эти шесть тысячъ мужчинъ и женщинъ, въ самыхъ фантастическихъ костюмахъ, не ходятъ, не танцуютъ, а прыгаютъ, скачутъ, бѣснуются въ самозабвеніи, подъ неистовую музыку Мюзара... Это великій раутъ у сатаны, если только у сатаны бываютъ рауты.

И вотъ онъ самъ, съ жезломъ въ рукѣ... не сатана, а г. Мюзаръ, на возвышеніи, царящій надъ всѣми, опьяняющій своими звуками эти массы... Вотъ онъ, во всей красотѣ своей, онъ, про котораго сказалъ какой-то поэтъ:

Enfin Musard parut, et le premier en France
Fit sentir dans nos pas une juste cadence!

Говорятъ, Мюзаръ триста сорокъ пять разъ въ своей жизни носимъ былъ въ тріумфѣ. И несмотря на то, по увѣренію Charivari, великій маэстро обладаетъ необыкновенною скромностью: онъ удостоиваетъ иногда поклонами Мейербера, и даже пожимаетъ руку Россини.

И надобно видѣть, съ какою благоговѣйною любовь окружаютъ его на балѣ толпы. Съ какимъ восторгомъ каждый и каждая изъ этой толпы созерцаютъ его благородный профиль, его величавое чело.

Самые отчаянные дебардеры едва осмѣливаются прикасаться къ складкѣ его одеждъ; самыя дерзкія лоретки никогда не рѣшаются сказать ему ты, хотя во время карнавала никто и никому не говоритъ вы.

Налюбовавшись Мюзаромъ и общимъ эффектомъ залы, я занялся разсматриваніемъ костюмовъ и отдѣльныхъ группъ.

Почти подъ самой нашей ложей необыкновенно величественный геркулесъ танцуетъ канканъ съ скромною пастушкою. Немного подалѣе чопорный маркизъ XVIII столѣтія идетъ дружески подъ руку съ *титu*.

Затѣмъ выступаютъ важно и медленно, съ чувствомъ собственнаго достоинства, герои знаменитаго романа *Juif errant*: *Морокъ* — великій укротитель звѣрей, съ двумя львами подъ мышками, самъ *Вѣчный жидъ*, растрепанный, съ бородою до пятъ, въ сапогахъ безъ подметокъ, поднявшихся выше колѣнъ и съ дубиной въ рукѣ — и наконецъ *Дагоберъ* съ огромнымъ накладнымъ носомъ и усами, въ чудовищныхъ ботфортахъ, которые служили колыбелью двумъ близнецамъ. Ему, какъ г. Вильмену, повсюду мерещатся іезуиты; онъ отыскиваетъ ихъ даже на балѣ Мюзара и пристаетъ къ дебардерамъ съ своимъ вѣчнымъ вопросомъ: La rue St.-François, s'il vous plaît?..

Налѣво гусаръ танцуетъ съ поселянкою венгерскій танецъ съ примѣсью національнаго канкана.

Передъ нимъ господинъ весь въ галунахъ и въ треугольной шляпѣ съ чудовищнымъ перомъ. Онъ выдѣлываетъ какое-то невѣроятное па... а сзади его рисуется человѣкъ пожилой, въ костюмѣ дебардера, съ высокою шляпою, украшен-

ною разноцвѣтными лентами... Около нихъ канканируютъ двѣ гризетки, на которыхъ масляными глазками посматриваютъ два Фальстафа...

Въ самой срединѣ зала раздаются нестройные крики: «Pritschard!.. à la porte!.. Pritschard!..» *) и толпа съ ожесточеніемъ преслѣдуетъ и гонитъ какого-то франта, вздумавшаго нарядиться въ британскій красный мундиръ.

Между тѣмъ всеобщее вниманіе привлекаетъ ложа авансцены съ правой стороны. Тамъ нѣсколько паръ отплясываетъ польку. Имъ аплодируютъ и бросаютъ снизу букеты. Одинъ изъ дебардеровъ, стоящихъ внизу, вспрыгиваетъ на плечо своего сосѣда и карабкается въ эту ложу... Онъ уже стоитъ на перилахъ и раскланивается публикѣ. Возлѣ самой нашей ложи раздается крикъ — браво! повторяющійся сотнею голосовъ. Человѣкъ среднихъ лѣтъ, худой и блѣдный, первый закричавшій это браво, очень ловко танцуетъ кадриль. Къ его стройному стану чрезвычайно идетъ живописный костюмъ дебардера. Лицо его какъ будто мнѣ знакомо. Я начинаю вглядываться въ него, — и въ немъ, въ этомъ самомъ человѣкѣ, такъ беззаботно веселящемся, узнаю того самаго блузника, котораго я видѣлъ у стекла мѣняльной лавки въ Пале-роялѣ на другой день по пріѣздѣ моемъ въ Парижъ.

Вскорѣ послѣ этого бала случай заставилъ меня въ третій разъ встрѣтиться съ этимъ человѣкомъ — и вотъ какимъ образомъ.

Я, по долгу путешественника, забрелъ изъ любопытства въ одну изъ камеръ исправительной полиціи. Передъ трибуналъ приведена была женщина съ лицомъ изможденнымъ,

*) Бывшій англійскій консулъ на островѣ Таити, по наущенію котораго (въ 1843 г.), если вѣрить французскимъ журналамъ, туземцы самымъ предательскимъ образомъ зарѣзали до 300 человѣкъ французовъ. Французскій консулъ вслѣдствіе этого арестовалъ Притшарда, а англійское правительство, оскорбленное поступкомъ французскаго консула, потребовало 25 т. фр. вознагражденія Притшарду, которые и заплачены французскимъ правительствомъ. Имя Притшарда французы не могутъ слышать безъ негодованія.

(*Примѣчаніе для незанимающихся политикой*)

въ рубищѣ. — Эту женщину я часто видѣлъ сидѣвшею на углу Итальянскаго бульвара и улицы Chaussée d'Antin, съ младенцемъ на рукахъ и съ коробочками спичекъ на колѣняхъ. Она была схвачена наканунѣ городскимъ сержантомъ за то, что просила подаяніе. Президентъ предложилъ ей вопросъ: извѣстенъ ли ей законъ, запрещающій это? Она отвѣчала утвердительно.

— Что же заставило тебя быть ослушницей закона?

— Голодъ. Я продавала спички; спички у меня всѣ вышли; вновь ихъ купить мнѣ было не на что. Мой ребенокъ и я не ѣли цѣлыя сутки и я рѣшилась просить милостыню у добрыхъ людей....

— Мнѣ очень жаль тебя, — возразилъ президентъ, - потому что, несмотря на все это, ты должна, по закону, подвергнуться на мѣсяцъ тюремному заключенію, если кто-нибудь изъ присутствующихъ не возьметъ тебя на поруки, или не возьмется содержать тебя.—Минута молчанія. Президентъ обвелъ взоромъ собраніе...

— Я, я беру ее на поруки! — вдругъ раздается чей-то голосъ, и изъ толпы зрителей выходитъ мой старый знакомецъ человѣкъ въ оборванной блузѣ, въ той самой блузѣ, въ которой я видѣлъ его въ первый разъ передъ окномъ мѣняльной лавки. — Я берусь прокормить ее и ея ребенка, г. президентъ, — продолжалъ блузникъ, остановившись передъ президентомъ, — хоть я такой же нищій, какъ она, но у меня есть силы, я еще молодъ. Мы трое какъ-нибудь да прокормимся. Я отвѣчаю вамъ за то, что она впередъ не будетъ просить милостыню.

Онъ взялъ нищую подъ руку и вышелъ вмѣстѣ съ нею, сопровождаемый рукоплесканіями и восторженными криками присутствующихъ *).

Но перейдемъ къ оперѣ... Вотъ еще чудесная сцена! Испанецъ схватываетъ гризетку, одѣтую дебардеромъ, сажаетъ ее къ себѣ на плечо и бѣгаетъ съ ней кругомъ всей

*) Это фактъ. Любопытные могутъ справиться объ этомъ въ февральскихъ номерахъ Gazette des Tribunaux 1845 года и въ другихъ журналахъ.

залы. Пуговицы на ея рубашкѣ разстегнуты, грудь полуобнажена, фуражка едва держится на головѣ. Она что-то такое кричитъ и размахиваетъ руками. Изъ ложъ раздается хохотъ. Вдругъ испанецъ останавливается передъ нашей ложей. Надобно замѣтить, что рядомъ съ нами сидятъ арабскіе шефы, привезенные въ Парижъ г. Бюжо. (Въ эту минуту они привлекали вниманіе всего Парижа, какъ впослѣдствіи генералъ Томъ-Пусъ и дикіе...). Гризетка, сидящая на плечѣ у испанца, кланяется, махаетъ платкомъ и дѣлаетъ ручки арабамъ. На суровыхъ бронзовыхъ лицахъ африканцевъ, къ которымъ такъ идутъ ихъ снѣжные бурнусы, показывается что-то въ родѣ улыбки, и они съ достоинствомъ, медленно помаваютъ головами въ отвѣтъ на безцеремонное привѣтствіе гризетки... Раздается страшный громъ, шесть тысячъ человѣкъ рукоплещутъ этой сценѣ. Дама съ кавалеромъ (должно быть супруги благочестивые) черезъ ложу отъ насъ, преспокойно почивавшіе все время, — вздрагиваютъ и просыпаются отъ этого грома.

Потомъ все смолкаетъ на одну минуту. Впрочемъ, эта тишина только предвѣстница новой, грозной бури. Вотъ уже вдохновенный Мюзаръ поднимаетъ торжественно свой жезлъ, и, по его мановенію, музыка начинаетъ адскій галопъ. «Ohé! les amis! Ohé!» кричатъ дебардеры... «en avant le galop infernal! vive la polka! vive la mazurka!» И пары за парами несутся въ дикомъ безумномъ весельи, неудержимыя, бѣшеныя, какъ разнузданные кони, съ криками, съ пѣснями, съ восклицаніями... Пыль поднимается столбомъ. Шляпа моя изъ черной превращается въ сѣрую. Глазамъ становится больно отъ свѣта и пыли...

Вдругъ раздается пронзительный стонъ. Это какая-то несчастная упала въ галопѣ...

Черезъ нѣсколько минутъ городскіе сержанты поднимаютъ ее и, полумертвую, вытаскиваютъ изъ залы.

Въ это самое время я чувствую, что кто-то толкаетъ меня въ плечо. Я обертываюсь. Сзади меня Николай Александрычъ.

— Каковы-съ?

— Хороши, нечего сказать! Ну, признаюсь, я до сихъ поръ не имѣлъ понятія о томъ, какъ веселятся люди!

— Да нѣтъ-съ, я не о томъ говорю. — Посмотрите-ка направо: въ ложѣ-то у арабовъ — два дебардерчика-то-съ... Что-съ, каковы-съ? Вотъ милашечки-то, канальство!.. И вѣдь изобрѣли же этакій адскій костюмъ?!.. Обратите-ка вниманіе на ту, которая въ розовыхъ панталончикахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, двѣ гризетки, очень стройныя и недурныя собой, съ масками въ рукахъ, окостюмированныя съ большимъ вкусомъ и кокетствомъ, вертѣлись и прыгали около неподвижныхъ африканцевъ. Онѣ гладили ихъ бронзовыя щеки и черныя какъ смоль бороды своими маленькими, бѣлыми ручками, играли орденомъ почетнаго легіона, пришпитымъ къ ихъ бѣлымъ бурнусамъ, смѣялись и что-то болтали; а арабы только помавали имъ головами, поглядывали на нихъ, какъ тигры на добычу, глазами, налившимися кровью. а отъ поры до времени издавали какое-то странное мычанье.

Николай Александрычъ, пожиравшій взглядами этихъ женщинъ, самъ въ эту минуту походилъ болѣе на араба, чѣмъ на славянина.

— А знаете ли, какая мысль мнѣ пришла въ голову? сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

— Напримѣръ?

Что, если бы подхватить этакого дебардерчика-съ?

За чѣмъ же дѣло стало? Попробуйте счастья.

Да нѣтъ-съ, я лучше, знаете, отворю дверь ложи въ коридоръ: авось либо этакъ сама налетитъ... а?.. какъ вы думаете?

— Что жъ, прекрасно.

Не прошло пяти минутъ, какъ на его счастье, или несчастье, влетѣла въ нашу ложу самая отчаянная изъ отчаянныхъ гризетокъ. Фуражка ея была на бекрень, волосы растрепаны, одной рукой она молодецки подпиралась въ бокъ. а другою схватила моего Николая Александрыча и два раза повернула его, присвистывая, потомъ вскочила на стулъ и, махая платкомъ, закричала во все горло:

— Je suis Française! je suis libre! je gagne 30 sous par jour! Vive la France, vive Paris!

Всѣ обратились къ нашей ложѣ со смѣхомъ и аплодисментами. Я прижался въ уголъ. Она продолжала кричать и прыгать на стулѣ. Когда она соскочила со стула, Николай Александрычъ шепнулъ ей на ухо (разумѣется на французскомъ діалектѣ):

— Не хотите ли чего-нибудь, оршадца или стаканчикъ сахарной воды?

— Fichtre! que c'est fade! — отвѣчала гризетка. — Ça soulève le coeur, mon cher; je prendrai de l'absinthe.

Николай Александрычъ значительно мигнулъ мнѣ и, торжественно улыбнувшись, вышелъ съ нею изъ ложи. Впрочемъ, они скоро возвратились. Въ рукѣ у нея была огромнѣйшая палка sucre de pomme. Она выпила двѣ рюбки absinthe.

— Что жъ, мы будемъ вмѣстѣ ужинать? — спросилъ у нея Николай Александрычъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ.

— Certainement, mon p'tit... et même... nous allons faire une noce ce soir...

Съ этимъ словомъ она приподняла свою маску и захохотала во все горло.

Николай Александрычъ, въ испугѣ, отскочилъ на два шага назадъ. — Это была мамзель Эмма.

— Ah! monstre, tu me fais des infidélites! — закричала мамзель Эмма, продолжая хохотать. — Хорошо же! я тебѣ сейчасъ отомщу въ твоихъ глазахъ!

И мамзель Эмма подпрыгнула съ легкостью кошки къ старшему изъ арабскихъ шефовъ, обняла его сзади, опрокинула въ нашу ложу и начала цѣловать.

Африканецъ зарычалъ.

Николай Александрычъ не зналъ, что дѣлать отъ замѣшательства. Онъ кусалъ губы, грозно поглядывалъ на мамзель Эмму и дергалъ ее за концы кушака, стягивавшаго ея талію.

Вдругъ кто-то три раза стукнулъ въ дверь нашей ложи. Мамзель Эмма высвободила африканца изъ своихъ объятій... Африканецъ, грозно сверкая очами, отряхивался... Стукъ въ

дверь раздался снова и сильнѣе прежняго. Николай Александрычъ отворилъ дверь...

Въ дверяхъ стоялъ городской сержантъ — безмолвный и неумолимый. Онъ манилъ къ себѣ рукой мамзель Эмму.

Мамзель Эмма взглянула на сержанта и, также безмолвная, покорно и робко послѣдовала за нимъ съ палкой sucre de pomme въ рукѣ.

Николай Александрычъ посмотрѣлъ на меня.

Я посмотрѣлъ на Николая Александрыча.

Николай Александрычъ присвистнулъ — и мы вышли изъ ложи. Было около 5 часовъ.

Послѣ этого мамзель Эмма уже не показывалась къ Николаю Александрычу, да и Николай Александрычъ не хотѣлъ объ ней слышать... Я только раза два встрѣтилъ ее на бульварѣ подъ руку съ m-r Hyacinthe. Съ недѣлю Николай Александрычъ ходилъ очень мрачный, но потомъ совершенно утѣшился, отыскавъ гдѣ-то и какую-то мамзель Иду, которая, по его словамъ, обладала необыкновеннымъ умомъ, отличнымъ образованіемъ и сверхъ того различными, очень замѣчательными талантами.

Маскарадъ оканчивался. Всѣ расходились и разъѣзжались по домамъ и ресторанамъ.

Передо мною по лѣстницѣ медленно спускался старичокъ въ очкахъ, весьма строгой наружности, со сложенными на крестъ руками, погруженный, вѣроятно, въ какое-нибудь важное размышленіе. Вдругъ сзади къ нему неслышно подкрался гуманный генералъ, ловко сорвалъ съ его лысой головы круглую шляпу и вмѣсто нея надѣлъ свою трехугольную съ галунами и съ огромнымъ перомъ...

Старичокъ вскрикнулъ, схватился за голову и въ бѣшенствѣ обратился назадъ; но уже генерала и слѣдовъ нѣтъ... Передъ носомъ старичка лоретка съ общипаннымъ букетомъ, подъ руку съ полькеромъ... Она напѣваетъ...

Je déjeune chez Dorsay;
Je dîne au Café Anglais;
Je soupe chez Dofheux
Et je . . . . . .

а вслѣдъ за нею молодой англичанинъ, почтительно поддерживающій даму въ домино... Онъ въ восторгѣ отъ своей bonne fortune... и навѣрно отправляется съ нею ужинать въ Maison-d'Or, гдѣ также, навѣрно, должны увѣнчаться всѣ его надежды...

Я вышелъ на улицу. По бульварамъ разсыпались толпы народа. У Café Anglais и у другихъ знаменитыхъ ресторановъ была давка... Всѣ *отдѣльные кабинеты* были заняты Тамъ разрѣшались интриги этой ночи — и нѣкоторыя, можетъ - статься, очень трагически.

ГЛАВА V.

Часу въ шестомъ вечера, нынѣшнею осенью, я шелъ въ Казани по Вознесенской улицѣ.

Навстрѣчу мнѣ — знакомое лицо.

Глядь, — да это мой Николай Александрычъ, только безъ бороды.

— Ба, ба, ба! Какими судьбами? Даво ли изъ-за границы, батюшка?

— Да вотъ ужъ скоро три мѣсяца-съ.

— Право? Гдѣ же вы хотите поселиться?

— У себя въ Кобелевкѣ-съ... Милости прошу ко мнѣ-съ.

— Покорно васъ благодарю. Что жъ, вы скучаете, чай, по Парижѣ?

— Первое время такъ скучалъ-съ, что, вѣрите ли, мѣста нигдѣ не находилъ-съ, ну, а теперь ничего-съ, попривыкъ маленько... Отыскалъ здѣсь новое мѣстечко для охоты-съ.. удивительнѣйшее! Чохова-Грива прозывается... Знаете, вправо отъ Мордохеевки по Камѣ-то...

— Знаю, знаю... Ну, что жъ вы намѣрены теперь съ собой дѣлать?

— Да ничего-съ... Жениться хочу.

— Вотъ что̀!

Мы пожали другъ другу руки и разстались.

МАМЕНЬКИНЪ СЫНОКЪ.

Старо то, что давно было ново; старинным называется то, что ведется издавна. Давно то, чему много времени прошло. Въ настоящемъ употребленіи ветхимъ называется то, что отъ старости истлѣло, обвалилось. Древне то, что происходило въ отдаленнѣйшихъ вѣкахъ. *Заматерѣло* то, что временемъ сильно окоренѣло и огрубѣло.

(*Изъ «Опыта Россійскаго Сословника» Фонвизина.*)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Я начинаю себя помнить на большомъ барскомъ дворѣ. Около меня толпа нянекъ и мамушекъ, шестнадцать дворовыхъ мальчишекъ, готовыхъ поперемѣнно таскать меня во весь духъ, въ колясвѣ, съ барскаго на черный дворъ...

„*Русскія Странности*“ (*А. Пушкина.*)

ГЛАВА I.

Родители моего героя были богатые помѣщики. Папенька его, по единогласному сознанію всѣхъ своихъ товарищей, считался нѣкогда славнымъ малымъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ славный малый, то-есть отчаянный кутила и притомъ обладалъ многосторонними талантами. Безъ пособія

стакана или бокала въ продолженіе пяти минутъ онъ выпивалъ, напримѣръ, натощакъ двѣ бутылки шампанскаго и потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, приступалъ вмѣстѣ съ друзьями къ завтраку или къ обѣду и за обѣдомъ не отставалъ ни отъ кого, то-есть преисправно осушалъ стаканъ за стаканомъ. Въ верховой ѣздѣ онъ не имѣлъ себѣ равнаго. По собственному его сознанію, для него дороже всего въ жизни была его любимая кобыла-парадёръ, по прозванію *Настойка*. Часто, въ красной шелковой рубахѣ съ косымъ воротомъ и въ широкихъ нанковыхъ шальварахъ, онъ вскакивалъ на Настойку и летѣлъ на ней по полю, какъ стрѣла, пущенная изъ лука рукою твердою и мѣткою, и на всемъ конскомъ лету то вдругъ становился на сѣдло, то вдругъ припадалъ къ землѣ и уже снова въ мгновеніе ока сидѣлъ, какъ прикованный къ сѣдлу. Громъ рукоплесканій раздавался обыкновенно въ слѣдъ лихому наѣзднику, а онъ, махая рукой, въ знакъ привѣта, и заломивъ набекрень фуражку, беззаботный и счастливый, скрывался вдали. Важное мѣсто также въ его понятіяхъ занимала женщина. Не то, чтобъ онъ особенно любилъ женщинъ, «а такъ, братецъ (говаривалъ онъ), нельзя же не приволокнуться отъ нечего дѣлать Просто, по мнѣ, какъ-то жаль упустить этакую, какую-нибудь, красоточку! Еще поутру ничего, а вотъ этакъ, послѣ завтрака или послѣ обѣда, когда... (при этомъ онъ обыкновенно прищуривалъ правый или лѣвый глазъ и щелкалъ по воротнику сюртука)... ну, тутъ, признаюсь, невольно такъ и лѣзутъ въ глаза, проклятыя!»

Какъ человѣкъ истинно-русскій, любилъ онъ также поэтическую тройку съ заливнымъ валдайскимъ колокольчикомъ, съ погремушками и бубенчиками. У него былъ полный нарядъ ямщика, и когда бывало, такъ, безъ причины, взгрустнется ему, онъ велитъ запречь тройку въ пошевни или телѣгу, одѣнется ямщикомъ, взмахнетъ кнутомъ по воздуху, гаркнетъ зычнымъ голосомъ: «охъ, вы, соколики удалые!» — и грусть какъ рукой сниметъ, и мчится онъ, самъ не вѣдая куда, въ сладостномъ опьяненіи, такъ что духъ занимается.

Такъ мчалась его молодость лихо и быстро, какъ русская тройка, и думалъ онъ, что не будетъ конца этой молодости, что никогда не истощатся его силы, какимъ бы истязаніямъ онъ ни предавалъ ихъ; что никогда не истощится его кошелекъ, несмотря ни на какія азіятскія прихоти и затѣи, рождавшіяся въ его праздной головѣ...

Однако, къ величайшему его изумленію, скоро и кошелекъ, и здоровье его значительно поистощились. Въ тридцать пять лѣтъ онъ заложилъ половину своего имѣнія въ ломбардъ, вышелъ въ отставку, поселился у себя въ деревнѣ, сначала занялся псовой охотой, а потомъ молодой и богатой вдовой, своей ближней сосѣдкой, съ которой вскорѣ и сочетался законнымъ бракомъ. Отъ этого брака родился у него сынъ — герой предлагаемой повѣсти.. Но прежде, чѣмъ я заведу рѣчь о сынѣ, считаю необходимымъ покороче познакомить читателя съ его маменькою...

Говорятъ, будто бы велико и свято назначеніе женщины на землѣ; говорятъ, будто нравственное вліяніе матери на дитя безгранично. Недаромъ Наполеонъ замѣтилъ, что будущность ребенка всегда въ рукахъ его матери, и прибавилъ, что онъ испыталъ это на самомъ себѣ. Кантъ былъ того же мнѣнія. Онъ съ благодарностью и благоговѣніемъ вспоминалъ о своей матери. «Я никогда не забуду ее, говорилъ онъ въ старости, — она развила сѣмена добра, таившіяся въ душѣ моей»..

Не знаю, походила ли на мать Наполеона или на мать Канта маменька моего героя — Елена Терентьевна.

Елена Терентьевна была *барыня* въ полномъ и безграничномъ смыслѣ этого прекраснаго слова. Правда, сначала она была *барышней* — такой, какой бываетъ большая часть барышень. Дочь богатыхъ родителей, окруженная съ дѣтства безчисленною свитою для прислуги: бабами, дѣвками, дѣвчонками, компаньонками и гувернантками, самовластно управлявшая этимъ маленькимъ міромъ, она постепенно и незамѣтно развивала въ себѣ чувство барскаго достоинства, а родители, глядя на нее съ умиленіемъ, восклицали: «Наша Леночка не по лѣтамъ горда. Вотъ ужь будетъ настоящая

барыня!» Леночку выдали замужъ за барина, да еще за чиновнаго, стараго и богатаго барина. Чиновный и старый баринъ сдѣлался покорнымъ и нижайшимъ слугою своей молодой барыни. Молодая барыня пользовалась полною свободою и не отказывала себѣ ни въ чемъ. За ней всегда тянулась толпа обожателей; около нея непрестанно раздавалось бренчанье шпоръ и сабель. Она страстно любила блестящіе мундиры, сабли, шпоры, бѣлые султаны и усы, завитые въ кольцо. Часто съ небрежною ласкою ударяя мужа по морщинистой щекѣ и называя его нѣжнымъ именемъ «папаши», она между тѣмъ устремляла долгіе и пронзительные взоры на эти соблазнительные усы и на эти роскошные, бѣлые султаны. А ея пріятельницы-барышни, глядя на ея семейное счастье, шептали про себя, сгорая отъ зависти: «Ахъ, счастливица! Какую блестящую партію она сдѣлала! Какъ она богата! Какъ она вертитъ мужемъ! Какъ *всѣ* за ней ухаживаютъ!..»

Но чиновный и старый баринъ вскорѣ послѣ женитьбы скончался, оставивъ супругѣ значительный капиталъ. Полтора года послѣ смерти супруга она была неутѣшна и не хотѣла снимать траура и безпрестанно ѣздила на его могилу съ однимъ своимъ дальнимъ родственникомъ — молодымъ кавалерійскимъ офицеромъ. При имени покойнаго у нея всякій разъ навертывались на глазахъ слезы. Она называла его своимъ незабвеннымъ другомъ, своимъ благодѣтелемъ, своимъ вторымъ отцомъ... Ее, говорятъ, нельзя было видѣть безъ сострадания. Матери указывали на нее своимъ дочерямъ и говорили: «Вотъ эта дама можетъ служить вамъ образцомъ. Посмотрите, какая она молоденькая, голубушка, а какъ чтитъ память своего мужа, и какъ въ свѣтѣ умѣетъ держать себя, какъ соблюдаетъ все должное, какъ почтительна къ родственникамъ покойнаго. И замѣтьте, что ея мужъ не былъ какой-нибудь изъ этакихъ вѣтрогоновъ у которыхъ нѣтъ копейки за душою и которые кружатъ вамъ головы. Онъ былъ человѣкъ чиновный, солидный, пожилой; онъ, независимо отъ ея состоянія, оставилъ еще ей *кусокъ хлѣба* и *имя*, которымъ она по справедливости гордится.

Вотъ ее такъ можно назвать примѣрной и во всѣхъ отношеніяхъ *нравстьенной* женщиной!»

Извѣстно, что въ нашемъ обществѣ слово *нравственность* имѣетъ весьма эластическое значеніе... Но не въ томъ дѣло...

Елена Терентьевна переселилась въ деревню, говоря, что свѣтскій, столичный шумъ утомляетъ ее, что она рѣшительно не можетъ выносить его; что въ уединеніи она свободнѣе будетъ размышлять о своей невозвратимой потерѣ, и прочее.

Черезъ нѣсколько времени Елена Терентьевна обрюзгла, отяжелѣла и поручила управленіе имѣніемъ своимъ уѣздному судьѣ — человѣку среднихъ лѣтъ, который славился своимъ ростомъ, дородствомъ и силою.

Семь лѣтъ безвыѣздно она жила въ деревнѣ; уѣздный судья постоянно пользовался ея довѣріемъ и благосклонностью; въ губернскомъ городѣ начали поговаривать, Богъ знаетъ почему, что она имѣетъ намѣреніе выйти замужъ за уѣзднаго судью; уже многіе господа, претендовавшіе на ея руку, стали искоса посматривать на счастливаго судью; уже нѣкоторыя губернскія барыни съ ироническою улыбкою поздравляли его съ ожидающимъ счастьемъ; но всѣ эти сплетни, къ величайшему огорченію цѣлой губерніи, должны были прекратиться совершенно неожиданно. Уѣздный судья потонулъ, переѣзжая на паромѣ чрезъ рѣку весною во время разлитія Разсказывали, будто Елена Терентьевна, получивъ извѣстіе о смерти судьи, начала кричать, метаться и рвать на себѣ волосы, что она будто бы поклялась не выходить ни за кого замужъ. Не знаю, справедливы ли были эти разсказы; вѣрно только то, что чрезъ четыре мѣсяца послѣ смерти судьи она вышла замужъ за того, который долженствовалъ быть отцомъ моего героя.

Герой мой родился однимъ мѣсяцемъ ранѣе обыкновеннаго срока. Но, несмотря на то, что онъ былъ недоносокъ, -величина, сила и здоровье его привели въ изумленіе повивальную бабушку.

— Ну, ужъ признаюсь, батюшка, молодецъ! нечего сказать, молодецъ! — сказала бабушка, взвѣшивая младенца на

рукахъ и обращаясь къ родителю. — Вишь какого произвелъ на свѣтъ! какой большой да тяжелый... Этакого ребенка, признаюсь, еще я и не видывала.

Новорожденный былъ, однако, причиной первой размолвки между супругомъ и супругою. Супруга непремѣнно хотѣла, чтобъ его нарекли Аркадiемъ, въ честь отца ея матери; она увѣряла притомъ, что всѣ носившiе въ ихъ родѣ имя Аркадiя были необыкновенно счастливы. Супругъ, напротивъ, хотѣлъ дать ему имя Александра, на томъ основанiи, что въ его родѣ не переводилось имя Александра. Послѣ долгихъ споровъ, криковъ и слезъ, супруга однако поставила на своемъ. Младенецъ названъ былъ Аркадiемъ.

Попечительность и нѣжность Елены Терентьевны къ сыну превосходили всякое описанiе... Она слыла въ цѣлой губернiи образцовою матерью. — Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ даровалъ намъ дитя, — говорила она губернскимъ барынямъ, — съ тѣхъ поръ я и трехъ разъ въ гостяхъ не была; только выѣдешь въ церковь Божiю помолиться, да сейчасъ же и домой; такъ, кажется, и не спускала бы глазъ съ моего Аркаши... Этакое безподобное дитя! и вѣдь обожаетъ меня, повѣрите ли, просто обожаетъ Какъ увидитъ меня еще издалека, такъ и протягиваетъ ручонки, «мама!» кричитъ, «мама!» Отца, — куда! далеко такъ не любитъ, какъ меня. Къ отцу и на руки не пойдетъ. — «Ужъ мы всѣ удивляемся вамъ, — возражали барыни. — Вѣдь дѣти, конечно, очень забавны, но съ ними надобно ужъ такое терпѣнiе!. Заботъ-то, знаете, около нихъ тьма-тьмущая, а вѣдь радости-то когда еще отъ нихъ дождешься, Богъ знаетъ!» При этомъ барыни вздыхали. — «Вотъ недурно бы, если бъ наша вице-губернаторша съ васъ примѣръ взяла; а то она съ утра до ночи или въ гостяхъ, а если и дома, такъ въ карты играетъ, а дѣти въ дѣтской съ няньками... Она ихъ и въ глаза не видитъ; у нея и сердце не болитъ, ей горя мало, хоть всѣ они себѣ лбы расшиби... Вотъ ужъ, можно сказать, никакихъ чувствъ... видно, ей съ дѣтства не внушена была нравственность, а безъ нравственности худо жить!.. Только и хвастаетъ, что нарядами, которые ей присылаютъ изъ Петербурга.. Экая ди-

ковина!.. И намъ мужья выписываютъ многое изъ Петербурга... Что жъ такое Петербургъ!.. А видѣли вы у нея послѣдній чепецъ изъ самаго моднаго петербургскаго магазина? Прелестный! Я просила у нея на фасонъ... Ленточки радужнаго цвѣта, гирляндочки изъ розовыхъ, съ боку кокардочка изъ такихъ же лентъ»...

Тутъ барыни обыкновенно забывали и о нравственности, и о любви къ дѣтямъ, и обо всемъ, и пускались въ подробнѣйшія и мельчайшія описанія послѣднихъ петербургскихъ модъ. Но Елена Терентьевна, наговорясь о модахъ, снова заводила рѣчь о дѣтяхъ и о материнской любви.

— И то сказать, — продолжала она, — вѣдь дѣти дѣтямъ рознь... къ иному такъ невольно и лежитъ сердце... Ну, натурально, потому что послушное, ласковое дитя; иной еще крошка, отъ полу не видать, а ужъ угождать старается, такъ, кажется, и смотритъ матери въ глаза, — вотъ какъ мой Аркаша, напримѣръ; другія же дѣти родятся, знаете, такими бутусами, такъ что никакого чувства не возбуждаютъ къ себѣ. Отъ этихъ ужъ не жди проку. Въ такихъ случаяхъ нечего винить родителей. Родители, что ни дѣлай, не исправятъ такого ребенка... Тутъ ни розга, ничто не поможетъ. На все, я вамъ скажу, судьба... Ужь какъ кому суждено родиться! Горбатаго только могила исправитъ.

— Это совершенно справедливо, — приговаривали барыни, — нынче, впрочемъ, ужъ такъ не разсуждаютъ: нынче коли дѣти дурны, такъ все обвиняютъ родителей. Бѣдные родители!..

Супругъ Елены Терентьевны, слушая такого рода разговоры и покуривая изъ своего коротенькаго чубука, обремененнаго различными украшеніями и кистями, изрѣдка только ввертывалъ свое словцо или замѣчаніе, въ родѣ слѣдующаго:

— А по моему разсужденію, коли хочешь, чтобъ изъ дѣтей вышелъ толкъ: мальчишекъ отдавай на воспитаніе отцу, а дѣвчонокъ матери...

Елена Терентьевна обыкновенно въ такомъ случаѣ бросала ироническій взглядъ на мужа...

— Что̀ это у тебя за странныя выраженія! — говорила она, качая головой. — «Мальчишки, дѣвчонки!» Что̀ это такое? Ты, кажется, говоришь про дворянскихъ дѣтей, а не про деревенскихъ ребятишекъ...

— Э, матушка, что̀ дѣлать? Я къ свѣтскимъ терминамъ не привыкъ, — отвѣчалъ обыкновенно супругъ.

Вообще со времени рожденія Аркаши семейное счастіе супруговъ и тишина ихъ домашней жизни нарушались довольно часто. При гостяхъ они отпускали другъ другу колкости; наединѣ спорили, кричали, ссорились; но побѣда всегда оставалась на сторонѣ Елены Терентьевны. Супругъ обыкновенно послѣ пораженія вздыхалъ, затягивался и думалъ:

— Нѣтъ, что̀ ни говори, а, право, легче разомъ двумя полками управлять, чѣмъ ладить съ одной бабой!

Впрочемъ, онъ покорялся своей участи безропотно, ибо былъ въ полной увѣренности, что всѣ жены на свѣтѣ не хуже и не лучше его Елены Терентьевны — и въ этомъ случаѣ утѣшалъ себя пословицею: «коли взялся за гужъ, (т.-е. коли женился) — такъ не говори, что не дюжъ». Елена Терентьевна тогда только выводила его изъ терпѣнія, когда, поссорясь съ нимъ, восклицала въ порывѣ гнѣва (а это повторялось нерѣдко):

— Ну, за что я прогнѣвила Бога? За что Онъ посылаетъ мнѣ такое испытаніе? Ужъ я въ своемъ домѣ никакой власти не имѣю!.. Слыхано ли это?

— Полно грѣшить-то, матушка... Ну, чего ты раскричалась-то? Власти не имѣешь, а дѣлаешь все, что̀ хочешь...

— Я, я дѣлаю все, что̀ хочу?..—И Елена Терентьевна выступала при этомъ восклицаніи на два шага впередъ и съ величественнымъ упрекомъ кивала головой, устремляя огненные глаза на мужа. — Я дѣлаю все, что хочу? И ты смѣешь мнѣ это говорить?.. Вотъ до чего я дожила!.. Сама дура... Сама должна на себя пенять... Безчувственный вы послѣ этого человѣкъ!.. Я для васъ пожертвовала всѣмъ, рѣшительно всѣмъ... У меня было званіе, титло... имя... я была сама себѣ госпожа... а теперь что̀? Ахъ, я несчастная!

— Да что жъ это въ самомъ дѣлѣ? Титло, имя... Да

развѣ я недоросль какой? развѣ я человѣкъ безъ имени?.. Ты ужъ не помнишь сама, что̀ говоришь...

— Нѣтъ, я очень помню, что̀ говорю... Я, слава Богу, не сумасшедшая. Я была генеральша... понимаете ли вы, генеральша! а теперь что? Теперь я, можно сказать, въ такомъ ничтожествѣ... Мнѣ вездѣ были двери открыты, въ первые дома; покойникъ предупреждалъ мои малѣйшія желанія: бывало, голубчикъ мой, онъ такъ и смотритъ, чѣмъ бы утѣшить меня... Посмотрѣлъ бы онъ теперь на мое счастье. . я думаю, прахъ-то его шевелится теперь въ могилѣ!..

Послѣ этихъ словъ слѣдовало обыкновенно рыданіе... и вслѣдъ затѣмъ плаксивый тонъ Елены Терентьевны переходилъ въ торжественный:

— Къ намъ въ домъ ѣздили князья и графы...

Супругъ, выслушивая такія рѣчи, или просто кусалъ себѣ отъ досады губы, или иногда порывисто разстогивалъ казакинъ, закладывалъ руки назадъ и произносилъ въ сильномъ волненіи:

— Часъ-отъ-часу не легче!.. Продолжайте... продолжайте. Да что жъ послѣ этого моя жизнь? Это не жизнь, а каторга!..

— Такъ еще по-вашему вы правы, а я виновата?.. Такъ я должна страдать и не смѣть языка пошевелить, не смѣть пикнуть передъ вами?.. Прекрасно! Вы хотите меня въ гробъ вогнать?.. Ужъ, конечно, лучше одинъ конецъ... Я охотно умерла бы, если бы не мой Аркаша... Онъ одинъ только привязываетъ меня къ жизни... Охъ... дурно... дурно! Настька! Настька!..

Настька прибѣгала сломя голову на крикъ барыни... и барыня обыкновенно падала безъ чувствъ въ объятія Настьки. Настька подносила спиртъ къ носу барыни; а баринъ, махнувъ рукой, выходилъ изъ комнаты, отправлялся на конюшню, заставлялъ кучера осѣдлать себѣ лошадь, или запречь себѣ бѣговыя дрожки — и до вечера не являлся домой. По уходѣ барина барыня тотчасъ приходила въ себя, а Настька говорила:

— Ахъ, сударыня! что̀ это съ вами-съ?.. Ужъ этотъ ба-

ринъ! какъ ему не грѣхъ огорчать васъ!.. Господи! какъ вы поблѣднѣли... На васъ лица нѣту-съ... Страсти смотрѣть. Вы совсѣмъ не бережете себя... Да понюхайте, сударыня, еще спирту-то... Сердце надрывается, глядя на васъ.

Настька при этомъ обыкновенно терла себѣ ладонью глаза, будто бы вытирая слезы.

— Намъ только при васъ и пожить, сударыня, а безъ васъ намъ плохо будетъ-съ.

Герой нашъ былъ нерѣдко свидѣтелемъ такого рода небольшихъ размолвокъ между папенькой и маменькой. И ему всегда было жаль маменьку, потому что маменька кричала и плакала, а у папеньки никогда не было ни одной слезинки въ глазѣ. Къ тому же маменька послѣ обморока всегда брала Аркашу на руки, цѣловала его, съ чувствомъ прижимала его къ своей материнской груди и слабымъ, болѣзненнымъ голосомъ спрашивала:

— Что, тебѣ жаль меня, голубчикъ?

— Жаль, маменька.

— Охъ ты, мое сокровище, милое ты мое дитя! Вотъ же тебѣ за то, что жалѣешь свою маменьку..

И вслѣдъ за этимъ маменька осыпала сына конфетами и различными лакомствами.

Аркаша со дня на день становился холоднѣе къ папенькѣ. «Папенька нехорошій, — говорилъ онъ нянѣ — Папенька обижаетъ маменьку». И какъ Аркашѣ было не любить маменьки? Она ничего не жалѣла для него. Она одѣвала его *прелестно, просто какъ куколку*, — по выраженію губернскихъ барынь... все въ различныя гусарскія курточки: то въ синія съ желтыми шнурочками, то въ красныя съ черными, то въ зеленыя съ малиновыми...

— Я гусаръ! — кричалъ Аркаша, бѣгая по комнатѣ верхомъ на палочкѣ и размахивая саблей, которую только что подарила ему маменька. — Я офицеръ... а вы солдаты... — продолжалъ онъ, обращаясь къ четыремъ дворовымъ мальчишкамъ, которые бѣгали за нимъ также верхомъ на палочкахъ...

— Тише, тише, батюшка! — замѣчала няня, — не разма-

хивай такъ саблей-то, вѣдь этакъ ты Петькѣ глазъ можешь выколоть.

— Ужъ чего ты не выдумаешь, няня! — замѣчала маменька. — Пусть его играетъ; дѣтскимъ играмъ никогда не должно мѣшать... Это еще не бѣда, если онъ задѣнетъ, или оцарапаетъ его немножко. Не безпокойся! у этихъ мальчишекъ не такая нѣжная кожа... Да и что такое? развѣ они хрустальные, что ужъ до нихъ дотронуться нельзя? Смотри лучше, чтобъ какъ-нибудь Аркаша не упалъ да не ушибся...

— Прочь съ дороги... заколю! — восклицалъ Аркаша, занося саблю на одного изъ мальчишекъ...

Несчастный мальчишка хваталъ себя ручонками за голову и вскрикивалъ отъ страха; барыня выводила мальчишку за ухо изъ комнаты, приговаривая:

— А вотъ я тебя, пискунъ, а вотъ я тебя... Коли ты не умѣешь играть съ бариномъ, такъ пошелъ вонъ... Вишь нѣженка какой!.. Баринъ чуть до него дотронулся, а ужъ онъ и разрюмился. Погоди, я скажу отцу, чтобъ онъ тебя выпоролъ...

— Этого глупаго мальчишку, — продолжала барыня, обращаясь къ нянѣ, — никогда не впускайте сюда. Какъ будто въ цѣлой дворнѣ нельзя выбрать двухъ-трехъ порядочныхъ мальчишекъ, чтобъ занимать ребенка. Слава Богу, у насъ не маленькая дворня: мальчишкамъ и дѣвчонкамъ этимъ счета нѣтъ!.. У одной Матрешки — кажется, семеро или восьмеро мальчишекъ... А у Акульки-то! Вѣдь только и слышишь, что родятъ... Не знаешь, право, куда дѣваться съ ними. Что одной мѣсячины-то выходитъ на этихъ дармоѣдовъ!..

Аркаша былъ почти цѣлый день на глазахъ у нѣжной маменьки; и нѣжная маменька никуда въ гости не выѣзжала безъ Аркаши. При ней одѣвали и раздѣвали ребенка... Она по праздникамъ сама завивала и расчесывала его волосы, или при себѣ поручала этимъ заняться Марьѣ Андреевнѣ.

Марья Андреевна (я долженъ обратить вниманіе благосклоннаго читателя на это лицо) была бѣдная и пожилая

барышня, дочь какого-то умершаго чиновника, которую Елена Терентьевна приняла къ себѣ изъ сострадания и на которую возложена была обязанность разливать чай для гостей, гадать для своей благодѣтельницы въ карты, вырѣзывать изъ картъ для Аркаши домики и солдатиковъ, шить ему панталончики и гусарскія курточки, а благодѣтельницѣ—платья и капоты. Марья Андреевна до нѣкоторой степени могла назваться образованною,—и, нечего грѣха таить, любила при удобномъ случаѣ похвастать своимъ образованіемъ. Она въ молодости своей прочла два романа, случайно найденные ею въ кладовой дома, гдѣ отецъ ея былъ управителемъ. И эти два романа, *Малекъ-Адель или Крестовые Походы* и *Викторъ или Дитя въ Лѣсу*, сильно подѣйствовали на ея дѣвственное воображеніе и глубоко запечатлѣлись въ ея памяти. Она вполнѣ была убѣждена, что на свѣтѣ, кромѣ этихъ романовъ, не существуетъ никакихъ другихъ книгъ, и бывало, если увидитъ у кого-нибудь на столѣ книжку, ужъ непремѣнно предложитъ хозяину этой книжки слѣдующій вопросъ: «Ахъ, это вѣрно у васъ «Малекъ-Адель или Крестовые Походы?»—и потомъ непремѣнно продолжаетъ,—Какая это безподобная книжка! Я еще читала ее, какъ мнѣ было семнадцать лѣтъ... Какъ тутъ прекрасно описано странствованіе его въ пустынѣ, какъ онъ голодомъ тамъ томился и какой онъ былъ необыкновенной красоты... А вотъ еще есть другая книжка: «Викторъ или Дитя въ Лѣсу»,—тоже прекрасная книжка». И словоохотливая барышня непремѣнно перескажетъ содержаніе этихъ двухъ романовъ отъ начала до конца, совершенно перемѣшавъ и перепутавъ похожденія Малекъ-Аделя съ похожденіями Виктора или Дитя въ Лѣсу. При случаѣ она любила также похвастать тѣмъ, что въ ней не простая какая-нибудь, а дворянская кровь, что отецъ ея былъ коллежскій ассесоръ и имѣлъ анненскій орденъ въ петлицѣ. Горничнымъ дѣвкамъ въ дѣвичьей (надо замѣтить, что барышня очень любила сидѣть въ дѣвичьей и разсуждать съ горничными) она обыкновенно показывала патенты своего отца... «Вотъ, видите ли тутъ,—говорила она, указывая на патенты,—и орелъ, и печать казенная... все

какъ слѣдуетъ... Это все папенькѣ отъ Государя пожаловано. У папеньки также было пропасть чиновниковъ подъ командой и они, вѣрите ли вы Богу, любили его какъ отца и ужъ такъ боялись, что и сказать нельзя. А, бывало, какъ они къ намъ приходили, то маменька всегда ихъ кофеемъ потчивала, а безъ кофею ужъ никогда не отпускала отъ себя». И когда рѣчь доходила до кофея, глаза барышни принимали чрезвычайно вдохновенное выраженіе, и она пускалась самыми яркими и живописными красками описывать *ихнюю* прежнюю жизнь: какъ ея папенька и маменька любили угощать гостей, какіе чиновники къ намъ въ гости хаживали; какъ эти чиновники говорили и папенькѣ и маменькѣ: — «ну, ужъ можно сказать, что у васъ домъ полная чаша»; какъ они за нео сватались; по скольку стакановъ кофею они выпивали, и прочее. Барышня прибавляла къ тому, что вообще кофей у нихъ считался нипочемъ; что кофею у нихъ было всегда разливанное море. Послѣ этого она обыкновенно вздыхала и печально произносила: «Какъ подумаешь, все-то это прошло!.. Ну, хоть старики мои ничего мнѣ не оставили, да ужъ зато хорошо пожили... ужъ при жизни, что называется, не ударили себя лицомъ въ грязь; по крайней мѣрѣ, дѣвушки, есть чѣмъ помянуть старину! Теперь, конечно, совсѣмъ не то, теперь мое сиротское дѣло... Впрочемъ, что жъ Бога гнѣвить, и теперь меня всѣ любятъ и уважаютъ... и вездѣ принимаютъ какъ родную, всѣ вельможи, и Матильда Осиповна, и Анна Кузьминишна, и...»

Барышня высчитывала всѣхъ по имени и по отчеству, начиная отъ жены уѣзднаго предводителя до любовницы уѣзднаго засѣдателя включительно.

Барышня, надо сказать, была величайшая охотница таскаться по гостямъ; но, къ величайшему ея прискорбію, Елена Терентьевна неохотно отпускала ее отъ себя.

Елена Терентьевна до такой степени привыкла къ ней, что рѣшительно не могла существовать безъ нея.. «Я, вопервыхъ, за то ее люблю, — говаривала Елена Терентьевна, — что она привязана къ моему Аркашѣ, а во-вторыхъ, за то,

что умѣетъ угодить... эту честь ей надо отдать... такъ вотъ и смотритъ, чтобъ предупредить малѣйшія мои желанія».

— Какъ же ей не угождать вамъ! — возражали на это барыни, — вы съ ногъ до головы ее облагодѣтельствовали.

— Ахъ! — замѣчала обыкновенно съ чувствомъ Елена Терентьевна. — Вѣдь это наша обязанность, по мѣрѣ силъ помогать бѣднымъ. Зато насъ Богъ не оставитъ. Я только исполняю христіанскій долгъ...

— А ужъ какая она у васъ мастерица въ карты гадать, — продолжали барыни, — просто на удивленье! А намедни Петру Агѣичу она всю подноготную высказала. Мы такъ и ахнули.

— Она у меня, можно сказать, на всѣ руки... Какъ сны безподобно толкуетъ! Третьяго-дни, вообразите, я видѣла во снѣ всю ночь напролетъ свѣжія яйца... Только что проснусь... засну — опять свѣжія яйца... Это меня очень обезпокоило. Думаю: что̀ бы это значило? къ чему это? Приходитъ Марья Андреевна; я у нея спрашиваю: скажите, душенька, что̀ это значитъ, что я видѣла во снѣ свѣжія яйца?.. — Ахъ, Боже мой, — отвѣчаетъ она, — не безпокойтесь, это ничего не значитъ: это просто къ снѣгу. Что жъ бы вы думали? чрезъ полчаса повалилъ снѣгъ, да вѣдь какой! и цѣлый день не переставалъ итти.

Барыни, разумѣется, восклицали въ одинъ голосъ: «скажите, пожалуйста!» и отъ удивленія качали головами...

Елена Терентьевна не любила заниматься ничѣмъ: ни чтеніемъ, ни рукодѣліемъ. Все это она считала для себя неприличнымъ. «Въ книгахъ нынче пишутъ все такой вздоръ», — говорила она, — а правду сказать, врядъ ли она и знала, что̀ такое пишутъ въ книгахъ, потому что съ самаго дѣтства чувствовала непреодолимое отвращеніе ко всему печатному; «рукодѣльемъ, — думала она, — заниматься мнѣ вовсе не для чего; слава Богу, — я не нищая, чтобъ самой на себя шить; у меня полонъ домъ рукодѣльницъ, которыя всѣ обучались въ первыхъ московскихъ магазинахъ». Къ хозяйству она также не чувствовала особеннаго влеченія, хотя любила подчасъ прихвастнуть своими хозяйственными свѣдѣніями

и всѣмъ толковала, что хозяйство у ней въ домѣ идетъ, какъ заведенные часы... Она, какъ настоящая барыня, баловала сына, ссорилась съ мужемъ, взыскивала очень строго съ лакеевъ и дѣвокъ и сидѣла большею частью сложа ручки, погруженная въ пріятное созерцаніе своихъ богатствъ. Когда же совершенная пустота и бездѣйствіе начинали нѣсколько тяготить ее, она посылала за Марьей Андреевной и говорила ей:

— А что, не погадаете ли вы мнѣ, душенька, въ карты?

— Если прикажете, — отвѣчала обыкновенно Марья Андреевна и тотчасъ же раскладывала на столѣ передъ нетерпѣливыми взорами своей благодѣтельницы засаленныя и истертыя карты и пророчила ей исполненіе всѣхъ обѣщаній, неожиданный интересъ, нечаянную радость, скорое свиданіе съ бубновымъ королемъ, т.-е. съ какимъ-то блондиномъ, который между прочимъ всегда ложился на сердцѣ у барыни, и прочее.

И барыня, жадно внимая сладкимъ рѣчамъ Марьи Андреевны и убаюканная этими рѣчами, улыбалась съ неописаннымъ умиленіемъ. Послѣ гаданья ловкая барышня занимала обыкновенно свою благодѣтельницу такими разговорами, которые льстили ея самолюбію и упоительно щекотали ея нервы. Барышня, напримѣръ, безпрестанно называя ее своею благодѣтельницею и второю матерью, цѣловала ей руки, приговаривая:

— Что это, какія у васъ ручки-то! вѣкъ бы любовалась ими: бѣленькія, пухленькія, точно у семнадцатилѣтней дѣвушки! О, эта ручка много дѣлала благодѣяній на своемъ вѣку, помогала бѣднымъ!.. Зато ужъ какъ васъ любимъ мы! Вы мать наша; всѣ, можно сказать, благословляютъ васъ...

Но черезъ полчаса послѣ этого барышня, сидя въ дѣвичьей и грызя орѣхи, такъ разсуждала съ дѣвками:

— Только и дѣла, что гадай ей... Вишь Богъ далъ какую княгиню, сидитъ себѣ цѣлый день, развалясь на диванѣ, да важничаетъ... занимай вишь ее отъ скуки! Что такое, въ самомъ дѣлѣ... я не крѣпостная ея: я такая же

благородная, какъ и она, — ничѣмъ не хуже ея, тоже дворянская дочь. Покойница генеральша Четвертакова была почище ея, да и та хотѣла взять меня къ себѣ въ домъ вмѣсто дочери. Она, бывало, говоритъ мнѣ: «вы, — говоритъ, — никакого различія, милая, не будете имѣть съ моею дочерью, съ Любочкой, и платья такія же будете носить, какъ она и вездѣ со мною выѣзжать, намѣсто дочери...»

И слово-за-слово... чего бывало не наскажетъ о себѣ барышня, а изумленныя дѣвки слушаютъ ее разиня рты и только по временамъ вскрикиваютъ: «Ахъ, ты, Господи! Да неужто это взаправду вы говорите, барышня?» А вечеромъ, за ужиномъ въ людской, со смѣхомъ разсказываютъ объ ней судомойкамъ и поломойкамъ. Судомойки и поломойки, въ свою очередь, приходятъ въ изумленіе. «Да вы только послушайте ее... — прибавляютъ горничныя, — это еще чю! еще мы половину того не сказали, что она намъ наболтала». — Да ужъ такая мастерица прилыгать, что просто наше вамъ почтенье! — восклицаютъ лакеи. — «А какъ она честитъ барыню, если бъ вы знали», перебиваютъ дѣвки... «а барыня...» И, вслѣдъ за симъ, вся дворня воспламенялась, и начинались нескончаемые толки и пересуды о барынѣ, и о баринѣ, и даже объ Аркашкѣ, котораго не терпѣли ни лакеи, ни дѣвки и котораго они иначе не звали, какъ *баловникомъ*.

Между тѣмъ, баловникъ подрасталъ незамѣтно, и его вліяніе въ домѣ съ каждымъ днемъ становилось ощутительнѣе: дворовые мальчишки терпѣли отъ него горькую участь; на лакеевъ и на дѣвокъ онъ то и дѣло жаловался маменькѣ... и горе было тѣмъ, которые осмѣливались въ чемъ бы то ни ни было противорѣчить барчонку. Барыня являлась передъ ними съ такими сверкающими очами, что становилось страшно. Ея угрозы, какъ громъ, потрясали стѣны. Въ такихъ обстоятельствахъ баринъ запирался въ своемъ кабинетѣ и затыкалъ уши. Вообще, участи барина нельзя было позавидовать. Онъ разыгрывалъ въ домѣ роль довольно страдательную. Ему, бѣдному, нельзя было и пожаловаться вслухъ на свою судьбу... Его малѣйшія рѣчи и движенія переносились тотчасъ супругѣ съ различными прикрасами и прибавленіями .. Если

кто-нибудь изъ гостей сидѣлъ у него, то всегда или барышня, или нянюшка вертѣлись около его кабинета и прилипали жаднымъ ухомъ къ дверямъ, а часто и любопытный сынокъ вслѣдъ за нянюшкой подсматривалъ въ замочную скважину, что дѣлаетъ папенька, чтобъ передать это маменькѣ. Наконецъ, папенька, скрѣпя сердце, махнулъ рукой на все это и прибѣгнулъ снова, какъ во дни своей юности, къ тому спасительному зелью, къ которому обыкновенно прибѣгаетъ русскій человѣкъ и въ горѣ, и въ радости...

Нравственное вліяніе маменьки, няни и барышни рѣзко отпечатлѣвалось на Аркашѣ. Онъ всасывалъ въ себя постепенно ихъ образъ мыслей, ихъ вѣрованія и понятія—и развивался не по лѣтамъ. Въ девять лѣтъ онъ уже хвасталъ тѣмъ, что у него будетъ полторы тысячи душъ крестьянъ...

— Я буду богачъ,—говорилъ онъ.—Маменька оставитъ мнѣ, кромѣ всего, много денегъ, много; она сама обѣщала мнѣ...

— Ну, а если родится еще сестрица или братецъ?—лукаво возражала барышня,—такъ вотъ ты ужъ и не будешь такой богачъ. Тогда у тебя и денегъ будетъ меньше, и крестьянъ меньше...

— Какъ же не такъ!—кричалъ Аркаша сквозь слезы.—Я не хочу ни братца, ни сестрицы!.. Не хочу!.. Нянюшка!.. вѣдь у меня не будетъ ни братца, ни сестрицы?

— Не будетъ, голубчикъ, не будетъ,—отвѣчала нянюшка. — Ахъ, матушка-сударыня, съ чего это тебѣ пришло на умъ досаждать ребенку?—продолжала добрая нянюшка, обращаясь къ барышнѣ.—Никакъ ты съ ума спятила? Статочное ли дѣло, чтобъ на старости лѣтъ у барыни и у барина были еще дѣти? Нѣтъ, мой голубчикъ; ты единственный наслѣдникъ и у папеньки, и у маменьки: все тебѣ останется.

Этотъ разговоръ переданъ былъ барынѣ отъ слова до слова нянею, и барыня пришла въ совершенное восхищеніе отъ необыкновенной сметливости и ума Аркаши. Она сообщила объ этомъ тотчасъ же черезъ двухъ своихъ пріятельницъ всей губерніи и въ заключеніе своего разсказа прибавила:

— Не забудьте, что это говорилъ девятилѣтній ребенокъ, девятилѣтній! Признаюсь, хоть свое дитя и стыдно хвалить.

но вѣдь вы сами согласитесь, что это что-то необыкновенное, это просто феноменъ! Подумайте, этакій негодный, ужъ теперь знаетъ цѣну деньгамъ! Разумѣется, я его слегка пожурила за это, но внутренно, какъ мать, не могла не порадоваться его уму. Удивительно! просто непостижимо!

— Ахъ, что за милашка! — вопили въ одинъ голосъ барыни, — да гдѣ онъ? да дайте намъ обнять его! да дайте намъ расцѣловать его!

Маменька ежедневно твердила при Аркашѣ объ его красотѣ.

— Не правда ли, душенька, — говорила она, относясь къ барышнѣ, — не правда ли, онъ у насъ будетъ красавецъ?

Лицо маменьки пылало въ эту минуту самодовольствіемъ.

— Вотъ будетъ кружить-то головы со временемъ... Вотъ, я думаю, надѣлаетъ-то несчастныхъ!..

— Ужъ я воображаю! — произносила барышня. — И, вспомните мое слово, Аркадій Иванычъ не дастъ промаха...

— О, я увѣрена въ этомъ! — съ торжественностью вскрикивала маменька.

— И онъ все день ото дня хорошѣетъ, — продолжала барышня: — щечки у него какъ персики; глаза, у! какіе плутовскіе глазки! брови дугой... Ей Богу, иной разъ только смотришь на него да дивуешься. Настоящій херувимъ!

Елена Терентьевна обращалась, смѣясь, къ сыну:

— Слышишь, что про тебя говорятъ? Ты будешь у меня большой волокита? а? Много будешь ухаживать за барышнями?

— За хорошенькими буду волочиться, маменька, — отвѣчалъ Аркаша, пустивъ шарикъ изъ хлѣба въ лицо старой барышнѣ и тихонько высунувъ ей языкъ.

Къ счастію, барышня не замѣтила этого; маменька полушутя, полусерьезно погрозила Аркашѣ пальцемъ, потомъ схватила его на руки.

— Милый ты другъ мой! — лепетала она въ порывѣ материнскаго восторга, осыпая его поцѣлуями. — Умное ты дитя мое! Что у него за милые отвѣты! каждое слово его, право, хоть записывай. Видно, Богъ хотѣлъ меня утѣшить

имъ за всѣ мои страданія!.. Ты меня очень любишь, голубчикъ?

— Очень, очень, маменька.

— Ангелъ мой! Ну, а послѣ меня кого ты больше всего любишь? Только скажи правду, не солги...—спрашивала маменька, опуская его на полъ.—Папеньку?

— Нѣтъ, не папеньку.

— Кого же, мой другъ? Няню?

— Нѣтъ, не няню, а Наденьку.

— Прокурорскую дочку?.. Слышите, душенька? Каковъ! Покорно прошу, съ этихъ лѣтъ ужъ влюбляется!.. То-то я замѣчала, когда Наденька здѣсь, онъ все около нея увивается... Плутишка!

— Я хочу жениться на ней, мамаша...

— Пора, пора, голубчикъ!—вскрикивала, смѣясь, маменька.

— Сокровище вы наше!—шептала барышня, съ подобострастіемъ цѣлуя руку барченка и съ умиленіемъ взглядывая на его маменьку.

— Со временемъ, конечно, ты женишься,—говорила Елена Терентьевна, какъ бы мечтая вслухъ,—только ужъ вѣрно не на какой-нибудь прокурорской, а на генеральской или на княжеской дочкѣ, на богатой, на красавицѣ... Ты вѣрно тогда будешь адъютантомъ съ аксельбантами, съ саблей, съ бѣлымъ султаномъ. У тебя будутъ маленькіе завитые усики... Ты станешь жить, разумѣется, въ столицѣ; жена твоя будетъ въ родствѣ со всею знатью... Ты будешь гулять съ нею подъ ручку по Невскому проспекту... На ней будетъ бархатный капотъ, пятитысячная шаль и шляпка съ перомъ и цвѣтами. За вами будетъ ѣхать чудесная карета съ гербами, запряженная четвернею вороныхъ или сѣрыхъ... Всѣ проходящіе будутъ заглядываться на васъ и любоваться вами... а мнѣ, мнѣ останется только молиться за васъ, мои голубчики, да благодарить Бога за то, что Онъ даровалъ мнѣ такого сына и такую невѣстку... Ужъ я и умру на вашихъ глазахъ; вѣрно ни ты, ни жена твоя не откажете мнѣ въ маленькомъ уголочкѣ... Мнѣ только и будетъ ну-

женъ одинъ уголокъ. Я не стану мѣшать вамъ въ вашей великолѣпной квартирѣ... Ты вѣрно успокоишь свою мамашу на старости за всѣ ея попеченія и заботы о тебѣ?..

И слезы брызнули изъ глазъ нѣжной матери при этой роскошной фантазіи... И она, отеревъ слезы, еще съ минуту стояла неподвижно, устремивъ взоры на одну точку. Вѣроятно, упоительное видѣніе, смутившее ее, исчезало медленно, медленно, и душа ея рвалась вслѣдъ за этимъ видѣніемъ. Потомъ, когда она пришла въ себя, когда фантазія ея развѣялась и она вдругъ очутилась въ мірѣ дѣйствительности, глаза ея искали сына; но будущій адъютантъ давно уже бѣгалъ по двору, погоняя кнутомъ мальчишку, который бѣжалъ впереди его.

Елена Терентьевна назначила сына въ военную службу, и именно въ кавалерію. «Ни за что не хочу,—думала она,—чтобъ онъ пропадалъ въ ничтожествѣ, безъ всякаго блеска, въ какой-нибудь канцеляріи. По статской совсѣмъ и въ люди нельзя выйти... и, признаюсь, я терпѣть не могу этихъ статскихъ чиновъ!.. Къ тому же, онъ у меня, слава Богу, и не чувствуетъ ни малѣйшей наклонности къ статской службѣ. Онъ такой молодецъ, какъ будто рожденъ быть военнымъ!

И въ самомъ дѣлѣ, Аркаша смотрѣлъ героемъ Онъ почти не разставался съ своей саблей и съ киверомъ; онъ все игралъ въ солдаты—это была любимая игра его. У него была груда весьма искусно нарѣзанныхъ барышнею офицериковъ; три или четыре ящика оловянныхъ гусаръ, уланъ и кирасиръ; большой барабанъ и ружье, изъ котораго онъ стрѣлялъ въ мальчишекъ горохомъ. Онъ имѣлъ голосъ пронзительный и сильный и кричалъ такъ, что старушка-няня и барышня затыкали себѣ уши, при чемъ барышня шептала себѣ подъ носъ: «Вишь какъ разорался, чертенокъ!» Расположеніе же Аркаши преимущественно къ кавалерійской службѣ доказывалось тѣмъ, что онъ рѣдко ходилъ или бѣгалъ просто, а всегда верхомъ на палочкѣ.

ГЛАВА II.

Когда Аркашѣ минуло десять лѣтъ, къ нему приставили дядьку. Этотъ дядька былъ старый заслуженный крѣпостной слуга, давно уже жившій на пенсіи и ничѣмъ не занимавшійся. Его всѣ звали Никитой Савельичемъ, не исключая и господъ, и всѣ дворовые лакеи, бабы, дѣвки и даже крестьяне питали къ нему особенное уваженіе. Никита Савельичъ былъ величайшій резонеръ, или лакейскій оракулъ, и около него всегда собирался кружокъ лакеевъ и дѣвокъ, которые слушали съ величайшимъ любопытствомъ его росказни о прежнемъ барскомъ житьѣ-бытьѣ.

— Что,—говорилъ обыкновенно Никита Савельичъ,—нынче! Нынче господа жить совсѣмъ не умѣютъ. Это что за жисть! Прежде, бывало, при старомъ баринѣ, у насъ одной дворни было до пятисотъ человѣкъ... Однихъ конюховъ пятьдесятъ человѣкъ, да въ комнатахъ человѣкъ тридцать, выключая казачковъ, да казачковъ сверхъ того было штукъ до десяти. Вотъ какъ было прежде! А охотниковъ-то видимо-невидимо; этихъ тамъ разныхъ ловчихъ, доѣзжачихъ, стремянныхъ... да и всѣ названія-то ихъ въ часъ не перечитаешь... Вотъ что! Бывало, какъ самъ-то выѣдетъ со всей этой свитой въ отъѣзжее поле, такъ это что такое, Боже мой!.. При однѣхъ собакахъ, я вамъ скажу, было двадцать человѣкъ приставлено! А какія собаки-то были; лягавыя, гончія, борзыя... Примѣрно какой-нибудь муругій съ подпалинами кобель *Нахалъ* или сѣрокрапчатая сука *Обжигало* по тысячѣ рублей стоили! И все-то это прахомъ пошло!

Никита Савельичъ умолкалъ на мгновеніе, покачивалъ головой съ грустью, вынималъ изъ кармана большую круглую табакерку съ чьимъ-то изображеніемъ на крышкѣ, которое совершенно вытерлось отъ времени, со скрипомъ поворачивалъ крышку и, понюхавъ съ разстановкой и съ чувствомъ, снова принимался расхваливать доброе старое время.

— Вотъ нынче, примѣрно, многіе и грамотѣ изъ васъ

знаютъ, и книги читаютъ, а что въ этомъ проку? А мы, въ старину, и грамотѣ не учились, да своимъ господамъ лучше чѣмъ вы служили. Вотъ что! Въ наше время, я вамъ скажу, у всякаго человѣка была своя амбиція. Всякій человѣкъ чувствовалъ себя. У стараго-то барина, бывало, все по стрункѣ ходитъ. Бывало, онъ выйдетъ: вскочишь, да и стоишь, какъ вкопанный, смигнуть не смѣешь. Да что я! я еще тогда былъ мальчишка, а и старые-то слуги такъ же держали себя. Нечего сказать, царство ему небесное, ужъ настоящій баринъ былъ; нынѣшнимъ куда противъ него! и награждать умѣлъ, да и взыскивать умѣлъ. Разумѣется, гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость. А ужъ тяжеленька была ручка, нечего сказать! Бывало, какъ примется, только держись. Ну, зато вѣдь и слуги были. Правду пословица говоритъ: за битаго двухъ небитыхъ даютъ.

Никита Савельичъ пріостанавливался, снова вынималъ изъ кармана табакерку и со вздохомъ прибавлялъ:

— То-то!.. а нынче что?

Дворня внимала Никитѣ Савельичу разиня ротъ и, почесываясь, восклицала отъ поры до времени:

— Правда ваша, Никита Савельичъ... ужъ нынче что!

Въ наружности Никиты Савельича было «что-то», какъ говоритъ Гоголь, «внушающее» Это былъ послѣдній изъ славной стаи прежнихъ русскихъ слугъ. Огромнаго роста, сухощавый, съ сѣдыми какъ лунь волосами, съ серебряной серьгой въ правомъ ухѣ, всегда съ нѣсколько нахмуренными бровями, въ бѣломъ, отчасти, засаленномъ галстукѣ, нѣсколько разъ обвернутомъ кругомъ шеи; въ синемъ сюртукѣ, почти до пятъ, довольно тонкаго сукна, но уже порядочно поистершемся; въ гусарскихъ сапогахъ безъ кисточекъ сверхъ широкихъ синихъ же панталонъ; съ голубымъ бисернымъ шнуркомъ отъ часовъ на бѣломъ пожелтѣвшемъ пикейномъ жилетѣ,—онъ рѣзко отличался отъ всѣхъ другихъ слугъ новаго поколѣнія.

Чувство собственнаго лакейскаго достоинства проявлялось въ его походкѣ и въ тѣлодвиженіяхъ, нелишенныхъ своего рода граціи, и въ лицѣ его, немного хитромъ и отчасти

суровомъ, на которомъ ясно начертаны были слова: «мы знаемъ, что знаемъ!»

Такому-то человѣку барыня ввѣрила надзоръ надъ барченкомъ.

— Теперь мой Аркаша въ такихъ лѣтахъ,—говорила маменька,—что женщинѣ ходить за нимъ я считаю неприличнымъ.

— И, матушка!—возражала огорченная няня,—вы ужъ это затѣваете напрасно. Еще Аркашечка совсѣмъ ребенокъ... Да что жъ такое, хоть бы онъ и большой былъ, я бы за нимъ и за большимъ не постыдилась ходить. Вѣдь я его, моего крошечку, вынянчила, такъ чего же мнѣ его стыдиться-то?

И няня все-таки потихоньку отъ барыни продолжала ухаживать за своимъ питомцемъ, несмотря даже на Никиту Савельича, который говорилъ ей:

— Эй, Кузьминишна, полно дурачиться... Ну, слава Богу, понянчила довольно, будетъ съ тебя. Теперича тебѣ при немъ быть не слѣдъ. Ужъ теперича онъ на моихъ рукахъ... Ужъ я за него господамъ отвѣчаю. Вотъ что!

— И, батюшка, Никита Савельичъ! да гдѣ же тебѣ такъ усмотрѣть за нимъ? Мое, ужъ самъ ты знаешь, привычное дѣло ходить за ребенкомъ, да и я часто не доглядываю за нимъ.

— Авось и безъ тебя справимся какъ-нибудь!—замѣчалъ Никита Савельичъ, значительно понюхивая табакъ:—одинъ дядька постоитъ за семерыхъ нянекъ... Извѣстное дѣло, что у семи нянекъ дитя безъ глазу. Мнѣ не учиться стать за барскими дѣтьми ходить, слава Богу... Ученаго учить только портить... я ужъ эту науку произошелъ, Кузьминишна!..

Такого рода рѣчи не нравились нянѣ. И она, бывало, занимаясь вязаніемъ чулка, такъ разсуждаетъ съ барышней:

— Вспомни мое слово, матушка! погубятъ ребенка. Дядька! только слава, что дядька, а онъ и обращаться-то съ нимъ совсѣмъ не умѣетъ... Старый балясникъ! цѣлый вѣкъ только на печи лежалъ да наушничествомъ занимался. Этимъ и въ почетъ попалъ къ старому барину... Первый человѣкъ въ домѣ!.. дядька! Эка птица! а мнѣ наплевать на него...

И, постепенно разгорячаясь, няня обыкновенно спускала петлю за петлей.

— А чтобъ ему, проклятому!.. еще петлю спустила... Бѣсъ эгакій!.. Подыми-ка, родная...

И няня отдавала чулокъ барышнѣ.

Барышня подымала петли и говорила:

— Правда твоя, нянюшка, у меня тоже къ нему что-то сердце не лежитъ.... Ужъ, признаться, такой искарютъ, что ужасти!

Однако барышня, по свойственной ей слабости къ сплетнямъ, обыкновенно пересказывала Никитѣ Савельичу все, что говорила про него няня, а иногда и то, чего вовсе она не говорила.

Никита Савельичъ выслушивалъ барышню и махалъ рукой.

— А пусть ее, старая хрычевка,—замѣчалъ онъ,—болтаетъ, что ей на умъ взбредетъ. Вы, сударыня, не прогнѣвайтесь, что я вамъ скажу: у бабы-то волосъ дологъ, да умъ коротокъ. Вотъ что!

Аркаша скоро привыкъ къ Никитѣ Савельичу, ибо Никита Савельичъ, какъ человѣкъ себѣ на умѣ, не слишкомъ противорѣчилъ барчонку, зная, что этимъ онъ угодитъ барынѣ. Ребенокъ пользовался полной свободой; кушалъ съ утра до ночи, при малѣйшемъ замѣчаніи кричалъ: «не говорите противнаго!», колотилъ мальчишекъ, безнаказанно билъ и ломалъ все, что ему ни попадалось подъ руки, и, къ величайшему прискорбію птичницы, безпощадно преслѣдовалъ по двору куръ и индѣекъ. И если птичница, выведенная наконецъ изъ терпѣнія, жаловалась на него дядькѣ, дядька говорилъ:

— Эка важность! Что жъ такое, вѣдь онъ барское дитя. Пусть его забавляется.

Когда же дитя утомлялось къ вечеру и всѣ игрушки надоѣдали ему, Никита Савельичъ занималъ его сказками о кіевскихъ вѣдьмахъ, и русалкахъ, и объ оборотняхъ, въ существованіи которыхъ самъ былъ убѣжденъ твердо, потому что не разъ ихъ видывалъ собственными глазами. Боль-

ше всего любилъ онъ разсказывать о томъ, какъ однажды ночью на сѣнникѣ давилъ его домовой, и еще, какъ домовой не взлюбилъ одну любимую лошадь стараго барина и какъ всякую ночь взбивалъ ей гриву, и какъ кучера ни за что не могли распутать работу хозяина (домового онъ также называлъ хозяиномъ и дѣдушкой).

Эти разсказы дядьки барченокъ слушалъ не безъ страха, но всегда съ напряженнымъ вниманіемъ и любопытствомъ. Особенно боялся онъ домового, и Никита Савельичъ часто стращалъ его домовымъ, иногда для того, чтобъ унять ребенка отъ шалостей, а иногда просто для собственной забавы. Впрочемъ, и то сказать: безъ домового Савельичъ рѣшительно не могъ бы справиться съ барченкомъ; одно только имя домового и дѣйствовало магически на Аркашу, который рѣшительно считалъ ни во что ни папеньку, ни маменьку и не хотѣлъ внимать ни совѣтамъ, ни увѣщаніямъ, ни мольбамъ, ни угрозамъ своего дядьки.

Но не только дядька, даже учитель Аркаши прибѣгалъ къ домовому, чтобъ сколько-нибудь дѣйствовать на своего ученика. Этотъ учитель былъ выключенный изъ какого-то университета казеннокоштный студентъ духовнаго званія, скитавшійся года три безъ мѣста и наконецъ нанятый Еленою Терентьевною для обученія Аркаши за самую ничтожную плату.

— Онъ былъ бы всѣмъ хорошъ, и учитъ прекрасно, — говорила о немъ Елена Терентьевна, — и можетъ преподавать не только первоначальныя правила, но даже всѣ эти, знаете, высшія науки, да только имѣетъ одинъ порокъ: отъ него всегда немножко припахиваетъ виннымъ спиртомъ. Я сначала было испугалась, подумала, что онъ пьетъ, но, къ счастію, онъ меня успокоилъ на этотъ счетъ, сказавъ, что у него сильныя головныя боли и что поэтому докторъ предписалъ ему постоянно примачивать голову виннымъ спиртомъ.

Студентъ, отъ котораго нѣсколько припахивало виннымъ спиртомъ, кромѣ другихъ разныхъ дарованій, владѣлъ еще даромъ стихотворства. Въ наше время этотъ даръ считается

нипочемъ, потому что теперь въ Россіи столько же стихотворцевъ, сколько людей, умѣющихъ держать въ рукахъ перо. Это истина неоспоримая. Теперь у насъ всѣ пылаютъ вдохновеніемъ, уносятся въ поднебесную и оттуда бряцаютъ на лирахъ и громятъ въ своей поэзіи неумѣющихъ цѣнить ихъ призванія—зоиловъ, то-есть журналистовъ.

Я не боюся васъ, Зоилы! (восклицаютъ обыкновенно эти
стихотворцы)
Ничтоженъ мнѣ вашъ дерзкій крикъ.
Во мнѣ кипятъ младыя силы,
Мнѣ свыше данъ боговъ языкъ!

Въ часъ благодатный вдохновенья
Поэтъ уносится въ эѳиръ.
Ему ничтожны дѣти тлѣнья,
Ничтоженъ сей подлунный міръ!..

Но тридцать лѣтъ назадъ, когда поэты не были еще такъ ожесточены противъ журналистовъ, когда ихъ цѣнили гораздо снисходительнѣе и уважали несравненно болѣе, въ то блаженное и, увы! безвозвратно минувшее время, направленіе русской поэзіи не отличалось такою заносчивостью. Тогда поэзія была болѣе кротка и нѣжна, и студентъ, учитель Аркаши, питавшій безнадежную страсть къ какой-то уѣздной дѣвѣ, за которой было пятнадцать душъ приданаго, все воспѣвалъ ее на манеръ Карамзина:

Другъ сердечный, другъ мой милой,
Какъ лишиться мнѣ тебя?
Непонятной, чудной силой
Все къ тебѣ влекуся я...

Мнѣ съ тобой, — съ тобой разстаться
Значитъ сердце потерять,
Вѣчно плакать и метаться,
Вѣчно радости не знать...

Такія чувствительныя стихотворенія учителя вовсе, впрочемъ, не соотвѣтствовали его наружности. Онъ былъ сложенъ довольно аляповато, имѣлъ голосъ грубый, лицо одут-

ловатое и крошечные неопредѣленнаго цвѣта глаза, совершенно заплывшіе жиромъ. Большую часть дня онъ проводилъ въ домѣ управителя Елены Терентьевны, ея крѣпостного человѣка, у котораго онъ также обучалъ дѣтей, за что тотъ, въ знакъ благодарности, всегда угощалъ его барскими наливками и настойками. Учитель душевно любилъ управителя и, по собственному сознанію, съ большою пріятностью проводилъ время въ его семействѣ.

Причиною этому, кромѣ настоекъ и наливокъ, была также Настя, дочь управителя, дѣвка лѣтъ восемнадцати, умѣвшая читать и даже писать—здоровая, полная, съ круглымъ и краснощекимъ лицомъ, на которую учитель поглядывалъ съ неописаннымъ выраженіемъ и которой читалъ свои стихотворенія, сочиненныя имъ къ той жестокосердой, за которой было пятнадцать душъ приданаго. Послѣднее учитель, однако, скрывалъ отъ Насти и обыкновенно, прочитавъ ей свое стихотвореніе, спрашивалъ у нея:

— Ну, а какъ это вамъ нравится, Настасья Өедоровна?

— Прикрасно-съ.

— А знаете ли вы, для кого это мною написано?

— Нѣтъ-съ.

— Собственно для васъ.

— А мнѣ это на что-съ?

— Я тутъ, такъ-съ, піитически выразилъ мои чувства къ вамъ, мою любовь.

— Такъ что же-съ?

— Такъ-съ; ну, а вы... Настасья Өедоровна... вы, можетъ-быть, кого-нибудь ужъ любите?

— Ахъ, Боже мой, да я и не знаю еще, что такое любовь-то!

И Настя сердито отвертывалась отъ учителя... Настя лгала. Настя понимала любовь и даже всю прелесть тайной и взаимной любви; оттого, вѣроятно, садовникъ Гриша такъ страшно и поглядывалъ на учителя и, говорятъ, даже грозился, въ случаѣ чего-либо, дать ему почувствовать себя...

Но да проститъ мнѣ читатель всѣ эти отступленія и подробности; они, можетъ быть, не безполезны и со временемъ

послужатъ къ объясненію многаго въ жизни моего героя. Теперь обратимся къ нему.

Аркаша сидѣлъ съ учителемъ часа по три въ день; занимался же собственно науками не болѣе половины этого времени. Остальные полтора часа ученикъ обыкновенно потягивался, глазѣлъ въ окно на драку пѣтуховъ, на бабъ, развѣшивавшихъ бѣлье на дворѣ, на бѣгавшихъ дѣвчонокъ и мальчишекъ; на гусей, щипавшихъ траву и полоскавшихся въ лужѣ, потому что все занимало его любознательное вниманіе. Для сокращенія часовъ ученья онъ безпрестанно предлагалъ учителю вопросы, вовсе не касающіеся до наукъ; а иногда упрашивалъ его сдѣлать ему новую дудку или змѣя изъ бумаги: учитель былъ большой мастеръ дѣлать бумажные змѣи и дудки изъ стволовъ различныхъ растеній и деревьевъ.

— Ну, что, скажите, Аркашечка успѣваетъ въ наукахъ?— спрашивала маменька у учителя.

— Какъ же-съ; все идетъ, какъ слѣдуетъ,—отвѣчалъ учитель.—Аркадій Иванычъ обладаетъ обширными способностями, только подверженъ небольшому разсѣянію.

— Очень натуральное дѣло, что онъ немножко разсѣянъ. Вѣдь онъ ребенокъ — возражала маменька. — Вы и не утомляйте его слишкомъ; вѣдь ему ученымъ не нужно быть... Къ тому же онъ такъ молодъ. Еще передъ нимъ, батюшка, времени много впереди. Успѣетъ всему выучиться...

Аркаша никогда не спускалъ бумажнаго змѣя безъ учителя. Учитель всегда до поту лица помогалъ ему въ этомъ упражненіи и, казалось, самъ радовался, глядя на подымающагося змѣя, не менѣе ученика. А маменька, сидя на галлереѣ съ гостьей или съ барышней, говорила:

— Очень хорошій человѣкъ этотъ учитель. Ей Богу, спасибо ему, спасибо, какъ онъ всегда старается развлечь ребенка, доставить ему удовольствіе! Это много значитъ. Конечно, есть у него кое-какія дурныя привычки. Да, впрочемъ, вѣдь всѣ мы отъ Адама родились. Что дѣлать? Кто жъ безъ грѣха?

Еленѣ Терентьевнѣ непремѣнно хотѣлось, чтобъ Аркаша

въ совершенствѣ изъяснялся на французскомъ языкѣ, и потому она начала хлопотать о гувернерѣ. И гувернеръ-французъ былъ выписанъ чрезъ одну ея родственницу изъ Петербурга за три тысячи рублей въ годъ. Сверхъ званія гувернера, онъ принялъ еще на себя обязанность преподавать своему питомцу французскую литературу, исторію и музыку, не требуя за то особенной платы. Въ условіи, заключенномъ между нимъ и барынею, наслыша о русскихъ провинціальныхъ нравахъ, французъ не счелъ лишнимъ включить, между прочимъ, слѣдующіе пункты: 1) чтобъ съ нимъ всегда обращались учтивымъ и приличнымъ образомъ; 2) чтобъ ему отведена была чистая и свѣтлая комната съ необходимою мебелью; 3) чтобъ онъ постоянно пользовался барскимъ столомъ и имѣлъ право обѣдать, пить кофе и чай вмѣстѣ со всѣми или отдѣльно въ своей комнатѣ,—смотря по расположенію; 4) чтобъ ежедневно отпускалось ему по менѣе полбутылки краснаго или бѣлаго столоваго вина, ибо, по его словамъ, онъ не могъ употреблять ни кваса, ни кислыхъ щей, ни другихъ какихъ-либо варварскихъ напитковъ; 5) чтобъ ему назначенъ былъ человѣкъ для прислуги, какъ-то: для чищенія платья, сапогъ, для уборки его комнаты и проч.; 6) чтобъ, въ случаѣ желанія, онъ могъ по крайней мѣрѣ въ мѣсяцъ одинъ разъ отлучиться дня на два или на три или въ гости къ сосѣднимъ помѣщикамъ, или въ губернскій городъ, и чтобъ въ такомъ случаѣ ему давали надежный и приличный экипажъ, и 7) чтобъ въ продолженіе каникулярнаго времени (отъ 1-го іюня до 1-го августа) онъ пользовался полной свободой и на эти мѣсяцы могъ отлучаться куда заблагоразсудитъ.

Этотъ гувернеръ, котораго вся дворня, не исключая и барышни, звала *мусье*, несмотря на свою молодость, принадлежалъ къ французамъ стараго времени. Онъ былъ, что называется, душа холостого общества. Беззаботный весельчакъ, несмотря на ограниченность ума, всегда легкій, пріятный и неутомимый говорунъ, особенно за бутылкою шампанскаго; несмотря на ограниченность средствъ— всегда щегольски одѣтый; несмотря на совершенную ограниченность образованія

и бѣдность свѣдѣній—умѣвшій вдругъ озадачить и, что называется, пускать пыль въ глаза; немного разсѣянный, очень вѣтреный, волокита, отчаянный легитимистъ, славный бильярдный игрокъ,—онъ пріѣхалъ въ Россію съ полною увѣренностью какими бы то ни было средствами въ нѣсколько лѣтъ нажить себѣ капиталъ. Онъ готовъ былъ сдѣлаться чѣмъ угодно: гувернеромъ, парикмахеромъ, компаніономъ, танцмейстеромъ, актеромъ, шефомъ оркестра (потому что умѣлъ играть немножко на флейтѣ и немножко на скрипкѣ), камердинеромъ знатнаго и богатаго барина и даже любовникомъ старой и богатой барыни. Два года прожилъ онъ въ Петербургѣ и въ продолженіе этого времени успѣлъ быть сначала гувернеромъ въ какомъ-то домѣ, потомъ музыкальнымъ учителемъ, потомъ приказчикомъ въ книжной лавкѣ, наконецъ приказчикомъ въ музыкальномъ магазинѣ, и нигдѣ не могъ ужиться. Ему безпрестанно отказывали отъ мѣстъ, потому что нигдѣ онъ не исполнялъ своихъ обязанностей. Бильярдъ, домино, шампанское, трактирныя знакомства рѣшительно губили его... Однако, несмотря на стѣсненное положеніе, онъ не унывалъ нисколько и попрежнему шутилъ, острилъ, каламбурилъ, разсказывалъ анекдоты и съ совершенно одинаковою важностью разсуждалъ о военныхъ дѣйствіяхъ Наполеона, котораго, разумѣется, ненавидѣлъ, и о способѣ приготовленія салата, который, по мнѣнію знатоковъ, онъ точно приготовлялъ превосходно. Въ провинцію поѣхалъ онъ не совсѣмъ охотно, но дѣлать было нечего, потому что послѣднія средства его истощились... И хотя русскіе провинціальные нравы отчасти пугали его, онъ однако утѣшалъ себя мыслью — сдѣлать въ провинціи свою карьеру: плѣнить какую-нибудь богатую русскую барыню-вдову, жениться на ней, заставить ее обратить въ капиталъ ея несмѣтное имущество (богатство русскихъ представлялось ему не иначе, какъ въ чудовищныхъ размѣрахъ), перевести этотъ капиталъ во Францію, купить себѣ со временемъ графство, и проч. «Что жъ такое?—думалъ онъ, — c'est une idée comme une autre!»

Не знаю, какое впечатлѣніе произвела на француза Еле-

на Терентьевна, но французъ произвелъ на нее самое выгодное и пріятное впечатлѣніе.

— Бель-омъ, бель-омъ! — говорила она про него барышнѣ. — Прелесть, что за мужчина! Посмотрите, милая, какіе у него глаза... голубые и нѣсколько на-выкатѣ! А какіе волосы... бѣлокурые и курчавые... Не правда ли, бѣлокурые мужчины лучше брюнетовъ?.. Носъ орлиный, манеры самаго лучшаго тона... Прелесть! прелесть!.. Ну, признаюсь, я рада за моего Аркашу; я увѣрена, что онъ вполнѣ образуетъ его и сдѣлаетъ свѣтскимъ человѣкомъ... А замѣтили ли вы, душенька, какой онъ веселый, какой говорунъ и какой, кажется, вѣтреникъ. Ну, словомъ, настоящій французъ! настоящій!

Еще до сихъ поръ у насъ многіе, даже очень умные и образованные люди, понимаютъ французовъ такъ, какъ понимала ихъ моя Елена Терентьевна. Я полагаю, что эти господа не совсѣмъ правы. По двумъ или тремъ выходцамъ нельзя дѣлать заключеніе о характерѣ цѣлаго народа, особенно такого народа, который можетъ указать на Декарта, на Жанъ-Жака Руссо, Бернардена-де-Сен-Пьера, а въ наше время на Жоржъ Зандъ, Ламартина и другихъ.

Въ эпоху, описываемую мною, натурально, сердца всѣхъ русскихъ живѣе бились при воспоминаніи о незабвенномъ двѣнадцатомъ годѣ; ибо это воспоминаніе еще было свѣжо. Буря утихла, но странно взволнованное ею море еще сердито колыхалось. Еще народная ненависть не успѣла опочить, и многіе русскіе патріоты очень неблагосклонно посматривали на французовъ. Къ числу такихъ патріотовъ принадлежали Никита Савельичъ, дядька Аркаши, и студентъ-учитель.

— Врагу отечества поручить дитя! — разсуждалъ Никита Савельичъ. — Ну, есть ли тутъ разумъ? Ну, чему доброму онъ его научитъ? Хоть бы баринъ вступился въ это дѣло, да выгналъ изъ дома этого безбожника взашей.

— Правда ваша, Никита Савельичъ, — возражалъ учитель, — и посмотрите, какъ онъ ведетъ себя! какъ будто баринъ какой; разляжется себѣ на диванѣ при господахъ;

смотритъ, знаете, на всѣхъ съ презрѣніемъ; а вѣдь, я думаю, просто изъ фурлейтовъ. Еще, можетъ, каналья, нашу кровь проливалъ. Чего добраго!.. Аркадію Иванычу главное, Никита Савельичъ, вы сами понимаете, нравственность, такъ-сказать, надо вложить; образовать его умъ и сердце, то-есть, какъ слѣдуетъ русскому дворянину... ну, а гдѣ жъ какому-нибудь этакому подбитому вѣтеркомъ французу понимать такія священныя обязанности? Профессоромъ себя называетъ!.. Ахъ онъ, съ позволенія сказать... да что тутъ много толковать! онъ, я думаю, и свою-то грамоту съ грѣхомъ пополамъ знаетъ...

— И какую барыня власть дала этому прощалыгѣ, — продолжалъ Никита Савельичъ, — просто даже смотрѣть гадко. Всѣ вишь по его дудкѣ пляши! Ахъ ты Господи! Господи!.. Вотъ до какой участи дожили: французу повиноваться! Да что, если бъ старый-то баринъ посмотрѣлъ на это?

Въ самомъ дѣлѣ, французъ пользовался полною довѣренностью и неограниченною благосклонностью Елены Терентьевны. Она даже выписала нарочно для него изъ Москвы порядочный запасъ лафита и шампанскаго; кромѣ того, онъ безпрестанно получалъ отъ нея подарки: то шелковую матерію на жилетку, то самаго тонкаго англійскаго сукна на фракъ, то бобровый воротникъ на бекешь.

— Все это я дѣлаю, — говорила она, — для его поощренія, чтобъ онъ больше занимался моимъ Аркашей; а для Аркашочки мнѣ ничего не жаль! Онъ вѣдь у меня одинъ, единственное сокровище, единственное утѣшеніе, оставшееся мнѣ на землѣ... Видитъ Богъ, для него я готова на всѣ пожертвованія!

Когда же губернскія барыни спрашивали у нея:

— А что, Елена Терентьевна, довольны ли вы вашимъ гувернёромъ?

— То-есть такъ довольна, — отвѣчала она, — что вы себѣ и представить не можете... Онъ ужъ такъ внимателенъ къ ребенку, такъ — что этого и сказать нельзя. И какіе успѣхи Аркашечка сдѣлалъ въ короткое время! Въ мои имени-

ны онъ, вообразите, принесъ мнѣ поздравительные стихи на французскомъ языкѣ... А какой у него становится выговоръ!.. Онъ со временемъ, я увѣрена, будетъ говорить по-французски, какъ настоящій французъ, *р* немножко картавитъ, точно такъ, какъ его гувернёръ... Вѣдь это, можно сказать, необыкновенный ребенокъ; онъ сейчасъ сразу все перейметъ. И гувернеръ имъ не нахвалится. Онъ мнѣ откровенно признался, что еще не видывалъ ребенка съ такими способностями, а надобно вамъ сказать, что вѣдь въ Петербургѣ онъ былъ гувернёромъ все при княжескихъ и при графскихъ дѣтяхъ...

Елена Терентьевна, несмотря на свои нравственныя правила, несмотря на то, что твердила безпрестанно: *по моему хвастовство — это самый гнусный порокъ въ человѣкѣ*, иногда позволяла себѣ прихвастнуть немножко. Гувернёръ вовсе не думалъ восхищаться способностями ея сына; напротивъ, Аркаша выводилъ его изъ терпѣнія своими шалостями, невнимательностью во время уроковъ и лѣнью. Гувернёръ иначе не звалъ его, какъ mon petit tyran, и не одинъ разъ принужденъ былъ жаловаться на него маменькѣ. И, къ величайшему изумленію всей дворни, маменька, скрѣпя сердце, наказывала Аркашу безъ обѣда, но няня всякій разъ тихонько отъ гувернёра и отъ маменьки до того изъ жалости кормила его булочками и пирожками, что дитя едва могло дышать и даже однажды чуть не слегло въ постельку. Наказаніе Аркаши обнаруживало вполнѣ, какую власть и какое вліяніе гувернёръ имѣлъ на Елену Терентьевну. Впрочемъ, впослѣдствіи, гувернёръ пересталъ быть строгъ и взыскателенъ къ своему питомцу, во-первыхъ, потому, что нашелъ это безполезнымъ; во-вторыхъ, потому, что не хотѣлъ огорчать маменьку, а въ-третьихъ, потому, что не хотѣлъ изъ пустяковъ волновать и тревожить самого себя. Онъ занимался съ Аркашей не болѣе двухъ часовъ въ день, и то больше для виду; прочее же время оставлялъ его на попеченіе Никиты Савельича, а самъ или разговаривалъ съ Еленой Терентьевной, или отправлялся съ ружьемъ на охоту, или ѣздилъ верхомъ, или игралъ въ бильярдъ съ хозяи-

номъ дома. Вообще онъ пользовался полной свободой, понемногу привыкалъ къ однообразной и утомительной деревенской жизни, постепенно копилъ себѣ деньги, чего бы никакъ онъ не могъ сдѣлать въ Петербургѣ, и утѣшалъ себя мыслью черезъ нѣсколько лѣтъ отправится на родину, если не съ огромнымъ капиталомъ, то, по крайней мѣрѣ, съ такою суммою, которая могла вполнѣ его обезпечить. Онъ выучилъ нѣсколько фразъ по-русски; и всегда, когда встрѣчался съ Настей, горничной Елены Терентьевны (а это случалось довольно часто), произносилъ очень чисто: «Здрастуйтé, какъ ви поживаетé? Можно тебья поцаловать? Я очень тебья люблю... Ты очень прекрасна», и потомъ обнималъ Настю, которая всякій разъ, вырываясь изъ его объятій, вскрикивала:

— Ахъ, полноте... какіе вы баловники!

Настя сначала была фавориткой барыни, но потомъ барыня вдругъ безъ всякой причины не взлюбила ее, начала рѣшительно гнать и противъ воли заставила выйти замужъ за кривобокаго и стараго кузнеца Доримидошку. Этотъ кузнецъ былъ характера дикаго и непреклоннаго. Въ припадкахъ ревности онъ, говорятъ, немилосердно колотилъ бѣдную Настю, и она чрезъ годъ послѣ брака умерла въ чахоткѣ.

Между тѣмъ Аркаша толстѣлъ и возрасталъ значительно. Уже вмѣсто гусарскихъ курточекъ ему шили сюртучки и фрачки; уже онъ пересталъ ѣздить верхомъ на палочкѣ, а ѣздилъ на настоящей небольшой лошадкѣ, которую ему подарила маменька; уже онъ кое-какъ болталъ по-французски и порядочно пиликалъ на скрипкѣ, потому что къ музыкѣ чувствовалъ бóльшее расположеніе, чѣмъ къ наукамъ; уже онъ съ особеннымъ любопытствомъ поглядывалъ па горничныхъ, особенно въ то время, когда тѣ мыли бѣлье на рѣкѣ... «Господи Боже мой! Какъ время-то идетъ! — говорила, глядя на него, маменька, — давно ли еще онъ, мой голубчикъ, былъ на рукахъ у кормилицы, а теперь вонъ какой молодецъ выросъ. Все-то такъ на свѣтѣ!»

Для него наняли новаго учителя, потому что прежній часто вдругъ пропадалъ и Богъ знаетъ гдѣ скрывался по

цѣлымъ недѣлямъ, а возвращался въ такомъ видѣ, что его рѣшительно нельзя было допустить къ ученику. Впрочемъ, Елена Терентьевна, по свойственной ей добротѣ, позволила ему оставаться въ домѣ и даже дала пять рублей какому-то мужику изъ сосѣдней деревни, который взялся его вылѣчить отъ пьянства. А благодарный учитель написалъ въ честь своей благодѣтельницы диѳирамбъ, который начинался такъ:

Слети, о ты, волшебна сила,
На лиру скромную мою..
Въ честь добродѣтели свѣтила
Внуши мнѣ гимнъ, — да воспою!..

Но лѣкарства мужика не пособили учителю... Бѣдный все-таки кончилъ свое поприще трагически Онъ въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не выходилъ никуда; кромѣ воды и кваса ничего не пилъ, крѣпился, тосковалъ, — и вдругъ исчезъ снова. Это было вечеромъ наканунѣ крещенья, въ жесточайшій морозъ. На утро нашли его замерзшимъ въ канавѣ, на полдорогѣ отъ барскаго двора къ питейному дому.

Аркаша новаго своего учителя слушался точно такъ же, какъ и стараго. Ученье казалось ему невыносимой пыткой, и всякій разъ, вырываясь изъ класса, какъ изъ тюрьмы, съ позволенія гувернера, онъ бѣжалъ, разсѣкая воздухъ хлыстикомъ, на конюшню, приказывалъ осѣдлать свою лошадку и черезъ минуту скакалъ верхомъ, въ сопровожденіи конюха, по большой деревенской улицѣ. Мужики, бабы, дѣвчонки и мальчишки кланялись въ поясъ, завидя своего барчонка, и смотрѣли на него съ подобострастіемъ, разинувъ рты и вытаращивъ глаза; а барчонокъ съ самодовольной и гордой улыбкой едва кивалъ имъ головой и мчался, закидывая грязью или пескомъ деревенскихъ ребятишекъ и младенцевъ, которыхъ заботливые родители преспокойно оставляли на улицѣ почти посреди дороги.

Папенька Аркаши рѣшительно ничего не хотѣлъ знать, что̀ дѣлается въ домѣ, и не вступался въ воспитаніе своего сына; только, замѣтивъ его страсть къ лошадямъ, попремѣн-

но самъ захотѣлъ учить его ѣздить верхомъ. Быстрые успѣхи Аркаши въ верховой ѣздѣ отъ души радовали папеньку...

Однажды въ манежѣ онъ былъ необыкновенно имъ доволенъ. Глядя на сына, его кавалерійское сердце сильно забилось въ груди, и въ немъ проснулась память о прежнихъ беззаботныхъ, счастливыхъ годахъ. Онъ схватилъ Аркашу на руки и крѣпко прижалъ къ груди.

Аркаша обнялъ его. Ему въ первый разъ отчего-то стало жаль папеньку. Папенька вдругъ измѣнился въ лицѣ, какъ будто чувство отца начинало побѣждать въ немъ чувство кавалериста—и слезы вдругъ невольно хлынули изъ глазъ его.

— Ахъ, если бы не твоя мать! — проговорилъ онъ глухимъ голосомъ, но вырвавшимся изъ глубины души...—Ну, да впрочемъ, она какъ и всѣ онѣ! — Онъ не договорилъ и махнулъ рукой. — Люби меня, Аркаша! — И, произнеся эти послѣднія слова почти шопотомъ, онъ быстрыми шагами вышелъ изъ манежа. Аркаша проводилъ отца глазами и задумался. Этого прежде съ нимъ также не случалось... Какъ будто что-то съ болью пошевельнулось въ груди его, и онъ вздрогнулъ; но въ эту минуту прибѣжавшая въ манежъ маменька закричала:

— Насилу-то я тебя нашла, мой ангелочекъ!.. Неужто ты до сихъ поръ все ѣздилъ верхомъ? Посмотри-ка, на тебѣ лица нѣтъ . Бога не боится папенька... Онъ совсѣмъ тебя замучитъ... Да что это ты такой скучный? Не обидѣлъ ли тебя папенька?

— Это еще что̀ вы выдумали? — отвѣчалъ Аркаша, — папенька меня никогда не обижалъ.

Аркаша, къ удивленію маменьки, въ первый разъ вступился за папеньку.

— Ну, не сердись, мое сердцо, не сердись на свою мамашу. Будь веселѣе... Ужъ какъ я не люблю, когда ты не веселъ... Мнѣ Богъ ужъ знаетъ что̀ представляется, что ужъ ты и боленъ-то... и что тебя ужъ кто-нибудь огорчилъ... Надо быть всегда веселымъ. Да и о чемъ тебѣ скучать, дружочекъ? Мамаша души въ тебѣ не слышитъ, исполняетъ всѣ твои желанія, живетъ, можно сказать, только единственно для

тебя; куда ни обернись — все твое, все къ твоимъ услугамъ, все тебѣ повинуется... Я только объ одномъ прошу тебя... будь ласковъ и внимателенъ къ своему гувернеру и во всемъ слушайся его... Онъ безподобный человѣкъ и безъ памяти любитъ тебя... Его совѣтами слѣдуетъ дорожить, душа моя, и пользоваться ими... Ты вѣдь этимъ утѣшишь свою мамашу? Не правда ли?

Аркаша, чтобъ поскорѣй отдѣлаться отъ наставленій маменьки, обѣщалъ исполнить ея волю и сломя голову убѣжалъ въ садъ. Тамъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ любимыхъ мальчишекъ, онъ занимался разореніемъ птичьихъ гнѣздъ, забывая папеньку, и маменьку, и гувернера, и всѣхъ на свѣтѣ. Вообще, страсть къ разоренію и разрушенію, обнаружившаяся въ барчонкѣ съ самыхъ раннихъ лѣтъ, развивалась въ немъ съ каждымъ годомъ подъ вліяніемъ благодѣтельнаго воспитанія... Аркаша подавалъ блестящія надежды въ будущемъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Аркашѣ минуло четырнадцать лѣтъ, папенька его послѣ долгой и трудной болѣзни скончался, въ совершенной памяти, простясь съ женой, съ сыномъ и со всѣми старшими людьми въ домѣ... Лицо умирающаго выражало страшное внутреннее страданіе. Казалось, какая-то мысль тревожила его—и онъ хотѣлъ передать эту мысль и не находилъ словъ для ея выраженія. Потухавшіе глаза его попеременно обращались съ безпокойствомъ то къ женѣ, то къ сыну... Елена Терентьевна стонала, хватала себя за голову и ломалась ужасно.

— Помогите мнѣ! — кричала она, — помогите мнѣ... Охъ, дурно... Чувствую, что съ ума сойду... Другъ ты мой! на кого ты меня покидаешь?..—И, качая головой, она съ плачевной гримасой смотрѣла на умирающаго. Но въ послѣднюю минуту, казалось, все вниманіе онъ сосредоточилъ на одномъ сынѣ и крѣпко держалъ его за руку. Губы его шевелились... Усиливался ли онъ сказать что-нибудь и не могъ, или читалъ про себя молитву—Богъ знаетъ. Рука его замерла въ рукѣ сына. Аркаша горько плакалъ.

— Такъ ужъ его нѣтъ, моего родного? — вдругъ вскрикну-

ла Елена Терентьевна и бросилась къ Аркашѣ. — Сироточка мой... сироточка!..—Но крикамъ, восклицаніямъ и обморокамъ Елены Терентьевны не было конца...

Послѣ смерти супруга она долгое время, разумѣется, была неутѣшна и обыкновенно говорила тономъ отчаянія:

— Чего только я не перенесла въ жизни? Удивляюсь, именно удивляюсь, какъ меня стало на все. Отца, матери лишилась, двухъ мужей схоронила,—двухъ мужей, да еще какихъ! Настоящихъ ангеловъ!

Вскорѣ послѣ потери папеньки Аркаша былъ нѣсколько огорченъ смертью няни. Впрочемъ, онъ скоро забылъ и папеньку, и няню.

Елена Терентьевна держала при себѣ сына сколько могла, то-есть лѣтъ до шестнадцати. Долѣе оставлять его дома она уже сочла неблагоразумнымъ, особенно послѣ того, когда до слуха ея начали доходить различные подвиги Аркаши. Къ тому же, гувернеръ рѣшительно пожелалъ возвратиться на родину. Мечты его отчасти осуществились: онъ, благодаря нѣкоторымъ обстоятельствамъ и, кромѣ того, собственной бережливости, уѣхалъ изъ Россіи съ порядочнымъ капиталомъ. Нѣсколько дней сряду послѣ его отъѣзда Елена Терентьевна не поднималась съ постели: до того она чувствовала себя нездоровою.

— Ахъ, милая, я такъ простудилась, — говорила она барышнѣ, — что ужасъ... жаръ такой, такъ вся и горю.

«Знаемъ мы твою простуду-то...» думала про себя барышня, а между тѣмъ цѣловала ей ноги и, по обыкновенію, смотрѣла на нее съ умиленіемъ и, вздыхая, повторяла:

— Ахъ, благодѣтельница вы наша! голубушка вы наша! какъ это вамъ не грѣхъ хворать!

Командиръ **... гусарскаго полка, сослуживецъ мужа Елены Терентьевны, старинный знакомый ея, нѣкогда даже страдавшій по ней, опредѣлилъ Аркашу къ себѣ въ полкъ юнкеромъ.

Съ той минуты, какъ рѣшена была участь его, Аркаша не ходилъ иначе, какъ въ сѣрыхъ рейтузахъ, подшитыхъ кожей, въ сапогахъ съ длинными шпорами, въ венгеркѣ

съ кистями и съ хлыстомъ въ рукѣ. Ему очень было досадно, что у него нѣтъ усовъ, — однако, для большаго эффекта, онъ безпрестанно крутилъ вмѣсто волосъ пушокъ, едва-едва показавшійся на томъ мѣстѣ, гдѣ долженствовали со временемъ красоваться усы—и даже въ нетерпѣніи принялся за бритву... Книги онъ бросилъ въ сторону и цѣлый день проводилъ на конюшнѣ...

— Другъ мой, Аркашечка!—говорила ему маменька,—что ты не посидишь съ своей мамашей? я тебя цѣлый день не вижу, а намъ ужъ недолго остается быть вмѣстѣ. Когда-то еще Богъ приведетъ намъ увидѣться?.. Здоровье мое что-то слабѣетъ день ото дня... Вчера я видѣла во снѣ твоего папашу — и такъ явственно; онъ, какъ живой, голубчикъ, стоялъ передо мною... говоритъ мнѣ: «я, говоритъ, скоро возьму тебя къ себѣ», и все манилъ меня рукой... Этотъ сонъ что-нибудь да значитъ!..

И Елена Терентьевна зарыдала и упала на грудь сына.

За три недѣли до отъѣзда Аркаши начались сборы и приготовленія. Въ продолженіе этого времени слезы безпрестанно навертывались на глазахъ доброй матери, и она смотрѣла на сына съ особеннымъ выраженіемъ, которое невозможно описать никакимъ перомъ... Барышня не отходила отъ нея прочь, цѣловала ей руки и утѣшала ее:

— Полноте, родная, не убивайте себя! — повторяла она. — Аркадій Иванычъ пойдетъ далеко; онъ до всего дослужится, будетъ вашимъ утѣшеніемъ подъ старость. Посмотрите-ка, черезъ годъ пріѣдетъ къ намъ съ бѣлымъ султаномъ, будетъ гремѣть саблей. — а я ему скажу: помните, Аркадій Иванычъ, какъ я носила васъ на рукахъ и вырѣзывала вамъ солдатиковъ изъ картъ? — То-то будетъ у насъ веселье въ домѣ!

Въ день отъѣзда Аркаши весь домъ, вся дворня и вся деревня съ самаго ранняго утра были въ неописанномъ волненіи. У подъѣзда дома стояла коляска, запряженная четвернею въ рядъ... Двое слугъ и Никита Савельичъ были уже въ дорожныхъ платьяхъ... Дѣвки, лакеи и кучера суетились около экипажа... Елена Терентьевна сама уложила подушки

въ коляскѣ, чтобъ Аркашѣ было покойнѣе сидѣть... Потомъ она повела его на могилу къ отцу и, припавъ къ могилѣ, стонала и рыдала... Потомъ начался молебенъ, послѣ молебна завтракъ. За завтракомъ она ничего не могла кушать, а сидя возлѣ сына, только сквозь слезы шептала: «не забудь же меня! не разлюби меня, мой другъ!» и цѣловала его въ плечо и въ грудь и даже подносила къ своимъ устамъ его руки... Завтракъ кончился, — настала торжественная минута... Передъ отъѣздомъ, по обыкновенію, всѣ на одну секунду усѣлись... Затѣмъ Елена Терентьевна первая привстала и, едва передвигая ноги, подошла съ образомъ къ сыну... Сынъ упалъ передъ нею на колѣни и заплакалъ... Она его благословила образомъ, передала образъ на руки Никитѣ Савельичу, съ страшнымъ воплемъ заключила Аркашу въ свои объятія и ровно четверть часа держала его на груди своей, а всѣ присутствовавшіе, глядя на это, рыдали, въ особенности барышня.

— Будь ласковъ, вѣжливъ и почтителенъ къ старшимъ! — говорила Елена Терентьевна прерывающимся голосомъ, крестя сына дрожащей рукой, — слушайся начальниковъ, угождай имъ, будь искателенъ, предупредителенъ; надобно во всѣхъ, дружочекъ, *умѣть найти* — это первое; надобно, чтобъ всѣ тебя любили... Съ этими правилами не пропадешь... Я всегда держалась этихъ правилъ и, благодаря моего Бога, умѣла нажить себѣ истинныхъ друзей... Проводи большую часть времени въ семействѣ твоего командира... Холостая компанія до добра не доводитъ... Не забудь отдать ему мое письмо... Старайся понравиться, пріобрѣсти расположеніе его супруги... Она, говорятъ, женщина необыкновенно умная и тонкаго обращенія... Пуще всего пиши къ мамашѣ каждую почту, не забывай... Никита Савельичъ, пожалуйста, напоминай ему объ этомъ. Ну, да благословитъ тебя Господь, дружочекъ мой!

И вслѣдъ за этими словами Елена Терентьевна снова обняла сына и такъ взвизгнула, что всѣ присутствовавшіе невольно вздрогнули.

Поддерживаемая съ одной стороны барышнею, съ дру-

гой дѣвкою, она вышла на крыльцо... На дворѣ уже собралась вся любопытная дворня смотрѣть на отъѣздъ барчонка... На крыльцѣ снова начались объятія и лобызанія.

— Сбереги же мнѣ моего Аркашу, Никита Савельичъ, — произнесла Елена Терентьевна, прощаясь съ дядькою, который подошелъ къ ея рукѣ. — Я тебѣ въ цѣлости сдаю ребенка съ рукъ на руки... Ты мнѣ во всемъ будешь за него отвѣчать...

— А вы, — барыня обратилась къ двумъ лакеямъ, которые отправлялись съ молодымъ бариномъ, — вы смотрите у меня... служите барину хорошенько, ничѣмъ не огорчайте его; не забудьте, что ваша участь въ моихъ рукахъ, что я все, что хочу, могу съ вами сдѣлать... Смотри за ними Бога ради, Никита Савельичъ, не давай имъ баловаться!..

Вслѣдъ затѣмъ барышня, а вслѣдъ за барышнею вся дворня стали прощаться съ барчонкомъ... Наконецъ барчонокъ усѣлся въ коляску.

— Покойно ли тебѣ сидѣть, мое сердце? — спрашивала маменька. — Дай посмотрѣть. — И она сѣла на минуту въ коляскѣ возлѣ сына и опять начала обнимать, цѣловать его и плакать...

Между тѣмъ, Никита Савельичъ и два отъѣзжавшие лакея въ свою очередь обнимались, цѣловались и прощались съ своими родственниками и съ остальною дворнею.

Когда Елена Терентьевна вышла изъ коляски, Никита Савельичъ сѣлъ на ея мѣсто, и лошади двинулись...

— Прощайте! прощайте!.. Прощай, мой дружочекъ! Христосъ съ тобой!

— Прощайте, маменька!..

— Прощай, мое сердце!..

— Не забыли ли чего-нибудь? — кричали лакеи и дѣвки.
Нѣтъ, все взято...

— Ну, съ Богомъ!..

Коляска выѣхала изъ воротъ...

Аркаша въ послѣдній разъ выглянулъ изъ коляски.

Маменька кивала ему головой и крестила его.

Коляска скрылась изъ вида.

Маменька безъ чувствъ упала на руки дѣвокъ...

Къ вечеру, когда Елена Терентьевна немного успокоилась и пришла въ себя, она сказала барышнѣ:

— Ахъ, какъ тяжело мнѣ, душенька! если бы вы знали, какъ грустно! какая пустота въ домѣ безъ него, безъ моего голубчика!.. Погадайте-ка мнѣ объ немъ.

Барышня тотчасъ разложила карты. По картамъ вышло, что Аркаша въ самомъ скоромъ времени будетъ произведенъ въ офицеры и получитъ тьму наградъ.

— Да это еще что! — замѣтила барышня, — посмотрите... ему выходитъ, кромѣ того, такое удивительное счастье... такое, что и сказать нельзя! Что-то просто необыкновенное...

Утѣшась немного предсказаніями барышни, Елена Терентьевна, утомленная душевными тревогами, легла въ постель ранѣе обыкновеннаго и все придумывала, какое же бы это такое необыкновенное счастье ожидало ея Аркашу?

ГЛАВА III.

Аркаша, котораго отнынѣ я буду называть Аркадіемъ Иванычемъ, первое время своего юнкерства находился въ нѣкоторой зависимости отъ Никиты Савельича. Старый дядька распоряжался всѣмъ и съ большою умѣренностью и осторожностью выдавалъ деньги своему барчонку.

Среди незнакомыхъ ему людей, въ мірѣ для него новомъ, Аркадій Иванычъ еще не успѣлъ развернуться. Полный, съ румяными щеками, еще нѣсколько застѣнчивый и робкій, — онъ, въ сравненіи съ своими товарищами; казался красною дѣвушкою: зато товарищи и прозвали его *маменькинымъ сынкомъ*. Они подшучивали надъ нимъ безпрестанно.

— Какъ же маменька-то отпустила тебя безъ няньки? — спрашивали его. — Что, братъ, — говорили ему, — ты дядьки-то, кажется, боишься порядочно? а? Онъ тебя держитъ въ рукахъ... Ты безъ него вѣдь ничего не смѣешь дѣлать?

Аркадій Иванычъ краснѣлъ и бѣсился.

— Вотъ вздоръ какой! — обыкновенно отвѣчалъ онъ. — Съ чего это вы взяли? Я все, что хочу, дѣлаю...

— Ну, братъ, докажи-ка; посмотримъ.

Самолюбіе Аркадія Иваныча подстрекали такимъ образомъ ежеминутно.

— Ну, да чѣмъ же вамъ доказать? — спрашивалъ онъ.

— Коли ты смѣешь безъ его позволенія дѣлать, что хочешь, — ну, такъ угости насъ сегодня шампанскимъ.

— Пожалуй, хоть сейчасъ.

И Аркадій Иванычъ бѣжалъ домой, ласкался къ своему дядькѣ и выпрашивалъ у него денегъ. Никита Савельичъ, вынимая деньги изъ кованаго сундучка, поморщивался и обыкновенно говорилъ:

— Слава Богу, опять! Да на васъ, сударь, не напасешься денегъ. Давно ли вы у меня взяли, — а ужъ ничего нѣтъ! На что еще понадобились? Ужъ я знаю, куда эти деньги пойдутъ! ужь вы меня лучше и не обманывайте! Стыдно, сударь! что, вы ихъ удивить думаете, что ли? Они, пожалуй, рады на чужой счетъ кутить. Знаемъ мы ихъ! Вѣдь все голь такая, прости Господи; какъ имъ не поживиться около васъ! Вишь, какой кладъ нашли! Они настоящая, я вамъ скажу, бездонная бочка: на нихъ сколько ни трать, все мало, и спасибо не скажутъ; а вмѣсто спасиба васъ же осмѣютъ. Вотъ что! Ахъ, Аркадій Иванычъ, жаль мнѣ васъ, батюшка! ужъ научатъ они васъ добру!

— Никита Савельичъ! да нѣтъ, ты не знаешь, возражалъ неопытный юнкеръ, - ей Богу, это совсѣмъ не для нихъ, это я для себя... это мнѣ нужно, знаешь, вотъ для того, чтобы...

— Полноте вертѣться-то, батюшка! перебивалъ Никита Савельичъ, — я знаю васъ: что говори, что нѣтъ, все равно... Ну, да ужъ это я въ послѣдній разъ вамъ даю такую сумму... Вамъ, извѣстно дѣло, и горя мало: вѣдь не вамъ, а мнѣ передъ маменькою-то отвѣчать. Она спроситъ... Отчего это, Савельичъ, у васъ такъ скоро деньги выходятъ? Это, дескать, скажетъ, твое несмотрѣніе, какой же ты дядька послѣ этого! да еще подумаетъ: старый дуракъ, я ему все на его отвѣтственность, такъ сказать, препоручила, а онъ не

знаетъ. куда и деньги дѣвались, и отчета мнѣ не умѣетъ отдать. Вотъ что̀! Меня, батюшка, изъ-за васъ и оконфузятъ на старости лѣтъ...

Но ворчанье дядьки не дѣйствовало на Аркадія Иваныча. Деньги, получаемыя имъ отъ Никиты Савельича, всѣ тотчасъ издерживались въ трактирѣ на угощенье товарищей... Товарищи безъ церемоніи осушали бутылку за бутылкой и, подмигивая, шопотомъ говорили другъ другу: «А что̀, мы славно надули маменькина-то сынка!»

Сначала Аркадій Иванычъ боялся вина, какъ новичокъ, и пилъ очень умѣренно.

— Посмотрите, господа: онъ не допиваетъ своего бокала!— кричали товарищи, — онъ не хочетъ пить съ нами. Да что̀ ты, боишься вина, что ли? или, можетъ быть, дядьки боишься? Какой же ты гусаръ послѣ этого!

-- Оставьте его, господа; онъ привыкъ пить молочко вмѣсто вина. Маменька все отпаивала его молочкомъ!..

Стрѣла, пущенная товарищами, мѣтко попадала въ самое сердце Аркадія Иваныча. Онъ вскакивалъ со стула, поднималъ бокалъ кверху и восклицалъ удалымъ тономъ:

— Полноте, господа! коли на то пошло, такъ уже я ни отъ кого не отстану!

И въ самомъ дѣлѣ, онъ начиналъ пить не отставая ни отъ кого.

— Лихо! ай-да молодецъ!—кричали товарищи...--Браво! Вотъ это по-гусарски! А что, господа, вѣдь онъ подаетъ надежды? вѣдь онъ будетъ славный товарищъ! Его сто̀итъ только подзадорить. Это хорошо: значитъ, у него есть *амбиція*.

И Аркадій Иванычъ, вѣроятно, для доказательства, что у него точно есть *амбиція*, чаще и чаще сталъ возвращаться домой въ такомъ видѣ, что у бѣднаго Никиты Савельича, глядя на него, слезы навертывались на глазахъ...

— Ахъ, они варвары, безбожники этакіе! — ворчалъ онъ, укладывая его спать. — До чего они довели ребенка! Да что̀, если бъ барыня увидѣла его въ этакомъ положеніи?.. Ну, а мнѣ что дѣлать? какъ за нимъ усмотришь! Не на при-

вязи же его держать. Говоритъ, въ манежъ иду учиться; говоритъ, надо верхомъ ѣздить; а самъ, вмѣсто манежа, и улизнетъ въ трактиръ. Ужъ такъ навострился лгать, что...

Никита Савельичъ махалъ рукой, вынималъ изъ кармана табакерку, нюхалъ, покачивая головой... потомъ подходилъ къ постели Аркадія Иваныча, съ безпокойствомъ смотрѣлъ на спящаго барчонка, прикладывалъ руку къ головѣ его и опять начиналъ ворчать:

— Вѣдь этакъ они его совсѣмъ уморятъ. Чего добраго! Пожалуй, еще занеможетъ... Ну, гдѣ жъ ребенку за ними тягаться? Они ужъ на томъ стоятъ... а онъ... вишь какъ головка-то у него горитъ... и какъ дышитъ-то тяжело... Не слушаетъ меня... что съ нимъ будешь дѣлать?

И Никита Савельичъ, бывало, ложился спать возлѣ постели своего питомца и въ продолженіе ночи нѣсколько разъ просыпался, смотрѣлъ на него и прислушивался къ его дыханію.

Такого рода привязанность и заботливость Никиты Савельича очень не нравились Аркадію Иванычу, потому что страсть къ независимой и разгульной жизни съ каждымъ днемъ овладѣвала имъ болѣе и болѣе; но онъ еще не рѣшался освободиться отъ своего *ментора* и продолжалъ, для собственнаго оправданія, а иногда просто такъ, обманывать его на каждомъ шагу. Вообще, ложь и хвастовство сдѣлались его необходимыми принадлежностями, безъ которыхъ онъ, какъ безъ хлѣба, не могъ обойтись. Онъ съ дѣтства привыкъ лгать и хвастать, безъ сознанія, что это дурно, потому что дышалъ въ атмосферѣ лжи и хвастовства: и маменька, и няня, и барышня, и лакеи, и дѣвки, — всѣ лгали и хвастали при немъ, нимало не краснѣя; маменька обманывала папеньку; папенька обманывалъ маменьку; барышня, няня, лакеи и дѣвки обманывали и маменьку и папеньку... Какъ же было винить ребенка за то, что онъ не проложилъ себѣ новаго пути, — а пошелъ по той избитой тропинкѣ, по которой всѣ шли передъ нимъ? Да и не одинъ герой мой, и не одна его маменька, — всѣ мы подъ часъ любимъ прихвастнуть немножко... Почему же не сознаться

въ этомъ, благосклонный читатель и благосклонная читательница? У всѣхъ у насъ есть, можетъ быть, тайное поползновеніе блеснуть чѣмъ бы то ни было передъ ближнимъ и озадачить ближняго. Всѣ мы любимъ отчасти смотрѣть выше своего состоянія... Но все это я осмѣлился замѣтить единственно для того, чтобъ хоть нѣсколько оправдать моего героя...

Ему — и, право, это было очень простительно — хотѣлось также блеснуть передъ своими товарищами, какъ его товарищамъ хотѣлось иногда блеснуть передъ нимъ... Онъ увѣрялъ всѣхъ, что у него двѣ тысячи пятьсотъ душъ крестьянъ и, кромѣ того, болѣе милліона денегъ, хотя зналъ навѣрное, что ему можетъ достаться тысяча пятьсотъ душъ, и то только послѣ смерти маменьки; а о количествѣ денегъ положительно ничего не зналъ, потому что это была ея тайна. Товарищамъ, въ свою очередь, хотѣлось блеснуть передъ нимъ, и они говорили:

— Вообрази, братецъ, мы вчера втроемъ выпили дюжину шампанскаго... каково?..

А между тѣмъ, они навѣрное знали, что выпили только двѣ бутылки.

И товарищи догадывались, что Аркадій Иванычъ нѣсколько преувеличиваетъ свои богатства, и Аркадій Иванычъ догадывался, что товарищи его нѣсколько преувеличиваютъ число выпитыхъ ими бутылокъ, а между тѣмъ все-таки они постоянно продолжали такимъ образомъ блестѣть другъ передъ другомъ.

Мнѣніе товарищей о моемъ героѣ все улучшалось по мѣрѣ того, какъ онъ развивался и входилъ въ таинства своей новой жизни. Надъ нимъ почти уже не смѣялись; его начали любить; безъ него не проходила ни одна попойка...

— Каковъ онъ у насъ становится? — говорили товарищи, указывая на него. — Онъ скоро насъ перещеголяетъ. Его узнать нельзя... Посмотрите, какой красавчикъ сталъ!..

И въ самомъ дѣлѣ, Аркадія Иваныча нельзя было узнать, — такъ измѣнился онъ въ продолженіе года. Щеки его осунулись и поблѣднѣли; онъ значительно выросъ; го-

лось его погрубѣлъ; пушокъ на бородѣ и на усахъ сдѣлался гораздо замѣтнѣе; онъ уже носилъ фуражку, измятую набекрень и нарочно забрызганную грязью; онъ уже не выпускалъ изо рта трубки и безпрестанно затягивался; онъ уже занималъ деньги, хотя, правда, еще тихонько отъ своего дядьки.

— Боже мой! Боже мой! на что онъ сталъ похожъ теперь? — часто думалъ Никита Савельичъ, печально глядя на него. — Привезли мы его сюда: былъ полный, здоровый — ну просто кровь съ молокомъ; бывало, любо смотрѣть на него... а теперь?.. Да какъ же я въ этомъ видѣ представлю его барынѣ? да что она скажетъ, взглянувъ на него, а что обо мнѣ-то подумаетъ?..

И старикъ, который становился съ каждымъ днемъ дряхлѣе, пасмурнѣе и ворчливѣе, потуплялъ въ землю голову, долго оставался безмолвно въ такомъ положеніи и потомъ прибавлялъ:

— Эхъ, право, не смотрѣлъ бы на свѣтъ Божій!

Никитѣ Савельичу особенно обидно было то, что его питомецъ съ нѣкотораго времени началъ обращаться съ нимъ не только невнимательно, но даже грубо.

— Ужъ я чувствую, — говорилъ ему старикъ, — что становлюсь вамъ, батюшка, неугоденъ, что я вамъ вотъ какъ бѣльмо на глазу. Богъ съ вами! Я бы давно васъ бросилъ; дѣлайте себѣ, что хотите... Что мнѣ здѣсь? весело, что ли, на чужой-то сторонѣ?.. Здѣсь и глаза-то мнѣ нѣкому будетъ закрыть, и пожалѣть-то обо мнѣ будетъ нѣкому!.. Не забудьте, батюшка, что я еще дѣдушкѣ вашему служилъ, что покойникъ (царство ему небесное) жаловалъ меня съ собственнаго плеча, то-есть, можно сказать, предпочтеніе оказывалъ мнѣ передъ всѣми въ домѣ, — а вы нисколько ничѣмъ и уважить меня не хотите на старости лѣтъ! Что дѣлать? Насильно милъ не будешь... Право, давно бы васъ бросилъ, сударь, да жаль только вашей маменькѣ огорченіе напости. Вотъ что! А васъ мнѣ не жалко. Что, въ самомъ дѣлѣ? кто васъ урезонитъ? Повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить.

Но всего чаще ссорился Никита Савельичъ съ своимъ питомцемъ за то, что тотъ лѣнился писать къ маменькѣ. Наканунѣ почтоваго дня дядька обыкновенно являлся въ комнату Аркадія Иваныча и молча, нахмуривъ брови, заложивъ руки назадъ, съ необыкновенною важностью останавливался у дверей.

— Что тебѣ нужно?—спрашивалъ у него Аркадій Иванычъ, потягиваясь на диванѣ и зѣвая...

— Что мнѣ нужно?—повторялъ Никита Савельичъ тономъ упрека.—А мнѣ нужно то, чтобъ вы, сударь, сегодня написали письмецо къ маменькѣ. Завтра почта отходитъ. Вотъ что мнѣ нужно!..

— Ахъ, Савельичъ, какая лѣнь, если бъ ты зналъ!

И Аркадій Иванычъ продолжалъ потягиваться и ломаться на диванѣ.

— Вѣдь письмецо-то, сударь, кажись бы, недолго было написать.

— Да о чемъ же писать?.. Я и то недавно писалъ... Велика, Савельичъ, разсольцу принести, да ужъ кстати и трубочку набей... что-то смерть хочется затянуться...

— Бога вы не боитесь, сударь!—ворчалъ Никита Савельичъ, вычищая трубку и потомъ набивая ее,—недавно писали! Да ужъ этому недѣли три прошло Вамъ совсѣмъ, я вижу, не жаль маменьки; а она-то, бѣдняжка, я чаи, сокрушается по васъ, думаетъ: что съ нимъ сталось, съ моимъ голубчикомъ, что онъ совсѣмъ забылъ меня? Не боленъ ли онъ? А голубчикъ-то, вонъ онъ, валяется по дивану да трубочку покуриваетъ себѣ, да разсолецъ попиваетъ... Нехорошо, сударь, воля ваша, нехорошо! Родителей должно любить и почитать, за тѣмъ, что они жизнь намъ даровали; они насъ поятъ и кормятъ. Коли родителей кто забудетъ, такъ того и Богъ забудетъ. Это и въ законѣ такъ написано. Вы вѣдь всему обучены; кажись бы, лучше нашего брата должны это знать... Извольте трубку!

И дядька до тѣхъ поръ не оставлялъ его въ покоѣ, пока онъ не принимался за письмо.

Но Никита Савельичъ мучилъ его недолго. Никита Са-

вельичъ умеръ черезъ полтора года послѣ выѣзда своего изъ деревни, на семьдесятъ пятомъ году отъ рожденія, и, увы! не дождался счастья видѣть своего барчонка офицеромъ.

Его смерть совершенно, какъ говорится, развязала руки Аркадію Иванычу. Послѣ его смерти квартира Аркадія Иваныча сдѣлалась притономъ всѣхъ кутилъ, и въ ней начали совершаться всевозможныя шалости, какія только можетъ изобрѣтать юношеское необузданное воображеніе. Аркадій Иванычъ пріобрѣлъ скоро лестное титло *славнаго малаго,* какимъ пользовался во время оно его папенька; но сынокъ готовился перещеголять родителя. Лицо его принимало постепенно выраженіе дерзости и самохвальства. Онъ ходилъ по городскимъ улицамъ не иначе, какъ присвистывая или напѣвая такого рода стишки и куплетцы, которые не печатаются; толкалъ прохожихъ, не извиняясь, и заглядывалъ подъ шляпки всѣхъ безъ изъятія встрѣчавшихся ему барынь и барышень. Онъ зналъ имена почти всѣхъ хорошенькихъ горничныхъ города К*, которыя, по его словамъ, всѣ были влюблены въ него. Онъ хвасталъ своими побѣдами безпрестанно, игралъ въ карты съ утра до вечера и большею частью, разумѣется, на мѣлокъ, и былъ чрезвычайно доволенъ, когда товарищи, ударяя его дружески по плечу, говорили:

- Ну, признаюсь, братецъ, ты отчаянная голова, нечего сказать! кутила въ полной формѣ!

Черезъ два года послѣ смерти дядьки Аркадій Иванычъ произведенъ былъ въ корнеты. День его производства ознаменовался, какъ водится, страшной пирушкой. Товарищи качали вновь произведеннаго на рукахъ и подбрасывали его къ потолку. Одинъ изъ товарищей, при началѣ пира, выпивъ поздравительный бокалъ и чокнувшись съ Аркадіемъ Иванычемъ, тотчасъ же разбилъ бокалъ въ дребезги. Аркадію Иванычу это очень понравилось, и онъ послѣдовалъ его примѣру. Примѣру Аркадія Иваныча послѣдовали другіе, и на полу въ минуту очутилась груда битаго стекла.

Вино лилось при крикахъ и восклицаніяхъ, и тучи табачнаго дыма носились по комнатѣ...

— Ну, господа, признаюсь, — говорили товарищи Аркадія Иваныча, — признаюсь, угостилъ! на славу угостилъ!

И самъ Аркадій Иванычъ, какъ онъ сознавался при концѣ своего поприща, почиталъ этотъ день лучшимъ днемъ своей жизни. Онъ всегда вспоминалъ о немъ съ особеннымъ восторгомъ и говорилъ обыкновенно съ глубокимъ вздохомъ:

— Не многимъ такъ удастся покутить на свой вѣкъ, какъ я покутилъ. Ужъ вотъ можно-то сказать, что не даромъ пожилъ! Ужъ повеселился, нечего сказать. Но все это ничего; а вотъ одинъ день... такъ вотъ ужъ этотъ день я до могилы не забуду: это — когда я былъ произведенъ въ корнеты... И прежде, и послѣ кутилъ... да нѣтъ, такого денька не выдавалось. Ахъ, что̀ это былъ за денекъ!

Аркадій Иванычъ черезъ нѣсколько времени послѣ производства въ корнеты былъ отпущенъ въ отпускъ и отправился прямо въ деревню къ своей маменькѣ, въ надеждѣ поправить свои разстроенные финансы... Можно вообразить необычайную радость Елены Терентьевны при видѣ нѣжнолюбимаго сына, въ полномъ, обшитомъ золотомъ гусарскомъ мундирѣ, съ ташкою, съ саблей, въ киверѣ. Аркадій Иванычъ непремѣнно хотѣлъ предстать передъ маменькою во всемъ блескѣ и переодѣлся въ какой-то деревушкѣ, не доѣзжая нѣсколько верстъ до своего села.

Елена Терентьевна, какъ водится, прежде всего съ визгомъ бросилась на грудь сына и залилась радостными слезами; потомъ, отеревъ глаза и отступя отъ него на нѣсколько шаговъ, съ минуту безмолвно любовалась его нарядомъ; потомъ изъ устъ ея полились восторженныя восклицанія:

— Ахъ, какъ это прекрасно!.. Ахъ, какъ къ тебѣ идетъ этотъ мундиръ, мое сердце, красавецъ ты мой!.. Боже мой. Боже мой! Да посмотрите на него, душенька... Что̀ это за прелесть!

Елена Терентьевна обращалась къ барышнѣ, которая, попрежнему, пользовалась ея благосклонностью и находилась при ней неотлучно. Барышня начинала ахать и восторгать-

ся въ свою очередь... Горничная дѣвка, фаворитка барыни, пораженная величіемъ барина, пожирала его глазами. Остальные лакеи и дѣвки дивовались, глядя на него изъ полураскрытыхъ дверей и вообще изо всѣхъ щелей, находившихся въ комнатѣ... Маменька осматривала съ величайшимъ вниманіемъ и любопытствомъ каждый кантикъ, каждый шнурочекъ, каждую пуговку, каждый галунчикъ на мундирѣ сына и, осматривая, продолжала восклицать:

— Ахъ, это самый счастливый день въ моей жизни! Мнѣ кажется, я съ ума сойду отъ радости... Другъ ты мой сердечный!.. Другъ ты мой милый!.. Не могу опомниться отъ восторга!.. (И маменька тяжело и прерывисто дышала). Утѣшеніе ты мое!.. Ну, теперь я могу сказать, что я счастливая мать... Видно я угодила Богу!.. Надѣнь-ка киверъ-то, голубчикъ мой... Ахъ, какой молодецъ!.. Да смотрите же на него, душенька!.. Такъ даже вотъ сердце замираетъ!.. Этакимъ сыномъ можно гордиться... А какъ наши барыни-то и барышни его увидятъ, что̀ съ ними будетъ?.. Шутка ли, три года не видала его!.. А какъ ты выросъ-то! Какіе у тебя усики! Какъ ты возмужалъ!.. Только что-то онъ похудѣлъ и поблѣднѣлъ... Не правда ли, душенька?

Барышня вздохнула и, исподлобья бросивъ на гусара умилительный взглядъ, произнесла:

— Блѣдный цвѣтъ лица къ Аркадію Иванычу чрезвычайно какъ идетъ. Онъ такъ еще гораздо интереснѣе... Къ пунцовому мундиру блѣдность — это безподобно. Ужъ что касается до его красоты, такъ ужъ объ этомъ никто не будетъ спорить. Но главное у него, у нашего голубчика, добродѣтельное сердце, а это лучше всякой красоты. Онъ, наше сокровище, бѣдныхъ не забываетъ!

— Благодѣтель мой, — продолжала барышня, подходя къ гусару и цѣлуя его въ плечо, — я только, можно сказать, и жизнью пользуюсь по вашей милости и по милости вашей маменьки — моей единственной благодѣтельницы. Я это очень чувствую. Богъ васъ не оставитъ за то, что вы не оставляете бѣдныхъ. Если вы, вельможи этакіе, не будете оказывать намъ вспомоществованія, не прострете руки помощи, такъ

кто же другой и приметъ участіе въ нашемъ бѣдственномъ положеніи? Вѣдь вы знаете, Аркадій Иванычъ, пословицу: бѣдному кусокъ за цѣлый ломотокъ...

Дней черезъ пять послѣ пріѣзда Аркадія Ивановича въ деревню вся губернія узнала объ этомъ событіи... Всѣ маменьки, у которыхъ были дочки-невѣсты, встрепенулись, а у всѣхъ дочекъ затрепетали сердца.

— Да вѣдь какой, говорятъ, красавецъ, какой молодецъ! — кричали маменьки, — какія у него манеры!.. просто, говорятъ, очаровательный молодой человѣкъ, совершенно восхитительнаго обращенія. А давно ли, кажется, еще былъ чуть-чуть отъ земли виденъ! Да! да! я вотъ какъ будто теперь вижу, какъ онъ ѣздилъ верхомъ на палочкѣ! А теперь шутите съ нимъ! теперь онъ ѣздитъ верхомъ не на палочкѣ, а, я думаю, галопируетъ не иначе, какъ на пятитысячной лошади... Ахъ, какъ бы я желала на него посмотрѣть! И я тоже! И я!.. Машенька, помнишь, какъ ты съ нимъ въ горѣлки бѣгала?.. А какъ онъ любилъ мою Катишь! бывало, прочь отъ нея не отходитъ... Мы, бывало, съ Аленой Терентьевной только любуемся, глядя на нихъ... Вотъ, говоримъ мы, женихъ съ невѣстой... Помнишь, Катишь? Посмотри-ка теперь на своего жениха: ты теперь его, я думаю, и не узнаешь.

Катишь краснѣла, потупляла глазки и восклицала:

— Ахъ, маменька, что̀ это вы говорите?

— Вотъ еще что̀ выдумала! — говорили между собою другія маменьки, иронически поглядывая на Катенькину маменьку. — Какъ же! такъ вотъ сейчасъ и согласится Алена Терентьевна имѣть такую невѣстку! Захочетъ ли она породниться Богъ знаетъ съ кѣмъ? Да и Аркадій Иванычъ, мы увѣрены въ этомъ, и смотрѣть не захочетъ на какую-нибудь этакую перезрѣлую Катишь! Онъ, говорятъ, слишкомъ знаетъ себѣ цѣну. Ну, какъ бы то ни было, гусарскій офицеръ, молодецъ, богачъ... Что ему, помилуйте! Онъ можетъ сдѣлать отличную партію... (при этомъ каждая изъ маменекъ какъ будто нечаянно взглядывала съ чувствомъ материнской гордости на свою дочку); онъ, вѣрно, выберетъ

себѣ жену благовоспитанную, съ хорошими манерами, съ именемъ, съ нравственностью, жену, которая не уронила бы его въ свѣтѣ, которою бы онъ всегда могъ блеснуть! Съ его состояніемъ онъ можетъ жить открыто, по-барски... Къ тому же маменька оставитъ ему еще, кромѣ всего, порядочный капиталецъ. У ней, говорятъ, тьма-тьмущая ломбардныхъ билетовъ, доставшихся ей еще послѣ перваго мужа. Вѣдь она женщина претонкая — въ случаѣ нужды умѣетъ и показать себя, а въ случаѣ нужды и притаиться. Отъ нея все станется! Но сына своего она просто боготворитъ и для него ничего не жалѣетъ.

— А что онъ, блондинъ или брюнетъ? - спрашивали дочки, когда оставались наединѣ съ маменьками.

— Онъ былъ свѣтлорусый прежде, — отвѣтствовали маменьки, — ну, да вѣдь тогда онъ былъ ребенокъ, а теперь, можетъ быть, онъ совсѣмъ измѣнился; только всегда волосы у него были какъ шелкъ премягкіе, а ужъ это вѣрный признакъ сердечной доброты ..

- Мы воображаемъ, — продолжали маменьки, — радость доброй Алены Терентьевны. Ужъ, вѣрно, она теперь и не отходитъ отъ сына... Ужъ, вѣрно, она имъ и налюбоваться не можетъ. Это очень натурально! Счастливая женщина! чего ей не достаетъ? и богатство этакое, и сынъ такой безподобный молодой человѣкъ... Непремѣнно надо ѣхать погостить къ ней! — Да когда же? — Ужъ, конечно, чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше! А знаете, вѣдь Аркадій Иванычъ, говорятъ, отпущенъ въ отпускъ не надолго. - То-то же и есть! Надо ее, голубушку, поздравить съ его пріѣздомъ. — Разумѣется! какъ же безъ этого? — Этого и приличіе требуетъ. - Къ тому же, въ ея домѣ всегда такъ пріятно проводить время... Она такая обязательная! — Она такая предупредительная! — Она такая мастерица угощать!

И маменьки хоромъ прославляли добродѣтель Елены Терентьевны, той самой Елены Терентьевны, которая за нѣсколько времени передъ этимъ, по ихъ словамъ, была «женщина самыхъ дурныхъ правилъ, незаслуживающая никакого уваженія».

Послѣ толковъ, возгласовъ, восклицаній и криковъ начинались сборы въ путь. Каждая изъ маменекъ тщательно осматривала всѣ принадлежности туалета своей дочки. При этомъ завязывался жаркій споръ у нѣкоторыхъ маменекъ съ дочками, въ такомъ родѣ:

— Пожалуйста, не забудь, возьми съ собою малиновое платье съ букетами, — говорила маменька, — это платье къ тебѣ чрезвычайно идетъ. Ты блѣдна, а малиновый цвѣтъ даетъ оттѣнокъ лицу.

— Чтó это, маменька! — возражала дочка. — Пунцовое! Да голубое платье гораздо лучше ко мнѣ идетъ.

— Вотъ еще! перестань умничать, сдѣлай одолженіе. Я очень хорошо знаю, что къ тебѣ идетъ и что не идетъ. Слава Богу, настолько у меня достанетъ вкуса! А ты, ты никогда не сумѣешь одѣться къ лицу. Ужъ я увѣрена, что Матрены Васильевны Саша затмитъ тебя, несмотря на то, что у нея совершенно незначительное лицо.

— Да голубое платье на мнѣ и сидитъ лучше, чѣмъ малиновое.

— Вздоръ! вздоръ! Ты вотъ всегда только нарочно противорѣчишь мнѣ, чтобъ досадить...

— Чѣмъ же я вамъ досаждаю?.. Ну, пожалуй, по мнѣ все равно, что малиновое, что голубое!.. — съ сердцемъ ворчала дочка.

— Знаю, матушка, знаю! Ты никогда не стараешься отличиться передъ другими, никогда не стараешься выказать себя; у тебя этого ничего нѣтъ, никакой гордости... рѣшительно никакой!.. У другихъ дѣвицъ гардеробъ во сто разъ хуже твоего, а посмотри, какъ онѣ умѣютъ принарядиться, любо смотрѣть на нихъ... а ты... да ты ужъ не выйдешь замужъ — и не воображай себѣ этого; вѣкъ, матушка, останешься въ дѣвкахъ, на моей шеѣ: сердце мое это предчувствуетъ!..

И маменька съ дочкою ссорились — и однако, несмотря на презрѣніе, которое дочка изъявляла къ малиновому платью, она брала съ собою и малиновое, и голубое, и желтое, и всѣ свои лучшіе наряды... Наканунѣ отъѣзда всю

ночь и дочкѣ, и маменькѣ снился молодой гусаръ то верхомъ, то пѣшкомъ, то въ сюртукѣ, то въ мундирѣ... И все казалось маменькѣ, что гусаръ хочетъ о чемъ-то говорить съ ней по секрету, и все казалось дочкѣ, что гусаръ смотритъ на нее нѣжно и пламенно, крутя свой темный усъ...

Странно! почти точно такіе же сны снились и другимъ маменькамъ и другимъ дочкамъ наканунѣ ихъ отъѣзда къ Еленѣ Терентьевнѣ.

Наконецъ въ село Кривухиво столько наѣхало барынь и барышень, съ дѣвками, съ лакеями, съ приживалками, съ казачками и съ моськами, что Елена Терентьевна, несмотря на обширность своего дома, пришла въ совершенное затрудненіе, какъ и куда размѣстить дорогихъ гостей. И по всему было замѣтно, что дорогіе гости располагались погостить въ селѣ Кривухинѣ не день и не два, потому что вслѣдъ за ними прибыли ихъ подводы, нагруженныя чемоданами и картонками.

Хозяйка дома встрѣчала гостей съ пріятнѣйшею улыбкою и съ распростертыми объятіями, восклицая:

— Настасья Ивановна! Боже мой! какъ я вамъ рада, вы представить себѣ не можете!

— Марья Григорьевна, вы ли это? Насилу-то, душенька, я дождалась васъ къ себѣ.

— Ангелъ мой, Агнея Александровна! вотъ ужъ истинно обязали своимъ пріѣздомъ.

— Ахъ, мои милые, мои дорогіе гости!..

Но черезъ пять минутъ, въ дѣвичьей, Елена Терентьевна говорила барышнѣ:

— Каково? Вотъ, можно сказать, безстыдство-то!.. Какъ-будто нарочно сговорились, наѣхали съ этакой ордой... Да они меня этакъ въ одну недѣлю объѣдятъ! Я понимаю, чего имъ хочется, — очень хорошо понимаю! У нихъ губа-то не дура; да нѣтъ, не туда заѣхали...

И хотя Елена Терентьевна въ цѣлой губерніи не находила достойной невѣсты для своего Аркадія Иваныча и вполнѣ была увѣрена, что онъ женится не иначе, какъ въ Петербургѣ, или на генеральской, или на княжеской дочкѣ,

однако она не обнаруживала этой увѣренности передъ барынями; она, можетъ быть, отчасти даже льстила ихъ видамъ и все это для того только, чтобъ онѣ въ свою очередь льстили ей и ухаживали за нею. Что дѣлать? Елена Терентьевна пріучена была къ лести: въ младенчествѣ ей льстила кормилица; въ дѣтствѣ — маменька, нянюшка и гувернантка; а въ зрѣломъ возрастѣ — мужъ, вся дворня и всѣ окружавшіе ее... Впрочемъ, безъ лести никакая барыня не можетъ существовать — ни столичная, ни провинціальная: это ужъ дѣло рѣшеное.

Маменьки и дочки пришли въ восторгъ отъ Аркадія Иваныча, особенно, когда увидѣли его въ полной парадной формѣ. «Онъ нисколько не обманулъ нашихъ ожиданій, —говорили онѣ между собою, —напротивъ, превзошелъ всѣ ожиданія...»

Каждая изъ дочекъ находила въ моемъ героѣ особенную красоту.

Одна думала: «Какіе у него усики! ахъ, что за усики!»

Другая думала: «Ахъ, какіе глаза! Нѣтъ, глаза у него лучше всего!»

Третья думала: «Ахъ, какой у него мундиръ! Это просто восхищеніе!»

Четвертая думала: «А талія-то! талія-то! Ахъ, какая талія!»

И такъ далѣе.

Разумѣется, каждая изъ маменекъ употребляла всевозможныя старанія, чтобъ выставить передъ женихомъ свою дочку-невѣсту съ самой лучшей и выгоднѣйшей стороны. Приступы къ этому были очень замысловаты.

Маменька, у которой, напримѣръ, дочка пѣла и бренчала на фортепіано, говорила:

— Вы вѣдь, Елена Терентьевна, кажется, любите музыку?

— Ахъ, милая, обожаю! — восклицала Елена Терентьевна. — Музыку нельзя не обожать.

— Слышишь, Вѣрочка? (маменька обращалась къ дочкѣ). Доставь же удовольствіе Еленѣ Терентьевнѣ: спой что-ни-

будь, душенька... Она вѣдь, знаете, у меня музыкантша и мастерица пѣть... у нея небольшой, но очень пріятный голосокъ; — ну, или сыграй что-нибудь... Знаешь, ту штучку-то, какъ бишь она называется, что ты anomeнясь дома-то играла. А вотъ Аркадій Иванычъ вѣрно бы вызвался тебѣ аккомпанировать на флейтѣ или на скрипкѣ... Аркадій Иванычъ! вы вѣдь, говорятъ, въ совершенствѣ музыку знаете?

— Нѣтъ-съ, я давно бросилъ все, — отвѣчалъ гусаръ, — мнѣ некогда этимъ заниматься. Я четыре года ни флейты, ни скрипки въ руки не бралъ. Да и, признаться сказать, надоѣло все это...

— Можетъ ли это быть? Вы вѣрно только не хотите показать намъ своихъ талантовъ.

— Нѣтъ, что я!.. а вотъ пусть лучше Вѣра Александровна споетъ намъ что-нибудь.

И гусаръ, прищурясь и крутя усъ, обращался къ барышнѣ-музыкантшѣ.

Маменька торжествовала, а дочка краснѣла, потупляла глазки и начинала ломаться.

— Да нѣтъ... Ахъ, какъ это можно? да я не умѣю... Полноте, maman!.. И поломавшись и покривлявшись барышня садилась за фортепіано и затягивала *соловья*, который былъ тогда въ большой модѣ.

Въ такомъ родѣ дѣйствовали и другія маменьки, — и всѣ онѣ хоромъ кричали при Еленѣ Терентьевнѣ и при ея сынѣ, что онѣ ничего не щадили на воспитаніе своихъ дочерей, что онѣ все принесли имъ въ жертву, нанимали имъ отличныхъ учителей и гувернантокъ и, что главное, ничего не упустили относительно ихъ нравственности.

Аркадій Иванычъ не оказывалъ предпочтенія ни одной барышнѣ. Около нихъ онъ увивался такъ, отъ нечего дѣлать, но за ихъ горничными волочился съ большою ревностью и не безъ успѣха.

— Что, братецъ, — говорилъ онъ одному помѣщику, своему сосѣду, съ которымъ вмѣстѣ кутилъ, — вѣдь это я знаю, что такое, зачѣмъ эта вся сволочь-то къ намъ наѣхала... Нѣтъ, тутъ надо вести себя осторожно; пожалуй, этакъ не-

множко забудешься, такъ вѣдь какъ разъ скрутятъ... Тутъ взятки-то гладки, знаемъ мы ихъ!.. Да не на такого дурака напали... Я покорный слуга... Женатый человѣкъ ужъ это что такое? это просто пропащій человѣкъ; это ужъ не нашего поля ягода... Богъ съ ними, съ этими барышнями! я въ эти игрушки, братецъ, не играю; а вотъ субреточки, это другое дѣло, субреточки — по нашей части...

(Нельзя не замѣтить, что Аркадій Иванычъ при словѣ *субреточка* истинно одушевлялся и вдохновлялся, какъ одушевлялась и вдохновлялась Марья Андреевна при словѣ *кофей*...)

Между тѣмъ, питаясь сладостными надеждами, маменьки и дочки продолжали гостить въ селѣ Кривухинѣ... Каждый вечеръ дочки обязаны были отдавать подробный отчетъ маменькамъ, о чемъ въ продолженіе дня говорилъ съ ними Аркадій Иванычъ и какъ онъ смотрѣлъ на нихъ; каждый день барышня раскладывала карты которой-нибудь изъ маменекъ или изъ дочекъ и непремѣнно говорила дочкѣ:

— Ну, посмотрите, Бога ради, трефовый король отъ васъ не отходитъ; это чудное дѣло!..

— Неужели не отходитъ?—съ восторгомъ вскрикивали маменьки и потомъ, смотря на карты, погружались въ пріятную мечту.

У васъ въ домѣ непремѣнно будетъ *марьяжъ*, — продолжала барышня, — и очень въ скоромъ времени.

При словѣ *марьяжъ* лицо маменьки внезапно просвѣтлялось; она взглядывала на свою дочку съ нѣжною грустью, какъ-будто этимъ взглядомъ хотѣла сказать: «стало быть, другъ мой, мы скоро съ тобой разстанемся; стало быть, ты у меня гостья, ангелъ ты мой!» Послѣ гаданья маменька обращалась къ барышнѣ и говорила:

— Благодарю васъ, добрая Марья Андревна, за трудъ. Я, признаюсь, гаданьямъ не вѣрю, но вы всегда такъ чудесно угадываете, что вамъ нельзя не вѣрить. У васъ особенный даръ... Я васъ сердечно люблю и принимаю въ васъ самое искреннее участіе. Вотъ спросите хоть у нея...

И маменька указывала на дочку. Вслѣдъ за симъ мамень-

ка пожимала руку гадальщицѣ и оставляла въ ея рукѣ или пять рублей, или цѣлковый, прибавляя:

— Возьмите, милая, — это на что-нибудь вамъ пригодится...

Барышня восклицала:

— Ахъ, помилуйте! да зачѣмъ это? да на что это? да какъ это можно?.. да вы меня пристыдить хотите!..

И въ то же время цѣловала щедрой барынѣ ручку или прикладывалась къ ея плечу...

Деньги же, получаемыя ею, употребляла впослѣдствіи на покупку кофея.

Съ недѣлю маменьки и дочки провели въ селѣ Кривухинѣ довольно мирно и тихо; но тучи незамѣтно мало-по-малу сгущались надъ ними, неизбѣжная гроза собиралась и близилась... Одна изъ барышень, которая была пополнѣе и поцвѣтнѣе другихъ, чувствовала, по словамъ ея маменьки, большую страсть къ верховой ѣздѣ и привезла съ собою дамское сѣдло и амазонское платье... Аркадій Иванычъ, можетъ быть, посматривавшій на эту полненькую барышню съ большею пріятностью, нежели на другихъ барышень, тотчасъ выбралъ ей самую смирную лошадь изъ всей конюшни и, кромѣ того, цѣлое утро самъ объѣзжалъ ее. Съ этого дня барышня въ амазонскомъ нарядѣ каждый вечеръ прокатывалась верхомъ и, разумѣется, не одна, а въ сопровожденіи Аркадія Иваныча. Такое вниманіе, оказанное амазонкѣ молодымъ гусаромъ, показалось чрезвычайно обидно всѣмъ остальнымъ барышнямъ и ихъ маменькамъ. Барышни стали обращаться съ амазонкою холодно, едва удостоивали ее вниманія и при появленіи ея шушукали между собою. Маменьки ихъ... о! маменьки выходили изъ себя и безпрестанно чѣмъ-нибудь кололи и язвили бѣдную амазонку... Маменька амазонки должна была, наконецъ, вступиться за дочку... Гроза разразилась... Начались объясненія, крики, ссоры, слезы, клеветы, сплетни... Елена Терентьевна, подстрекаемая барынями и испуганная мыслью, что сынъ ея, неравнодушный къ амазонкѣ, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ еще вздумаетъ жениться на ней, вдругъ и очень круто перемѣнила съ ней

обхожденіе. Маменька амазонки пришла отъ этого въ бѣшенство, торжественно побранилась съ Еленой Терентьевной и тотчасъ уѣхала съ своею дочкою во-свояси. Другія маменьки вскорѣ также разъѣхались, потерявъ надежду уловить гусара въ свои сѣти, — и, озлобленныя противъ него, стали распускать о немъ по цѣлой губерніи самые невыгодные слухи.

Село Кривухино опустѣло... Елена Терентьевна успокоилась, Аркадій Иванычъ выпросилъ у нея столько денегъ, сколько ему было нужно, и уѣхалъ въ полкъ очень счастливый и вполнѣ довольный собою. Впрочемъ, черезъ три дня послѣ своего пріѣзда туда, онъ проигралъ половину привезенной имъ суммы. Это его взбѣсило. На слѣдующій день онъ вознамѣрился непремѣнно отыграться и проигралъ еще. Господинъ, метавшій ему банкъ, забастовалъ и потребовалъ съ него денегъ. Такая грубость со стороны банкомета привела Аркадія Иваныча въ совершенное бѣшенство, и онъ пустилъ въ него изо всей силы шандалъ. Къ счастью, шандалъ, вмѣсто своего назначенія, попалъ въ дверь и разлетѣлся на нѣсколько частей. Банкометъ, полный благороднаго негодованія, грозился въ первыя минуты убить Аркадія Иваныча; потомъ смягчился и только хотѣлъ вызвать его на дуэль; потомъ на слѣдующій день помирился съ нимъ и, по случаю примиренія, распилъ съ нимъ вдвоемъ четыре бутылки шампанскаго, а послѣ шампанскаго два графина водки. При первомъ бокалѣ они обнимались, цѣловались и говорили другъ другу:

— Все, братецъ, забудемъ. Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ.

— Ну, что, душа моя, полно! что толковать объ этомъ! Я знаю, вѣдь ты добрякъ, у тебя чудесное сердце! Одна бѣда: ты горячка. Что съ тобой будешь дѣлать, душа моя!..

ГЛАВА IV.

Прошелъ годъ. Аркадій Иванычъ начиналъ скучать. Однообразіе губернскаго города надоѣло ему; волокитства за губернскими субретками и попойки съ товарищами уже пере-

стали удовлетворять его самолюбіо. Онъ сталъ помышлять о разгулѣ болѣе смѣломъ и широкомъ. Ему захотѣлось и въ Москву, и въ Петербургъ... На короткое время ѣхать туда не стоило, въ отпускъ на долгое время его не пустили бы, и онъ, поразмысливъ хорошенько, рѣшился выйти въ отставку. Это былъ первый ударъ, нанесенный имъ маменькѣ.

Когда Елена Терентьевна получила вовсе неожиданное ею извѣстіе объ отставкѣ сына, она поблѣднѣла, какъ полотно; голова ея закружилась; она успѣла только вскрикнуть: «спирту! спирту!» и упала на руки барышни.

— Вотъ, душенька, — говорила она барышнѣ, придя въ себя, — вотъ, думала ли я это!.. Утѣшилъ, нечего сказать, утѣшилъ маменьку!.. Прекрасный сюрпризъ сдѣлалъ мнѣ!.. Слава Богу, послужилъ, довольно!.. Безподобно кончилъ свою карьеру!.. Безподобно!.. нечего сказать... И хоть бы такъ, для приличія, спросилъ у матери совѣта!.. Впрочемъ, къ чему? вѣдь нынче дѣти не въ примѣръ умнѣе родителей... нынче родители ничего не знаютъ! стоитъ ли на нихъ обращать вниманіе?..

— Признаться, такого поступка никакъ нельзя было ожидать отъ Аркадія Иваныча, — со вздохомъ замѣтила барышня.

— Отчего же? Помилуйте! Что ему такое мать? Онъ обо мнѣ и знать не хочетъ; онъ и забылъ, что у него есть мать! Да и стоитъ ли помнить о такой бездѣлицѣ?.. А я, вы сами знаете, душенька, я вѣдь, можно сказать, всю себя принесла ему въ жертву, только единственно и жила для него!.. А какъ онъ былъ боленъ-то, вы свидѣтельница: я шесть ночей сряду глазъ не осушала, плакала, плакала, — думала, что совсѣмъ ослѣпну; не раздѣвалась, не разувалась; помните, какъ у меня ноги-то отекли! ни въ чемъ, кажется, ему не отказывала; сколько долговъ-то переплатила за него въ послѣднее время! Вотъ и дождалась благодарности за все это!.. Очень хорошо! ай-да Аркашенька, спасибо ему!.. А все этотъ старый дуракъ дядька, не умѣлъ обращаться съ нимъ, совсѣмъ не смотрѣлъ за нимъ. Ребенку дать полную власть! На что же это похоже! Будь онъ у меня на глазахъ, совсѣмъ бы другое дѣло было... Но я же не могла сама ѣхать

за нимъ въ полкъ. Вы сами согласитесь, душенька!.. Да нѣтъ, что̀ тутъ говорить? ужъ видно моя участь такая; ужъ видно мнѣ не суждено радоваться въ жизни!

— Но вѣдь если бъ Аркадій Иванычъ зналъ, — сказала барышня, — что онъ этимъ такъ огорчитъ васъ, онъ вѣрно бы не сдѣлалъ этого.

— Онъ, онъ не зналъ, что этимъ огорчитъ мать? Опомнитесь... Вы сами не понимаете, что вы говорите!.. Не зналъ? вишь какой невинный!.. Вѣрно, онъ думалъ угодить мнѣ тѣмъ, что вышелъ въ отставку бить баклуши?.. Какъ вы думаете?.. Не правда ли? Да не одинъ Аркадій Иванычъ! всѣ хоро[illegible], нечего сказать... Отъ кого я видѣла утѣшеніе или благодарность въ моей жизни, позвольте спросить?..

Послѣднія слова барышня приняла на свой счетъ.

— Ужъ вамъ грѣхъ, кажется, на меня пожаловаться, — произнесла она обиженнымъ тономъ. — Что касается до меня, я всегда, какъ могла, старалась угождать вамъ. Коли вы мною не довольны, такъ послѣ этого я ужъ и не знаю...

— Господи Боже мой, вамъ нынче сказать ничего нельзя! — перебила Елена Терентьевна, презрительно осматривая барышню съ ногъ до головы, — что вы за княгиня такая? Развѣ я говорила что-нибудь о васъ? Что вы придираетесь-то къ моимъ словамъ? . Вы видите, кажется, что я и безъ того огорчена, а вы еще тутъ съ вашими пустыми претензіями!.. Оставьте меня въ покоѣ, сдѣлайте одолженіе...

— За что жъ вы гнѣваетесь? Чѣмъ я провинилась?.. Впрочемъ, позвольте сказать, что я благороднаго отца дочь и никому не захочу быть въ тягость. Я не лакейка какая-нибудь...

Съ этими словами, бросивъ значительный взглядъ на свою благодѣтельницу, барышня вышла изъ комнаты...

— Марья Андревна! Марья Андревна!.. — закричала ей вслѣдъ благодѣтельница. — Пожалуйте сюда, сдѣлайте одолженіе...

Барышня вернулась.

— Не фыркайте, пожалуйста; я не люблю, чтобъ передо мною фыркали... Избавьте меня отъ этого.. Да, я вспомни-

ла... Вѣдь вы, кажется, гадали мнѣ объ Аркашѣ и увѣряли меня, что ему по картамъ выходили Богъ знаетъ какія почести... что-то необыкновенное? Прекрасно угадали, прекрасно! Да, онъ теперь въ отставкѣ будетъ пользоваться удивительными почестями! Вашимъ гаданьямъ, послѣ этого, признаюсь, можно вѣрить!.. Какая необыкновенная гадальщица!.. Такъ вотъ всю правду и угадала!..

Кончилось тѣмъ, что барыня совершенно поссорилась съ барышней и цѣлый день не пускала ее къ себѣ на глаза. Барышня цѣлый день проплакала въ дѣвичьей и цѣлый день сквозь слезы ругала барыню.

На слѣдующее утро Елена Терентьевна, соскучась безъ барышни, помирилась съ нею. Барышня снова вступила въ исполненіе своихъ обязанностей и вечеромъ, по просьбѣ барыни, снова гадала ей о какомъ-то королѣ...

Надо замѣтить, что, несмотря на видимое разрушеніе, Елена Терентьевна все еще не переставала мечтать о короляхъ, по старой привычкѣ. Желаніе нравиться еще не оставляло ее. Правда, дома сидѣла она въ грязномъ чепцѣ и въ грязномъ шлафрокѣ, но зато, выѣзжая въ гости, одѣвалась съ величайшею изысканностью и притомъ необыкновенно пестро и ярко: подкрашивала свои волосы, нѣсколько подрумянивала щеки, по которымъ неумолимое время провело уже не одну морщину, и даже подрисовывала себѣ брови. Все это однако не мѣшало ей очень смѣло говорить про другихъ барынь, ея пріятельницъ:

— Ахъ, Боже мой! что это такое! Да на нихъ смотрѣть гадко... На три пальца наложатъ румянъ, набѣлятся такъ, что бѣлила у нихъ съ лица сыплются, какъ мука, насурмятъ брови и воображаютъ, что помолодѣли!.. Ну, приличное ли дѣло въ наши лѣта думать о красотѣ! Кажется, ужъ наше время прошло; намъ ужъ бы не тѣмъ слѣдовало заниматься: пора бы и о душѣ подумать.

Елена Терентьевна любила при случаѣ ввернуть словцо о суетѣ міра и тому подобныхъ отвлеченныхъ предметахъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ получила извѣстіе объ отставкѣ сына. Однако, съ Аркадіемъ Иванычемъ она внутренно по-

мирилась по полученіи отъ него письма изъ Москвы, потому что это письмо нѣсколько удовлетворило ея самолюбіе. Онъ писалъ ей между прочимъ:

«Вы не огорчайтесь, любезная маменька, тѣмъ, что я вышелъ въ отставку. Будьте увѣрены, что я опять вступлю въ службу. Теперь я здѣсь нахожусь въ Москвѣ, въ нашей древней столицѣ. Славный городъ Москва бѣлокаменная, съ золотыми маковками; не даромъ Пушкинъ сказалъ про нее: «Какъ не любить нашей родной Москвы?» Мнѣ очень нравится здѣшнее хлѣбосольство. Всякiи Божій день зовутъ куда-нибудь то обѣдать, то ужинать; время рѣшительно не видишь, какъ идетъ; но лучше обѣда нѣтъ, какъ въ Англійскомъ клубѣ. Театръ здѣшній также очень хорошъ: и костюмы, и декораціи безподобны. Я познакомился со всѣми первыми домами въ Москвѣ. Меня вездѣ здѣсь ласкаютъ. Барышни здѣшнія очень милыя и образованныя всѣ безъ исключенія, и много есть богатыхъ невѣстъ; лучше изъ нихъ изъ всѣхъ княжна Берестинская. Просто настоящій ангелъ! Вообразите, за ней и на гуляньяхъ, и вездѣ ходятъ толпами, а она ни на кого и смотрѣть не хочетъ, всѣхъ считаетъ ниже себя; впрочемъ, со мной она обошлась очень любезно. Я намѣренъ чаще ѣздить въ домъ къ нимъ; и отецъ, и мать ея также со мною особенно ласковы. У отца три звѣзды, и домъ у нихъ настоящій дворецъ: вся лѣстница устлана ковромъ и уставлена цвѣтами. Пожалуйста, любезная маменька, пришлите мнѣ денегъ, потому что теперь мнѣ деньги особенно нужны. Вы сами знаете, надобно же показать себя, особенно ѣздивши въ такіе дома. Чтобъ принадлежать къ хорошему тону, здѣсь иначе нельзя ѣздить, какъ четверкой».

Елена Терентьевна тотчасъ по полученіи этого письма выслала къ Аркадію Иванычу деньги, при слѣдующихъ строкахъ:

«Денегъ я для тебя не жалѣю, любезный всегда сердцу моему другъ Аркаша. Ты пишешь, что отдашь мнѣ отчетъ въ деньгахъ: я не требовала отъ тебя отчета тогда, когда должна была требовать, мой ангелъ; а теперь, въ твои лѣта, ужъ будетъ смѣшно требовать: ты, вѣрно, не на пустяки будешь

мотать, другъ мой, а на то, что надо и необходимо; на прихоти немножко можешь также издержать; впрочемъ, ты благоразуменъ, совѣтовъ немного нужно давать тебѣ.

«Конечно, тебѣ надо показать себя передъ родителями княжны, я это понимаю и совершенно апробую. Ѣзди же только почаще къ нимъ и старайся понравиться княжнѣ, и угождай и ласкайся къ ея родителямъ. Если князь играетъ главную роль въ домѣ, то ты болѣе ласкайся къ князю и будь къ нему почтителенъ; а если княгиня, то къ княгинѣ, а лучше всего сыщи въ нихъ обоихъ; когда увидятъ, что ты хорошъ, они и обо мнѣ получатъ хорошее понятіе. Вникни во все это, ангелъ мой, и дѣйствуй осторожно и благоразумно. Также, если есть кто-нибудь посторонній, пользующійся силою въ ихъ домѣ, то ты старайся сблизиться и съ нимъ. Разузнай обо всемъ объ этомъ хорошенько. Благословляю тебя, мое сокровище, и желаю тебѣ полнаго успѣха. У меня только ты одинъ на свѣтѣ, одно счастіе мое; чувства мои нераздѣлены ни съ кѣмъ, а въ тебѣ, мой ангелъ, въ одномъ. Я денно и нощно молюсь за тебя, мой другъ. Если ты составишь такую партію, то этимъ меня вполнѣ утѣшишь и вознаградишь за всѣ тѣ заботы и попеченія, которыя я имѣла о тебѣ въ дѣтствѣ твоемъ. Не скрою, я таки посердилась на тебя за то, что ты вышелъ въ отставку безъ моего совѣта, но теперь ты можешь поправить все дѣло, женившись на княжнѣ. Войдя въ родственныя связи съ такимъ знатнымъ семействомъ, ты и мнѣ сдѣлаешь честь, да и свою карьеру устроишь легко. Ужъ, конечно, князь и княгиня тотчасъ выведутъ въ люди своего зятя, и имъ ничего не будетъ стоить. Увѣдомляй меня обо всемъ подробно. Цѣлую тебя, моего ангела, и еще разъ благословляю...

«Безъ тебя мнѣ все становится скучнѣе, другъ мой, - не могу никакъ привыкнуть къ разлукѣ; я никакъ не предполагала, что жить розно съ тобою все равно, что лечь живой въ могилу... для меня это такъ легко! Марья Андреевна тебѣ кланяется, и всѣ люди цѣлуютъ тебѣ ручки. Когда я получаю твои письма, то они бѣгутъ ко мнѣ, -- привязанность ихъ къ тебѣ меня очень утѣшаетъ».

Аркадій Иванычъ смекнулъ, какимъ образомъ надо дѣйствовать на маменьку — и не ошибся. Доказательства тому были передъ нимъ.

«Ай-да княжна! — подумалъ онъ, пересчитывая полученныя отъ маменьки деньги, — спасибо ей. Безъ нея, признаться, я былъ бы въ критическихъ обстоятельствахъ... Мы теперь не упустимъ случая пользоваться ею!..»

Княжна, разумѣется, не имѣла ни малѣйшаго понятія о моемъ героѣ, да и герой мой видѣлъ ее, признаться, только два раза мелькомъ на Тверскомъ бульварѣ, а между тѣмъ вся *** губернія толковала уже объ его бракѣ съ княжною, потому что Елена Терентьевна, тотчасъ по полученіи отъ сына письма, отправилась въ гости къ тремъ или къ четыремъ своимъ закадычнымъ пріятельницамъ - сосѣдкамъ.

- Вообразите, милая, мою радость, — шептала она каждой пріятельницѣ поочереди, съ таинственнымъ видомъ, — только нѣтъ, я боюсь еще говорить объ этомъ...

Что, что такое? — вскрикивала каждая изъ пріятельницъ, сгорая любопытствомъ.

- Это большой секретъ. .

Ужъ вы меня, кажется, знаете довольно, — возражала каждая изъ пріятельницъ, — я переносить терпѣть не могу .. Ужъ то, что вы мнѣ откроете, повѣрьте, никто не узнаетъ: это умретъ во мнѣ...

Ради Бога, я васъ прошу объ этомъ, я только вамъ одной и скажу это, потому что въ васъ увѣрена. Вообразите. да нѣтъ, мнѣ кажется, я нехорошо дѣлаю, что открываю это до времени...

Какъ вамъ не стыдно! Ужъ вамъ грѣхъ не имѣть ко мнѣ довѣренности. Я всѣмъ, чѣмъ хотите, поклянусь, что никому не заикнусь объ этомъ... У меня, душечка, языкъ не поворотится разсказывать чужія тайны... я не то, что какая-нибудь Авдотья Васильевна... Вы, ради Христа, не вздумайте сказать ей, а то вѣдь она сейчасъ разблаговѣститъ...

- Сохрани Боже!.. Ну, такъ вообразите... мой Аркаша... только Бога ради никому объ этомъ ни слова... мой Аркаша, кажется, женится — и какую партію дѣлаетъ!.. Вообра-

зите, княжна Берестинская!.. страшная богачка!.. какія связи!.. Этимъ бракомъ онъ, просто, со всею знатью породнится. И дѣло почти слажено; только ея родители послали въ Петербургъ эштафетъ, испросить согласія на этотъ бракъ у одного министра, который, видите ли, приходится княжнѣ дѣдушкой... Они, понимаете, безъ него ничего важнаго не предпринимаютъ: онъ у нихъ главный членъ въ семействѣ. Это очень натурально, что безъ согласія такого лица и обойтись невозможно...

И между тѣмъ, какъ вся губернія ахала отъ этой новости, Аркадій Александрычъ совершенно забылъ о существованіи княжны, которая случайно взбрела ему въ голову, когда онъ писалъ письмо маменькѣ, и именемъ которой воспользовался впослѣдствіи, какъ вѣрнымъ средствомъ для добыванія себѣ денегъ. Аркадію Иванычу и нѣкогда, и незачѣмъ было думать о княжнѣ, потому что всѣ мысли его были обращены... но прежде, нежели я скажу, на кого были обращены его мысли, да позволитъ мнѣ благосклонный читатель обратиться назадъ.

Аркадій Иванычъ, пріѣхавъ въ Москву, остановился въ самомъ лучшемъ трактирѣ и тотчасъ послалъ за самымъ моднымъ московскимъ портнымъ. Черезъ два дня, по милости этого моднаго портного, Аркадія Иваныча невозможно было узнать. Портной одѣлъ его совершенно по *послѣдней картинкѣ*... Въ пестромъ галстукѣ съ огромнымъ бантомъ, заашпиленномъ брильянтовою булавкою; въ пестромъ жилетѣ, на которомъ болталась толстая золотая цѣпочка; въ пестрыхъ панталонахъ со складками; въ сюртукѣ съ округленными фалдами; въ какой-то фантастической фуражкѣ съ предлинною кистью на макушкѣ; съ толстой палкой въ рукѣ, украшенной вычурнымъ набалдашникомъ — Аркадій Иванычъ, подобно всѣмъ московскимъ франтамъ средней руки, невольно бросался въ глаза... Съ усами онъ, разумѣется, не разстался, «потому что, — говорилъ онъ, — по-моему, усы есть лучшее украшеніе человѣка; только съ ними съ проклятыми возни много».

Разодѣвшись такимъ образомъ, Аркадій Иванычъ, при-

свистывая и крутя усы, явился первый разъ у *Копа* за общимъ столомъ и обратилъ на себя вниманіе всѣхъ посѣтителей. Выкушавъ рюмку водки, онъ значительно посмотрѣлъ на опорожненную рюмку и обратился къ лакею.

— Это что́ такое, братецъ? — спросилъ онъ, указывая на рюмку.

— Рюмка-съ, сами изволите видѣть, — отвѣчалъ лакей.

— Такъ это по-вашему называется рюмкою?.. а по-нашему такъ это просто, братецъ, наперсточекъ...

И, произнеся это, Аркадій Иванычъ обвелъ самодовольнымъ взоромъ собраніе, захохоталъ во все горло и потомъ уже усѣлся за столъ. Выкушавъ тарелку супа, онъ снова обратился къ лакею:

— Шампанскаго! Слышишь?

— Слушаю-съ.

Лакей хотѣлъ было итти.

— Ну, куда же ты идешь, дуракъ? Постой... Подай бутылку шампанскаго, самаго лучшаго, какое только у васъ есть... Понимаешь? Самаго лучшаго...

— Понимаю-съ.

Лакей снова хотѣлъ итти.

— Да нѣтъ, постой, братецъ, лучше бутылку-то прежде поверти во льду, — понимаешь? этакъ хорошенько поверти, а потомъ ужъ принеси ее сюда... Да у меня смотри живо, поворачивайся!

— Сію минуту-съ...

Лакей побѣжалъ.

— Постой, постой! — закричалъ вслѣдъ ему Аркадій Иванычъ, — воротись... Подай лучше мнѣ прейсъ-курантъ... На васъ, на ословъ, положись только, вы чортъ знаетъ какой бурды принесете... я самъ лучше выберу...

И Аркадій Иванычъ съ глубокомысліемъ началъ разсматривать прейсъ-курантъ. Послѣ этого онъ снова обратился къ лакею:

— Эй ты, поди сюда!.. куда жъ ты ушелъ, братецъ? Вели поставить въ ледъ вотъ этого вина... «креману»... видишь ли, вотъ тутъ напечатано (Аркадій Иванычъ тыкалъ

прейсъ-курантъ пальцемъ). Понимаешь, «кремаву»? по пятнадцати рублей бутылка... Да не ошибись, смотри... Ну, пошелъ же, живо!.. Слышишь, того, которое по пятнадцати рублей бутылка.

Когда пятнадцатирублевая бутылка была принесена, Аркадій Иванычъ самъ раскупорилъ ее, значительно посмотрѣлъ на пробку, налилъ себѣ бокалъ, отпилъ немного, задумался, прошепталъ себѣ подъ-носъ: «да, это винцо доброе!» и закричалъ лакею:

— Что жъ ты стоишь разиня ротъ? подавай, болванъ, еще бокаловъ.

Лакей явился съ бокалами. Аркадій Иванычъ налилъ другой бокалъ и обратился къ своему сосѣду:

— Милостивый государь, не угодно ли вамъ? Сдѣлайте одолженіе.

Сосѣдъ не отказался. Ободренный этимъ, Аркадій Иванычъ началъ потчевать всѣхъ присутствовавшихъ безъ изъятія, приговаривая:

— Пожалуйста, безъ церемоніи...

Только одинъ изъ всѣхъ, старичокъ важной наружности, съ юношескимъ восторгомъ во все время обѣда разговаривавшій на французскомъ языкѣ объ удивительныхъ ножкахъ какой-то актрисы, — когда дошла очередь до него, посмотрѣлъ на Аркадія Иваныча очень пристально, улыбнулся едва замѣтно и на восклицаніе моего героя: «позвольте васъ попотчевать», молча отблагодарилъ его легкимъ наклоненіемъ головы.

— Пожалуйста, безъ церемоніи, — произнесъ Аркадій Иванычъ, указывая на бокалъ.

— Я не пью вина, покорно васъ благодарю, — сказалъ старичокъ выразительно и, отвернувшись отъ моего героя, продолжалъ свой разсказъ.

— Какъ угодно! — замѣтилъ Аркадій Иванычъ, нѣсколько обиженный. — Что жъ такое? — продолжалъ онъ вполголоса, обернувшись къ своему сосѣду. — Тѣмъ лучше; намъ же лишній бокалъ останется. Церемонныхъ людей я, признаюсь вамъ, терпѣть не могу... Да это и невѣжество отказываться,

сами вы согласитесь... Не пьетъ вина! Что жъ, онъ воду пьетъ, что ли? Да вѣдь если бы онъ мнѣ предложилъ стаканъ воды, я хоть воды и въ ротъ не беру, да изъ учтивости ужъ не отказался бы. . не правда ли?

Слово за слово, къ концу обѣда Аркадій Иванычъ совершенно сошелся съ своимъ сосѣдомъ и еще съ двумя какими-то франтами. Тѣ, разумѣется, въ свою очередь начали потчивать его шампанскимъ. Послѣ обѣда къ нимъ присоединились еще нѣсколько весельчаковъ, которые, въ свою очередь, потребовали шампанскаго. Такимъ образомъ они пропировали до полуночи, а въ полночь съ шумомъ и съ пѣснями неизвѣстно куда отправились изъ трактира цѣлой гурьбой.

Съ этого дня кругъ знакомства Аркадія Иваныча постепенно все увеличивался, и имя его скоро сдѣлалось громкимъ и славнымъ между записными и отчаянными московскими кутилами. Новые друзья его раздѣлялись на двѣ партіи: на *театраловъ* и на *цыганистовъ*. Эти партіи искони враждуютъ между собою. Театралы смотрятъ съ презрѣніемъ на цыганистовъ; цыганисты смотрятъ съ презрѣніемъ на театраловъ, потому что убѣжденія и вѣрованія тѣхъ и другихъ непоколебимы и несокрушимы. Впрочемъ, цыганисты, надо отдать имъ справедливость, отличаются бóльшею настойчивостью и твердостью характера: ни одинъ изъ нихъ рѣшительно никогда не заглядываетъ въ балетъ, тогда какъ нѣкоторые изъ театраловъ, тайкомъ отъ своихъ, появляются по ночамъ у цыганъ и проводятъ тамъ время съ большою пріятностью!

— Что вашъ балетъ? — говорилъ цыганистъ театралу, — дрянь! не стоитъ и времени-то терять на ваши волокитства. А это, смотрите, это вѣдь, чортъ возьми, поэзія! На это не жаль тратить денегъ. Глядя на это, такъ вотъ невольно всѣ косточки пошевеливаются.

И полупьяный поклонникъ цыганъ, въ подтвержденіе словъ своихъ, пускался въ присядку вслѣдъ за Ильюшкой, потомъ обнималъ, цѣловалъ его и кричалъ:

— Съ вами и умереть не захочется. Вѣкъ бы съ вами

не разстался. Эй, шампанскаго! Ахъ, Ильюшка! то-есть ей Богу оболью тебя съ головы до ногъ шампанскимъ!

Вслѣдъ за тѣмъ онъ обращался съ нѣжнымъ взглядомъ къ Танюшѣ или къ Грушѣ, бралъ гитару и, пощипывая струны, затягивалъ хриплымъ голосомъ:

Ты не повѣришь, ты не повѣришь,
Какъ ты мила!

Цыгане принимались «величать» расходившагося барина, а баринъ, совершенно довольный и счастливый, осыпалъ цыганъ бѣленькими, синенькими и красненькими и кричалъ:

— Ловите, братцы, ловите! все отдамъ; ничего себѣ не оставлю! Вотъ и всѣ карманы опустошилъ, смотрите!

И баринъ выворачивалъ карманы своего сюртука.

— Для васъ ничего не жаль. Вы мнѣ дороже отца и матери!

Цыгане подбирали деньги и затягивали хоромъ:

Наша доля не богата,
Но веселье лучше злата..
Бѣдны, да поемъ!..

— Именно такъ, веселье лучше злата! — восклицалъ расходившійся баринъ, принимаясь уже пить прямо изъ бутылки.

Театралы непремѣнно хотѣли завербовать Аркадія Иваныча въ свою шайку и представляли ему въ самомъ соблазнительномъ видѣ свои театральныя похожденія; цыганисты ни за что не хотѣли уступить его театраламъ и яркими красками описывали ему свои разгульныя ночи.

— Онъ нашъ! — кричали театралы.

— Вздоръ, онъ будетъ нашъ! — перебивали цыганисты.

Аркадій Иванычъ долго въ нерѣшимости колебался между тѣми и другими; наконецъ, театралы одержали верхъ. Онъ торжественно присоединился къ театраламъ — и явился въ ихъ ложѣ съ огромной зрительной трубой.

— Ну, что же, господа, — сказалъ онъ своимъ новымъ

товарищамъ, смотря въ трубу на прыгавшихъ фигурантокъ, — рѣшите, за которой же изъ нихъ мнѣ волочиться? Которая же изъ нихъ, этакъ, свободна?

Одинъ изъ театраловъ указалъ ему на четырехъ совершенно свободныхъ, говоря:

— Вотъ, братецъ, выбирай любую изъ нихъ. Вѣдь всѣ прехорошенькія, просто, какъ на подборъ. Но, если правду тебѣ сказать, Даша Хрипунова, по-моему, всѣхъ ихъ за поясъ заткнетъ. Это такая мареуточка, что я тебѣ скажу! Не будь у меня Наташи, я бы непремѣнно волочился за Дашей.

Аркадій Иванычъ навелъ трубку на Дашу, долго и внимательно разсматривалъ ее и остался вполнѣ ею доволенъ. Съ этой минуты Даша Хрипунова сдѣлалась главною цѣлью всѣхъ его помышленій и мечтаній. Онъ абонировалъ себѣ кресла, не пропускалъ ни одного балета и во время представленія являлся попеременно то въ своихъ креслахъ, то въ общей ложѣ театраловъ, смотря по надобности. Дѣла его шли превосходно. Даша всякій разъ, выскакивая изъ-за кулисъ на сцену, дѣлала ему глазки и выразительно улыбалась... Самолюбіе Аркадія Иваныча блаженствовало. «Она въ меня страстно влюблена», думалъ онъ и посылалъ ей подарокъ за подаркомъ.

Скоро Даша Хрипунова, разряженная въ пухъ, начала прокатываться въ великолѣпныхъ каретахъ и колясках. Очень часто Аркадій Иванычъ выѣзжалъ вмѣстѣ съ нею и, завидя на улицѣ знакомаго, нарочно высовывался изъ кареты или изъ коляски, чтобъ дать себя замѣтить, посылалъ знакомому дружескій поцѣлуй и подмигивалъ ему, указывая головой на Дашу.

— Что это за дѣвочка! — говорилъ онъ про нее всякому встрѣчному, — то-есть такой дѣвочки во всей бѣлокаменной Москвѣ не отыщешь другой. Клянусь честью, въ ней и чувство, братецъ... и все, что хочешь... а ноги такой. . да я бьюсь объ закладъ, что другой такой маленькой ножки не найти на тысячу верстъ въ окружности. Клянусь честью! Вотъ смотри, коли не вѣришь...

И Аркадій Иванычъ вынималъ изъ кармана башмакъ,

который у него былъ всегда въ запасѣ, для того, чтобъ хвастать имъ передъ своими пріятелями.

— А! что? каковъ башмачокъ-то?.. Да пріѣзжай, душа моя, ко мнѣ... У меня по середамъ собирается много народа. Перекинемъ въ штосикъ, пожалуй.. Она всегда разливаетъ чай... Вотъ ты увидишь, что это за канашка!.. Кладъ, братецъ, нашелъ, просто кладъ! Я тебя съ ней познакомлю... Зато сколько я посадилъ въ нее, братецъ,—страхъ подумать... ну, да нельзя же!..

Знакомые Аркадія Ивановича совершенно соглашались съ тѣмъ, что *нельзя же*, и отзывались о немъ вообще съ величайшими похвалами.

— Нечего сказать,—разсуждали они о немъ между собою,—умѣетъ пользоваться жизнью. Надо отдать ему эту честь. Настоящій баринъ: и пообѣдать любитъ хорошо, и попить; ну, къ тому же, и премиленькую танцовщицу содержитъ, ничего для нея не жалѣетъ, словомъ, все какъ слѣдуетъ. ни въ чемъ его упрекнуть нельзя... Мастеръ показать себя!..

Такъ прожилъ Аркадій Иванычъ въ Москвѣ болѣе полутора года. Онъ продолжалъ увѣрять свою добродушную маменьку, что постоянно и съ успѣхомъ ухаживаетъ за княжной Бересгинской; что княжна неравнодушна къ нему; что онъ уже у нихъ въ домѣ совершенно какъ родной и что князь обѣщалъ ему выхлопотать и то, и другое, и третье, а восхищенная Елена Терентьевна писала къ нему:

«Какъ нѣжная мать и другъ благодарю тебя за любовь твою ко мнѣ. Когда же ты, другъ мой, обрадуешь меня извѣстіемъ, что все кончено, и напишешь мнѣ о твоей помолвкѣ? Мнѣ кажется, что я съ ума сойду отъ радости при этомъ извѣстіи; увѣдомь меня, между прочимъ, какіе у княжны волосы и какого цвѣта глаза у нея, а также какого она роста. Пуще всего береги свое драгоцѣнное здоровье. Я молюсь за тебя, мой ангелъ, ежечасно и благодарю моего Создателя за то, что имѣю такого сына. А деньги, по твоей просьбѣ, высылаю...»

Но, несмотря на щедрость маменьки, Аркадій Иванычъ долженъ былъ безпрестанно прибѣгать къ займамъ, потому что прихоти Даши Хрипуновой день-ото-дня умножались. Къ тому же, между театралами существуетъ своего рода благородное соперничество. Они стараются блеснуть одинъ передъ другимъ своими возлюбленными и для этого разукрашаютъ ихъ наперерывъ. Разумѣется, эти Даши и Наташи умѣютъ очень искусно подстрекать самолюбія своихъ любовниковъ.

Если Даша видѣла, напримѣръ, на Наташѣ новую дорогую шаль, она скучала, едва удостоивала вниманія Аркадія Иваныча, а иногда даже плакала.

Аркадій Иванычъ приходилъ отъ этого въ безпокойство и спрашивалъ ее:

- Что съ тобою, Даша? отчего ты такая скучная?

-- Отчего? такъ, ни отчего!

— Да что такое? скажи...

- Отвяжитесь!

— Вѣрно тебѣ чего-нибудь хочется?

— Еще бы не хотѣлось! Я ничѣмъ не хуже какой-нибудь Натальи Васильевны, а посмотри, какъ всегда она одѣта!.. Мнѣ даже стыдно передъ ней.

Что такое? какимъ образомъ?—вскрикивалъ Аркадій Иванычъ.— Чтобъ ты была одѣта хуже Наташи?

Посмотри, *ея-то* какую ей подарилъ шаль: прелесть! тысячи двѣ стоитъ. Вотъ ужъ онъ ее любитъ, такъ можно сказать, что любитъ.

-- Только въ этомъ-то дѣло? Ахъ, ты, дурочка! Такъ вздоръ! я же тебѣ докажу, что я тебя больше люблю. Я не потерплю, чтобъ на комъ-нибудь было что-нибудь лучше твоего... Сегодня же у тебя будетъ точно такая же шаль, какъ у Наташи, еще лучше...

И, если у Аркадія Иваныча не было денегъ, онъ занималъ, платилъ шестьдесятъ процентовъ на сто и вечеромъ являлся къ Дашѣ съ шалью.

Часто театралы перебивали дорогія вещи другъ у друга для своихъ возлюбленныхъ. Если Паша говорила на репетиціи Дашѣ:

— Знаешь ли, *мой* обѣщалъ мнѣ купить такой браслетъ, что чудо! Я вчера только увидѣла этотъ браслетъ у брильянтщика... прелесть!.. большой опалъ и весь кругомъ осыпанъ брильянтиками. Мнѣ такъ хочется этого браслета!..

— А у какого это брильянтщика? — спрашивала Даша совершенно хладнокровно.

Простодушная Паша называла Дашѣ имя брильянтщика; и, черезъ два часа послѣ этого, браслетъ съ опаломъ красовался уже на рукѣ Даши.

Даша торжествовала; Паша приходила въ бѣшенство, а Аркадій Иванычъ говорилъ ея возлюбленному, показывая на браслетъ:

— Что, братецъ, вещичка-то славная! А мы ее у тебя перебили. Прозѣвалъ, голубчикъ, прозѣвалъ!..

Аркадію Иванычу день-ото-дня все болѣе и болѣе нравилась московская распашная и широко-разгульная жизнь; и онъ часто тихонько отъ своей Даши (потому что Даша самовластно управляла имъ) проводилъ у цыганъ цѣлыя ночи. О Петербургѣ онъ перестал думать и даже, подобно нѣкоторымъ кореннымъ москвичамъ, отзывался о немъ немного съ предубѣжденіемъ.

— Что̀ Петербургъ? — говорилъ онъ. — Богъ съ нимъ! Тамъ нашему брату нечего дѣлать. Тамъ, говорятъ, все больше по паркетамъ прохаживаются да на свѣтскости выѣзжаютъ... *Перметe муа де ву презанте*, да *же лонеръ!* Тамъ вѣдь все этакіе дипломаты! Съ ними не сваришь каши. То ли дѣло наша Москва бѣлокаменная!..

Между тѣмъ какъ Аркадій Иванычъ предавался московскому разгулу съ полнымъ увлеченіемъ, долги его все росли невидимо, а сроки платежей наступали, и никогда подремлющіе кредиторы являлись передъ нимъ грозно съ его просроченными векселями. Тогда Аркадій Иванычъ бросался къ своимъ пріятелямъ.

— Выручите, братцы! — говорилъ онъ имъ, — эти анаѳемы не даютъ мнѣ покоя...

— А намъ-то что̀ дѣлать? — возражали пріятели. — Мы сами въ долгу, какъ въ шелку; намъ самимъ надо какъ-нибудь

вывернуться. Вѣдь ты знаешь, что своя рубашка къ тѣлу ближе!

— Что правда, то правда! — И Аркадій Иванычъ отправлялся къ своимъ кредиторамъ съ надеждою умолить ихъ объ отсрочкѣ. И онъ убѣждалъ, упрашивалъ, умолялъ ихъ и въ то же время хвасталъ, лгалъ передъ ними ужасно; клялся и божился, что болѣе не будетъ просить объ отсрочкѣ; что ужъ это въ послѣдній разъ; что онъ скоро вступитъ во владѣніе своимъ несмѣтнымъ имѣніемъ и тогда, пожалуй, самъ будетъ давать имъ взаймы деньги, и прочее.

— Ну, что, почтеннѣйшій, — говорилъ онъ, между прочимъ, одному изъ своихъ кредиторовъ, извѣстному процентщику, который торговалъ шалями и имѣлъ ужасно горбатый и большой носъ, черные вытаращенные глаза и длинную черную бороду. — Смягчите-ка свое сердце, ей Богу! Вѣдь я, видите, малый добрый: ужъ насчетъ процентовъ, сами вы знаете, никогда ни полслова! Какіе хотите, такіе и берете. Ну, что вамъ стоитъ отсрочить еще на годъ? Вамъ же выгоднѣе. Да къ тому же, вѣдь мы, можно сказать, свои люди. Вѣдь у меня маменька, такъ же какъ и вы, азіатскаго происхожденія, одной съ вами націи.

(Аркадій Иванычъ лгалъ, потому что маменька его была чисто-русская).

Мрачный и неподвижный азіатецъ лѣниво приподнялъ голову и взглянулъ на Аркадія Иваныча.

— А какая она такая была по фамиліи?.. — спросилъ онъ съ признакомъ нѣкотораго любопытства

Аркадій Иванычъ заикнулся было и потомъ вдругъ произнесъ скороговоркою:

— Урожденная княжна Мухраханова.

— Этакой фамиліи я не знаю, — сказалъ армянинъ и снова погрузился въ совершенную апатію.

— Ну, такъ по рукамъ, любезнѣйшій Нерсесъ Іоанессычъ? — возразилъ Аркадій Иванычъ, схватя за руку армянина. — Не правда ли? вы отсрочиваете на годъ?

Армянинъ хладнокровно вырвалъ свою руку изъ руки Аркадія Иваныча и покачалъ отрицательно головою.

— Не упрямьтесь, Нерсесъ Іоанесеычъ, я васъ угощу такимъ пилавомъ, что вы, просто, всѣ пальчики оближете. Мой крѣпостной поваръ жилъ нѣсколько лѣтъ въ Тифлисѣ и тамъ, каналья, навострился чудесно дѣлать пилавъ! (Аркадій Иванычъ прихвастнулъ. У него не было въ Москвѣ крѣпостного повара).

При словѣ *пилавъ* глаза армянина сверкнули на мгновеніе, потомъ лицо его снова приняло неподвижное выраженіе.

-- У меня дома лучше пилавъ, - замѣтилъ онъ рѣшительно.

-- Съ вами никакъ не сговоришь... Ну, послушайте: хотите, я припишу къ векселю, кромѣ тѣхъ процентовъ, что вы съ меня взяли, еще десять процентовъ за годъ?

При словѣ *проценты*, лицо армянина вдругъ совершенно одушевилось.

Десять процентовъ мало!

Ненасытная душа! ну, сколько же вамъ?

- Двадцать пять.

- Ну, такъ и быть! — вскрикнулъ Аркадій Иванычъ, махнувъ рукою..

- Хорошо, — произнесъ армянинъ и въ этотъ разъ самъ протянулъ свою обросшую волосами руку Аркадію Иванычу и даже пожалъ его руку...

Дѣло было кончено. Такимъ способомъ Аркадій Иванычъ соглашалъ и другихъ своихъ кредиторовъ на отсрочку, и даже у нѣкоторыхъ изъ нихъ, вѣроятно болѣе снисходительныхъ, занималъ еще денегъ, но ужъ просто за неслыханные проценты.

Несмотря на все это, Аркадій Иванычъ не унывалъ. Занявъ вновь деньги, онъ покупалъ для Даши какую-нибудь вещь, стоившую полцѣны занятой имъ суммы, или такъ, ни съ того, ни съ сего, давалъ обѣдъ своимъ пріятелямъ, на которомъ являлись самыя дорогія и рѣдкія блюда и шампанское лилось уже не въ бокалы, а на скатерть и на полъ. На другой день послѣ такого обѣда Аркадій Иванычъ оставался безъ гроша денегъ, но зато съ чувствомъ гордости

и безконечнаго самодовольствія кричалъ по цѣлой Москвѣ:

— У меня за обѣдомъ вчера было выпито пять ящиковъ шампанскаго!.. Мы, батюшка, полы моемъ шампанскимъ!..

Одно только обстоятельство нѣсколько потревожило моего героя. На два послѣднія письма къ маменькѣ, въ которыхъ, по обыкновенію, рѣчь шла о высылкѣ денегъ, онъ долго не получалъ никакого отвѣта. Наконецъ письмо отъ нея было получено, но безъ денегъ.

Маменька писала Аркадію Иванычу:

«Любезный сынъ!

«Я не отвѣчала тебѣ такъ долго, потому что была очень слаба и не могла писать послѣ болѣзни, которую я насилу перенесла, и теперь еще едва ноги таскаю: думала, что Господь приберетъ меня къ себѣ, да нѣтъ, видно Ему угодно, чтобъ я еще влачила на землѣ свое несчастное существованіе, — пусть будетъ Его святая воля! покорюсь ей безъ ропота, хотя жизнь моя, кажется, ни для кого и ни для чего не нужна, и я живу и себѣ и другимъ только въ тягость. Одинъ Богъ видитъ, какъ мнѣ тяжело и скучно; одна мысль только и утѣшаетъ меня въ моемъ горѣ и одиночествѣ, что я исполнила весь долгъ въ отношеніи къ тебѣ и всегда все дѣлала и дѣлаю, кажется, такъ, чтобъ не осталось чего на душѣ. За претерпѣнные мною въ жизни перевороты, Аркадій Иванычъ, я имѣла бы право на лучшую участь. О, зачѣмъ я, несчастная, пережила твоего голубчика-папеньку! Лучше бы мнѣ умереть, оттого что папенька былъ бы для тебя полезнѣе меня. Дѣло твое съ княжною, видно, не ладится; вѣрно, ты въ ней не успѣлъ; у насъ здѣсь болтаютъ даже, будто бы княжна помолвлена за какого-то графа и что, будто, объ этомъ вся Москва уже знаетъ; надо думать, впрочемъ, что это сплетни. Вѣдь въ провинціи то-и-дѣло, что сплетничествомъ занимаются; нечего другого дѣлать-то! Напиши мнѣ все, какъ есть, какія теперь твои отношенія къ княжнѣ и къ ея родителямъ; не обольщай меня пустою надеждою и,

главное, не обманывай меня; будь со мною откровененъ такъ, какъ я съ тобою. Если съ княжной у васъ все кончено, въ чемъ, кажется, нѣтъ сомнѣнія, то тебѣ надо подумать, не шутя, о службѣ, а въ отставкѣ съ этихъ лѣтъ оставаться стыдно. Извини, что я тебѣ такъ говорю прямо и чистосердечно. Коли самъ не чувствуешь необходимости служить, такъ ты, мнѣ кажется, долженъ сдѣлать это для меня. Принеси же хоть какую-нибудь жертву матери, которая не щадила для тебя ничего; хоть чѣмъ-нибудь утѣшь ее на старости лѣтъ! Я думала всегда, что ты меня собою возвысишь; Богъ знаетъ, будетъ ли это! Ты все пишешь о деньгахъ ко мнѣ. Кажется, ты бы долженъ размыслить, что у меня нѣтъ золотыхъ рудниковъ, и я безъ того высылала тебѣ больше, чѣмъ могла, а теперь у меня и у самой нѣтъ денегъ и взять не откуда. Хлѣбъ за прошлый годъ еще не проданъ, и когда продамъ, тогда вышлю. Если дѣла твои въ Москвѣ не клеятся, то лучше бы ты на время пріѣхалъ ко мнѣ: обо всемъ бы лично переговорили. Увѣрена, что ты, размысливъ хорошенько, не захочешь потерять свою карьеру и нанести мнѣ ударъ; но я не могу смотрѣть на тебя во всякомъ случаѣ въ черное стекло. Сердце родительское такъ слабо, Аркаша, къ дѣтямъ, что оно, по предубѣжденію, можетъ видѣть въ нихъ скорѣй незаслуженную лучшую сторону, нежели дурную, и я столько имѣю собственной гордости, что ежели бы и хотѣла, то не могла бы смотрѣть на то, что произвела, въ черное стекло, а если бы и были между нами какія-нибудь неудовольствія, то въ нихъ было бы не что другое, какъ неограниченное желаніе матери улучшить будущность сына, а отнюдь не предубѣжденіе. Итакъ, прежде всего призвавъ на помощь Того, Который блюдетъ всѣ наши дѣла и помышленія, посылаю тебѣ мое материнское благословеніе, которое да наставитъ тебя на добрыя дѣла и мысли.

«P. S. Ты вѣрно помнишь Пелагею Максимовну Трухину? Она прекрасная и преблагородная женщина; прошу тебя, съѣзди къ ней самъ (адресъ прилагаю), поблагодари ее отъ меня за исполненіе моихъ коммиссій и скажи ей, что я ей

выберу самую лучшую изо всей деревни дѣвочку и пришлю ей въ подарокъ по первому пути».

Тонъ этого письма сухой и отчасти колкій, отсутствіе въ немъ нѣжныхъ прозвищъ *дружочекъ*, *ангелъ мой*, *сокровище мое* и другихъ, а главное, отказъ въ присылкѣ денегъ, — все это явно показало Аркадію Иванычу, что маменька гнѣвается на него, что до нея, можетъ быть, дошли какимъ-нибудь образомъ темные слухи объ его образѣ жизни въ Москвѣ и о прочемъ, касательно княжны. Фразы въ письмѣ: *не обманывай меня, не обольщай меня пустою надеждою, если съ княжной у васъ все кончено, въ чемъ, кажется, нѣтъ сомнѣнія*, и жалобы на болѣзнь, были также очень подозрительны. Къ тому же, княжна, въ самомъ дѣлѣ, выходила замужъ за какого-то петербургскаго графа. Объ этомъ кричала вся Москва.

«Ужъ не проклятая ли эта шлюха Пелагея Максимовна? А она у меня совсѣмъ изъ головы вонъ! — подумалъ Аркадій Иванычъ, бросивъ съ досадою на столъ письмо маменьки. — Ужъ я же отдѣлаю ее! Я это ей такъ не пропущу!»

Ложь Аркадія Иваныча точно открылась. Елена Терентьевна узнала все. и вотъ какимъ образомъ.

Когда она распустила по губерніи слухи о женитьбѣ своего сына на богатой московской княжнѣ, всѣ барыни обомлѣли сначала при этомъ извѣстіи и долго не могли придти въ себя. Елена Терентьевна сдѣлалась для нихъ предметомъ невыразимой зависти. За глаза онѣ отзывались о ней хуже, чѣмъ когда-нибудь, но въ глаза льстили ей болѣе обыкновеннаго. Такъ прошелъ годъ. По прошествіи этого времени барыни какъ-то вдругъ спохватились и закричали въ одинъ голосъ.

А что, вѣдь Алена-то Терентьевна прихвастнула намъ о своемъ сынишкѣ! И въ самомъ дѣлѣ! А мы сдуру-то и повѣрили ей, какъ будто не знали, что этакой хвастуньи поискать! Да и гдѣ, помилуйте... отдадутъ за него княжну! Стоитъ ли онъ этого? Ахъ, Боже мой! съ княгиней хотѣла породниться! въ знать вздумала попасть! Она—въ знать! Да кто она такая? да что она такое?

И какъ будто нарочно, въ это самое время, одна изъ барынь получила письмо изъ Москвы отъ своей пріятельницы, въ которомъ пріятельница, сообщая ей различныя московскія новости, между прочимъ упоминала и о томъ, что княжна Берестинская выходитъ замужъ за графа. Письмо это немедля было пущено въ ходъ въ губернскомъ городѣ. Барыни были въ восторгѣ... Съ этого письма списывались копіи и разсылались по всѣмъ уѣздамъ. Надъ головой Елены Терентьевны шпильки, колкости и насмѣшки разразились внезапно. Можно представить себѣ, до какого отчаянія доведена была Елена Терентьевна!..

— Вотъ дѣти! — кричала она, — вотъ что они такое!.. Холишь ихъ, лелѣешь, ждешь отъ нихъ благодарности, утѣшенія, да и дождешься до того, что они преждевременно въ могилу сведутъ своими поступками!.. Несчастная я, несчастная!.. За что же Богъ-то наказываетъ меня такъ, скажите? Безсовѣстный Аркадій Иванычъ! обманывать мать! родную мать!.. да еще какую мать, которая души въ немъ не слышала!..—И Елена Терентьевна рвалась и металась и бросала въ огонь письма Аркадія Иваныча. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней никто въ домѣ не могъ угодить на нее—ни барышня, ни лакеи, ни дѣвки; но въ особенности страдали бѣдныя дѣвки; двѣ или три изъ нихъ ходили даже съ подвязанными щеками, ссылаясь на зубную боль...

Въ первыя минуты гнѣва она было написала къ сыну громовое посланіе; но на другой день, одумавшись, разорвала его и прежде рѣшилась развѣдать хорошенько стороною обо всѣхъ его московскихъ похожденіяхъ. Но черезъ кого? Елена Терентьевна думала, думала — и наконецъ придумала. Она вспомнила о своей старой знакомой Пелагеѣ Максимовнѣ Трухиной, о которой совсѣмъ было забыла. Пелагея Максимовна была дѣвица лѣтъ пятидесяти пяти. Она имѣла тысячъ до шести капитала, носила подъ чепцомъ изъ кокетства рыжеватый парикъ, скрывавшій ея сѣдые волосы, и хотя имѣла постоянную коморку въ домѣ какихъ-то своихъ родственниковъ около Дѣвичьяго поля, но, по страсти своей къ кочевой жизни, никогда почти не жила дома, а все го-

сила по знакомымъ и переносила изъ дома въ домъ вѣсти. Никто лучше и подробнѣе Пелагеи Максимовны не могъ бы удовлетворить любопытства Елены Терентьевны касательно ея сына, потому что Пелагея Максимовна владѣла особеннымъ даромъ разузнавать и вывѣдывать, — и никто болѣе ея не любилъ вмѣшиваться въ чужія семейныя дѣла. Она ссорила и мирила родителей съ дѣтьми, женъ съ мужьями и наоборотъ, сестеръ съ братьями, дядей съ племянниками, а сама всегда оставалась въ сторонѣ и разыгрывала роль совершенной невинности.

Елена Терентьевна тотчасъ написала къ ней самое чувствительное и ласковое письмо, въ которомъ просила ее, по старой дружбѣ, неотлагательно выполнить небольшія комиссіи, на которыя нарочно высылала ей денегъ вдвое болѣе того, что могли стоить эти комиссіи; а въ заключеніе, будто мимоходомъ, поручила ей разузнать о поведеніи сына, о томъ, ѣздитъ ли онъ въ домъ князя Берестинскаго? на какой ногѣ принятъ въ этомъ домѣ? и прочее.

Пелагея Максимовна съ неимовѣрною быстротою и точностью выполнила всѣ порученія Елены Терентьевны; половину высланной на покупки суммы оставила у себя въ ридикюлѣ, упомянувъ въ своемъ отвѣтѣ, что *нынче* въ Москвѣ страшная дороговизна на всѣ товары, оттого, что на все наложена тройная противъ прежняго пошлина, и расписала яркими красками всѣ похожденія Аркадія Иваныча съ небольшими еще прикрасами отъ себя... Рѣзко отозвалась она *о подлои танцоркѣ*, которая обираетъ его кругомъ, и о его пріятеляхъ, въ которыхъ нѣтъ ни чести, ни совѣсти, и напрямки объявила, что Аркадій Иванычъ ни въ какіе семейные дома не показывается, а все водится съ *холостежью* и никогда не былъ *вхожъ въ домъ* князя Берестинскаго. Послѣднее было ей очень хорошо извѣстно, потому что она пользовалась большою пріязнью жены дворецкаго князя. Заключительныя строки письма Пелагеи Максимовны были необыкновенно трогательны:

«Искренно могу сказать, больно,—писала она,—наносить вамъ, добродѣтельная Елена Терентьевна, огорченіе насчетъ

милаго вашего Аркадія Иваныча, который самъ ничѣмъ не виноватъ, а попалъ въ дурную компанію: вся его тутъ вина. Такой добродѣтельной матери, какъ вы,—ваше нѣжное сердце мнѣ очень извѣстно,—непріятно слышать что ни-на-есть дурное о сынѣ, и меня это за васъ убиваетъ, а я бы это отъ васъ и скрыла, если бы не брала въ васъ кровнаго участія и не помнила вашъ хлѣбъ-соль и всѣ ваши ко мнѣ ласки, которыя по гробъ не забуду оттого, что съ дѣтства пріучена быть благодарною и цѣнить людей, и оттого, что такой дамы во всѣхъ отношеніяхъ отличныхъ правилъ, какъ вы, нынче рѣдко можно найти—и когда я вамъ писала это, то, повѣрите ли, у меня сердце кровью обливалось»... и проч.

Прочитавъ это посланіе, Елена Терентьевна слегла въ постель. Два дня она не вставала съ постели, стонала и охала на цѣлый домъ и безпрестанно подносила платокъ къ глазамъ, если кто-нибудь изъ домашнихъ появлялся въ ея спальнѣ. На третій день она написала къ Аркадію Иванычу то письмо, которое помѣщено выше, нѣсколько разъ перечла его, смягчила кое-какія рѣзкія выраженія и потомъ отправила его на почту. Елена Терентьевна очень благоразумно разсчела, что ей не слѣдовало слишкомъ раздражать сынка, потому что онъ, какъ совершеннолѣтній, имѣлъ полное право взять отъ нея въ собственное управленіе отцовскія семьсотъ душъ и кромѣ того потребовать еще у ней отчета по этому имѣнію за все время ея попечительства. Когда письмо было отослано, Елена Терентьевна сказала со вздохомъ барышнѣ:

— Я хотѣла къ нему написать самое строгое письмо; словомъ, такое письмо, которое онъ вполнѣ заслуживаетъ; но вѣрите ли, душенька, никакъ не могла. Хоть онъ и не умѣетъ цѣнить меня, хоть онъ и кругомъ виноватъ противъ меня, а все-таки мнѣ жаль его. Вотъ что значитъ материнское сердце!

Въ P. S. этого письма Елена Терентьевна не безъ умысла упомянула о Пелагеѣ Максимовнѣ. Еленѣ Терентьевнѣ нарочно хотѣлось намекнуть Аркадію Иванычу, что у нея

въ Москвѣ есть надежный источникъ, изъ котораго она можетъ почерпать о немъ свѣдѣнія.

Положеніе Аркадія Иваныча было ужасное. Разсчитывая на присылку денегъ изъ деревни, онъ заказалъ для Даши модную коляску и, кромѣ того, обѣщалъ заплатить кое-какія ея долги. Коляску безъ денегъ ему не отдавали, а Даша не хотѣла иначе выѣзжать, какъ въ модной коляскѣ.. Она выходила изъ себя, бранилась и кричала:

— Ты только хвастаешь, что у тебя Богъ знаетъ какія богатства, а видно, у тебя ничего нѣтъ, видно, ты живешь на-фуфу!.. Зачѣмъ же ты меня обманывалъ? За что я должна изъ-за тебя мучиться? Меня какіе богачи хотѣли взять... Да если бы ты меня не сманилъ, такъ я бы теперь по горло въ золотѣ была!.. Мнѣ бы теперь всѣ завидовали!

И Аркадія Иваныча поперемѣнно терзали, такимъ образомъ, то Даша, то ростовщики, то полиція. На письмо своей маменьки онъ написалъ слѣдующее:

«Любезная маменька!

«Вы пишете, чтобъ я былъ съ вами откровененъ: повинуюсь вашей волѣ. Мнѣ не отказали въ рукѣ княжны, а я самъ увидѣлъ, что ея родители болѣе расположены къ новопріѣзжему изъ Петербурга графу, чѣмъ ко мнѣ. Что же до меня касается, я столько гордъ, что не хотѣлъ играть роль второстепенную въ ихъ домѣ, и, несмотря на просьбы княжны, которая была влюблена въ меня безъ памяти и признавалась мнѣ въ этомъ, пересталъ къ нимъ ѣздить» (Аркадій Иванычъ хотѣлъ непремѣнно поддержать свою ложь. Лгать ему было нипочемъ; онъ считалъ ложь дѣломъ обыкновеннымъ, но сознаться во лжи считалъ величайшимъ стыдомъ и никому бы безнаказанно не позволилъ назвать себя въ глаза лжецомъ).

«Впрочемъ,—продолжалъ Аркадій Иванычъ,—я не сожалѣю, коли правду вамъ сказать, о томъ, что всѣ планы мои касательно княжны разстроились. Я къ ней ничего не чувствовалъ, а вы сами знаете, любезная маменька, что ка-

кой бракъ безъ любви можетъ существовать! Къ тому же, въ Москвѣ невѣстъ знатныхъ фамилій еще много; я здѣсь всѣмъ извѣстенъ и всѣми любимъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что за меня отдадутъ любую московскую невѣсту. Будьте въ этомъ увѣрены.

«Но такъ какъ я велъ здѣсь жизнь вполнѣ свѣтскую и вездѣ выѣзжалъ, и столько притомъ самолюбивъ, что не хотѣлъ быть хуже другихъ, то, натурально, много долженъ былъ издерживать и отъ этого сдѣлалъ долги. Вы же денегъ мнѣ не высылаете, и я нахожусь въ совершенной крайности, безъ копейки, и не знаю, что дѣлать. Ради Бога, вышлите мнѣ деньги съ первою почтою. Мнѣ надо, по крайней мѣрѣ, тысячъ пятнадцать, только для того, чтобъ раздѣлаться съ долгами (Аркадій Иванычъ лгалъ, потому что у него было болѣе пятидесяти тысячъ долгу), да кромѣ того надо жить прилично. Если же вы не можете выслать мнѣ вдругъ пятнадцати тысячъ, то вышлите мнѣ, съ первою почтою, покуда хоть пять тысячъ и всѣ нужныя бумаги на залогъ остальныхъ незаложенныхъ трехсотъ пятидесяти душъ моего имѣнія. Съ нетерпѣніемъ буду ждать, милая маменька, исполненія моей просьбы въ наискорѣйшемъ времени. Не думайте также, чтобъ я безъ толку разстроилъ свои дѣла. Этого никогда не будетъ, да къ тому же, если я немножко и задолжалъ, что жъ за бѣда? Все можно поправить выгодной женитьбой, а ужъ я не женюсь на комъ-нибудь и не уроню себя! Повторяю мою просьбу о высылкѣ денегъ и бумагъ для залога имѣнія и тысячу разъ цѣлую ваши ручки...»

Елена Терентьевна выслала ему безъ всякихъ приложеній и даже безъ письма свидѣтельство на залогъ трехсотъ пятидесяти душъ; но прежде, нежели Аркадій Иванычъ получилъ это свидѣтельство, Даша оставила его и перешла къ какому-то почтенному старичку, который прибавилъ ей въ годъ тысячу рублей лишнихъ противъ того, что она получала. Аркадій Иванычъ взбѣсился на Дашу, потребовалъ отъ нея назадъ свои подарки; клялся, что если она не возвратитъ ему всѣхъ его вещей дочиста, то онъ ихъ непре-

мѣнно вытребуетъ у нея черезъ полицію; что съ нимъ шутки плохи, и прочее. Но Даша не возвратила ему ничего и еще смѣялась надъ нимъ, а Аркадій Иванычъ дня два покричалъ, погорячился, пофанфаронилъ, и потомъ, какъ водится, успокоился. Получивъ изъ Московскаго Опекунскаго Совѣта тысячъ до семидесяти, онъ заплатилъ свой долгъ, а остальныя деньги, за уплатою долга, промоталъ въ два мѣсяца на вино, на женщинъ и преимущественно на цыганъ. Для того же, чтобъ пустить пыль въ глаза Дашѣ и показать, что у него есть деньги, онъ ежедневно прокатывался мимо ея оконъ въ отличной ямской колясвѣ, запряженной лихою четвернею, за которую платилъ въ день по пятидесяти рублей.

Когда у него осталось всего только тысяча рублей, онъ вознамѣрился ѣхать въ деревню, съ тою цѣлью, чтобъ накопить денегъ и снова возвратиться въ Москву кутить... Въ день отъѣзда онъ задалъ пріятелямъ прощальный обѣдъ съ цыганами, который ему стоилъ семьсотъ рублей. На разсвѣтѣ пріятели съ крикомъ и съ пѣснями уложили его въ дорожную коляску. Но Аркадій Иванычъ ничего не слыхалъ, потому что спалъ сномъ непробуднымъ, и очнулся только на четвертой станціи отъ Москвы. Очнувшись, онъ съ удивленіемъ началъ озираться кругомъ себя, протирая глаза.

Филька! Филька!

— Чего изволите-съ?

Да куда жъ это мы ѣдемъ?

— Къ маменькѣ въ деревню, сударь; мы ужъ восемьдесятъ верстъ отъ Москвы отъѣхали-съ.

— Ахъ, да!

Аркадій Иванычъ махнулъ рукой, зѣвнулъ во все горло, потянулся и снова заснулъ.

ГЛАВА V.

Елена Терентьевна приняла сына очень холодно. Она обняла его только одинъ разъ и, смотря на него съ грустью и качая головой, говорила:

— Наконецъ-то таки Богъ привелъ намъ свидѣться! Какъ ты это, голубчикъ, вздумалъ заѣхать сюда? Я, признаюсь, этого никакъ не ожидала. Я думала, что ты и забылъ о моемъ существованіи. Вѣдь, шутка ли, пять мѣсяцевъ о тебѣ не имѣла ни слуху, ни духу, строки даже не написалъ ко мнѣ! А, кажется, я не много требую, не такъ, какъ другія матери; хоть бы только написалъ въ двѣ недѣли разъ: «я, маменька, слава Богу, живъ и здоровъ ..», мнѣ больше ничего не нужно, — по крайней мѣрѣ, я была бы покойна... Ну, да что говорить объ этомъ! (Елена Терентьевна вздохнула.) Я все-таки благодарна тебѣ и за то, что хоть когда-нибудь вспомнилъ обо мнѣ...

Барышня все увивалась около Аркадія Иваныча и, глядя на него, съ восторгомъ восклицала отъ поры до времени:

— Ангелъ вы нашъ! сокровище вы наше! красное вы наше солнышко! насилу-то мы дождались васъ къ себѣ!

И потомъ, обращаясь къ Еленѣ Терентьевнѣ, продолжала, указывая на Аркадія Иваныча.

— Да посмотрите, родная вы наша, кто сидитъ-то тутъ! Полноте теперь скучать; теперь вамъ не о чемъ скучать. Вотъ онъ, *предметъ*-то вашъ!

— Что, милый мой, я думаю, ты повеселился въ Москвѣ? — замѣтила Елена Терентьевна. Вѣдь тамъ вѣрно для молодого человѣка развлеченій тьма!.. (Елена Терентьевна *при этомъ обмѣнялась съ барышней значительнымъ* взглядомъ.) Почему же, конечно, молодому человѣку и не веселиться?.. Развлеченіе молодому человѣку необходимо; только надобно, чтобъ это развлеченіе было благородное... Разскажи же, другъ мой, какъ ты проводилъ время? Ты знаешь, какъ меня интересуетъ все, что касается до тебя...

Благосклонный читатель, имѣющій уже теперь достаточное понятіе о моемъ героѣ, можетъ представить себѣ всю красоту и оригинальность его разсказа; я долженъ замѣтить только, что въ этомъ разсказѣ вообще блистательно разыгралась фантазія Аркадія Иваныча и что въ нѣкоторыхъ эпизодахъ онъ просто превзошелъ самого себя. Разумѣется,

о Дашѣ онъ не упомянулъ ни слова, но зато какъ поэтически умѣлъ распространиться о княжнѣ и о ея любви къ нему!..

Елена Терентьевна все время слушала сына съ ироническою улыбкой и безпрестанно значительно поглядывала на барышню. Когда онъ кончилъ, Елена Терентьевна сказала:

— Прекрасно, прекрасно, мой другъ! Стало быть, ты не даромъ провелъ время въ Москвѣ? Такъ ты тамъ со всѣми первыми домами познакомился?.. Да! конечно, пріобрѣсти такое знакомство пріятно и лестно. Ну, а еще были у тебя знакомства какого-нибудь другого рода? кромѣ княжны, ты за кѣмъ-нибудь ухаживалъ?

Елена Терентьевна устремила на сына ястребиный взоръ. Она напрасно усиливалась скрыть внутреннее волненіе: голосъ измѣнялъ ей, и губы ея дрожали.

Аркадій Иванычъ немного смѣшался. «Э-ге! до маменьки-то, видно, дошли подробныя вѣсти!» подумалъ онъ.

Барышня поспѣшила къ нему на помощь.

— А я думаю, ужъ сколько тамъ особъ за нимъ, за нашимъ голубчикомъ, ухаживали! — замѣтила она, смѣясь. — Предупреждаю васъ, я тоже намѣрена вамъ строить куры, непремѣнно!..

Аркадій Иванычъ, немного оправясь, обратился къ маменькѣ:

— Да я и не за одной княжной волочился, — отвѣчалъ онъ, — отчего же не волочиться? Ну, а вы что подѣлывали, маменька?

— Я? ты обо мнѣ спрашиваешь? Ахъ, Боже мой, что моя за жизнь! Я съ каждымъ днемъ чувствую себя хуже и хуже, болѣзни совсѣмъ одолѣли меня! Я только и молю моего Спасителя о смерти! Такъ нѣтъ! кому надо умереть, тѣ живутъ, а кому бы только жить да радоваться, тѣ умираютъ. Это всегда такъ. Моей жизни, Аркашенька, никто не позавидуетъ! Вотъ она (Елена Терентьевна указала на барышню) свидѣтельница, какъ я страдаю... Да, впрочемъ, зачѣмъ трогать эту струну?.. Обо мнѣ пожалѣть некому! Ужъ тѣхъ нѣтъ на свѣтѣ, кто бы пожалѣлъ обо мнѣ!..

И Елена Терентьевна, говоря это, всхлипывала.

Барышня, желая предупредить непріятную сцену, перемѣнила разговоръ и начала по-своему любезничать. Между тѣмъ лакей пришелъ доложить, что готовъ ужинъ. Елена Терентьевна отерла слезы и повела сына въ столовую. За ужиномъ Елена Терентьевна кушала довольно аппетитно, а послѣ ужина проводила сына въ приготовленную для него комнату.

— Хорошо ли тебѣ здѣсь будетъ, покойно ли? — говорила она. — Я знаю, ты любишь кожаныя подушки: я потому и велѣла ихъ приготовить тебѣ... Хоть ты и разлюбилъ меня, голубчикъ, а я все тебя люблю попрежнему... и помню всѣ твои привычки и вкусы!

Аркадій Иванычъ цѣловалъ маменьку и увѣрялъ ее, что онъ никогда не переставалъ любить ее...

— Вѣрю, вѣрю, мой другъ, — возразила маменька тономъ недовѣрчивости. — Ну, теперь тебѣ пора успокоиться, отдохнуть послѣ дороги... Я тебѣ, думаю, ужъ надоѣла своимъ хныканьемъ! Завтра я велю для тебя нарочно истопить баню: послѣ дороги это необходимо... Христосъ съ тобой, ложись почивать!.. Желаю тебѣ пріятнаго сна. Дай, я тебя перекрещу, какъ крестила въ прежніе годы!..

Когда Елена Терентьевна возвратилась къ себѣ въ спальню, она уже нашла тамъ барышню.

— А! что, милая? — сказала она ей. — Каковъ? Хоть бы въ шутку привезъ матери какой-нибудь рублевый подарокъ, чтобъ только показать вниманіе: вотъ дескать вамъ, милая маменька, видите ли, я помню объ васъ! И того нѣтъ! А вѣдь, я думаю, этой бестіи танцоркѣ какія вещи дарилъ!.. Вотъ вамъ чувства дѣтей! Что вы послѣ этого скажете? Выкормила, выростила, воспитала себѣ на радость!.. Вотъ и радуюсь теперь, обливаясь кровавыми слезами!.. Видѣла ли я до сихъ поръ отъ него какое-нибудь утѣшеніе?.. Сдѣлалъ ли онъ мнѣ въ угодность хоть что-нибудь?.. Вы все знаете... Скажите по совѣсти.

Барышня молчала. Это молчаніе было краснорѣчивѣе всякихъ словъ. Но Елена Терентьевна не удовольствовалась этимъ краснорѣчивымъ молчаніемъ.

— Скажите же, я васъ спрашиваю, — вскрикнула она повелительно, — видѣла ли я отъ него какое-нибудь утѣшеніе?

Барышня испустила глубокій вздохъ и вслѣдъ затѣмъ произнесла печальнымъ голосомъ:

— Ужъ, конечно, до сихъ поръ, кромѣ огорченія, вы ничего отъ него не видали. Мы всѣ этому свидѣтели! Ужъ какъ намъ всѣмъ жаль васъ, голубушка вы наша, если бъ вы знали.

Барышня также пылала злобою противъ Аркадія Иваныча за то, что онъ ни разу не сдѣлалъ ей никакого подарка. Она, въ свою очередь, кричала о немъ въ дѣвичьей:

— Вотъ этого чертенка-то, прости Господи, нянчила, ухаживала за нимъ, угождала ему! Вишь выросъ какой балбесъ! А что въ немъ толку-то? Хоть бы когда-нибудь бездѣлицу какую-нибудь подарилъ! Къ намъ-то скупъ, а на своихъ актерокъ, небось, не жалѣлъ денегъ!..

— Богъ ему судья! — продолжала Елена Терентьевна. — Пусть онъ увидитъ со временемъ такое же утѣшеніе отъ своихъ дѣтей, какое я отъ него видѣла. Онъ славную себѣ будущность приготовляетъ, вспомяните мое слово! Пожалѣетъ еще и обо мнѣ, когда меня не будетъ! Страшно подумать! вѣдь въ немъ всѣ чувства искоренены; его узнать нельзя!.. И добро бы еще въ письмахъ, а то безстыдно лжетъ матери въ глаза, да еще и не краснѣетъ! Заложилъ отцовское имѣніе въ угодность плясуньи! Это для меня такой поступокъ, такой, который извинить нельзя!.. Значитъ, у него нѣтъ никакого уваженія къ памяти отца, ничего святого!.. А сколько онъ денегъ-то промоталъ въ Москвѣ! И въ кого онъ такой мотъ, — я рѣшительно не понимаю. Отецъ проживалъ прежде много, но мотомъ никогда не бывалъ; я, кажется, не мотовка, дурныхъ примѣровъ онъ въ дѣтствѣ никакихъ не имѣлъ передъ глазами. Это, я думаю, пріятели совратили его съ пути! И какое у него лицо сдѣлалось — ни на что не похоже! А помните, какой онъ, можно сказать, красавецъ былъ, когда первый разъ пріѣхалъ сюда въ офицерскомъ мундирѣ? Тогда всѣ формально имъ любовались: а

теперь что это такое? я просто не могу на него смотрѣть въ этомъ гадкомъ штатскомъ платьѣ!.. Многія находили, что онъ похожъ на меня: точно, можетъ быть, прежде онъ и имѣлъ небольшое сходство со мною, а теперь у него ни одной черты прежней не осталось; теперь онъ напоминаетъ больше отца, какъ тотъ былъ въ послѣднее время... Не правда ли?

Барышня, разумѣется, согласилась съ этимъ вполнѣ. И Елена Терентьевна долго такимъ образомъ разсуждала съ барышнею объ Аркадіи Иванычѣ. Онѣ разстались за полночь. Лишь только барышня вышла, явилась горничная раздѣвать барыню.

— Ну, что, Машка, — спросила у нея барыня, — говорила ты что-нибудь съ Филькой?.. Что, доволенъ онъ своимъ бариномъ?

— Объ этомъ-съ онъ ничего не говорилъ, сударыня, — отвѣчала горничная. — Онъ все разсказывалъ намъ, какъ баринъ изволилъ жить въ Москвѣ-съ, сколько они изволили издерживать на эту мамзель-то-съ, что у нихъ была, какіе они банкеты задавали-съ... ну, и все это какъ у нихъ тамъ было-съ.

— А не говорилъ ли Филька, привезъ ли баринъ съ собою сколько-нибудь денегъ?.. Осталось ли у него что-нибудь послѣ того, какъ онъ заложилъ свое имѣніе?..

— Какое, сударыня! Филиппъ Андреичъ разсказываетъ, что они все въ Москвѣ спустили до копеечки, что они такъ жили богато, что ужасти; что у нихъ тысячъ сто долговъ было-съ и что они передъ отъѣздомъ сюда просто сорили деньгами-съ.

Елена Терентьевна прошептала себѣ подъ носъ:

— Такъ я и думала, все это такъ и должно быть. Чего добраго ждать отъ него! — И потомъ сказала горничной: — Послушай, ты у Фильки-то все хорошенько развѣдай и потомъ передай мнѣ. А завтра позови его ко мнѣ потихоньку, такъ, чтобъ объ этомъ баринъ не зналъ и чтобъ онъ не смѣлъ заикнуться объ этомъ барину. Слышишь ли?

— Слушаю, сударыня-съ.

Когда горничная ушла, Елена Терентьевна помолилась Богу, поплакала и легла почивать.

На слѣдующій день она имѣла продолжительный разговоръ съ Филькой, по окончаніи котораго подарила ему пять рублей.

Первые дни Аркадій Иванычъ очень скучалъ въ деревнѣ и не зналъ, что дѣлать. Одна только трубка немного развлекала его, и потому онъ не выпускалъ ее изо рта. Маменька избѣгала почему-то рѣшительнаго объясненія съ сыномъ: только въ обыкновенныхъ разговорахъ съ нимъ дѣлала ему безпрестанныя колкости и осыпала его обидными намеками, къ которымъ онъ, впрочемъ, никакъ не могъ придраться. Этимъ она отчасти удовлетворяла себя. О чемъ бы у нихъ, напримѣръ, ни заходила рѣчь, хоть о погодѣ, маменька, разсуждая и о погодѣ, умѣла кстати ввернуть словцо о безнравственности нынѣшней молодежи, о неограниченной любви родительской къ дѣтямъ, о неблагодарности дѣтей, о тѣхъ жалкихъ молодыхъ людяхъ, которые не хотятъ служить и надъ которыми всѣ смѣются, и о прочемъ тому подобномъ.

Часто она сочиняла цѣлыя исторіи и выдумывала удивительные анекдоты, которыми хотѣла или уязвить сына, или просто только подѣйствовать на его воображеніе. Эти исторіи и анекдоты разсказывала она, обыкновенно, своимъ пріятельницамъ только въ присутствіи Аркадія Иваныча.

— Слышали вы, милыя, — говорила она пріятельницамъ, — какое происшествіе случилось недавно въ Петербургѣ? Тамъ, говорятъ, теперь только и толковъ, что объ этомъ.

— Ахъ, разскажите, пожалуйста! что такое? — возражали пріятельницы. — Это должно быть очень интересно.

— Да; это такое происшествіе, — продолжала Елена Терентьевна торжественнымъ и мрачнымъ голосомъ, — надъ которымъ *многіе* должны были бы призадуматься. — При словѣ *многіе* она устремляла значительный взглядъ на сына. — Вообразите, одна петербургская дама средняго круга... позвольте... мнѣ называли и фамилію ея... какъ бишь ее?.. ахъ, какая досада, совсѣмъ забыла!.. вѣдь вы знаете, у

меня такая скверная память; ну, да не въ томъ дѣло, все равно... видите ли: у этой дамы... а надобно вамъ сказать, что эта дама пользуется въ Петербургѣ всеобщею любовью и всеобщимъ уваженіемъ; это, говорятъ, ангелъ доброты, безподобнѣйшихъ правилъ, съ рѣдкими чувствами, — словомъ, во всѣхъ отношеніяхъ примѣрная женщина... У ней, видите ли, было два сына, въ которыхъ она души не слышала, для которыхъ она, можете себѣ представить, всѣмъ на свѣтѣ пожертвовала; ну, однимъ словомъ, такая мать, на которую всѣ указывали, какъ на образецъ. Воспитаніе дѣтямъ она дала отличное: по-французски оба они такъ, говорятъ, и рѣзали. Вотъ они стали, знаете, подрастать помаленьку... и выросли, и въ службу вступили: одинъ въ статскую, другой въ военную; натурально, она и ждетъ отъ нихъ утѣшенія, думаетъ себѣ: «ну, теперь я отдохну; теперь я буду только жить да радоваться, глядя на нихъ; теперь они будутъ меня покоить, лелѣять... ужъ теперь пришелъ ихъ чередъ за мною ухаживать». Все это, знаете, что каждая изъ насъ передумала и перечувствовала. А надобно вамъ сказать, что она хоть обоихъ сыновей равно любила и никакого между ними отличія не дѣлала, но все-таки сердце у нея больше лежало къ тому, который опредѣлился въ военную службу, оттого, что онъ былъ такой кроткій, послушный, безпрестанно къ ней ласкался, и когда не былъ на службѣ, то все сидѣлъ возлѣ нея, — и не одна мать, всѣ знакомые обожали его. Извѣстно, что ласковый теленокъ двѣ матки сосетъ! Вотъ, бывало, она и говоритъ ему: «что это ты, мой ангелъ, не съѣздишь никуда, не развлечешься ничѣмъ? Вѣдь тебѣ, я чай, со мной, со старухой, сидѣть скучно? Вотъ, посмотри, какъ братъ твой веселится!» А онъ бросится, бывало, къ ней, начнетъ цѣловать ей руки и говоритъ: «Маменька-голубушка, повѣрьте, мнѣ съ вами гораздо веселѣе, чѣмъ въ обществѣ брата; я, говоритъ, такъ думаю, что для молодого человѣка ничего не можетъ быть вреднѣе холостой компаніи... я, говоритъ, маменька, предпочитаю семейные дома, въ семейныхъ домахъ, говоритъ, видишь нравственные примѣры...» И повѣрите ли? Онъ ничего

не дѣлалъ безъ совѣта матери и никуда даже не выѣзжалъ безъ нея въ гости, несмотря на то, что былъ не маленькій, — замѣтьте это, ужъ ему было двадцать четыре года.

— Ахъ, какой голубчикъ! — перебили пріятельницы, — скажите!.. да вѣдь это на рѣдкость!.. Этакихъ молодыхъ людей ужъ нынче и встрѣтить трудно!..

— Да, къ сожалѣнію, — возразила Елена Терентьевна съ глубокимъ вздохомъ. — Счастливы родители, которые имѣютъ такихъ дѣтей! И вообразите себѣ, онъ и брата-то своего уговаривалъ, чтобъ тотъ не огорчалъ матери и перемѣнилъ свой образъ жизни; но тотъ куда себѣ! и слушать не хотѣлъ. Тотъ былъ, знаете, этакой забулдыга: пилъ, кутилъ, проматывалъ на актрисъ деньги и забылъ о томъ, что у него существуетъ мать... (Фразы: *проматывалъ на актрисъ деньги* и *забылъ, что у него существуетъ мать*, Елена Терентьевна старалась произнести съ особеннымъ эффектомъ.) Его съ утра до ночи не было дома. Вы можете себѣ представить, какъ это сокрушало бѣдную мать; но она сначала дѣйствовала на него кроткими мѣрами, со слезами увѣщевала его, — куда! еще хуже: онъ, не сказавъ матери ни слова, потихоньку бухъ въ отставку. Съ ней чуть ударъ не сдѣлался, ей тотчасъ кровь пустили. «Ну, — подумала она, — дѣлать нечего, если кроткія мѣры не берутъ, надобно прибѣгнуть къ строгости». Сами согласитесь, какая бы мать равнодушно видѣла свое дитя на краю пропасти и не употребила всѣхъ средствъ, чтобъ спасти его!.. Она, знаете, призываетъ его къ себѣ и начинаетъ мыть ему голову; ну, и мылила, мылила ему голову, вычитывала ему все, все... такъ что каменное сердце могло бы тронуться, а у него... что жъ бы вы думали? ни слезинки! Онъ еще началъ спорить съ матерью, грубить и такихъ вещей насказалъ ей, что она въ обморокъ.

— Ахъ, какой извергъ! — вскрикнули пріятельницы Елены Терентьевны въ одинъ голосъ.

— Но не безпокойтесь, — продолжала Елена Терентьевна, — это ему не прошло даромъ. Нѣтъ! дѣти, убивающія своихъ родителей, не остаются безнаказанными. Богъ справедливъ!..

Онъ не хотѣлъ и помощи подать матери, когда та упала въ обморокъ; онъ оставилъ ее такъ, но зато только что вышелъ на лѣстницу, споткнулся, упалъ да вискомъ о каменный полъ и тутъ же отправился на тотъ свѣтъ... Собакѣ собачья и смерть! никто и не жалѣлъ его; только мать же одна и поплакала о немъ. Но Богъ ее, голубушку, утѣшилъ. Представьте, черезъ нѣсколько дней послѣ этого ужаснаго происшествія, какъ-будто за послушаніе и покорность къ матери, — другой ея сынъ получилъ значительную награду по службѣ и, кромѣ того, былъ произведенъ въ слѣдующій чинъ...

Пріятельницы, выслушавъ эту исторію, сочиненную Еленою Терентьевною, прославляли судьбу и, по поводу этой исторіи заводили свой любимый разговоръ объ отношеніяхъ дѣтей къ родителямъ... А Аркадій Иванычъ внутренно подсмѣивался и надъ исторіей, разсказанной маменькою, и надъ нею самою, и надъ ея пріятельницами, и, покуривая трубочку, думалъ: «какъ бы знать провести время въ деревнѣ, чтобъ не было скучно!»

Между несмѣтнымъ количествомъ дворовыхъ дѣвокъ и горничныхъ онъ замѣтилъ трехъ или четырехъ, которыя были, по его собственному выраженію, *такъ-себѣ, ничего*, а одну даже, очень хорошенькую, принадлежавшую собственно Еленѣ Терентьевнѣ. За тѣми, которыя были *такъ себѣ, ничего*, баричъ ухаживалъ недолго... Ему не нравилось то, что онѣ бѣгали босикомъ, въ грязныхъ и оборванныхъ платьяхъ и имѣли такія грубыя руки, до которыхъ, какъ до необструганной доски, невозможно было дотронуться не занозившись. Очень хорошенькая была вообще почище и почище всѣхъ и носила, правда, хоть бѣлевые и дырявые, но все-таки чулки. Безъ чулокъ она почти никогда не ходила. Ее звали Анюткой. Анютка славилась отважностью и рѣшительностью своего характера, вслѣдствіе чего вся кривухинская дворня смотрѣла на нее съ уваженіемъ. Анютка не любила никому спускать и многихъ изъ своихъ обожателей отправляла отъ себя съ полновѣсными оплеухами. Носились слухи, будто бы въ числѣ подвергшихся этой горь-

кой участи находился одинъ почтенный канцелярскій чиновникъ, долго и безуспѣшно ухаживавшій за нею. Разсказывали, будто бы послѣ нанесеннаго ему Анюткою оскорбленія онъ пришелъ въ величайшую ярость, замахнулся на нее и грозился согнуть ее въ бараній рогъ, но что она, нимало не испугавшись этой угрозы и ставъ въ оборонительное положеніе, изо всей силы закричала:

— Вотъ только подойди!.. Вотъ только сунься!.. Вѣдь я тебѣ сказала, что я ужъ не посмотрю на то, что ты называешься бариномъ.. Еще погоди... Я тебя при всѣхъ такъ выругаю... старый ты подлипало..

Лакеи толковали про Анютку, и воя отъ досады:

— Да что! это не дѣвка, это чортъ!

А барышня даже, Богъ знаетъ почему, подольщалась къ ней и говорила про нее другимъ дѣвкамъ:

— Ну, дѣвушки, вспомяните меня, ужъ изъ нея выйдетъ что-нибудь необыкновенное. Посмотрите, какъ она высоко смотритъ! Я еще помню ее маленькую: она и тогда все въ вельможи играла. Ужъ это не даромъ!

Даже самъ Аркадій Иванычъ испыталъ упорство и твердость характера Анютки. Она сначала оказывала къ нему совершенное равнодушіе и въ продолженіе мѣсяца на всѣ его ласки и заигрыванья отвѣчала обыкновенно:

— Ужъ это, кажется, совсѣмъ не барское дѣло, сударь, вамъ заниматься съ нами, холопками!

А Аркадій Иванычъ, удивленный, думалъ: «да что жъ это такое значитъ? Этакихъ капризныхъ мнѣ еще не удавалось встрѣчать?» Между тѣмъ капризы Анютки еще более подстрекали его расположеніе къ ней. Вліяніе ея на Аркадія Иваныча не замедлило обнаружиться. Съ тѣхъ поръ въ одеждѣ Анютки произошли большія улучшенія. Вмѣсто дырявыхъ бѣлевыхъ она начала щеголять въ бумажныхъ чулкахъ; на шеѣ ея начали красоваться пестрые шелковые платочки, а по воскресеньямъ и по праздникамъ она появлялась въ отличныхъ ситцевыхъ платьяхъ и въ козловыхъ башмакахъ. Барышня стала уже смотрѣть на нее съ завистью и ворчала:

— Вишь, подлянка, какъ разодѣлась, будто барыня какая!

Но когда Анютка выкупилась у барыни, внеся ей за себя шестьсотъ рублей (а это случилось чрезъ пять мѣсяцевъ послѣ пріѣзда Аркадія Иваныча въ деревню) и переселилась на житье въ уѣздный городъ (находившійся только въ двухъ верстахъ отъ Кривухина), то барыня, провожая ее и цѣлуясь съ нею, говорила:

— Не забывай же меня, голубушка Анюшка! Ужъ ты знаешь, какъ я тебя любила всегда, такъ, знаешь, отчего-то невольно къ тебѣ сердце лежало, божусь Богомъ, и вѣдь это, можно сказать, я напророчила тебѣ такое необыкновенное счастье!

— Спасибо вамъ, барыня!—говорила Анютка,—не забывайте и вы насъ, не поминайте лихомъ; пріѣзжайте къ намъ.

— Ваши гости, ваши гости!—отвѣчала барыня, осыпая Анютку поцѣлуями и обнимая ее...

Развлекаясь такимъ образомъ, Аркадій Иванычъ понемногу привыкалъ къ деревенской жизни и даже начиналъ забывать о Москвѣ. Онъ подружился съ нѣкоторыми помѣщиками, вмѣстѣ съ ними игралъ въ карты, ѣздилъ на охоту и пилъ. Попойки эти совершались, большею частью, въ уѣздномъ городѣ, на квартирѣ Анны Трофимовны, которая уже разыгрывала роль барыни и успѣла сойтись со всѣми уѣздными дамами, то-есть съ женами приказныхъ и даже съ нѣкоторыми мелкопомѣстными дворянками. Къ разгульному обществу Аркадія Иваныча присоединился еще мальчикъ лѣтъ шестнадцати, сынъ небогатыхъ помѣщиковъ, котораго родители, до опредѣленія на службу, оставили на произволъ судьбы. Аркадій Иванычъ съ особеннымъ наслажденіемъ поилъ этого мальчика виномъ и пуншемъ и, наливая ему стаканъ за стаканомъ, говорилъ, ударяя его по плечу:

— Молодецъ, братецъ, молодецъ! Пей, братецъ; ты не слушай тѣхъ, что тебѣ глупую-то мораль читаютъ,— все это вздоръ! Если бъ тебя отдали въ мои руки, я бы тебя

всему обучилъ. Утромъ бы я тебя погонялъ немножко на кордѣ, чтобъ изъ тебя сдѣлать настоящаго ѣздока, — безъ этого нельзя, — а вечеромъ мы бы пріударили вмѣстѣ по этой части (Аркадій Иванычъ указывалъ на стаканъ). Вотъ бы и все ученье, братецъ, въ этомъ состояло!.. Вина не бойся: вино не вредно. Я вотъ, слава Богу, съ шестнадцати лѣтъ началъ пить, а видишь ли, какой толстый и все день-ото-дня становлюсь здоровѣе!

Въ самомъ дѣлѣ въ послѣднее время пребыванія своего въ деревнѣ Аркадій Иванычъ необыкновенно растолстѣлъ или, вѣрнѣе сказать, отекъ. Онъ казался, по крайней мѣрѣ, годами четырьмя старѣе своихъ лѣтъ. Страсть къ франтовству, впрочемъ, не оставляла его. Въ Москвѣ одѣвалъ его портной «по послѣдней картинкѣ»; въ деревнѣ началъ онъ одѣваться по собственной фантазіи: венгерокъ у него было несмѣтное количество и всѣ различнаго покроя, съ кистями, съ шнурками и съ балаболками, панталоны онъ началъ носить на казацкій манеръ, ширины чудовищной; рубашки шелковыя, яркихъ цвѣтовъ и непремѣнно съ косымъ воротомъ; къ жилетамъ онъ самъ покупалъ въ галантерейномъ магазинѣ губернскаго города блестящія пуговки, въ видѣ незабудокъ съ фальшивой бирюзой или изумрудами. Экипажъ его, которымъ онъ особенно гордился, отличался также страшною пестротою и вычурностью, а сбруя на лошадяхъ была съ *малиновымъ звономъ*, то-есть съ особаго рода бубенчиками и погремушками, издававшими очень оригинальныя и гармоническій звукъ. Когда же онъ выѣзжалъ въ дрожкахъ или саняхъ парой, то всегда самъ управлялъ пристяжною и, подхлыстывая кнутомъ, любовался и радовался, какъ она загибалась въ кольцо. Скоро, не только въ своемъ уѣздѣ, но и въ цѣлой губерніи Аркадій Иванычъ прослылъ *модникомъ*, и многіе изъ тѣхъ молодыхъ помѣщиковъ, которые никогда не бывали ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, начали очень замѣтно во всемъ *копировать его*, какъ говорили губернскія барыни.

Съ маменькой Аркадій Иванычъ часто не видался по цѣ-

лямъ недѣлямъ, и, вообще, свиданія ихъ были коротки и холодны. Елена Терентьевна почти ничего не говорила съ нимъ. Въ присутствіи его она только охала, вздыхала, поднимала глаза къ потолку, печально качала головой, да иногда со слезами, смотря на образъ, шептала, но разумѣется такъ, чтобъ до слуха сына доходило это шептанье:

— Мать Пресвятая Богородица! Заступница моя, услышь недостойную рабу твою; я только и молю Тебя объ одномъ о прекращеніи моей страдальческой жизни!

Аркадію Иванычу надоѣдали всѣ эти сцены, и онъ думалъ, крутя усы:

«Да нѣтъ... ужъ какіе маменька тамъ ни выкидывай фокусы, а ужъ служить-то я не стану. Это кончено!»

Иногда ему, впрочемъ, становилось жаль маменьки; а отчего жаль — онъ объяснить этого никакъ не могъ.

— Я знаю, душа моя, что она притворщица, — говорилъ онъ про нее одному своему пріятелю, — а все какъ-то, знаешь, жаль ее, когда она хныкаетъ. Нельзя же... Вѣдь что ни говори, братецъ, а она все-таки мнѣ мать; къ тому же побила меня точно ужаснѣйшимъ образомъ, и баловала меня прежде, то-есть такъ, что ты себѣ представить не можешь..

И хотя онъ ни мало не боялся маменьки и вовсе не намѣренъ былъ внимать ея совѣтамъ, однако, вѣроятно, для собственнаго спокойствія, старался избѣгать рѣшительнаго съ нею объясненія

Уже болѣе полугода герой мой прожилъ въ деревнѣ и начиналъ думать, что гроза прошла стороною, что маменька отложила намѣреніе съ нимъ объясняться и рѣшилась оставить его въ покоѣ, какъ вдругъ, въ одинъ прекрасный весенній день, когда онъ расположился ѣхать въ уѣздный городъ и совсѣмъ уже занесъ было ногу, чтобъ сѣсть на бѣговыя дрожки, сзади его раздался рѣзкій голосъ:

— Аркадій Иванычъ! Аркадій Иванычъ!..

Это былъ голосъ маменьки.

У Аркадія Иваныча замерло сердце.

Онъ обернулся — и увидѣлъ маменьку передъ собою.

Елена Терентьевна величественно стояла на крыльцѣ, немного приподнявъ голову и подбочась одною рукою. Во всей ея фигурѣ и въ выраженіи лица было что-то рѣшительное и зловѣщее.

— Что вамъ угодно, маменька? — спросилъ ее Аркадій Иванычъ.

— Мнѣ нужно поговорить съ вами. Пожалуйте на минуточку ко мнѣ.

— Ахъ, извините! — произнесъ Аркадій Иванычъ, — мнѣ нужно не надолго съѣздить; я скоро возвращусь и тогда къ вашимъ услугамъ.

Маменька сдѣлала шагъ впередъ.

— Аркадій Иванычъ! — сказала она, возвысивъ голосъ и еще съ большею торжественностью, — Аркадій Иванычъ! кажется, я васъ немного безпокою собою. Кажется, вы могли бы удѣлить матери полчаса; потомъ я не стану васъ удерживать: поѣзжайте себѣ, куда вамъ угодно, на всѣ четыре стороны. Я знаю, куда вы спѣшите... ничего, если и опоздаете получасомъ, не велика важность!.. Еще успѣете наглядѣться на ваше сокровище!

Елена Терентьевна при этомъ захохотала такъ необыкновенно, что даже конюхъ, державшій лошадь Аркадія Иваныча, вздрогнулъ невольно отъ этого страннаго хохота.

— Да скажите же мнѣ, однако, Аркадій Иванычъ, — продолжала Елена Терентьевна, — до чего же я, наконецъ, дожила, что вы ужъ явно не стыдитесь показывать передъ всѣми людьми (Елена Терентьевна указала на конюха и на двухъ бабъ, развѣшивавшихъ бѣлье въ отдаленіи), что для васъ дороже матери Богъ знаетъ какая... у меня даже языкъ не поворотится сказать кто...

Аркадій Иванычъ, все еще въ раздумьи стоявшій у бѣговыхъ дрожекъ съ вожжами въ рукѣ, при послѣднихъ словахъ маменьки бросилъ вожжи и подошелъ къ ней...

— За что вы сердитесь, я не понимаю; что вамъ угодно отъ меня? — сказалъ онъ.

— Пожалуйте ко мнѣ, — произнесла она повелительно, — я васъ не задержу долго, не безпокойтесь...

Аркадій Иванычъ пожалъ плечами и послѣдовалъ за маменькою.

Маменька привела его въ свою спальню, сѣла на кушетку и указала ему рукой на стулъ. Все это маменька дѣлала съ чувствомъ собственнаго достоинства и съ величавостью истинно трагическою.

Аркадій Иванычъ сѣлъ.

Вы, кажется, довольно меня знаете, Аркадій Иванычъ,—начала маменька,—я женщина не пустая, не сварливая; у меня нѣтъ никакихъ глупыхъ претензій и требованій, какъ у другихъ матерей; я, благодаря моего Бога, пользуюсь всеобщимъ уваженіемъ и успѣла въ свѣтѣ заслужить,—это я могу сказать всѣмъ и каждому,—отличное *репоме*; терпѣнію моему всѣ удивляются... но вѣдь бываетъ же конецъ и ангельскому терпѣнію, согласитесь сами! Я не стану говорить о томъ, чего мнѣ стоило ваше воспитаніе, сколько я потеряла здоровья, ухаживая за вами... ни дядька вашъ, ни нянька ваша, никто не имѣлъ о васъ столько заботъ, какъ я... Это всѣмъ извѣстно; всѣ единогласно называютъ меня примѣрною матерью, Аркадій Иванычъ! Я столько жертвъ принесла вамъ въ жизни... (При этомъ Елена Терентьевна ударила себя рукой въ грудь.) Столько жертвъ, сколько никакая другая мать не въ состояніи была бы принести для своего сына... Для васъ я бросила свѣтъ, никуда не выѣзжала, не щадила ни здоровья, ни денегъ; словомъ сказать, кромѣ васъ, для меня никого и ничего не существовало въ жизни!. Вы были единственнымъ моимъ кумиромъ. Я не отказывала вамъ ни въ чемъ; я послѣднюю свою рубашку готова была заложить для васъ; всѣ малѣйшія ваши прихоти выполняла. Ну, я свой долгъ исполнила, Аркадій Иванычъ... теперь позвольте васъ спросить: что вы для меня сдѣлали? чѣмъ вы мнѣ отплатили за все это? какую жертву вы принесли мнѣ?

Аркадій Иванычъ разинулъ ротъ, чтобы сказать что-то, но Елена Терентьевна не допустила его до этого.

— Позвольте, позвольте,—продолжала она, я вамъ сейчасъ скажу, какъ вы за все это отблагодарили маменьку.

Вы, первое, вышли въ отставку безъ моего совѣта, безъ моего согласія. Я объ этомъ узнала отъ постороннихъ. Это ужасно.... ну, да Богъ съ вами! Потомъ, этого еще мало: живши въ Москвѣ, вы меня самымъ безсовѣстнымъ образомъ обманывали въ письмахъ, льстили мнѣ пустыми надеждами, для того только, чтобъ выманить у меня деньги; увѣряли меня, будто женитесь на княжнѣ Берестинской, будто вы въ домѣ ея родителей приняты, какъ свой, тогда какъ ваша нога не была въ ихъ домѣ...

– Нѣтъ, клянусь честью,—перебилъ немного смущенный Аркадій Иванычъ.—Ей Богу... вы спросите, если хотите, у кого угодно въ Москвѣ... я у нихъ въ домѣ былъ...

— Перестаньте, ради Христа, не лгите. Лгать вообще грѣхъ, Аркадій Иванычъ, но лгать передъ матерью — это грѣхъ непростительный Не безпокойтесь, я все знаю, только молчу, все, до малѣйшей подробности, всѣ ваши похожденія въ Москвѣ. Добрые люди, жалѣя обо мнѣ, увѣдомляли меня обо всемъ, что вы дѣлали. На свѣтѣ не безъ добрыхъ людей, Аркадій Иванычъ! Я могу гордиться тѣмъ, что умѣла сыскать во всѣхъ, умѣла нажить себѣ истинныхъ друзей... Я знаю, на что проматывали вы деньги въ Москвѣ; знаю, кто заставилъ васъ заложить отцовское имѣніе.. Бога вы не боитесь, Аркадій Иванычъ! Отецъ вашъ послѣднее время отказывалъ себѣ во всемъ, ни на что почти не тратилъ денегъ, все вамъ берегъ... Думалъ ли онъ, голубчикъ, что его достояніе пойдотъ въ руки подлой плясуньи?

Послѣднія слова Елена Терентьевна произнесла сквозь слезы.

Аркадій Иванычъ пошевелилъ губами, вѣроятно, желая сдѣлать маменькѣ какое-нибудь возраженіе, но Елена Терентьевна снова предупредила его, закричавъ во все горло:

— Не оправдывайтесь, сдѣлайте одолженіе. Дайте мнѣ прежде все кончить. Вы мнѣ слова не даете выговорить.. Не забудьте, что вы въ Москвѣ болѣе полутораста тысячъ прожили. Шутка ли это! И на что прожили-то? Вѣдь эти денежки, можно сказать, плакали!.. Потомъ, когда ужъ у васъ не оставалось ни копейки, вы пріѣхали сюда... не

для того, чтобъ видѣть меня: вамъ все равно, кажется, есть ли у васъ мать или нѣтъ.—вѣдь вы въ продолженіе пяти мѣсяцевъ ко мнѣ не строки не писали: слѣдовательно, я для васъ ничто, а вы пріѣхали сюда потому, что вамъ ужъ нечѣмъ было жить въ Москвѣ... Но я все вамъ простила, Аркадій Иванычъ, все: чувствуете ли вы это?. У меня сердце самое нѣжное и кроткое, это всѣ очень хорошо знаютъ: я думала, что вы наконецъ опомнитесь, очувствуетесь, узнаете мнѣ цѣну, придете ко мнѣ, броситесь ко мнѣ на шею и скажете: «Голубушка маменька, я виноватъ передъ вами, забудемте все старое... теперь ужъ я больше не буду васъ огорчать!.. Вы желаете, чтобъ я служилъ: извольте, маменька, я принесу вамъ эту жертву..» Впрочемъ, что это за жертва! Вѣдь ваша же собственная польза должна бы заставить васъ подумать о службѣ. Вѣдь вы не служа себѣ же вредъ дѣлаете,—надъ вами же всѣ смѣются... Я все молчала, вы видѣли: все надѣялась, что вы не сегодня, такъ завтра придете ко мнѣ сами объясниться насчетъ службы... Прошелъ мѣсяцъ, другой, третій, прошло и полгода, вы вѣдь здѣсь живете, кажется, еще больше, чѣмъ полгода, наконецъ, признаюсь, мое терпѣніе лопнуло. Къ тому же я вижу, что мысль о службѣ и не приходитъ вамъ въ голову; что вы намѣрены здѣсь совсѣмъ погрязнуть, исчезнуть въ ничтожествѣ? вы ужъ и связи здѣсь какія-то завели.. говорятъ, будто живете съ этой мерзавкой Анюткой, говорятъ, будто вы ей и деньги дали на выкупъ, будто вы ее содержите.. да я этому и вѣрить не хочу! Неужели вы унизитесь до такой степени? Ужъ будто бы вы не могли здѣсь завести благородную интригу, и которая притомъ не стоила бы вамъ ни копейки? Связь съ Анюткой, съ этой гадкой, распутной дѣвчонкой, которую я давно хотѣла выгнать изъ дома и сослать куда-нибудь на фабрику, потому что она у меня всѣхъ людей перепортила.. Это была настоящая зараза въ домѣ!.. Жаль мнѣ васъ, Аркадій Иванычъ, очень жаль! Хоть бы вы мнѣніемъ-то свѣта подорожили. Послушайте-ка, что объ васъ говорятъ! Не думайте, чтобъ я на васъ жаловалась кому-нибудь,—нѣтъ,

мое горе и мои страданія извѣстны только одному Всевышнему Отцу! Теперь, Аркадій Иванычъ, я обезпокоила васъ затѣмъ, затѣмъ только просила васъ къ себѣ, чтобъ спросить въ послѣдній разъ: намѣрены ли вы служить? Сдѣлаете ли вы хоть что-нибудь въ угодность матери, если сами не хотите думать о своей пользѣ?.

Елена Терентьевна остановилась и устремила вопросительный взглядъ на сына.

Аркадій Иванычъ погладилъ и покрутилъ усы и потомъ произнесъ съ разстановкою.

— Да, я служить не прочь... отчего же не служить?.. я думаю о службѣ.

— Вы только все думаете? Долго же вы думаете, Аркадій Иванычъ! а между тѣмъ, покуда вы думаете, ваши товарищи хватаютъ чины да кресты... Въ полгода, казалось, можно бы надуматься!

— Послушайте, маменька,—сказалъ Аркадій Иванычъ,—ужъ если вы такъ желаете, чтобъ я вступилъ въ службу — извольте: я для васъ готовъ это сдѣлать... я...

— Не для меня, батюшка! прежде всего для себя,—перебила маменька.

— Нѣтъ, не для себя, а для васъ,—возразилъ Аркадій Иванычъ, что жъ такое? почему не сказать правды? я бы ни за что, по своей волѣ, не вступилъ въ службу. Мнѣ и такъ хорошо.. я за почестями не гонюсь; свободная жизнь, маменька, лучше всего!

— Не говорите этого, я не могу этого слышать. Чтобъ мое рожденіе, мой сынъ, не имѣлъ никакой гордости, объ этомъ подумать ужасно!

— Что же дѣлать? Ну, ужъ я вамъ сказалъ, что я вступлю въ службу, и кончено! Для васъ ли, для себя ли, это вамъ все равно.. Только ужъ лѣто-то позвольте мнѣ остаться въ деревнѣ. Прежде осени, какъ вы хотите, я не уѣду отсюда.

Елена Терентьевна подозрительно взглянула на сына, какъ будто не довѣряя словамъ его. Она на минуту призадумалась; суровое выраженіе лица ея постепенно смяг-

чалось, она даже протянула сыну руку и сказала ему ласковымъ голосомъ:

— Такъ ты, другъ мой, дашь мнѣ честное слово, что къ осени вступишь въ службу? Это ужъ вѣрно? Я на тебя могу положиться въ этомъ случаѣ?..

Аркадій Иванычъ пожалъ руку маменьки.

— Повѣрьте, маменька, что я ужъ рѣшился васъ этимъ утѣшить. Будьте покойны.

— Благодарю тебя, дружочекъ, благодарю... И слезы радости въ ту же минуту блеснули на глазахъ Елены Терентьевны, потому что слезы необыкновенно привыкли повиноваться ей.—Тебѣ стоитъ только втянуться въ службу, мой другъ,—продолжала она,—а тамъ, повѣрь мнѣ, ты и самъ отъ нея не отстанешь; честолюбіе у тебя разыграется, и все пойдетъ своимъ порядкомъ. Безъ честолюбія нельзя жить, Аркашенька; ужъ плохъ тотъ человѣкъ, въ комъ нѣтъ честолюбія. Стало быть, дружочекъ, я могу надѣяться видѣть тебя съ густыми эполетами?

— Какъ же, маменька, непремѣнно, и до густыхъ эполетъ дослужимся!

И, говоря это, Аркадій Иванычъ невольно поводилъ плечами. Аркадію Иванычу самому вдругъ захотѣлось густыхъ эполетъ, такъ захотѣлось, что, въ эту минуту, онъ былъ бы готовъ отдать болѣе половины своего имѣнія за право, не служа, украсить свои плечи густыми эполетами.

Маменька обняла его и поцѣловала.

- Не забудь же своего обѣщанія, мой другъ, повторила она ему,—сдержи же свое слово. Послѣ, повѣрь, когда дослужишься до большихъ чиновъ, вспомнишь свою мамашу и поблагодаришь ее за то, что она дала тебѣ добрый совѣтъ вступить въ службу... Теперь съ Богомъ, поѣзжай себѣ куда угодно, я тебя не удерживаю.

Аркадій Иванычъ приложился къ маменькиной ручкѣ и, чрезвычайно довольный тѣмъ, что объясненіе, сверхъ его чаянія, кончилось такъ миролюбиво, сѣлъ, присвистывая, на бѣговыя дрожки и помчался въ уѣздный городъ, въ очень пріятномъ расположеніи духа.

У Анны Трофимовны давно ожидали его два пріятеля-помѣщика и уѣздный лѣкарь. Самоваръ уже кипѣлъ на столѣ, бутылки съ коньякомъ и съ ромомъ стояли на окнѣ откупоренныя. Анна Трофимовна и гости выбѣжали на крыльцо встрѣчать Аркадія Иваныча. Аркадій Иванычъ, начиная съ Анны Трофимовны, перецѣловалъ всѣхъ и закричалъ, указывая на лѣкаря:

— Господа, а вѣдь мы сегодня непремѣнно напоимъ нашего эскулапа-то! Не правда ли? Мнѣ и самому, впрочемъ, что-то хочется сегодня пріударить!

— Анна Трофимовна, за дѣло!—воскликнулъ одинъ изъ гостей.

И Анна Трофимовна сѣла къ столу и начала разливать пуншъ.

Потягивая пуншъ, чокаясь съ пріятелями, выпуская изо рта густые клубы дыма, Аркадій Иванычъ забылъ и о маменькѣ, и о данномъ ей обѣщаніи, и о густыхъ эполетахъ, и обо всемъ на свѣтѣ.

За каждымъ новымъ стаканомъ онъ обращался къ своимъ пріятелямъ и говорилъ:

— А что, каковъ пуншикъ-то, милостивые государи?.. Какова моя Аннушка-то? Мастерица на все. Вотъ, что называется, молодецъ-дѣвка! Я вѣдь за это и полюбилъ ее!..

Въ то время, какъ Аркадій Иванычъ наслаждался пуншемъ и похваливалъ Анютку, Елена Терентьевна прогуливалась въ своемъ саду съ барышнею.

— Вы знаете, душенька,—говорила Елена Терентьевна барышнѣ:—я сегодня имѣла формальное объясненіе съ Аркадіемъ Иванычемъ, и онъ мнѣ далъ честное слово осенью вступить въ службу.

- Дай Богъ, чтобъ это такъ было! (Барышня вздохнула.) Хоть бы что-нибудь онъ сдѣлалъ вамъ угодное!.. Только наврядъ ли, мнѣ кажется, онъ сдержитъ свое слово. Что-то это очень сумнительно!

— А что такое?—встрепенулась Елена Терентьевна,—развѣ есть еще что-нибудь новое?

— Новаго-то, родная ничего нѣтъ, да и отъ стараго-то

ему трудно будетъ отстать!.. Говорятъ, Анна Трофимовна...

— Полноте, милая,—перебила Елена Терентьевна,—что за Анна Трофимовна! говорите просто Анютка... Ну, что такое Анютка?..

— Да видите ли, она такъ, говорятъ, приколдовала его къ себѣ,—продолжала барышня,—что онъ безъ ея согласія формально-таки ничего не дѣлаетъ. . Захочетъ ли онъ разстаться съ нею? Развѣ что онъ съ собою ее возьметъ, ну, это другое дѣло.

— Ахъ, если бъ только я могла все это предвидѣть,—произнесла Елена Терентьевна съ судорожнымъ движеніемъ,—я эту голубушку упрятала бы въ доброе мѣсто, въ такое, куда воронъ костей не заноситъ! Ну, теперь нечего дѣлать; за нею еще, можетъ быть, придется ухаживать . Что вы смѣетесь-то? я нешутя говорю.

Елена Терентьевна остановилась и точно очень серьезно посмотрѣла на барышню.

— Да, нечего смѣяться,—повторила она,—если эта бестія имѣетъ на него такое вліяніе, какъ вы говорите, то вамъ бы, впрочемъ, это надобно было хорошенько все разузнать.

— Помилуйте, я все ужъ формально разузнала,—возразила барышня нѣсколько обиженнымъ тономъ – Неужели жъ вы думаете, что я неспособна на это?

И барышня описала въ подробности житье Анны Трофимовны и доказала, какъ дважды-два четыре, что Анна Трофимовна держитъ въ рукахъ Аркадія Иваныча.

— Видите ли?. Какъ не толкуйте, а намъ надобно будетъ какъ-нибудь на нее дѣйствовать; надобно будетъ сдѣлать такъ, чтобъ она, съ своей стороны, начала уговаривать его вступить въ службу... Понимаете?.. Если бъ у меня была ея родня—ну, тогда бы я ее просто припугнула; тогда бы я заставила ее плясать по своей дудкѣ!.. а теперь .. Что жъ такое? Покоришься тяжкой необходимости, и Анютку, при случаѣ, приласкаешь—нечего дѣлать! хотя бы, признаюсь, вмѣсто ласки я бы гораздо охотнѣе накормила ее оплеухами.

Послѣднія слова Елена Терентьевна произнесла не смотря на барышню и какъ бы думая вслухъ, и потомъ пошла по дорожкѣ сада, погрузясь въ глубокое размышленіе.

«То-то, не важничай!—подумала барышня, слѣдуя за нею,— не плюй, матушка, въ колодецъ, придется водицы испить...»

Но вдругъ, какъ бы озаренная вдохновеніемъ, Елена Терентьевна снова остановилась.

— Знаете ли что, душенька?—вскрикнула она.

— Что прикажете, родная?—спросила барышня съ подобострастіемъ.

— Я думаю, это можно лучше устроить вотъ какъ: не съѣздить ли вамъ самой къ Анюткѣ, чтобъ разузнать сначала ея мысли, и чтобъ потомъ настроить ее какъ-нибудь на то, чтобъ она, бестія, дѣйствовала на него, касательно службы-то, а? понимаете?.. Я тутъ, разумѣется, должна быть въ сторонѣ—совершенно въ сторонѣ. Ради Бога, вы обо мнѣ ни слова не упоминайте... мое имя не должно быть тутъ замѣшано; я не могу же, въ самомъ дѣлѣ, вступить въ сношеніе съ какой-нибудь Анюткой.. Ужъ я до этого не унижусь... а вы, такъ, какъ будто просто, понимаете заѣхали къ ней отъ себя.. Вамъ это можно.. Вы этимъ нисколько не замараете себя

Барышня, которой давно смертельно хотѣлось подъ какимъ-нибудь предлогомъ побывать у Анны Трофимовны и напиться у ней кофе, съ восторгомъ приняла предложеніе своей благодѣтельницы и обѣщала въ точности исполнить ея порученіе.

— Я это беру на себя единственно для того только,—говорила она,—чтобъ успокоить васъ, наша голубушка, а не будь это для васъ, я ни за что бы не поѣхала въ гости къ холопкѣ!

— Пожалуйста же вы все это, душенька, устройте умненько,—повторяла Елена Терентьевна барышнѣ,—и главное, чтобъ меня только не вмѣшивать, чтобъ обо мнѣ и помина не было!... А на слово, которое Аркадій Иванычъ мнѣ далъ, я и не полагаюсь, нѣтъ! Онъ у меня, признаюсь, совсѣмъ изъ вѣры вышелъ.. безпрестанно меня обманыва-

етъ... Но меня еще одна мысль очень тревожитъ... Это, признаюсь, часто мнѣ приходитъ въ голову... Ну, какъ, сохрани Господи, онъ на ней женится? что я тогда буду дѣлать, скажите?

— Ужъ это было бы слишкомъ! Нѣтъ, онъ не захочетъ быть вашимъ убійцею, повѣрьте.

— То-то, я тоже думаю, а все для моего спокойствія мнѣ бы хотѣлось, знаете, совершенно удалить ее отъ него Объ этомъ еще мы когда-нибудь поговоримъ съ вами. Впрочемъ, и то сказать, вѣдь это, я думаю, онъ все шалитъ отъ праздности; а какъ займется службой, такъ и блажь изъ головы выйдетъ. Господи, когда-то у меня будетъ душа совсѣмъ спокойна? Дождусь ли, наконецъ, я этого дня? Охъ, дѣти, дѣти! дорого вы намъ стоите! Аркадій Иванычъ у меня отнялъ полжизни, душенька; это я чувствую... Отчего я такъ постарѣла-то?

— И, несмотря на все это,—замѣтила барышня,—вы нимало не постарѣли. Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ знаю, вы вотъ ни на капельку не перемѣнились. Вы и теперь, ей-Богу, лучше многихъ молодыхъ, это не я одна, это всѣ говорятъ

— Полноте, полноте, душенька! какъ можно это!—воскликнула Елена Терентьевна, и на лицѣ ея изобразилась пріятнѣйшая улыбка, и она дружески потрепала по плечу барышню и прибавила самымъ нѣжнымъ голосомъ:

— Ахъ, вы, моя добрая!

Барышня на другой же день послѣ этого разговора съ утра отправилась къ Аннѣ Трофимовнѣ и осталась совершенно довольна ею.

— Что ни говорите, дѣвушки,—толковала барышня дѣвкамъ, вечеромъ, по возвращеніи,—а у Аннушки предобрѣйшее сердце. И такъ умѣетъ принять, обласкать, какъ будто благородная какая, какъ будто вѣкъ своимъ домомъ жила!.. право! И манеры у ней такія стали, что чудо! А ужъ какъ она меня угощала, вы себѣ и представить не можете. Ужъ мы пили, пили кофе, ей-Богу, столько чашекъ выпили, что ужъ я и счетъ потеряла, и вѣдь какой кофей безподобный; цѣльный, безъ цикорія!

Съ этихъ поръ барышня довольно часто начала посѣщать Анну Трофимовну. И эти поѣздки барышни, къ величайшему удовольствію Елены Терентьевны, увѣнчались полнымъ успѣхомъ, потому что Анна Трофимовна непремѣнно обѣщалась уговаривать Аркадія Иваныча, чтобъ онъ поступилъ на службу. Анна Трофимовна начинала уже скучать въ уѣздномъ городѣ, говорила, что ей совсѣмъ житья нѣтъ отъ *сплётокъ* и что она охотно бы поѣхала съ Аркадіемъ Иванычемъ, чтобъ только избавиться отъ этихъ проклятыхъ *сплётокъ*.

Такимъ образомъ Елена Терентьевна успокоилась и съ нетерпѣніемъ ожидала осени, чтобъ снова увидѣть своего Аркадія Иваныча въ военномъ мундирѣ, который такъ шелъ къ нему. Воображеніе ея снова радостно разыгралось: она представляла сына то въ полковничьихъ, то въ генеральскихъ эполетахъ, то въ орденахъ, то въ звѣздахъ и даже съ лентою черезъ плечо... И при этой мечтѣ сердце ея билось, духъ замиралъ, и слеза дрожала на рѣсницѣ.

«Тогда бы,—думала она,—ужъ я бы задала тонъ всѣмъ этимъ нашимъ барынямъ; тогда бы я... о! тогда бы я ихъ всѣхъ, просто, въ грязь втоптала, и онѣ бы у меня прикусили язычки, голубушки!»

Но, увы! судьбѣ не угодно было осуществить высокія надежды Елены Терентьевны. Эта судьба, въ которую такъ безгранично, такъ слѣпо она вѣрила, жестоко подшучивала надъ нею, приготовляя ей новый и неожиданный ударъ.

Однажды (это случилось, кажется, въ половинѣ іюня), Аркадій Иванычъ вскочилъ съ постели часу во второмъ послѣ полуночи, потому что его мучила безсонница, и раза три прошелся съ досадой по комнатѣ, придумывая, что бы ему такое предпринять. Разныя мысли, одна другой соблазнительнѣе, толпились въ головѣ его, но ни одну изъ этихъ мыслей онъ почему-то не привелъ въ исполненіе и рѣшился просто отправиться на охоту. Для этого онъ разбудилъ своего камердинера; камердинеръ перебудилъ всѣхъ лакеевъ: лакеи перебудили, въ свою очередь, всѣхъ кучеровъ,

а кучера охотниковъ. Поднялся страшный шумъ и гвалтъ во всемъ домѣ, на дворѣ и на конюшнѣ. Толпы лакеевъ начали соваться безъ толку изъ стороны въ сторону. Десять охотниковъ принялись чистить одно барское ружье, только мѣшая другъ другу; до пятнадцати кучеровъ и кучеренковъ засуетились около барскаго тарантаса—и только часа черезъ четыре кончились всѣ эти приготовленія и сборы. Баринъ взялъ съ собою двухъ охотниковъ и, часу въ шестомъ въ исходѣ, изволилъ выѣхать изъ дома по дорогѣ къ деревнѣ Сычихѣ. Въ двухъ верстахъ за этой деревней, которая лежала на сѣверъ отъ села Кривухина, находились большія болота, въ которыхъ, по словамъ охотниковъ, дичь никогда не переводилась.

Часовъ до двухъ пополудни охотники, по колѣни въ водѣ, проходили за дичью. Аркадій Иванычъ, называвшій себя вторымъ охотникомъ въ губерніи, подстрѣлилъ только одну дикую утку и то какъ-то нечаянно, но патронташъ свой биткомъ набилъ дичью, настрѣлянною его слугами, и послѣ этого двѣ недѣли сряду кричалъ всѣмъ своимъ знакомымъ, что онъ настрѣлялъ столько дичи въ продолженіе трехъ часовъ, сколько другому и хорошему охотнику не удастся настрѣлять въ полтора года! Въ два часа Аркадій Иванычъ, утомленный охотою, пожелалъ позавтракать и расположился для этого въ ближайшемъ лѣсу. Лѣсокъ этотъ находился неподалеку отъ дома владѣтеля, или, лучше сказать, владѣтельницы деревни Сычихи, потому что владѣтель уже болѣе года передъ этимъ лежалъ разбитый параличомъ.

Аркадій Иванычъ покушалъ аппетитно, выпилъ почти цѣлую фляжку горькой водки и совсѣмъ было уже началъ собираться домой, какъ вдругъ между кустовъ и деревьевъ мелькнуло что-то цвѣтное. «Эге!—подумалъ онъ,—да это не дурно! Сюда, кажется, канальство! залетѣла какая-то пташечка... ужъ не субреточка ли это какая-нибудь изъ Сычихи?» Накинувъ набекрень фуражку и бросивъ ружье, онъ опрометью кинулся въ ту сторону, гдѣ мелькнуло это цвѣтное что-то...

И вдругъ... Аркадій Иванычъ остановился, замирая отъ удивленія и восторга.

Въ четырехъ шагахъ отъ него, впрочемъ, задомъ къ нему, стояла дѣвушка въ коротенькомъ ситцевомъ платьицѣ, съ пунцовымъ платочкомъ на шеѣ, съ корзиной въ рукѣ. Она закричала, и этотъ голосъ показался Аркадію Иванычу необыкновенно звучнымъ и гармоническимъ:

— Ѳеклуша! Ѳеклуша!.. гдѣ ты?—Ау!.. ау!.. Посмотри, Ѳеклуша, какой я грибъ нашла! березовикъ!..

И незнакомка наклонилась, чтобъ сорвать этотъ грибъ... Аркадій Иванычъ увидѣлъ ножку красивую, полную и стройную, ножку въ довольно тонкомъ и бѣломъ чулкѣ. У него пробѣжали мурашки по тѣлу. Ему ужасно захотѣлось посмотрѣть личико незнакомки... Онъ сдѣлалъ еще два шага впередъ и сказалъ:

— А что, сударыня, вы много набрали грибовъ?

Незнакомка вздрогнула, оборотилась назадъ, взвизгнула, мелькнула въ кустахъ и исчезла въ одно мгновеніе ока... Только долго еще потомъ раздавался по лѣсу крикъ испуганной незнакомки:

— Ѳеклуша! Ѳеклуша!..

Наконецъ все смолкло. Аркадій Иванычъ съ досадою топнулъ о землю ногою и проворчалъ сквозь зубы:

— Не будь я въ этихъ проклятыхъ сапожищахъ она бы не увернулась отъ меня!.. Да кто бъ это такая, однако?

Одинъ изъ охотниковъ, стоявшій сзади Аркадія Иваныча и слышавшій этотъ вопросъ, отвѣчалъ:

— Да это, сударь, знаете кто? Это, кажется, сама сычихинская барышня.

— Неужели?—вскрикнулъ Аркадій Иванычъ.

— Точно что такъ-съ. Вишь какъ, бѣдняжечка, она васъ испугалась, и грибы-то свои всѣ разроняла... А грибки-то славные!.. Ай да барышня!.. спасибо ей!.. Намъ на обѣдъ пригодится...

— Такъ она ужъ такъ выросла? (Аркадій Иванычъ вспомнилъ, что онъ нѣсколько разъ видѣлъ ее маленькую и да-

же разъ какъ-то играль съ нею въ дѣтствѣ...) И вѣдь, кажется, она прехорошенькая?

— Нештó, сударь,—отвѣчалъ охотникъ,—только ужъ, кажись, сухопаровата больно...

— А ножки-то!.. какія у нея ножки! Гм! Покорно прошу!

И Аркадій Иванычъ, возвращаясь съ охоты и потомъ уже сидя дома, все мечталъ о ножкахъ сычихинской барышни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Pauvre petite Perica! tu n'as pas su et tu ne sauras jamais quel bien tu me fis en me montrant parmi les singes une créature humaine douce, charmante et serviable sans arrière-pensée!..

George Sand.

ГЛАВА I.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ деревни Сычихи, въ которой, по послѣдней ревизіи, считалось 35 душъ мужескаго пола, на небольшомъ холмѣ стоялъ деревянный барскій домикъ въ одинъ этажъ — ветхій и мрачный. Передъ нимъ, въ полуразвалившемся палисадникѣ, возвышались два клена и одна рябина, густо разросшіеся и совершенно покрывавшіе ветхую крышу своими вѣтвями. Съ правой стороны примыкалъ къ домику небольшой садъ, обнесенный глухимъ заборомъ, покачнувшимся отъ старости и подпертымъ во многихъ мѣстахъ кольями и досками. Въ одной половинѣ этого сада, именовавшагося *фруктовымъ*, красовались гряды съ капустою, съ горохомъ, съ морковью, съ лукомъ и съ иными огородными овощами, а въ другой половинѣ росли пять или шесть яблонь, столѣтняя черемуха, штукъ до десяти вишневыхъ деревьевъ да нѣсколько кустовъ малины, смородины и крыжовника: но эти кусты были заглушены репейникомъ и

крапивой, а дорожки сада покрыты травой. Бесѣдка въ самой серединѣ сада, покачнувшаяся на одинъ бокъ, гармонировала со всѣмъ ее окружавшимъ. Полъ въ бесѣдкѣ перекосило; сквозь ея потолокъ проходилъ дождь; въ углахъ потолка ласточки вили гнѣзда; стекла въ оконной рамѣ были перебиты, и на полусгнившей крышѣ, подернутой мохомъ, начинало подниматься какое-то деревцо. Въ концѣ сада чернѣла необшитая тесомъ избушка: то была господская баня. Въ саду и на дворѣ, также заросшемъ крапивою, бродили куры, гуси и утки. Близъ воротъ стояла собачья будка съ цѣпью, а къ цѣпи былъ привязанъ любимецъ барина — старый и мохнатый Барбоска, который днемъ спалъ, а по ночамъ лаялъ и вылъ. Кое-какія ветхія хозяйственныя строенія, разбросанныя около барскаго дома въ безпорядкѣ, довершали эту печальную картину. Мѣстоположеніе въ Сычихѣ не отличалось особенною красотою: кромѣ холма, на которомъ стоялъ барскій домъ, не было ни одного пригорка въ окружности; рѣчка, по имени которой называлась деревня, походила болѣе на канавку, чѣмъ на рѣчку, и почти совсѣмъ высыхала въ жаркое лѣто; а грязный прудъ посреди деревушки походилъ болѣе на лужу, чѣмъ на прудъ, и въ этой лужѣ обыкновенно купались деревенскіе мальчишки и дѣвчонки.

Владѣтель Сычихи былъ человѣкъ необыкновенно добрый, неуклюжій и тучный. Онъ никакими дѣлами, даже своими собственными, никогда не занимался и ни о чемъ отродясь не мыслилъ, а всю жизнь только кушалъ, угощалъ гостей и спалъ. Это были обыкновенныя его занятія. Его звали Анисимомъ Васильичемъ. Анисимъ Васильичъ любилъ несказанно свою супругу Марѳу Алексѣевну, хотя иногда въ сердцахъ частенько и больно ее колачивалъ. Марѳа Алексѣевна съ своей стороны также очень любила Анисима Васильича.

— Тридцать два года прожила съ своимъ голубчикомъ, — говаривала она обыкновенно, — да, батюшка, тридцать лѣтъ не одинъ день! И, нѣчего Бога гнѣвить, на жизнь свою не могу пожаловаться. Конечно, всяко бывало: и бранились, и ссорились съ муженькомъ, и, нѣчего грѣха таить, мнѣ-таки

отъ него частенько доставалось, — да вѣдь нельзя же безъ этого. Глупа была, молода была: такъ надо было уму-разуму учить. Прежде это было мнѣ и не по нраву, а послѣ слюбилось. Извѣстно, наше бабье дѣло, а мужикъ глава въ домѣ.

Марѳа Алексѣевна была величайшая тараторка, но сердце имѣла прекрасное и была, какъ говорится, очень *жалостлива* къ дѣтямъ. И Господь благословилъ ее дѣтьми: у ней было четыре сынка и одна дочка, и всѣ они взросли на ея рукахъ, потому что Анисимъ Васильичъ объ нихъ нисколько не заботился. Онъ сказалъ наотрѣзъ Марѳѣ Алексѣевнѣ:

— А ужъ ты, Марѳуша, съ ними какъ хочешь, такъ и перевѣдывайся. Ты ихъ родила, такъ ты за ними и ухаживай.

Впрочемъ, сыновей онъ нерѣдко сѣкъ, диралъ за вихоръ и за уши, до дочери же никогда не прикасался. Когда Марѳа Алексѣевна вскормила и выростила своихъ сыновей, она начала хлопотать, какъ бы ихъ пристроить, и, по протекціи добрыхъ людей, они были опредѣлены въ армейскій полкъ юнкерами. Марѳа Алексѣевна, провожая ихъ, горько плакала и напекла имъ въ дорогу столько пироговъ, что они рѣшительно не знали, куда дѣвать ихъ.

— Кушайте, голубчики, на здоровье, — говорила имъ Марѳа Алексѣевна, — да поминайте свою маменьку.

Анисимъ Васильичъ простился съ ними довольно хладнокровно; онъ только перекрестилъ ихъ и сказалъ:

— Ну, Богъ съ вами, прощайте; да смотрите у меня — служить хорошенько, а не то вамъ и благословенія моего не будетъ.

И если потомъ кто-нибудь спрашивалъ его:

— А что ваши дѣтки, Анисимъ Васильичъ?

Онъ обыкновенно отвѣчалъ:

— А Богъ ихъ знаетъ! Что̀ дѣти! Не будь у меня дѣтей, я бы и домишко ужъ давно исправилъ, и мельницу выстроилъ, и ригу бы перестроилъ, а теперь ничего не могу сдѣлать. Я вѣдь только въ нихъ и живу. Они у меня все съѣдаютъ (хоть всѣмъ извѣстно было, что Анисимъ Василь-

ичъ одинъ съѣдалъ гораздо болѣе, нежели всѣ его дѣти вмѣстѣ).

Анисимъ Васильичъ служилъ нѣкогда по выборамъ, но эта служба показалась ему отяготительной: онъ устранилъ себя отъ нея за болѣзнію и съ тѣхъ поръ безвыѣздно усѣлся въ своей деревнѣ, облачился въ халатъ и о другомъ какомъ-либо костюмѣ и слышать не хотѣлъ. Въ одномъ и томъ же халатѣ онъ сидѣлъ дома при своихъ домашнихъ, прохаживался по своимъ полямъ и принималъ у себя гостей мужескаго и женскаго пола.

— А мнѣ что, — говорилъ Анисимъ Васильичъ, — эка важность, что я въ халатѣ! Кто захочетъ меня видѣть да отвѣдать моей хлѣба-соли, тотъ не посмотритъ на то, въ чемъ я, а все-таки пріѣдетъ ко мнѣ; а кто не захочетъ — Богъ съ нимъ, мнѣ того и не нужно.

Такимъ образомъ Анисимъ Васильичъ нѣсколько лѣтъ прожилъ въ халатѣ беззаботно и спокойно, угощая, кушая и потчевая до тѣхъ поръ, покуда не постигло его несчастіе. Ударъ поразилъ его внезапно въ самую торжественную минуту его жизни, то-есть во время обѣда. У него отнялся языкъ и омертвѣла вся правая сторона, и хотя впослѣдствіи онъ получилъ возможность кое-какъ говорить, но уже ни рука, ни нога его не приходили въ движеніе до самой смерти. Первое время послѣ этого горестнаго событія на Мароу Алексѣевну еще тяжелѣе было смотрѣть, нежели на самого Анисима Васильича. Бѣдная Мароа Алексѣевна не осушала глазъ и только повторяла безпрестанно:

— Охъ, охъ! Что-то я теперь стану дѣлать безъ него, безъ моего сердечнаго друга? Гдѣ мнѣ, глупой бабѣ, со всѣми управиться? (Хоть Мароѣ Алексѣевнѣ было очень извѣстно, что Анисимъ Васильичъ никогда ничѣмъ не управлялъ и ни во что не входилъ.) — Вѣдь я теперь одна-одинешенька, какъ пёрстъ; помощниковъ нѣтъ: сыновья далеко, дочь еще ничего не понимаетъ, она молода и глупа (хотя дочери ея было уже 18 лѣтъ). Лучше бы ужъ меня самоё Господь такъ наказалъ, въ тысячу бы разъ лучше!

Но мѣсяца черезъ полтора Мароа Алексѣевна привыкла

къ своему новому положенію и перестала жаловаться. Она ухаживала за больнымъ вмѣстѣ съ дочерью. Анисимъ Васильичъ, не обращавшій прежде никакого вниманія на свою Глашу, во время болѣзни раза два обнаружилъ къ ней особенное участіе, вѣроятно, тронутый ея попеченіями о немъ. Только у дверей гроба впервые пробудилось въ немъ что-то похожее на чувство отца. Онъ гладилъ Глашу по головѣ и лепеталъ невнятно, какъ ребенокъ, глядя на ее:

«Добрая моя, добрая моя!.. Богъ... Богъ...»

Онъ хотѣлъ сказать: «Богъ тебя не оставитъ», но не могъ: языкъ не повиновался ему, и онъ начиналъ рыдать.

Глаша также полюбила отца болѣе со времени его болѣзни... Но пора мнѣ познакомить читателя съ этою Глашею.

Глаша была не хороша и не дурна. Черты лица ея, правильныя и пріятныя, не одушевлялись никакимъ выраженіемъ; большіе каріе глаза, осѣненные длинными рѣсницами, вѣчно казались сонными; она была средняго роста, имѣла недурную талію, но не умѣла держаться, и оттого казалась нѣсколько сутуловатой. Она, бѣдная дѣвочка, рѣшительно не понимала, что̀ такое кокетство, и какая-нибудь столичная барышня-кокетка средняго сословія просто расхохоталась бы, взглянувъ на нее въ свой лорнетъ, и, вѣроятно, сказала бы, сдѣлавъ презрительную гримасу и обратясь къ своей подругѣ: «Что̀, это, ma chère? горничная?..» Но, право, эта Глаша, не имѣвшая никакихъ манеръ, не обуреваемая желаніемъ плѣнять и нравиться, простая, откровенная, невоспитанная Глаша, была все-таки несравненно лучше этихъ свѣтскихъ, воспитанныхъ и граціозныхъ петербургскихъ барышень (да проститъ мнѣ благосклонная читательница это невольное замѣчаніе!) Глаша говорила мало, и то какъ будто нѐхотя, и сидѣла вѣчно сложа ручки и свѣсивъ головку на сторону. Была ли то грусть или просто апатія — трудно было рѣшить. Можетъ быть, этотъ мрачный, развалившійся домъ, въ которомъ она выросла, эта печальная и бѣдная природа, окружавшая ее, эта однообразная деревенская жизнь, этотъ умирающій отецъ, — все это имѣло вліяніе на ея характеръ. Глаша почти ничѣмъ не занималась, потому что не была

пріучена ни къ какимъ занятіямъ, даже къ хозяйственнымъ. Марѳа Алексѣевна всегда говорила про нее:

— Она еще молода, глупа. Богъ дастъ выйдетъ замужъ, своимъ домомъ заживетъ, такъ тогда всему научится.

Впрочемъ, Глаша иногда вязала для отца чулки и чинила бѣлье, съ тѣхъ поръ, какъ у Марѳы Алексѣевны стали слабы глаза, да вышивала по канвѣ года три сряду какихъ-то гусей или утокъ, или голубей, — Богъ знаетъ: разобрать хорошенько было невозможно. Книгъ она никакихъ не читала, потому что въ домѣ ея родителей, кромѣ святцевъ, старыхъ календарей и «Московскихъ Вѣдомостей», никакихъ книгъ и въ заводѣ не имѣлось. Правда, однажды кто-то завезъ къ нимъ романъ, подъ заглавіемъ: *Аббатъ, или нѣкоторыя черты изъ жизни Маріи Стюартъ*, и Глаша принялась было читать этотъ романъ, но, къ несчастію, Марѳа Алексѣевна застала ее за чтеніемъ, вырвала у ней книжку изъ рукъ и сказала:

— Это что́ такое? Романы читать, глупостями голову набивать? И кто тебѣ далъ эту книжку? Вѣдь ты не знаешь, дурочка, что́ такое въ романахъ пишутъ. Вѣдь, окромѣ того, что романами грѣхъ заниматься, въ романахъ пишутъ все такія глупости, что дѣвицамъ и читать стыдно.

Глаша отъ души повѣрила словамъ маменьки, потому что привыкла во всемъ вѣрить ей и повиноваться безпрекословно, и съ тѣхъ поръ уже не брала въ руки ни одной книги, а на романы просто и смотрѣть боялась. Мыслящія способности Глаши пребывали въ совершенномъ бездѣйствіи. Она не разсуждала ни о чемъ, потому что за нее разсуждала маменька.

— Дѣвица не должна имѣть своего ума, — безпрестанно твердила ей Марѳа Алексѣевна. — У дѣвицы не должна быть своя воля. Ей слѣдуетъ во всемъ повиноваться родителямъ: это ужъ такъ Богъ устроилъ. Ну, а какъ выйдешь замужъ, такъ тогда и будешь сама себѣ госпожа, и то, матушка, если муженекъ позволитъ, — добавляла Марѳа Алексѣевна съ улыбкою.

Глаша имѣла многія странности, которыя, впрочемъ, я

не берусь объяснить. Иногда, при гостяхъ, устремивъ неподвижный и грустный взоръ на одну точку въ продолженіе получаса, она Богъ знаетъ почему не перемѣняла своего положенія и не замѣчала ничего, что̀ дѣлается и говорится вокругъ ея, а иногда, оставляя работу, казалось, съ любопытствомъ прислушивалась къ нелѣпѣйшимъ провинціальнымъ сплетнямъ, которыя въ сотый разъ повторялись ея маменькою. Съ своею горничною, Ѳеклушею, обращалась она очень ласково, ни съ кѣмъ не была такъ разговорчива, какъ съ нею, и никогда не бранила ее; но если Марѳа Алексѣевна, взыскивая что-нибудь съ Ѳеклуши, давала ей оплеухи въ ея присутствіи, Глаша смотрѣла на это спокойно, нимало не оскорбляясь этимъ и не измѣняясь въ лицѣ.

Глаша любила пышные садовые цвѣты, и на окнѣ ея часто стояла полуразбитая банка съ букетомъ этихъ цвѣтовъ, которые доставала ей изъ богатыхъ оранжерей сосѣдняго села поповская дочка; но на полевые цвѣты Глаша смотрѣла съ презрѣніемъ. Ее очень занимали цыплята и гусенята, и нерѣдко она брала ихъ на руки и цѣловала, приговаривая: «Ахъ, какія душки!» Она всякій день кормила Барбоску и ласкала его — и Барбоска всегда привѣтливо махалъ хвостомъ, завидя добрую барышню.

— Ужъ охота тебѣ этого поганаго пса кормить, — говорила ей Марѳа Алексѣевна, — кабы моя была воля, кабы не папенька, я давно бы его подстрѣлить велѣла.

— За что же, маменька? — спрашивала Глаша, — онъ такой добрый.

— Ахъ ты, дурочка! право, у тебя всѣ добрые; а онъ, мерзкій, мнѣ спать не даетъ: все воетъ по ночамъ; вотъ, посмотри, и навоетъ что-нибудь.

Къ чести Глаши должно также замѣтить, что она была довольно чистоплотна, хотя этою добродѣтелью не отличался никто изъ окружавшихъ ее; впрочемъ, по воскресеньямъ и по праздникамъ она одѣвалась несравненно чище, чѣмъ по буднямъ. По воскресеньямъ и по праздникамъ ужъ рѣшительно не брала иголки въ руки и ничего не дѣлала, потому что маменька твердила ей съ дѣтства: — по праздни-

камъ работать грѣхъ, на то есть будни; самъ Господь Богъ опочилъ въ седьмой день отъ трудовъ. Глаша была, между прочимъ, очень богомольна. Въ церкви и дома она молилась усердно и клала земные поклоны; въ ея комнаткѣ стояла кивотка, и она аккуратно на всякій большой праздникъ зажигала передъ образами лампаду. Болѣе всѣхъ другихъ праздниковъ ей нравился праздникъ Рождества, потому что объ Рождествѣ начинались гаданья, и она постоянно всякій годъ вмѣстѣ съ Ѳеклушею выливала олово, топила воскъ, жгла бумагу и проч. Но о чемъ же гадала Глаша? Она и сама не знала. Все это она дѣлала такъ, по привычкѣ, чтобъ что-нибудь дѣлать, чтобъ какъ-нибудь убить время. Всѣ обычаи и предразсудки кормилицы, няни, маменьки, папеньки и Ѳеклуши вкоренились въ ней незамѣтно. Она боялась увидѣть новый мѣсяцъ съ лѣвой стороны; она никогда не вставала лѣвой ногой съ постели; она вздрагивала отъ испуга, если просыпала нечаянно за столомъ солонку, и если въ комнатѣ горѣло три свѣчи, она непремѣнно тушила третью. Изъ всего этого благосклонная читательница можетъ убѣдиться, что Глаша была не ниже и не выше этого міра, среди котораго назначено было прозябать ей. Въ простосердечномъ невѣдѣніи, при отсутствіи всякаго духовнаго развитія, она была довольна своею участью и не постигала возможности лучшей жизни. Никакія внутреннія видѣнія не тревожили ея дремавшей души, и никогда не разверзался передъ нею этотъ другой міръ, лучезарный міръ идеальнаго, прекраснаго и разумнаго, міръ упоительныхъ восторговъ и высокихъ скорбей, къ которому порывается только человѣкъ, почувствовавшій пошлость и мелочность окружающей его дѣйствительности и возвысившійся до сознанія своего собственнаго человѣческаго достоинства. Глаша не знала, что такое чувство человѣческаго достоинства. Она знала только, что она выше своей Ѳеклуши, потому что Ѳеклуша простая дѣвка, а она барышня; потому что Ѳеклуша повинуется, а она приказываетъ. Привычка замѣняла для Глаши все: она жила и дышала привычкою, такъ же, какъ и ея маменька, какъ ея бабушка, прабабушка и такъ далѣе. Любовь... это слово,

которымъ мы такъ невѣжественно злоупотребляемъ на каждомъ шагу, любовь была чужда моей Глаши. Говорятъ, будто бы любовь есть высочайшее, божественное чувство, одухотворяющее и просвѣтляющее человѣка; говорятъ, будто бы то же любовь для человѣка, чтó солнце для цвѣтка. Святое дыханіе этой любви не прикасалось къ моей бѣдной деревенской барышнѣ — и она росла, блѣдная и вялая, какъ цвѣтокъ, заглохшій въ кустахъ, до котораго никогда не достигалъ лучъ солнечный. Правда, она любила и папеньку, и маменьку, и няню, и Ѳеклушу, и Барбоску, но это не была любовь сознательная и разумная, а просто привычка.

Маменька, съ своей стороны, точно также любила Глашу, и часто, лаская ее, говаривала ей:

— Охъ-охъ-охъ! какъ-то мнѣ придется разстаться съ тобой, дурочка, когда ты замужъ-то выйдешь? Ужъ я такъ къ тебѣ привыкла, что и сказать нельзя. Безъ тебя мнѣ будетъ тошнёхонько... Чувствуешь ли ты это, дурочка?

— Сохрани Господи! ужъ я съ вами ни за что въ свѣтѣ не разстанусь, маменька! — возражала Глаша сквозь слезы.— Да что я безъ васъ буду дѣлать?..

— Экая ты, право, глупая! — перебивала Марѳа Алексѣевна, качая головой, — коли часъ воли Божіей придетъ, такъ тогда нѣчего дѣлать, поплачемъ, да и разстанемся. Не вѣкъ же тебѣ сидѣть у меня за пазушкой, не вѣкъ же тебѣ оставаться въ дѣвкахъ.

Глаша была всегда на глазахъ у Марѳы Алексѣевны, и Марѳа Алексѣевна въ самомъ дѣлѣ до такой степени привыкла къ ней, что, бывало, если Глаша уйдетъ за ягодами или за грибами, добрая и говорливая старушка сейчасъ соскучится по ней.

Такъ точно случилось и въ то самое утро, когда герой мой охотился близъ деревни Сычихи. Въ это утро Глаша отправилась съ Ѳеклушею за грибами и довольно долго не возвращалась домой. Марѳа Алексѣевна все поджидала ее и, наконецъ, начала выходить изъ терпѣнія.

— Да чтó это, — ворчала она, перекладывая съ блюда въ банки свареную ею землянику, — да куда это дѣвалась ба-

рышня? Куда это она запропастилась? Вѣдь вотъ, я чай, часа три слишкомъ, какъ ея нѣту. Ужъ вѣрно эта негодная Ѳеклушка Богъ знаетъ куда завела ее... Шутка ли, три часа! Ужъ не случилось ли съ ними чего-нибудь?.. Ужь вотъ постой... Я же за это Ѳеклушку... Вишь зелье какое! Ужъ я же вотъ оттаскаю ее за косу — погоди!..

И Марѳа Алексѣевна, разложивъ варенье въ банки и припечатавъ каждую банку собственною печатью (на которой былъ изображенъ голубокъ, несущій во рту письмо съ надписью наверху: «Поспѣшай скорѣй къ милому»), вышла на крыльцо. Въ эту минуту очень кстати Глаша, а вслѣдъ за нею и ея горничная вбѣжали во дворъ. Щеки Глаши горѣли яркимъ румянцемъ, и она едва переводила дыханіе.

— Что̀ это съ тобою, матушка? Гдѣ это вы таскались до сихъ поръ? — закричала Марѳа Алексѣевна.

Глаша такъ запыхалась, что не могла выговорить ни слова. Между тѣмъ Ѳеклуша шмыгнула незамѣтно въ людскую, предчувствуя грозу.

— Да отдохни. Экая дурочка! Зачѣмъ же ты такъ бѣжала, сломя голову?

— Ахъ, маменька! — воскликнула Глаша.

— Съ нами крестная сила! Да никакъ ты съ ума спятила? Что это такое съ тобою приключилось?

— Ахъ, голубушка-маменька! — снова начала Глаша, оправясь немного, — я столько набрала сегодня грибовъ, столько, что страхъ... и вѣдь какіе все грибы-то: бѣлые, подосиновки, березовые! Полнешеньку корзину!

— Ну, да гдѣ жъ они? у Ѳеклуши, что ли?

— Какое у Ѳеклуши! — произнесла печально Глаша, — нѣту, маменька, я ихъ всѣ бросила въ лѣсу и съ корзинкой.

— Это зачѣмъ?

— Ахъ, маменька! Вообразите себѣ, я такъ перепугалась... Ахъ, какія страсти, маменька, послушайте!.. Видите ли, ужъ я набрала цѣлую корзинку и ужъ домой хотѣла итти... вдругъ, знаете, я увидѣла березовикъ... да вѣдь какой березовикъ-то, маменька, чудо! Вотъ я, знаете, за нимъ и наклонилась, какъ вдругъ изъ-за дерева выскочилъ мужчи-

на — такой высокій, толстый — и прямо ко мнѣ, и, что жъ бы вы думали? заговорилъ со мною... ей Богу. У меня корзинка-то такъ и вывалилась изъ рукъ; я пустилась отъ него бѣжать изо всей мочи и чувствую, что у меня ноги-то такъ вотъ и подкашиваются, такъ и подкашиваются...

Марѳа Алексѣевна всплеснула руками.

— А гдѣ же мерзкая-то Ѳеклушка была?

— Она была тутъ же, недалеко, да она ничѣмъ не виновата, маменька...

— Вотъ я ее, бестію!.. Вишь ты... барышню оставляетъ одну... Ахъ, она этакая!.. Ну, а кто же такой былъ этотъ мужчина-то? что это за пострѣлъ такой?

— А Богъ его знаетъ, маменька; видно помѣщикъ какой.

— А каковъ же онъ изъ себя-то?

— Я, маменька, съ испугу-то и не разобрала.

— Экая же ты глупая! А зачѣмъ же онъ это по лѣсу-то таскался, сорванецъ этакой?

— Вѣрно, что охотникъ какой-нибудь, маменька, потому что передъ этимъ мы слышали съ Ѳеклушей выстрѣлы.

— Охотникъ! поди-ка ты! Да кто жъ бы это такой?

Марѳа Алексѣевна задумалась на минуту и потомъ начала пересчитывать по пальцамъ всѣхъ сосѣднихъ помѣщиковъ, которые занимались охотой.

Это происшествіе до того заняло ее, что она забыла даже раздѣлаться съ Ѳеклушкой. Подозрѣніе ея попеременно падало то на того, то на другого. Она мучилась, потому что однѣ догадки не могли удовлетворить ее, а только еще болѣе раздражали ея любопытство.

Но любопытство Марѳы Алексѣевны было удовлетворено на слѣдующее утро и притомъ самымъ неожиданнымъ образомъ.

Марѳа Алексѣевна сидѣла въ гостиной вмѣстѣ съ Глашей. Марѳа Алексѣевна, по обыкновенію, тараторила; Глаша, по обыкновенію, лѣниво слушая ее, дошивала лапки у гуся. Вдругъ слухъ ихъ былъ пораженъ звономъ и бренчаньемъ бубенчиковъ.

— Что это?—вскрикнули онѣ почти въ одинъ голосъ и взглянули другъ на друга.

Марѳа Алексѣевна бросилась было къ окну, но изъ окна ничего не возможно было видѣть: до того густо разрослись въ палисадникѣ деревья. Ей послышался только въ этотъ разъ, вмѣстѣ съ звономъ, лошадиный топотъ. Любопытная старушка не утерпѣла и выбѣжала на улицу. Глаша кинула иглу и послѣдовала за нею. Дѣвки тоже побросали свое дѣло и пустились вслѣдъ за господами.

— Вотъ-те разъ!—вскрикнула Марѳа Алексѣевна, подбочась,—да это никакъ къ намъ гости!

Въ самомъ дѣлѣ, коляска, запряженная четвернею въ рядъ, въ великолѣпной сбруѣ съ *малиновымъ звономъ*, переѣхавъ животрепещущій мостикъ, перекинутый черезъ рѣчку Сычиху, поднималась на холмъ прямо къ барскому дому.

— Такъ и есть что къ намъ! Да кто бы это?.. Ахти! а я простоволосая!

Марѳа Алексѣевна схватила себя за голову. Сѣдые волосы ея были растрепаны, а на затылкѣ торчала небольшая косичка, стянутая бѣлыми тесемками.

— Полька! Зойка! Ѳеклушка! Чепецъ, поскорѣе чепецъ! Ахти, Господи! да кто бы это нечаянный гость... не даромъ же я два раза вчера свѣчку погушила... кто бы это?.. Зойка! да что жъ ты, каналья, стоишь разиня ротъ? Слышишь ли, я тебѣ говорю: чепецъ!

И Марѳа Алексѣевна со всѣхъ ногъ пустилась бѣжать домой. Зойка, Полька и Ѳеклушка, толкая другъ друга и пересмѣхаясь между собою, побѣжали за нею.

Глаша также отправилась за маменькою и спряталась въ чуланчикъ, который былъ въ сѣняхъ, для того, чтобъ оттуда въ щелку посмотрѣть на нежданнаго гостя.

Между тѣмъ коляска остановилась у воротъ.

— Ну кто, кто такой?—спрашивала Марѳа Алексѣевна у Польки, высунувъ изъ двери свою голову въ чепцѣ.

— Не знаю-съ.

— Не знаю-съ! Дура! ну пошла узнай!

— Өеклуша! Өеклуша! кто такой? — спрашивала Глаша, высунувъ носикъ изъ чуланчика.

— Какой-то, барышня, незнакомый баринъ, — отвѣчала Өеклуша, пробѣжавъ въ переднюю, откуда раздавалось страшное храпѣнье.

— Калина Осипычъ, да полно дрыхнуть-то! — сказала Өеклуша, толкая грязнаго и оборваннаго лакея, — гость пріѣхалъ. Слышишь ли?

— Гость? а чортъ его возьми! — пробормоталъ Калина Осипычъ сквозь сонъ и захрапѣлъ сильнѣе прежняго, несмотря на то, что вокругъ него все шумѣло, бѣгало и суетилось.

— Кто же? кто? — снова спросила Марөа Алексѣевна у Польки.

— Баринъ изъ Кривухина-съ.

— Изъ Кривухина! что ты врешь, дура?

— Ей Богу-съ. Чево мнѣ врать-то!

«Что жъ это значитъ?» подумала Марөа Алексѣевна, вытаращивъ глаза отъ изумленія.

— Ну, проси его, проси скорѣй въ гостиную... Да гдѣ этотъ каналья Калина? Чай, гдѣ-нибудь пьяный валяется, мошенникъ!

Полька побѣжала исполнить приказаніе барыни, но въ сѣняхъ обо что-то споткнулась и упала прямо на грудь къ Аркадію Иванычу, который шелъ ей навстрѣчу.

— Ничего, ничего, душенька! — произнесъ Аркадій Иванычъ, потрепавъ Польку по щекѣ, — не конфузься... ты, плутовочка, прехорошенькая! Ну, а что, дома барыня?

— Дома-съ; приказали просить въ гостиную.

— Ну, а скажи мнѣ, милашечка, какъ-бишь зовутъ вашу барыню?.. Мавра... Мавра...

— Марөа Алексѣевна-съ.

— Да, да, Марөа Алексѣевна... Ну, красоточка, а барышню-то... постой... вѣдь ее, кажется, зовутъ... постой, дай Богъ памяти...

— Глафира Анисимовна-съ.

— Да, да, да!.. Ну, а... что бишь я хотѣлъ сказать еще?.. Ну, а тебя, милашечка, какъ зовутъ?

Полька усмѣхнулась, покраснѣла и потупила голову.

— Палагеей, сударь.

— Палаша.. Ай-да Палаша! вишь ты какая, право, славная!.. Ну, ну, поведи же меня къ своей барынѣ, душенька.

Мареа Алексѣевна встрѣтила Аркадія Иваныча у самаго порога передней.

Аркадій Иванычъ расшаркался.

— Извините меня, Мареа Алексѣевна,—сказалъ онъ,—что я рѣшился такъ, не будучи къ вамъ никѣмъ представленъ, явиться прямо. Я пріѣхалъ просить у васъ и у вашей дочки прощенія... Вчерашній день я былъ въ здѣшнихъ мѣстахъ на охотѣ и вдругъ совершенно нечаянно имѣлъ удовольствие встрѣтить вашу дочку... и вовсе не умышленно испугалъ ее. Конечно, съ моей стороны была непростительная неосторожность, но...

— Такъ это были вы? — перебила Мареа Алексѣевна, всплеснувъ руками.

— Я-съ; но вѣдь я никакъ не думалъ испугать ее; я, признаюсь, сначала и не зналъ, что это она... Филька! Филька! — закричалъ Аркадій Иванычъ, оборотившись назадъ и растворивъ дверь въ переднюю. — Подавайте же сюда.

Филька явился съ огромнымъ патронташемъ.

— Позвольте мнѣ это презентовать вамъ, — сказалъ Аркадій Иванычъ, обращаясь къ Мареѣ Алексѣевнѣ и указывая на патронташъ, — это дичь, которую я вчера настрѣлялъ; я надѣюсь, что вы не откажетесь принять ее... Если моя дичь вамъ понравится, я, пожалуй, могу вамъ доставлять ежедневно по стольку... для меня это ровно ничего не значитъ... Я могу въ одно утро настрѣлять штукъ до полутораста...

— Батюшка, Аркадій Иванычъ!—воскликнула Мареа Алексѣевна, растопыривъ руки отъ умиленія, — такъ вѣдь, кажется, зовутъ васъ, если я не ошибаюсь, Аркадій Иванычъ... Ужъ я и не знаю, какъ благодарить васъ за такое лестное вниманіе... Очень чувствую, повѣрьте, эту честь! Благодарю васъ, батюшка, благодарю... Милости просимъ сюда...

Мареа Алексѣевна повела Аркадія Иваныча въ гостиную.

Аркадій Иванычъ, идя, озирался кругомъ. Онъ искалъ глазами Глафиры Анисимовны, но она не показывалась.

— Позвольте же мнѣ, отецъ мой, — продолжала Мароа Алексѣевна, усадивъ гостя и поклонившись ему, — также представить вамъ себя. Вѣдь я еще вотъ такого махонькаго знавала васъ. А маменька-то ваша здорова ли? Ужъ давно, давно я не имѣла счастія ее видѣть... Вотъ ужъ барыня, такъ подлинно сказать, что барыня! Мой Анисимъ Васильичъ и до сихъ поръ ее забыть не можетъ: такъ онъ былъ всегда доволенъ ея угощеніемъ и ласкою... Ахъ, ахъ, ахъ! Бѣдный-то мой Анисимъ Васильичъ! Вѣдь насъ большое несчастіе постигло, батюшка. Вѣдь онъ, голубчикъ мой, вотъ о Троицѣ полтора года минуло, лежитъ совсѣмъ разбитый параличомъ, какъ колода; съ мѣста пошевельнуться не можетъ, еле языкомъ ворочаетъ... И бѣдность-то, и горе-то: все это одно къ одному... Гдѣ тонко, тамъ и рвется, батюшка!

Въ эту минуту грязный, оборванный и опухшій отъ неумѣреннаго употребленія сивухи Калина Осипычъ явился съ подносомъ допотопнаго размѣра, который былъ уставленъ всевозможными закусками. Мароа Алексѣевна сама побѣжала за водкой и принесла на другомъ подносѣ графинчиковъ до шести различныхъ водокъ и настоекъ, потому что водку и настойку она никогда не довѣряла Калинѣ Осипычу.

— Не взыщите, батюшка,—говорила Мароа Алексѣевна, указывая на подносы, ломившіеся подъ тяжестью: — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Ужъ мы васъ такъ угостить не можемъ, какъ бы желали. Охъ, охъ! кабы мой Анисимъ Васильичъ былъ здоровъ, совсѣмъ бы другое дѣло было. Господи! какой мастеръ былъ угощать! Вѣдь шутка ли, подумаешь, сто душъ на одно угощенье прожилъ, единственно вотъ только на одно угощенье, ей-Богу... Ужъ нечего сказать — хлѣбосолъ былъ! такихъ, я думаю, нынче и нѣту... Закусите чего-нибудь, батюшка, не погнушайтесь нашимъ хлѣбомъ-солью... А водочки-то? Тутъ вотъ и горькая, и сладкая, какую угодно — и полынная, и зорная, и можжевеловая... это все мое рукодѣлье...

Аркадій Иванычъ не заставилъ себя долго упрашивать... Онъ безъ церемоніи приступилъ сначала къ водочкѣ, а потомъ къ закускѣ и между тѣмъ съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ все поглядывалъ на дверь.

— Знаете ли, Мареа Алексѣевна, мнѣ бы очень хотѣлось, — сказалъ онъ, принимаясь за пирогъ, — самому попросить прощенія у Глафиры Анисимовны; право, у меня лежитъ это на совѣсти, что я такъ перепугалъ ее...

— И, полноте, отецъ мой! чего тутъ совѣститься? Вѣдь она у меня такая дурочка, такая дикарка, что вы себѣ и представить не можете. Она при чужомъ человѣкѣ всегда такъ потеряется, что и сказать нельзя... А вотъ, постойте, батюшка, постойте. Я ее сейчасъ кликну... Глаша! Глаша! — закричала Мареа Алексѣевна.

Отвѣта не было.

— Глаша! Глаша! гдѣ ты? поди сюда!

Но какъ ни усиливала голоса Мареа Алексѣевна, а Глаша все-таки не подавала отзыва на ея крики.

— Вотъ вѣдь какая, подумайте... Ужъ я знаю, что ее теперь не иначе, какъ силой вытащишь; доброй волей ни за что не пойдетъ. Чтó будешь дѣлать съ нею!

И Мареа Алексѣевна отправилась за Глашей. Минутъ десять прохаживался Аркадій Иванычъ въ большомъ нетерпѣніи. Мареа Алексѣевна насилу вытащила дочку изъ ея комнаты. Наконецъ Глаша показалась въ дверяхъ гостиной. Она шла сзади Мареы Алексѣевны, потупивъ голову и краснѣя...

— Ну вотъ, батюшка, имѣю честь рекомендовать. Вотъ вамъ и Глаша моя — какая ужъ есть, прошу не взыскать.

Потомъ Мареа Алексѣевна обратилась къ дочери:

— Вотъ вѣдь скажи, пожалуйста, чего ты, глупенькая, испугалась-то вчера? Вѣдь это былъ Аркадій Иванычъ, а не разбойникъ какой-нибудь. Слава те, Господи, у насъ еще про разбойниковъ не слыхать.

Глаша покраснѣла до слезъ.

Аркадій Иванычъ разсыпался передъ нею въ извиненіяхъ.

Глаша молчала. Она ничего не нашлась отвѣчать на пре-

красныя фразы Аркадія Иваныча. Несмотря на это, она произвела на него очень пріятное и сильное впечатлѣніе. Ему понравились и ея зарумянившіяся щечки, и ея потупленный взоръ, и ея длинныя рѣсницы и въ особенности ея коротенькое платьице, открывавшее красивую и маленькую ножку. Ему даже понравилась ея робость, можетъ быть потому, что онъ до сей минуты имѣлъ сношенія все съ женщинами слишкомъ смѣлыми...

Потомъ Марѳа Алексѣевна повела Аркадія Иваныча къ своему супругу. Больной и не разобралъ хорошенько, кого привели къ нему, но онъ тотчасъ же началъ упрашивать гостя остаться у нихъ покушать. Аркадій Иванычъ съ радостью принялъ это приглашеніе, а Анисимъ Васильичъ, указывая на него пальцемъ, говорилъ своей Марѳѣ Алексѣевнѣ:

— Угости же его на славу. Слышишь?

Вслѣдъ за тѣмъ онъ началъ съ усиліемъ бормотать, какими именно кушаньями должно угощать Аркадія Иваныча, и безпрестанно путался въ словахъ и повторялъ одно и то же. Произнеся названіе кушанья, онъ останавливался на минуту, жевалъ и чавкалъ и съ животною жадностью озирался кругомъ, не стоитъ ли въ комнатѣ чего-нибудь съѣстного. Онъ жаловался Аркадію Иванычу на жену и на дочь за то, что онѣ будто бы хотятъ уморить его съ голоду, и, въ заключеніе, принялся горько рыдать.

Во время обѣда одна Марѳа Алексѣевна занимала гостя. Глаша попрежнему молчала, или отвѣчала на вопросы Аркадія Иваныча односложными «да-съ», «нѣтъ-съ», не глядя на него.

— Ты и ребенкомъ-то у меня не смотрѣла такой букой, какъ теперь, — говорила ей Марѳа Алексѣевна, — осрамила меня, матушка, осрамила.

— Ахъ, маменька! — прошептала Глаша.

— Нечего ахать-то, я правду говорю.

— А знаете ли, Глафира Анисимовна, — сказалъ Аркадій Иванычъ, — воля ваша, а вѣдь вы не должны меня дичиться. Мы съ вами старые знакомые. Я васъ очень помню маленькую... Я часто видѣлъ васъ у Марьи Ѳедоровны, у прокурор-

ши... Я даже однажды игралъ съ вами въ куклы. Вотъ какъ-съ!.. Вы не помните этого?

— Нѣтъ-съ, не помню.

— Ахти! да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ!.—вскрикнула Марѳа Алексѣевна.—Ну вотъ, постойте, батюшка Аркадій Иванычъ, какъ она маленько познакомится съ вами. такъ тогда ужъ и заговоритъ. Это у нея всегда такъ. Что́, вѣдь я правду говорю, Глаша?

— Правду-съ,—прошептала Глаша улыбнувшись.

— Я надѣюсь-таки,—продолжала Марѳа Алексѣевна,—что вы будете хоть изрѣдка заглядывать въ наше захолустье, сдѣлаете намъ эту честь.

— Непремѣнно,—отвѣчалъ Аркадій Иванычъ.—Я не знаю только, будетъ ли пріятно это Глафирѣ Анисимовнѣ?

— Мнѣ все равно-съ—сказала простодушно Глаша.

— Какъ же все равно! Ахъ, ты этакая дурочка!.. Да вы не слушайте ее, батюшка; она сама не знаетъ, что говоритъ... Ты должна сказать, что, дескать, мнѣ не можетъ не быть это пріятно, что я, дескать, за особенное удовольствіе сочту васъ видѣть въ нашемъ домѣ.

Послѣ обѣда, закуривъ трубку и развалясь въ креслахъ, Аркадій Иванычъ пустился разсказывать о своихъ подвигахъ, о Москвѣ, о той знати, съ которою онъ былъ тамъ знакомъ, о княжнѣ, которая съ ума сходила по немъ и о прочемъ. Говоря, онъ все посматривалъ на Глафиру Анисимовну, желая, вѣроятно, прочесть на лицѣ ея, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти разсказы; но лицо Глаши не обнаружило ни любопытства, ни удивленія. Она сидѣла пригорюнясь и безцѣльно смотрѣла въ окно; зато Марѳа Алексѣевна съ жадностью ловила каждое слово Аркадія Иваныча, смотрѣла на него вытаращивъ глаза, качала головой и ахала. Разговоръ не прерывался до вечера. Герой мой выѣхалъ изъ Сычихи не ранѣе десятаго часа и, прощаясь, поцѣловалъ ручку у Глаши.

«Славная дѣвочка!—думалъ онъ про нее, лежа въ коляскѣ,—робка немножко; но вѣдь въ этомъ есть что-то этакое, чортъ возьми, особенно соблазнительное... тутъ невольно

возбуждаются этакія какія-то мысли... А мать глуповата; впрочемъ, тѣмъ лучше: можно будетъ ее такъ провести, что чудо!.. А ей Богу, чудо что за дѣвочка!.. и ножка такая... надо будетъ приволокнуться за нею... дѣлать нечего.. Что́ за бѣда, что тиха и робка? Вѣдь не даромъ же говорятъ, что въ тихомъ омутѣ черти водятся...

— Безподобнѣйшій молодой человѣкъ! — говорила Мареа Алексѣевна по отъѣздѣ Аркадія Иваныча, — какой милый, какой внимательный! а ужъ какъ говоритъ-то, вотъ можно сказать, что даръ слова!.. Вѣрь же послѣ этого людскимъ слухамъ... Ужъ чего-чего про него не болтали: и такой-то, и сякой-то, а все вышло вздоръ. И, должно быть, у него предобрѣйшее сердце, у голубчика, не по маменькѣ, видно, пошелъ; видно въ отца уродился, — тотъ, говорятъ, былъ настоящій ангелъ... Вотъ, поди-ка! думала ли, гадала ли я, чтобъ сынокъ Алёны Терентьевны изволилъ когда-нибудь пожаловать къ намъ? Чего, подумаешь, не бываетъ въ жизни-то? Часто такое можетъ приключиться, что и во снѣ не пригрезится. Намъ-то, глупымъ, кажется, и то нельзя, и другое нельзя, а Богу все возможно!

И, произнеся это, Мареа Алексѣевна взглянула съ особеннымъ чувствомъ на Глашу, какъ будто какая-то новая и пріятная мысль бродила въ головѣ старушки; потомъ она принялась бранить дочь за ея робость и дикость: потомъ поцѣловала ее, перекрестила, погладила по головѣ и сказала:

— Ну, теперь поди съ Богомъ почивать, Глаша.

И когда Глаша, приложась къ ея рукѣ, вышла изъ комнаты, Мареа Алексѣевна, проводивъ ее глазами, прошептала сквозь слезы:

— Никто, какъ Богъ!

Въ людской, за ужиномъ, дворовыя бабы и дѣвки дольше обыкновеннаго трактовали между собою въ этотъ вечеръ. Нечаянный пріѣздъ Аркадія Иваныча подалъ имъ, разумѣется, поводъ къ различнымъ догадкамъ, подозрѣніямъ и выдумкамъ.

Ѳеклуша кричала:

— Да ужъ я знаю, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ: извѣ тно за тѣмъ, чтобъ свататься за нашу барышню. Онъ все съ барыней о чемъ-то говорилъ потихоньку, и я, дѣвушки, вотъ-те Христосъ, слышала своими ушами, какъ барыня сказала ему: ну, говоритъ, стало быть, на то воля Божья, говоритъ...

— Вишь ты!.. Вотъ оно что!.. То-то же! Для чего бы ему такъ ни съ того, ни съ сего пріѣхать! — перебили другія дѣвки и бабы. — Суженаго-то конемъ не объѣдешь! Вишь-ста какого женишка себѣ подцѣпила! Шути-ка ты съ ней! Вѣдь, говорятъ, богачъ-то какой!

— Страсти какой богачъ! — продолжала Өеклуша. — Я, дѣвушки, все вывѣдала у лакея-то, который съ нимъ пріѣзжалъ. Онъ говоритъ, что у ихней-то барыни сундуки ломятся отъ богачества. Вотъ какъ!

— Ужъ извѣстно, что́ и говорить про кривухинскую барыню! Это ужъ не чета нашей. Что наша-то! Вѣдь только слава, что барыня!.. Да и крестьяне-то кривухинскіе, ужъ можно сказать, что крестьяне. Не то, что́ нашинскіе!

— Такъ вотъ какая моя барышня-то будетъ богачка — чудо! Тогда мы на васъ, сычихинскихъ, и смотрѣть не захотимъ.

Өеклуша подперлась локоткомъ и захохотала

— Вишь ты какая!.. А, можетъ, барышня-то еще и не возьметъ тебя .. Знаешь ли: бодливой-то коровѣ Богъ рогъ не даетъ!

— Какъ же-съ, такъ вотъ сейчасъ-съ! Кого же барышня-то возьметъ, окромя меня? Не Польку ли?

— А чѣмъ же я, примѣрно, хуже тебя? — запищала оскорбленная Полька, — что́, въ самомъ дѣлѣ? Что́ *ты*-то расфуфырилась, прохвостиха ты этакая? Съ чего зазналась-то? Знаемъ мы про тебя...

— Ну, полноте вы! Ужъ пошли собачиться! — возразила одна изъ бабъ, — скажи-ка лучше, Өеклуша, да гдѣ жъ кривухинскій-то баринъ познакомился съ нашей барышней?

— Извѣстно, гдѣ! Зачѣмъ мы за грибами-то ходимъ?

— Такъ, стало-быть, они ужъ прежде сговорились?.

— Такъ барышня-то знала, что онъ прiѣдетъ? Вишь, говорятъ, тихенькая, тихенькая, водой не замутишь, а она исподтишка-то вонъ какого сокола къ себѣ приманила...

И въ то время, какъ дворня трактовала такимъ образомъ о своей барышнѣ, — Глаша, совершенно равнодушная къ Аркадiю Иванычу, не взявшая даже на себя труда подумать, для чего же это, въ самомъ дѣлѣ, прiѣзжалъ онъ? — одна во всемъ домѣ давнымъ-давно почивала безмятежнымъ и крѣпкимъ сномъ невинности.

ГЛАВА II.

Съ этого дня Аркадiй Иванычъ чаще и чаще сталъ ѣздить въ Сычиху. Марѳа Алексѣевна очень полюбила его. Даже Глаша мало-по-малу начала привыкать къ нему, перестала краснѣть при немъ и отвѣчала какъ слѣдуетъ на его вопросы, хотя сама еще не рѣшалась съ нимъ заговаривать. Узнавъ ея любовь къ цвѣтамъ, Аркадiй Иванычъ сталъ возить ей удивительные букеты. Онъ ходилъ гулять вмѣстѣ съ маменькою и дочкою въ лѣсъ и дорогою помогалъ Глашѣ собирать грибы и ягоды. Въ одну изъ такихъ прогулокъ, когда Марѳа Алексѣевна отстала отъ нихъ и они очутились вдвоемъ, Аркадiй Иванычъ незамѣтно приблизился къ Глашѣ и сказалъ ей:

— Признайтесь, Глафира Анисимовна, что вы ужъ теперь не боитесь меня?

— Нѣтъ-съ, не боюсь, — отвѣчала Глаша, идя преспокойно впередъ и не замѣчая, что маменька осталась далеко назади.

— А отчего же вы прежде боялись меня?

— Оттого, что я прежде не знала васъ.

— Вы вѣдь ужасно ненавидѣли меня? Не правда ли?

— Кто вамъ это сказалъ? Нѣтъ-съ. За что жъ мнѣ васъ ненавидѣть?

— А я, — сказалъ Аркадiй Иванычъ, становясь смѣлѣе и какъ-то странно поглядывая на Глашу, — я съ первой

минуты, какъ увидѣлъ васъ, почувствовалъ къ вамъ необыкновенное влеченіе, то-есть такое влеченіе, что я и сказать не могу... я...

— Ахъ, сколько земляники! — вскрикнула Глаша, наклонившись.

Аркадій Иванычъ также наклонился, какъ будто за земляникою, но вмѣсто земляники онъ схватилъ руку Глаши и поцѣловалъ ее.

Глаша вскрикнула изо всей силы и отскочила отъ него на нѣсколько шаговъ. Она начала озираться кругомъ, ища глазами матери, но Марѳы Алексѣевны нигдѣ не было видно. Глаша поблѣднѣла и произнесла трепещущимъ голосомъ:

— Гдѣ же маменька? ради Бога, гдѣ же она?

— Чего же вы испугались? Вы сейчасъ сказали, что не боитесь меня.

И Аркадій Иванычъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, чтобь снова подойти къ Глашѣ.

— Не подходите ко мнѣ! не подходите! — закричала она, махая платкомъ. — Маменька! маменька! гдѣ вы?

— Маменька ваша немножко отстала. Мы ее подождемъ здѣсь. Полноте безпокоиться... Ахъ, Глафира Анисимовна, то-есть, вы не можете себѣ представить этого; если бъ вы знали, какъ я люблю васъ...

Но Глаша не слыхала ничего. Она совершенно потерялась, и, стоя на одномъ мѣстѣ, какъ прикованная, только кричала:

— Маменька! маменька!

— Иду, иду... — послышался голосъ Марѳы Алексѣевны, и вслѣдъ за симъ ея шарообразная фигура выкатилась изъ-за дерева. Глаша свободно вздохнула.

— Маменька, маменька! — ворчала Марѳа Алексѣевна, запыхавшись. — Ты видно, матушка, забыла, что у васъ ноги-то молодыя... Куда жъ мнѣ поспѣть за вами? Я и безъ того, по милости вашей, чуть не задохлась: вишь какіе вы быстроногіе! Была и я молода, матушка, и я такъ же бѣгивала, какъ вы, еще, можетъ, и пошибче вашего; бывало, въ горѣлкахъ меня никто догнать не можетъ... ну, а ужъ те-

перь прошу не прогнѣваться... Ну, чего тебѣ хочется, дурочка? Зачѣмъ ты меня такъ кликала? а?..

— Да вы очень отстали, маменька, я испугалась.

— Испугалась? Слава-те Господи! Чего ужъ ты, право, не выдумаешь? Среди бѣла дня пугаться!.. Да къ тому же, ты шла, кажется, не одна, а съ кавалеромъ. Онъ вѣдь, вѣрно, не далъ бы тебя никому въ обиду.

И старушка залилась добродушнымъ смѣхомъ.

— Нечего сказать, — замѣтилъ Аркадій Иванычъ, улыбаясь и покручивая усъ, — Глафира Анисимовна порядочная трусиха. Безъ васъ она, кажется, шагу не можетъ сдѣлать.

— Подлинно, что такъ. Да знаете ли, Аркадій Иванычъ, этому ужъ я сама отчасти виновата. Я ужъ такъ, знаете, приучила ее съ малолѣтства. Все при мнѣ да при мнѣ. Повѣрите ли, что она и теперь, — вѣдь слава Богу не маленькая, а ни за какія блага не пройдетъ одна черезъ темную комнату. Такая дурочка!

Прогулка продолжалась недолго. Глаша предложила маменькѣ вернуться домой и на возвратномъ пути все шла уже рядомъ съ нею. Она замѣтно нахмурилась и едва отвѣчала на вопросы Аркадія Иваныча.

Когда они пришли домой, Аркадій Иванычь улучилъ удобное мгновеніе, и, подойдя къ Глашѣ, шепнулъ ей:

— Если вы будете продолжать на меня сердиться, я съ ума сойду; я .. я не знаю, что я съ собою сдѣлаю.

— Вы смѣетесь надо мною? — спросила она его.

— Мнѣ надъ вами смѣяться? — возразилъ онъ, притворясь совершенно разстроеннымъ. — Я люблю васъ до безумія...

Глаша вздрогнула и опустила голову на грудь.

— Вѣрьте, или не вѣрьте, какъ хотите, — продолжалъ Аркадій Иванычъ съ жаромъ, — но вы еще не знаете меня... О! вѣдь я такой человѣкъ, что я вамъ скажу; для меня жизнь просто копейка... Что жъ, вы не будете на меня сердиться за давишнее?

Глаша молчала.

— Глафира Анисимовна, что жъ вы мнѣ не отвѣчаете?

— Я ни на кого не могу долго сердиться, — сказала она, — только впередъ вы этого не дѣлайте...

Глаша вся вспыхнула и скрылась.

«О, теперь она въ моихъ рукахъ! — подумалъ Аркадій Иванычъ, — рыбка, кажется, идетъ на удочку! Я начинаю кружить ей голову... Одинъ только смѣлый шагъ... А какъ вѣдь все счастливо расположилось! Мать — дура и питаетъ ко мнѣ полную довѣренность; отецъ въ параличѣ, братья далеко...

И Аркадій Иванычъ присвистнулъ и покрутилъ усъ.

Но, увы! Аркадій Иванычъ ошибся въ своихъ расчетахъ. Глаша смотрѣла на него равнодушно — и съ той минуты, какъ онъ объяснился ей въ любви, она въ его присутствіи, съ умысломъ или безъ умысла, ни на шагъ не отходила отъ матери. Какъ онъ ни хитрилъ, ему ни разу не удалось остаться съ нею наединѣ. Препятствія раздражали его, онъ бѣсился, а все-таки продолжалъ ѣздить въ Сычиху и съ каждымъ днемъ болѣе *пристращался* къ Глашѣ Такъ прошелъ мѣсяцъ.

— Однако, что жъ это такое, чортъ возьми! — разсуждалъ онъ самъ съ собою, — я первый разъ въ жизни нахожусь въ такомъ глупомъ положеніи... Пожалуй, мнѣ придется еще, можетъ быть, этакъ отъѣхать съ носомъ, — чего добраго! Презатруднительный вопросъ; голова закружится, какъ подумаешь... Вѣдь дѣвочка-то, канальство, прелесть, вотъ что! Спать не даетъ покойно...

Аркадій Иванычъ въ волненіи ударилъ кулакомъ по столу.

— Ну, да ужъ такъ или иначе, а она будетъ моею!

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого въ одинъ прекрасный вечеръ, выведенный изъ терпѣнія неудачами, онъ вдругъ бросился къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и объявилъ ей, что желаетъ жениться на ея дочери.

Марѳа Алексѣевна пришла отъ этого въ совершенный восторгъ и начала плакать, цѣловать и обнимать Аркадія Иваныча.

— Я, батюшка, видитъ Богъ, — говорила она ему, — лучшаго мужа моей Глашенькѣ и не желаю, не потому, мой отецъ, что вы богаты, а потому, что у васъ сердце-то доброе... Богатство что? наживное дѣло, а сердце Богъ влагаетъ въ человѣка... Я Глашѣ отъ себя даю полное благословеніе на бракъ съ вами; мужъ мой также; что же касается до нея, то о ней и толковать нечего. Она еще молода, глупа, у нея еще своей воли нѣтъ; она еще и сама не понимаетъ своего счастья; были бы отецъ и мать согласны, а она что? Съ нашей-то стороны препятствія не будетъ, Аркадій Иванычъ, а вотъ лучше подумайте-ка, дозволитъ ли вамъ жениться на моей Глашѣ ваша маменька. Вѣдь она такая важная и гордая; она, знаете, можетъ, захочетъ имѣть Богъ знаетъ какую невѣстку; ну а мы, сами вы видите, люди бѣдные, ничего не имѣемъ. Глаша моя и не такъ учена, и приданаго-то за ней такого нѣтъ; кое-что помаленьку я, правда, приготовляла ей, ну, да на это Алёна Терентьевна и смотрѣть, я чай, не захочетъ.

— Что жъ мнѣ такое маменька? — возразилъ Аркадій Ивановичъ, — я ужъ въ такихъ лѣтахъ, что могу самъ собою располагать. Я могу жениться на комъ захочу; маменька не можетъ мнѣ этого запретить...

— Эхъ, батюшка, Аркадій Иванычъ, — перебила его Марѳа Алексѣевна, — не говорите такъ: противъ воли родительской итти не годится. Ужъ какъ не толкуйте, а безъ материнскаго благословенія не пойдешь подъ вѣнецъ, воля ваша...

— Да, конечно; но вѣдь, знаете, меня маменька ужасно любитъ и она мнѣ ни въ чемъ не откажетъ, — повѣрьте. Это я очень хорошо знаю.

— А коли такъ, такъ и слава Богу! Вамъ это, конечно, лучше знать. Только обдумайте все это хорошенько, Аркадій Иванычъ; вѣдь съ женой-то вѣкъ вамъ будетъ вѣковать, а не одну ноченьку ночевать. Не раскайтесь послѣ, не погубите моей Глашеньки...

Аркадій Иванычъ принялся успокаивать Марѳу Алексѣевну, увѣрялъ ее, что счастье жены для него будетъ выше всего на свѣтѣ; что ужъ ему давно надоѣла холостая компанія; что онъ давно помышляетъ о тихой семейной жизни,

и потому только не женился до сихъ поръ, что не находилъ дѣвушки себѣ по нраву, и что Глафира Анисимовна одна въ цѣломъ мірѣ рождена именно для него.

«А! будь что будетъ, — подумалъ онъ, выѣзжая изъ Сычихи, — ужъ коли сорвалось съ языка, такъ дѣлать нечего! Почему же, въ самомъ дѣлѣ, и не жениться? Чего робѣть-то? Только вотъ маменька... охъ. ужъ эта мнѣ маменька!»

— Ну, пошелъ, пошелъ!—закричалъ онъ кучеру необыкновенно грознымъ голосомъ... — Пошелъ же! не дремать у меня! подай сюда кнутъ...

Аркадій Иванычъ поднялся, выхватилъ у кучера кнутъ, самъ подхлестнулъ пристяжныхъ, потомъ повелъ кнутомъ по воздуху, гаркнулъ:

— Эй, вы! — и бросился въ коляску.

Минуты двѣ пролежалъ онъ, какъ будто въ забытьи; потомъ снова приподнялся и закричалъ кучеру:

— Въ городъ, къ Аннѣ Трофимовнѣ! Слышишь?

«Ахъ, чортъ возьми! — подумалъ онъ, — надобно же проститься съ холостою жизнью: надобно же кутнуть на прощаньи!..»

Съ того времени какъ Аркадій Иванычъ началъ ѣздить въ Сычиху, онъ хотя и продолжалъ посѣщать Анну Трофимовну, но уже не такъ часто. Анна Трофимовна не могла не замѣтить въ немъ большой перемѣны. Онъ обращался съ нею гораздо холоднѣе, два раза даже очень обидно выругалъ ее и вообще неохотно исполнялъ ея порученія и просьбы. Анну Трофимовну все это сильно безпокоило. Ей вовсе не хотѣлось такъ скоро кому бы то ни было уступить Аркадія Иваныча и изъ Анны Трофимовны снова превратиться въ Анютку. Имя соперницы ей было еще неизвѣстно, но въ существованіи ея она уже не сомнѣвалась. Надобно было черезъ кого-нибудь объ этомъ развѣдать; и вотъ однажды, въ какой-то праздникъ, Анна Трофимовна зазвала къ себѣ въ гости камердинера Аркадія Иваныча, Фильку, напоила его чаемъ съ ромомъ, потомъ кофеемъ, потомъ вишневкою и послѣ вишневки начала около него увиваться и вывѣдывать

тайны барина. Филька сначала былъ непреклоненъ, ибо Аркадій Иванычъ, подъ опасеніемъ строжайшаго наказанія, запретилъ ему и кучеру разсказывать кому бы то ни было о своихъ поѣздкахъ въ Сычиху. Но послѣ второго стакана вишневки Филька сдѣлался какъ-то говорливѣе. Анна Трофимовна все продолжала его потчевать и притомъ глядѣла на него необыкновенно пріятно и называла его «Филиппушкой» и «голубчикомъ». Филька разнѣжился, разговорился и наконецъ, какъ водится, проболтался. Анна Трофимовна, выслушавъ Фильку, сначала было очень огорчилась поступками Аркадія Иваныча, но, пораздумавъ немножко, успокоилась. Она по всѣмъ вѣроятностямъ предположила, что страсть его къ сычихинской барышнѣ не будетъ продолжительна, что это только такъ минутная прихоть, которой мѣшать неблагоразумно, и рѣшилась обо всемъ молчать до времени.

Въ этотъ вечеръ, когда Аркадій Иванычъ объявилъ Маргѳѣ Алексѣевнѣ о намѣреніи своемъ жениться на Глашѣ, у Анны Трофимовны была гостья. Гостья и хозяюшка попивали себѣ преспокойно кофеекъ и занимались различными пересудами, не замѣчая, какъ идетъ время. Стало смеркаться. Гостья вскрикнула:

— Ахти, батюшки-свѣты! какъ я у васъ заболталась! — облобызала хозяйку, поблагодарила ее за угощеніе и отправилась домой. Анна Трофимовна проводила ее до дома и, возвратясь къ себѣ, совсѣмъ уже была готова лечь спать, какъ вдругъ на улицѣ раздался топотъ копытъ и бренчанье экипажа: черезъ минуту коляска Аркадія Иваныча остановилась у воротъ. Анна Трофимовна накинула на себя кацавейку и выбѣжала навстрѣчу желанному гостю.

— Здорово, Аннушка! какъ поживаешь? — сказалъ Аркадій Иванычъ, потрепавъ ее по щечкѣ, — что? ты, я думаю, не ждала меня сегодня?

— Не ждала! Вишь какіе! Я таки всегда васъ поджидаю, душенька, — отвѣчала Анна Трофимовна, — думаю себѣ: вотъ пріѣдетъ мой соколъ ясный, вотъ пріѣдетъ, а васъ все нѣтъ да нѣтъ... Ну, въ эту пору, признаться, я не думала,

не гадала, чтобъ вы пріѣхали. Если бъ еще минуточку, такъ я ужъ и спать бы завалилась.

— Филька, трубку! — закричалъ Аркадій Иванычъ.

— Такъ ты, стало-быть, мнѣ и не рада? — продолжалъ онъ, обращаясь къ Аннѣ Трофимовнѣ.

— Какъ же не рада! Вишь что выдумалъ! Ужъ я ему не рада? Ахъ, измѣнщикъ этакой, право! Да у меня инно сердце замерло, какъ вы подъѣхали, ей Богу, голубчикъ. Не хотите ли чайку? Я сейчасъ самоваръ поставлю.

— А ромъ есть?

— Извѣстно, что есть. Кого жъ я безъ васъ-то угощать стану?

— Ну, хорошо; такъ давай чаю.

Анна Трофимовна бросилась въ кухню будить бабу, а Аркадій Иванычъ, смотря ей вслѣдъ, подумалъ:

«А вѣдь мнѣ ее смертельно жалко. Предобрѣйшая дѣвчонка!.. Вотъ разрюмится-то, какъ я объявлю ей... Да, нѣтъ, лучше покуда ничего не говорить; еще успѣетъ узнать...

Попивая ромъ съ чаемъ и лаская Анну Трофимовну, Аркадій Иванычъ объявилъ ей, что весь слѣдующій день намѣренъ провести у нея съ гостями. Филькѣ приказано было распорядиться о винѣ и объ обѣдѣ и чѣмъ свѣтъ съѣздить въ Зюзино и въ Мурашевку, затѣмъ, чтобъ зюзинскаго и мурашевскаго господина позвать къ обѣду въ уѣздный городъ.

— Ты, Филька, скажи имъ отъ меня, — говорилъ Аркадій Иванычъ, — чтобъ они непремѣнно пріѣхали. Слышишь? Баринъ, дескать, велѣлъ сказать, что если вы не пріѣдете, такъ онъ съ вами и знаться перестанетъ, что вы, дескать, послѣ этого и на глаза къ нему не суйтесь... Такъ-таки и скажи!

Помѣщики не заставили себя дожидаться и явились къ самому обѣду. Аркадій Иванычъ выписалъ еще, для потѣхи, уѣзднаго лѣкаря.

— Сегодня надо будетъ кутнуть, — говорилъ Аркадій Иванычъ, пожимая руки гостямъ, — кутнёмъ же, братцы! Жизнь

коротка; право, надо пользоваться мгновеніями... Вѣдь не знаешь, что будетъ завтра!

За обѣдомъ и послѣ обѣда онъ пилъ очень много, такъ что сталъ уже подъ конецъ заговариваться.

— Ну, чокнемся, душа! — кричалъ онъ одному изъ собесѣдниковъ. — Что, матушка ты моя, все вѣдь пройдетъ въ жизни? Что это такое жизнь? Пустѣйшее дѣло! Клянусь... Ну, поцѣлуемся же... А что, бестія, пріѣдешь ко мнѣ на свадьбу? Вѣдь я женюсь, братецъ, женюсь! Говорятъ, женишься — перемѣнишься: вздоръ! я не перемѣнюсь, буду такимъ же... и кутнемъ... и все.. Жена — сама по себѣ, вѣдь жена мужу повинуется, а не мужъ женѣ. Такъ ли? Ну, поцѣлуй же меня!

Анна Трофимовна, испуганная и блѣдная, со страхомъ прислушивалась къ этимъ несвязнымъ рѣчамъ.

«Вѣдь что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ», подумала она: «стало-быть, онъ взаправду женится!»

Уѣздный лѣкарь, который былъ трезвѣе другихъ, подошелъ къ Аркадію Иванычу.

— А что, Аркадій Иванычъ, — сказалъ онъ, — смѣю спросить, вы точно изволите жениться?

Аркадій Иванычъ измѣрилъ лѣкаря съ ногъ до головы.

— А тебѣ что за дѣло? Ты знай себѣ микстуры прописывай, а въ чужія дѣла не мѣшайся... Ну, женюсь, женюсь... Что жъ? ты мнѣ запретишь, что ли, жениться?

— Нѣтъ-съ, помилуйте-съ! — возразилъ смущенный лѣкарь, попятясь немного назадъ, — какъ я могу-съ? мнѣ это очень пріятно-съ.

Въ эту минуту Анна Трофимовна дернула лѣкаря за сюртукъ и что-то шепнула ему.

— На комъ же вы, Аркадій Иванычъ, изволите жениться? — спросилъ лѣкарь колеблющимся голосомъ, отступивъ еще шагъ назадъ.

— На комъ? на комъ? — бормоталъ Аркадій Иванычъ, закрывая глаза, — ужъ я не знаю, на комъ... Ужъ коли я женюсь, такъ женюсь... Завтра же поѣду въ Сычиху... покончу все однимъ разомъ...

И, произнеся послѣднее слово, Аркадій Иванычъ захрапѣлъ.

Когда онъ проснулся на слѣдующее утро, Анна Трофимовна встрѣтила его съ заплаканными глазами.

— Это что̀ значитъ?—спросилъ ее Аркадій Иванычъ,— что̀ это? ты плакала? о чемъ?

— Ахъ, Аркадій Иванычъ, Богъ съ вами совсѣмъ!—произнесла Анна Трофимовна, залившись слезами,—я все знаю, хоть вы отъ меня и скрываетесь. Ахъ, я злосчастная, право! Ужъ не спроста же вы совсѣмъ стали со мной не такіе, какъ прежде, совсѣмъ бросили меня, совсѣмъ покинули, и жалости-то въ васъ нѣтъ никакой ко мнѣ. Ахъ, участь моя горькая! что̀ я стану теперь дѣлать?

— Да что ты, Аннушка? что̀ съ тобой?—возразилъ Аркадій Иванычъ,—никакъ ты съ ума сошла; что̀ это ты городишь?

— Нѣтъ, не горожу. Чего мнѣ городить-то? Полноте! грѣхъ вамъ, кажется, запираться-то. Что ужъ тутъ? Шила-то въ мѣшкѣ не утаишь. Вы совсѣмъ разлюбили меня. Что̀ вамъ я? Ужъ у васъ теперь совсѣмъ не то въ головѣ. Вы сами вчера сказали, что женитесь, а бывало, все твердите: нѣтъ ужъ. Аннушка, ужъ я ни за что не женюсь, ни за что, вѣкъ буду съ тобой жить; а я-то, дура, и вѣрила вамъ...

Анна Трофимовна зарыдала.

Аркадій Иванычъ вытаращилъ глаза.

— Какъ, развѣ я сказалъ, что я женюсь?

— Вѣстимо, что сказали: не я одна, всѣ это слышали. Бѣдная я! Теперь ужъ прощайте, Аркадій Иванычъ! Теперь ужъ я вамъ ни на что больше не нужна; теперь у васъ есть другая душенька... Пойду, куда глаза глядятъ. Буду такъ изъ стороны въ сторону мыкаться, искать себѣ пропитанія.

Аркадій Иванычъ засмѣялся, поцѣловалъ Анну Трофимовну, потомъ ласково ущипнулъ ее за щеку и сказалъ:

— Ну, такъ что жъ такое, что я женюсь? Экое несчастіе приключилось!

— Какъ, что? Вишь какіе! Тогда ужъ мнѣ не слѣдъ бу-

детъ при васъ оставаться; тогда ужъ вы на меня и смотрѣть не захотите.

Вздоръ! — возразилъ Аркадій Иванычъ, — полно, утри слезы-то. Я тебя не оставлю, не безпокойся. Ты будешь жить точно такъ же, какъ и теперь живешь. Я попрежнему стану къ тебѣ ѣздить. Вѣдь тебѣ что за дѣло будетъ: женатъ я, или нѣтъ?

Анютка утерла слезы и внимательно посмотрѣла на Аркадія Иваныча.

— Да развѣ это можно? — сказала она. — Ахъ, ужь вы, этакой душенька, что это вы, право, такое говорите!

— Что жъ за бѣда? развѣ нельзя?

— А жена-то что ваша скажетъ? Развѣ это хорошо?

— Жена! жена! да почемъ узнаетъ это жена?.. Къ тому же жена у меня будетъ добрая... Да и какъ будто женатому человѣку и на свѣтъ Божій не смотрѣть... Что такое въ самомъ дѣлѣ? Посмотри-ка на женатыхъ-то: да передъ ними и холостые-то кажутся смиренниками.

И Аркадій Иванычъ, утѣша себя этою мыслью, залился самымъ добродушнымъ смѣхомъ.

— Такъ-то, Аннушка, полно же. Не дурачься впередъ. Не думай же, что я тебя брошу...

Аркадій Иванычъ успокоилъ Анну Трофимовну и разстался съ нею въ полномъ согласіи.

Лишь только Аркадій Иванычъ уѣхалъ отъ нея, она принарядилась и отправилась въ гости къ женѣ кривухинскаго приказчика. Барышня, узнавъ о ея пріѣздѣ, тотчасъ побѣжала къ ней, начала обнимать ее и цѣловать, приговаривая:

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! Ну, какъ поживаешь, душенька Аннушка? Ну, скажи-ка, нѣтъ ли чего-нибудь новенькаго у васъ?

— Да ужъ есть, Марья Андреевна, новинка, такъ ужъ новинка. Ужъ такая, что вы такъ и ахнете, какъ я вамъ скажу.

— Что, что такое, Аннушка? душенька, скажи, пожалуйста! — вскрикнула барышня.

— Что, что такое? — повторила приказчица и двѣ ея дочери, Настя и Маша.

— А чтò вы дадите за то, что я вамъ скажу?

— Ну, полно, полно, Аннушка, — возразила барышня, толкая ее въ нетерпѣніи и смотря ей прямо въ ротъ, потому что Аннушка уже открыла ротъ, чтобъ говорить.

— Аркадій Иванычъ...—начала Анютка.

— Чтò такое Аркадій Иванычъ? — подхватила приказчица.

— Ахъ, да что вы ее перебиваете! — замѣтила съ досадою барышня.

— Аркадій Иванычъ... Аркадій Иванычъ... женится, — произнесла протяжно Анютка.

Это слово какъ громомъ поразило всѣхъ слушательницъ. Съ минуту, ошеломленныя этимъ словомъ, онѣ молчали, только посматривая другъ на друга. Затѣмъ поднялся страшный крикъ.

— Какъ?.. Можетъ ли статься?.. Шутишь!.. Неужто взаправду?.. Вотъ-те разъ!

— Да-съ, женится, — повторила Анютка торжественно.

— На комъ же, душенька? — спросила барышня, съ чувствомъ пожавъ руку Анюткѣ и сладко посмотрѣвъ на нее.

Барышня полагала навѣрное, что ужъ если Аркадій Иванычъ женится, такъ, конечно, не на комъ другомъ, какъ на Анюткѣ, и вотъ почему она такъ сладко взглянула на нее.

— Ужъ не угадать вамъ, на комъ, — продолжала Анютка. — ни за что не угадать, какъ вы тутъ ни бейтесь.

— А я угадала, душенька, — произнесла барышня, улыбаясь. — Хочешь, я тебѣ шепну на ушко?

— Ну, шепните, барышня; посмотримъ, какъ-то вы угадаете.

Барышня наклонилась къ уху Анютки.

— Нѣтъ-съ, не угадали, барышня, — сказала Анютка съ глубокимъ вздохомъ, — онъ женится... чортъ знаетъ на комъ... знаете, на этой на дочкѣ-то сычихинской барыни.

Затѣмъ снова послѣдовало мертвое молчаніе, потому что снова всѣ слушательницы на минуту остолбенѣли отъ этого извѣстія.

— На этой... на нищей-то! — первая воскликнула барышня, — ахъ ты, Господи! Вотъ срамота-то!

— Ну, убилъ бобра! — закричала приказчица.

— Да нѣтъ, можетъ, еще это и неправда? — сказала барышня. — Что, онъ самъ что ли сказывалъ тебѣ объ этомъ, Аннушка?

— Вотъ еще неправда! Ужъ коли я вамъ говорю, такъ правда. Онъ самъ мнѣ обо всемъ сказалъ, да я и безъ него давно знала, что все около нее ластился.

— Что же ты намъ объ этомъ не сказала? — замѣтила приказчица.

— Ахъ, голубушка наша, Алёна Терентьевна! — завопила барышня, — что̀-то будетъ съ нею? Вотъ кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки.

— Ужъ подлинно бѣдная барыня! — простонала приказчица.

Черезъ полчаса барыня, вся дворня и вся деревня узнали объ этой новости.

Когда барышня объявила объ этомъ Еленѣ Терентьевнѣ, она выслушала ее не безъ волненія и закричала:

— Вздоръ! вздоръ! я и слушать не хочу этого! Откуда вы съ такими глупыми вѣстями пріѣхали? Вы тотчасъ готовы всякой галиматьѣ повѣрить.

Барышня очень обидѣлась и возразила:

— Нѣтъ-съ, ужъ прошу меня уволить отъ этого: я галиматьи никогда не говорила вамъ. По мнѣ, пожалуй, не вѣрьте. Вонъ, вѣдь Анютка-то живая, кажется, сидитъ у приказчицы; спросите сами у ней, коли угодно...

У Елены Терентьевны выступили на лицѣ красныя пятна. Губы ея немного искривились; глаза сверкнули; задыхаясь, она произнесла:

— Пошлите же ко мнѣ Анютку... сейчасъ... пошлите ее сюда!

И припала головой къ столу.

— Боже мой, вамъ дурно!

Барышня подбѣжала къ Еленѣ Терентьевнѣ.

— Подите прочь!

Елена Терентьевна съ необыкновенною силою оттолкнула отъ себя барышню.

— Анютку! подайте мнѣ Анютку! Слышите ли?

Барышня бросилась вонъ изъ комнаты, прошептавъ: — Господи! да никакъ она помѣшалась.

Анютка, дрожа всѣмъ тѣломъ, явилась предъ своей бывшей барыней и трепещущимъ голосомъ обо всемъ разсказала ей.

Барыня выслушала ее стоя и не шевелясь, блѣдная, какъ статуя; только во время разсказа вѣки Елены Терентьевны судорожно моргали.

Когда Анютка замолчала, Елена Терентьевна сказала глухимъ голосомъ:

— Хорошо, хорошо... Знаешь ли, что я тебѣ скажу? Ты мерзкая, простая, безпутная дѣвка... понимаешь ли ты это? ты вотъ что...

(Елена Терентьевна плюнула и растерла слюну ногою.)

— Но я, я охотнѣе бы назвала *тебя* своей невѣсткой, *тебя!* — Да, — продолжала она, взглянувъ на барышню и указавъ ей на Анютку, — да, *ее, ее* я охотнѣе бы назвала своей невѣсткой, — ее, эту дѣвчонку, которую я тысячу разъ била собственными руками... Понимаете ли послѣ этого, какъ мнѣ легко?.. Пошла же вонъ!

Елена Терентьевна повелительно махнула Анюткѣ рукою...

Анютка безъ оглядки добѣжала до дома приказчицы.

— Охъ! — едва проговорила она, запыхавшись, — что это вы надѣлали? Зачѣмъ вы это ей сказали?.. Она вѣдь теперь землю деретъ... Вотъ ужасти, такъ ужасти!.. — И какъ ни уговаривала ее приказчица остаться отобѣдать и напиться кофейку, Анютка ничего не хотѣла слышать и тотчасъ же отправилась восвояси.

Только что Анютка выбѣжала изъ барской комнаты, Елена Терентьевна обратилась къ барышнѣ и къ двумъ дѣвкамъ:

— Такъ-то вы мнѣ служите? такъ-то вы заботитесь о моемъ спокойствіи?.. Всѣ вы за грошъ готовы продать ме-

ня! на каждомъ шагу готовы обмануть! Знаю я васъ!.. Вы, сударыня, напримѣръ (она обратилась къ барышнѣ), увѣряли меня, что Анютка имѣетъ на него вліяніе, что онъ ее во всемъ слушается? Ну, какое же она имѣетъ на него вліяніе! Если бъ она имѣла на него вліяніе, онъ, безсовѣстный и безстыдный человѣкъ, ужъ скорѣй бы на ней женился, а не сталъ бы шляться по проселочнымъ дорогамъ и тамъ отыскивать себѣ невѣстъ между лохмотницами, между прокаженными. Ну, Алёна Терентьевна! (Она посмотрѣла на самое себя и схватила себя за волосы.) Дожила ты, голубушка, до послѣдняго униженія. Теперь всѣ въ глаза могутъ надъ тобой издѣваться; теперь всѣ на тебя имѣютъ право показывать пальцами, какъ на посмѣшище!

Она снова обратилась къ барышнѣ и къ дѣвкамъ:

— Ну, что жъ вы стоите? Что жъ вы не смѣетесь надо мною? Смѣйтесь, смѣйтесь; я ни слова не скажу, не бойтесь; я позволю вамъ смѣяться надъ собою.

Барышня и дѣвки дрожали. Имъ и во снѣ не мерещилось, чтобъ Елена Терентьевна могла дойти когда-нибудь до такого высокаго драматическаго бѣшенства.

— Убійца мой! убійца! — продолжала разгнѣванная мать. — Гдѣ же онъ? Пусть онъ явится ко мнѣ! Пусть онъ посмотритъ мнѣ прямо въ глаза... пусть только осмѣлится привести съ собой эту шлюху, которую онъ хочетъ пожаловать мнѣ въ невѣстки! Я и его и ее вытолкаю взашей. Если только онъ осмѣлится безъ моего благословенія, — тогда онъ мнѣ больше не сынъ, я не пущу его на порогъ моего дома... Я мать! Я съ нимъ могу все, что захочу, сдѣлать, — все, не отдавая никому отчета; могу на части разорвать, могу...

Но тутъ голосъ Елены Терентьевны прервался, и она, обезсиленная, упала въ этотъ разъ безъ всякаго притворства на руки дѣвокъ.

Между тѣмъ какъ Елена Терентьевна свирѣпствовала, Аркадій Иванычъ, нимало не предвидя страшной грозы, которая готова была разразиться надъ нимъ, цѣлый день очень весело провелъ въ Сычихѣ, ухаживая за Глашею, и, уѣзжая, сказалъ Марѳѣ Алексѣевнѣ, что ему хочется поспѣ-

шить свадьбой, что онъ, не отлагая, будетъ просить благословенія маменьки и надѣется въ слѣдующій разъ явиться въ Сычиху уже формальнымъ женихомъ.

Маѳа Алексѣевна ничего не объявляла дочери. Сватовство Аркадія Иваныча было для нея тайною, хотя эта тайна такъ и вертѣлась на кончикѣ языка у доброй старушки. Она, сидя съ Глашею, безпрестанно заводила рѣчи о томъ, что дѣвическое состояніе ненадежно, что у всякой дѣвицы должно быть въ мысляхъ, что рано или поздно ей придется покинуть родительскій кровъ; что ничего нѣтъ на свѣтѣ противнѣе старыхъ дѣвокъ и что надъ старыми дѣвками всѣ смѣются. Глаша понимала, что эти рѣчи произносились недаромъ и съ стѣсненнымъ сердцемъ выслушивала маменьку. Чувство тяжелое, но неопредѣленное, овладѣло ею. Она не знала, куда дѣваться отъ тоски, и, приходя въ свою комнату, втихомолку плакала горько.

Возвратясь домой изъ Сычихи часу въ одиннадцатомъ, Аркадій Иванычъ спросилъ, дома ли маменька. Ему отвѣчали таинственнымъ тономъ, что она нездорова и почиваетъ.

Аркадій Иванычъ легъ съ безпокойными мыслями и долго не могъ заснуть. На утро онъ явился къ ней.

Елена Терентьевна сидѣла въ креслахъ, вся обложенная подушками. Она отъ поры до времени охала и стонала. Исподлобья посмотрѣла она на вошедшаго сына и отвернулась отъ него къ окну. Сердце ея неровно забилось, и кровь бросилась ей въ голову.

Аркадій Иванычъ подошелъ къ ея рукѣ.

Она ткнула ему руку въ лицо и презрительно осмотрѣла его съ ногъ до головы.

— Что это, вы нездоровы, маменька? — спросилъ онъ немного смущенный отъ такого неблагосклоннаго пріема.

Елена Терентьевна устремила страдальческій взоръ въ потолокъ, простонала и не отвѣчала ни слова.

Аркадій Иванычъ замолчалъ и неловко обдергивался.

Минуты три продолжалось молчаніе, — тишина удушливая и роковая передъ разрушительной бурей.

Елена Терентьевна снова простонала.

Аркадій Иванычъ вздохнулъ, потому что у него спиралось дыханіе въ груди.

Еще минута молчанія.

Наконецъ, Елена Терентьевна произнесла, не глядя на сына:

— Что скажете новаго, Аркадій Иванычъ?

— Ничего-съ, — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ.

— Только-то? — возразила Елена Терентьевна, барабаня пальцами по столу.—Вы въ кои вѣки заглянете къ матери, да и то не находите никакого разговора съ нею... Странное дѣло!

Елена Терентьевна насильно захохотала.

— Я очень давно не имѣла удовольствія васъ видѣть. Что вы подѣлываете? гдѣ вы бываете?

Елена Терентьевна провела рукой по лицу: пальцы ея судорожно корчились. Она прошептала:

— Фу, какъ душно!

— Я все это время охотился, — сказалъ Аркадій Иванычъ, собравшись съ духомъ.

— За какою дичью? — спросила Елена Терентьевна насмѣшливо. Она перевела дыханіе и потомъ прибавила: — Носятся слухи, что вы все охотитесь около Сычихи, — тамъ, говорятъ, прекрасная дичь?

Елена Терентьевна посмотрѣла на сына. Глаза ея сверкнули такъ дико, что Аркадій Иванычъ невольно потупилъ голову. И онъ, — этотъ отчаянный, лихой Аркадій Иванычъ, такой дерзкій на видъ, съ такими огромными усами и съ такимъ почтеннымъ брюшкомъ, стоялъ въ эту минуту передъ маменькою, точно уличенный на мѣстѣ преступленія школьникъ, на котораго занесена была розга неумолимаго учителя.

— Что жъ, эти слухи основательны или нѣтъ, Аркадій Иванычъ?—продолжала Елена Терентьевна.

— Да-съ, я нѣсколько разъ охотился въ тѣхъ мѣстахъ.

— Ну, а не познакомились ли вы тамъ съ этой... какъ бишь ее зовутъ... эту сычихинскую помѣщицу, у которой двѣ души съ половиной и сорокъ человѣкъ дѣтей? Вотъ

безподобное бы знакомство для васъ!.. Ей Богу, вамъ кстати съ ней познакомиться, если вы часто охотитесь тамъ... Ужъ ниже ея никого нѣтъ въ цѣлой губерніи; она во всеобщемъ презрѣніи. Это, можно сказать, такая подлая торговка, такая... да ужъ довольно того: сама вмѣстѣ съ бабами въ огородѣ гряды полетъ и по буднямъ въ лаптяхъ щеголяетъ, и въ довершеніе всего, еще горькая пьяница... А что, вѣдь у нея и дочка, кажется, есть?.. Право бы вамъ познакомиться съ ними, я бы вамъ совѣтовала... Вотъ бы вамъ приличная невѣста, Аркадій Иванычъ!.. Я про нее много слышала. Говорятъ, удивительная дѣвушка! то-есть, такая набитая дурища, что просто срамъ, и во всѣхъ отношеніяхъ такая же необразованная и грубая, какъ ея отецъ и мать, и, говорятъ, милая ея маменька—эта лапотница-то, навязываетъ ее всякому встрѣчному и поперечному, чтобъ только поскорѣе сбыть съ своихъ рукъ такое сокровище. Натуральное дѣло! ей нечѣмъ кормить ее; говорятъ, онѣ умираютъ съ голоду, развѣ только что по праздникамъ ѣдятъ какія-нибудь сѣрыя щи да гречневую кашу... Какое прекрасное семейство! А муженька-то ея, кажется, параличъ хватилъ отъ пьянства, и она-то, старая каналья, я думаю, скоро доживетъ до этого.

Аркадій Иванычъ, слушая маменьку, щипалъ отъ досады кисть своей венгерки.

— Вы ошибаетесь, маменька,—сказалъ онъ, немного пріободрившись.— Во-первыхъ, дочка сычихинской помѣщицы не безобразное созданіе; она прехорошенькая, а, во-вторыхъ...

Елена Терентьевна привскакнула на креслахъ.

— Такъ, стало быть, вы ужъ познакомились съ нею? Вотъ какъ! Браво! браво! (Елена Терентьевна захлопала въ ладоши.) Можетъ быть, даже вы ужъ и очень въ короткихъ сношеніяхъ съ этой дѣвчонкой? Чего мудренаго! вѣдь она, говорятъ, на всѣ руки!.. Такъ она, по-вашему, прехорошенькая?.. Какой отмѣнный у васъ вкусъ! Продолжайте, Аркадій Иванычъ, продолжайте... Вы славно отличаетесь, славно!.. И вы не стыдитесь это говорить въ глаза

мнѣ,—мнѣ, вашей матери? Такъ вы ужъ, наконецъ, потеряли всякій стыдъ? Такъ вы ужъ не краснѣя признаетесь, что имѣете такого рода знакомство? Такъ ужъ въ васъ, поэтому, нѣтъ ни чести, ни совѣсти?

Нельзя не замѣтить, что Елена Терентьевна, раздражая Аркадія Иваныча, дѣйствовала неблагоразумно. Люди такого слабаго характера, какой былъ у моего героя, терпятъ долго, но, однажды выведенные изъ терпѣнія угрозами, или оскорбленіями, или препятствіями, они вдругъ становятся рѣшительными и непреклонными. Оскорбленія и препятствія пробуждаютъ въ такихъ людяхъ постоянно дремлющую въ нихъ силу воли, и тогда эта пробужденная сила воли возстаетъ на минуту во всемъ безобразіи и дикости, но, разрушивъ препятствія, снова погружается въ прежнюю дремоту. На такого рода людей всегда должно дѣйствовать мѣрами кроткими, и если бъ Елена Терентьевна разыграла роль несчастной и огорченной матери, если бъ она со слезами, съ отчаяніемъ и съ покорностью своей участи выслушала признаніе сына, ему стало бы жаль ее, онъ поколебался бы, растаялъ бы передъ нею и, вѣроятно, отложилъ бы намѣреніе жениться. Она осталась бы побѣдительницею и, торжествующая, могла бы совершенно забрать въ руки сынка... Но, къ счастію или къ несчастію, случилось иначе. Елена Терентьевна наговорила столько оскорбительнаго для Аркадія Иваныча, что онъ вдругъ сдѣлалъ шагъ впередъ, гордо расправилъ свои усы и сказалъ:

— Позвольте васъ спросить, маменька, что это значитъ, что вы мнѣ говорите такія вещи?

— Какъ!—вскрикнула Елена Терентьевна,—ты еще смѣешь мнѣ дѣлать такіе вопросы? Ты поступаешь какъ негодяй и смѣешь еще такъ дерзко говорить со мной?.. Ну, говори же, высказывай все, скорѣй вонзи ножъ въ грудь матери!.. Что, вѣдь ты женишься на этой потаскушкѣ, на дочери этой сычихинской лапотницы?.. Языкъ твой поворотится мнѣ признаться въ этомъ?

— Да, я хочу жениться на ней,—отвѣчалъ Аркадій Иванычъ, подбочась правой рукой,—и потому прошу васъ по-

корнѣйше при мнѣ о ней такъ не отзываться. Она дѣвушка честная и благородная.

Елена Терентьевна вскочила съ креселъ.

— Ты мнѣ запрещаешь отзываться какъ я хочу объ этой гнусной дѣвчонкѣ, которая тебя соблазнила? Ты это запрещаешь мнѣ, мнѣ — своей матери?.. А коли на то пошло, такъ посмотримъ... Такъ ты рѣшился жениться безъ моего благословенія? такъ ты не дорожишь имъ и пойдешь безъ него къ вѣнцу? Прекрасное дитя!

— Нѣтъ, я пришелъ къ вамъ сегодня именно за тѣмъ, чтобъ просить вашего благословенія.

— Извергъ ты, извергъ ты этакой! змѣй, котораго я отогрѣла у моего сердца! — Елена Терентьевна схватила себя за голову. — Батюшки мои, я съ ума сойду! Охъ, что̀ онъ со мной дѣлаетъ! будьте вы всѣ свидѣтелями, всѣ...

Хотя въ комнатѣ никого не было, но Елена Терентьевна такъ кричала, что крики ея раздавались по всему дому и даже на дворѣ, — а барышня, дѣвки и лакеи смотрѣли на эту сцену матери съ сыномъ въ дверныя щелки и замочныя скважины.

— Онъ пришелъ ругаться надъ матерью! Слышите ли вы? Вотъ чѣмъ онъ отплатилъ мнѣ за все! Первому злѣйшему врагу моему не пожелаю имѣть дѣтей! Вотъ они, дѣти-то!.. Обманщикъ! такъ вотъ та княжна, на которой ты хотѣлъ жениться? Такъ-то ты возвысилъ меня своей женитьбой?.. Такъ-то ты сдержалъ свое слово насчетъ службы?.. Я, я дамъ тебѣ благословеніе на бракъ съ побродягой? Да съ чего это ты взялъ?.. Скажи своей прекрасной будущей роденькѣ, что я плюю на нее... Слышишь?

— Маменька, — произнесъ Аркадій Иванычъ, подходя къ ней, — вы... позвольте вамъ сказать, вы не понимаете, что̀ говорите.

— Ахъ, батюшки, батюшки! — взвизгнула Елена Терентьевна, пятясь отъ него назадъ, — помогите мнѣ! Онъ хочетъ меня убить! Злодѣй!.. Не подходи ко мнѣ, не подходи... Прочь отъ меня, прочь! я тебя знать не хочу!

— А! такъ вы приказываете мнѣ уйти? вы меня знать не хотите? Очень хорошо. Я уйду. Прощайте!

Аркадій Иванычъ поклонился маменькѣ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери.

Елена Терентьевна съ яростью тигрицы бросилась вслѣдъ за нимъ.

— Остановитесь! Я вамъ приказываю остановиться! Куда вы? Къ вашей невѣстѣ?

— А что жъ такое, если бъ и къ ней? — возразилъ Аркадій Иванычъ, остановившись.

— Такъ вы ужъ твердо рѣшились вырыть мнѣ могилу собственными руками? Вы не отложите своего намѣренія, несмотря ни на что? Такъ ваши чувства заснули, ваши обязанности къ матери исчезли? Аркадій Иванычъ! ты забылъ, что есть Богъ?.. Но знаете ли, что я васъ лишу всего? знаете ли, что я васъ прокляну, если только вы осмѣлитесь жениться на ней?.. Или, можетъ быть, васъ припугнули, васъ заставляютъ жениться? Можетъ быть, эта сычихинская лапотница нарочно такъ подвела, чтобъ застать васъ наединѣ съ своей дочкой и потомъ потащить къ вѣнцу съ нею? Знаемъ мы эти штуки-то. И вы позволили себя одурачить кругомъ?

— Довольно! — проговорилъ Аркадій Иванычъ, — теперь я знаю, что̀ мнѣ остается дѣлать.

И онъ взялся за ручку двери.

— Вы знаете? Такъ нѣтъ же, я не допущу васъ до такого срама! Нѣтъ!.. Вы забыли, что есть правосудіе? Я буду на васъ жаловаться... я перевѣдаюсь съ вами судомъ... я заставлю васъ покориться мнѣ. Я объявлю предъ цѣлымъ свѣтомъ, что вы всегда были самымъ гнуснымъ сыномъ!

— А было время, что вы называли меня примѣрнымъ сыномъ, — возразилъ Аркадій Иванычъ.

— Да, это правда; я называла тебя примѣрнымъ сыномъ, но въ душѣ этого никогда не чувствовала. Аркадій Иванычъ! я дѣлала это больше для глазъ постороннихъ, чтобъ скрыть твои ужасные со мною поступки.

— Хорошо, — сказалъ Аркадій Иванычъ, — вы на меня будете жаловаться цѣлому свѣту, а я попрошу у васъ отчетовъ по моему имѣнію за время вашего попечительства.

— Какъ! Боже мой! Боже мой! Что̀ же это такое? За

что же послана на меня такая казнь? Чудовище!.. Ты потребуешь отъ меня отчетовъ? Какихъ отчетовъ? Да ты кругомъ обокралъ меня, обворовалъ; ты разстроилъ всѣ мои дѣла! Я тебя и кормила и поила на свой счетъ! Этому всѣ свидѣтели... Прочь съ глазъ моихъ! Забудь о моемъ существованіи, сейчасъ забудь! Я тебя никогда не хочу видѣть; я отрекаюсь отъ тебя! Люди! люди! Кто тамъ есть? Сюда! сюда! Спасите меня отъ него!

Двери въ ту же секунду отворились, и барышня, въ сопровожденіи трехъ дѣвокъ, вбѣжала въ комнату съ уксусомъ четырехъ-разбойниковъ.

— Полноте, полноте, родная! — кричала она, — успокойтесь, придите въ себя. Аркадій Иванычъ это такъ только сказалъ; онъ ничего противъ вашей воли не сдѣлаетъ. Успокойтесь.

— Не говорите мнѣ болѣе о немъ. Ради Бога, не произносите передо мной этого ненавистнаго имени! У меня нѣтъ болѣе сына! Я одна осталась въ цѣломъ мірѣ, безъ мужа, безъ дѣтей, несчастная, брошенная судьбой сирота, убитая!..

— Ахти, Господи! что̀ это такое дѣется у насъ? — прошептали дѣвки.

Аркадій Иванычъ, между тѣмъ, прибѣжалъ къ себѣ въ комнату, велѣлъ какъ можно скорѣе запрячь коляску, забралъ всѣ свои нужныя бумаги, вещи, пистолеты и деньги и черезъ полчаса поскакалъ въ Сычиху. Онъ прямо бросился къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и разсказалъ ей обо всемъ случившемся отъ слова до слова, можетъ быть первый разъ въ своей жизни ничего не прибавивъ и не убавивъ.

— Она меня выгнала, — говорилъ онъ, ходя въ волненіи большими шагами по комнатѣ, — хорошо же! Она обругала васъ ни за что, ни про что. Прекрасно! Она будетъ послѣ объ этомъ раскаяваться, будетъ... погодите... Она хочетъ на меня жаловаться? Пусть жалуется! Посмотримъ...

— Голубчикъ вы мой! — восклицала Марѳа Алексѣевна, утирая слезы, — о-о-ох-ох-охъ! Недаромъ у меня все это время сердце ныло! Ужъ я знала, что все это не передъ добромъ! Но только вы, батюшка, ради Христа, не браните

маменьку: это вѣдь смертельный грѣхъ; не вооружайте ее еще пуще противъ себя... Ну, Богъ съ ней! Можетъ быть, она еще и очувствуется... Жалко мнѣ васъ, очень жалко... Ну, да какъ быть! Противъ воли материнской итти нельзя... А что̀ мы-то такое сдѣлали Алёнѣ Терентьевнѣ? За что̀ она, прости Господи, насъ-то такъ костить? Ну, видно, Богу не угодно, чтобъ вы были мужемъ моей Глашеньки! Какъ ни горько, а надо покориться...

И Марѳа Алексѣевна зарыдала.

— Что̀ такое? — вскрикнулъ Аркадій Иванычъ, остановившись передъ Марѳой Алексѣевной, — что̀ это вы говорите? Кому покоряться? Я не мальчикъ; нѣтъ, извините. Я ужъ рѣшился жениться — и женюсь.

— Безъ ея-то благословенія, батюшка? Избави васъ Господи! Ужъ какъ я васъ ни люблю, Аркадій Иванычъ, а покуда она васъ не благословитъ, я ни за что на свѣтѣ не отдамъ вамъ своей Глаши.

— Какъ, Марѳа Алексѣевна? Такъ вы это не шутя говорите? Да знаете ли вы, что я безъ Глафиры Анисимовны жить не могу? Знаете ли, что̀ я съ собою сдѣлаю, если еще и вы вздумаете мнѣ препятствовать? Вотъ что̀: смотрите!

Аркадій Иванычъ вынулъ изъ кармана пистолетъ (впрочемъ, незаряженный) и приставилъ его къ своему лбу.

— Сейчасъ размозжу себѣ черепъ, при васъ же. Вы же будете за меня отвѣчать Богу.

При видѣ пистолета Марѳа Алексѣевна помертвѣла, взвизгнула и закрыла глаза руками; потомъ кинулась къ Аркадію Иванычу.

— Отецъ мой! отецъ мой! — закричала она, — что̀ ты это дѣлаешь? Побойся Бога! Вѣдь ты погубишь свою душеньку ни за что! Опомнитесь, батюшка, ради Христа, опомнитесь! — продолжала она, дрожа всѣмъ тѣломъ, — не губите ни себя, ни меня!

— Такъ вы согласны отдать за меня свою дочь? — возразилъ Аркадій Иванычъ. — Коли согласны, такъ я брошу пистолетъ сейчасъ же. И если вы отдаете за меня Гла-

фиру Анисимовну, такъ наша свадьба должна быть завтра же, не иначе; тутъ думать нѐ о чемъ, медлить нѐ для чего, потому что маменька моя въ самомъ дѣлѣ можетъ все разстроить. Ну, Мареа Алексѣевна, по рукамъ, что ли? А если вы вздумаете колебаться, если вы не дадите мнѣ сейчасъ же рѣшительнаго отвѣта и не благословите насъ, такъ я... предупреждаю васъ, я готовъ на все; вы ужъ меня лучше и не уговаривайте понапрасну.

— Господи! что̀ это такое будетъ съ нами грѣшными?— твердила Мареа Алексѣевна въ отчаяньи. — Ахъ, батюшка, Аркадій Иванычъ, да подумайте хоть немножко, на что̀ это вы идете! Какъ же это безъ материнскаго-то благословенія? Сжальтесь надъ нами, отецъ родной! пощадите насъ!

Мареа Алексѣевна совершенно растерялась отъ страха и пала на колѣни передъ Аркадіемъ Иванычемъ.

— Мареа Алексѣевна! Мареа Алексѣевна! — повторялъ Аркадій Иванычъ зловѣщимъ голосомъ, — я говорю вамъ: рѣшайтесь скорѣй; одно изъ двухъ: или я вашъ зять съ сей же минуты, или — прощайте, — я застрѣлюсь сію секунду у вашихъ ногъ. Слышите ли?

И Аркадій Иванычъ снова приставилъ пистолетъ ко лбу.

— Ну, видитъ Богъ, я ни въ чемъ невиновна! — произнесла Мареа Алексѣевна, приподнявшись и воздѣвъ руку къ образу. — Коли ужъ таково ваше рѣшеніе, такъ дѣлать нечего. Я не хочу быть причиной вашей смерти: не могу же я взять на свою душу такого грѣха! Авось Алена Терентьевна взмилостивится и хоть послѣ-то проститъ и благословитъ васъ... Что̀ будешь съ вами дѣлать? Я на все согласна; только бросьте куда-нибудь подальше это поганое-то оружіе.

Аркадій Иванычъ бросилъ пистолетъ въ окно и подошелъ къ ручкѣ Мареы Алексѣевны.

— Такъ свадьба наша завтра вечеромъ, Мареа Алексѣевна? Вспомните, я ни на минуту не могу откладывать.

— Дѣлайте, батюшка, что̀ хотите, — отвѣчала старушка, — я и опомниться-то не могу; у меня такъ и руки и ноги отнялись... Какъ же это вы успѣете все устроить?

— Объ этомъ ужъ не безпокойтесь. — сказалъ Аркадій Иванычъ. — я все устрою сегодня и завтра утромъ являюсь къ вамъ.

— Да гдѣ же вы вѣнчаться-то будете?

— Въ Зюзинѣ. Зюзинскій помѣщикъ мой закадычный пріятель. Мы съ нимъ все обработаемъ. Мы первое время и остановимся у него, покуда я все устрою въ своей Грачевкѣ. Такъ благословите же насъ... Вы еще ничего не говорили обо мнѣ Глафирѣ Анисимовнѣ?

— Ничего, ничего, батюшка.

Но Глаша, глотая слезы и удерживая въ груди рыданье, слышала весь разговоръ Аркадія Иваныча съ Мареой Алексѣевной. Она стояла въ сосѣдней комнатѣ.

— Такъ я, Мареа Алексѣевна, не уѣду отъ васъ, — продолжалъ Аркадій Иванычъ, — покуда вы не объявите Глафирѣ Анисимовнѣ обо всемъ и не благословите насъ.

Мареа Алексѣевна вышла въ другую комнату и увидала передъ собою Глашу.

— Глаша, — сказала она ей, взявъ ее за руку, — поди сюда... со мною... здѣсь Аркадій Иванычъ...

Глаша безмолвно повиновалась.

Старушка подвела дочь къ Аркадію Иванычу.

— Вотъ женихъ твой, Глаша, — сказала она ей.

Глаша не успѣла притти въ себя. Все, что она слышала и видѣла, представлялось ей какимъ-то тяжелымъ и смутнымъ сномъ. Она машинально посмотрѣла на мать и не произнесла ни одного слова.

Мареа Алексѣевна вышла за образомъ.

Глаша осталась одна съ Аркадіемъ Иванычемъ.

— Сегодняшній день — самый счастливый день въ моей жизни, — сказалъ ей Аркадій Иванычъ, — вы согласны принадлежать мнѣ, Глафира Анисимовна?

Она молчала.

Аркадій Иванычъ повторилъ свой вопросъ.

— Я? — сказала Глаша, — вы это меня спрашиваете? Я не знаю. Если маменька и папенька согласны, такъ я не могу противорѣчить ихъ волѣ.

Въ эту минуту Мареа Алексѣевна возвратилась съ образомъ Спасителя. Она благословила этимъ образомъ сначала невѣсту, потомъ жениха; послѣ этого, соединила ихъ руки и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Будь надъ вами всегда благословеніе Божіе! Когда вы сочетаетесь бракомъ, живите, мои голубчики, въ мирѣ и согласіи. Вы, Аркадій Иванычъ, любите и берегите мою Глашу и не давайте ее никому въ обиду; а ты помни, Глаша, что ты должна будешь во всемъ повиноваться своему мужу... Ну, теперь поцѣлуйтесь.

Аркадій Иванычъ въ ту же секунду бросился къ своей невѣстѣ и напечатлѣлъ на устахъ ея пламенный поцѣлуй. Глаша вздрогнула, вспыхнула, провела рукой по лицу и посмотрѣла кругомъ себя, какъ будто внезапно пробужденная.

Затѣмъ Мареа Алексѣевна повела ихъ къ Анисиму Васильичу. Анисимъ Васильичъ, руководимый женою, благословилъ ихъ въ свою очередь, не понимая, впрочемъ, ясно, что̀ онъ дѣлаетъ, потому что ему день ото дня становилось хуже и онъ уже начиналъ забываться. Потомъ Аркадій Иванычъ простился съ невѣстою и съ ея маменькою, произнеся: «до завтра», и уѣхалъ, не забывъ, однако, взять изъ палисадника свой пистолетъ.

Когда мать и дочь остались наединѣ, онѣ безмолвно взглянули другъ на друга. Мареа Алексѣевна вскрикнула, и слезы ручьемъ хлынули изъ глазъ ея. Глаша упала на колѣни передъ матерью, схватила руками ея ноги и произнесла, рыдая и задыхаясь:

— Маменька! маменька! Не оставьте меня, не покиньте меня!

На другой день вечеромъ, именно въ тотъ самый часъ, когда Елена Терентьевна выѣхала изъ Кривухина въ губернскій городъ, чтобъ жаловаться на сына губернатору и другимъ властямъ, — Аркадій Иванычъ уже стоялъ передъ алтаремъ рядомъ съ своею невѣстою. Бракъ совершался въ деревянной и ветхой церкви села Зюзина. Кромѣ зюзинскаго помѣщика, въ церкви находились еще три пріятеля Аркадія Иваныча, исправлявшіе обязанность шаферовъ и сви-

дѣтелей. Со стороны невѣсты была только одна барыня — ея дальняя родственница. Марѳа Алексѣевна ожидала молодыхъ въ домѣ зюзинскаго помѣщика, гдѣ уже все было для нихъ приготовлено.

Невѣста стояла передъ алтаремъ блѣдная и трепещущая. На ней было простое бѣлое кисейное платье безъ всякихъ украшеній, и, вмѣсто поддѣльныхъ померанцевыхъ цвѣтовъ, къ темной косѣ ея была пришпилена живая бѣлая роза. Обрядъ вѣнчанія продолжался дольше обыкновеннаго. Лампады и свѣчи въ паникадилахъ едва освѣщали потемнѣвшій отъ времени иконостасъ. Въ церкви было мрачно. Деревья, окружавшія церковь, почти совсѣмъ не пропускали въ нее дневного свѣта. Къ тому же, вечеръ былъ пасмурный, и по небу ходили дождевыя тучи. Все было мертво и грустно кругомъ; только, будто для одушевленія этой картины, въ окно церкви ворвалась вѣтвь вѣкового дуба и тихо колебалась отъ вѣтра.

Когда все кончилось и молодые послѣ поздравленій вышли изъ церкви и остановились на паперти въ ожиданіи кареты (хотя отъ церкви до дома было не болѣе сорока шаговъ), зюзинскій помѣщикъ подошелъ къ Аркадію Иванычу, тихонько ударилъ его по плечу и отвелъ въ сторону.

— Ну, что, братецъ, — сказалъ онъ, — а? каково? Менѣе чѣмъ въ сутки свахляли дѣльце-то, — и безъ оглашенія!.. А вѣдь мы, братецъ, съ тобой молодцы!

— Спасибо, душа моя, спасибо! — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ, — ужъ я тебѣ по горло обязанъ, нечего сказать.

— А вѣдь жена-то у тебя, знаешь... того... весьма... этакъ...

— Гм... я надѣюсь! — перебилъ Аркадій Иванычъ.

— Вишь, каналья какая! счастливчикъ! — продолжалъ зюзинскій помѣщикъ, щелкнувъ Аркадія Иваныча по воротнику фрака. — Чортъ возьми, вѣдь я бы дорого далъ, чтобъ быть сегодня на твоемъ мѣстѣ. Понимаю, братецъ, твое нетерпѣніе, понимаю!

— То-то же! — воскликнулъ Аркадій Иванычъ, подмигнувъ и самодовольно улыбнувшись.

— Да какъ же это я ее не зналъ прежде? — возразилъ

зюзинскій помѣщикъ. — Странно, братецъ; а ты, плутище, небойсь, все пронюхаешь... Экое, братецъ, у тебя чутье на хорошенькихъ!

Аркадій Иванычъ выразительно крякнулъ и вслѣдъ затѣмъ произнесъ:

— Вѣдь, душа моя, ты знаешь пословицу: «на ловца и звѣрь бѣжитъ!»

ГЛАВА III.

— Слышали ли вы новость?

— Что̀? что̀ такое?

— Новость, новость, послушайте, господа!

— Ахъ, новость! новость!

— Какая же новость?

— Удивительная!

— Новость! Въ самомъ дѣлѣ?.. Неужто?

Такого рода восклицанія раздавались черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы Аркадія Иваныча и въ губернскомъ городѣ, и въ уѣздныхъ городахъ, и въ селахъ, и въ деревняхъ, и въ деревушкахъ. И на слово *новость*, какъ на звукъ набатнаго колокола, стекалась вся губернія — и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, и богатые, и бѣдные, и власть имѣющіе, и не пользующіеся никакою властью. Вся губернія пробудилась вдругъ отъ сладкой дремоты, въ которую она была погружена нѣсколько уже времени, истощивъ весь запасъ новостей и сплетней. Всѣ заплывшія отъ сна очи мгновенно открылись и загорѣлись любопытствомъ; всѣ языки, пребывавшіе въ бездѣйствіи или лѣниво занимавшіеся отъ нечего дѣлать передѣлками старыхъ анекдотовъ на новый ладъ, пришли въ необыкновенно сильное движеніе.

— Новость! новость! — слышалось повсюду.

— Что за новость? Какая новость? — кричали всѣ.

— Сынъ Алёны Терентьевны женился!

— Какой Алёны Терентьевны?

— Какой! Ну, разумѣется, кривухинской помѣщицы.

— Такъ это Аркадій Иванычъ женился?

— Неужели?.. Какъ?.. Когда?.. Зачѣмъ?.. На комъ?.. Можетъ ли статься?

— На дочери сычихинскаго помѣщика... на дочери Анисима Васильича, знаете? который былъ засѣдателемъ въ Таракановскомъ уѣздѣ, тотъ, котораго параличъ-то разбилъ.

— Какъ!.. Вотъ славно-то! Вотъ безподобно-то!

— Ай, ай, ай! Ахъ, ахъ, ахъ!

— Да вѣдь его, говорятъ, голубчика-то, принудили жениться!

— Принудили? Вотъ сударь! Какимъ образомъ?

— А вотъ-съ какимъ: онъ, видите ли, давно ухаживалъ за этою дѣвочкою. Она все ему, понимаете, строила глазки да назначала въ лѣсу рандеву. Вотъ мать-то ихъ однажды и застала, изволите видѣть. Ну-съ, застала да и отписала объ этомъ къ своимъ сыновьямъ; а у нея, батюшка вы мой, два сына офицера. Одинъ изъ нихъ тотчасъ же и прискакалъ, да и, понимаете, остановился инкогнито у кого-то по сосѣдству... Объ этомъ, вишь ты, одна мать знала. Вотъ, знаете, остановился, да и давай подкарауливать Аркадія Иваныча, да однажды, знаете, вдругъ на него, какъ снѣгъ на голову... Аркадій-то Иванычъ туда, сюда... Нѣтъ, братъ, говоритъ: ты, говоритъ, не улизнешь отъ меня теперь... Дѣлать-то было нечего — и скрутили молодчика!..

— Ахъ, какая скандалёзная исторія! — кричали барыни, — а что̀ жъ Алена-то Терентьевна?

— Она-съ ничего и не знаетъ объ этомъ. Это все, понимаете, дѣлалось по секрету отъ нея, потому что она, натурально, своего благословенія не хотѣла дать на этотъ бракъ... Она третьяго дня неизвѣстно зачѣмъ пріѣхала въ городъ и была ужъ у губернатора.

— Неужто? Да въ которомъ же часу?

— Часу этакъ въ первомъ.

— Такъ, такъ; я вѣдь проѣзжалъ мимо и видѣлъ ея экипажъ у подъѣзда.

— Зачѣмъ же она пріѣзжала къ губернатору?

— А гдѣ она остановилась?

— Надо бы посмотрѣть на нее, надо бы провѣдать ее!

— А гдѣ же молодые-то? ужъ вѣрно не въ Кривухинѣ?

— Нѣтъ; они остановились на время у зюзинскаго помѣщика. Они и вѣнчались-то въ Зюзинѣ.

— Вотъ какъ! скажите пожалуйста!

— А я, съ своей стороны, слышалъ, что Аркадія Иваныча просто-напросто кругомъ опутали. Вѣдь Анисима-то Васильича дочка не съ нимъ первымъ забавлялась. Это достовѣрное дѣло. Зюзинскій-то помѣщикъ еще прежде за нею ухаживалъ, да тотъ отдѣлался, потому что уменъ и плутоватъ, шельма!

— Ахъ, можно ли жениться на такой подлой твари? — кричали барыни, — ахъ, бѣдная Алёна Терентьевна! Ужъ она перестанетъ теперь носъ-то поднимать!.. Помните, душенька, какъ она важничала, распустивъ слухи, что онъ женится на княжнѣ!

— Ну, какъ не помнить, милая? Славную княжну подцѣпилъ себѣ, нечего сказать! Да ужъ теперь Алёна Терентьевна будетъ совсѣмъ не то! Ужъ она теперь, можно сказать, сто процентовъ противъ прежняго потеряла! Порядочно унизилась по милости сынка!

Барыни торжествовали.

Елена Терентьевна прибыла въ губернскій городъ съ рѣшительными намѣреніями. Она хотѣла, во что бы то ни стало, воспрепятствовать сыну жениться и начала объ этомъ уже совѣщаться съ разными знающими людьми и дѣльцами, — какъ вдругъ нарочный изъ Кривухина примчался къ ней съ роковымъ извѣстіемъ о женитьбѣ Аркадія Иваныча.

Елена Терентьевна выслушала гонца, задыхаясь отъ гнѣва. Она посмотрѣла на барышню, которая была при ней неотлучно повсюду, опустила руки и прошептала:

— Подите сюда... скорѣй... скорѣй.. я убита... зарѣзана безчеловѣчнымъ образомъ... я дышать не могу... Лѣкаря... лѣкаря... Пустите мнѣ кровь... скорѣй пустите... со мной ударъ будетъ... Сейчасъ, сейчасъ...

Она застонала и покатилась на диванъ.

Лѣкарь, въ самомъ дѣлѣ, нашелъ нужнымъ пустить Еленѣ Терентьевнѣ кровь и прописалъ ей какое-то успокоительное лѣкарство. Елену Терентьевну уложили въ постель; барышня сѣла у ея изголовья и, для доказательства своего усердія, при малѣйшемъ шорохѣ въ сосѣдней комнатѣ вскакивала и произносила:

— Тсс! Чтò вы тамъ шумите?

Елена Терентьевна лежала закрывъ глаза и только поднимала ихъ тогда, когда барышня подносила ей лѣкарство.

— Зачѣмъ это?— повторяла всякій разъ Елена Терентьевна, охая и смотря на подносимую ей ложку, — къ чему? Я не хочу никакого лѣкарства. Оставьте меня въ покоѣ. Дайте мнѣ умереть. Я умереть хочу. Мнѣ жить не для чего. На что мнѣ теперь жизнь?

— Какъ это можно?— восклицала всякій разъ барышня плачевнымъ тономъ, — чтò это вы, родная? Примите, голубушка, примите хоть одну ложечку.

И Елена Терентьевна, какъ будто насильно, всякій разъ принимала лѣкарство вздыхая.

Почувствовавъ себя немного получше и вставъ съ постели, она начала принимать къ себѣ всѣхъ, и всѣ барыни, находившіяся въ то время въ городѣ, перебывали у ней съ визитами. У воротъ дома, гдѣ жила она, съ утра до ночи стояли колымаги, тарантасы, крытыя дрожки, дормёзы, брички, кареты и другіе весьма странные допотопные экипажи.

Елена Терентьевна каждую гостью встрѣчала молча, съ потупленной головой и съ страдальческимъ лицомъ, значительно взглядывала на каждую гостью, качала головой и произносила слезящимъ голосомъ:

— Слышали вы, душенька, мое несчастіе?— И потомъ принималась вопить и рыдать.

Каждая гостья, радуясь отъ всей души горю Елены Терентьевны, почитала, однако же, за долгъ утѣшать ее такого рода фразами:

— Ахъ, полноте, милая, не волнуйте свои чувства! Что такое, въ самомъ дѣлѣ?.. ну, стòитъ ли того вашъ сынъ,

позвольте сказать откровенно, чтобъ вы изъ-за него разстраивали себя? Наплюйте на него, милая, просто наплюйте. Не отчаявайтесь. Еще Богъ накажетъ его за васъ. Развлекитесь чѣмъ-нибудь.

— Нѣтъ, ужъ лучше и не говорите мнѣ этого, — возражала Елена Терентьевна, — для меня въ жизни нѣтъ болѣе ни утѣшенія, ни развлеченій. Я совсѣмъ убита. Не дай Богъ никому испытать того, чтó я испытала! Еще я удивляюсь себѣ, какъ я все перенесла это; другую бы давно на моемъ мѣстѣ параличъ прихлопнулъ! Вѣрите ли, я нынче только узнала, чтó человѣкъ можетъ перенести!.

И, вслѣдъ затѣмъ, Елена Терентьевна каждой изъ барынь принималась разсказывать отъ начала до конца свою исторію съ сыномъ, въ которой Аркадій Иванычъ являлся точно извергомъ, а она — героиней добродѣтели, женщиной безпримѣрной въ лѣтописяхъ человѣчества. Каждая изъ барынь, слушая этотъ разсказъ, или ужасалась или восхищалась, смотря по надобности, а въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ подносила платокъ къ глазамъ и увѣряла Елену Терентьевну, что она принимаетъ въ ея положеніи истинное участіе; уѣзжая же отъ Елены Терентьевны, думала: «Ну, ужъ нечего сказать, оба хороши — и маменька, и сынокъ, одна другого стоитъ!»

А Елена Терентьевна, по выходѣ каждой гостьи, обращалась къ барышнѣ и говорила торжественно:

— Видите ли, какъ я умѣла нажить себѣ друзей! Можетъ быть, Господь посылаетъ мнѣ ихъ за мое доброе расположеніе ко всѣмъ! Вотъ вамъ доказательство. Посмотрите, какъ всѣ меня уважаютъ, какъ всѣ входятъ въ мое положеніе, какое участіе во мнѣ принимаютъ и съ какимъ презрѣніемъ относятся о немъ! Я желала бы, признаюсь, чтобъ слухи объ этомъ дошли до него: пусть бы онъ кáзнился, узнавъ объ этомъ!

О пріятеляхъ своего сына Елена Терентьевна отзывалась съ большимъ ожесточеніемъ. Она называла ихъ ворами, зажигателями, пьяницами, забулдыгами, шулерами и тому подобными именами. Зюзинскаго же помѣщика нарекла ата-

маномъ всѣхъ мерзавцевъ и висѣльникомъ, а село его Зюзино величали не иначе, какъ разбойничьимъ притономъ.

Она написала одно письмо къ Аркадію Иванычу, въ которомъ посылала ему и его женѣ всевозможныя проклятія, а другое къ Марьѣ Алексѣевнѣ, слѣдующаго содержанія:

«Вы, конечно, думали устроить выгодную для себя спекуляцію, женивъ самымъ подлымъ образомъ моего сына на вашей дочкѣ; вы ошиблись въ своихъ расчетахъ; знайте напередъ, что я отъ него отреклась и никогда его не пущу къ себѣ на глаза, а онъ ужъ состояніе свое собственное все промоталъ на актрисъ, а отъ меня ему ни копейки не достанется. Вамъ около него поживиться будетъ нечѣмъ; онъ самъ скоро пойдетъ съ нищенской сумой, женившись на нищей, и тѣмъ получитъ достойное возмездіе за свои ужасные поступки противъ нѣжно любившей его матери, которой онъ вырылъ могилу и устлалъ къ ней путь цвѣтами! И дочь ваша не будетъ счастлива, — вы и не воображайте себѣ этого, потому что она внесла раздоръ между сыномъ и матерью и ее ни въ какіе порядочные дома принимать никогда не будутъ, какъ недостойную этого. Всѣ формально сожалѣютъ обо мнѣ, и всѣ, не исключая губернатора и вице-губернатора, принимаютъ во мнѣ самое горячее участіе. Знайте, сударыня, что у меня въ одинъ день перебывало сорокъ четыре человѣка съ визитомъ, и всѣ единогласно самымъ презрительнымъ образомъ отзываются объ Аркадіи Иванычѣ и о васъ, сударыня, совсѣмъ нелестно поговариваютъ. Вы, рѣшившись отдать замужъ свою дочь за человѣка, который не получилъ отъ своей матери на то благословенія, отлично отрекомендовали себя всѣмъ. Значитъ, въ васъ нѣтъ ни религіи и никакихъ правилъ. Богъ отплатитъ вамъ за меня. Пусть ваши дѣти такъ же поступятъ съ вами, какъ Аркадій Иванычъ поступилъ со мною. Не безпокойтесь: мои молитвы дойдутъ до Всевышняго престола, и Онъ, покровитель всѣхъ страждущихъ и притѣсненныхъ, увидитъ мои кровавыя слезы и пошлетъ мнѣ скорую кончину, о чемъ я Его ежедневно и еженощно умоляю. Тамъ мы увидимся съ вами; тамъ преступный сынъ отдастъ за меня отчетъ отцу

своему; тамъ на страшномъ судилищѣ и вы отдадите за меня и за моего сына отчетъ Богу. Прощайте, грубая и безжалостная женщина! веселитесь слезами несчастной, растерзанной вами матери».

P. S. «Когда меня не будетъ на этомъ свѣтѣ, перечитывайте это письмо почаще съ моимъ сыномъ, а вашимъ зятемъ».

Отправивъ это посланіе по назначенію, вмѣстѣ съ письмомъ, адресованнымъ на имя Аркадія Иваныча, Елена Терентьевна немного поуспокоилась, собралась въ обратный путь и черезъ два дня прибыла благополучно въ Кривухино.

Вся дворня встрѣтила барыню съ печальнымъ лицомъ и хотя ни слова не говорила, потому что говорить не смѣла, но самымъ безмолвіемъ умѣла краснорѣчиво показать ей, какъ она объ ней сожалѣетъ.

— Спасибо вамъ, спасибо, — говорила Елена Терентьевна, проходя между рядами лакеевъ, бабъ и дѣвокъ. — Я вижу, что и вамъ жалко меня; да, пожалѣйте обо мнѣ, голубчики, пожалѣйте!

И Елена Терентьевна, заплакавъ, обратилась къ барышнѣ:

— Видите ли, душенька, — сказала она, — даже они, *они*... понимаете ли вы? они не могутъ смотрѣть на меня безъ слезъ и безъ состраданія; всѣ сторонніе наплакались на мои несчастія, — а онъ, онъ зарѣзалъ меня, не проливъ ни одной слезинки. У него, вѣрно, вмѣсто сердца камень въ груди!.. Я заслужила любовь послѣдняго холопа и послѣдней холопки въ моемъ домѣ и не заслужила любви сына!..

Въ самомъ дѣлѣ, Аркадій Иванычъ не слишкомъ заботился о маменькѣ. Проживъ нѣсколько дней въ Зюзинѣ, онъ переѣхалъ въ свое отцовское наслѣдіе, въ деревню Грачовку, которая находилась въ тридцати верстахъ отъ села Кривухина, и завелся тамъ помаленьку собственнымъ хозяйствомъ. Первое время онъ никуда отъ себя не выѣз-

жалъ. Былъ чрезвычайно внимателенъ къ своей женѣ, называлъ ее Глашурочкой и цѣловалъ безпрестанно, сажая къ себѣ на колѣни въ присутствіи своихъ пріятелей. Глаша долго не могла привыкнуть къ своему новому положенію. Она стыдилась мужа: его ласки и нѣжности приводили ее въ величайшее смущеніе; она ни за что не рѣшалась говорить ему *ты*, несмотря на его доводы и убѣжденія; тосковала по матери и часто наединѣ плакала. Все окрестъ ея казалось ей дико и странно. Только одна Ѳеклуша, которая отдана была ей въ приданое, напоминала ей ея дѣвическое житье, и потому она еще более прежняго привязалась къ Ѳеклушѣ.

— Это вѣдь у меня дикарочка изъ Новой Зеландіи, — говорилъ обыкновенно Аркадій Иванычъ своимъ пріятелямъ, указывая на жену, хотя, по правдѣ сказать, онъ не зналъ, что это такое Новая Зеландія и гдѣ она находится.—Она у меня только и знаетъ, что краснѣетъ. Вишь, піончикъ какой, право! Да что! если бъ можно было, я бы вамъ поразсказалъ про нее такія штуки, что просто курамъ смѣхъ!

Письмо, полученное Аркадіемъ Иванычемъ отъ маменьки, не произвело на него большого впечатлѣнія; зато бѣдная Марѳа Алексѣевна пришла въ совершенное отчаяніе отъ посланія къ ней Елены Терентьевны.

— Разсудите меня, добрые люди, — говорила она одной своей родственницѣ, заливаясь слезами, — чѣмъ же я виновна? Вѣдь Аркадій Иванычъ принудилъ меня отдать за него Глашу. Я ее не навязывала ему. Лучше было бы, что ли, если бъ онъ застрѣлился-то! Ахъ, ты, Господи Боже мой! вишь, говоритъ, будто бы у меня нѣтъ религіи! Что жъ я такое, не христіанка, что ли?.. И убей меня Богъ, если бъ я хотѣла поживиться чѣмъ-нибудь, хоть крохой его! Вотъ еще говоритъ: какъ поживешь, такъ и прослывешь. Да что жъ я сдѣлала такого дурного, что меня такъ позорятъ? Бѣдная моя головушка! Кабы Анисимъ Васильичъ былъ здоровъ, ничего бы этого не было...

— И, полно, родимая, крушиться,—возразила родственница, — мірская молва — что морская волна: прильетъ да и

отольетъ; рожь-то обмелется, извѣстно мука будетъ. Чего тебѣ смотрѣть на Алёну Терентьевну... Пусть ее важничаетъ, пусть ее съ жира-то бѣсится.

— Охъ! — стонала Мароа Алексѣевна, — видно, она самато Бога не боится, если обижаетъ честныхъ людей. Мнѣ, сердешная ты моя, не за себя больно, а за Глашу... Чѣмъ она, моя голубушка, виновата? Ну какъ, чего добраго, напорочатъ ей несчастіе? Ахъ, ахъ, ахъ! Такъ вотъ сердце-то и обольется у меня кровью, какъ я подумаю объ этомъ.

И точно, Глаша не выходила изъ головы у Мароы Алексѣевны. Старушка по цѣлымъ часамъ сидѣла пригорюнясь, не обращая вниманія ни на что ее окружавшее и забывая даже о хозяйствѣ. «Безъ нея мнѣ ничто не мило,— думала она, — и охоты нѣтъ ни за что приняться, и слово-то перемолвить не съ кѣмъ!» Часто Мароа Алексѣевна приходила въ комнату дочери, садилась на то мѣсто, гдѣ обыкновенно сиживала Глаша, смотрѣла на ея пяльцы, на ея неоконченную работу и шептала сквозь слезы:—«все-то это такъ, какъ при ней было; только ея одной нѣтъ, моей голубушки!»

Къ еще бóльшему горю Мароы Алексѣевны мѣсяца черезъ три послѣ свадьбы Глаши Анисимъ Васильичъ внезапно скончался отъ второго удара, объѣвшись чего-то въ отсутствіе своей супруги. Послѣ его смерти Глаша увезла неутѣшную маменьку къ себѣ въ деревню.

Пребываніе Мароы Алексѣевны въ Грачовкѣ сначала не совсѣмъ нравилось Аркадію Иванычу. Въ эту эпоху отношенія его къ женѣ уже измѣнились. Онъ пересталъ называть ее Глашурочкой, піончикомъ и дикарочкой изъ Новой Зеландіи, а звалъ ее просто очень хладнокровно Глашей или Глафирой Анисимовной; онъ началъ довольно часто посѣщать уѣздный городъ и иногда проводилъ тамъ по нѣскольку дней. Анна Трофимовна вполнѣ вступила въ свои прежнія обязанности. Она разливала ему и его пріятелямъ пуншъ, и Аркадій Иванычъ, попрежнему потягивая изъ стакана свой любимый напитокъ, говорилъ ей съ самодовольною улыбкою:

— Ну, видишь ли, глупенькая? чего же ты боялась? Вотъ я и женатъ, а перемѣнился ли я хоть сколько-нибудь? а? Все такой же. Не правда ли?.. — Ну, кто изъ васъ, господа, скажетъ, что я женатъ? Похожъ ли я на женатаго? — продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ пріятелямъ,— посмотрите, вокругъ насъ все такъ же, какъ бывало: и самоваръ, и коньячокъ, и Аннушка, и вы всѣ: только одинъ, плутъ, измѣнилъ намъ...

— Кто? зюзинскій-то, что ли? — воскликнула Анютка,— а куда жъ онъ дѣлся?

— Куда! да онъ, каналья, волочится за моей женою... Что вы глаза-то выпучили? ей Богу!

— А что жъ, братецъ? развѣ ты ее не ревнуешь? — возразили пріятели.

— Нѣтъ; что ее ревновать! Вѣдь она такая мокрая курица! Ужъ я на ея счетъ спокоенъ.

Зюзинскій помѣщикъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько разъ въ отсутствіе Аркадія Иваныча пріѣзжалъ въ Грачовку и очень увивался за Глашею; но застѣнчивая и неловкая Глаша съ нимъ, какъ и со всѣми, по своему обыкновенію, обращалась холодно, сама не говорила ни слова и даже едва, и то какъ будто съ досадою, отвѣчала на предлагаемые ей вопросы.

— Зачѣмъ онъ безъ васъ ѣздитъ сюда? — однажды замѣтила она мужу, — что мнѣ съ нимъ дѣлать? Скажите ему, чтобъ безъ васъ онъ не ѣздилъ; но Аркадій Иванычъ такъ прикрикнулъ за это на Глашу, что бѣдная Глаша совершенно оторопѣла.

— Ты моихъ истинныхъ друзей не хочешь принимать? Это что такое? что это за капризы? Развѣ ты забыла, чѣмъ ты ему обязана? Не будь его, такъ ты бы, можетъ быть, и женой-то моей не была: вотъ что я тебѣ скажу! Пора перестать, сударыня, дичиться; пора привыкать тебѣ къ порядочному обществу. Вѣдь я тебя вытащилъ изъ деревушки твоей, изъ этой трущобы — не за тѣмъ, чтобъ ты на всѣхъ этакимъ звѣремъ смотрѣла... какъ ты объ этомъ думаешь?

Глаша скоро наскучила Аркадію Иванычу. Онъ, признаться, недѣли черезъ двѣ послѣ брака началъ уже раскаяваться въ томъ, что женился, и, несмотря на безусловную покорность и безотвѣтность своей жены, не только не думалъ скрывать отъ нея этого, но еще находилъ особенное удовольствіе давать ей чувствовать при всякомъ удобномъ случаѣ, что она всѣмъ ему обязана и что онъ сдѣлалъ ей честь, избравъ ее своею женою...

Сидя дома глазъ на глазъ съ нею, онъ не зналъ, что дѣлать; зѣвалъ, потягивался, сердился.

— Ну, что жъ ты молчишь? — вскрикивалъ онъ наконецъ, отталкивая отъ себя съ досадою чубукъ, — хоть бы когда-нибудь слово сказала!

— Что же вы сердитесь на меня? — робко произносила Глаша — о чемъ же мнѣ говорить, Аркадій Иванычъ?

Аркадій Иванычъ вскакивалъ со стула, выходилъ изъ комнаты, хлопая дверью, и бормоталъ сквозь зубы:

— Фу, какая скука! Вѣдь дернула же меня нелегкая..

На Маѳу Алексѣевну, какъ мы замѣтили уже, онъ смотрѣлъ неблагосклонно. Онъ полагалъ, что Глаша жаловалась на него матери и что старуха гостила въ его домѣ для того, чтобы надзирать за его поступками. Вообще Аркадій Иванычъ становился необыкновенно раздражителенъ и подозрителенъ. Однажды утромъ, когда онъ уѣзжалъ изъ дома, Глаша, провожая его, спросила безъ всякаго намѣренія:

— Куда это вы такъ часто ѣздите?

Онъ нахмурилъ брови, сердито посмотрѣлъ на нее и закричалъ:

— Куда нужно, туда и ѣзжу, тебѣ что за дѣло! что мнѣ дома-то съ тобой развѣ въ молчанку играть? Конечно, я обязанъ отдавать тебѣ отчетъ, куда я ѣзжу... Что, ты съ маменькой-то своей подсматриваешь за моимъ поведеніемъ, что ли?

Глаша не произнесла ни слова. Она пошла въ свою комнату, заперлась тамъ отъ маменьки и бросилась на постель, горько заплакавъ. Такого рода сцены повторялись

не разъ. Она черезъ Ѳеклушу узнала обо всѣхъ продѣлкахъ Аркадія Иваныча и о его привязанности къ Анюткѣ, но все это скрывала отъ Марѳы Алексѣевны. Въ присутствіи мужа Глаша совершенно терялась. Она начинала бояться его и всякій разъ, услышавъ его шаги, вздрагивала.

Марѳа Алексѣевна часто сомнительно покачивала головой, глядя на дочь.

— Эхъ-эхъ-эхъ, Глашенька! — говорила она ей, — зачѣмъ ты это такъ неласково обращаешься съ мужемъ? Это нехорошо. Вѣдь чѣмъ больше ты будешь угождать ему, чѣмъ чаще будешь ласкаться къ нему, такъ тѣмъ больше онъ будетъ любить тебя. Ужъ пора тебѣ, другъ мой сердешный, за умъ взяться. Вѣдь вотъ, слава-те Господи, ты скоро будешь сама матерью, такъ ужъ надо тебѣ обо всемъ разсужденіе имѣть. Ты не смотри на то, дурочка, что онъ на тебя сердится: вѣдь онъ на то 'мужъ. Эка бѣда, что сердится! Посердится, да и перестанетъ, да еще послѣ сердцовъ-то слаще приголубитъ. А развѣ ты забыла, какъ покойникъ-то папенька (вѣчная ему память), бывало, бивалъ меня? Что жъ дѣлать? Однако, вспомни ты это, что мы съ нимъ тридцать слишкомъ лѣтъ душа въ душу прожили. Можетъ, за Аркадіемъ Иванычемъ и грѣшки какіе-нибудь водятся. (Надо замѣтить, что Марѳа Алексѣевна уже узнала о существованіи Анютки.) Что жъ такое? Вѣдь онъ мужчина, а мужчинамъ, ужъ извѣстно, все позволяется; и за моимъ покойникомъ водились грѣшки, — не безъ этого, — да, признаюсь, я на это сквозь пальцы смотрѣла. Мужчины, матушка, всѣ одинаковы!.. Аркадій Иванычъ и на меня что-то косо посматриваетъ, ужъ я вижу это, — ну, да вотъ погоди, дай срокъ, мы съ нимъ объяснимся, такъ авось все пойдетъ ладно.

Марѳа Алексѣевна точно объяснилась съ своимъ зятемъ, и объясненіе это кончилось тѣмъ, что Аркадій Иванычъ обнялъ ее, поцѣловалъ и сказалъ:

— Ну, Марѳа Алексѣевна, виноватъ передъ вами, признаюсь чистосердечно. Я объ васъ совсѣмъ другихъ мыслей былъ, а вы разсуждаете обо всемъ, то-есть, такъ пре-

красно и здраво, что дай Богъ всякому такъ разсуждать!

— Пожила, батюшка, благодаря Бога, довольно, — возразила Марѳа Алексѣевна, — такъ успѣла уму-разуму нахвататься... Только вы, голубчикъ мой, Аркадій Иванычъ, не обижайте моей Глашеньки; сами видите, что она еще и молода, и глупа. Не сердитесь на нее, батюшка, не браните ее. Она не станетъ мѣшать вашимъ удовольствіямъ. Ужъ я-таки ее порядочно пожурила за васъ.

Съ этого дня Аркадій Иванычъ, къ удовольствію Глаши, началъ очень хорошо и ласково обращаться съ Маррѳой Алексѣевной. Поощренный Маррѳою Алексѣевною, онъ, черезъ нѣсколько времени послѣ объясненія съ нею, выписалъ Анну Трофимовну къ себѣ въ Грачовку и помѣстилъ ее въ домѣ своего приказчика, отдѣлавъ для этого домъ заранѣе...

Елена Терентьевна, посредствомъ людей, знала все, что́ дѣлается въ Грачовкѣ, до малѣйшей подробности, и хотя она вообще была несравненно покойнѣе прежняго, но еще при всякомъ удобномъ случаѣ бранила сына, называла свою невѣстку мужичкой, Глашкой, дочерью подлой лапотницы, безпрестанно повторяла и притомъ совершенно не кстати: — Что я? я совсѣмъ убита, я самая несчастная женщина! — и пророчила Аркадію Иванычу всевозможныя бѣдствія. Когда ей донесли о томъ, что Анютка переѣхала въ Грачовку, она не могла скрыть своей радости.

— Я все это предвидѣла, — сказала она торжествующимъ голосомъ, обращаясь къ барышнѣ, — я все это знала заранѣе: иначе и быть не могло. Я была увѣрена, что эта мужичка, съ которой его обвѣнчали, на другой же день опротивѣетъ ему. Что жъ? и вышло по-моему; онъ на нее смотрѣть безъ отвращенія не можетъ. Вотъ вамъ и доказательство: онъ опять обратился къ своей Анюткѣ. Да, что ни говорите, какъ Анютка ни мерзка, а все-таки она во всѣхъ отношеніяхъ не въ примѣръ лучше его противной супруги.

— А вы слышали, — замѣчала барышня, — что зюзин-

скій помѣщикъ всегда пріѣзжаетъ въ Грачовку какъ нарочно тогда только, когда Аркадія Иваныча нѣтъ дома, и Глафира Анисимовна принимаетъ его такъ, запросто, въ утреннемъ капотѣ. Ей Богу, это всѣ ихные люди говорятъ.

— Слышала, матушка, слышала! — перебила Елена Терентьевна, — экую вы новость объявили! Объ этомъ ужъ вся губернія говоритъ. Ужъ положимъ, если бъ она была еще только дура, да имѣла доброе сердце, хорошую нравственность, ну, тогда бы еще куда ни шло, а то дура, невоспитанная мужичка, — да еще, ко всему этому, развратнаго поведенія.

Всѣ слухи и сплетни о своемъ сынѣ, и въ особенности о своей невѣсткѣ, Елена Терентьевна выслушивала съ жадностью и потомъ, передавая ихъ, еще прикрашивала собственнымъ воображеніемъ. Все это, однако, казалось ей недостаточнымъ. Ей хотѣлось самой побывать въ Грачовкѣ и посмотрѣть на все собственными глазами. Эффектная сцена примиренія съ сыномъ и первая встрѣча съ невѣсткою уже были обдуманы ею. Но какимъ образомъ приступить къ этому примиренію? Ей первой невозможно было протянуть руку преступному сыну, не унижая собственнаго достоинства. Надобно было устроить такъ, чтобъ Аркадій Иванычъ сначала бросился къ ногамъ ея со слезами раскаянія и съ мольбой о прощеніи. Елена Терентьевна могла насытить свою гордость и вполнѣ удовлетворить себя только при видѣ сына, валяющагося во прахѣ у ногъ ея, потому что высочайшее удовольствіе Елены Терентьевны было повелѣвать и уничтожать. Обдумавъ планъ своихъ дѣйствій, она приступила уже потомъ къ самымъ дѣйствіямъ; призвала къ себѣ барышню, о чемъ-то много и долго совѣщалась съ нею и послѣ совѣщаній отправила ее въ Грачовку...

Въ ту самую минуту, какъ барышня подъѣхала къ крыльцу дома Аркадія Иваныча, онъ лѣниво поднялся съ дивана и, позѣвывая, подошелъ къ своему токарному станку. Аркадій Иванычъ завелъ станокъ, во-первыхъ, для собственнаго развлеченія, ибо онъ ни хозяйствомъ, ни чте-

ніемъ не занимался, а во-вторыхъ, какъ онъ выражался, для *моціона*, изъ боязни слишкомъ расплыться.

Уже онъ привелъ въ движеніе колесо станка и приступилъ къ обтачиванію деревянныхъ спичекъ для вязанья, о которыхъ его просила Анна Трофимовна, какъ вдругъ скрипъ тихо и осторожно отворявшейся двери отвлекъ его отъ работы. Онъ обернулся назадъ — и изумленнымъ очамъ его предстала робкая и плачевная фигура барышни съ кожанымъ ридикюлемъ въ рукѣ.

— Сокровище вы наше! — вскрикнула барышня, уронивъ ридикюль и бросившись къ рукѣ Аркадія Иваныча,— узнаете ли вы меня, единственный благодѣтель мой? Сколько времени я не имѣла счастья наслаждаться вашимъ присутствіемъ... Дайте мнѣ, голубчикъ, поцѣловать вашу ручку... Позвольте, родной, мнѣ наглядѣться на васъ.

— Какими это судьбами вы очутились здѣсь, матушка?— воскликнулъ Аркадій Иванычъ, бросивъ долото и растопыривъ руки.

— Мое всегдашнее желаніе, Аркадій Иванычъ, было видѣть васъ, — сказала барышня, приготовляясь заплакать, — повѣрьте, я и ночь, и день объ этомъ только и помышляла, клянусь вамъ Богомъ; я всегда была на вашей сторонѣ,— убей меня Богъ, если я лгу; мнѣ васъ такъ было жалко, голубчикъ вы нашъ, что я и сказать-то вамъ не могу... Да вы знаете вашу маменьку, — безъ ея позволенія я носа никуда не смѣю высунуть изъ дому. Ужъ мое житье самое горькое, вамъ это извѣстно. И теперь я тихонько заѣхала къ вамъ; маменька ваша ничего объ этомъ не знаетъ, — ну, да пусть ее сердится, если узнаетъ; я ужъ не могла утерпѣть, голубчикъ, чтобъ васъ не видѣть, такъ вотъ сердце-то мое и рвалось къ вамъ...

— Ну, спасибо вамъ, что вы меня вспомнили, — перебилъ Аркадій Иванычъ.

— А гдѣ же супруга-то ваша? — продолжала барышня. — Дайте мнѣ поглядѣть на нее. Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось ее, голубушку, видѣть! Сколько я наслышана объ ней съ самой прекрасной стороны! Всѣ даже сторонніе единогласно

не нахвалятся ею. Это, говорятъ, ангелъ доброты... Вѣдь я еще и не видала васъ женатымъ-то; вѣдь я еще и не поздравляла васъ съ вступленіемъ въ законный бракъ... Чувствуетъ ли сердце Глафиры Анисимовны, какъ я люблю ее заочно? Покажите же мнѣ ее, Аркадій Иванычъ!

— Хорошо, хорошо. Я васъ сведу къ ней, погодите немножко. А теперь раскажите-ка мнѣ, что̀ новаго въ Кривухинѣ?.. Что̀ подѣлываетъ, напримѣръ, моя матушка?.. Что̀, я думаю, она все такъ же ругаетъ меня, какъ прежде?

Барышня вздохнула.

— Нѣтъ, Аркадій Иванычъ, — сказала она послѣ минутнаго молчанія, — что напрасно грѣхъ на душу брать; нынче ужъ совсѣмъ не то. Она ужъ давно угомонилась и такъ скучаетъ безъ васъ, что ужасть. Послѣднее время все только и тоскуетъ объ томъ, какъ бы, говоритъ, мнѣ еще хоть разочекъ въ жизни увидать его, ей Богу!

— Зачѣмъ же ей меня видѣть? Вѣдь она на всю губернію прокричала, что я ужъ ей не сынъ, что она меня и наслѣдства лишитъ, и Богъ знаетъ что...

— Да это она только такъ въ сердцахъ говорила, повѣрьте... Какъ можно отречься отъ единственнаго сына, да еще отъ этакого голубчика! какъ можно лишить васъ наслѣдства, сохрани Господи! У нея теперь этого и въ помышленіи нѣтъ; напротивъ, коли признаться вамъ сказать, — только вы ужъ, пожалуйста, меня не выдайте, — она все поджидаетъ, не пріѣдете ли вы къ ней. Она бы все забыла и такъ бы обрадовалась вамъ, что и сказать нельзя... Вотъ ужъ больше двухъ мѣсяцевъ, какъ она все хвораетъ, ей Богу; такая хилая сдѣлалась, что вы ее и не узнаете; все твердитъ мнѣ: я, говоритъ, ужъ не жилица на этомъ свѣтѣ. Аркашечка, говоритъ, вспомянетъ меня; я для него, говоритъ, все сберегла; послѣ меня все мое имущество, говоритъ, ему достанется. Вотъ клянусь вамъ, правда! (Барышня перекрестилась для бо̀льшаго доказательства словъ своихъ.) Я это истинно говорю передъ вами, какъ передъ Богомъ; мнѣ лгать не для чего...

— Въ самомъ дѣлѣ?

На лицѣ Аркадія Иваныча изобразилась пріятнѣйшая улыбка. Его обстоятельства были очень разстроены, и мысль о примиреніи съ маменькою блеснула для него лучомъ надежды. Онъ вообразилъ себя уже владѣльцемъ прекраснаго села Кривухина, богатой деревни Шепетиловки и обладателемъ того таинственнаго капитала, о которомъ онъ такъ много слышалъ въ дѣтствѣ. Онъ гордо подбочился, какъ капиталистъ, присвистнулъ, подумавъ: «мы протремъ глаза маменькинымъ-то денежкамъ, лишь бы только онѣ поскорѣй достались!» и потомъ съ необыкновенною привѣтливостью обратился къ барышнѣ, сказавъ:

— Ну, пойдемте же къ женѣ. Я васъ познакомлю съ нею и съ моею тёщею.

Барышня, увидѣвъ Глашу, бросилась къ ней со слезами и съ крикомъ:

— Наконецъ я дождалась радостнаго дня! наконецъ я увидѣла васъ! Позвольте, Глафира Анисимовна, обнять васъ; позвольте поцѣловать вашу ручку, позвольте увѣрить васъ въ моихъ чувствахъ къ вамъ. Я вѣдь на рукахъ носила вашего муженька-то; вѣдь я его вынянчила; я ему солдатиковъ вырѣзывала; я ему гусарскія курточки шила!.. Можетъ, мнѣ скоро Богъ приведетъ и вашихъ дѣтокъ забавлять, если вы позволите.

Глаша краснѣла, отнимала у барышни руки, которыя она такъ и рвалась цѣловать, и рѣшительно не знала, что ей дѣлать и отвѣчать.

— Ахъ, какая вы, голубушка, красавица! — восклицала барышня, — какіе у васъ прелестные глазки-то! Какіе у васъ волосы-то! Я ужъ знала, что у Аркадія Иваныча самый тонкій вкусъ; что ужъ если онъ выберетъ себѣ подругу, такъ ужъ, вѣрно, это будетъ заглядѣнье! Полюбите меня, родная вы наша, удостойте меня вашимъ вниманіемъ.

Затѣмъ барышня кинулась къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и начала разсыпаться передъ нею. Черезъ четверть часа онѣ пустились взапуски тараторить и сошлись другъ съ другомъ такъ, какъ будто вѣкъ были знакомы. Узнавъ отъ барышни о томъ, что Елена Терентьевна готова простить и благословить

Аркадія Иваныча, если только онъ явится къ ней съ повинною головою, Марѳа Алексѣевна разрыдалась отъ радости, перекрестилась и сказала:

— Ну, слава Богу! лишь бы только поскорѣй это совершилось, у меня бы стопудовая тяжесть отпала отъ сердца! Ужъ я, несмотря на старость лѣтъ, пѣшкомъ бы сходила въ Даниловскую пустынь поблагодарить за это Отца небеснаго!

Марѳа Алексѣевна уговорила барышню остаться ночевать въ Грачовкѣ. Глаша сама хлопотала, чтобъ устроить покойнѣе постель барышни. Аркадій Иванычъ все время обращался съ нею необыкновенно внимательно и ласково. На слѣдующій день рано утромъ, передъ отъѣздомъ, барышня забѣжала къ Анюткѣ, выпила у ней четыре чашки кофе, расцѣловалась съ нею, увѣрила ее въ неизмѣнности своихъ чувствъ къ ней; поругала вмѣстѣ съ нею Глафиру Анисимовну, посмѣялась надъ Марѳой Алексѣевной и, возвратясь отъ Анютки, начала собираться въ путь. На прощаньи барышня принялась благодарить Глашу за ласки и угощенье; опять насильно цѣловала ей руки; называла ее «неоцѣненной хозяюшкой»; клялась со слезами, что она готова за нее душу положить; что она еще ни къ кому отродясь не чувствовала такого влеченія, какъ къ ней; обнималась съ Марѳой Алексѣевной, говорила ей, что если бъ ея воля, она вѣкъ бы не разсталась съ нею, такъ полюбила ее, и шепнула Аркадію Иванычу, садясь въ кибитку:

— Что жъ, вы пріѣдете, голубчикъ, къ маменькѣ-то?

— Посмотримъ, посмотримъ! — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ.

— Прощайте, душенька! — кричала Марѳа Алексѣевна барышнѣ. — Не забывайте же насъ!

— Возможно ли это? Что̀ это вы, голубушка, Марѳа Алексѣевна! — пищала ей въ отвѣтъ барышня, — повѣрьте, что я вполнѣ чувствую всѣ ваши ласки и очень хорошо знаю, что я недостойна, чтобъ такія особы занимались мною! Глафира Анисимовна, позвольте еще разочекъ взглянуть на васъ, родная вы наша; позвольте еще поблагодарить васъ за ваше вни-

маніе и за угощеніе и за все, и Аркадія Иваныча такъ же, и Мароу Алексѣевну...

Барышня совсѣмъ заболталась, и болтанью ея не было бы конца, если бъ догадливый кучеръ не ударилъ по лошадямъ. Когда кибитка выѣхала со двора, Марѳа Алексѣевна обратилась къ зятю и къ дочери:

— Ну, ужъ какая, право, милая, добрая эта Марья Андреевна, — сказала она, — и какъ она Глашу-то мою полюбила. Спасибо ей, ей Богу, спасибо!..

Елена Терентьевна, съ нетерпѣніемъ ожидавшая барышню и еще издалека завидѣвшая ее, выбѣжала къ ней навстрѣчу. Лишь только барышня выкарабкалась изъ кибитки и вошла въ сѣни, Елена Терентьевна схватила ее.

— Ну что̀, душенька, — спрашивала она, — что̀? какъ васъ приняли? какъ они живутъ? что̀ они дѣлаютъ? что̀ мой милый сынокъ? что̀ моя прелестная невѣстушка? что̀ Анютка?.. Пойдемте скорѣй ко мнѣ, въ мою комнату; сбросьте съ себя салопъ, шляпку... Ну, полноте копаться, скорѣй, скорѣй!

Елена Терентьевна потащила за собой барышню.

— Садитесь, душенька, садитесь. Разсказывайте, разсказывайте!

Запыхавшаяся барышня бросилась на стулъ, перевела духъ и залилась какъ соловей.

Самыми черными красками расписала она житье Аркадія Иваныча, увѣряя, что не могла хладнокровно смотрѣть на него, что, глядя на него, у ней сердце такъ и разрывалось; что Глафира Анисимовна рѣшительно ни на что непохожа; что она не умѣетъ ни поговорить ни о чемъ, ни ступить, ни сѣсть, ни сдѣлать привѣтствія; что у ней прегрязные чулки; что у ея башмаковъ пятки стоптаны; что она сморкается не въ платокъ, а въ косынку, которая надѣта у ней на шеѣ; что это она видѣла собственными глазами; что Анютка въ сравненіи съ нею — королева; что Марѳа Алексѣевна — настоящая деревенская баба; что она и возлѣ дворянокъ-то никогда не сиживала: что у ней нѣтъ ни малѣйшей гордости; что она въ разговорѣ употребляетъ самыя простыя сло-

ка: что Анютка пользуется полною благосклонностью Аркадія Иваныча и помаленьку забираетъ къ себѣ въ руки все хозяйство; что Аркадій Иванычъ очень жалѣетъ о томъ, что женился, и, вѣроятно, скоро явится въ Кривухино изъявить свое раскаяніе и просить прощенія; что это по всему видно, хотя онъ ей не сказалъ объ этомъ ничего утвердительно.

Елена Терентьевна осталась вполнѣ довольна этимъ отчетомъ и даже поцѣловала барышню.

— Вы прекрасно исполнили мое порученіе, — сказала ей Елена Терентьевна, — будьте покойны, я не забыла васъ въ моемъ духовномъ завѣщаніи. Послѣ моей смерти вы увидите, умѣла ли я цѣнить людей.

Барышня, натурально, принялась увѣрять свою благодѣтельницу, что она служитъ ей не изъ какихъ-либо корыстныхъ видовъ, а единственно изъ любви и преданности; что она не перенесетъ ея смерти; что она ни за что не захочетъ дожить до этого ужаснаго дня и прочее.

Елена Терентьевна перебила ее:

— Полноте, душенька, полноте! Всѣ мы смертные; да притомъ, что ни говорите, а я чувствую, что мнѣ недолго остается жить... Перестанемте говорить объ этомъ. Вотъ лучше подумайте-ка о томъ, пріѣдетъ ли Аркадій Иванычъ.

— Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, — сказала барышня, — я даю вамъ голову на отсѣченіе, что онъ пріѣдетъ — и притомъ въ самомъ скоромъ времени.

— Погадайте-ка мнѣ въ карты объ этомъ, душенька.

Барышня разложила карты — и по картамъ также вышло, что Аркадій Иванычъ долженъ пріѣхать въ самомъ скоромъ времени. Елена Терентьевна успокоилась и начала поджидать сына.

Прошло нѣсколько дней. Онъ, однако, не являлся. Елена Терентьевна начала хмуриться и сказала барышнѣ:

— Видите ли, а его все нѣтъ какъ нѣтъ! Я увѣрена, что онъ и не помышляетъ обо мнѣ, что вы это все выдумали!..

Между тѣмъ Аркадій Иванычъ, предвидя, какъ тягостно будетъ его первое свиданіе съ маменькою, все день за день откладывалъ поѣздку къ ней, несмотря на благодѣтельныя

послѣдствія, которыя онъ ожидалъ отъ этой поѣздки. Наконецъ, послѣ долгихъ и настоятельныхъ просьбъ Марѳы Алексѣевны, подвигнутыи, впрочемъ, болѣе мыслью занять со временемъ у маменьки денегъ, онъ, не безъ усилія, поборолъ слабость своей воли и отправился съ замирающимъ духомъ въ Кривухино.

При въѣздѣ туда ему попался навстрѣчу староста Мирошка, который тотчасъ узналъ его, поклонился ему въ поясъ и потомъ опрометью пустился бѣжать на барскій дворъ. У воротъ барскаго дома навстрѣчу Мирошкѣ попался лакей Ѳомка; Мирошка объявилъ Ѳомкѣ о пріѣздѣ Аркадія Иваныча; Ѳомка, въ свою очередь, сломя голову побѣжалъ къ дому и на крыльцѣ встрѣтилъ горничную Акульку; Ѳомка объявилъ необычайную новость Акулькѣ; Акулька изо всей силы пустилась бѣжать къ барынѣ съ крикомъ:

— Аркадій Иванычъ ѣдетъ! Аркадій Иванычъ ѣдетъ! — и впопыхахъ наткнулась на барышню. Барышня вскрикнула:

— Неужто? неужто? — и, оттолкнувъ Акульку, бросилась сама къ Еленѣ Терентьевнѣ.

— Ѣдетъ, ѣдетъ! — кричала барышня.

— Кто? кто? — вскрикнула Елена Терентьевна, вздрогнувъ.

— Аркадій Иванычъ!

— Подушки! подушки! — закричала Елена Терентьевна, опускаясь въ кресла.

Барышня кинулась въ спальню и, возвратясь оттуда, по приказанію Елены Терентьевны, обложила ее подушками. Елена Терентьевна прислонила голову къ подушкамъ, опустила руки, будто въ изнеможеніи, и очень искусно приняла на себя болѣзненный видъ.

Аркадій Иванычъ неровными шагами вошелъ въ комнату и, увидѣвъ маменьку, остановился какъ вкопанный.

— Аркаша! Аркаша! — произнесла Елена Терентьевна слабымъ и трогательнымъ голосомъ. — тебя ли я вижу? ты ли это?

Видъ больной и страдающей матери кольнулъ Аркадія

Иваныча прямо въ сердце. Онъ вдругъ почувствовалъ къ ней прежнюю жалость; воспоминанія дѣтства охватили его со всѣхъ сторонъ. Онъ, самъ не зная какъ, упалъ передъ матерью на колѣни и сказалъ:

— Да, это я, маменька, это я!

Движеніе Аркадія Иваныча очень понравилось маменькѣ.

— Другъ мой! другъ мой, — простонала она, — встань, встань! я не могу тебя видѣть въ такомъ уничиженіи. Обними меня!

Елена Терентьевна прижала сына къ груди своей и омочила лицо его слезами.

— Ты считалъ свою мать безжалостной, нечувствительной женщиной; теперь ты видишь все, все...

Голосъ Елены Терентьевны прервался отъ рыданій.

— Сядь, голубчикъ, — продолжала она черезъ минуту, — сядь противъ меня, дай мнѣ твою руку... Посмотри на меня, Аркаша... Что̀, хороша я стала? Ты, можетъ быть, не вѣрилъ слухамъ, а теперь самъ удостовѣрился собственными глазами, въ какомъ я положеніи. Видишь, другъ мой, я стою на краю могилы... Я не упрекаю тебя, — нѣтъ, я слишкомъ далека отъ этого... Но мнѣ жаль тебя, Аркаша... охъ, какъ жаль! Можетъ, ужъ ты и самъ чувствуешь, что ты дурно сдѣлалъ, идя противъ матери. Ахъ, если бъ я могла только показать тебѣ, что̀ у меня дѣлается внутри, глядя на тебя!

Голосъ Елены Терентьевны снова прервался отъ рыданій и стона.

— Простите меня, маменька! — проговорилъ Аркадій Иванычъ сквозь слезы.

— Богъ тебя проститъ! — отвѣчала Елена Терентьевна уже болѣе твердымъ голосомъ. — Что же касается до меня, я ужъ давно тебя простила. Я не злопамятна, голубчикъ!.. Я могла тебѣ совѣтовать, какъ другъ; я могла на тебя сердиться, какъ мать; могла тебя, въ негодованіи, оттолкнуть отъ себя, отречься отъ тебя, — я все могла это. Воля матери неограниченна; но, разъ простивъ, я забыла все прежнее. Мое

слово неизмѣнно. Я строга, это правда; но я умѣю и прощать въ то же время, умѣю и миловать, Аркаша.

Елена Терентьевна остановилась и отдохнула немного.

— Ты не повѣришь, — продолжала она черезъ минуту, — какая будетъ радость для всего дома, когда узнаютъ, что мы съ тобой помирились. Вообрази себѣ, дружочекъ, что во все время нашей размолвки я не могла смотрѣть равнодушно на людей. Всѣ они ходили, какъ темная ночь. Всѣ, до послѣдней судомойки, принимали такое участіе во мнѣ, что я тебѣ и сказать не могу. Поблагодари ихъ за это, голубчикъ. Пусть они видятъ, что мы и сердясь любили другъ друга... Марья Андреевна, кто тамъ есть? подите сюда...

Елена Терентьевна позвонила въ колокольчикъ.

Барышня вошла съ потупленною головою.

— Поднимите вашу голову, разсмѣйтесь; полноте печалиться. Видите, у меня теперь попрежнему есть сынъ, который меня любитъ и будетъ исполнять всѣ мои желанія. Объявите объ этомъ всѣмъ въ домѣ; я хочу, чтобъ всѣ знали объ этомъ.

— Ахъ, какія радости!—вскрикнула барышня, припрыгнувъ,—я какъ будто помолодѣла теперь двадцатью годами отъ этой вѣсти, ей Богу. Голубушка вы наша! Голубчикъ вы нашъ! какое счастіе! я такъ только бы и смотрѣла на васъ да радовалась!

— Ну, милая,—произнесла Елена Терентьевна, обращаясь къ барышнѣ,—вотъ вы такъ порывались ѣхать къ Аркадію Иванычу и все сердились, что я васъ не пускаю; теперь я даю вамъ полную свободу; теперь вы можете хоть всякій день ѣздить къ вашему ненаглядному сокровищу, какъ вы его называете.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ахъ, Боже мой! такъ я увижу ваше хозяйство, Аркадій Иванычъ! Посмотримъ, посмотримъ, какъ-то вы хозяйничаете? Вѣдь я сейчасъ все окритикую... вы знаете, я большая критиканка.

Елена Терентьевна улыбнулась.

— Посмотри на нее, дружочекъ, въ какомъ она восторгѣ; и балагурить ужъ начала. Я давно ужъ не видала ее въ такомъ расположеніи...

Аркадій Иванычъ передъ обѣдомъ оставилъ на минуту маменьку и вышелъ въ другія комнаты.

Всѣ лакеи и дѣвки бросились къ нему съ поздравленіями и цѣловали его ручку. Аркадій Иванычъ цѣлый день пробылъ въ Кривухинѣ, и когда совсѣмъ уже собрался ѣхать домой, Елена Терентьевна проводила его до крыльца и, прощаясь съ нимъ, сказала:

— Ты можешь привезти ко мнѣ свою жену. Я хочу видѣть ее. Скажи ей, чтобъ она не боялась меня, что я не похожа на звѣря.

Возвращаясь домой, Аркадій Иванычъ разсказалъ обо всемъ женѣ и Маѳѣ Алексѣевнѣ. Радость Маѳы Алексѣевны была ни съ чѣмъ несравнима. Она и молилась, и плакала, и безпрестанно цѣловала не только дочь, но и зятя. Черезъ день она, по обѣщанію, отправилась съ лакеемъ и съ дѣвкою пѣшкомъ въ Даниловскую пустынь (хотя отъ Грачовки до пустыни считалось около 40 верстъ) и ни за что не хотѣла слышать, чтобъ за ней, на всякій случай, ѣхалъ экипажъ, какъ Глаша ни упрашивала ее объ этомъ.

Въ то время, какъ Маѳа Алексѣевна молилась въ Даниловской пустыни, Елена Терентьевна, послѣ свиданія съ сыномъ, распускала слухи, будто бы Аркадій Иванычъ, тревожимый муками совѣсти и преслѣдуемый во снѣ какими-то видѣніями, которыя угрожали ему страшною казнью за его поступки съ нею,—пріѣзжалъ къ ней и, умоляя ее о прощеніи, отъ передней до ея спальни проползъ на четверенькахъ; что она, тронутая его раскаяніемъ, по свойственному ей великодушію, не могла не простить его и даже, скрѣпя сердце, дозволила ему привезти къ себѣ эту мужичку, которую онъ имѣетъ несчастіе называть своею женою, и что, если бъ не безконечная ея любовь къ этому преступному и недостойному сыну, то она никогда такую тварь не пустила бы на порогъ своего дома. Ко всему этому Елена Терентьевна прибавляла, что ея невѣстка, или та, которую она, по необходимости, должна звать невѣсткою,—настоящее чучело; что она, говорятъ, не только не умѣетъ ходить и говорить по-людски, а даже и сморкается не иначе, какъ въ косынку.

Всѣ эти разсказы съ быстротою молніи разошлись по гу-

берніи. Вся губернія нѣсколько времени только и кричала, что о бѣдной Глашѣ. Люди очень почтенной наружности и весьма горделивой осанки, пользовавшіеся въ губерніи всеобщимъ уваженіемъ, на балахъ и на вечеринкахъ отводили своихъ знакомыхъ въ сторону и таинственно говорили:

— Слышали вы?

— Нѣтъ-съ, что такое-съ?

— А невѣстка-то Елены Терентьевны...

— А что-съ?

— Да неужели вы не слыхали? Гдѣ жъ вы живете, помилуйте!

— Умерла, что ли-съ?

— Какое умерла! Она сморкается... ну, вообразите... сморкается... какъ бы вы думали, во что?

— Во что же-съ?

— Въ косынку!

— Возможно ли это? Неужели? Да ужъ полно, не сочинилъ ли это какой-нибудь шутникъ-съ?

— Какой шутникъ! это говоритъ сама ея сверкровь; она это видѣла собственными глазами.

При этомъ раздавался всеобщій хохотъ, и затѣмъ начинались толки объ ужасномъ положеніи Елены Терентьевны, о томъ, что она должна плакаться на себя, ибо причиною всѣхъ ея страданій сынъ, а сынъ оттого дурень, что она его избаловала, а баловство, ужъ извѣстно, никогда до добра не доводитъ; что Матрена Аѳанасьевна, жена уѣзднаго предводителя дворянства, будетъ терпѣть со временемъ отъ своихъ дѣтей точно такую же участь, потому что она балуетъ ихъ до того, что смотрѣть противно, и т. д.

Между тѣмъ Елена Терентьевна, разыгравъ сцену примиренія съ сыномъ, приготовлялась къ другой, еще болѣе трудной сценѣ,—къ пріему невѣстки.

Аркадій Иванычъ не замедлилъ явиться съ женою въ Кривухино.

Толпы лакеевъ и дѣвокъ встрѣтили ихъ у крыльца.

Глаша, полуживая, вышла изъ кареты; ни кровинки не было въ лицѣ ея, губы ея были блѣдны, она едва дышала: сердце ея билось и замирало, ноги измѣняли ей. Она

прошла сквозь этотъ строй лакеевъ и дѣвокъ, пожиравшихъ ее глазами, какъ приговоренная къ смерти.

Елена Терентьевна, ожидая ее въ гостиной, разговаривала съ барышней такъ только для вида. Когда Аркадій Иванычъ показался на порогѣ комнаты вмѣстѣ съ женою, Елена Терентьевна, не вставая съ креселъ, обратилась къ нему и сказала:

— Ахъ, это ты, другъ мой! Здоровъ ли ты? Очень рада видѣть *тебя* (на мѣстоименіи *тебя* Елена Терентьевна сдѣлала сильное удареніе).

Аркадій Иванычъ подошелъ къ маменькиной ручкѣ и потомъ подвелъ къ ней жену.

Елена Терентьевна окинула Глашу съ ногъ до головы и бросила быстрый взглядъ на барышню. Барышня поняла этотъ взглядъ и отвѣтствовала на него едва замѣтной, грустной полуулыбкой.

— Здравствуй, *миленькая*,—произнесла Елена Терентьевна протяжно и двусмысленнымъ тономъ, величественно кивнувъ Глашѣ головою,—я давно желала тебя видѣть... Ну, а ты какъ? ты желала меня видѣть?

Глаша не могла ничего отвѣчать. Она только наклонилась, чтобы поцѣловать руку Елены Терентьевны; но Елена Терентьевна предупредила ее и торжественно протянула ей свою руку.

— Что же ты ничего не говоришь, душенька?—продолжала Елена Терентьевна,—не бойся меня, не бойся, я не кусаюсь. Можетъ быть твоя маменька напугала тебя и наговорила тебѣ Богъ знаетъ чего обо мнѣ?

— Нѣтъ,—произнесла Глаша,—нѣтъ, моя маменька мнѣ ничего не говорила о васъ

Слезы закапали изъ глазъ Глаши, и она пошатнулась. Барышня подскочила къ ней и поддержала ее.

— Полно, полно, миленькая, садись... Велите подать ей воды. Успокойся. Я не страшна, нисколько не страшна. Будь только со мною ласкова, привѣтлива, откровенна—и мы, повѣрь, станемъ жить съ тобою дружно. Выпей-ка водицы.

Глаша протянула дрожащую руку къ стакану и едва могла держать его.

— Чего жъ ты такъ боишься, скажи, пожалуйста? Спроси у своего мужа или вотъ хоть у нея (Елена Терентьевна указала на барышню), они тебѣ, вѣрно, скажутъ, что я не злая женщина. Я никого въ своей жизни, даже мухи, не обидѣла, миленькая; это не въ моемъ характерѣ. Я только взыскательна къ самой себѣ, а къ другимъ нисколько. Признаюсь тебѣ, это мой порокъ. Въ моемъ домѣ ты можешь быть какъ у себя; вѣдь мы теперь не чужія. Ужъ если я разъ признала тебя своей невѣсткой, такъ ужъ это кончено.

Елена Терентьевна тяжело вздохнула и слегка погладила Глашу по головѣ, обтеревъ потомъ руку о платокъ.

Глаша начала дышать нѣсколько свободнѣе. Помертвѣлое лицо ея понемногу одушевлялось и становилось даже прекраснымъ и выразительнымъ. Она взглянула на Елену Терентьевну глазами полными слезъ, какъ будто умоляя ее о снисхожденіи, и съ дѣтскимъ простодушіемъ, съ искреннимъ чувствомъ схватила ея руку и крѣпко прижала къ губамъ своимъ.

Елена Терентьевна улыбнулась благосклонно и, относясь къ Аркадію Иванычу, сказала:

— Твоя жена должна быть предобрая. Это видно, что у нея есть чувства.—И потомъ обратилась къ Глашѣ:

— Что жъ, ты будешь любить меня, миленькая?

— Если вы позволите,—отвѣчала Глаша.

— Я тебя даже буду просить объ этомъ. Ты не чуждайся меня. Я могу быть тебѣ полезной во многомъ. Ты еще неопытная, тебѣ негдѣ было научиться ни свѣтскому обращенію, ни порядочной манерѣ. Все это, если ты захочешь, можетъ притти со временемъ. Не забудь, что ты теперь вступила въ такое семейство, которое считается первымъ во всей губерніи. Аркадій Иванычъ и по фамиліи, и по всему могъ бы жениться на самой знатной дѣвицѣ... Ну, да видно это не угодно было Богу! Ты должна, миленькая, помнить, что ты ему всѣмъ обязана. Онъ, можно сказать, твой благодѣтель. А что, ты говоришь по-французски?

— Нѣтъ-съ.—Глаша покраснѣла.

— Аркадій Иванычъ! какъ же это? хоть бы ты для нея

компаніонку какую-нибудь нанялъ. Вѣдь нельзя же безъ этого, другъ мой. Кто же нынче не говоритъ по-французски? Помилуй!.. Я совѣтую тебѣ ею заняться... Какъ же *твоей женѣ* не говорить по-французски?

Въ продолженіе цѣлаго дня Елена Терентьевна слѣдила за малѣйшими движеніями Глаши и за обѣдомъ шепнула барышнѣ.

— Ради Бога, посмотрите на нее. милая: она и вилки-то не умѣетъ держать какъ слѣдуетъ.

Аркадій Иванычъ чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко: онъ, Богъ знаетъ отчего, все конфузился за свою жену и потому говорилъ мало. Глаша. всегда неразговорчивая, не смѣла разинуть рта, боясь сказать что-нибудь невпопадъ. Присутствіе Елены Терентьевны душило ее. Одна Елена Терентьевна разсыпалась за всѣхъ. Она, поглядывая на Глашу, будто безъ всякаго намѣренія, заводила рѣчи о свѣтѣ, о свѣтскомъ блескѣ, о какихъ-то удивительныхъ дѣвицахъ съ необычайнымъ умомъ, съ необыкновеннымъ воспитаніемъ, съ плѣнительными манерами, у которыхъ каждый шагъ—прелесть, каждое движеніе—грація, каждый взглядъ—очарованіе; замѣчала мимоходомъ, какъ должны быть счастливы тѣ, которыя имѣютъ такихъ невѣстокъ; съ большимъ презрѣніемъ отзывалась она о мелкопомѣстныхъ дворянкахъ и сожалѣла о грубости ихъ нравовъ и объ ихъ невѣжествѣ. Прощаясь съ Глашею, Елена Терентьевна удостоила ее поцѣлуя и сказала:

— Не забывай же меня, миленькая, навѣщай меня почаще. Ты можешь ко мнѣ когда-нибудь и безъ мужа пріѣхать.

— Милости прошу къ намъ, маменька,—робко замѣтила Глаша.

— Хорошо, я постараюсь быть у васъ.

— Пожалуйста же,—возразилъ Аркадій Иванычъ,—пріѣзжайте. Мы васъ будемъ ждать.

— Непремѣнно, непремѣнно, мое сердце,—будь покоенъ, я пріѣду къ *тебѣ*. (На мѣстоименіи *тебѣ* Елена Терентьевна опять сдѣлала значительное удареніе.)

Когда Аркадій Иванычъ и Глаша уѣхали, Елена Терен-

тьевна пожала плечами, покачала головой, вздохнула и обернулась къ барышнѣ:

— Что мнѣ остается сказать послѣ этого? Да гдѣ же у него были глаза? Какое это на него ослѣпленіе нашло? чѣмъ это... чѣмъ это, спрашиваю я васъ, она могла плѣнить его? Господи Боже мой! я тутъ и ума приложить не могу. Это для меня просто загадка! Вотъ ужъ правду говорятъ: полюбится сатана лучше яснаго сокола. Еще, по вашему описанію, я все-таки воображала, что она хоть на что-нибудь похожа; вы еще слишкомъ благосклонно смотрѣли на нее. Помилуйте, что это такое?.. Дурна, какъ смертный грѣхъ; глупа, безчувственна, какъ вотъ этотъ столъ. (Елена Терентьевна съ гнѣвомъ постучала по столу); необразована, неуклюжа, презлое выраженіе въ лицѣ, ножища въ два аршина, таліи никакой, одѣта уродомъ, шея длинная, безобразная... Ай да Аркадій Иванычъ! ай да утѣшитель мой! Спасибо ему,—подарилъ мнѣ невѣстушку!.. И еще слышали вы, душенька: она осмѣливается называть меня *маменькой!* Какъ вамъ это нравится? Дурища этакая! Я, я—ея маменька!.. Да я барыня всегда была, и вѣкъ останусь барыней, а она что? Милости прошу, говоритъ, *къ намъ*. Каково: *къ намъ!* Вѣдь она, этакая дрянь, ужъ теперь Богъ знаетъ что о себѣ воображаетъ!..

Елена Терентьевна умолкла на мгновеніе, потомъ, воздѣвъ руки горѣ, воскликнула пронзительнымъ и раздирающимъ голосомъ:

— Боже мой! Боже мой! Какой тяжелый, какой страшный крестъ судьба наложила на меня! И за что? за что, скажите? Нѣтъ, я не перенесу этого, не перенесу!

Она въ судорогахъ бросилась на диванъ, закрыла лицо руками и зарыдала.

ГЛАВА IV.

Марѳа Алексѣевна возвратилась съ богомолья больная и тотчасъ же слегла въ постель. Испуганная Глаша ни на шагъ не отходила отъ нея. На другой день Аркадій Ива-

нычъ послалъ кибитку за своимъ пріятелемъ, уѣзднымъ лѣкаремъ. Лѣкарь пріѣхалъ, посмотрѣлъ на больную, пощупалъ ея пульсъ, прописалъ ей лѣкарство и сказалъ Глашѣ:

— Ничего-съ, ничего-съ: будьте покойны; это такъ только, ничего-съ, легонькая простуда.

И вслѣдъ за тѣмъ, по приглашенію Аркадія Иваныча, отправился къ Анюткѣ на стаканчикъ пунша.

Марѳа Алексѣевна не спускала глазъ съ Глаши, гладила ее по головѣ и говорила:

— Ты не тревожься, голубушка моя. Что такое? я ужъ не такъ же больна. Вотъ посмотри: я завтра же утромъ встану да пройдусь по комнатѣ.

Марѳа Алексѣевна повторяла это всякій день, и такъ проходили дни за днями, а она все-таки не вставала съ постели. Она хотѣла скрыть свою болѣзнь отъ Глаши и каждое утро говорила ей:

— Ну, вотъ мнѣ сегодня и получше, Глашенька!

Но болѣзнь ея развивалась быстро. Однажды къ вечеру ей сдѣлалось такъ плохо, что Глаша, не раздѣваясь, всю ночь напролетъ просидѣла у ея изголовья, и въ эту ночь мысль лишиться матери въ первый разъ пришла ей въ голову. Кровь остановилась у ней въ сердцѣ отъ этой мысли, и дрожь пробѣжала по всему ея тѣлу. Нѣсколько минутъ Глаша пробыла въ совершенномъ безпамятствѣ.

Марѳа Алексѣевна лежала въ забытьи. Дыханіе ея было едва слышно. Глаша, придя въ себя, съ боязнью посмотрѣла на исхудавшее лицо матери, стала на колѣни передъ ея постелью и тихонько поцѣловала ея ноги.

«Меня никто не любилъ, кромѣ ея!—подумала она:—маменька! маменька! что же будетъ со мною безъ тебя?»

Долго простояла она такъ въ тяжкомъ раздумьи, вздрагивая при малѣйшемъ движеніи больной. Въ домѣ всѣ спали сномъ непробуднымъ, кромѣ Глаши. Мертвая тишина окружала ее. Передъ темнымъ, стариннымъ образомъ Спасителя, въ узорчатой серебряной ризѣ, передъ тѣмъ самымъ образомъ, которымъ Марѳа Алексѣевна благословила Глашу, теплилась лампада, разливая въ комнатѣ красноватый, печаль-

ный полусвѣтъ; на стѣнѣ колебалась длинная тѣнь отъ лампады. Огонекъ въ лампадѣ, вспыхнувъ въ послѣдній разъ, ярко озарилъ икону. Въ эту минуту больная застонала, Глаша едва внятно прошептала:

— Господи! Господи! спаси ее!

И упала передъ образомъ, утопая въ слезахъ.

На другой день, когда лѣкарь пріѣхалъ, она бросилась къ нему навстрѣчу.

— Послушайте,—сказала она ему, схвативъ его за руру съ смѣлостью, которую придало ей отчаяніе:—маменькѣ съ каждымъ днемъ хуже. Она опасно больна. Можетъ быть, даже нѣтъ надежды къ ея выздоровленію; не скрывайте отъ меня этого. Скажите мнѣ прямо все.

Она не договорила и, въ ожиданіи отвѣта, посмотрѣла пристально на лѣкаря, думая прочесть на его лицѣ приговоръ свой. Лѣкарь немного смѣшался, потому что онъ рѣшительно не понималъ болѣзни Мареы Алексѣевны, а лѣчилъ ее такъ, какъ и всѣхъ, на *авось*.

— Нѣтъ-съ, ничего-съ,—отвѣчалъ онъ,—это все пройдетъ; вотъ позвольте, я посмотрю ее.

Лѣкарь, сопровождаемый Глашею, вошелъ въ комнату больной.

Мареѣ Алексѣевнѣ было очень тяжело. Она лежала въ страшномъ жару. Лѣкарь, по обыкновенію, пощупалъ ея пульсъ, потомъ съ семинарскимъ педантствомъ потеръ себѣ лобъ, какъ бы размышляя о чемъ-то, хотя онъ не размышлялъ ни о чемъ; потомъ принялся писать рецептъ съ глубочайшею важностью.

— Ну, что?—спросила его Глаша.

— Да ничего-съ; конечно, она трудновата-съ: сегодня даже какъ будто ей похуже; впрочемъ, я пропишу ей лѣкарство, отъ котораго, надо думать, она получитъ облегченіе.

И, прописавъ лѣкарство, лѣкарь, по обыкновенію, отправился съ Аркадіемъ Иванычемъ выпить стаканчикъ пунша къ Анюткѣ.

— Если больной нашей будетъ хуже-съ,—сказалъ онъ,

уходя,—такъ вы извольте послать за мной: я не уѣду отсюда-съ: я буду здѣсь недалечко.

Черезъ два часа послѣ этого Марѳа Алексѣевна почувствовала себя такъ трудно, что потребовала священника. Священникъ изъ ближайшаго села пріобщилъ ее святыхъ тайнъ. Къ ночи у ней сдѣлался сильный бредъ.

Лѣкарь стоялъ у постели больной, но онъ ужъ формально не могъ принять никакихъ мѣръ: ему самому Богъ знаетъ что мерещилось, и языкъ его едва шевелился, потому что Аркадій Иванычъ и Анютка угостили его не однимъ стаканчикомъ.

— Глаша! Глаша!—говорила Марѳа Алексѣевна,—Богъ тебѣ милости прислалъ. Я за тебя молилась святымъ угодникамъ... Я только что пришла. Ахъ, какъ я устала, устала! Шутка ли, сорокъ верстъ пѣшкомъ пройти? Дайте мнѣ пить... Бога ради, пить!

Она воображала себя въ Сычихѣ, и ей безпрестанно грезился Анисимъ Васильичъ.

— Вотъ онъ, родимый, стоитъ! Вотъ онъ!—говорила она.

Къ утру Марѳа Алексѣевна пришла въ память. Она начала крестить и цѣловать Глашу и говорила, смотря на Аркадія Иваныча:

— Не оставьте ее, не покиньте ее! Глаша моя, Глаша моя, гдѣ ты?

Глаша, какъ безумная, припала къ умиравшей, обняла ее крѣпко и вскрикнула:

— Маменька! маменька! Нѣтъ, вы не покинете меня! Я не дамъ вамъ умереть'

Аркадій Иванычъ заплакалъ.

Лѣкарь, потирая руки, говорилъ, хотя его никто не спрашивалъ:

— Нехорошо-съ, нехорошо-съ! Теперь ужъ нѣтъ никакой надежды; болѣзнь приняла весьма крутой и неожиданный оборотъ.

Бредъ у больной увеличивался и не прекращался до самой ея смерти. Когда ноги у Марѳы Алексѣевны совсѣмъ охолодѣли и пульсъ пересталъ биться, лѣкарь подошелъ

къ ней, посмотрѣлъ на нее пристально, покачалъ головою и прошепталъ:

— Все кончено-съ.

— Все кончено!—повторила машинально Глаша, не двигаясь съ мѣста.

И съ этой минуты до того времени, какъ старушку опустили въ могилу, ни одной слезы не показалось на глазахъ Глаши: но на нее было страшно смотрѣть.

На похоронахъ Мареы Алексѣевны больше всѣхъ была, кричала и металась барышня. На другой же день послѣ похоронъ она разсказывала Еленѣ Терентьевнѣ:

— Представьте себѣ, родная, у Глафиры-то Анисимовны во все время ни одной слезинки не выкатилось.—ей Богу, тогда какъ всѣ сторонніе рыдали. Она стояла у гроба совершенно вотъ какъ истуканъ, какъ ни въ чемъ не бывало. А еще дочь!

— Чему тутъ удивляться?—возразила Елена Терентьевна:—она настоящій камень, да еще самый простой, знаете—булыжникъ! Но ужъ если нѣтъ чувства, то хоть бы изъ приличія, безсовѣстная, натерла себѣ лукомъ глаза.

Послѣ смерти Мареы Алексѣевны начались для Глаши страшныя испытанія. Анютка вышла на передній планъ и забрала къ себѣ въ руки все хозяйство. Вся дворня, не обращая никакого вниманія на Глашу, ухаживала за Анюткой, какъ за барыней. Анютка гордо посматривала на Глашу и нарочно передъ нею старалась выказывать свою власть. Если Глаша, впрочемъ, уже не входившая ни во что въ домѣ, иногда что-нибудь приказывала, Анютка непремѣнно противорѣчила ея волѣ, и если лакей или дѣвка возражали Анюткѣ: «Да вѣдь мы не виноваты, Анна Трофимовна; это приказала Глафира Анисимовна».

— Вотъ еще Глафира Анисимовна!—кричала Анютка,—экая важность! Что мнѣ такое ваша Глафира Анисимовна!

Барышня безпрестанно начала ѣздить изъ Кривухина въ Грачовку, подъ предлогомъ особенной любви къ Глафирѣ Анисимовнѣ, а собственно для того только, чтобъ сплетничать и клеветать на бѣдную Глашу.

Елена Терентьевна только раза два или три была въ гостяхъ у сына, и каждый свой пріѣздъ, вѣроятно, не безъ умысла, обращалась при Глашѣ съ Анюткой очень ласково.

— Здравствуй, милая Аннушка,—говорила она ей, когда та подходила къ ея ручкѣ,—ну, какъ ты поживаешь? Давно я тебя не видала...

— Какая она стала хорошенькая,—продолжала Елена Терентьевна, обращаясь къ сыну и въ особенности къ невѣсткѣ:—какая бѣленькая,—и какъ она прилично себя держитъ, какія у нея порядочныя манеры! Ей Богу, она въ тысячу разъ лучше иныхъ *такъ-называемыхъ* барынь и барышень.

На Глашу Елена Терентьевна постоянно поглядывала иронически и въ обращеніи съ нею обнаруживала ту оскорбительную и двусмысленную привѣтливость, какую обыкновенно обнаруживаютъ высшіе въ обращеніи съ низшими; къ Аркадію же Иванычу, напротивъ, изъявляла удивительную нѣжность, какъ въ старые годы, и даже ссужала его взаймы деньгами, приговаривая:

— Возьми, дружочекъ, вѣдь это твое же. Я не хочу, чтобъ у насъ было что-нибудь раздѣльное.

Когда одинъ разъ Аркадій Иванычъ спросилъ у маменьки:

— Что это вы, маменька, такъ рѣдко къ намъ ѣздите?

Елена Терентьевна, вздыхая, отвѣчала:

— Ты знаешь, мое сердце, что я, по моимъ чувствамъ, готова была бы всякій день бывать у тебя; но вѣдь ты не одинъ, а я замѣчаю, что жена твоя старается отдаляться отъ меня, смотритъ на меня какъ-то странно, какъ будто ей непріятны мои посѣщенія. Что жъ? Богъ съ ней! вѣдь она хозяйка въ твоемъ домѣ: она имѣетъ полное право принимать у себя только тѣхъ, кого ей угодно, кто ей нравится. Я никого въ жизни своей собой не безпокоила и ее безпокоить не буду.

— Помилуйте, маменька,—возразилъ Аркадій Иванычъ, нѣсколько обиженный,—какъ же моей женѣ могутъ быть непріятны ваши посѣщенія? Кто въ домѣ у насъ старшій: я или она? До сихъ поръ, слава Богу, я себя считалъ хо-

зяиномъ въ домѣ. Она, безъ моей воли, ничего не смѣла дѣлать. Она должна такъ думать, какъ я думаю, а не такъ, какъ ей хочется. Къ тому же, повѣрьте, ей и въ мысль не приходило отдаляться отъ васъ. Это вамъ, вѣрно, такъ показалось, потому что она, знаете, такая робкая.

— Нѣтъ, другъ мой,—перебила Елена Терентьевна,— позволь мнѣ сказать откровенно, — на это, кажется, я имѣю полное право, какъ мать и какъ другъ,—ты совсѣмъ не такъ смотришь на свою жену. Она совсѣмъ не такая скромненькая и тихонькая, какъ ты себѣ воображаешь: повѣрь моей опытности. Я хорошо знаю людей и свѣтъ и до сихъ поръ, благодаря моего Бога, никогда не ошибалась въ людяхъ. Она еще насъ съ тобой проведетъ, не безпокойся. Я очень хорошо понимаю, *почему* она не взлюбила меня!.. А если бъ она приняла сначала какъ слѣдуетъ мои радушные совѣты; если бъ она захотѣла слушаться меня и довѣрилась бы мнѣ, повѣрь, мое сердце, я бы ее въ какіе-нибудь полгода такъ передѣлала, что ты бы ее и не узналъ, тогда бы ее не стыдно было показать никому. Но что же дѣлать? вѣрно, у ней нѣтъ желанія образовать себя и сдѣлаться настоящей барыней. Возвышенныя чувства нельзя вложить насильно, если они не даны природою! Я съ своей стороны, въ отношеніи къ ней, Аркаша, сдѣлала все: ты былъ свидѣтелемъ этому, ты это видѣлъ и, конечно, не захочешь отпереться отъ этого. Я имѣла намѣреніе приблизить ее къ себѣ, какъ дочь; я ободрила, обласкала ее. Ей не угодно было удостоить вниманіемъ мою ласку. Богъ съ ней! я не виновата. Она ужъ на меня, кажется, пожаловаться не можетъ. Я рада, что, по крайней мѣрѣ, совѣсть моя чиста и въ этомъ отношеніи!

Аркадій Иванычъ задумался.

— Вы точно говорите правду, маменька; — произнесъ онъ черезъ минуту. — Но я заставлю ее быть къ вамъ внимательнѣе и почтительнѣе...

— Бога ради, Бога ради не дѣлай этого! — снова перебила Елена Терентьевна. — я не хочу ее еще больше вооружить противъ себя. Она еще, чего добраго, подумаетъ,

что я тебѣ наговариваю на нее, и послѣ, пожалуй, будетъ на меня жаловаться своимъ *короткимъ знакомымъ*. (Послѣднія слова Елена Терентьевна выговорила съ особеннымъ эффектомъ.)

— Да какіе же у ней такіе короткіе знакомые? — воскликнулъ удивленный Аркадій Иванычъ.

— Такъ ты полагаешь, что у ней нѣтъ *короткихъ знакомыхъ?* А, можетъ быть, и *есть!* кто это знаетъ, дружочекъ? Ну, да объ этомъ мы хорошенько поговоримъ когда-нибудь послѣ... А скажи мнѣ, правду ли говорятъ, будто она тяжела?

— Да, это правда, — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ, не понимая глубокознаменательнаго и таинственнаго тона маменьки и посмотрѣвъ на нее съ недоумѣніемъ.

— Ты въ этомъ *точно* увѣренъ, мой милый? Стало быть, ты скоро будешь отецъ?

Елена Терентьевна подозрительно улыбнулась.

— Я не понимаю васъ, маменька, — сказалъ Аркадій Иванычъ, — вы все какъ будто хотите что-то сказать мнѣ и не договариваете. Ради Бога, объяснитесь.

Но Елена Терентьевна наотрѣзъ отказалась отъ всякихъ объясненій. Она только крѣпко пожала руку сына и произнесла торжественнымъ голосомъ:

— Что́ бъ ни случилось съ тобою, какъ бы ты ни былъ пораженъ и огорченъ, мой ангелъ, — вѣрь, что на груди своей матери ты всегда найдешь успокоеніе во всѣхъ печаляхъ. Аркаша! Аркаша! никто больше и сильнѣе меня не любитъ тебя, — и не можетъ любить. Ты въ этомъ убѣдишься, когда меня не будетъ!

Елена Терентьевна задала до времени Аркадію Иванычу загадку о женѣ и заронила въ него сомнѣніе. Этого только покуда и хотѣлось ей.

Аркадій Иванычъ сталъ сердито и подозрительно посматривать на Глашу, хотя рѣшительно не понималъ, какъ и въ чемъ онъ долженъ подозрѣвать ее. Онъ еще болѣе прежняго сталъ придираться къ ней, еще грубѣе и безжалостнѣе началъ оскорблять ее, не только наединѣ, но при

всей своей дворнѣ. Онъ забывалъ всякія приличія: проводилъ до разсвѣта съ своими пріятелями и съ Анюткой въ саду, противъ самыхъ оконъ жены; пьяный буйствовалъ и стрѣлялъ изъ пистолета въ цѣль, при визгѣ Анютки и при громѣ рукоплесканій пріятелей; приглашалъ къ себѣ гостить уѣзднаго лѣкаря, на котораго Глаша не могла смотрѣть равнодушно, считая его убійцею своей матери, и требовалъ отъ нея, чтобъ она какъ можно ласковѣе обращалась съ нимъ.

Глаша, въ безотрадномъ одиночествѣ, переносила все безмолвно и безропотно. Никто не слыхалъ ея жалобъ; никто не видалъ ея слезъ, никто не замѣчалъ и не понималъ ея страданій. Она боялась всѣхъ въ домѣ, не исключая и своей Ѳеклуши, которая, хотя и лицемѣрила ей въ глаза, но давно предала ее и перешла на сторону сильной, то-есть на сторону Анютки. Но болѣе всѣхъ Глаша боялась барышни, несмотря на то, что та ласкалась и подольщалась къ ней попрежнему. Сплетни и клеветы барышни не могли не обнаружиться.

Отдаляясь постепенно отъ всѣхъ этихъ ненавистныхъ ей существъ, убѣгая изъ опостылѣвшаго ей дома, Глаша часто бродила въ лѣсу и по полямъ. Тамъ ей было легче и свободнѣе; тамъ она начала сдружаться съ природою, на которую до сей минуты смотрѣла равнодушно и безучастно. Горе и страданія развивали дѣятельность души ея, ибо безъ страданія человѣкъ не возвышается до пониманія Божіихъ тайнъ, которыя отовсюду окружаютъ его.

Глаша начала прислушиваться сначала съ любопытствомъ, потомъ съ страннымъ волненіемъ къ таинственному шопоту лѣса въ вечерній часъ, и къ однозвучному стрекотанію насѣкомыхъ въ травѣ, и къ журчанію рѣчки, которая, какъ стальная полоса, сверкала между ивовыхъ кустарниковъ. Она засматривалась на золотыя волны колосившейся степи; она по цѣлымъ часамъ просиживала у озера, глядя, какъ поверхность его, подернутая потухавшимъ румянцемъ вечерней зари, мало-по-малу синѣла, какъ стая дикихъ утокъ пролетала въ этотъ часъ надъ озеромъ, какъ огонекъ зажигался вдали, то потухая, то опять вспыхивая. Торже-

ственность ночи охватывала ее. Она съ жадностью вдыхала въ себя ночную свѣжесть и благоуханіе, задумываясь болѣе и болѣе.

Глашѣ казалось необъяснимымъ, отчего же эта самая природа была доселѣ мертва для нея и не производила на нее никакого впечатлѣнія? Это былъ первый шагъ къ сознанію, — первый внутренній вопросъ, возникшій въ ней.

А между тѣмъ, съ каждымъ днемъ все въ природѣ становилось для нея понятнѣе и, одушевляясь болѣе и болѣе, сливалось для глазъ ея и для слуха въ одну чудную гармонію И иногда, смятенной, чудилось ей, будто этотъ лѣсъ, это озеро и эти поля, засѣянныя хлѣбомъ или покрытыя цвѣтами, нашептываютъ ей какія-то невѣдомыя, но отрадныя рѣчи. Чувство таинственнаго и безконечнаго начинало проникать грудь ея. Слезы невольно, безъ всякой причины, катились изъ глазъ ея — и изъ глубины пробужденной души возникала молитва. Глаша въ первый разъ молилась и плакала... въ лѣсу и въ полѣ!

Прогулки ея становились все чаще и продолжительнѣе. Она полюбила свое одиночество и не хотѣла быть съ людьми. Въ ней даже зародилось враждебное чувство къ людямъ, ибо, въ простотѣ своего сердца, она думала, что всѣ люди должны быть таковы, какъ тѣ, которые окружали ее.

Частыя отлучки Глаши изъ дома не могли не быть замѣчены. Объ этомъ сейчасъ начались толки. Анютка, по секрету, шепнула барышнѣ, что Глафира Анисимовна ходитъ на свиданіе съ зюзинскимъ помѣщикомъ; барышня, по секрету, сообщила объ этомъ Еленѣ Терентьевнѣ. Елена Терентьевна, по секрету, разсказала о такомъ ужасномъ поведеніи своей невѣстки цѣлой губерніи. Наконецъ, съ прикрасами и съ преувеличеніями, эти слухи дошли и до Аркадія Иваныча.

Аркадій Иванычъ вышелъ изъ себя, прошепталъ, задыхаясь:

— А, такъ вотъ что! Теперь только понялъ я намеки маменьки!.. Вишь невинность какая! Хороше же! — И, какъ звѣрь, бросился въ комнату Глаши.

У Глаши замеръ духъ, когда она взглянула на вбѣжавшаго къ ней въ комнату мужа.

Аркадій Иванычъ схватилъ ее за руку съ такою силою, что она не могла не вскрикнуть отъ боли.

— Что вы это, сударыня, такое затѣяли? А! что это вы такое? — заревѣлъ онъ, дрожа отъ бѣшенства и кидая на нее грозные взгляды.

— Я? — сказала Глаша, — что такое я затѣяла? Я не понимаю васъ.

— А! вы меня не понимаете! вы корчите нарочно этакую дурочку, чтобъ прикрывать мнимою невинностью свои безстыдные поступки. Вы думаете провести меня, меня.. Ахъ, ты этакая! Посмотримъ, кто кого проведетъ! Я до сихъ поръ вамъ прощалъ все, все... но теперь...

— Но что же такое я сдѣлала? — спросила Глаша.

— Что вы сдѣлали? вы? И вы еще имѣете наглость спрашивать меня объ этомъ? Во-первыхъ, какъ вы обращались съ моею матерью? Какъ вы отвѣчали на ея ласку, на ея привѣтливость? Вы едва удостоивали ее вниманіемъ; вы, говорятъ, еще осмѣливались показывать ей, что вамъ непріятно ея присутствіе... А понимаете ли вы, какая разница между нею и вами?.. Она богата, образована, умна, хорошей фамиліи... а ты что?

Аркадій Иванычъ скорчилъ презрительную гримасу.

— Что я не богата, не умна и не образована, — замѣтила Глаша, — такъ я въ этомъ не виновата, Аркадій Иванычъ. Зачѣмъ вы не видѣли этого прежде? Зачѣмъ же вы женились на мнѣ? А съ маменькой вашей я обращалась, кажется, какъ могла почтительно, несмотря на то, что она явно смѣялась надо мною въ глаза.

— Такъ ты еще смѣешь винить мою мать? Такъ, по твоему сужденію, она виновата? Ну, да не въ этомъ дѣло, не въ этомъ... А скажи-ка мнѣ вотъ что: гдѣ ты изволишь шляться-то по цѣлымъ часамъ? Тебя вѣдь, говорятъ, по цѣлымъ часамъ нѣтъ дома?

— Да я и не запираюсь въ этомъ, — сказала Глаша, — я хожу гулять.

— Гулять? Одна-то одинёхонька! Покорно прошу! Гулять! И ты полагаешь, что я такъ глупъ, что этому повѣрю? Съ какою же, напримѣръ, цѣлью дѣлаются эти прогулки?

Глаша съ удивленіемъ посмотрѣла на мужа.

— Съ какою цѣлью? Я гуляю такъ, безъ всякой цѣли.

— Конечно, для того, чтобъ восхищаться природой: луной, цвѣточками и кусточками?

Аркадій Иванычъ захохоталъ во все горло.

— Какъ это правдоподобно! Хоть бы ты лгать-то выучилась получше.

— Нѣтъ, я никогда не лгала, я не умѣю лгать, Аркадій Иванычъ, и не заслуживаю того, чтобъ вы оскорбляли меня. Съ какою же цѣлью я могу гулять? скажите мнѣ.

— Съ какою? А? ты еще запираешься! Хорошо же, я тебѣ все выскажу; ты увидишь, что меня обмануть трудно, что не только какая-нибудь глупая и распутная баба, а еще тотъ человѣкъ не родился, который меня обмануть можетъ! Ты, сударыня, таскаешься затѣмъ, что у тебя назначены свиданія съ зюзинскимъ помѣщикомъ; ты шляешься для того, чтобъ тамъ съ нимъ въ лѣску амуриться. Я все знаю!

И Аркадій Иванычъ, крича, съ гнѣвомъ размахивалъ рукою.

— Я тебя убью прикладомъ ружья, если только когда-нибудь поймаю съ нимъ, да и его, каналью, застрѣлю, даромъ, что онъ мнѣ пріятель! Слышишь ли?.. Маменька правду мнѣ говорила, называя тебя потаскушкой, а я еще имѣлъ глупость заступаться за тебя! Ты еще не знаешь меня! Я тебѣ докажу, что́ я такое! Я сдѣлаю съ тобою то, чего тебѣ, голубушка, и во снѣ не пригрезится. Я прикую тебя цѣпью въ этой комнатѣ. Ты у меня носа отсюда не высунешь; я не велю тебѣ давать ни чулковъ, ни башмаковъ; я велю придѣлать желѣзныя рѣшетки къ твоимъ окнамъ... Я вѣдь мужъ твой, мужъ! Понимаешь ли ты это? Я съ тобой знаешь, что сдѣлаю...—Аркадій Иванычъ задыхался отъ ярости.

Глаша выслушала все это, смотря прямо въ глаза Аркадію

Иванычу. Въ эту минуту трудно было узнать робкую Глашу. На лицѣ ея не было ни малѣйшаго признака боязни: лицо ея выражало благородство и рѣшимость. Постоянныя клеветы и оскорбленія пробудили въ ней, наконецъ, что-то похожее на чувство человѣческаго достоинства.

— Вамъ оклеветали меня, я ничего не сдѣлала противъ васъ дурного, — сказала она довольно твердымъ и спокойнымъ голосомъ, хотя силы уже начинали измѣнять ей, — я до сихъ поръ во всемъ повиновалась вашей волѣ и съ покорностью переносила все; но теперь, послѣ того, что̀ вы сказали мнѣ, я ужъ не могу оставаться въ вашемъ домѣ... Но мнѣ ничего вашего не нужно: я пойду по міру, буду просить милостыню; мнѣ будетъ легче кормиться милостыней, чѣмъ жить въ вашемъ домѣ. Вы меня оскорбляете, но Богъ меня не оставитъ.

И Глаша сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ. Въ ея словахъ было столько простоты, въ ея движеніи было столько рѣшительности, что, пораженный всѣмъ этимъ, Аркадій Иванычъ, не произнеся ни слова, посторонился, далъ ей дорогу и съ недоумѣніемъ началъ смотрѣть ей вслѣдъ. Но Глаша не могла дойти даже до двери, глаза ея помутились, она только прошептала:

— Маменька! маменька! Зачѣмъ ты оставила меня? — и безъ чувствъ грохнулась на полъ.

Аркадію Иванычу вдругъ стало жаль Глаши. Онъ подумалъ: «А что, если, въ самомъ дѣлѣ, говорятъ про нее напрасно? Можетъ быть, она ни душой, ни тѣломъ не виновата... Но зачѣмъ же гулять ей одной? Что ей дѣлать въ лѣсу и въ полѣ?»

Аркадій Иванычъ не могъ никакъ повѣрить, чтобъ можно было гулять единственно для того, чтобъ восхищаться цвѣточками и кусточками, какъ онъ выражался. Раздираемый сомнѣніемъ и ревностью, испуганный, потому что Глаша лежала передъ нимъ на полу безъ малѣйшаго признака жизни, Аркадій Иванычъ закричалъ дикимъ голосомъ:

— Филька! Васька! Петрушка! Ѳеклушка! Сюда! скорѣй сюда!

Люди сбѣжались на этотъ крикъ и, по приказанію Аркадія Иваныча, подняли барыню и положили ее на постель.

— Өеклушка, спирту!—продолжалъ кричать Аркадій Иванычъ.—дайте ей понюхать спирту... Щетокъ! щетокъ!

И онъ самъ началъ оттирать жену.

Въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ онъ не отходилъ отъ ея постели, несмотря на то, что Анютка раза три прибѣгала звать его къ себѣ. Когда Глаша открыла глаза, она посмотрѣла кругомъ себя, какъ будто припоминая, что съ ней и гдѣ она; потомъ хотѣла приподняться—и не могла. Она закрыла лицо руками и простонала: «Маменька! маменька! я погибла! Мое дитя, мое бѣдное дитя!..» Она начала плакать и метаться. Вопль ея раздавался по всему дому. Съ нею сдѣлался нервическій припадокъ. Аркадій Иванычъ цѣловалъ ея руки и говорилъ:

— Полно, Глаша, полно! что съ тобой? Вѣдь я давеча такъ только сказалъ... я вѣдь пошутилъ.

Өеклушка стояла въ углу, утирая кулакомъ слезы. Анютка бѣсилась и кричала на весь дворъ:

— Вишь какой ревъ подняла, притворщица этакая!

Къ вечеру пріѣхалъ уѣздный лѣкарь; но Глаша не хотѣла его видѣть. Аркадій Иванычъ послалъ за другимъ лѣкаремъ и за бабушкой. Ночью Глаша выкинула мертваго ребенка.

Объ этомъ горестномъ происшествіи дано было знать Еленѣ Терентьевнѣ. Елена Терентьевна, выслушавъ посланнаго, обернулась къ барышнѣ и сказала:

— Что, милая? не говорила ли я вамъ, что на нихъ обрушатся всѣ несчастія? Этого еще мало. Это еще цвѣточки, а ягодки-то будутъ впереди. Вотъ что значитъ жениться безъ материнскаго благословенія! Впрочемъ, признаться вамъ, я рада, что этотъ дьяволёнокъ не остался въ живыхъ. Еще, можетъ быть, онъ и не сынъ Аркадія Иваныча. Да что тутъ скрываться? я почти въ этомъ увѣрена.

На другой день Елена Терентьевна прискакала въ Грачовку.

— Ахъ, какое несчастіе, другъ мой! ахъ, какое ужас-

ное несчастіе! — твердила она. — Со мной чуть не сдѣлался обморокъ, какъ я узнала объ этомъ. Ну, что твоя жена? что съ нею? Могу ли я ее видѣть? не обезпокою ли я ее собою? Можетъ, она хочетъ быть одна? Да приняты ли всѣ мѣры, какія слѣдуетъ? Гдѣ бабушка? Дайте-ка я поговорю съ нею. Ахъ, бѣдная Глашенька! какъ мнѣ ее жалко! Скажи ей, дружочекъ, что я всю сегодняшнюю ночь промолилась за нее.

Въ спальню Глаши Елена Терентьевна вошла на цыпочкахъ и принялась увѣрять Глашу въ своемъ расположеніи къ ней, въ искреннемъ желаніи быть ей полезной и замѣнить ей мать.

— Не сокрушайся, душенька, о своемъ дитяти, — говорила она между прочимъ, — не разстраивай себя. Что такое въ самомъ дѣлѣ? Еще ты молода; лишь бы Богъ далъ здоровье, а дѣти будутъ, объ этомъ нечего отчаяваться.

Глаша выздоравливала медленно. Прежнія силы ея уже не возвращались къ ней. Она чувствовала боль въ груди и начала кашлять. Она никуда не выходила изъ своей комнаты и цѣлые дни просиживала у окна, съ неизъяснимою тоскою глядя на сѣрое осеннее небо, на дорожки сада, усыпанныя желтыми листьями; на послѣдніе цвѣты, тронутые морозомъ, прислушиваясь къ завыванію вѣтра и къ глухому, однообразному шуму воды, взволнованной мельничными колесами. Она предчувствовала, что ей недолго остается жить, и не боялась смерти, ибо твердо была увѣрена, что смерть соединитъ ее съ матерью.

Аркадій Иванычъ, когда Глаша встала съ постели, пересталъ о ней заботиться и совсѣмъ переселился къ Аннѣ Трофимовнѣ, у которой, по его приказанію, собирались по вечерамъ на посидѣлки всѣ хорошенькія дворовыя и крестьянскія дѣвки. Аркадій Иванычъ поилъ ихъ наливками, заставлялъ пѣть пѣсни и самъ, со стаканомъ коньяку или ерофеича (потому что пуншъ пересталъ удовлетворять его), пускался плясать въ присядку. Къ зюзинскому помѣщику онъ совершенно охладѣлъ и во время его пріѣздовъ косился и подозрительно поглядывалъ на Глашу, все еще продол-

жая ревновать ее къ нему, хотя она уже едва дышала. Такъ прошло мѣсяца четыре. По прошествіи этихъ четырехъ мѣсяцевъ у Глаши обнаружилась чахотка, и лѣкарь объявилъ объ этомъ Аркадію Иванычу.

Аркадій Иванычъ задумался, прослезился, нѣсколько разъ въ волненіи прошелся по комнатѣ и сказалъ:

— Жалко мнѣ ее, охъ, какъ жалко! Ну, да что́ дѣлать? Слезами не пособишь. На все воля Божья!

И, чтобъ разсѣять свое горе, отправился къ Анюткѣ на посидѣлки.

Черезъ недѣлю послѣ этого онъ передалъ маменькѣ слова лѣкаря, прибавивъ, что жена его таетъ, какъ свѣчка и что у него, глядя на нее, сердце надрывается.

— Что это ты говоришь мнѣ, другъ мой? — вскрикнула Елена Терентьевна, — неужели это правда? — Потомъ она продолжала со слезами на глазахъ. — Аркашечка, ангелъ мой! если это такъ, прошу тебя объ одномъ: приготовься ко всему, мой другъ, заранѣе. Что́ дѣлать! Вспомни, что всѣ мы гости въ этомъ мірѣ. Будь благоразуменъ. Я, признаюсь, смертельно боюсь за тебя, зная твое нѣжное сердце!

Когда же Аркадій Иванычъ уѣхалъ, Елена Терентьевна обратилась, по своему обыкновенію, къ барышнѣ:

— Слышите ли, душенька? — замѣтила она, смѣясь, — Глафира Анисимовна въ чахоткѣ! Она умретъ! Да повѣрю ли я этому? Такимъ безчувственнымъ созданіямъ, какъ она, никогда ничего не дѣлается. Имъ и чахотка нипочемъ! Повѣрьте, они живущи, какъ кошки!

Елена Терентьевна ошиблась. При началѣ весны Глаша слегла въ постель. Ее нельзя было узнать, такъ она измѣнилась. Лицо ея осунулось и покрылось морщинами, глаза ввалились, кожа пожелтѣла; на щекахъ ея игралъ болѣзненный румянецъ. Однажды утромъ она попросила, чтобъ отворили окно въ садъ и посадили ее къ окну. Но видъ воскресшей и ликующей природы, свѣжій воздухъ, раствоpенный запахомъ черемухи и сирени, ярко-голубое небо, пѣніе птицъ на деревьяхъ, усыпанныхъ цвѣтами, — все это подѣйствовало на нее раздражительно. Она горько заплакала,

какъ будто ей не хотѣлось такъ рано разставаться съ этою природою, которая только что начала такъ привѣтливо открываться передъ нею.

Черезъ полчаса ее снова перенесли на кровать, потому что она совсѣмъ ослабѣла и не могла пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Лѣкарь посмотрѣлъ на нее и сказалъ Аркадію Иванычу, что ей остается жить только нѣсколько дней. Елена Терентьевна, узнавъ объ этомъ, немедля прибыла въ Грачовку вмѣстѣ съ барышней.

— Ужъ какъ ты хочешь. я останусь у тебя все это время, — сказала Елена Терентьевна сыну, — я не покину тебя въ несчастьи. мой ангелъ, нѣтъ! Мы будемъ вмѣстѣ дѣлить съ тобой наше горе. Мнѣ не меньше тебя жаль ее, мою голубушку. Думала ли я, что она. этакой цвѣточекъ, прежде меня сойдетъ въ могилу!

Елена Терентьевна и барышня не отходили ни на минуту отъ Глаши до самой ея смерти и все смотрѣли ей въ глаза съ участіемъ и нѣжностью, разговаривая междую собою шопотомъ, когда Глаша закрывала глаза:

— Недолго же она погостила на землѣ. голубушка!

— Ахъ, Ты, Господи! на что это она стала похожа? На нее смотрѣть нельзя безъ ужаса!

— Бѣдненькая! точно скелетъ лежитъ!

Глаша все это слышала. Глашѣ было тяжко и страшно ихъ присутствіе; но она съ покорностью перенесла и эту послѣднюю пытку. Вечеромъ, наканунѣ смерти, она позвала мужа и просила его, чтобъ ее положили рядомъ съ матерью. Она взяла его руку и хотѣла пожать, но не могла. Утромъ ее нашли въ постели мертвою. Никто не видалъ ея кончины и никто не слыхалъ ея предсмертнаго вздоха.

Когда барышня, отчаянная и съ растрепанными волосами, прибѣжала къ Еленѣ Терентьевнѣ и, въ присутствіи Аркадія Иваныча, объявила, что Глафира Анисимовна приказала долго жить, съ Еленой Терентьевной сдѣлались конвульсіи, и она съ визгомъ покатилась на диванъ.

Въ день похоронъ Елена Терентьевна не отходила отъ Аркадія Иваныча и все шептала ему сквозь слезы:

— Ангелъ мой, будь твердъ; не убивай себя, ради Бога не забудь, что у тебя есть мать!

Дней пять послѣ похоронъ жены Аркадій Иванычъ былъ неутѣшенъ. Онъ рвался и метался на ея могилѣ безъ всякаго притворства, цѣловалъ могильный дернъ, рылъ землю руками и кричалъ:

— Глашенька! Глашенька! Зачѣмъ ты оставила меня? Возьми меня съ собою! Если бы ты знала, если бы ты могла чувствовать, какъ я люблю тебя!

Вся губернія узнала о томъ, что Елена Терентьевна провела нѣсколько дней у постели умиравшей невѣстки, которую она ненавидѣла, и, несмотря на это, ухаживала за ней, какъ за родною дочерью, не смыкая глазъ ни днемъ, ни ночью; и вся губернія пришла въ умиленіе отъ христіанской добродѣтели Елены Терентьевны.

Аркадій Иванычъ воздвигнулъ великолѣпный памятникъ на могилѣ жены съ надписью:

Повѣялъ вѣтерокъ — и роза облетѣла;
Опалъ, засохъ, увялъ ея прелестный цвѣтъ:
Увы! безсмертный духъ исшелъ изъ бренна тѣла..
Супруга милая! тебя со мною нѣтъ!..

Незабвенной супругѣ отъ неутѣшнаго и вѣчно оплакивающаго ея потерю супруга.

Однако, несмотря на эту надпись, онъ скоро утѣшился. Излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ и вообще неумѣренная жизнь совершенно разстроили его здоровье, и онъ только нѣсколькими годами пережилъ жену свою.

Незадолго до своей смерти онъ выдалъ Анютку замужъ за того самаго уѣзднаго стряпчаго, который прежде безуспѣшно ухаживалъ за нею, и подарилъ ей десять тысячъ рублей въ приданое, продавъ одну свою деревушку.

Елена Терентьевна пережила всѣхъ и даже свою наперсницу-барышню.

Она похоронила сына съ необычайнымъ великолѣпіемъ. Бросивъ горсть земли въ его могилу и утеревъ слезы, она

обратилась къ окружавшимъ ее барынямъ и произнесла печальнымъ и торжественнымъ голосомъ:

— Я всегда думала, что онъ, голубчикъ, закроетъ мнѣ глаза. Вышло не такъ. Богу не угодно было этого. Покоряюсь Его святой волѣ! Не смѣю роптать!.. Другъ ты мой Аркаша! слишкомъ рано сошелъ ты въ могилу, по милости добрыхъ людей! Господи, прости имъ ихъ согрѣшенія! Прости имъ то, что они, безжалостные, погубили его и отняли у матери ея единственнаго сына, ея единственное утѣшеніе въ жизни!.. Да, если бъ не его женитьба, не пришлось бы мнѣ, несчастной, и безъ того растерзанной горестями, хоронить его!.. Но онъ не хотѣлъ слушать меня, онъ пошелъ наперекоръ мнѣ—и погибъ. Вотъ что значитъ итти противъ воли родительской! Больно мнѣ, тяжко мнѣ; но совѣсть моя, въ отношеніи къ нему, покойна! Я исполнила всѣ материнскія обязанности, всѣ; отдала теперь ему послѣдній долгъ,—и хоть сейчасъ готова предстать на судъ Всевышняго!

Произнеся эту рѣчь, Елена Терентьевна величественно пошатнулась и упала на руки дѣвокъ, которыя стояли сзади ея.

ВНУКЪ РУССКАГО МИЛЛІОНЕРА.

ЛИСТКИ ИЗЪ МОИХЪ ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

ГЛАВА I.

Господина, о которомъ здѣсь будетъ итти рѣчь, я увидѣлъ въ первый разъ, когда мнѣ было лѣтъ двѣнадцать. Онъ, впрочемъ, тогда еще не былъ господиномъ, а ребенкомъ лѣтъ девяти. съ круглымъ и полнымъ личикомъ, съ румяными и пушистыми, какъ у персика, щечками, съ бѣлокурыми вьющимися волосами, съ блѣдноголубыми глазками, въ свѣтлосиней курточкѣ изъ тончайшаго сукна и съ отложными батистовыми воротничками отъ рубашки. Этотъ прелестный мальчикъ какъ будто теперь передо мною, и я живо помню то чувство зависти, которое было возбуждено во мнѣ его курточкой и его рубашкой, потому что сукно на моей курточкѣ было гораздо толще, а рубашки у меня были изъ полотна также не слишкомъ тонкаго. Къ тому же, покрой этой курточки былъ какой-то особенный; видно, что она была сшита лучшимъ дѣтскимъ портнымъ, что, между прочимъ, доказывали и прекрасныя, бронзовыя пуговки съ узорами, ярко блестѣвшія на ней. Все это мнѣ мгновенно бросилось въ глаза, вѣроятно потому, что врожденное мнѣ чувство внѣшней наблюдательности (за которое мнѣ впослѣдствіи такъ жестоко доставалось въ литературѣ отъ моихъ

остроумныхъ критиковъ) развивалось во мнѣ сильно подъ вліяніемъ воспитанія и примѣровъ, окружавшихъ меня. Эта изящная курточка и эта тончайшая рубашка даже нѣсколько оскорбляли меня—и вотъ по какой причинѣ. Мальчикъ который щеголялъ въ ней, не принадлежалъ къ тому привилегированному классу, къ которому принадлежу я и которымъ я уже гордился на 13-лѣтнемъ возрастѣ. Онъ былъ внучекъ богатаго купца, пріѣхавшаго къ моему дѣдушкѣ по какимъ-то дѣламъ.

Въ ту минуту, когда купецъ съ внучкомъ вошли въ кабинетъ моего дѣдушки, я былъ тамъ.

Фигура купца какъ-будто теперь живая передо мною. Средняго роста, съ брюшкомъ, съ окладистою сѣдою бородою, съ длинными волосами, также совершенно сѣдыми и съ серебрянымъ блескомъ, съ умными, проницательными глазами, съ значительною улыбкою, въ которой было что-то среднее между плутоватостью и ироніей, съ рѣзкимъ удареніемъ на *о* въ разговорѣ и съ обращеніемъ, въ которомъ добродушіе соединялось съ безграничною самоувѣренностью,—старикъ этотъ съ перваго взгляда производилъ впечатлѣніе. Въ немъ было въ то же время что-то осанистое, патріархальное, внушавшее къ нему вдругъ невольное уваженіе, но уваженіе это нѣсколько умалялось, когда вы ближе вглядывались въ старика, потому что сквозь эту патріархальность иногда проглядывали въ немъ гостинодворскія уловки, непріятно дѣйствовавшія. Всѣ эти наблюденія я сдѣлалъ уже, разумѣется, впослѣдствіи, въ возрастѣ болѣе зрѣломъ, когда случай, о которомъ здѣсь упоминать не для чего, свелъ меня снова съ этимъ старикомъ; когда же я увидѣлъ его въ первый разъ, меня просто, безъ всякихъ размышленій, поразила его значительная фигура съ серебряными волосами и, главное—борода; потому что гостей съ бородами никогда у насъ въ домѣ не было. На старикѣ былъ длинный, двубортный, синій сюртукъ, до половины прикрывавшій его высокіе сапоги; бѣлый галстукъ обматывалъ его шею, отягченную медалями на разноцвѣтныхъ лентахъ, и изъ-за сюртука, на которомъ былъ при-

шпилень крестъ, виднѣлся бѣлый жилетъ... Я замѣтилъ всѣ эти подробности, хотя вниманіе мое сосредоточивалось съ большимъ любопытствомъ на внучкѣ купца. Чѣмъ болѣе я смотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣе оскорбляла меня его щегольская куртка и батистовая рубашка: мое дворянское самолюбіе оскорблялось мыслью, что я одѣтъ хуже купеческаго сына. «Мой дѣдушка — генералъ, а его дѣдушка бородачъ,—думалъ я.—и несмотря на это, у меня и рубашка, и курточка толще!» И огорченный этою мыслью, я посматривалъ на мальчика свысока, съ такой гордостью, отъ которой мнѣ даже теперь становится стыдно. Я хотѣлъ дать ему почувствовать, что если онъ одѣтъ и лучше меня, то все-таки онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ стать со мною наравнѣ.

Между тѣмъ купецъ, съ которымъ дѣдушка обращался съ большимъ уваженіемъ и котораго онъ посадилъ въ кресла, улыбаясь съ своимъ нѣсколько плутовскимъ выраженіемъ и положивъ руку на голову внучку, держалъ такую рѣчь моему дѣдушкѣ:

— Я привезъ къ тебѣ внучка своего показать, ваше превосходительство; посмотри, какой онъ у меня славный мальчикъ: это мой наслѣдникъ. Познакомь его съ твоимъ внучкомъ,—пусть они побалуютъ, позабавятся вмѣстѣ. Вѣдь онъ у меня ученый; по-французскому ужъ болтаетъ, по-англицки учится. Я не жалѣю денегъ на его воспитаніе; хочу, чтобы онъ всѣ науки прошелъ; хочу потомъ послать его въ Англію, во Францію—пусть все видитъ, пусть научится на мѣстѣ, какъ тамъ у нихъ коммерція идетъ. Конечно, коли такъ говорить, вотъ я и простой мужикъ съ бородой, а веду и заграничныя дѣла и нажилъ, благодаря Бога, порядочный капиталецъ. Коли здѣсь есть (старикъ ткнулъ себя пальцемъ въ лобъ), такъ оно, пожалуй что, и безъ науки обойтись можно. Ну, Господь, вѣстимо, не лишилъ меня здраваго смысла, оттого я теперь, даромъ что мужикъ, а сижу съ тобой—генераломъ и разговариваю будто ни въ чемъ не бывало, какъ равный.

Дѣдушка мой улыбнулся и перебилъ:

— Что объ этомъ говорить, Прохоръ Кононычъ, у тебя въ мизинцѣ больше ума, чѣмъ у иного генерала въ головѣ.

Прохоръ Кононычъ улыбнулся на эту любезность свѣтло, открыто и самодовольно и замѣтилъ:

— Ну, это, ваше превосходительство, все отъ Бога: не далъ бы Онъ ума, былъ бы дуракомъ... Но я, вишь, рѣчь-то къ тому веду, что умъ хорошая вещь, ни слова, но безъ ученья-то иногда все какъ-будто чувствуешь, что чего-то не хватаетъ; это я по опыту знаю. Вотъ что.

Старикъ серьезно покачалъ головою.

— Что ни болтаетъ тамъ нашъ братъ, а безъ ученья— все не то. Это ужъ я тебѣ говорю, повѣрь, такъ.

И при этомъ Прохоръ Кононычъ утвердительно ударилъ ладонью по столу.

— Оттого я и хочу, чтобы мальчуганъ мой науку выучилъ. Ты не думай, чтобы я прочилъ его въ дворяне, чтобы то-есть этакое у меня помышленіе было втайнѣ. Оборони Господи отъ этого! Онъ долженъ оставаться въ своемъ, въ торговомъ сословіи! намъ въ чужія сани не слѣдъ лѣзть, а для коммерціи-то наука, еще чай, важнѣй, чѣмъ для дворянства. Правду ли я говорю, ваше превосходительство?

— Разумѣется, Прохоръ Кононычъ, — возразилъ дѣдушка,—не даромъ и пословица: ученье свѣтъ, неученье—тьма. Ученье для всѣхъ классовъ необходимо.

— Только дай Богъ, чтобы ученье-то ему въ прокъ пошло!—произнесъ въ раздумьи Прохоръ Кононычъ, глядя на внука и качая головою.—Вотъ тебѣ Христосъ—и при этомъ онъ перекрестился,—полсостоянія бы отдалъ, только бы изъ него порядочный, дѣльный человѣкъ вышелъ,—я его крѣпко люблю. Вѣдь онъ у меня одинъ; сына-то моего, отца-то его, Богъ взялъ,—ну, что жъ дѣлать? Его святая воля, а дочери—что? Дочерей я не считаю. Онѣ отрѣзанные ломти.

Потомъ Прохоръ Кононычъ обратился ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня.

— А сколько твоему внучку-то годковъ,—спросилъ онъ дѣдушку,—не однолѣтки ли они съ моимъ-то?

— Моему двѣнадцать скоро будетъ,—отвѣчалъ дѣдушка.

— Вотъ какъ! такъ онъ еще значитъ тремя годками старше моего, а мой-то на глазъ, пожалуй, еще постарше покажется: вишь онъ у меня какой плотный, солидный. А какъ зовутъ твоего-то?

— Иваномъ.

— Ну, Ванюшка, поди, душенька, поиграй съ моимъ Васей, познакомьтесь, познакомьтесь.

И при этомъ Прохоръ Кононычъ положилъ свою толстую, жилистую руку, съ плоскими пальцами, на мою голову.

Ласка эта мнѣ не совсѣмъ понравилась, и я сдѣлалъ было движеніе, чтобы высвободиться изъ-подъ его руки.

Дѣдушка украдкою и слегка покачалъ мнѣ головою, немного нахмуривъ брови, и я остался на мѣстѣ.

— Поди, другъ мой, въ дѣтскую,—сказалъ мнѣ дѣдушка,—и возьми съ собой гостя: покажи ему свои игрушки, займи его, а мы покуда поговоримъ о дѣлахъ.

Я не смѣлъ ослушаться дѣдушки, я очень любилъ его и боялся огорчить его, и потому тотчасъ взялъ за руку купеческаго внучка и повелъ его въ свою комнату, хотя мнѣ было нѣсколько досадно на дѣдушку за то, что онъ приказывалъ мнѣ занимать этого мальчика и назвалъ его моимъ гостемъ. Мнѣ, дворянину и генеральскому внучку, казалось унизительнымъ занимать внучка бородача и обращаться съ нимъ какъ съ равнымъ. «Что же такое, что его дѣдушка богатъ?—думалъ я,—вѣдь онъ все-таки изъ мужиковъ».

Однако, изъ угожденія моему дѣдушкѣ, я старался пересилить себя. Сначала я все еще велъ себя нѣсколько свысока, немножко важничалъ, но дѣтская, прямая, чистая и откровенная природа взяла сейчасъ верхъ надъ смѣшными предразсудками, безсознательно заимствованными у взрослыхъ. Черезъ пять минутъ я совершенно и безъ всякихъ усилій надъ собой забылъ неравенство сословій между мною и Васей. Я разыгрался съ нимъ какъ съ равнымъ; онъ было начиналъ уже мнѣ нравиться. Я выставилъ передъ нимъ всѣ мои богатства: складныя картинки, оловянныхъ солдатъ, кузницу съ кузнецами, поднимавшими и опускавшими молоты, игрушку, которою я особенно хвасталъ не-

редъ всѣми пріѣзжавшими къ намъ дѣтьми, Робинзона Крузе съ картинками и прочее.

Но Вася очень равнодушно, къ моему огорченію, смотрѣлъ на все это.

— Это дрянныя игрушки,—сказалъ онъ,—пріѣзжайте къ намъ, я вамъ покажу свои: у меня хорошія, дорогія игрушки, дѣдушка ничего не жалѣетъ для меня. Онъ недавно подарилъ мнѣ игрушку, заплатилъ 100 рублей, большая такая: домъ съ башнями и съ садомъ, въ саду маленькія кареты ѣздятъ и люди ходятъ, а въ домикѣ диваны, кресла, а на кухнѣ повара кушанье готовятъ. На ваши игрушки и смотрѣть не стоитъ.

Вася оскорбилъ мое самолюбіе. Я надулся и снова принялъ важный видъ.

— А что, у васъ есть карета?—спросилъ меня Вася.

— Еще бы! у насъ не одна, а двѣ кареты: одна двумѣстная, а другая четвероместная; у насъ есть и коляска, и дрожки, и сани. Вѣдь мой дѣдушка генералъ! Онъ ѣздитъ четверней съ форейторомъ, а вашъ дѣдушка такъ ѣздить не можетъ, потому что четверней ѣздятъ только генералы,—прибавилъ я съ торжествомъ.

— А у васъ нѣтъ рысаковъ?—сказалъ Вася.

— Какихъ рысаковъ? Что это за рысаки?

Я въ первый разъ слышалъ это слово.

— Рысаки шибко бѣгутъ, всѣхъ обгоняютъ; мой дѣдушка и вашего дѣдушку обгонитъ. Да у васъ и комнаты нехорошія, а у насъ большія-большія, и часы съ золотыми мальчиками, и золотые подсвѣчники, все золотое и цвѣты на всѣхъ окнахъ; къ намъ генералы со звѣздами и съ лентами ѣздятъ обѣдать, а у вашего дѣдушки нѣтъ ленты.

— Нѣтъ есть!—отвѣчалъ я, раздражаемый все болѣе и болѣе,—у него красная лента черезъ плечо и звѣзды и много, много крестовъ!..

— А отчего же онъ не сидитъ въ лентѣ?

— Дома не надѣваютъ ни крестовъ, ни лентъ,—отвѣчалъ я,—кресты и ленты надѣваютъ только въ гости.

— А мой дѣдушка и дома крестъ носитъ, видите ли...

Дѣдушка мой богатый - богатый, у вашего дѣдушки нѣтъ столько денегъ. У моего дѣдушки милліонъ есть, еще больше; у насъ не четверня, а пятнадцать лошадей на конюшнѣ стоятъ; мой дѣдушка на всѣхъ можетъ ѣздить. Это будетъ все мое. Мамаша говоритъ, что я буду больше, чѣмъ дворянинъ.

Моя дворянская кровь бросилась мнѣ въ голову при этомъ словѣ. Я вспыхнулъ.

— Ваша мамаша неправду говоритъ, — отвѣчалъ я съ достоинствомъ, — дѣдушка мой генералъ, и я буду генералъ (увы! мечты моего дѣтства не сбылись!), а вы не будете генераломъ. Вы будете съ бородой ходить, какъ вашъ дѣдушка.

Вася обидѣлся.

— Не хочу я съ бородой ходить, — произнесъ онъ почти сквозь слезы, — мамаша мнѣ сказала, что я не буду съ бородой ходить.

Я былъ доволенъ, что уязвилъ Васю. Чтобы дать сильнѣе почувствовать ему, какая разница между дворяниномъ и купцомъ, я заговорилъ съ нимъ по-французски, полагая, что на французскомъ языкѣ могутъ говорить только одни дворяне.

Вася произнесъ также нѣсколько словъ по-французски, хотя, къ моему удовольствію, съ трудомъ и дурнымъ выговоромъ.

— А вотъ вы и не умѣете хорошенько говорить по-французски, — замѣтилъ я.

— Умѣю! — закричалъ Вася такимъ голосомъ, какъ-будто собирался сейчасъ заплакать.

— Ну, если умѣете, такъ скажите, какъ по-французски называется печка?

Вася задумался.

Очень довольный собою, я принялъ роль экзаменатора.

Вася отвѣчалъ на мои вопросы не совсѣмъ удовлетворительно и наконецъ заплакалъ.

Мы разстались явно недовольными другъ другомъ.

Когда я послѣ отъѣзда купца передалъ мой разговоръ съ Васей дѣдушкѣ и съ насмѣшкою прибавилъ:

— Онъ сказалъ мнѣ, будто бы онъ будетъ выше дворянина... — дѣдушка съ неудовольствіемъ покачалъ головою.

Я тотчасъ замѣтилъ непріятное впечатлѣніе, произведенное на дѣдушку моимъ разсказомъ, хоть не сознавалъ почему.

— Вѣдь онъ сказалъ это по глупости, дѣдушка? какъ же онъ можетъ быть выше дворянина? Я ему отвѣчалъ, что дворянинъ можетъ четверней ѣздить, а онъ не можетъ... Вѣдь правда, дѣдушка? — спросилъ я съ нѣкоторою робостью, посмотрѣвъ на дѣдушку съ недоумѣніемъ.

— Кто тебѣ набиваетъ голову такими пустяками?—отвѣчалъ онъ,—однимъ дворянствомъ, мой другъ, гордиться нечего, да и вообще гордиться чѣмъ бы то ни было и важничать передъ кѣмъ бы то ни было — нехорошо, и не все ли равно— ѣздить на четвернѣ или на парѣ? Купецъ можетъ быть поумнѣе иного дворянина, если купецъ человѣкъ честный, если онъ говоритъ всегда правду, ведетъ свои дѣла аккуратно... Человѣка украшаютъ его дѣла, его поступки, а не званія и титла. И купецъ такъ же служитъ отечеству, какъ и дворянинъ... Вотъ, напримѣръ, дѣдушка этого мальчика, купецъ, который у меня сейчасъ былъ, онъ человѣкъ честный, благородный, умный, весьма уважаемый, и не за только, что онъ богатъ, а за то, что онъ честенъ. Его одному слову вѣрятъ болѣе, чѣмъ клятвамъ и подписямъ иныхъ значительныхъ лицъ. Если внучекъ пойдетъ по его слѣдамъ, то его будутъ такъ же уважать, какъ старика. Ты замѣти однажды навсегда, что уваженіе пріобрѣтается трудолюбіемъ, честностью, прямотою, а не званіемъ, потому что благородное званіе или громкій титулъ безъ внутренняго благородства — одно пустое слово! Гордятся безсмысленно своимъ происхожденіемъ только пустые, глупые и ничтожные люди. Прочти-ка, дружочекъ, басню Крылова «Гуси», ты это лучше поймешь...

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого дѣдушка повезъ меня къ Прохору Кононычу.

— Вотъ,—сказалъ онъ,—входя къ старику,—и я къ вамъ съ моимъ внучкомъ. Онъ пріѣхалъ сдѣлать визитъ вашему внучку...

Вася не солгалъ. Квартира Прохора Кононыча была несравненно лучше и больше нашей квартиры и украшена несравненно богаче. Меня въ особенности поразила огромная зала съ хорами и двумя большими люстрами, съ потолкомъ, расписаннымъ амурами, въ которой Прохоръ Кононычъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, задавалъ банкеты различнымъ знатнымъ и сановнымъ особамъ. Прохоръ Кононычъ былъ не лишенъ тщеславія и любилъ видѣть у себя въ гостяхъ ордена и звѣзды. Нѣкоторые ордена и звѣзды, говорятъ, пользовались даже слабостью добраго Прохора Кононыча, часто сами напрашивались къ нему на обѣды и объѣдались и упивались у него вдоволь, вознаграждая хозяина, или, вѣрнѣе сказать, его зрѣніе — блескомъ своихъ шейныхъ и особливо грудныхъ украшеній. Комната Васи была завалена невиданными мною игрушками. Какъ я ни усиливался казаться равнодушнымъ, но при видѣ домовъ, башенъ, садовъ съ движущимися людьми и экипажами, и при звукахъ маленькой ручной шарманки, я едва удержался, чтобы не ахнуть. Все это грудами было навалено въ комнатѣ и покрыто слоемъ пыли. Въ комнатѣ Васи, когда я вошелъ въ нее, былъ гувернёръ его, французъ - щеголь, няня съ сморщеннымъ лицомъ и двуличневымъ платкомъ на головѣ, дѣвка, обутая на босую ногу, и грязный мальчишка, обстриженный въ кружокъ. Вася мало обращалъ на меня вниманія, онъ болѣе занимался собачонкой испанской породы, къ хвосту которой онъ привязалъ шнурокъ и дергалъ ее за этотъ шнурокъ. Собачонка визжала, Вася кричалъ на мальчишку, гувернёръ кричалъ на Васю, который его не слушалъ, няня кричала на босоногую дѣвку. Я совсѣмъ растерялся въ этомъ хаосѣ... Черезъ минуту Вася выпустилъ несчастную собачонку, схватилъ большую куклу, представлявшую улана, и показалъ ее мнѣ.

— Какова кукла? — спросилъ онъ у меня.

— Славная, — отвѣчалъ я.

— А хотите, я ей сейчасъ голову сломлю? мнѣ дѣдушка другую купитъ.

И съ этими словами шея куклы затрещала, и голова съ киверомъ покатилась на полъ...

Вскорѣ за этимъ дѣдушка прислалъ за мною, и мы уѣхали.

Болѣе меня не возили къ Васѣ, Вася не пріѣзжалъ ко мнѣ, и я забылъ о его существованіи...

ГЛАВА II.

Лѣтъ черезъ тринадцать послѣ этого я обѣдалъ въ одномъ изъ самыхъ извѣстныхъ петербургскихъ ресторановъ съ моимъ товарищемъ по школѣ, съ добродушнѣйшимъ и милѣйшимъ изъ людей, который безъ разбора былъ знакомъ со всею петербургскою молодежью, всѣмъ радушно жалъ руки, всѣмъ говорилъ *ты* и пользовался величайшею популярностью въ столицѣ. Онъ былъ однимъ изъ неизбѣжныхъ лицъ на всѣхъ гуляньяхъ, во всѣхъ театрахъ, маскарадахъ, танцклассахъ, вездѣ, гдѣ проявляется публичная жизнь, и тотчасъ со всѣми попадавшимися ему лицами заводилъ знакомства, не разбирая сословій и одинаково обращаясь съ богатыми и бѣдными, съ высшими и съ низшими, съ умными и съ тупоумными. Онъ не имѣлъ и тѣни тщеславія, которымъ почти всѣ мы заражены болѣе или менѣе, и потому съ нимъ всегда было легко; онъ сыпалъ остротами и каламбурами, зналъ всѣ петербургскіе анекдоты, говорилъ безъ умолку, былъ постоянно въ веселомъ расположеніи духа и умѣлъ смѣяться не только надъ другими, что очень легко, но даже надъ самимъ собою, что очень трудно. Я не встрѣчалъ въ моей жизни человѣка, который имѣлъ бы такое разнообразное и обширное знакомство, какое имѣлъ онъ. Однажды, въ маскарадѣ дворянскаго собранія, онъ завелъ меня въ какой-то таинственный уголокъ покурить. (Онъ зналъ вездѣ всѣ уголки и закоулки и по именамъ лакеевъ во всѣхъ ресторанахъ и капельдинеровъ во всѣхъ театрахъ.) Въ этомъ уголкѣ мы нашли господина въ пестромъ галстукѣ

и въ изношенномъ фракѣ съ блестящими пуговицами, наружности весьма неблаговидной и притомъ полупьянаго. Господинъ этотъ при видѣ моего товарища съ увлеченіемъ бросился къ нему на шею, поцѣловалъ его и воскликнулъ:

— Ахъ, Саша, Саша! какъ я, братецъ, радъ тебя видѣть, то-есть не повѣришь, какъ радъ!

— Давно не видались... Ну, что ты подѣлываешь? — возразилъ мой товарищъ, улыбаясь.

— Живу, душа моя, живу! Извѣстно, что —

Спящій въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій!

И господинъ махнулъ при этомъ рукой, посмотрѣлъ на меня, пошевелилъ губами, облизалъ ихъ и прибавилъ, ударивъ моего товарища по плечу:

— Пойдемъ, братецъ, выпьемъ.

Товарищъ мой отказался, мы докурили папироски и вышли изъ угла.

— Откуда, наконецъ, у тебя такія знакомства, скажи Бога ради? — спросилъ я у него.

Онъ захохоталъ.

— А что, вѣдь недурной экземплярчикъ?.. это *мой другъ*. Я сошелся съ нимъ на одномъ презабавномъ вечерѣ у актера Кронидова. Я ему почему-то понравился, онъ и предложилъ мнѣ выпить съ нимъ на ты. Зачѣмъ же мнѣ было оскорблять его? я согласился. Что за бѣда, что прибавилось одно лишнее ты? Къ тому же, онъ юмористъ, не шутя. На этомъ вечерѣ чортъ знаетъ что происходило и какія рыла были... Ужъ мнѣ стало страшно, ты можешь себѣ представить, что такое тамъ было. Я потихоньку уѣхалъ, потому что ужъ начиналось что-то въ родѣ драки между хозяиномъ и гостемъ. На другой день въ кафе я встрѣчаю этого господина.

— Ну, что, — спрашиваю я у него, — ты долго вчера тамъ оставался?

— Да почти что до разсвѣта, — отвѣчалъ онъ, — послѣ тебя тамъ случилась маленькая непріятность.

— Что такое?

— Одному изъ гостей ротъ разодрали. Вышло между нимъ и другимъ гостемъ какое-то неудовольствіе, ужъ изъ-за чего — не умѣю сказать... такъ недоразумѣніе.

— Ты не смотри на то, — прибавилъ мнѣ мой товарищъ въ заключеніе,—что у него не совсѣмъ презентабельная физіономія. Онъ большой забавникъ... когда не пьянъ; жаль только, что онъ никогда не бываетъ трезвъ.

У моего товарища была, между прочимъ, страсть заводить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять этими кружками. Разъ онъ составилъ театральный кружокъ; въ другой разъ, когда театральство прискучило ему, онъ составилъ что-то въ родѣ *попечительнаго комитета* о какой-то барышнѣ, которая, Богъ знаетъ почему-то, ему вдругъ понравилась, и онъ вербовалъ молодежь въ этотъ комитетъ, какъ на дѣло серьезное... Дѣятельности-то хочется, а настоящаго дѣла, которому бы легко и весело было отдаться, у насъ нѣтъ, такъ поневолѣ даже самые лучшіе изъ насъ развлекаются пустяками, остаются долго духовно-малолѣтними и играютъ въ игрушки въ такіе годы, когда въ другихъ странахъ люди подвизаются уже съ пользою на гражданскомъ и общественномъ поприщѣ. Оттого на всѣхъ нашихъ лучшихъ людяхъ есть отпечатокъ, если вы вглядитесь въ нихъ близко, внутренней пустоты и легкомыслія, даже и въ тѣхъ, которые почитаютъ себя не безъ основанія глубокомысленными. Товарищъ мой, впрочемъ, не прикидывался ничѣмъ, онъ былъ во всякую данную минуту самимъ собою. Развлекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чѣмъ-нибудь занять себя, и отдаваясь имъ съ увлеченіемъ, онъ не воображалъ однако, что занимается дѣломъ, какъ многіе... Другую, такую благородную, открытую, прямую природу, какова была у моего пріятеля, мнѣ не удавалось встрѣчать въ жизни, несмотря на то, что я прожилъ полжизни. Многіе изъ глубокомысленныхъ легкомысленно называли его *пустымъ, добрымъ малымъ*; видя его постоянно веселымъ;

они считали его неспособнымъ къ мысли и къ дѣлу; неспособнымъ видѣть себя и задумываться надъ самимъ собою; но они жестоко ошибались. На товарища моего нерѣдко находили минуты тяжелаго и грустнаго раздумья, когда человѣкъ строго спрашиваетъ у самого себя: сдѣлалъ ли я хоть что-нибудь, чтобы носить имя человѣка не какъ пустое и незаслуженное титло, а по сознанію и праву? И онъ усиливался бороться съ самимъ собою и съ средою, тяготившею его; но эту борьбу видѣли только самые близкіе къ нему по сердцу и убѣжденіямъ. Всѣ слабости и недостатки этого человѣка прилѣплялись къ нему отъ этой среды; все прекрасное, благородное и свѣтлое выходило изъ его чистой и прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думалъ, что изъ него могъ выйти дѣльный и серьезный человѣкъ, если бы онъ родился въ другой, болѣе широкой средѣ, въ другомъ, болѣе серьезномъ обществѣ...

Увлекшись моими воспоминаніями, а товарищъ мой принадлежитъ къ лучшимъ моимъ воспоминаніямъ, я, можетъ быть, вдаюсь въ излишнія подробности, ненужныя для этого разсказа. Впрочемъ, что за бѣда? Листокъ изъ воспоминаній — не художественное произведеніе. Я пишу, какъ пишется, не имѣя ни малѣйшей претензіи на *художественность*, на *чистое искусство*, на *творчество* и тому подобное.

Говоря откровенно, я даже не совсѣмъ понимаю, изъ чего такъ хлопочутъ защитники *чистаго искусства* и *художественности?* Сколько бы они ни заботились объ насъ, по добротѣ души своей, они изъ насъ, простыхъ писателей, не сдѣлаютъ художниковъ, и какъ бы мы сами ни желали угодить имъ, какъ бы мы ни усиливались превратиться въ *творцовъ*, всѣ наши усилія останутся не только тщетными, но и смѣшными...

Мы съ товарищемъ начали нашъ обѣдъ вдвоемъ, но скоро къ намъ присоединились еще два наши пріятеля, или, вѣрнѣе, пріятели моего товарища: полный, высокаго роста, адъютантъ, говорившій густымъ басомъ, страстный любитель цыганъ, лошадиный барышникъ, выпивавшій баснословное количество вина, и молоденькій кавалерійскій офи-

церъ, съ маленькими усиками и съ нѣсколько изысканными манерами, военный фатъ. Товарищъ мой, какъ магнитъ, привлекаетъ къ себѣ; всѣ такъ и льнули къ нему, зная, что гдѣ онъ, тамъ всегда весело. Своимъ добродушіемъ и симпатичностью онъ смягчалъ самыхъ гордыхъ и недоступныхъ господъ и заставлялъ смѣяться людей, которые никогда не улыбаются. Обѣдъ нашъ былъ, по милости его, очень живъ и веселъ. Изъ отдѣльной комнаты, рядомъ съ нами, къ концу нашего обѣда, послышались веселыя восклицанія, крики и наконецъ женскій голосъ, напѣвавшій всѣмъ очень хорошо извѣстные французскіе куплеты, которые обыкновенно поются, когда общество доходитъ до извѣстной степени веселости.

— Мишка! кто тутъ въ комнатѣ рядомъ съ нами? — спросилъ адъютантъ у служившаго намъ молодого татарина.

— Заказной обѣдъ, ваше сіятельство, — отвѣчалъ татаринъ.

— Тебя, дуракъ, не спрашиваютъ, какой обѣдъ, а кто обѣдаетъ? — возразилъ адъютантъ.

Татаринъ улыбнулся.

— Г. Пивоваровъ съ пріятелями, — сказалъ онъ послѣ минуты нерѣшимости.

— И съ пріятельницами, — прибавилъ адъютантъ.

— Это навѣрно Луиза, это ея голосъ, — сказалъ изнѣженный офицеръ, поводя рукой по своимъ усикамъ.

— Что это за Луиза? — спросилъ грубо адъютантъ, искоса взглянувъ на изнѣженнаго офицера.

— Какъ-будто вы не знаете?—отвѣчалъ онъ по-французски, — та, которая жила съ Границынымъ.

— Я, батюшка, съ вашими француженками знакомства не веду. Чортъ бы ихъ побралъ! Этой сволочи здѣсь много... А этотъ Пивоваровъ, кажется, ужъ начинаетъ покучивать на будущія блага, на капиталы бородача — своего дѣдушки!

«Э!, — подумалъ я, — да это долженъ быть мой старый знакомый, Вася».

— Терпѣть не могу, — продолжалъ адъютантъ, — этихъ

купчиковъ-франтовъ... Саша, ты знакомъ съ нимъ? Вѣдь ты со всѣмъ міромъ знакомъ?.. а?

Адъютантъ обратился къ моему товарищу.

— Это *мой другъ*, — отвѣчалъ онъ, улыбаясь.

— Ну ужъ коли твой другъ, такъ долженъ быть хорошъ. Знаю я твоихъ друзей-то! У него, я вамъ скажу, такіе друзья, — продолжалъ адъютантъ, обращаясь ко мнѣ, — съ которыми ночью не дай Богъ встрѣтиться. А майоръ Астафьевъ что́?

— Что же, — ничего. Онъ не другъ мой, а только protegé.

— Хорошъ *протеже!* Изъ кабака не выходитъ!.. Полно скрываться-то, признайся, вѣдь вы кутите вмѣстѣ.

И адъютантъ при этой шуткѣ любезно улыбнулся.

— Ты не смѣйся надъ майоромъ Астафьевымъ, — возразилъ мой товарищъ, — это милѣйшій и забавнѣйшій изъ людей; въ свое цвѣтущее время онъ былъ *седюктёромъ* и франтомъ, у него еще и теперь остались слѣды этого; несмотря на то, что у него вся физіономія отекла и налилась, онъ все еще иногда завиваетъ виски и фабритъ усы; манеры у него до сихъ поръ, когда онъ не очень пьянъ, самыя галантерейныя, онъ безпрестанно отпускаетъ французскія фразы: *экскюзе пуръ деранже*, или въ родѣ этого, носитъ фуражку набекрень и выставляетъ локти впередъ, — словомъ, онъ милъ необыкновенно. Ты бы посмотрѣлъ, какъ онъ расшаркивается передъ дамами!..

— И онъ этому пьянчужкѣ, за то, что онъ дамамъ хорошо раскланивается, пенсію выхлопоталъ! — перебилъ адъютантъ, посмотрѣвъ на насъ.

— Что жъ такое? Я и тебѣ выхлопочу пенсію, когда ты сопьешься, — возразилъ мой товарищъ.

Адъютантъ захохоталъ, ударилъ его по плечу и воскликнулъ:

— Ахъ ты Сашка! — вѣроятно за неимѣніемъ болѣе остроумнаго восклицанія.

— А знаете, — сказалъ изнѣженный офицеръ, прищуривая глазки, — у этого господина, который возлѣ насъ обѣдаетъ... какъ вы его зовете?..

Офицеръ остановился, какъ-будто вспоминая фамилію. Адъютантъ сурово посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Пивоваровъ... Къ чему передъ нами тону-то задавать: вѣдь вы очень хорошо помните его фамилію.

Изнѣженный офицеръ нѣсколько смутился.

— Pardon, я, право...—отвѣчалъ онъ, запинаясь,—въ самомъ дѣлѣ я забылъ его фамилію... да... такъ у него... вы видѣли, сѣрый рысакъ, чудо! первый въ городѣ!

— Точно что лошадь добрая, — возразилъ адъютантъ, — я его по этой лошади-то и знаю. Да что онъ охотникъ, что ли, до лошадей? Ты, Саша, долженъ это знать въ качествѣ его друга.

— Какое охотникъ! Онъ, кажется, столько же толку знаетъ въ лошадяхъ, сколько я...

— Ну, это немного, — перебилъ адъютантъ.

— Ему сказали, что первый рысакъ въ городѣ продается, — продолжалъ мой товарищъ, — такъ онъ сейчасъ и купилъ его для того, чтобы весь городъ кричалъ, что у него первый рысакъ и чтобы прохожіе по Невскому разѣвали рты отъ удивленія, когда онъ летаетъ на немъ, сломя голову, а кучеръ его какъ безумный кричитъ во все горло: «пади! пади!» Все это, батюшка, дѣлается изъ тщеславія. Какаянибудь Луиза сдѣлаетъ ему или его рысаку глазки—онъ на цѣлый день и счастливъ. Ему хочется, во что бы то ни стало, чтобы его замѣчали и чтобы объ немъ говорили. Хоть онъ *мой другъ*, но я долженъ по справедливости замѣтить, что изъ него большого толку не выйдетъ. Изъ него вырабатывается настоящій типъ и въ огромномъ размѣрѣ, — потому что онъ наслѣдуетъ милліоны, — этихъ кутилъ - купчиковъ, которыхъ развелось у насъ такъ много. Они всѣ воображаютъ, что ихъ дѣды и отцы наживали и скопляли капиталы для того только, чтобы они ихъ глупо проматывали, и что они умнѣе и образованнѣе своихъ отцовъ и дѣдовъ, потому что одѣты по послѣдней парижской картинкѣ.

— Ты меня, братецъ, познакомь съ нимъ, — перебилъ адъютантъ, — не продастъ ли онъ эту лошадь? я бы у него, пожалуй, купилъ ее, или, пожалуй, мы промѣнялись бы;

я бы далъ ему славнаго рысака, не хуже его... такъ же бы разѣвали рты, когда бы онъ на немъ прокатывался по Невскому... А что, онъ любитъ выпить?

— Пьетъ сильно и также изъ хвастовства.

— Ну, это хорошо, — замѣтилъ адъютантъ, — пошли-ка за нимъ Мишку... пусть онъ его вызоветъ оттуда на минутку отъ твоего имени, а какъ онъ придетъ сюда, ты его познакомь со мною.

— Пожалуй.

Мишка былъ посланъ за Пивоваровымъ.

Г. Пивоваровъ не заставилъ себя долго ждать.

Я не безъ любопытства посмотрѣлъ на него, когда онъ вошелъ въ нашу комнату. Ни одной черты отъ дѣтства не осталось у него. Онъ былъ худощавъ и блѣденъ, все лицо его было въ угряхъ, глаза. которые были голубыми въ дѣтствѣ, поблѣднѣли и превратились почти въ сѣрые, они были выпуклыми и имѣли мало выраженія; бѣлокурые его волосы были завиты и тщательно расчесаны, точно какъ-будто сейчасъ выскочилъ изъ парикмахерской; одѣтъ онъ былъ франтовски, но безъ вкуса: въ бархатномъ клѣтчатомъ пестромъ жилетѣ и въ пестромъ галстукѣ, на одномъ изъ его пальцевъ было колечко съ большимъ бриллiантомъ; онъ казался очень занятымъ своею особою и какъ-будто постоянно думалъ о томъ, какое впечатлѣнiе онъ производитъ на зрителей: понравился ли имъ его жилетъ? обратили ли они вниманіе на его брилліантъ?.. нашли ли хорошими его манеры? и прочее. Отъ этого онъ былъ не совсѣмъ ловокъ и какъ-то стѣсненъ въ своихъ движеніяхъ.

— Я узналъ, что ты здѣсь, и хотѣлъ тебя видѣть хоть на минутку,—сказалъ мой товарищъ,—извини, что я тебя вызвалъ.

— Помилуй... ничего... я очень радъ, — отвѣчалъ внукъ милліонера, охорашиваясь и поглядывая на насъ.

— Хочешь шампанскаго?

Товарищъ мой налилъ бокалъ и поднесъ ему.

— Мерси... — Внукъ милліонера взялъ бокалъ и прибавилъ: — я, впрочемъ, ужъ такъ много пилъ! Мы здѣсь обѣдаемъ вчетверомъ и ужъ выпили бутылокъ восемь.

— Ничего, это не вредно! — замѣтилъ адъютантъ.

— Ахъ, кстати, — сказалъ мой товарищъ, указывая на адъютанта,—вотъ князь Ртищевъ. Онъ желаетъ съ тобою познакомиться...—Пивоваровъ,—прибавилъ онъ, указывая на внука милліонера.

Адъютантъ протянулъ ему свою широкую руку. При имени князя лицо внука милліонера вдругъ просвѣтлѣло.

Онъ произнесъ не безъ волненія: «Очень радъ, очень радъ!» и поспѣшилъ вложить свою руку съ бриллiантомъ въ руку адъютанта, съ ощущеніемъ наслажденія. которое выразилось во всей его фигурѣ и бросилось бы въ глаза даже и не наблюдательному человѣку.

— Посидите-ка съ нами, — сказалъ адъютантъ, слегка придвинувъ къ себѣ стулъ и указавъ на него внуку милліонера.

Онъ сѣлъ.

— Бутылку редерера и чистый стаканъ! — крикнулъ адъютантъ.

Онъ налилъ полный стаканъ ему и себѣ и сказалъ:

— Ну, чокнемтесь.

Внукъ милліонера взялъ стаканъ, чокнулся съ адъютантомъ, отпилъ немного и поставилъ стаканъ на столъ.

— Это что! — воскликнулъ адъютантъ, — со мной этакъ не пьютъ, батюшка, нѣтъ! этого я не люблю.

Внукъ милліонера началъ извиняться и отговариваться восемью бутылками, выпитыми вчетверомъ.

— Мнѣ до вашихъ восьми бутылокъ никакого дѣла нѣтъ. Я предлагаю вамъ выпить со мной.

Внукъ милліонера выпилъ стаканъ.

Черезъ десять минутъ въ бутылкѣ не оставалось ни капли. хотя ни я, ни товарищъ мой, ни изнѣженный офицеръ не пили. Глаза у внука милліонера совсѣмъ посоловѣли, онъ ужъ совершенно дружески разговаривалъ съ адъютантомъ и, кажется, даже выпилъ съ нимъ на *ты*. Адъютантъ ловко завелъ съ нимъ рѣчь о лошадяхъ. Внукъ милліонера началъ хвастать своимъ рысакомъ, адъютантъ возражалъ, что дѣйствительно это лошадь хорошая, но вовсе не изъ первыхъ въ городѣ: что у него есть гнѣдой рысакъ,

который не хуже, если не лучше, и въ заключенiе пригласилъ къ себѣ внука миллiонера на другой день посмотрѣть его.

Внукъ миллiонера вышелъ отъ насъ, кажется, совершенно счастливый мыслью, что извѣстность его растетъ съ каждымъ днемъ и что имъ даже начинаютъ интересоваться князья, и совершенно пьяный, потому что онъ даже спотыкался и пошатывался.

Черезъ два дня послѣ этого я и товарищъ мой встрѣтили на улицѣ адъютанта.

— А знаете ли, господа, что пивоваровскiй-то сѣрый рысакъ ужъ мой. Я промѣнялся, отдалъ ему своего гнѣдого, да еще придачи взялъ. Этотъ франтъ просто ничего не смыслитъ въ лошадяхъ, а туда же прикидывается знатокомъ, хвастаетъ и порегъ такую дичь, что уши вянутъ. Онъ глуповатъ немножко, а малый добрый!..

ГЛАВА III.

Послѣ этого я нѣсколько разъ встрѣчалъ внука миллiонера въ ресторанахъ, на улицахъ, на гуляньяхъ; моему товарищу вздумалось разъ какъ-то при удобномъ случаѣ представить насъ другъ другу, но я не счелъ нужнымъ воспользоваться его любезнымъ приглашенiемъ. Наше знакомство ограничивалось только поклонами и иногда нѣсколькими словами при встрѣчахъ. Товарищъ мой также былъ у него всего раза два или три — не больше, но мы знали всѣ подробности его жизни, всѣ его приключенiя, какъ коротко знакомые. Вотъ какимъ образомъ: къ моему товарищу захаживалъ очень часто нѣкто Иванъ Петровичъ Подшивкинъ. Этотъ Иванъ Петровичъ, — человѣкъ лѣтъ сорока, маленькаго роста, съ бѣглыми, небольшими, двусмысленными глазками и съ вѣчно-угодливой и заискивающей улыбкой на губахъ, былъ сынъ обанкротившагося богатаго купца; Прохоръ Кононычъ похоронилъ его отца на свой счетъ, потому что у покойника не оказалось ни полушки, далъ у себя въ

домѣ комнату его вдовѣ и опредѣлилъ ея сына, которому было уже лѣтъ двадцать пять, къ себѣ въ контору. Но сынъ этотъ оказался къ дѣламъ совсѣмъ неспособнымъ и изъ рукъ вонъ лѣнивымъ: онъ даже въ контору никогда и не показывался. Прохоръ Кононычъ зналъ все это, но онъ махнулъ рукой, произнесъ: «Ну, Богъ съ нимъ!» и велѣлъ продолжать выдавать ему жалованье. Такимъ образомъ Иванъ Петровичъ прожилъ пятнадцать лѣтъ у Прохора Кононыча, получая небольшое жалованье по его милости и снисходительности. Онъ всякій день шлялся по гостямъ, потому что сохранилъ связи со всѣмъ петербургскимъ богатымъ купечествомъ, ѣлъ, пилъ, веселился на чужой счетъ и отплачивалъ за это шуточками, прибауточками и балагурствомъ, смѣшаннымъ съ низкопоклонствомъ. На всѣхъ купеческихъ именинахъ, свадьбахъ, крестинахъ, похоронахъ, рожденьяхъ, банкетахъ онъ былъ непремѣннымъ лицомъ; онъ забавлялъ бородатыхъ милліонеровъ разными паясническими выходками; переносилъ сплетни ихъ женамъ; былъ на посылкахъ у ихъ дочерей; пилъ съ ихъ сынками и оказывалъ имъ различныя услуги, особенно по части прекраснаго пола, и умѣлъ вездѣ поставить себя хотя невиднымъ, но необходимымъ лицомъ. Такимъ образомъ, Иванъ Петровичъ жилъ припѣваючи, получая отъ всѣхъ подачки, чѣмъ ни попало: деньгами и вещами.

Гдѣ и какимъ образомъ познакомился съ нимъ мой товарищъ — я не знаю, только онъ удостоивалъ его своего расположенія, потому что считалъ его забавнымъ, хотя я, признаться, ничего не находилъ въ немъ забавнаго. Иванъ Петровичъ разсказывалъ обыкновенно моему товарищу различные анекдоты изъ купеческаго быта, съ ужимками и прибаутками, а товарищъ мой слушалъ его, лежа на диванѣ, съ сигарой, и хохоталъ отъ всей души. Вася Пивоваровъ былъ главнымъ его героемъ. Онъ благоговѣлъ передъ нимъ.

— Ну что, Иванъ Петровичъ, скажите, — бывало спрашивалъ его мой товарищъ, — занимается ли вашъ Вася хоть сколько-нибудь коммерческими дѣлами? понимаетъ ли онъ въ нихъ хоть что-нибудь?..

— Помилуйте! — отвѣчалъ Иванъ Петровичъ. — зачѣмъ же *намъ* этимъ заниматься-съ? Мы рождены собственно для того, чтобы по Невскому на рысачкахъ кататься! Впрочемъ, это я только такъ для риѳмы совралъ, а *мы* все знаемъ, всѣмъ занимаемся-съ, кассирскія должности исполняемъ и дѣдушкѣ въ глаза пыль пускаемъ. Старикъ-то намъ немножко мѣшаетъ, а то бы мы такого форсу задали, что...

Иванъ Петровичъ сжалъ губы и свистнулъ.

— Что жъ, впрочемъ, и теперь объ насъ всѣ говорятъ — куда ни обернешься, только и слышишь: какой рысакъ у Василья Прохорыча! Какая коляска!.. какая мебель.. и точно что... (онъ взглянулъ на меня и указалъ на моего товарища) вотъ они видѣли нашу мебель, пате, консольки, козеточки этакія, натощакъ и не выговоришь такія названія; ковры, шелки, бронзы — есть отъ чего ахнуть. А вина-то какія,— а метресочки-то! Господи, Боже мой! Я прошедшій разъ гляжу на Луизу Карловну... она этакъ лежитъ на диванѣ, какъ султанша какая, да ножкой болтаетъ, — просто чудо! — «Позвольте, я говорю, Луиза Карловна, мнѣ, недостойному рабу, хоть къ башмачку-то вашему или къ чулочку моими грѣшными губами прикоснуться ..» А она, знаете, спрашиваетъ по-французски, что, говоритъ, онъ вретъ? — а сама смотритъ на меня, улыбается, да еще пальчикомъ грозитъ, — такая, ей Богу! то-есть, кажется, прилегъ бы къ ея ножкѣ щекой, замеръ и испустилъ бы тутъ же дыханіе, и въ голову бы не пришло, что другія женщины существуютъ на свѣтѣ, а мы нѣтъ-съ, какъ можно! Намъ одного цвѣточка мало; мы, какъ пчелы, съ цвѣтка на цвѣтокъ перелетаемъ, никакимъ не пренебрегаемъ и на чертополохъ садимся, отовсюду медокъ высасываемъ, а изъ насъ денежки высасываютъ... Да что! намъ деньги нипочемъ! У насъ деньги, какъ щепки. Хоть у насъ-то ихъ и не слишкомъ много-съ, да вѣдь *мы наслѣдники*, а у дѣдушки-то у нашего подвалы чистымъ золотомъ завалены... Намъ не то, что другимъ-съ; въ случаѣ нужды, деньги достать все равно, что стаканъ воды выпить. Отовсюду сбѣгутся благопріятели... сейчасъ сколько угодно достанутъ благодѣтели, 50 на 100; деньги намъ даютъ, да

еще намъ же въ поясъ кланяются. Экая жизнь-то, подумаешь — блаженство! Намедни утромъ лежитъ на диванѣ въ турецкомъ халатѣ, халатъ-то изъ тысячной шали скроенъ, шолковые шаровары, — потягивается, позѣвываетъ да лѣниво покуриваетъ. Головка-то въ туманѣ еще... всю ночь напролетъ прожуировалъ, а я смотрю на него да улыбаюсь.

— Чего, говоритъ, ты смѣешься?..

— На васъ, говорю, Василій Прохорычъ радуюсь. Въ сорочкѣ, я говорю, вы родились.

— Въ самомъ дѣлѣ?..—и самъ улыбается...—а что, говоритъ, я думаю, точно многіе мнѣ завидуютъ?

— Да какъ же не завидовать-то! Кому же завидовать, какъ не вамъ?

— Это, говоритъ, все вздоръ; теперь мнѣ завидовать еще нечему, а вотъ какъ я буду самъ себѣ господинъ, такъ ужъ тогда я покажу себя; весь Петербургъ, говоритъ, ахнуть заставлю. Вотъ ты увидишь!

— И точно, вы посмотрите, какъ мы тогда заживемъ. Ужъ никто такъ, какъ Василій Прохорычъ, не сумѣетъ пыль пустить въ глаза, умница-то, вѣдь, какой! ловкій, молодецъ!.. Посмотрите, какъ въ театръ войдетъ или въ коляску сядетъ, — подумаешь, что князь какой. Я изъ нашего-то сословія-то почитай что всѣхъ богачей знаю, изъ молодыхъ-то, да нѣтъ-съ, куда имъ! далеко до нашего Василья Прохорыча! тѣхъ же щей да пожиже влей. Супротивъ него у насъ никого нѣтъ. Вотъ кричатъ про Мыльникова, сына Петра Касьяныча, да ничего въ немъ особеннаго нѣтъ и по-французски не говоритъ, даромъ что француженку содержитъ; пантомимой съ ней объясняется, какъ въ балетѣ, ей Богу, смѣхъ смотрѣть... Она ему просто вотъ какія оленьи рожища подставляетъ и смѣется еще надъ нимъ, а онъ ничего не понимаетъ, напьется, глаза, знаете, этакъ посоловѣютъ, станетъ передъ ней на колѣни, мычитъ что-то и сердится, что она его не понимаетъ, бьетъ себя въ грудь, плачетъ... Куда ему противъ нашего! Я его часто вижу вмѣстѣ съ Васильемъ Прохорычемъ. Говорить ли о чемъ начнутъ — ужъ нашъ непремѣнно его забьетъ, пить ли —

нашъ перепьетъ, на рысакахъ ли перегоняться вздумаютъ— нашъ обгонитъ. А вотъ теперича онъ съѣздитъ за границу-то, да вернется назадъ. Форсу-то тамъ еще болѣе понаберется, тогда и не подходи къ нему, пожалуй, что еще и на княжнѣ какой-нибудь женится. Англичанинъ будетъ настоящій. Вѣдь правду я говорю, Александръ Григорьичъ?..

— Правду, правду,—отвѣчалъ, смѣясь, мой товарищъ.— Ну, а скажите, Иванъ Петровичъ, дѣдушку-то своего онъ любитъ?

— Господи Боже! да какъ же такого золотого дѣдушку не любить? Да и дѣдушка-то въ насъ души не слышитъ, только старики-то вѣдь ворчуны, ну и нашъ ворчитъ, что мало дѣломъ занимаемся. Онъ умница, даромъ что съ бородой и сапоги сверхъ панталонъ носитъ, но бѣдовый старикъ!.. у него всѣ по стрункѣ ходятъ, пикнуть передъ нимъ никто не смѣетъ, а ужъ къ внучку слабъ, больно его любитъ, потому что онъ у него одинъ наслѣдникъ, сквозь пальцы смотритъ на него, да еще старикъ-то, признаться, и мало знаетъ наши продѣлки. Если бъ онъ все узналъ, просто, какъ ни любитъ, а бѣда бы была... А что, на прощальномъ-то обѣдѣ вы у насъ будете, батюшка Александръ Григорьичъ? Черезъ мѣсяцъ ужъ Василій Прохорычъ непремѣнно уѣдутъ за границу. Теперь начинаемъ приготовляться къ отъѣзду. Пріѣзжайте, пріѣзжайте, обѣдъ будетъ на славу, пожалуй и птичьяго молока для васъ достанемъ, это намъ нипочемъ... А скучно будетъ безъ Василья Прохорыча!

Иванъ Петровичъ вздохнулъ.

Черезъ мѣсяцъ, на другой день послѣ этого прощальнаго обѣда, онъ прибѣжалъ къ моему товарищу въ ту минуту, когда я только что вошелъ къ нему. Иванъ Петровичъ былъ въ восторженномъ настроеніи.

— Ахъ, Боже мой! Александръ Григорьичъ, скажите, какъ это вамъ не грѣшно, вчера-то вы у насъ не были! Какъ же это можно!—восклицалъ онъ съ сверкающими глазами и размахивая руками...

— Что дѣлать? не могъ, я былъ не очень здоровъ.

— Да что нездоровы! какъ не могли, помилуйте! Вѣдь

что было, то-есть, этого и представить себѣ невозможно! Для такого банкета со смертнаго одра можно было встать, ей Богу... Вотъ я вамъ принесъ списочекъ блюдъ... вотъ извольте... прочтите... это на удивленье! А дессертъ-то какой!.. Клубника, земляника, малина въ полпальца величины—теперь-то, вы можете себѣ представить! Винъ—это просто разливанное море... обѣдало всего человѣкъ двадцать, а выпито пять дюжинъ одного шампанскаго; послѣ обѣда пошли ликеры, заварили жженку съ ананасами... Я, знаете, въ свою жизнь часто бывалъ на парадныхъ хорошихъ банкетахъ, а ужъ ничего подобнаго не видалъ... Теперь воображенію представится, такъ слюнки потекутъ. Право. Много было изъ знатныхъ особъ,—вотъ князь Ртищевъ... Ужъ какъ онъ всѣхъ распотѣшилъ насъ! Этакій молодчина! Нашъ-то насчетъ выпивки мало кому уступаетъ, а ужъ противъ ихъ сіятельства—пасъ... Ну, да и то сказать, куда же съ ними тягаться: въ плечахъ косая сажень, ростъ какой! какъ заговорятъ, такъ своимъ голосомъ всѣхъ и покроютъ, пляшетъ какъ!—нечего сказать: настоящій князь! Взглядъ этакой, жестъ повелительный, орелъ, да и только! и не нужно говорить, что князь... Стоитъ посмотрѣть на него, сейчасъ догадаешься. Послѣ жженки какъ закричитъ:

— Къ цыганамъ! слышите?.. Сейчасъ же всѣ до единаго!

Я было хотѣлъ улизнуть, да прикурнуть гдѣ-нибудь въ уголку, потому что ноги-то у меня ужъ, знаете, подкашивались, а онъ вѣдь, подите, какой! сейчасъ замѣтилъ, да за шиворотъ меня.

— Куда?—говоритъ,—не смѣть отсюда выходить! всѣ къ цыганамъ!

Какъ онъ схватилъ меня, я, признаться, и испугался; этакій силачина, вѣдь меня просто какъ комара придавить можетъ.

— Помилуйте,—я говорю,—ваше сіятельство! куда прикажете, я,—говорю,—вездѣ за счастье почту быть съ вашимъ сіятельствомъ.

А онъ, знаете, этакъ посмотрѣлъ на меня съ ногъ до головы, изволилъ улыбнуться и говоритъ:

— Ну, то-то же! смотри, никуда отсюда, всѣ къ цыганамъ! и за другими смотри, чтобы никто не смѣлъ улизнуть. Ты мнѣ за всѣхъ отвѣчаешь...

Такой шутникъ, право!

Вотъ мы такимъ манеромъ и нагрянули къ цыганамъ въ Новую деревню... Ужъ первый часъ былъ. Всѣ спятъ. Его сіятельство идетъ впереди всѣхъ предводителемъ и кричитъ:

— Эй вы! вставайте, гости пріѣхали!..

Самъ изволилъ стащить съ постели цыганочекъ-то, которыя помоложе... Онѣ кричатъ, пищатъ... «Ваше сіятельство, оставьте, мы сейчасъ...» шали на себя, платки накидываютъ, а онъ-то хохочетъ... «Живо!» говоритъ... «Гдѣ», говоритъ, «Матрена? подавайте мнѣ Матрену!» Цыгане-то заспанные, знаете, изъ угла въ уголъ мечутся, какъ угорѣлые, видно ужъ знаютъ князя. «Сейчасъ», говорятъ, «ваше сіятельство, все будетъ готово... не извольте безпокоиться». Начинаютъ помаленьку собираться. Является Матрена... идетъ, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да какъ увидала князя... «А, это ты, говоритъ, забулдыжная голова, спать-то намъ не даешь!» Ей-Богу, такъ-таки и говоритъ... А князь-то ей: «Ахъ ты, старая, говоритъ, вѣдьма, чего разоралась-то! Ну, обними меня и поцѣлуй». Та обняла его и давай цѣловать; мы такъ всѣ и покатились со смѣху. «Ну, теперь, говоритъ, пошла! довольно!»—и рукой ее эгакъ, знаете, взадъ... и потомъ обернулся къ цыганамъ: «А вы говоритъ, чего смотрите! Шампанскаго подавай!..» «Господи! я думаю про себя, да что же это? Ужъ, кажется, пили, пили, а теперь еще! что же это будетъ съ нами! Князь-то шутить не любитъ... Вотъ-съ началась попойка и пѣсни... Маша заливалась, какъ соловей, весь хоръ пѣлъ на славу. Матрена просто выходила изъ себя; видно, что они всѣ изъ кожи лѣзли, чтобы отличиться передъ такими гостями: вѣдь нашъ-то и на нихъ сажалъ деньги, они его знаютъ, да и кто жъ, правда, его не знаетъ?.. Вдругъ какъ князь-то вскочитъ, да какъ закричитъ:«Ну, веселую, плясовую, да живо! Матрена, пройдемся-ка!» и мигнулъ Матре-

нѣ. А самъ съ себя сюртукъ долой, и пошелъ, пошелъ: ногами семенитъ, плечами поводитъ, да потомъ вдругъ въ присядку, гикаетъ, кричитъ, размахиваетъ руками, а потъ-то съ него такъ градомъ и льетъ.

— Ну, — говоритъ, — чортъ возьми, довольно съ васъ! Усталъ какъ собака,—и вытерся рукавомъ рубашки,—теперь,—говоритъ,—пойте, что хотите,—и легъ на диванъ.

А тамъ и пошла пѣсня за пѣсней и послѣ каждой пѣсни разливка, вино-то теплое, въ душу не лѣзетъ, и смотрѣть-то на него гадко: вспѣнится и польется черезъ на жестяной подносъ, и подносъ и столъ-то грязный такой и грязь кругомъ. А князь—ничего... Ну, знаете, къ концу-то онъ поосовѣлъ немножко, призамолкъ богатырь, сидитъ обнявшись съ Груней и покачивается, а все еще, какъ нальютъ бокалы, кричитъ· «пей!» но ужъ не такимъ твердымъ голосомъ, и самъ пьетъ. Потомъ пошли эти величанья... Маша сама обходила съ подносомъ. Какъ дошло до нашего-то, какъ Маша остановилась передъ нимъ, кланяясь и желая ему счастливаго пути (ужъ они, шельмы, провѣдали, что онъ ѣдетъ за границу); онъ кивнулъ мнѣ головой.

— Ваня,—говоритъ,—ужъ языкъ-то у него чуть ворочается, а я-то, знаете, ужъ пить тутъ не могъ, возьму, знаете, бокальчикъ, да въ горшокъ съ еранью, благо князято нечего бояться было, ну такъ я былъ потрезвѣе,—Ваня, отыщи,—говоритъ,—у меня бумажникъ въ карманѣ, вынь пятьсотъ рублей, положи на подносъ.

Вынулъ, положилъ, такъ нѣтъ! не унялся, видите, еще мало показалось; вынимаетъ изъ кармана лобанчики и кидаетъ, а вѣдь онѣ такія жадныя, ненасытныя. Имъ сколько ни давай, все мало. Домой-то мы воротились часовъ въ семь. Ужъ я сокровище-то наше всю дорогу держалъ на рукахъ, онъ совсѣмъ ослабѣлъ, я берегъ его, какъ сосудъ какой-нибудь хрустальный. Нельзя же: вѣдь онъ у насъ избалованный, изнѣженный такой.

Смотря на этого балагура и слушая его разсказъ, я былъ убѣжденъ, что онъ выпустилъ изъ него нѣкоторыя подробности, касающіяся до себя, а именно, что часть денегъ, на-

значенныхъ ненасытныхъ цыганамъ, онъ, пользуясь удобнымъ случаемъ, перевелъ въ свой карманъ. По крайней мѣмѣ, онъ производилъ на меня своею особою такое впечатлѣніе. Я сообщилъ это замѣчаніе моему товарищу, но онъ по добротѣ сердца никакъ не соглашался съ этимъ и увѣрялъ, что господинъ этотъ хотя и шутъ, но малый честный.

На пароходѣ, на которомъ отъѣзжалъ за границу внукъ милліонера, отправился, между прочимъ, одинъ мой знакомый. Я провожалъ его до Кронштадта и былъ невольнымъ свидѣтелемъ проводовъ внука милліонера. Его провожали: нашъ знакомый—Иванъ Петровичъ; купеческій сынъ Мыльниковъ—франтъ, кутила и лихачъ, явно усиливавшійся во всемъ тянуться за Пивоваровымъ; толстый господинъ, очень важно державшій себя, имѣвшій типъ биржевого маклера; еще другой господинъ съ выверченными ногами, неопредѣленныхъ лѣтъ отъ 55 до 65, всѣмъ извѣстное въ Петербургѣ лицо; нѣчто въ родѣ ублюдка отъ жида съ обезьяной, говорящее на всевозможныхъ языкахъ и исправляющее всякія факторскія обязанности, и наконецъ Луиза, вся обернутая въ драгоцѣнную турецкую шаль.

Когда эта компанія явилась вечеромъ на пароходъ, готовый къ отплытію, она была уже въ очень оживленномъ расположеніи, не исключая и Луизы, и обратила на себя всеобщее вниманіе.

Жидъ-факторъ, размахивая своими какъ-будто вывихнутыми руками, кричалъ во все горло, дружески ударяя по плечу внука милліонера:

— Когда будешь въ Парижѣ, остановись, мон-шеръ, непремѣнно въ Hôtel des princes, rue Richelieu—самая лучшая отель... Слышишь, непремѣнно тамъ—и спроси Шарля, онъ комиссіонеръ при отелѣ; скажи, что я тебѣ рекомендовалъ его, этого довольно, онъ будетъ распинаться для тебя. Это драгоцѣнный человѣкъ: онъ Парижъ знаетъ, какъ свои пять пальцевъ... онъ покажетъ тебѣ всѣ чудеса, диковинки и прелести... Вотъ ты увидишь, голубчикъ, какъ веселятся въ мѣстечкѣ Парижѣ, не по-нашему!.. Нѣтъ!.. Намъ далеко!.. Завидно смотрѣть на тебя; полетѣлъ бы за тобою,

посмотрѣть на моихъ старинныхъ пріятельницъ-парижаночекъ!

И говоря это, онъ съ довольною улыбкою посматривалъ кругомъ себя, выставляя голову впередъ и поводя носомъ, какъ бы обнюхивая.

Купеческій сынъ Мыльниковъ поправлялъ свои усики, тупо улыбался и говорилъ:

— Я тоже поѣду на будущій годъ въ Парижъ, непремѣнно поѣду!

Иванъ Петровичъ все терся около отъѣзжающаго внука миллiонера; становился противъ него, льстиво смотря ему въ глаза и повторяя: «покидаетъ насъ наше сокровище, оставляетъ насъ здѣсь сиротами!» заходилъ сзади и поправлялъ ему ремень отъ сумки, которая была у него надѣта сверхъ пальто; смотрѣлъ на него то съ праваго, то съ лѣваго бока, печально кивая головою; подходилъ къ жиду-фактору, къ Мыльникову, къ биржевому маклеру и повторялъ со вздохомъ: «уѣзжаетъ! уѣзжаетъ!» — обращался къ Луизѣ и говорилъ, указывая на Пивоварова: *парте, адьё!* и потомъ, умильно осклабляясь на нее, прибавлялъ:

— Ахъ вы, кралечка!

Когда провожавшіе должны были оставить отъѣзжавшій пароходъ и я совсѣмъ простился съ моимъ знакомымъ, продираясь сквозь толпу къ выходу, я опять наткнулся на группу, провожавшую внука миллiонера.

Въ этотъ разъ Луиза была въ его объятіяхъ и обливала его слезами.

— Merci! merci!.. Ne m'onbliez pas, mon chèri! — повторяла она ему.

Иванъ Петровичъ всхлипывалъ, глядя на нихъ; даже жидъ-факторъ подносилъ платокъ къ глазамъ, — до того картина эта была трогательна. Только купеческій сынокъ Мыльниковъ и толстый биржевой маклеръ оставались довольно равнодушными.

Иванъ Петровичъ подошелъ ко мнѣ на пароходѣ, на которомъ мы возвращались въ Петербургъ.

— Умчался нашъ соколъ за моря! — сказалъ онъ, — безъ

него и жизнь не въ жизнь будетъ, такъ привыкъ къ нему, ей Богу! Да человѣкъ-то какой, души-то сколько!.. Какъ не любить его! Луиза Карловна-то, видѣли вы, просто убивалась, прощаясь съ нимъ, навзрыдъ плакала, бѣдняжка; у него у самого, глядя на нее, покатились слезы; жалко ему стало ее, вынулъ изъ сумки пятьсотъ рублей, — на, говоритъ, Луизинька, возьми на булавки... Тяжело, я вамъ скажу, будетъ ей безъ него! Не скоро забудетъ!..

Въ эту минуту началъ накрапывать мелкій дождь, и мы вошли въ каюту.

Въ одномъ углу каюты мы увидѣли Луизу, сидѣвшую между двумя гусарскими офицерами и хохотавшую во все горло... Одинъ изъ офицеровъ держалъ ее за руку, называя *неутѣшной вдовой*.

— Посмотрите-ка, — сказалъ я Ивану Петровичу, указывая на эту группу.

Иванъ Петровичъ вытаращилъ глаза, съ минуту посмотрѣлъ на нее, потомъ печально покачалъ головою.

— Ахъ она безстыжая этакая! — произнесъ онъ, — да и я-то, дуракъ, въ самомъ дѣлѣ подумалъ, что она жалѣетъ о *насъ*. А вѣдь сколько мы въ нее денегъ посадили!.. И еще съ часъ назадъ тому пятьсотъ рублей бросили! За что же?.. стоила ли она этого?.. Да чего, впрочемъ, ждать отъ нихъ? въ этихъ женщинахъ нѣтъ ни стыда, ни совѣсти!

И Иванъ Петровичъ отъ негодованія плюнулъ.

ГЛАВА IV.

Внукъ милліонера вернулся изъ-за границы черезъ два года. О заграничныхъ его похожденіяхъ мнѣ узнать было не отъ кого. Въ Петербургѣ же, по разсказамъ Ивана Петровича и по другимъ слухамъ, онъ произвелъ въ своемъ кругу, какъ и слѣдовало ожидать, величайшій шумъ. Тамъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ только и говорили о вывезенныхъ имъ вещахъ, платьяхъ и какихъ-то неслыханныхъ экипажахъ, съ такими хитрыми названіями, которыя

у русскаго человѣка останавливались поперекъ горла... Внучекъ милліонера на нѣкоторое время занялъ вниманіе даже всѣхъ классовъ петербургскаго праздношатающагося народонаселенія. О немъ заговорили, да и нельзя же было не говорить, потому что онъ всякій день появлялся на публичную выставку въ различныхъ видахъ: онъ прокатывался утромъ по Невскому проспекту нѣсколько разъ взадъ и впередъ, чтобы дать возможность во всѣхъ подробностяхъ разсмотрѣть себя любознательной публикѣ; то въ какомъ-то англійскомъ экипажѣ, на англійскихъ лошадяхъ, съ англійской закладкой, которыми онъ самъ правилъ, вооруженный длиннѣйшимъ бичомъ; то полулежа въ легкой, какъ пухъ, коляскѣ, привезенной изъ Вѣны и запряженной русскими рысаками, которыхъ во весь ходъ пускалъ его толстый и бородатый кучеръ, обгоняя блестящіе экипажи Шарлотты Ѳедоровны, Армансъ, Берты, Марьи Ивановны и вообще *этихъ* дамъ... Въ обѣденное время его можно было видѣть почти постоянно то у Сень-Жоржа, то у Леграна, а вечеромъ — или въ циркѣ, или во французскомъ театрѣ, или въ оперѣ, куда онъ являлся всегда не только во фракѣ, но даже въ бѣломъ галстукѣ, какъ это дѣлаютъ тѣ свѣтскіе господа, которые обыкновенно прямо изъ театра отправляются на балъ или раутъ. Внукъ милліонера на балы не ѣздилъ, а если и ѣздилъ, то на такіе, на которыхъ бѣлый галстукъ былъ совершенно излишнимъ украшеніемъ; но онъ предпочиталъ бѣлый черному уже потому, что бѣлый бросался въ глаза. Къ тому же, какъ извѣстно, бѣлые галстуки въ большомъ употребленіи въ Лондонѣ.

— Здѣсь просто жить не умѣютъ, — говорилъ онъ своимъ пріятелямъ съ презрительной гримасой и пожимая плечами, — какая-то дикая страна! Помилуйте, здѣсь въ оперу ѣздятъ въ сюртукахъ, на что же это похоже? Въ Лондонѣ въ оперу всякій порядочный англичанинъ надѣваетъ непремѣнно фракъ и бѣлый галстукъ! Это ужъ такъ принято у всѣхъ образованныхъ людей...

— Да! ужъ что тамъ ни говори, — разсуждалъ про него благоговѣйно купеческій сынокъ Мыльниковъ съ своими

друзьями, — а ужъ за нимъ тягаться не легко: *шикаръ*, чортъ его возьми! Настоящій европеецъ!

И, въ подражаніе внуку милліонера, онъ также сталъ появляться въ оперу въ бѣломъ галстукѣ.

Только нѣкоторые великосвѣтсткіе гвардейскіе офицеры и штатскіе comme il faut иронически поглядывали на новаго европейца, отзывались о немъ презрительно и называли его даже унизительнымъ именемъ *хама*, въ полномъ и гордомъ сознаніи, что та высочайшая comme il-faut ность и та утонченная свѣтскость, которою владѣютъ они, не можетъ быть доступна *всякому*, что она не покупается никакими милліонами, что это высочайшій идеалъ, до котораго достигаютъ только немногіе избранные и высокорожденные. Внучекъ милліонера, хотя и замѣчалъ, какъ эти господа на него посматриваютъ, но, повидимому, мало огорчался этимъ. Ему, можетъ быть, хотѣлось сначала попасть въ ихъ общество; но, убѣдившись, что это не такъ легко для него, какъ онъ думалъ, онъ успокоился... Къ тому же, можно было смѣло предположить, не прибѣгая къ помощи наблюденій и слуховъ, что онъ принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые не принимаютъ тонъ, а задаютъ тону, и которые окружаютъ себя людьми, надъ которыми они могутъ распоряжаться всевластно.

Въ это самое время, то-есть черезъ полгода, а можетъ быть и черезъ годъ послѣ возвращенія Пивоварова изъ-за границы, *весь* Петербургъ заговорилъ о Шарлоттѣ Ѳедоровнѣ... Я говорю *весь*, потому что каждый изъ насъ, люди обезпеченныхъ и болѣе или менѣе праздныхъ, привыкъ считать тотъ маленькій мірокъ, которымъ окруженъ онъ, съ его интересами, понятіями и взглядами, чуть не цѣлымъ міромъ, воображая, что весь міръ непремѣнно живетъ тѣми же интересами, понятіями и взглядами. Очень легко можетъ быть, что большая половина Петербурга и не подозрѣвала о существованіи Шарлотты Ѳедоровны, но какое намъ дѣло до этой большой половины? О ней говорили *мы*, она занимала *насъ*.

Она была очень извѣстна давно, но, несмотря на ея кра-

соту и молодость, на нее смотрѣли почти съ пренебреженіемъ, потому что эта красота была слишкомъ легка и доступна и, какъ всѣ такого рода красоты, имѣла не блестящую обстановку. А мы въ такихъ случаяхъ похожи на тѣхъ покупателей картинъ, которые обращаютъ не столько вниманія на достоинство самыхъ картинъ, сколько на великолѣпныя рамы. Когда случай вставилъ Шарлотту Өедоровну въ великолѣпную раму, — всѣ обратились къ ней, всѣ заговорили о ней. Шарлотта Өедоровна окружила себя такимъ блескомъ и начала держать себя до того свысока, что издали и для людей неопытныхъ она казалась совершенно недосягаемою. У нея явилось множество великосвѣтскихъ поклонниковъ, она сдѣлалась вдругъ минутною прихотью Петербурга, его модою, и внучекъ милліонера, разумѣется, началъ тотчасъ же въ числѣ другихъ всюду преслѣдовать ее. Онъ появлялся на всѣхъ пикникахъ и маскарадахъ, на которыхъ была она: онъ не спускалъ съ нея своего бинокля въ театрахъ; на Невскомъ проспектѣ его рысаки обгоняли ея рысаковъ; онъ четыре раза въ день въ различныхъ экипажахъ проѣзжалъ мимо ея оконъ, онъ подкарауливалъ ее въ англійскомъ магазинѣ, у Елисѣева и въ другихъ лавкахъ.

Но Шарлотта Өедоровна вела себя очень тонко и расчетливо. Она знала, что великосвѣтскіе господа, по милости которыхъ отчасти она держалась на высотѣ моды, считаютъ внука милліонера человѣкомъ дурного тона, подсмѣиваются надъ его претензіями и желаніемъ выставляться, и вмѣстѣ съ ними смѣялась надъ нимъ, обнаруживала передъ ними презрѣніе къ нему, говорила, что этотъ купчикъ надоѣдаетъ ей, что она не знаетъ, какъ отъ него отдѣлаться, и прочее, а между тѣмъ, говорятъ, тайкомъ вела съ нимъ переговоры, потому что упустить его считала по справедливости нерасчетливымъ.

Слухи эти подтвердились Иваномъ Петровичемъ. Я встрѣтилъ его однажды на улицѣ. Онъ подошелъ ко мнѣ въ ту самую минуту, когда Шарлотта Өедоровна промчалась мимо насъ на своихъ рысакахъ. Иванъ Петровичъ, значительно

улыбаясь, проводилъ ее глазами, прищелкнулъ языкомъ и, обратясь ко мнѣ, сказалъ:

— Вотъ-съ ужъ барыня, такъ барыня!

— А вамъ нравится?

— Помилуйте, да какъ не нравиться! Я съ ней имѣлъ счастіе недавно провести цѣлый вечеръ.

— Какимъ же это образомъ?

— Да просто у насъ въ домѣ-съ. Недѣли двѣ тому назадъ, изволите видѣть, у Василья Прохорыча зашелъ споръ съ молодымъ Мыльниковымъ. Василій Прохорычъ говоритъ, что для меня, говоритъ, нѣтъ ничего на свѣтѣ недоступнаго. Все, что пожелаю, говоритъ, буду имѣть. А Мыльниковъ-то улыбнулся и говоритъ ему: — Ну, говоритъ, *атанде*, не все, шалишь! Вотъ позови-ка насъ ужинать — чтобъ Шарлотта Ѳедоровна была. Ну-ка! — А нашъ-то ему отвѣчаетъ: — Велика, говоритъ, важность Шарлотта! Да она будетъ у меня когда хочешь. — Нѣтъ, говоритъ, врешь, не будетъ; вѣдь она теперь такъ носъ задрала, что ужасъ. — А будетъ!.. Слово-за-слово, знаете, и побились объ закладъ о дюжинѣ шампанскаго. Ну, разумѣется, Мыльниковъ проигралъ — пріѣхала; только хоть мы и выиграли дюжину шампанскаго, а этотъ визитецъ намъ дорого обошелся-съ. Еще до визита двухъ вороненькихъ рысаковъ къ ней на конюшню послали... такъ вотъ, изволите видѣть, въ назначенный Василіемъ Прохорычемъ вечеръ собрались мы часамъ къ девяти этакъ; все свои, самые близкіе только, человѣкъ насъ пять всего было, вмѣстѣ съ Василіемъ Прохорычемъ. Мыльниковъ расфрантился, распомадился, завился, раздушился, какъ херувимъ какой расхаживаетъ — и все въ зеркала смотрится.

Признаться, и мы себя во всемъ блескѣ показать захотѣли; зажгли всѣ люстры и кенкеты, комнаты горятъ, просто какъ на балу на какомъ. Самъ-то ходитъ во фракѣ и всѣ мы во фракахъ — нельзя, говоритъ, иначе, потому что въ Европѣ вечеромъ всѣ во фракахъ, такъ заведено, а ужъ тамъ, гдѣ, говоритъ, дамы, въ сюртукѣ быть почитается величайшимъ невѣжествомъ. У насъ теперь вѣдь все по-европейскими, безъ Европы мы шагу не дѣлаемъ... Ну, вотъ онъ,

знаете, похаживаетъ, какъ-будто ни въ чемъ не бывало, а самъ между тѣмъ все на часы посматриваетъ. Ужъ близко къ десяти, а ее все нѣтъ. Мыльниковъ подходитъ ко мнѣ и говоритъ:

— А что, Ваня, вѣдь я пари-то выигралъ — не пріѣдетъ!

— Нѣтъ, — я говорю, — проигралъ, *шеръ ами*. Я тоже нынче по-французски запускаю съ тѣхъ поръ, какъ мы изъ Европы-то прикатили. Ужъ коли, говорю, *онъ* сказалъ, что пріѣдетъ, такъ пріѣдетъ.

— Неужто, говоритъ, взаправду? Мнѣ, говоритъ, на проигрышъ наплевать, а главное хочется вблизи-то на нее посмотрѣть. Такъ ты думаешь, что пріѣдетъ?

— Непремѣнно.

— Что ты? У меня, братъ, даже, говоритъ, сердце забилось, — ей Богу...

Въ половинѣ одиннадцатаго — звонокъ. Мы всѣ переглянулись — кому же, кромѣ ее? У Мыльникова даже вся кровь въ лицо бросилась... Онъ къ зеркалу — и виски поправлять.

Нашъ-то посмотрѣлъ на всѣхъ съ торжествомъ: «она!» говоритъ, «она!» — и пошелъ ей навстрѣчу.

Входитъ. Господи! какъ разодѣта!.. въ бѣломъ шелковомъ платьѣ съ фальбарами, по бѣлому-то лиловыя полосы, вся въ кружевахъ, декольте, а шейка-то бѣленькая, какъ сливки, и у самаго раздѣленьица-то, на грудочкѣ-то, ужаснѣйшій бриллiантища, такъ и сверкаетъ, такъ и переливается... Я, знаете, такимъ молодцомъ расшаркался передъ нею, а Мыльниковъ — вѣдь такой чудачина, даромъ, что самъ милліонеръ и съ виду лихачъ, совсѣмъ оробѣлъ, стоитъ какъ пень, и выпучилъ на нее свои буркулы-то... А нашъ-то указалъ на насъ и говоритъ ей:

— Имѣю честь представить — это, — говоритъ, все мои пріятели, всѣхъ насъ по фамильямъ назвалъ...

Она обвела насъ глазками, а глазенки-то какіе, съ поволокой — чудо! улыбнулась этакимъ пріятнѣйшимъ манеромъ и кивнула всѣмъ намъ головкой.

— Я, говоритъ, изъ французскаго театра; все такія глупыя пьесы давали... Я и не дождалась конца.

И разсѣлась въ кресло, а нашъ-то подъ ноги ей скамеечку.

— Мерси, — говоритъ, обдернула платьице и ножку выставила.

Какъ я взглянулъ, вѣрите ли — у меня такъ по всему тѣлу мурашки и пробѣжали! Башмачокъ-то маленькій, узенькій, съ обшивкой и съ лиловымъ бантикомъ; чулочекъ-то шелковый, такъ и обтягиваетъ ножку — и точно какъ зарей подернуть, — съ розовымъ оттѣночкомъ...

И какъ пошла говорить, что твои гусли: обо всемъ такъ прекрасно разсуждаетъ, все такъ критикуетъ. Умница такая!

А Мыльниковъ мнѣ на ухо:

— Фу ты, братецъ, — говоритъ, какая образованная!

— Да, я говорю, это не то, что Луиза Карловна, далеко кулику до Петрова дня; а я-то, дуракъ, думалъ прежде, что ужъ лучше и умнѣе Луизы Карловны нѣтъ на свѣтѣ женщины!..

— И посмотри, Ваня, — Мыльниковъ-то говоритъ мнѣ, и, знаете, толкаетъ меня подъ локоть, — манеры-то какія, развалилась вѣдь точно княгиня.

Поговоривши этакъ съ полчаса, встала она и начала разсматривать наши рѣдкости, остановилась противъ часовъ, — большущіе этакіе бронзовые часы, онъ привезъ ихъ изъ-за границы. — двѣ женщины съ каждой стороны лежатъ пониже, внизу амуры играютъ и къ нимъ канделябры свѣчъ, о двѣнадцати каждая, одинъ человѣкъ и не подниметъ, тысячи двѣ на наши деньги заплатилъ... Она долго любовалась ими, всѣ кругомъ осмотрѣла, да и говоритъ, — на что, говоритъ, вамъ этакіе часы!.. Мнѣ въ гостиную, говоритъ, надобно часы; будьте-ка любезны, — подарите ихъ мнѣ. Ну, а нашъ-то, знаете, съ амбиціей, хоть и жалко, да ужъ ни за что не покажетъ.

— Извольте, — говоритъ, съ большимъ удовольствіемъ, они завтра же утромъ будутъ у васъ, — такъ знаете равнодушно. какъ-будто они цѣлковыхъ три стоятъ.

Показалъ онъ ей фарфоровыя куклы, тоже навезъ съ

собою оттуда, говоритъ, что рѣдкія, дорогія... Предложилъ самъ, — не угодно ли, говоритъ, выбрать? — Почти что всѣ забрала, ей Богу... ужъ намъ смѣшно, мы мигаемъ другъ другу, а она ничего, — ходитъ по комнатамъ, какъ королева какая, и отбираетъ, что ей нравится. Вѣрите ли, тысячи на три слишкомъ разныхъ вещей набрала.

Тутъ пошло угощенье: мороженое, чай, конфеты... Мы съ Мыльниковымъ сначала оробѣли маленько, но къ концу тоже въ разговоръ вступили, а послѣ ужина Мыльниковъ-то даже расходился. — «Позвольте», — говоритъ, «вашу ручку поцѣловать». Она улыбнулась и ни слова, — протянула ему руку; ну ужъ затѣмъ и я рѣшился. — Ужъ удостойте, я говорю, и меня тѣмъ же благоволеніемъ — и мнѣ протянула и я приложился и смотрю — одинъ пальчикъ весь въ кольцахъ — и все сотенныя: яхонты, брилліанты, опалы, жемчугъ — я въ этихъ вещахъ толкъ-то знаю, — думаю, ахъ, кабы совсѣмъ и съ кольцами пальчикъ-то откусить!..

До двухъ часовъ пробыла, а на другой день всѣ вещи, которыя выбрала, уложили мы и отправили къ ней. Мнѣ ужъ часовъ-то больно жалко, остальныя-то вещи Богъ съ ними!

Такъ вотъ онѣ эти барыни-то каковы! Хороши, красивы, а пальца имъ въ ротъ не клади — откусятъ-съ!

Эта поговорка, кажется, оправдалась надъ Пивоваровымъ, потому что, кромѣ подарковъ вещами и рысаками, онъ, говорятъ, заплатилъ за Шарлотту Өедоровну тысячъ пятнадцать рублей серебромъ долгу; къ этому прибавляли еще, что послѣ уплаты долга дверь ея квартиры болѣе не открывалась для него и что Шарлотта Өедоровна даже отворачивалась при встрѣчѣ съ нимъ.

Самолюбіе внучка милліонера было оскорблено сильно, что можно было заключить изъ отзывовъ Ивана Петровича о Шарлоттѣ Өедоровнѣ.

— Что, вашъ Вася продолжаетъ съ нею все въ дружбѣ жить? — спросилъ его мой товарищъ.

— Помилуйте! — воскликнулъ Иванъ Петровичъ, — какое! ужъ давнымъ-давно все кончено... Мы ее бросили и смотрѣть-то на нее теперь не хотимъ. Мы найдемъ и почище

ея. Чортъ ее возьми совсѣмъ! Мы, батюшка Александръ Григорьичъ. охотники, ловцы, а извѣстно, что на ловца и звѣрь бѣжитъ. Да, признаться, пора бы и перестать; побаловали — и полно. Время бы ужъ своимъ домкомъ обзавестись, хорошую хозяюшку взять — вотъ что́. Старикъ-то нашъ. слышно, ужъ пріискиваетъ ему невѣсту. Остепениться, говоритъ, пора малому-то...

ГЛАВА V.

Семейство моего товарища заключалось въ матери и сестрѣ. Отецъ его, совершившій все земное, то-есть достигнувшій полнаго генеральскаго чина, скончался лѣтъ восемь передъ этимъ. Матери его было лѣтъ подъ пятьдесятъ; она еще тщательно сохранила остатки прежней красоты, не прибѣгая для поддержанія ея ни къ какимъ искусственнымъ средствамъ. Она принадлежала къ тому разряду женщинъ, которыхъ обыкновенно зовутъ *благовоспитанными*. Она была всегда одѣта съ приличіемъ и вкусомъ, не моложе своихъ лѣтъ, но не безъ нѣкотораго оттѣнка кокетства, никогда не позволяла себѣ увлекаться въ разговорѣ и постоянно говорила ровнымъ тономъ, не возвышая и не понижая голоса; никогда почти ничего не читала; безусловно подчинялась всѣмъ тѣмъ свѣтскимъ условіямъ, воззрѣніямъ и обычаямъ, среди которыхъ она прожила полжизни, и почитала ихъ величайшею мудростью, а уклоненіе отъ нихъ — ужасною безнравственностью. Впрочемъ, несмотря на свою наружную холодность, она имѣла сердце мягкое и доброе, и очень любила дѣтей своихъ. И хотя сынъ ея безпрестанно противорѣчилъ этимъ условіямъ и обычаямъ и никогда не соглашался съ ея воззрѣніями, она поневолѣ примирялась съ нимъ, убѣдясь его примѣромъ, что можно быть честнымъ и порядочнымъ человѣкомъ совершенно внѣ этихъ условій. Онъ велъ себя относительно ея съ большою почтительностью, осторожностью и тактомъ и избѣгалъ случаевъ раздражать ее противорѣчіемъ, но иногда, въ минуту увлеченія, выска-

зывался противъ воли — и въ такихъ случаяхъ она, вздыхая, всегда повторяла: «я удивляюсь, какія у васъ нынче странныя понятія обо всемъ!» Это замѣчаніе напоминало ему, что онъ перешелъ должныя границы, и онъ въ такихъ случаяхъ обыкновенно перемѣнялъ разговоръ. Онъ былъ бы совершенно счастливъ и почти спокоенъ въ семейномъ быту, если бъ его не тревожило страшное честолюбіе, которое маменька питала за него. Маменькѣ непремѣнно хотѣлось, чтобы онъ сдѣлалъ блестящую карьеру, получалъ чины, кресты, придворныя званія, чтобъ онъ составилъ хорошую партію, женился бы на какой-нибудь княжнѣ, графинѣ или по крайней мѣрѣ, на графской или княжеской родственницѣ — великосвѣтской барышнѣ, а все это не совсѣмъ согласовалось съ его независимымъ образомъ мыслей, прямодушіемъ и отсутствіемъ всякаго тщеславія. Отсюда возникали иногда довольно непріятныя домашнія сцены и объясненія между сыномъ и матерью. Сестра его была дѣвушка очень умная и съ такимъ твердымъ и серьезнымъ характеромъ, которые попадаются не часто и образуются въ самой неблагопріятной для нихъ средѣ какимъ-то чудомъ. Братъ любилъ ее безъ памяти и питалъ къ ней большое уваженіе, несмотря на то, что она была гораздо моложе его, потому что передъ ней онъ чувствовалъ еще сильнѣе слабость собственнаго характера. Она была посредницею между братомъ и матерью, особенно въ минуты честолюбивыхъ припадковъ послѣдней относительно сына.

Я бывалъ въ этомъ семействѣ довольно часто и проводилъ у нихъ иногда цѣлые вечера, въ то время какъ мой товарищъ рыскалъ по Петербургу. Одна изъ самыхъ частыхъ посѣтительницъ въ ихъ домѣ была пансіонская подруга сестры моего товарища — прелестная дѣвушка, какую я когда-либо встрѣчалъ въ жизни. Въ этой дѣвушкѣ было столько граціи, — не условной, искусственной граціи, которая вырабатывается воспитаніемъ, а природной, выходящей изъ глубины благородной, прекрасной природы, — столько гармоніи во всемъ ея существѣ, что она вдругъ поражала невольно и останавливала всякаго, кто видѣлъ ее въ первый

разъ. Она была такъ нѣжна и легка, что иногда, при поэтическомъ настроеніи духа, ее можно было принять за видѣніе. Бѣлокурые, почти льняные и пушистые волосы украшали ея головку; черты лица ея отличались не столько правильностью, сколько привлекательностью, которая особенно выражалась въ ея темносѣрыхъ глазахъ. Ея станъ, ростъ, нога и рука — все это могло бы служить образцомъ для художника. Таково было первое впечатлѣніе, производимое ею на всѣхъ; но странно, когда въ нее вглядывались ближе, къ нему присоединялось какое-то неопредѣленное, но грустное чувство, возбуждаемое непрочностью и слабостью этого существа, которое, казалось, не могло ни минуты быть само по себѣ, безъ посторонней помощи и поддержки. Она походила на тѣ нѣжныя, тонкія, вьющіяся растенія, которыя ищутъ возлѣ себя деревца — и если находятъ его, то съ любовью обвиваются около его стебля и поднимаются до самой его вершины, а если не находятъ, то разстилаются по землѣ и глохнутъ въ травѣ; подъ защитою этого деревца они не боятся бури, но вянутъ отъ одного грубаго прикосновенія руки человѣческой.

Я не могу судить объ ея умѣ, потому что мнѣ не случалось говорить съ ней серьезно и она вообще, кажется, была мало разговорчива; но въ самомъ пустомъ, обыкновенномъ разговорѣ ея было что-то пріятное; можетъ быть причиною этого былъ звучный, но въ то же время тихій, симпатическій голосъ. Я впослѣдствіи видалъ ее довольно часто — и не слыхалъ отъ нея никогда ни одного пошлаго слова; но всего сильнѣе дѣйствовала на меня ея улыбка, въ которой была неотразимая привлекательность и которая, какъ лучъ солнца, вдругъ озаряла ея личико. Эта улыбка была полнымъ выраженіемъ ея внутренней веселости, которая никогда не доходила до смѣха, — по крайней мѣрѣ я не видѣлъ ее смѣющуюся вслухъ. Женскій смѣхъ — вещь очень серьезная... Смѣхъ часто изобличаетъ внутреннія качества женщины и степень ея развитія. Женскій, громкій и рѣзкій смѣхъ, раздражающій нервы, отталкиваетъ отъ самой хорошенькой женщины.

При появлении каждаго новаго незнакомаго лица она тотчасъ, казалось, уходила въ себя,—до того она была робка и впечатлительна, и если даже кто-нибудь изъ знакомыхъ обращался къ ней въ разговорѣ, она всякій разъ какъ - будто внутренно вздрагивала.

Когда я увидѣлъ въ первый разъ эту дѣвушку и еще не зналъ, кто она, я былъ убѣжденъ, что такое тонкое, изящное и деликатное существо могло родиться не иначе, какъ въ высшихъ сферахъ общества,—до того сильны предразсудки, вкоренившіеся въ насъ съ дѣтства. Мнѣ, я долженъ признаться откровенно, было даже нѣсколько непріятно, когда я узналъ, что она дочь купца, и послѣ этого въ первыя минуты она нѣсколько потеряла для меня свой поэтическій колоритъ; вглядываясь въ нее потомъ внимательно, я старался отыскивать въ ней (хотя напрасно) какихъ-нибудь слѣдовъ того сословія, къ которому принадлежала она.

Сестра моего товарища чувствовала къ ней глубокую привязанность и говорила о ней почти съ увлеченіемъ, хотя вообще увлеченіе вовсе не было свойственно ея серьезной природѣ. Товарищъ мой часто забывалъ для нея клубы, театры и своихъ пріятелей и цѣлые вечера, къ удивленію всѣхъ, просиживалъ дома... Даже его матушка благосклонно находила, «qu'elle est tout à fait distinguée», хотя мысль, что дочь купца — другъ ея дочери, все - таки нѣсколько оскорбляла ее.

Товарищъ мой передалъ мнѣ, что у подруги его сестры въ живыхъ только отецъ-старикъ — человѣкъ нрава крутого, русскій самодуръ, но очень любящій ее по-своему, и что она богатая и единственная его наслѣдница.

Однажды мы какъ-то откровенно разговорились объ этой замѣчательной дѣвушкѣ...

— А что, любезный другъ, женись-ка на ней, — замѣтилъ я,—право, я говорю не шутя.

— Какой вздоръ! — возразилъ онъ, — нѣтъ, любезный другъ; во-первыхъ, я старъ для нея: мнѣ ужъ тридцать лѣтъ; во-вторыхъ, — нравиться женщинамъ я не умѣю и не могу, да у меня и фигура не такая; а въ - третьихъ — я не такъ себя поставилъ, я испортилъ всю мою жизнь, изуродовалъ се-

бя — и ни къ чему серьезному не способенъ, а женитьба— вещь очень серьезная. Къ тому же, ты знаешь мою матушку! Изъ этого могли бы выйти такія семейныя сцены и непріятности!.. Она женщина добрая, хорошая, но вся напичкана, къ сожалѣнію, барскими предразсудками...

— Если бы я былъ увѣренъ, что я точно могу составить ея счастіе... но дѣло въ томъ, что я въ этомъ вовсе не увѣренъ. Какъ мнѣ ни надоѣла эта бродячая, цыганская, глупая и пустая жизнь, которую я веду до сихъ поръ, какъ она ни тяготитъ меня, какъ мнѣ ни опротивѣла вся эта компанія, среди которой я провелъ мою молодость и отъ которой путнаго слова не услышишь, а все-таки я еще не совсѣмъ отдѣлался отъ нея, и она — я ужъ это чувствую — положила на меня неизгладимую печать и сдѣлала меня ни на что негоднымъ.

Товарищъ мой говорилъ тономъ грустнымъ и желчнымъ и не хотѣлъ слушать никакихъ возраженій, но вдругъ онъ расхохотался.

— Мы, впрочемъ, толкуемъ ужаснѣйшія глупости, — сказалъ онъ, — ну, скажи пожалуйста, можешь ли ты меня вообразить серьезно женатымъ? Мнѣ кажется, смѣшнѣе этого ничего быть не можетъ. Признайся.

Я долженъ былъ сознаться, что это правда.

— То-то и есть! Нѣтъ, ужъ мнѣ, видно, придется остаться холостякомъ на всю жизнь — и промаячить ее безполезно и для себя, и для другихъ. Если бъ я вздумалъ пріобрѣсти *подругу жизни*, изъ этого бы вышло вотъ что... слушай!

Онъ началъ представлять комическую картину своей семейной жизни — и самъ отъ души заливался надъ своею остроумною фантазіею...

Прошло съ годъ послѣ этого. Подруга сестры моего товарища посѣщала ее такъ же часто, но товарищъ мой началъ явно удаляться отъ нея и избѣгать ее.

Разъ какъ-то мы сговорились ѣхать куда-то вмѣстѣ, и я заѣхалъ за нимъ. Я нашелъ его противъ обыкновенія въ мрачномъ, безпокойномъ и раздражительномъ расположеніи духа.

— Нѣтъ, братъ, я что-то не расположенъ ѣхать... извини меня, — сказалъ онъ мнѣ, когда я напомнилъ ему о нашемъ визитѣ, — скучно и лѣнь.

Онъ уничтожалъ папироску за папироской и почти все молчалъ, что̀ съ нимъ случалось необыкновенно рѣдко.

— Да что съ тобою?.. Ты нездоровъ? — спросилъ я.

— Нѣтъ, развѣ я бываю когда-нибудь боленъ? У меня воловья природа, на меня ничего не дѣйствуетъ... Ахъ, знаешь ли новость? — сказалъ онъ послѣ минуты молчанія, — Пивоваровъ женится.

— Съ чѣмъ я его и поздравляю. Это, впрочемъ, меня мало интересуетъ, — возразилъ я.

— Но какъ ты думаешь, на комъ?

— Почему же я знаю. Ну, напримѣръ?

— Чортъ знаетъ, это просто ни на что не похоже! Какъ-то вѣрить не хочется — на Ольгѣ Петровнѣ (такъ звали подругу сестры его).

— Можетъ ли это быть! — вырвалось у меня невольно, — какимъ же это образомъ? Что можетъ быть общаго между этою дѣвушкою и между этимъ господиномъ?

— А между тѣмъ она будетъ его женою!.. Въ самомъ дѣлѣ, не безобразно ли это?

— Да неужели жъ это правда? Если бы мнѣ это приснилось, я такой сонъ почелъ бы самымъ глупѣйшимъ изъ сновъ.

— Дѣйствительность-то, видно, иногда бываетъ глупѣе сновъ. — возразилъ мой товарищъ, — мнѣ ужасно жаль эту дѣвушку. Не правда ли, жаль ее?

— Но развѣ ужъ все рѣшено?

— Къ несчастью. Старикъ, ея отецъ, и дѣдушка этого противнаго купчика — старинные пріятели. Они, говорятъ, давно между собою рѣшили это прекрасное дѣло: соединить со временемъ свои капиталы посредствомъ этого брака. Вѣдь ея отецъ — это закоснѣлый, упорный мужикъ, который, если заберетъ какую-нибудь чушь въ голову, такъ ее коломъ потомъ изъ нея не выбьешь.

— Да она-то что же?

— Что жъ она? ее и не спрашивали. Ей объявили, когда ужъ дѣло было рѣшено. Это твой женихъ — и кончено. Говорятъ, она бросилась къ отцу, умоляла его, чтобъ онъ отмѣнилъ свое рѣшеніе, объявила ему, что она не любитъ этого господина и никогда любить не будетъ, а отецъ затопалъ ногами, поднялъ крикъ. «Дочь, говоритъ, должна повиноваться отцу, а не разсуждать. Отецъ лучше знаетъ, что можетъ составить счастье дочери. Еще ты молода, привыкните другъ къ другу, послѣ, говоритъ, слюбитесь», — и прочее въ этомъ родѣ, какъ водится, а затѣмъ привели жениха, да и благословили ихъ. Страшно, говорятъ, смотрѣть на эту бѣдную дѣвушку! Сестра моя просто въ отчаяніи, — ты знаешь, какъ она любитъ ее. Мы вчера съ сестрой имѣли пренепріятную сцену съ матушкой. Она начала увѣрять насъ, что Пивоваровъ прекрасная партія для нея... что чего же, наконецъ, ей нужно! не за князя же ей выйти замужъ! что она все-таки купеческая дочь и что Пивоваровъ — женихъ, какихъ немного... что онъ легко бы могъ даже сдѣлать лучшую партію съ такимъ огромнымъ состояніемъ, какое у него въ виду, то-есть, что и дворянка могла бы осчастливить его своимъ согласіемъ на бракъ! Я не выдержалъ и сказалъ ей, что такъ разсуждать, какъ разсуждаетъ она, безчеловѣчно... Тутъ поднялась буря, посыпались на меня жалобы, упреки; при этомъ удобномъ случаѣ все вычитали мнѣ: что я не хочу служить, какъ слѣдуетъ, веду праздную жизнь, имѣю знакомства Богъ знаетъ съ какими людьми (ну, это-то отчасти правда!), что Перфильевъ моложе меня, а ужъ давно камеръ-юнкеромъ, что я не умѣю искать ни въ комъ, и прочее, и прочее. Въ заключеніе нервическій припадокъ, все это, какъ слѣдуетъ. — Мнѣ-то это, впрочемъ, все нипочемъ, съ меня какъ съ гуся вода, но мнѣ больно за сестру, она и безъ того разстроена, да и при такихъ сценахъ она всегда страдаетъ больше меня... Что жъ, — печально прибавилъ въ заключеніе мой товарищъ, — нападать послѣ этого на грубость и безчеловѣчіе какого-нибудь разжившагося и разъѣвшагося мужика, въ родѣ отца Ольги Петровны, когда женщины добрыя, считаю-

щіяся образованными, и притомъ *дворянскаго происхожденія*, разсуждаютъ не лучше!.. Нѣтъ, любезный другъ, жить скучно!..

— Какъ-будто для окончательнаго раздраженія моего товарища, въ эту минуту явился къ нему Иванъ Петровичъ.

— Батюшка, Александръ Григорьичъ, — заговорилъ онъ, входя въ комнату, — поздравьте насъ, на нашей улицѣ праздникъ, *мы* женимся! Вотъ будетъ пиръ-то горой! И невѣста-то какая у насъ, — да вѣдь вы ее знаете, что вамъ говорить о ней. Фея, можно сказать, этакая, только ужъ слишкомъ эѳирна, не мѣшало бы немножко поплотнѣе. Теперь у насъ въ домѣ такая возня идетъ — ужасть! Дѣдушка-то нашъ даетъ намъ особую половину возлѣ себя въ бельэтажѣ, ужъ отдѣлывать начали: потолки мы вызолотимъ, стѣны шелкомъ обобьемъ, зеркала до потолка пустимъ — знай нашихъ! А тамъ наслѣдничка заведемъ — этакого махонькаго. Одной мебели, я вамъ скажу, мы ужъ заказали Туру тысячъ на пятнадцать, ей Богу. Мнѣ жалко, что часы-то онъ подарилъ Шарлоттѣ Ѳеодоровнѣ, а эти бы часы въ гостиную на мраморный каминъ—славно было бы, ужъ такихъ часовъ въ Петербургѣ ни за какія деньги не достанешь... И какъ я радъ этой свадьбѣ, то-есть вы не повѣрите! точно какъ-будто я самъ женюсь, ей Богу... Такое веселье пойдетъ теперь. . эти свадебные банкеты, балы .. гуляй, душа!

— Убирайтесь вы съ вашими банкетами и балами! — вскрикнулъ мой товарищъ съ такимъ презрѣніемъ и негодованіемъ, какого я никогда не видѣлъ въ немъ. — Иванъ Петровичъ вытаращилъ глаза отъ удивленія и даже испугался.

— Веселье! — продолжалъ мой товарищъ, — хорошо веселье, когда невѣсту потащатъ подъ вѣнецъ силой!.. Если бъ въ вашемъ глупомъ, безпутномъ Васильѣ Прохорычѣ былъ хоть признакъ сердца, если бъ у него была хоть капля совѣсти, хоть тѣнь собственнаго достоинства, онъ отказался бы отъ нея. Понимаете ли вы, что брать себѣ жену насильно—подло!.. Впрочемъ, и я дуракъ, что я вамъ это

говорю... (онъ разгорячался все болѣе и болѣе)...—вы не поймете этого,—ни вы, ни вашъ Василій Прохорычъ; вы безсмысленно радуетесь этому потому, что вы блюдолизъ и по случаю этого брака вамъ представляется лишній разъ наѣсться и напиться!..

Иванъ Петровичъ совсѣмъ оробѣлъ отъ такой рѣзкой выходки, совершенно неожиданной для него, особенно отъ такого добраго, кроткаго и вѣчно веселаго человѣка, каковъ былъ Александръ Григорьичъ. Иванъ Петровичъ переминался съ ноги на ногу, посматривалъ жалобно то на него, то на меня, какъ-будто глоталъ что-то и безсвязно бормоталъ:

— Да, нѣтъ, помилуйте, Александръ Григорьичъ, я что же... я тутъ ничѣмъ не виноватъ-съ... мое дѣло—сторона.

Товарищъ мой молчалъ. Иванъ Петровичъ повертѣлся немного, потомъ началъ было разсказывать какое-то новое похожденіе купеческаго сынка Мыльникова; но, замѣтивъ, что его не слушаютъ, и почувствовавъ неловкость, незамѣтно удалился.

ГЛАВА VI.

Въ послѣдніе дни передъ свадьбою сестра моего товарища почти не оставляла ни на минуту своей подруги. «Я боюсь за нее,—говорила она мнѣ,—она не перенесетъ этого. Меня пугаетъ ея наружное спокойствіе. Она какъ-будто примирилась съ своимъ положеніемъ, но это не примиреніе, а равнодушіе отчаянія. Я вздумала было говорить ей обыкновенныя утѣшительныя пошлости и увѣрять ее, что въ ея женихѣ, кажется, есть много хорошихъ сторонъ, что она своимъ вліяніемъ на него можетъ со временемъ развить эти стороны и отвлечь его отъ дурного общества, въ которомъ онъ находится, но она остановила меня. «Бога ради!»—сказала она,—«не говори того, чему ты сама не вѣришь. Я прошу тебя только объ одномъ: не оставляй меня. Безъ тебя я съ ума сойду!»—И она бросилась ко

мнѣ на грудь. «Господи! если бы я могла хоть плакать»,— прибавила она,—«мнѣ все-таки было бы легче». Я не выдержала и высказала все ея отцу; но онъ отвѣчалъ мнѣ на это:—«Нѣтъ, матушка, вы ужъ пожалуйста не сбивайте ее съ толку. Ужъ это наше дѣло, все это пустяки, все обладится. Вы ужъ, сударыня, не безпокойтесь понапрасну».

Наканунѣ свадьбы мы съ товарищемъ моимъ сговорились вмѣстѣ ѣхать въ церковь. Онъ былъ въ числѣ приглашенныхъ, но не желалъ воспользоваться этимъ приглашеніемъ. Онъ хотѣлъ присутствовать на этой церемоніи не офиціально, а тайно.

— Это зрѣлище,—говорилъ онъ,—плачевное; но, я самъ не знаю отчего, меня такъ и тянетъ посмотрѣть на него.

Въ восемь часовъ вечера мы вошли въ церковь. Она была ярко освѣщена, всѣ свѣчи въ люстрѣ и паникадилахъ были зажжены, какъ въ дни великихъ торжествъ. Отъ самой паперти тянулся широкій коверъ. По обѣимъ сторонамъ поставлены были перилы, которыя отдѣляли обычныхъ и любопытныхъ свадебныхъ зрителей и зрительницъ отъ приглашенныхъ. На клиросѣ толпился большой хоръ пѣвчихъ въ парадныхъ кафтанахъ съ галунами, кистями и откидными рукавами. Женихъ съ своими родственниками и пріятелями были уже въ церкви и ожидали невѣсту. Впереди всѣхъ стоялъ старикъ Пивоваровъ въ сюртукѣ съ гербовыми пуговицами, во всѣхъ медаляхъ и орденахъ, въ бѣломъ галстукѣ и въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ, которыя надѣвалъ онъ можетъ быть разъ пять или шесть въ своей жизни, въ самые торжественные случаи. Лицо его сіяло удовольствіемъ. Черезъ нѣсколько минутъ должна была осуществиться самая любимая мечта его. Онъ разговаривалъ съ какимъ-то генераломъ въ золотыхъ галунахъ, въ лентѣ и съ двумя звѣздами.

Женихъ въ бѣломъ галстукѣ съ большимъ бантомъ, въ бѣломъ жилетѣ, на которомъ блестѣла цѣпочка съ кучею брелоковъ, и въ палевыхъ перчаткахъ, безукоризненно обтягивавшихъ его руки, разговаривалъ съ своими пріятелями:

Иваномъ Петровичемъ и купеческимъ сынкомъ Мыльниковымъ, который стоялъ неподвижно. улыбаясь, и съ трудомъ поворачивалъ свою завитую голову въ сторону, боясь, вѣроятно, измять свои брыжжи; жидъ-факторъ, по своему обыкновенію, выставлялъ голову впередъ, скалилъ зубы и безпрестанно поворачивалъ голову изъ стороны въ сторону, какъ бы обнюхивая носомъ кругомъ себя; Иванъ Петровичъ съ умиленіемъ поглядывалъ то на дѣдушку, то на внучка, то на генерала въ лентѣ; на послѣдняго съ чувствомъ благоговѣйнаго удовольствія, какъ-будто, глядя на него, онъ думалъ: «знай нашихъ! вотъ какіе у насъ пріятели!»

Вдругъ во всей толпѣ, наполнявшей церковь, обнаружилось движеніе, всѣ головы обернулись къ дверямъ, пронесся всеобщій шопотъ: «невѣста! невѣста!» и хоръ грянулъ концертъ. Товарищъ мой вздрогнулъ и поднялся па цыпочки, чтобъ лучше видѣть...

Я увидѣлъ невѣсту въ ту минуту, когда она уже стояла рядомъ съ женихомъ. Передъ этимъ я давно не видалъ ее. Мнѣ показалось что она нѣсколько похудѣла. Вглядываясь въ нее пристальнѣе, я замѣтилъ, что она стояла совершенно безъ всякаго движенія, что даже ни одинъ мускулъ на лицѣ ея не шевелился и вѣки были полуопущены, точно какъ-будто она замерла въ такомъ положеніи.

— Посмотрите-ка, Пелагея Ивановна, — говорила сзади меня какая-то барыня, толкая подъ руку другую, — что это такое: въ невѣстѣ-то ни кровинки, точно какъ не живая стоитъ, ей Богу!

— Да, да! а женихъ-то очень недуренъ, очень!—возразила Пелагея Ивановна,—вѣдь, милліонщики, говорятъ, и онъ, и она.

— Ужъ это всегда такъ, матушка, богатые къ богатымъ и льнутъ...

— А посмотрите, посмотрите, что это женихъ-то какъбудто пошатывается!—перебила Пелагея Ивановна.

Я взглянулъ на него, и мнѣ точно показалось, что онъ... не то, чтобы пошатывался, а въ корпусѣ его обнаружива-

лись по временамъ какія-то неестественныя движенія и лицо его было какъ-то ужъ очень красно, составляя рѣшительный контрастъ съ лицомъ его невѣсты. Въ эту минуту Иванъ Петровичъ, стоявшій впереди насъ за перилами, обратился къ какому-то господину, стоявшему съ нимъ рядомъ, и, улыбаясь, сказалъ:

— А вѣдь *нашъ* немножко... того, — и при этомъ онъ щелкнулъ по своему бѣлому галстуку,—онъ, знаешь, передъ самымъ отъѣздомъ для куражу одинъ хватилъ цѣлую *сулеечку*.

— Что ты!

— Ей Богу!—подтвердилъ Иванъ Петровичъ,—нельзя же, надо, знаешь, кровь привести въ движеніе: вѣдь сегодня намъ трудовъ-то будетъ много!

И они оба засмѣялись.

— Вотъ ужъ это свадьба, такъ свадьба!—начала сзади меня Пелагея Ивановна,—какіе пѣвчіе—чудо! а у діакона-то какой голосъ.

Дѣйствительно, діаконъ былъ замѣчательный! по крайней мѣрѣ мнѣ не удавалось слышать такого. Его глухой и густой басъ гремѣлъ, какъ раскаты грома, подъ церковными сводами и, казалось, заставлялъ дребезжать стекла въ оконныхъ рамахъ. Протопопъ, благочестивой наружности съ клинообразной сѣдой бородкой, напротивъ, имѣлъ голосъ мягкій, нѣжный и едва слышный... Ихъ блестящія ризы, яркое освѣщеніе церкви, хоръ нарядныхъ пѣвчихъ, генералы въ блестящихъ мундирахъ, съ лентами черезъ плечо, купчихи, усыпанныя брилліантами,—все способствовало благолѣпію, блеску и торжественности бракосочетанія.

Когда таинство совершилось, протопопъ произнесъ краткое краснорѣчивое поучительное слово къ молодымъ, и затѣмъ начались поздравленія, поцѣлуи и прочее.

Наблюдательная Пелагея Ивановна, все время не спускавшая глазъ съ молодыхъ, вскрикнула въ ту минуту, когда начались поздравленія:

— Ахъ ты Господи! Посмотрите, что это молодой-то какъ-

будто дурно... видите, видите, ее поддерживаетъ эта барышня!

Въ самомъ дѣлѣ, ее поддерживала сестра моего товарища.

Толпа любопытныхъ бросилась къ церковной паперти, чтобы поближе взглянуть на молодыхъ, когда они будутъ садиться въ карету. Товарищъ мой схватилъ меня за руку...

— Ну, довольно!—сказалъ онъ,—поѣдемъ ко мнѣ чай пить...

Мы едва пробрались сквозь толпу...

Чай уже давно стоялъ передъ нами, товарищъ мой ходилъ по комнатѣ: я лежалъ на диванѣ и курилъ сигару. Оба мы были въ какомъ-то тяжеломъ раздумьи и не произнесли еще ни одного слова.

Наконецъ товарищъ мой остановился передо мною.

— Если подумаешь, какъ глупа наша жизнь,—сказалъ онъ,—такъ, право, сдѣлается страшно!.. Вотъ, напримѣръ, возьми хоть мою жизнь... Что это такое? Я до сихъ поръ былъ совершенно слѣпцомъ, ничего не понималъ и не видѣлъ, что дѣлается передо мною, никакая серьёзная человѣческая мысль не приходила мнѣ въ голову, я никогда не задумывался ни о самомъ себѣ, ни о чемъ, окружавшемъ меня,—ѣлъ, пилъ и шутилъ полжизни! А вѣдь я не дуракъ, имѣю кое-какое образованіе, могъ бы быть на что-нибудь годнымъ,—но полжизни безсмысленно и безсознательно протолкался на свѣтѣ, безполезно для самого себя и для другихъ... чтобы заслужить отъ пошлыхъ дураковъ лестное названіе *добраго малаго, славнаго товарища*—это вѣдь ужасно!.. Я, наконецъ, дошелъ до того, что отупѣлъ совершенно, и нахожу удовольствіе въ обществѣ шутовъ, подобныхъ Ивану Петровичу, я считаю его добрымъ малымъ, точно такъ же, какъ и онъ меня въ свою очередь; между нами начинаетъ рождаться даже нѣкотораго рода симпатія. Вася Пивоваровъ считаетъ меня почти *своимъ*, я въ этомъ убѣжденъ... да что Пивоваровъ?.. Развѣ мой другъ Ртищевъ и тому подобные лучше его? Развѣ какой-нибудь великосвѣтскій, утонченный шутъ, пресмыкающійся и разстилаю-

щійся передъ всякимъ внѣшнимъ величіемъ и передъ всякою силою, самъ доползшій до богатства и почестей лестью и шуточками—лучше чѣмъ-нибудь купеческаго грубаго шута и блюдолиза Ивана Петровича? И мнѣ совѣстно, что я послѣдній разъ оскорбилъ его, онъ вѣдь все-таки беззащитный!.. конечно, онъ гадокъ и подлъ, но онъ не чувствуетъ этого, а я это вижу ясно—и пускаю его къ себѣ для своей забавы! Какое же имѣю право оскорблять его? Нѣтъ! съ каждымъ днемъ, съ каждой минутой я болѣе путаюсь въ этой жизни и мнѣ становится тяжелѣе.. Я во что бы то ни стало разомъ прерву всѣ мои прежнія связи и всѣ эти трактирныя и другія нелѣпыя знакомства. Я ужъ одержалъ побѣду надъ собою,—поздравь меня,—я не велѣлъ пускать къ себѣ Ивана Петровича и еще нѣкоторыхъ господъ гораздо повыше его... Глядя сегодня на этихъ тупыхъ, безсмысленныхъ и толстыхъ женщинъ съ бриллiантами и съ черными зубами, на этихъ бородатыхъ самодуровъ, налитыхъ чаемъ, на этого расфранченнаго жениха, полупьянаго дикаря въ костюмѣ англійскаго денди, и представляя себѣ будущую картину его супружеской жизни и страданій, ожидающихъ эту несчастную женщину,—я задыхался отъ негодованія.. Вѣдь очень нужно было ей родиться въ такой средѣ! Впрочемъ, знаешь что?.. разсуждая хладнокровно, можетъ быть и въ другихъ средахъ участь ея была бы не легче. Много ли бы она выиграла оттого, если бы родилась княжною и должна бы была сдѣлаться, напримѣръ, женою какого-нибудь князя Ртищева?.. Такія явленія, какъ она, у насъ исключенія, а всякое исключеніе, все, что выходитъ изъ обыкновеннаго порядка вещей—обречено на гибель. Ну, способны ли мы,—скажи по совѣсти,—цѣнить эти рѣдкія, утонченныя женскія натуры,—вѣдь мы со студенческихъ скамеекъ прямо, очертя голову, бросаемся въ грязь жизни и потомъ по горло тонемъ въ ней, пресыщаясь всевозможными и даже невозможными наслажденіями; мы, люди, рождающіеся въ довольствѣ и въ обезпеченіи, не привыкшіе ни къ какимъ заботамъ, ни къ какимъ лишеніямъ, не испытавшіе никогда, что такое нужда, имѣющіе возможность

удовлетворять всѣмъ нашимъ прихотямъ—дѣлаемся, какъ «плодъ—до времени созрѣлый», ни на что негодными нравственно, растлѣнными внутри... Мы нападаемъ на Пивоварова, а въ сущности. чѣмъ Пивоваровъ хуже какого-нибудь сынка или внучка милліонера съ великолѣпными титлами и гербами? И тотъ, и другой одинаково подвергаются порчѣ еще съ отроческаго возраста и представляютъ потомъ примѣры возмутительной пустоты и безпутства. У того и другого съ раннихъ лѣтъ образуется маленькій дворъ изъ различныхъ шутовъ, льстецовъ и угодниковъ... Разница между ними та, что одинъ пустой и безпутный господинъ такъ называемаго *хорошаго тона*, а другой—дурного тона, и мы, язвительно нападая на послѣдняго, защищаемъ перваго потому только, что онъ пустъ, безпутенъ и развратенъ по всѣмъ правиламъ какого-то нелѣпаго, условнаго comme il faut. Хороши мы, нечего сказать!.. Le bon ton, la vie élégante! Видалъ я вблизи эту элегантную жизнь,—славная жизнь, нечего сказать!.. Татарская дикость одинаково скрывается и подъ элегантными формами какого-нибудь князька-милліонера, и подъ франтовскимъ костюмомъ Пивоварова или купеческаго сынка Мыльникова,—только у послѣднихъ она уже слишкомъ рѣзко бросается въ глаза.

Товарищъ мой былъ очень раздраженъ, и потому я не противорѣчилъ ему, да, признаюсь, и противорѣчить-то было нечему.

— Во всѣхъ классахъ общества, конечно, есть люди хорошіе,—продолжалъ онъ,—но если у насъ встрѣчаются люди въ полномъ и благородномъ значеніи этого слова—съ значеніемъ, съ убѣжденіемъ, съ мыслію,—серьезные, дѣльные, самостоятельные люди, такъ они выходятъ изъ тѣхъ бѣдныхъ классовъ, которые каждый шагъ въ жизни чуть не съ колыбели принуждены брать съ бою... А отъ насъ ждать, кажется. нечего... Впрочемъ, я рѣшился сдѣлать послѣднюю попытку надъ собою: побѣдить въ себѣ лѣнь, побороть пустоту и заставить себя заняться чѣмъ-нибудь серьёзно. Мнѣ давно предлагаютъ такого рода мѣсто, на которомъ я могу быть, кажется, полезенъ. И теперь мнѣ ничего болѣе не

остается, какъ отдать всего себя служебной дѣятельности. Что изъ этого выйдетъ, — я не знаю, но попробую... Какъ ты думаешь?—спросилъ онъ меня послѣ минуты молчанія.

— Это прекрасно,—отвѣчалъ я,—попробуй. Надобно же испытать самого себя. Сложить руки и цѣлый вѣкъ стонать о своемъ безсиліи, о своей неспособности,—глупо и стыдно.

— Рѣшено! Съ этой минуты я перерождаюсь!..—произнесъ онъ съ увлеченіемъ,—ты не повѣришь, какъ иногда мнѣ мучительно хочется дѣла, я ищу его—и оно, какъ кладъ, мнѣ не дается, да если бы и далось, то въ первое время я еще, мнѣ кажется, не зналъ бы. какъ за него взяться. Все-таки надобно воспользоваться первымъ предстоящимъ случаемъ, а этотъ случай—именно мѣсто, которое предлагаютъ мнѣ.

Такимъ образомъ толкуя, мы просидѣли далеко за полночь. Товарищъ мой нѣсколько развеселился и, какъ человѣкъ увлекающійся, очень много фантазировалъ о предстоящей ему служебной дѣятельности.

Когда я уходилъ отъ него, онъ, провожая меня и улыбаясь. съ грустнымъ и горькимъ юморомъ сказалъ:

— Ты скоро не узнаешь меня. Я въ самомъ дѣлѣ превращусь если не въ дѣльнаго и серьёзнаго человѣка. то въ дѣльнаго и серьёзнаго чиновника!.. А Ольга Петровна?..—прибавилъ онъ черезъ минуту, качая головою,—она ужъ жена Пивоварова!.. Чортъ знаетъ, къ этой мысли нѣтъ возможности привыкнуть!.. Ну, прощай! до свиданія...

Онъ какъ-то быстро и круто повернулся и захлопнулъ дверью.

ГЛАВА VII.

Первое время послѣ женитьбы я очень часто видѣлъ Пивоварова въ ложѣ итальянской оперы, и всякій разъ въ этой ложѣ появлялся князь Ртищевъ и просиживалъ тамъ очень долго. Хозяинъ ложи предоставлялъ ему обыкновенно

мѣсто впереди возлѣ своей жены, а самъ садился сзади, очень довольный тѣмъ, что весь Петербургъ видитъ, какъ онъ близокъ съ княземъ. Объ этой близости его съ княземъ Петербургъ точно начиналъ поговаривать очень громко. Разныя значительныя лица при встрѣчѣ съ княземъ, благосклонно улыбаясь, спрашивали его:—Ну что, любезный другъ, какъ дѣла идутъ—хорошо? и князь, почтительно наклонивъ голову, какъ-будто не понимая вопроса, возражалъ, улыбаясь:

— Какія дѣла?—стараясь смягчить нѣсколько свой густой басъ передъ значительными лицами.

— Еще прикидывается!—замѣчали благосклонно значительныя лица,—а! каковъ?.. А вотъ мы насплетничаемъ на тебя твоей женѣ...

Я забылъ сказать, что князь уже давно былъ женатъ и даже былъ отецъ семейства.

— Не безпокойся, любезный другъ,—продолжали значительныя лица,—мы постараемся быть скромными, а у тебя вкусъ недуренъ, надо отдать тебѣ справедливость. C'est une très jolie femme et tout à fait distinguée... Откуда взялась этакая изъ купчихъ! это странно!..

Однажды я сидѣлъ въ оперѣ рядомъ съ моимъ товарищемъ. Впереди насъ вертѣлся въ антрактѣ изнѣженный офицерикъ-фатъ, тотъ самый, съ которымъ мы обѣдали нѣкогда въ ресторанѣ. Онъ разговаривалъ съ какимъ-то штатскимъ фатомъ.

— Une jolie personne!—говорилъ, ломаясь, штатскій, смотря въ бинокль на ложу Пивоварова,—кто это такая?

— Гдѣ?—спросилъ офицерикъ.

— Вотъ эта дама, въ ложѣ у которой князь Ртищевъ.

— А-а!.. какъ-будто ты не знаешь? Это жена Пивоварова. Ртищевъ въ связи съ нею: это ужъ весь городъ знаетъ.

Товарищъ мой поблѣднѣлъ.

— Я тебѣ не совѣтую повторять этого,—сказалъ онъ, обращаясь къ офицерику,—это ложь самая глупая, нелѣпая и безстыдная, и если бы я услышалъ это отъ самого

Ртищева, я и ему сказалъ бы, что онъ лжецъ и хвастунъ. Во всякомъ случаѣ, распространять мерзкія городскія сплетни и позорить женщину—неблагородно.

— Mais pardon, pardon!—забормоталъ офицеръ,—я говорю то, что всѣ; можетъ быть это и несправедливо, но...

— Но,—перебилъ мой товарищъ,—я этого не позволю никому говорить при мнѣ, потому что я знаю эту женщину и вполнѣ убѣжденъ, что это клевета.

Смущенный офицерикъ повертѣлся, пробормоталъ еще нѣсколько pardon и удалился.

— Скажите пожалуйста, что это сдѣлалось съ Сашей?—сказалъ онъ мнѣ, останавливая меня при выходѣ изъ театра.—изъ веселаго, добраго малаго онъ превратился въ какого-то мрачнаго чудака, избѣгаетъ порядочнаго общества, удаляется отъ всѣхъ насъ, придирается къ каждому слову, говоритъ непріятныя вещи... Вы понимаете, что если бы не наша старая связь, не эта короткость, которая всегда существовала между нами,—я не позволилъ бы ему говорить мнѣ такъ рѣзко и еще при другихъ! Я ему прощаю только потому, что я все-таки люблю его, что онъ нашъ старый пріятель... Вы понимаете...

— Понимаю,—отвѣчалъ я. «Нѣтъ, ты простилъ бы всякому, любезный другъ,—подумалъ я—потому что ты жалкій, изнѣженный франтъ и трусъ»...

Впрочемъ, не одинъ этотъ офицеръ, а многіе изъ прежнихъ пріятелей моего товарища начинали отзываться о немъ неблагосклонно. Изъ этого я заключилъ, что онъ не шутя дѣлается серьезнѣе. Онъ занялъ то мѣсто, о которомъ говорилъ мнѣ, и отдался своему новому служебному поприщу съ жаромъ и увлеченіемъ, по сознанію самыхъ дѣльныхъ изъ своихъ сослуживцевъ. Къ изумленію не только своихъ прежнихъ пріятелей, но вообще всѣхъ обычныхъ посѣтителей публичныхъ увеселеній, между которыми онъ пользовался большою популярностью, онъ пересталъ появляться въ театрахъ, въ маскарадахъ, въ ресторанахъ и на увеселительныхъ сходбищахъ. Сожалѣніе и удивленіе его прежнихъ пріятелей скоро перешло въ равнодушіе и наконецъ почти

въ презрѣнье къ нему.—«Онъ сдѣлался совсѣмъ чиновникомъ», говорили о немъ эти господа съ гримасой.

Толки о женѣ внука милліонера и о князѣ Ртищевѣ скоро прекратились, потому что князь вдругъ неизвѣстно почему перестаkъ ѣздить къ Пивоваровымъ. Такъ какъ жизнь нашего общества состоитъ по большей части изъ самыхъ мелкихъ интересовъ и сплетенъ, то всякое мельчайшее происшествіе съ извѣстнымъ лицомъ становится въ преувеличенныхъ размѣрахъ общимъ достояніемъ и предается различнымъ толкованіямъ, — одни говорили, что князь Ртищевъ перестаkъ волочиться за женою Пивоварова потому, что она ему надоѣла; другіе, напротивъ, увѣряли, что онъ удалился отъ нея потому, что потерялъ терпѣніе и всякую надежду на успѣхъ...

Говорятъ, что первый годъ внучекъ милліонера держалъ себя относительно своей жены довольно прилично, отчасти потому, что о красотѣ ея прокричали во всѣхъ слояхъ петербургскаго общества — слѣдовательно, она удовлетворяла его тщеславію; отчасти потому, что дѣдушка объявилъ ему рѣшительно, что если женатымъ онъ не станетъ вести себя какъ слѣдуетъ и попрежнему будетъ предаваться *дебоширству*, то онъ лишитъ его наслѣдства.

Но дѣдушка черезъ полтора года послѣ бракосочетанія внука скончался, а вскорѣ за нимъ послѣдовалъ и тесть молодого Пивоварова — отецъ Ольги Петровны. Василій Прохорычъ сдѣлался полнымъ властелиномъ милліоновъ, которые такъ давно издалека улыбались ему, и кромѣ того жена его получила, какъ говорили, послѣ отца до милліона.

Долго послѣ этого слухи о богатствѣ Пивоварова, по обыкновенію въ размѣрахъ преувеличенныхъ и колоссальныхъ, занимали любознательные петербургскіе умы. Имя его сдѣлалось извѣстно всѣмъ въ Петербургѣ, отъ самаго знатнаго сановника до самаго бѣднаго чиновника. При встрѣчѣ съ нимъ многіе невольно останавливались и съ любопытствомъ, какъ чудо, разсматривали его съ ногъ до головы. Василій Прохорычъ при этомъ подавалъ постоянную пищу празднымъ петербургскимъ умамъ, которые сочиняли о немъ

удивительные анекдоты и даже цѣлыя легенды, содержанія совершенно баснословнаго...

Василій Прохорычъ, послѣ смерти дѣдушки, началъ съ того, что разломалъ его старинный домъ, прикупилъ къ нему мѣсто за большія деньги и возвелъ огромное зданіе съ каріатидами, статуями, вазами, гирляндами и другими архитектурными украшеніями, во вкусѣ Растрелли; вставилъ въ оконныя рамы цѣльныя зеркальныя стекла; меблировалъ внутри съ неслыханною роскошью: наставилъ на мраморные подоконники у каждаго окна банановъ и другихъ тропическихъ растеній, вездѣ пустилъ шелки, бархаты, тюли; не пощадилъ мрамора, бронзы и, наконецъ, чтобы ни въ чемъ не уступить своему сопернику по богатству Мавроконаки, развѣсилъ на всѣхъ стѣнахъ картины извѣстныхъ современныхъ живописцевъ, въ дорогихъ рѣзныхъ рамахъ, несмотря на то, что къ живописи не чувствовалъ ни малѣйшаго расположенія. Картины свои онъ пріобрѣлъ оригинально. Онъ пріѣхалъ однажды къ Нигри — извѣстному въ Петербургѣ продавцу картинъ и другихъ художественныхъ вещей (Нигри самъ потомъ съ глубокимъ чувствомъ благодарности, смѣшаннымъ съ ироніею, разсказывалъ мнѣ объ этомъ).

— Ну, говоритъ, мосье Нигри, — мнѣ нужны для моего новаго дома самыя лучшія картины первыхъ иностранныхъ мастеровъ и побольше; если у васъ, говоритъ, недостанетъ, такъ вы мнѣ ихъ выпишите. Я денегъ не пожалѣю, только лишь бы были самыя лучшія. Я полагаюсь вполнѣ на васъ.

Нигри привезъ ему до тридцати картинъ Кукуковъ, Каламовъ, Маду, Рокеплановъ, Деканъ и другихъ самыхъ громкихъ именъ между современными французскими и бельгійскими живописцами.

— Извольте, говоритъ, выбирать, это все *шедёвры*.

Картины разставили въ большой бальной залѣ.

Василій Прохорычъ прошелся по залѣ, бросилъ бѣглый взглядъ на картины и потомъ обратился къ Нигри.

— Славныя, говоритъ, картины, а что, видѣлъ ли ихъ Мавроконаки?

— Какъ же! Онъ мнѣ за одного Калама давалъ пять ты-

сячъ рублей, да я ему сказалъ, что эти картины выписаны для васъ...

— Гм... Василій Прохорычъ пріятно улыбнулся. — Ну, а сколько онѣ всѣ стоятъ? Говорите только крайнюю цѣну.

— Шестьдесятъ пять тысячъ. — отвѣчалъ Нигри, призадумавшись немного. — и то только въ такомъ случаѣ, если вы купите разомъ всѣ.

— Уступите. говоритъ, что-нибудь.

— Тысячу рублей я, пожалуй, уступлю для васъ, но болѣе ни копейки.

— Ну. такъ, говоритъ, по рукамъ, мосье Нигри. Картины всѣ за мною.

И затѣмъ онъ повелъ Нигри въ свой кабинетъ и отсчиталъ ему шестьдесятъ четыре тысячи рублей.

— Я, — прибавилъ мнѣ Нигри въ заключеніе. — больше тридцати лѣтъ торгую картинами, но такой случай со мной былъ первый разъ въ моей жизни. На такую сумму вдругъ не всегда въ жизни удастся продать. Когда онъ сказалъ мнѣ, что онъ оставляетъ всѣ картины за собою, у меня дрожь пробѣжала по тѣлу, а когда онъ вынулъ деньги, такъ у меня даже въ глазахъ помутилось. Вотъ каковъ г. Пивоваровъ! Это рѣдкій, великодушный человѣкъ!..

При этомъ разсказѣ въ глазахъ г. Нигри дрожали слезы — и немудрено.

Второй подвигъ Пивоварова былъ — пріобрѣтеніе дачи, принадлежащей князю А. Устройство этой дачи стоило ему также огромныхъ денегъ. Его оранжереи, сады и парки приводили въ свое время въ справедливое изумленіе весь Петербургъ.

Тщеславіе милліонера разрасталось все болѣе и болѣе. Онъ, говорятъ, скупалъ у портныхъ цѣлыя груды модныхъ матерій для себя, чтобы ни у кого въ Петербургѣ не было такихъ платьевъ, панталонъ и жилетовъ, какъ у него; подковывалъ рысаковъ своихъ серебряными подковами; угощалъ зимой свѣжими ягодами и другими рѣдкостями военныхъ и статскихъ генераловъ, которые, объѣдаясь на его обѣдахъ, смотрѣли на него съ чувствомъ глубочайшей при-

знательности и умиленія, и послѣ обѣда за ликерами, забывая свое величіе и свой санъ, прижимали его къ своей сіяющей груди съ отцовскою нѣжностью.

— Вотъ человѣкъ, который умѣетъ пользоваться своимъ богатствомъ, — говорили они.

Но на этихъ банкетахъ съ генералами, льстившихъ его тщеславію, онъ не могъ развертываться вполнѣ; они даже нѣсколько утомляли и тяготили его... и онъ отдыхалъ отъ нихъ по вечерамъ въ обществѣ людей своихъ, близкихъ, къ которымъ неизмѣнно принадлежали: Иванъ Петровичъ, купеческій сынокъ Мыльниковъ, жидъ-факторъ, биржевой маклеръ, и къ которымъ вновь присоединились: актеръ, воспѣвавшій его въ застольныхъ куплетахъ, и капельмейстеръ какого-то театра, посвящавшій ему свои кадрили и польки. На этихъ задушевныхъ сборищахъ выпивалось несмѣтное количество такъ-называемыхъ *сулеечекъ*, и русскій широкій разгулъ доходилъ до послѣднихъ предѣловъ. Всѣ задушевные пріятели Василія Прохорыча не терпѣли его жены и даже до нѣкоторой степени боялись ее, — вѣроятно потому, что она держала себя отъ нихъ далеко и обращалась съ ними холодно, чувствуя въ свою очередь нѣкоторую боязнь къ нимъ. Почетные гости Василія Прохорыча—военные и штатскіе генералы — не обнаруживали также къ ней большого расположенія. Они отзывались о ней, какъ о женщинѣ сухой и холодной. И самъ Василій Прохорычъ явно начиналъ ощущать при ней какую-то неловкость; она стѣсняла его порывы и невольно останавливала его размашистость. Отъ этого онъ старался держать себя какъ можно подальше отъ нея. Все это можно было безошибочно вывести изъ различныхъ толковъ и слуховъ, особенно же изъ словъ Ивана Петровича, который всякій разъ при встрѣчѣ со мною считалъ необходимымъ подходить ко мнѣ и заводить со мною бесѣду.

— Наша Ольга Петровна, — говорилъ онъ, — прекрасная дама, только ужъ такая серьезная, строгая, что Боже упаси. У, какая бѣдовая! Ни шуточкой ее не разсмѣшишь и никакимъ этакимъ манеромъ къ ней не подъѣдешь. Такая, знаете, *не тронь меня*, и неразговорчивая, все больше лю-

битъ уединеніе и книжки читаетъ. А ужъ насчетъ того, чтобы этакъ расположеніе кому обнаружить глазками или улыбкой — куда!.. На что князь Ртищевъ ужъ молодецъ! онъ какъ, знаете, подъѣзжалъ къ намъ, — да нѣтъ, съ тѣмъ и отъѣхалъ. Взятки-то съ насъ гладки! Такая, я вамъ скажу, добродѣтель, что въ нашемъ сословіи, то-есть въ богатомъ купечествѣ, — я ужъ ихъ всѣхъ, голубушекъ-то, знаю! — такой еще, кажется, и не бывало. Ей Богу! Точно есть такія, что очень важно и строго себя держатъ, — а противъ какого-нибудь князя съ аксельбантами да съ саблей ни одна, ужъ я вамъ доложу, не устоитъ... Что и говорить, Ольга Петровна — это рѣдкостная дама!.. Что касается до добродѣтели, то такую другую. конечно, и днемъ съ огнемъ не отыщешь, только ужъ никакой веселости, точно какъ въ воду опущенная, ничто ее не занимаетъ, на все смотритъ — на дорогія тысячныя вещи, какъ на грошевыя, и ласки ни за что не дождешься отъ нея, а вы сами изволите знать, что ласковая телятка двѣ матки сосетъ. Нашему-то, натурально, и хочется иногда, чтобы она приласкала его. Привезетъ онъ ей какую-нибудь шаль, тысячъ въ пять серебромъ, или этакой эсклаважъ какой-нибудь, который горитъ какъ солнце, — хоть бы когда-нибудь за щеку что ли потрепала его или поцѣловала, сказала бы: «мерси, душка!» — ни за что, все твердитъ одно и то же: «Зачѣмъ мнѣ это? На что это мнѣ?» Ну это ужъ, какъ хотите, обидно, такимъ обращеніемъ, воля ваша, не привяжешь къ себѣ. Немудрено послѣ этого, если мы будемъ и на сторонку поглядывать, да другимъ домкомъ заживемъ-съ. За это и винить насъ нельзя будетъ... Да вотъ хоть бы, примѣрно, мы хотѣли балы давать,—вѣдь этакой домище, залы какія! само собой разумѣется, что хочешь щегольнуть ими, зимній садъ освѣтили бы, фонтаны пустили бы, — весь Петербургъ ахнулъ бы, да нѣтъ-съ, куда!.. Ольга Петровна и слышать не хочетъ, а вѣдь безъ хозяйки какой же балъ! И на наши званые-то обѣды она выходитъ какъ-будто нехотя, изъ одного только приличія, а не то, чтобы занять гостей, обласкать, полюбезничать, какъ слѣдуетъ хозяйкѣ, а гости-то какіе, Господи!

первѣйшій генералитетъ, звѣздъ-то у насъ за обѣдами, какъ въ темную ночь на небѣ... Мыльниковъ, тотъ иногда, знаете, спросту брякнетъ,—такъ онъ разъ сказалъ про нее, не въ коня, говоритъ, кормъ. И дамы наши тоже ее не жалуютъ, никуда вѣдь ѣздить не хочетъ, только и дружбу ведетъ, что съ сестрицей Александра Григорьича... Я, впрочемъ, очень уважаю Ольгу Петровну — прекраснѣйшая дама, умная, — добрая такая, а ужъ это, видно, такой характеръ...

Каждый разъ Иванъ Петровичъ заводилъ, между прочимъ, рѣчь о моемъ товарищѣ.

— Какъ ихъ здоровье? — спрашивалъ онъ, — давно не имѣлъ счастія ихъ видѣть, ихъ теперь никогда и застать нельзя. Сдѣлались важными, дѣловыми людьми, въ министры смотрятъ, — такъ ужъ нашему брату развѣ только издалека на нихъ посмотрѣть можно!..

ГЛАВА VIII.

Послѣ смерти дѣдушки внукъ милліонера совсѣмъ почти не появлялся въ публику со своею женою. Онъ на театрахъ и на гуляньяхъ былъ постоянно съ Иваномъ Петровичемъ, который поотекъ, постарѣлъ и посѣдѣлъ нѣсколько, но оставался попрежнему шутникомъ и забавникомъ. Василій Прохорычъ также замѣтно измѣнился. Онъ значительно пополнѣлъ, и въ лицѣ его обнаружилась какая-то не совсѣмъ пріятная пухлость и краснота. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ посѣтителей балета и сидѣлъ обыкновенно съ Иваномъ Петровичемъ въ первомъ ряду на абонированныхъ креслахъ, изрѣдка только, вѣроятно для разнообразія, появляясь въ литерной ложѣ вмѣстѣ со своей обычной компаніей — и тогда изъ этой ложи раздавались громы рукоплесканій одной изъ хорошенькихъ корифеекъ и къ ногамъ ея сыпались дорогіе букеты. Когда мнѣ случалось бывать въ балетѣ, я замѣтилъ, что всѣхъ больше выходили изъ себя, кричали и аплодировали при ея появленіи на сцену Иванъ Петровичъ и жидъ-факторъ.

Такъ прошло года два...

На петербургской сценѣ, предшествуемая громкой репутацiей, появилась танцовщица уже не первой легкости и молодости, но съ съ роскошными, пластическими формами и съ остатками грацiи, которой нѣсколько вредила излишняя полнота. Несмотря на всѣ ухищренiя, принятыя противъ нея поклонниками юныхъ отечественныхъ талантовъ, прiѣзжая танцовщица имѣла успѣхъ блистательный и заняла свѣтскiе петербургскiе умы по крайней мѣрѣ недѣли на двѣ. Ее окружали всѣ извѣстные въ Петербургѣ любители хореографическаго искусства и пластическихъ формъ—и одинъ изъ почетныхъ петербургскихъ старцевъ, семидесятилѣтнiй театралъ, раздававшiй вѣнки славы всѣмъ наѣздницамъ, актрисамъ и танцовщицамъ, торжественно объявилъ, что если она не выше Тальони и Эльслеръ, то въ своемъ родѣ не уступитъ ни одной изъ нихъ; что она соединяетъ въ себѣ легкость и грацiю Тальони съ выразительною мимикой и пластичностью Эльслеръ. Почтенный старецъ-театралъ составилъ около себя клику изъ горячихъ молодыхъ людей, неутомимыхъ крикуновъ и хлопальщиковъ и руководилъ ими. Прiѣзжая танцовщица безъ поддержки почтеннаго старца не могла бы, конечно, имѣть такого блистательнаго успѣха, она знала это и награждала его самымъ кокетливымъ вниманiемъ и ласкала своей пухлой, бѣлой ручкой съ драгоцѣнными кольцами на пальцѣ его морщинистыя щеки,—а онъ, глядя на нее, замиралъ отъ умиленiя, отчего нижняя губа его почти совсѣмъ отваливалась...

Во главѣ ея поклонниковъ, во второй же ея дебютъ, явился внучекъ миллiонера въ литерной ложѣ со всей компанiей и съ возомъ букетовъ. Корифейкѣ, которую онъ протежировалъ, нанесенъ былъ въ этотъ вечеръ ударъ неожиданный и страшный. Она вертѣлась, прыгала и дѣлала пируэты, такъ что потъ градомъ катился съ ея личика, и въ заключенiе подскакивала къ рампѣ и, останавливаясь передъ нею, тщетно улыбалась благосклонной публикѣ, вызывая этой милой улыбкой ея одобренiя... ни одного звука, похожаго на аплодисментъ, не раздалось въ этомъ беззвучномъ партерѣ, ко-

торый еще съ недѣлю назадъ тому восторженно привѣтствовалъ ея появленія. Бѣдная дѣвочка въ тоскливомъ предчувствіи чего-то недобраго, выправляя носки за кулисами, залилась горячими слезами.

Но когда во второмъ актѣ балета пріѣзжая танцовщица, въ три прыжка перелетѣвъ сцену, закружилась у рампы и потомъ упала на руки танцора, поднявъ очень высоко правую ножку и принявъ неописанно-граціозную и соблазнительную позу, когда громъ рукоплесканій раздался по залѣ, а изъ литерной ложи раздались дикіе, неистовые крики: Bravo! Bravo!.. и посыпались на сцену гирлянды и букеты, которые, казалось, готовы были затопить сцену, какъ во время Неронова пиршества, описаннаго г. Меемъ, и изумленные зрители обратились къ цвѣточной ложѣ, — несчастная корифейка, видѣвшая все это, поняла, что участь ея рѣшена, и чуть не упала въ обморокъ.

Въ слѣдующемъ за тѣмъ антрактѣ Василій Прохорычъ въ бѣломъ галстукѣ, самодовольный и гордый, появился въ партерѣ... Почетный и почтенный старецъ-театралъ съ глубокимъ чувствомъ пожалъ ему руку, назвалъ его *просвѣщеннымъ любителемъ благороднаго хореографическаго искусства* и замѣтилъ, что этотъ вечеръ навсегда останется памятнымъ въ *театральныхъ лѣтописяхъ*.

Послѣ этого онъ даже удостоилъ пригласить Василія Прохорыча къ себѣ на обѣдъ въ честь пріѣзжей знаменитости.

Обѣдъ этотъ могъ назваться баснословнымъ по роскоши. При окончаніи его, провозгласивъ тостъ пріѣзжей знаменитости, маститый хозяинъ-театралъ торжественно преклонилъ передъ нею свои старческія, трудно сгибавшіяся колѣни..

Съ этого дня почетный старецъ принялъ внука милліонера подъ свое высокое покровительство, и вскорѣ затѣмъ пронесся въ городѣ слухъ, что внукъ милліонера нанялъ для пріѣзжей знаменитости квартиру въ одной изъ лучшихъ частей города и великолѣпно меблировалъ ее. Пріѣзжая знаменитость начала появляться на Невскомъ проспектѣ въ ослѣпительномъ блескѣ и въ поражающей роскоши, что отчасти еще болѣе способствовало ея сценическимъ успѣ-

хамъ. Безусые офицеры и штатскіе франты начали сходить отъ нея съ ума, и всякій разъ провожали ее на театральномъ подъѣздѣ, послѣ представленія, съ криками, и когда однажды, тронутая такимъ энтузіазмомъ своихъ поклонниковъ, она бросила имъ изъ кареты свой платокъ, они растерзали его на части, чтобы имѣть каждому хоть по маленькому лоскутку этой драгоцѣнности, и носили его потомъ на груди, зашивъ въ ладонку. Близкія сношенія внука милліонера съ пріѣзжею знаменитостью возвысили его значительно въ глазахъ многихъ петербургскихъ господъ; тѣ, которые прежде не хотѣли смотрѣть на него, начинали даже заискивать его знакомства... Это была самая блестящая минута его жизни; но въ то время, какъ нравственный кредитъ его подняли до такой высоты, его денежный кредитъ началъ пошатываться. Со смерти своего дѣдушки онъ почти прекратилъ всѣ коммерческія дѣла и, какъ носились слухи, значительно тронулъ свои капиталы: на покупку домовъ и дачъ, на постройку новыхъ зданій, меблировку и прочее, и прочее; при этомъ говорили, что передъ своими короткими сношеніями съ пріѣзжею знаменитостью онъ долженъ былъ внести предварительно на ея имя въ какое-то кредитное учрежденіе до 300,000 руб. серебромъ.

Пріѣзжая знаменитость, какъ оказалось впослѣдствіи, отличалась твердостью, настойчивостью и необыкновенною жадностью къ деньгамъ и бриліантамъ. Она въ домашней своей жизни была настоящая *Катарина, дочь разбойника*, и не имѣла ничего общаго съ Сильфидами, Ундинами, Жизелями и со всѣми этими восхитительными воздушными и идеальными существами, которыхъ она такъ прекрасно олицетворяла на сценѣ. Положительность и расчетливость руководили всѣми ея поступками въ жизни. Она выписала изъ-за границы мать, двухъ братьевъ, которыхъ пристроила въ циркъ, и еще какого-то француза-*кузена*, молодого и рослаго малаго, съ курчавыми, густыми волосами, съ большими усами, съ самодовольными и вполнѣ беззастѣнчивыми манерами, которому она отдѣлила двѣ комнаты въ своей квартирѣ... Вся эта орда содержалась, разумѣется, на счетъ Ва-

силія Прохорыча, а у кузена завелись даже собственные экипажи.

Кузенъ, говорятъ, производилъ очень непріятное впечатлѣніе на Василья Прохорыча. Его свободное обращеніе съ кузиной возбуждало въ Васильѣ Прохорычѣ чувство ревности — и онъ однажды рѣшился требовать, чтобы кузена отправили назадъ за границу, но это требованіе возбудило такую страшную бурю, послѣ которой онъ ужъ окончательно и безусловно притихъ и подчинился новопріѣзжей знаменитости, убѣдясь, что съ знаменитостями нельзя обращаться, какъ съ обыкновенными женщинами, съ какими-нибудь Луизами, корифейками и имъ подобными.

Увѣряли, что во время этой бури разбитъ былъ, между прочимъ, вдребезги превосходный севрскій сервизъ, стоившій рублей семьсотъ, который былъ поднесенъ Василіемъ Прохорычемъ пріѣзжей знаменитости въ день ея рожденія.

— Вы думаете, что я дорожу этой дрянью, которую вы дарите мнѣ? — кричала она, принявъ угрожающую, трагическую позу...

И при этомъ драгоцѣнный сервизъ вмѣстѣ со столикомъ изъ розоваго дерева, съ фарфоровыми медальонами во вкусѣ Буше, полетѣлъ съ громомъ къ ногамъ несчастнаго обожателя, и черепки Севра разлетѣлись по комнатѣ...

— Vous êtes barbare! un monstre! un cosaque!.., Я не могу жить съ вами болѣе ни минуты... Я не хочу болѣе видѣть васъ! и прочее.

Василій Прохорычъ при мысли, что пріѣзжая знаменитость броситъ его, совершенно потерялся и упалъ передъ нею на колѣни, вымаливая прощенія за свои дерзкія слова; но прощеніе послѣдовало только тогда, когда поднесены были новые дорогіе сюрпризы и подарки. И такія сцены повторялись безпрестанно... Братья пріѣзжей знаменитости — также знаменитый эквилибристъ и клоунъ и не менѣе знаменитый наѣздникъ, разсыпавшіе въ разговорѣ черезъ слово: Fichtre, parbleu, morbleu, diantre и другія еще болѣе энергическія восклицанія, вмѣстѣ съ кузеномъ распоряжались самовластно въ домѣ своей родственницы, угощали своихъ прія-

телей обѣдами и ужинами, распивали шампанское съ утра до ночи, метали ланскене, до котораго сама знаменитость была величайшая охотница, и кромѣ всего еще обыгрывали Василія Прохорыча на значительныя суммы...

Одинъ изъ старинныхъ знакомыхъ Василія Прохорыча, извѣстный петербургскій аферистъ и ростовщикъ, родившійся, если я не ошибаюсь, отъ молдавана и мордовки, что-то въ родѣ этого, съ необыкновеннымъ добродушіемъ разсказывалъ однажды при мнѣ на русскомъ языкѣ, съ какимъ-то страннымъ акцентомъ, о томъ, какъ онъ угощалъ у себя обѣдомъ пріѣзжую знаменитость съ братцами и Василія Прохорыча. Я передамъ только одну сущность этого неподражаемаго разсказа.

— Василій Прохорычъ, говорю я имъ (и во все время разсказа ростовщикъ улыбался съ хитростью и изрѣдка подмигивалъ однимъ глазомъ), — мнѣ бы очень хотѣлось угостить вашу даму. Пріятная дама. Ухъ, какой глазъ! а какъ ножками работаетъ — Боже мой!.. Если бъ она сдѣлала мнѣ такую честь, я счастливѣйшій въ мірѣ былъ бы человѣкъ!.. А мнѣ ее, видите, больно хотѣлось заманить потому, что вотъ какое обстоятельство: Василій Прохорычъ привелъ меня къ ней, отрекомендовалъ, я къ ручкѣ подошелъ и обѣдалъ у нее — все какъ слѣдуетъ. Послѣ обѣда она подходитъ ко мнѣ — тонкій этакій взглядъ, показываетъ на карты и спрашиваетъ меня: мусье, говоритъ, будете въ ланскенехъ играть? Думаю, нельзя же отказаться. Первый разъ въ домѣ, неловко и такая барыня пріятная. — Я говорю: «Буду, буду, мадамъ». А она мнѣ на это по-русски: «Это корошо, корошо!» И сѣли мы... Метали ихніе братцы, молодцы такіе на всякіе фокусы... я все вижу, молчу, неловко же мнѣ, первый разъ въ домѣ. Дѣлать нечего, проигралъ 200 р., вынулъ и заплатилъ. Но я самъ себѣ не врагъ, я наверстаю эти деньги, думаю себѣ, — онѣ не пропадутъ. Я и позвалъ къ себѣ откушать всю компанію, обѣдъ мнѣ стоилъ 300 р., вотъ и примѣтьте, стало-быть эта барыня стоила мнѣ всего 500 р. Послѣ обѣда я подхожу къ ней, да и говорю такъ же, какъ она мнѣ у себя дома: «мадамъ, я говорю, будете въ

ланскенехтъ?» и высыпалъ на столъ все золотыя, такія новенькія, блестятъ. «Корошо, мосье, говоритъ, корошо», а у самой глазъ на золото такъ и разгорѣлся... И всѣ съ охотой усѣлись къ столу... Я и началъ метать, а я вотъ видите хоть и не умѣю по ихнему фокусу дѣлать, а своимъ манеромъ дѣлаю чисто, *сансы* ужъ всѣ на моей сторонѣ. я это знаю заранѣе. Барыня все проигрываетъ и горячится и куши надбавляетъ. Тысячу пятьсотъ рублей проиграла. Я бы могъ съ нее десять, двадцать тысячъ сорвать, но не хотѣлъ. Думаю, довольно, надо и совѣсть знать. Василій Прохорычъ вынулъ полторы тысячи изъ кармана и тутъ же заплатилъ мнѣ за нихъ... Ну, а за что же я буду даромъ угощать, сами скажите, и своихъ денегъ вынимать изъ кармана! На деньги можно получить удовольствіе, тогда деньги не жалко... Но опять же такія дѣла дѣлать, какъ Василій Прохорычъ, безъ расчета, это себѣ во вредъ. это опять не годится. Что онъ посадилъ въ эту даму денегъ — никто повѣритъ не можетъ. Еще годикъ-другой такъ, можетъ случиться дурно и кредитъ свой подорветъ... и честь потеряетъ. банкротъ будетъ. Что же хорошаго? Мнѣ жаль его, сердце у него славное, все на широкую ногу любитъ, но деньга не щепка; деньга — счетъ любитъ. Скопить милліоны трудно, а прожить—ничего не стоитъ. Ну, теперь ему покуда деньги даютъ... теперь еще можно: у него еще женинъ капиталъ не тронутъ, а скоро придется, если все такую жизнь вести будетъ, и за женины денежки приняться...

Ростовщикъ скорчилъ печальную гримасу, вздохнулъ и покачалъ головою.

Дѣйствительно, черезъ годъ послѣ этого пронеслись слухи въ Петербургѣ, что дѣла Василія Прохорыча въ величайшемъ разстройствѣ, что его дома, дровяные дворы и подвалы въ гостиномъ дворѣ и на биржѣ — все въ залогѣ; что онъ уже взялъ значительную часть денегъ изъ капитала своей жены и сверхъ этого ищетъ еще занять тысячъ до пятидесяти. Въ то же время говорили, будто пріѣзжая знаменитость пріобрѣла два дома въ Парижѣ, въ послѣднюю свою поѣздку за границу.

Отношенія къ ней внука милліонера, по увѣреніямъ его близкихъ, становились съ каждымъ днемъ тягостнѣе, сцены между ними чаще и чаще. Не было никакой возможности бороться съ ея ежедневно-увеличивающимися капризами и съ беззастѣнчивостью ея родственниковъ.

Капризы эти доходили до мелочей невѣроятныхъ. Несмотря на то, что у ней былъ поваръ-французъ, съ блестящей репутаціей, которому платились огромныя деньги, она увѣряла, напримѣръ, что онъ не умѣетъ приготовлять бульона, а что она безъ бульона ничего кушать не можетъ; сердилась, выбѣгала изъ-за стола (это было только въ тѣ дни, когда Василій Прохорычъ у нея обѣдалъ)—и внучекъ милліонера долженъ былъ самъ рыскать по городу за бульономъ; но когда онъ являлся съ бульономъ, у нея пропадалъ аппетитъ и она выгоняла отъ себя своего обожателя вмѣстѣ съ бульономъ.

Такого рода ежедневныя сцены приводили въ страшное раздраженіе Василія Прохорыча, и гнѣвъ его, ничѣмъ неудержимый, разражался обыкновенно дома. Онъ вымѣщалъ на своей женѣ всѣ оскорбленія и непріятности, которыя покорно и молчаливо выносилъ отъ своей возлюбленной...

Сестра моего товарища (вышедшая замужъ за человѣка, котораго она давно любила) и ея мужъ, узнавъ положительно о разстройствѣ дѣлъ у Василья Прохорыча и о томъ, что Ольга Петровна отдала уже ему значительную часть изъ своего капитала, поняли, что для спасенія ея надо дѣйствовать неотлагательно и рѣшительно — и они уговорили ее остальныя принадлежащія ей деньги отдать въ полное ихъ распоряженіе...

Василій Прохорычъ не подозрѣвалъ этого. Ему понадобилось тысячъ десять на покупку бриллiантоваго колье, которое онъ хотѣлъ поднести пріѣзжей знаменитости въ день ея бенефиса, надѣясь такимъ подаркомъ смягчить ея строптивость.

Василій Прохорычъ обратился за этими деньгами къ женѣ, увѣренный вполнѣ, что отказа не будетъ; но когда Ольга Петровна объявила ему, что она уже не можетъ распо-

лагать своими деньгами и что она отдала ихъ, онъ сначала остолбенѣлъ отъ удивленія, какъ-будто не вѣря своимъ ушамъ, потомъ пришелъ въ совершенное бѣшенство...

— Я знаю, кто тебѣ даетъ эти совѣты! — кричалъ онъ... Я все понимаю... Это твой другъ, твоя пріятельница!.. Да я имъ не позволю вмѣшиваться въ наши семейныя дѣла! Я твой мужъ; но знаешь ли ты, что жена, по закону, должна во всемъ безпрекословно повиноваться мужу. Ты хочешь итти противъ закона? Я тебя заставлю повиноваться мнѣ... Отъ сегодняшняго дня я требую, чтобы нога твоя не была въ домѣ той госпожи, которую ты считаешь своимъ другомъ!

Василій Прохорычъ махалъ руками, топалъ ногами, принималъ угрожающія позы и стучалъ кулакомъ по столу.

Но когда Ольга Петровна рѣшительно и твердо объявила ему, что она скорѣе оставитъ его, чѣмъ свою пріятельницу, Василій Прохорычъ вдругъ, удивленный такимъ неожиданнымъ отпоромъ, присмирѣлъ.

Онъ понималъ, что если она оставитъ его въ эту минуту, онъ потеряетъ совершенно кредитъ. Василій Прохорычъ попросилъ у нея извиненія за свою горячность и поцѣловалъ ея ручку. Онъ не былъ золъ, и если бы жена его въ самомъ дѣлѣ вздумала оставить его, онъ навѣрно огорчился бы этимъ и можетъ быть пролилъ бы даже нѣсколько слезъ о ней втайнѣ, хотя вообще онъ не питалъ къ ней ни малѣйшей нѣжности, рѣдко видѣлся съ нею и не могъ не сознать, что она даже нѣсколько мѣшаетъ его разгулу.

Когда я однажды спросилъ у сестры моего товарища:

— Какимъ образомъ такая женщина можетъ жить съ такимъ мужемъ? — она отвѣчала мнѣ, что Ольга Петровна нѣсколько разъ сознавалась ей въ томъ, что ея положеніе очень тяжело, что она не любитъ его, но между тѣмъ невольно чувствуетъ къ нему что-то въ родѣ жалости, потому что у него *доброе сердце*...

Деньги на колье Василій Прохорычъ досталъ черезъ добродушнаго ростовщика-молдавана болѣе 50 на 100, и подарокъ былъ поднесенъ пріѣзжей знаменитости послѣ перваго

акта балета, вмѣстѣ съ огромнымъ и великолѣпнымъ букетомъ.

Но ни угодливость, ни покорность, ни подарки — ничто не смягчало ея суроваго сердца и строптиваго нрава. Она безпощадно продолжала обирать и терзать своего несчастнаго обожателя. Василій Прохорычъ, какъ настоящій русскій человѣкъ, съ горя запилъ. *Сулеечки* уже перестали удовлетворять его, онъ приступилъ къ болѣе солиднымъ винамъ, и началъ колебаться между eau de vie de France, то-есть коньякомъ и очищенной.

Онъ напивался почти каждый вечеръ въ своемъ задушевномъ кругу и въ нетрезвомъ видѣ начиналъ обнаруживать буйство.

Однажды князь Ртищевъ, который послѣ нѣсколькихъ лѣтъ снова возобновилъ знакомство съ Василіемъ Прохорычемъ, уговорилъ его устроить у себя вечеринку съ цыганами.

Вечеринка эта, по своимъ неожиданнымъ трагическимъ послѣдствіямъ, произвела важный переворотъ въ жизни внука миллонера и надѣлала большого шума въ городѣ. О ней разсказывали потомъ различнымъ образомъ, но я сообщу здѣсь о ней достовѣрный разсказъ одного изъ присутствовавшихъ.

ГЛАВА IX.

Вечеринка была устроена въ большой парадной столовой. Кромѣ задушевныхъ пріятелей Василія Прохорыча, неизбѣжныхъ лицъ на всѣхъ его пирахъ — Ивана Петровича, купеческаго сынка Мыльникова, жида-фактора, актера, капельмейстера и другихъ, присутствовало еще нѣсколько пріятелей князя Ртищева.

Цыгане явились къ 11-ти часамъ, и тотчасъ же началась попойка.

Въ одномъ изъ антрактовъ между пѣснями, когда уже было порядочно выпито, кто-то изъ присутствовавшихъ за-

мѣтилъ другому, отказывавшемуся отъ вина, что онъ боится пить оттого, что находится подъ башмакомъ у жены. Князь Ртищевъ подхватилъ это и, потрепавъ по плечу внука милліонера, обратился ко всѣмъ, улыбаясь, и сказать:

— А вѣдь какъ вы думаете, господа, нашъ амфитріонъ тоже подъ башмакомъ у своей супруги!

— У которой?—вскрикнулъ кто-то.

— Я говорю про законную,—отвѣчалъ князь,—у другихъ-то, батюшка, мы всѣ подъ башмаками!

Василій Прохорычъ нѣсколько обидѣлся.

— Ну что, не правда, что ли?—спросилъ его князь.

— Нисколько, съ чего ты это взялъ?—возразилъ Василій Прохорычъ,—я ссылаюсь на всѣхъ васъ (онъ обратился къ своимъ друзьямъ), кто хозяинъ въ домѣ, кто распоряжается всѣмъ: я или она?

— Еще бы! разумѣется—ты!—закричали ему друзья въ одинъ голосъ.

— Нѣтъ, ваше сіятельство, ужъ этого никакъ нельзя сказать про Василья Прохорыча, *они* точно, что глава въ домѣ,—прибавилъ Иванъ Петровичъ, обратившись къ Ртищеву.

Ртищевъ взглянулъ на Ивана Петровича, какъ на прожужжавшаго комара или на пролетѣвшую муху, повернувъ чуть-чуть голову въ его сторону.

— Я повторяю, что ты подъ башмакомъ у жены,—сказалъ онъ, обращаясь къ Василію Прохорычу,—полно, не притворяйся. Ты думаешь, что я повѣрю этимъ (князь Ртищевъ кивнулъ головой въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Иванъ Петровичъ и жидъ-факторъ); свидѣтельство людей подчиненныхъ нельзя принимать. Ну, докажи, что ты господинъ у себя въ домѣ и что не ты находишься подъ властью у жены, а жена подъ твоею властью.

— Хорошо, но какъ же это доказать?

— Очень просто,—отвѣчалъ князь Ртищевъ,—если Ольга Петровна явится сюда къ намъ теперь, хоть на минуту, я беру слово назадъ и сознаюсь, что я ошибался.

Василій Прохорычъ призадумался, выпивъ залпомъ стаканъ вина, и потомъ произнесъ рѣшительно и торжественно:

— Черезъ пять минутъ она будетъ здѣсь.

— Браво! — воскликнулъ князь.

— Браво! — крикнули вслѣдъ за нимъ другіе.

Черезъ нѣсколько времени Василій Прохорычъ явился дѣйствительно съ Ольгою Петровною.

Только что она переступила порогъ комнаты, какъ грянуло оглушительное «ура!», повторившееся троекратно.

— Здоровье Ольги Петровны! — закричалъ князь Ртищевъ, взявъ бокалъ и подходя къ ней.

— Здоровье Ольги Петровны! — повторило все собраніе.

— Я пью ваше здоровье! — сказалъ ей князь Ртищевъ тихимъ голосомъ.

Передававшій мнѣ эту сцену замѣтилъ, что появленіе этой несчастной женщины, въ полупьяной и дикой компаніи, среди разрумяненныхъ и наглыхъ цыганокъ, при щолканьѣ пробокъ и при неистовыхъ, оглушающихъ крикахъ, произвело на него страшное впечатлѣніе.

— Мнѣ вдругъ стало стыдно за себя, что я попалъ въ это общество, — говорилъ онъ, — я почувствовалъ презрѣніе и негодованіе ко всѣмъ этимъ господамъ, и тутъ же далъ себѣ слово прекратить съ ними всякія сношенія. У меня сердце обливалось кровью, глядя на эту бѣдную женщину!

Когда она вошла, въ первую минуту, лицо ея выражало не то испугъ, не то недоумѣніе; а когда князь Ртищевъ подошелъ къ ней и заговорилъ съ нею, она вся помертвѣла.

— Величанье Ольгѣ Петровнѣ! — закричалъ Ртищевъ, подставляя стулъ и садясь возлѣ нея.

Когда цыгане пропѣли величанье, онъ наклонился къ ней и что-то началъ нашептывать ей. Лицо ея въ это время быстро мѣнялось, она то краснѣла, то снова блѣднѣла... Вдругъ онъ взялъ ее за руку, но она отдернула отъ него руку судорожно.

Въ эту минуту мужъ ея, который не могъ уже твердо держаться на ногахъ, постоянно слѣдившій за нею и за княземъ Ртищевымъ, посматривая на него мрачно и озирая его съ ногъ до головы, ко всеобщему удивленію выступилъ впередъ.

— Милостивый государь, — началъ онъ, обратившись къ Ртищеву, — я не позволю вамъ волочиться за моею женою. Слышите ли? Вы опять за старое? Я все зналъ, все видѣлъ и молчалъ только потому, что не хотѣлъ говорить, а мнѣ все равно, что вы князь. Вы говорите, что я у ней подъ башмакомъ, такъ я же вамъ докажу, что я не подъ башмакомъ у ней! — я не потерплю, чтобы она позволяла вамъ за собой волочиться! Я ей этого не позволю! я съ ней могу все сдѣлать, и изъ дому ее выгнать, потому что я мужъ!..

— Василій Прохорычъ, полноте... что это вы?.. — заговорили въ одинъ голосъ пріятели, испуганные такою неожиданною выходкою. Князь Ртищевъ сердито посмотрѣлъ на нихъ и только проговорилъ сквозь зубы:

— Оставьте его, онъ пьянъ! Съ нимъ можно будетъ говорить только тогда, когда онъ проспится.

— Я пьянъ?..—Съ этимъ словомъ внукъ милліонера хотѣлъ было броситься на князя, но его удержали.

Ольга Петровна въ эту минуту вскочила со стула, но вдругъ вскрикнула и упала на полъ. Ее подняли и вынесли, а Василій Прохорычъ началъ послѣ этого рваться къ ней. колотить себя въ грудь и плакать. Князь Ртищевъ грозилъ убить его, всѣ остальные старались успокоить его, и разошлись въ величайшей тревогѣ.

Говорятъ, что внучекъ милліонера просилъ потомъ прощеніе у князя и что князь, по великодушію своему, не только простилъ его, но даже вслѣдъ затѣмъ роспилъ вмѣстѣ съ нимъ нѣсколько *сулеекъ* шампанскаго.

Черезъ два дня послѣ этой сцены, о которой мнѣ разсказывали на другой день, мой товарищъ заѣхалъ ко мнѣ часу въ седьмомъ вечера. На немъ, какъ говорится, лица не было. Я испугался, взглянувъ на него.

— Я у тебя нечаянно... — сказалъ онъ, — возлѣ тебя живетъ докторъ, котораго я ищу... я не засталъ его дома. Мнѣ сказали, что онъ воротится черезъ четверть часа...

— Что, ты боленъ? — спросилъ я, — что съ тобой? Ты страшно измѣнился.

— Я совершенно здоровъ, — это я не для себя. Бѣдная

Ольга Петровна умираетъ. Она у моей сестры уже два дня. Сестра перевезла ее больную къ себѣ, и сегодня ей сдѣлалось хуже. Я зналъ, что это должно кончиться трагически рано или поздно, такъ и случилось... Ея докторъ сказалъ, что у нея начинается нервическая горячка... Въ сію минуту она въ бреду.

Товарищъ мой, говоря это, ходилъ въ безпокойствѣ по комнатѣ и безпрестанно смотрѣлъ на часы.

— Ни я, ни сестра не слишкомъ довѣряемъ ея доктору, потому я и хочу пригласить твоего сосѣда. Его всѣ хвалятъ... Не правда ли, онъ хорошій докторъ?.. Да ты ничего не слыхалъ,—спросилъ онъ, остановясь вдругъ противъ меня, — ты не знаешь, какую сцену перенесла она?..

— Я знаю, — отвѣчалъ я, — мнѣ обо всемъ разсказывалъ одинъ изъ свидѣтелей.

— Этотъ пьяный негодяй — мужъ ея — силою притащилъ ее на свою грязную пирушку и спьяна вдругъ началъ ревновать ее къ Ртищеву, хотя прежде онъ радовался, что Ртищевъ волочился за нею и даже хвасталъ этимъ. А Ртищевъ-то хорошъ!.. Онъ нагло приставалъ, надоѣдалъ, не давалъ покоя этой несчастной женщинѣ въ теченіе цѣлаго года, компрометировалъ ее. Она все передавала моей сестрѣ, ты знаешь ихъ дружбу. Ольга Петровна, несмотря на свою доброту и кротость, не могла никогда говорить объ этомъ человѣкѣ безъ отвращенія... И если бы ты могъ представить себѣ, какія мѣры употреблялъ этотъ господинъ, — и вѣдь онъ еще отецъ семейства! — для достиженія своей цѣли, съ какою безсовѣстностью онъ велъ себя относительно ея, и какъ онъ потомъ мстилъ ей, когда убѣдился, что ему ничто не удается! что онъ наговорилъ ей въ этотъ вечеръ при первой встрѣчѣ съ нею послѣ нѣсколькихъ лѣтъ!.. Если бы это передалъ мнѣ кто-нибудь другой, если бы я слышалъ это не отъ сестры моей, которая слышала все отъ самой Ольги Петровны, — я не повѣрилъ бы этому. И онъ позволялъ себѣ все это потому только, что онъ князь, а она жена купца. Что такое для него, князя, жена купца? Онъ хоть всю жизнь возится съ барышниками и съ пьяными

цыганами, хоть у него больше лошадиная, чѣмъ человѣческая природа — несмотря на это, онъ съ ногъ до головы все-таки проникнутъ своимъ аристократическимъ достоинствомъ... И такого господина я считалъ своимъ пріятелемъ и называлъ добрымъ малымъ!.. Но прощай, однако, мнѣ пора... Ну что, если я опять не застану этого доктора? Что я буду дѣлать?.. Сдѣлай мнѣ дружбу, поѣдемъ вмѣстѣ — мнѣ надо сію же минуту во что бы то ни стало достать доктора!.. надо спасти ее во что бы то ни стало!..

Товарищъ мой былъ въ такомъ волненіи и безпокойствѣ. что и безъ его просьбы я не оставилъ бы его одного...

Жизнь Ольги Петровны въ теченіе нѣкотораго времени подвергалась величайшей опасности, такъ что доктора теряли надежду на ея выздоровленіе и потомъ сами признавались, что она спаслась какимъ-то чудомъ. Во время ея болѣзни, которая продолжалась четыре мѣсяца, сестра моего товарища не отходила отъ ея постели, и товарищъ мой все это время почти жилъ у сестры.

Ольга Петровна начала выздоравливать къ началу весны. Доктора для окончательнаго поправленія ея здоровья посовѣтовали ей ѣхать за границу, и она отправилась вмѣстѣ съ сестрою моего товарища и ея мужемъ на первомъ пароходѣ.

Черезъ два мѣсяца послѣ ихъ отъѣзда товарищъ мой объявилъ, что онъ выходитъ въ отставку и также намѣренъ отправиться за границу.

— Я чувствую,—говорилъ онъ мнѣ,—что мнѣ необходимо оторваться на время отъ всѣхъ моихъ пошлыхъ воспоминаній, которыя не даютъ мнѣ покоя и пробуждаются здѣсь невольно на каждомъ шагу; отдохнуть отъ всѣхъ оскорбленій, огорченій, обманутыхъ надеждъ, забыть всю эту жизнь, даже всѣ эти улицы, зданія, обычаи и въ особенности лица, которыя я не могу видѣть безъ раздраженія и отъ каждаго слова которыхъ у меня разливается желчь... Тяжело провести полжизни безсознательно, безсмысленно, въ какой-то страшной пустотѣ и въ чаду, и потомъ, утративъ половину энергіи, половину способностей, одурѣвъ нѣсколько отъ

этой жизни, сознать все это; но еще тяжелѣе, ощутивъ потребность серьезной дѣятельности, горячее желаніе принести хоть крупицу пользы, сдѣлать хоть что-нибудь доброе и порядочное въ жизни, чтобы искупить свое прошлое,—дойти, наконецъ, опытомъ до сознанія, что все это мечта, что рутина и предразсудки еще такъ сильны, что изъ борьбы съ ними невозможно выдти побѣдителемъ... Я бился больше трехъ лѣтъ, какъ рыба объ ледъ, и что же изъ этого вышло? Люди, и очень значительные люди, которые оказывали мнѣ величайшую благосклонность и даже подталкивали меня впередъ, когда я ничего не дѣлалъ и велъ пустѣйшую и безпутнѣйшую жизнь, которые называли меня тогда «славнымъ и добрымъ малымъ» и даже удостоивали мнѣ протягивать свои руки, — отвернулись отъ меня, когда я принялся за дѣло горячо и серьезно, не отступая ни передъ кѣмъ отъ своихъ убѣжденій и не продавая ихъ. Всѣ эти значительные люди говорятъ обо мнѣ теперь, что я «или дуракъ или человѣкъ безпокойный и вредный»... Когда я обратился по одному вопіющему дѣлу къ одному изъ такихъ значительныхъ лицъ, оказывавшихъ мнѣ свое высокое благоволеніе, — онъ мнѣ приходится еще и родственникъ немного,—и разсказалъ ему все дѣло въ подробности и роль, которую я въ немъ принялъ на себя, и просилъ его содѣйствія и помощи, онъ сказалъ мнѣ: «ты дѣйствуешь благородно и честно. Мѣшать я тебѣ не буду, но на мою помощь не надѣйся. Мое имя тутъ не должно быть вмѣшано»... И мнѣ остается теперь на выборъ—или измѣнить своимъ убѣжденіямъ, то-есть, сдѣлаться подлецомъ—и продолжать съ успѣхомъ подвизаться на служебномъ поприщѣ, получая потомъ черезъ два года награды, какъ это обыкновенно водится,—или бросить все и уѣхать куда-нибудь подальше. Я ужъ во всякомъ случаѣ послѣднее предпочитаю первому... А и то сказать,—нельзя же безусловно складывать все на другихъ и оправдывать самого себя. Изъ всего нашего поколѣнія, кажется, никакого толку не выйдетъ. Мы не приготовлены для борьбы и большая часть изъ этого поколѣнія, — я говорю о самыхъ замѣчательныхъ и лучшихъ людяхъ, — теряютъ всякую

энергію и падаютъ духомъ при малѣйшемъ препятствіи. А ужъ если лучшіе люди таковы,—такъ чего же ожидать отъ насъ? У насъ нѣтъ ни терпѣнья, ни силы воли, ни ловкости, чтобы взяться за дѣло!.. Мы представляемъ какое-то печальное и жалкое зрѣлище и въ общественной и въ частной жизни. На словахъ мы мыслители, герои, а чуть до дѣла, то при малѣйшемъ препятствіи, при малѣйшей опасности и даже недоразумѣніи—сейчасъ на попятный дворъ, и потомъ увѣряемъ себя, что истощили всѣ силы въ борьбѣ, сдѣлали все, что можно — вотъ такъ, какъ я себя теперь увѣряю; а другой на моемъ мѣстѣ можетъ быть и преодолѣлъ бы препятствія и не отсталъ бы отъ дѣла такъ скоро...

Товарищъ мой остановился на минуту, грустно улыбнулся и прибавилъ:

— Впрочемъ, такого героя, я думаю, найти трудно. Давидъ побѣдилъ одного Голіафа, но съ десятками Голіафовъ онъ все-таки не выдержалъ бы борьбу... Нѣтъ, за границу, поскорѣй за границу!..

Слушая эти рѣчи моего товарища, я думалъ:—какъ самые прямодушные и откровенные люди иногда при объясненіи своихъ поступковъ забавно стараются обманывать и другихъ и самихъ себя! Не препятствія и непріятности по служебной дѣятельности, а совсѣмъ другое обстоятельство, которое разгадать было нетрудно, манило его за границу, но онъ какъ-будто самому себѣ боялся признаться въ этомъ...

Передъ самой минутой разставанья онъ обнялъ меня и еще двухъ своихъ пріятелей, которые провожали его, и сказалъ намъ сквозь слезы:

— Ну, прощайте, друзья! Врядъ ли мы скоро увидимся. Здѣсь мнѣ нечего дѣлать. Я убѣдился въ этомъ. Жизнь моя вообще какъ-то дурно устроилась. Я никому не нуженъ, да и самъ себѣ становлюсь въ тягость. Прощайте...

Мнѣ говорили (я однако не ручаюсь за это), что внукъ милліонера очень раскаявался въ своемъ поступкѣ съ женою и даже (это ужъ непонятно) нѣсколько дней скучалъ безъ нея.

Пріѣзжая знаменитость также оставила его вскорѣ послѣ этого. Она съ кузеномъ отправилась за границу, потому что дирекція театровъ не возобновила съ нею контракта.

Внукъ милліонера близился къ банкротству. Дома и дачи его были проданы съ аукціоннаго торга, и люди знающіе говорили, что за уплатой всѣхъ долговъ у него должна остаться весьма небольшая сумма денегъ. Переѣздъ Ивана Петровича къ купеческому сынку Мыльникову яснѣе всего обнаруживалъ, въ какомъ печальномъ состояніи находятся дѣла Василія Прохорыча.

Черезъ три года послѣ отъѣзда за границу его жены существованіе его совсѣмъ изгладилось... Онъ какъ въ воду канулъ и нигдѣ не показывался.

ГЛАВА X.

Съ отъѣзда моего товарища за границу прошло уже четыре года. Я получилъ отъ него нѣсколько писемъ, хотя онъ вообще по своей лѣнивой природѣ писать письма не охотникъ, даже къ друзьямъ, и я не обвиняю его за это. Онъ пишетъ только тогда, когда у него накипаетъ въ груди и когда онъ чувствуетъ уже непреодолимую потребность высказаться. Такого рода друзья (по моему мнѣнію) гораздо пріятнѣе и удобнѣе тѣхъ, которые вмѣсто писемъ посылаютъ вамъ обыкновенно цѣлые трактаты и диссертаціи, если не еженедѣльно, то ужъ навѣрно ежемѣсячно. Какую бы пламенную дружбу вы ни питали къ человѣку, но читать груду тонкихъ почтовыхъ листовъ, мелко исписанныхъ, хотя бы дружескою рукою — это величайшее изъ наказаній.

Письма моего товарища изъ-за границы (всегда очень короткія) постепенно становились все грустнѣй и грустнѣй. Въ концѣ ихъ онъ всегда прибавлялъ нѣсколько строчекъ

объ Ольгѣ Петровнѣ. Изъ нихъ можно было заключить, что сначала теплый климатъ подѣйствовалъ на нее благодѣтельно и ни товарищъ мой, ни сестра его не сомнѣвались въ томъ, что она совершенно поправится; потомъ надежды эти понемногу слабѣли; она начинала чувствовать припадки болѣзни неисцѣлимой, и наконецъ обратились въ боязнь за ея жизнь. Вотъ отрывокъ изъ послѣдняго письма моего товарища:

«Я пишу къ тебѣ въ той комнатѣ, въ которой лежитъ наша больная, и боюсь, чтобы скрипъ моего пера не потревожилъ ее. Изъ этого ты можешь заключить, въ какомъ положеніи она находится... Боже мой! если бы ты могъ вообразить, какъ она измѣнилась, какъ похудѣла! Но, несмотря на всѣ страданія болѣзни, она сохранила вполнѣ свою прежнюю привлекательность, то милое выраженіе, которое ты вѣрно, помнишь и которое съ перваго взгляда привлекало къ ней всякаго порядочнаго человѣка. Если бы ты зналъ, сколько желчи, негодованія и презрѣнія во мнѣ въ сію минуту къ самому себѣ, къ непростительной дряблости моего характера, смѣшанной съ возмутительнымъ легкомысліемъ!

«Ты вѣрно догадывался, что я люблю ее. Несмотря на наши дружескія отношенія, я никогда не говорилъ объ этомъ, потому что я самъ только объ этомъ *догадывался!* Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что я не былъ до сей минуты человѣкомъ вполнѣ, а догадывался только, что я человѣкъ... Развѣ было, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь человѣческое въ моей прежней дикой, безпутной жизни?.. Только увидѣвъ въ первый разъ ее, я сознаъ, что внутри меня есть все то, что̀ отличаетъ человѣка отъ животнаго, и чувство и мысль, и сердце, не въ смыслѣ куска мяса, а способное къ благороднымъ движеніямъ и готовое биться для возвышенныхъ ощущеній. Я ей обязанъ всѣмъ этимъ. И знаешь ли, если бы я до этого не былъ избалованнымъ, пустымъ и отупѣвшимъ барчонкомъ, празднымъ кутилою безъ смысла и воли,—если бы я былъ человѣкомъ съ самостоятельностью, съ разумной силой воли, съ энергіей... я могъ бы быть сча-

стливъ. безконечно счастливъ. Я ей не былъ противенъ, она питала ко мнѣ даже нѣкоторое расположеніе, и въ сію минуту, когда смерть стоитъ между ею и мною, теперь я убѣдился, что и она любитъ меня — и только теперь я ощущаю въ себѣ силы человѣка и готовъ на все для ея спасенія, когда уже для нея нѣтъ спасенія!

«А счастье было въ моихъ рукахъ... Развѣ съ любовью въ сердцѣ, вполнѣ сознанной, съ энергіей, свойственной всякому разумному существу, я не преодолѣлъ бы для нея всѣ препятствія, какъ бы они ни казались непреодолимыми, и не предупредилъ этотъ несчастный бракъ, который сводитъ ее теперь въ могилу?.. Какъ ни былъ дикъ, грубъ и упоренъ ея отецъ,—онъ все-таки любилъ ее... Но я, какъ презрѣнный трусъ, увидѣвъ препятствіе, тотчасъ свернулъ въ сторону, сталъ увѣрять себя и успокаивать тѣмъ, что я не способенъ къ семейной жизни, что я не могу составить счастія этой дѣвушки, что, наконецъ, если бы я рѣшился жениться на ней, то это огорчитъ *мою маменьку*... Я тебѣ признаюсь во всемъ въ сію минуту... я не боюсь теперь твоего презрѣнія, потому что я самъ презираю себя: упрекая мою мать въ предразсудкахъ касты, я самъ, обвиняющій, былъ до того зараженъ этими предразсудками, что въ иныя минуты, несмотря на неопредолимое мое влеченіе къ Ольгѣ Петровнѣ, мысль, что она дочь купца, смущала меня. Я краснѣлъ отъ этого, сознавая все безобразіе этого смущенія, но однако съ трудомъ побѣждалъ его въ себѣ...

«Когда она вышла замужъ, и Ртищевъ—*мой другъ*—началъ наглымъ образомъ ухаживать за нею и хвастать своимъ волокитствомъ, я, человѣкъ, любившій ее, молчалъ и только внутренно озлоблялся... Я не зажалъ рта этому наглому господину и не назвалъ его въ глаза подлецомъ, какъ я ни порывался на это. Я оправдывалъ себя тѣмъ, что это еще болѣе можетъ повредить ей, надѣлаетъ скандала... Но въ сущности я боялся скандала не за нее, а за себя... Пойми же ты всю безконечность, всю постыдную неизмѣримость такого безсилія!..

«Куда же и на что же мы годны послѣ этого?.. Что же

добраго можемъ мы сдѣлать?.. И теперь еще, написавъ *это мы*, я вѣдь утѣшаю себя, что не одинъ *я* таковъ, что *все наше поколѣніе* такъ ничтожно и слабо.

«Несмотря на всѣ мои прошлыя безпутства и теперешнія внутреннія муки,—я здоровъ: у меня широкая грудь, которая отъ камня не разобьется, какъ у знаменитаго Раппо; я дышу такъ полно и свободно, а у нея осталось легкихъ можетъ быть только на мѣсяцъ!.. Спрашивается, для чего природа наградила меня такимъ здоровьемъ и къ чему мнѣ оно?..»

Много времени прошло послѣ этого письма, но съ тѣхъ поръ я не получалъ отъ него ни одной строчки и ни отъ кого не слыхалъ ни о немъ, ни о ней. Мать его давно переселилась въ деревню, а къ петербургскимъ своимъ пріятелямъ онъ не писалъ больше полугода... Гдѣ онъ и что съ нимъ?

Недавно вечеромъ я шелъ по ораніенбаумской дорогѣ. Верстахъ въ двухъ, не доходя до Петергофа, на лѣвой сторонѣ къ морю, недалеко отъ большой дороги, стоитъ особнякомъ въ пескѣ двухъэтажный безобразный домъ съ мезониномъ, окрашенный темножелтой краской, съ тремя торчащими передъ нимъ небольшими соснами. На этомъ домѣ полинялая и облупившаяся вывѣска, на которой золотыми буквами изображено: «Трактиръ Traiteur Tracteur». Въ серединѣ дома крыльцо съ шестью ступеньками; влѣво отъ крыльца окна, въ которыхъ видны грязныя и оборванныя кисейныя занавѣски; верхній этажъ, кажется, необитаемъ. Я всегда недоумѣвалъ, для чего существуетъ этотъ «Tracteur».

Проходя въ этотъ разъ мимо этого непонятнаго заведенія, я увидѣлъ у крыльца его новыя запыленныя дрожки, запряженныя тройкой; извозчикъ, малый лѣтъ подъ тридцать, красивый собой, въ синемъ тонкомъ армякѣ и въ шляпѣ набекрень, принадлежавшій къ тому роду извоз-

чиковъ, которыхъ обыкновенно называютъ *лихачами* и которые отъ Аничкина до Полицейскаго моста запрашиваютъ не менѣе двухъ цѣлковыхъ,—сидѣлъ подбоченясь и нѣсколько развалившись на сидѣньи для сѣдаковъ... Одинъ мой литературный другъ—человѣкъ очень наблюдательный и остроумный, замѣтилъ однажды, что къ самому наглому и безнравственному классу петербургскаго народонаселенія принадлежатъ: баньщики, швейцары, лакеи аристократическихъ домовъ и извозчики - лихачи. Это очень вѣрно, особливо относительно послѣднихъ. Извозчикъ-лихачъ что-то кричалъ, посматривая на господина, одѣтаго франтовски, но въ поистершемся платьѣ и въ фуражкѣ также набекрень. На крыльцѣ стоялъ половой, а неподалеку отъ господина въ фуражкѣ другой господинъ, съ сѣдой, небритой нѣсколько дней бородой, въ оборванныхъ пестрыхъ штанахъ съ фестонами, въ истертомъ свѣтлокоричневомъ сюртукѣ и въ зимней фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ. Издалека было замѣтно, что господинъ въ фуражкѣ, который былъ пьянъ, уговаривалъ о чемъ-то лихача-извозчика и что извозчикъ не соглашался.

Лихачъ былъ также навеселѣ.

Я подошелъ поближе.

Черты пьянаго господина, уговаривающаго лихача, показались мнѣ какъ-будто знакомыми. Это меня удивило нѣсколько, и я началъ въ него пристальнѣе вглядываться. Оказалось, что это былъ г. Пивоваровъ, внукъ русскаго милліонера, что меня нисколько не удивило... Несмотря на то, что онъ совершенно отёкъ и что лицо его, все испещренное жилками, приняло багровый оттѣнокъ, я, вглядѣвшись въ него, узналъ его тотчасъ.

— Ну, послушай Ваня,—говорилъ внукъ милліонера, обращаясь къ лихачу съ убѣдительными жестами, къ которымъ такъ любятъ прибѣгать всѣ пьяные,—ну, сдѣлай ты мнѣ это одолженіе... я тебя прошу, понимаешь ты это... я тебя прошу... мы, братецъ, переночуемъ въ Петергофѣ, кутнемъ вмѣстѣ, а завтра въ городъ...

— Да на что кутить-то?—возразилъ лихачъ,—прыти-то

въ васъ много, да толку-то мало. Вѣдь гроша въ карманѣ нѣтъ... а еще кутить!

— Ваня... послушай, Ваня... я тебѣ клянусь, — и внукъ милліонера поднялъ руку къ небу и потомъ размахнулъ ею, — вотъ всѣ они свидѣтели....

— Мы свидѣтели, — перебилъ господинъ въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ, приподнявъ фуражку двумя опухшими пальцами и съ заискивающей улыбкой посмотрѣвъ на внука милліонера, — мы свидѣтели! — повторилъ онъ.

Лихачъ презрительно улыбнулся.

— Они всѣ свидѣтели, — продолжалъ внукъ милліонера, — ты мнѣ только дай пятнадцать рублей, — я завтра отдамъ тебѣ, ей Богу отдамъ... ужъ ты мной будешь доволенъ, я тебѣ говорю, что угощу. Ваня, ей Богу, то-есть такъ угощу — вотъ ты увидишь.

— Угостишь на мои деньги-то! хорошо угощеніе! Да что тутъ толковать? Нечего тутъ балясы-то попусту точить. Ѣдемъ сейчасъ въ Петербургъ... Что въ самомъ дѣлѣ!.

— Ваня, ну смотри, Ваня! — И внукъ милліонера погрозилъ ему пальцемъ... Я тебѣ сколько передавалъ денегъ... Вспомни ты это одно! Я милліонами, братецъ, ворочалъ; у меня деньги есть, я отдамъ тебѣ пятнадцать рублей... Честное слово. Что мнѣ пятнадцать рублей — наплевать!

— *Они* отдадутъ, непремѣнно отдадутъ! — прохрипѣлъ господинъ въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ.

— Вотъ слышишь? онъ мнѣ вѣритъ... Эй, половой! подай ему за это стаканъ водки... Вотъ тебѣ четвертакъ — возьми! — И онъ бросилъ монету на песокъ.

Половой долго рылся, отыскивая ее, наконецъ нашелъ и отправился за водкой.

Господинъ въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ взялъ стаканъ дрожащей рукой.

— Ну, пей за мое здоровье! — вскрикнулъ внукъ милліонера, обращаясь къ господину въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ, — пей и поклонись мнѣ въ ноги. Слышишь?

— Слушаю, благодѣтель, слушаю! — вскрикнулъ госпо-

динъ въ желтыхъ мерлушкахъ, разомъ выпилъ стаканъ, крякнулъ съ неописаннымъ наслажденіемъ, прокричалъ: ура! и потомъ бухнулся въ ноги промотавшагося милліонера.

— Кто это?—спросилъ я у полового.

— Этотъ, что въ ногахъ-то валяется? Это такъ, пьянчужка, петергофскій мѣщанинъ,—отвѣчалъ онъ презрительно.

— Ну, а этотъ господинъ зачѣмъ остановился тутъ у васъ?

— Пива спрашивали, пить захотѣлось,—изъ Рамбова ѣдутъ; извозчикъ говорилъ, что они всю ночь тамъ прокутили...

Я не дождался конца этой грязной сцены и побрелъ къ морю...

Это была моя послѣдняя встрѣча съ внукомъ милліонера.

Мнѣ сдѣлалось тяжело и грустно. Здѣсь этотъ спившійся купчикъ, въ нѣсколько лѣтъ промотавшій милліоны, перешедшій черезъ всѣ степени безпутства и оканчивающій свое поприще у грязной харчевни на большой дорогѣ, и *тамъ*, далеко за моремъ, загубленная имъ умирающая женщина—и мой бѣдный другъ... Какія странныя сближенія!.. и кого винить во всемъ этомъ—судьбу, случай, отдѣльныя лица, общество?..

Я подходилъ къ морю.

Широкая и чудная картина развертывалась передо мною... На безконечномъ водяномъ пространствѣ не было замѣтно ни малѣйшей зыби. Море не дышало. Оно было гладко какъ стекло, отражая на своей поверхности вечернее зарево ярко-розовыми и блѣдно-палевыми полосами, которыя, удаляясь отъ заката, блѣднѣли, принимая опаловый цвѣтъ... На этой бѣловатой поверхности рѣзко чернѣлись двѣ недвижныя рыбачьи лодки и въ нихъ также два недвижныхъ человѣческихъ силуэта. Далѣе къ востоку море исчезало въ синеватой мглѣ. Ни одинъ листокъ не шевелился на прибрежныхъ деревьяхъ, ни малѣйшаго звука и движенія не слышно было въ воздухѣ. Я подошелъ къ самой окраинѣ моря

и долго стоялъ, смотря на эту картину и боясь пошевельнуться, чтобы не нарушить торжественнаго спокойствія, въ которое погружена была въ эту минуту природа... Я начиналъ дышать легче, вдыхая въ себя морскую свѣжесть вмѣстѣ съ запахомъ только что скошенной травы; я чувствовалъ, какъ постепенно гасли всѣ мои мысли, замирали всѣ вопросы внутри меня и блѣднѣли всѣ образы, вызванные моимъ воображеніемъ... Эта тишина природы съ каждой минутой все болѣе и болѣе сообщалась мнѣ и охватывала всего меня... Я ужъ ничего не могъ думать, голова моя была какъ въ туманѣ, я не могъ оторвать глазъ отъ моря и начиналъ ощущать какое-то безсознательное, но безконечное наслажденіе...